

ГИБЕЛЬ
ИУДЕИ



Scan Kreyder - 14.09.2014
STERLITAMAK

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
В РОМАНАХ



ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ
В РОМАНАХ

ПАДЕНИЕ ВЕЛИКИХ
ИМПЕРИЙ

Москва
«Новая книга»

Всемирная
история
в романах

ГИБЕЛЬ ИУДЕИ

Москва
«Новая книга»

Серия основана в 1993 году

Гибель Иудеи: Ф. Шумахер. Вероника. Пер. с нем. М. Ратаци. Осада Иерусалима. Пер. с итальянск. Э Ожешко. Миртала Пер. с польск. С. Кончилович. Гибель Иудеи. Исторические романы.— М.: Новая книга, 1995.— 528 с. («Всемирная история в романах»: «Падение великих империй»)

Почти две тысячи лет прошло с тех пор, как была разрушена Иудея, древнейшее царство Востока, пал Иерусалим, величайший из городов древнего мира. Этим драматическим событиям, которые отразились на судьбе мировой истории, посвящены романы, вошедшие в сборник.

ISBN 5-8474-0204-X

ISBN 5-8474-0228-7

© Составление В. Козаченко, В. Нежданова, С. Тимченко, 1995

© Оформление Н. Егорова, 1994

© Название серии «Всемирная история в романах»
издательство «Новая книга», 1993

Ф. ШУМАХЕР

ВЕРОНИКА

Перевод с немецкого

Глава I

Это было в первые дни месяца Шевата, в тринадцатый год правления цезаря Нерона, три с половиной месяца после того, как Иерусалим восстал и изгнал римлян. И теперь по всей стране раздавался один лишь всеобщий крик мести. От снежных вершин Гермона до пустыни Веерсебской, от истоков Ябока до моря бушевала гроза возмущения против римлян, и рокотание ее слышно было и в Олимпии, где повелитель мира, занятый своими жалкими актерскими успехами, бледнел под румянами от страха далекой угрозы. Буря слышна была и в Риме и заставляла дрожать потомков Гракхов. Казалось, воскресло для новой жизни время героев, время Деборы и Самсона, Саула и Давида, великое время Маккавеев. Весь Израиль стоял под оружием, а те, которые были на стороне чужестранцев, спасались бегством или притворялись ненавистниками римлян...

Наконец пришла весть, что Веспасиан, самый храбрый и опытный римский полководец, победоносный покоритель диких жителей Британии, прибыл в Птолемаиду. С ним пришло огромное войско, и он ждет прибытия Тита, своего сына, и его александрийских легионов, чтобы потом бросить святую землю под мечи своих легионеров.

Обитатели Птолемаиды были заняты оживленными спорами. Не было недостатка в темах. Римская армия и присутствие Веспасиана привлекли туда всех, кто имел какое-нибудь имя и положение в округе. Вчера в город явился Малихос, король арабов, со своими знаменитыми стрелка-

ми, а сегодня Соем, повелитель Эмесса. В ближайшем времени ожидали Тиберия Александра, управителя Египта. Агриппа, царь иудеев, уже некоторое время находился в городе.

— Царь иудеев? — насмешливо переспрашивал маленький Теофил, греческий торговец пряностями из ближайшего портового города. — Как этот Агриппа может себя называть царем страны, в которую наш победоносный цезарь ежегодно посылает наместников?

Его собеседник, римский судебный писарь Анний, придал своему лицу важное выражение.

— И все-таки Агриппа царь, — сказал он. — Цезарь Клавдий сам дал ему этот титул. Однако страну оставил себе. Впрочем, — прибавил он многозначительно, — бедняге, я полагаю, плохо придется...

— Это ты про Агриппу? Что ты этим хочешь сказать, Анний? Разве ему что-нибудь угрожает? — стали спрашивать другие.

— Разве вы не слыхали, что жители Тира и Цезареи подали на него жалобу как на врага римлян? Схватили Юста из Тивериады, а, как известно, Юст личный секретарь Агриппы. Таким образом хотят выведать, кто был зачинщиком восстания в Тивериаде. Юст закован в цепи, и его завтра будут судить...

— Вот уж кого не жалко! Если бы к ногам Агриппы положили его голову, всей войне был бы конец, — сказал Боас, огромного роста кузнец.

— Рука палача тут не поможет, любезный Боас. Агриппа не имеет никакого влияния у иудеев, вот даже настолько, — засмеялся Теофил, дунув себе на ладонь. — Они не очень поблагодарили бы цезаря, вздумай он в самом деле передать ему власть. Знаешь, как они его называют? Портным, потому что он доставлял левитам полотняные одежды, или дровосеком, потому что рубил ливанские кедры, чтобы воздвигнуть новый фундамент для иерусалимского храма, или же, наконец, каменщиком, потому что он мостил улицы камнями.

— А еще что он делал?

— Еще? Ничего.

— Выскочка, — засмеялся кузнец. — Вот в самом деле великий царь!

— И опасный враг римлян! Ха-ха!

Собеседники дошли до большой площади. Одна ее сторона граничила с портовым кварталом, а другая, обращенная к крепости, была застроена дворцами знатных жителей

города. Около одной виллы, построенной в греческом стиле, толпился народ.

— Что там происходит, Анний? — спросил Боас.

— Эта вилла, — ответил он, — принадлежит сестре Агриппы; ее ожидают сегодня вечером из Цезареи.

— Это ты про прекрасную Веронику, — воскликнул Боас, — супругу Полемона Понтийского?

— Она уже давно удрала от него, — сказал Теофил, вмещиваясь в разговор. — Славная семейка, эти потомки Ирода. Братец высасывает кровь у своих подданных, чтобы задавать пышные пиры, а сестрица его, Вероника, бесстыднее Клеопатры и Мессалины.

— Ты лжешь, грек! — крикнул с бешенством Боас. — Вероника благочестивее всех жен иудейских. Я сам в этом убедился, когда весной прошлого года служил в Иерусалиме кузнецом при коннице Флора. Она произнесла обет благочестия, и ей при всех остригли в храме ее великолепные волосы.

— Остричь волосы! — воскликнул Теофил. — Какая глупость!

— Я еще видел ее, когда она молила пощадить свой народ Гессина Флора, иерусалимского наместника. Босая, в разорванном платье, она пошла навстречу пьяному Флору, который с руганью оттолкнул ее. Что за женщина! Мои глаза никогда не видали ничего более прекрасного!

— Однако, — насмешливо возразил грек, — парки уже довольно долго прядут нить ее жизни; ведь она только на год моложе Агриппы.

— Агриппа! — презрительно воскликнул Боас. — Ночи, проведенные в кутежах, отпечатлелись на его лице. У Вероники же, — восхищенно продолжал он, — нет ни складочки. Сама Афродита дала ей это лицо. Как сияющее солнце светит ярче бледного месяца, так она светит ярче всех, даже самых молодых красавиц!

Со стороны галилейской караванной дороги послышался шум, разговор прервался. Караван Вероники вступал в город. Пестро разодетые нумидийские всадники и скороходы открывали шествие. За ними шел конвой в сияющих золотом и серебром латах, а потом следовали двадцать арабских коней, подкованных золотом. Их вели конюхи. Затем, в двухстах роскошных колясках, следовала свита царицы: женщины, врачи, чтецы, актеры, домашние жрецы...

— Клянусь Юпитером, — воскликнул Боас, с изумлением глядя на пажей царицы, — я никогда не видал таких лиц! Скажите, друзья, откуда родом эти юноши?

Никто не мог ответить на его вопрос. Остроты глазающей

толпы доказывали, что это новейшее изобретение. Рима еще не дошло до Востока. Для греческого торговца это было первым предлогом показать свое превосходство.

— Они такие же люди, как и мы, — стал он объяснять, громко. — Но только им наклеили тесто на лица, чтобы уберечь кожу от холода и жары.

Оглушительный хохот последовал за его словами. Боас с изумлением глядел на них, а Теофил насмешливо аплодировал.

— Я все беру назад, — кричал он, подмигивая Боасу, — что сказал против Вероники. Вероника набожна, говорит Боас, очень набожна. Ага, да вот и ослицы Поппеи. И у нее они есть!

— Ослицы? Поппеи?

— Ну да. Поппеи, прежней супруги нашего божественного цезаря. Она открыла, что ежедневная ванна в молоке ослиц дает неувядаемую красоту. Вероника следует ее примеру. Истинно королевская затея! Да этих ослиц по крайней мере шестьсот штук. Если бы Поппея была жива, она велела бы задушить иудейскую царицу, потому что она сама могла себе позволить только каких-нибудь жалких пятьсот ослиц...

В эту минуту пронесли носилки, занавески которых были так плотно задвинуты, что невозможно было увидеть, кто в них находился.

Теофил, стоявший впереди других, сказал:

— Кто знает, может быть, в этих носилках сама благочестивая Вероника в тоске ломает нежные руки, скорбя о попранном величии своего безумного народа и о пошатнувшемся храме своего капризного Бога.

Боас нахмурился.

— Эй, ты! Побереги свой язык, назойливая оса! Бога иудеев почитают даже в Риме, и Веспасиан послал ему жертвы и дары.

— И все-таки он затеял против него войну?

Замечание это было столь метким, что кузнец ничего не смог ответить. Ему только захотелось вместо ответа опустить всю тяжесть своих могучих кулаков на голову маленького грека.

В самом конце шествия, в разорванных одеждах, посыпав пеплом распущенные волосы, шла высокая, стройная, величественно-прекрасная женщина, опустив вниз покрытую платком голову.

— Вероника! — воскликнул кто-то.

Толпа молча смотрела на нее.

Резкий голос греческого торговца вдруг нарушил эту тишину:

— Это она оплакивает свой народ, своего Бога, римляне! На ваших же глазах. Это насмешка над Римом! Зачем она явилась сюда? Каменьями ее, каменьями!

Толпа заволновалась, тысячи голосов повторяли страшный крик:

— Каменьями ее! Каменьями!

Вероника остановилась, презрительная усмешка появилась на ее губах. Она, казалось, ждала первого камня...

В эту минуту со стороны крепости раздались мерные шаги военного отряда. Все отступили. И только когда впереди показался воин в простом вооружении и пошел навстречу Веронике, напряжение разрешилось тысячеголосым криком:

— Да здравствует Флавий Веспасиан! Слава великому полководцу! Слава вечному Риму!

Вероника упала на колени и с мольбой протянула к нему руки. Он быстрым взглядом окинул пышность и богатство ее шествия, и на его суровом лице мелькнула улыбка. Он поднял Веронику и повел ее в крепость. У входа он остановился и посмотрел вверх ликующей толпы на то место, где стояла на коленях Вероника. Это казалось ему хорошим предзнаменованием: так же будут склоняться Иерусалим и Иудея перед Римом...

Глава II

— Саломея, сестрица, о чем ты опять думаешь? — спрашивала девочка лет четырнадцати, просунув тонкую головку с непокорными завитками на лбу в дверь женской половины дома.

— Это ты, Тамара? — спросила она, и звук ее голоса странно гармонировал с неподвижным, безжизненным выражением полузакрытых глаз на ее мертвенно-бледном лице.

— Я тебе не помешаю? — сказала девочка, проскользнув в комнату. — О, злая! — проговорила она с упреком, падая к ее ногам и обнимая ее. — Ты опять грустила. Почему? Разве ты не молода? Ты не больше чем на год старше меня. Хороша ли? Да рядом со мной ты как солнце рядом со скромной звездочкой. Умна ли? Недаром ты в этой огромной шумной Птолемаиде с ее чужестранцами, стекающимися отовсюду, научилась всем обычаям мира

А я в нашей тихой горной Гишале только тогда видела и слышала о чемнибудь новом, когда к нам являлся старый, угрюмый приятель отца купить масла для своих соплеменников, живущих среди язычников. Но я бы не хотела с тобой поменяться, если от красоты и ума глаза твои глядят так грустно, губы твои так редко улыбаются!

Саломея провела рукой по ее разгоряченному личику — Да сохранит тебе Бог твой веселый нрав, — мягко прошептала она. — Но меня ты не брани, я не родилась для радости.

Девочка весело засмеялась.

— Ты опять говоришь, как во сне, Саломея?

— Нет, это не сон, дитя. Разве ты забыла, что я испытала в жизни. Всем, кто относился ко мне с любовью, судьба приносила лишь зло. Это началось уже с моего рождения. Моя мать, сестра твоего отца, поплатилась за мое рождение смертью. Когда я была ребенком и играла с другими детьми на улице, я чуть не попала под лошадей мчавшейся римской конницы. Мой единственный брат увидел это, оттолкнул меня в сторону, и сам был растоптан безжалостными копытами. Тело его превратилось в бесформенную массу, и мы его даже не смогли узнать. Потом, по желанию отца, я стала невестой уважаемого члена нашей колонии, знатока веры, Иакова бен Иуды. В день нашей свадьбы, когда я уже готовилась к венцу, на нас напали язычники из Птолемаиды. Моего жениха забили среди площади камнями, а мой отец еще не излечился до сих пор от раны, которую ему нанес мечом языческий юноша, преследовавший меня своей любовью. Вот что было и что будет еще?

Она говорила это печальным голосом, влиянию которого не могла не поддаться даже веселая Тамара.

— Да, нам плохо пришлось, — ответила она серьезно, — когда язычники напали на нас. Все улицы покрыты были трупами, и я еще и теперь вся дрожу, вспоминая это ужасное зрелище. Но все-таки, — поспешила она прибавить, заметив, что Саломея снова впадает в задумчивость, — разве не безумие скорбеть о прошлых горестях, когда будущее предстает перед нами в таком радостном свете? Радуйся, дорогая, жизнь твоего отца спасена, и мы оставим этот безбожный город, как только он сможет отправиться в путь, и приедет за нами мой брат Рэгуель. А в Гишале, в доме моего отца, на чистом воздухе наших гор, твое лицо снова расцветет, и ты снова станешь петь веселые песни..

Саломея покачала головой.

— Никогда.

— Подожди, неверующая! — воодушевилась девочка. — Вот увидишь, я окажусь правой. Или скажи мне Ты его очень любила?

— Кого?

— Твоего жениха?

Саломея взглянула на нее с некоторым удивлением

— Любила? — Она произнесла это слово задумчиво как бы про себя. — Он был достоин уважения и был пред назначен мне отцом. Как же мне было не любить его?

Девочка откинула с досадой головку назад.

— Ты не хочешь меня понять, Саломея. Уважение и любовь, разве это то же самое? Вот, например, у нас есть в Гишале старый Ионафан бен Садук, богатый и очень почтенный человек. Когда он приходит к отцу, он мне приветливо улыбается, хлопает меня по щеке, приносит мне иногда цепочку или пряжку. Я его уважаю, очень уважаю. Но любить? Он горбат, косой, у него скверные зубы. Поцеловать его? Брр...

Она так смешно скорчила гримасу от отвращения, что на губах Саломеи невольно показалась легкая улыбка

— А что же ты называешь любовью, Тамара? спросила она, бессознательно поддаваясь легкому тону болтовни девочки.

Лицо Тамары приняло задумчивое выражение.

— Любовью? Он должен быть беден, совсем беден как Иов, а я богата, как Соломон. Тогда я взяла бы большой-большой мешок, наполнила бы его серебром, золотом и драгоценностями, пошла бы к нему и сказала вот, бери, все это твое. Разве он не поверил бы, что я его люблю?

— Ты его, да. А он тебя? Что, если он любит не тебя, а твое богатство?

Девочка опустила головку с печальным видом.

— Да да Это бы, пожалуй, выглядело, как будто я его купила. Ну, а как ты думаешь, если бы я была прекрасна, прекрасна, как Далила, и все мужчины лежали бы у ног моих и он также, а я пошла бы к нему и сказала: бери, вся моя красота твоя?

— А будет ли он тебя любить, когда ты станешь старой и уродливой?

— Старой и уродливой? Правда, — сказала она, озабоченно. — Одна красота еще не создает настоящей Любви Мне нужно еще быть мудрой, как царица Савская А он тоже должен был бы быть не глупым, простым, добрым человеком И если бы я писала стихи про него и книги

— Так он бы даже тебя не понял, дурочка. Бремя твоей мудрости придавило бы его к земле...

Темные глаза Тамары засветились гневом.

— Не понял бы меня! — воскликнула она, вскакивая, топнув ногой. — Тогда бы он был глуп, как... Ах, да, — прибавила она, успокоившись, — боюсь, ты права: мужчинам менее всего нужна умная женщина. Что же тогда любовь? Впрочем, я знаю.

— Ну, что?

— Любовь... Это безумие и величие, глупое и мудрое, смешное и серьезное, необъяснимое... О ней нельзя говорить, а можно только петь!

Она быстро проговорила все это, потом схватила цитру со стены, взяла несколько аккордов и пропела свежим, чистым голосом:

Для любви не нужно красоты, ума:

Счастье приносит нам любовь сама.

Нужно от блаженства про весь мир забыть,

Нужно только нежно, горячо любить...

Она хотела закончить веселым смехом, но ее голос вдруг дрогнул, так что Саломея с изумлением взглянула на странную девочку, которая неподвижно остановилась посреди комнаты и глядела куда-то широко раскрытыми глазами. Вдруг Тамара вздрогнула и, выронив цитру, упала на ковер с судорожным рыданием.

Саломея с испугом поднялась с подушек и наклонилась над плачущей девочкой.

— Что с тобой, дитя? — спросила она с искренней тревогой. — Доверься мне, ты знаешь, у тебя нет более верного друга, чем я!

Ласковые слова ее возымели свое действие, Тамара подняла голову и положила ее на колени Саломеи.

— Я так несчастна, так несчастна! — шептала она со слезами в голосе.

— Кто обидел моего милого, маленького жаворонка?

Слабая улыбка показалась на скорбном личике девочки и искривила тонкие губы.

— Твой жаворонок! Ах, Саломея, — снова вздохнула она. — Твой жаворонок уже не будет петь больше. Разве ты не заметила? Даже эта маленькая глупая песня застряла у меня в горле. Вся веселость моего сердца исчезла, вся беззаботность прошла. Ты удивляешься и качаешь головой. Ты этого не заметила, говоришь ты. Поверь мне, я только представлялась веселой. Я не хотела показать тебе, как

горько у меня на душе. Ты улыбаешься? О, если бы ты знала, Саломея!..

Она замолчала, как будто испугавшись чего-то страшного, и вся покраснела до корней волос.

— Но я не могу переносить одна все это, — снова сказала она. — Я должна говорить, если бы даже в этом была моя гибель — иначе у меня разорвется сердце!

— Да говори же, родная, говори!

— И ты не станешь смеяться надо мной, Саломея?

— Нет.

— Может быть, это покажется тебе детским, а все-таки...

Она опять остановилась в нерешительности и потом вдруг обняла подругу и сказала едва слышным голосом:

— Если бы ты знала, как я его люблю...

Саломея почувствовала, как задрожало хрупкое тело девочки.

— Скажи мне все, — прошептала она. — О ком ты говоришь? Я его знаю?

— Знаешь ли ты его, Саломея? Еще бы, конечно, знаешь. Мы обе обязаны ему спасением.

Саломея вздрогнула и широко раскрыла глаза, а щеки ее еще больше побледнели.

— Обязаны ему спасением? — повторила она.

— Ну да, разве ты не помнишь тот вечер, когда Веспасиан въезжал в Птолемаиду. Плотно закутавшись, мы пошли в портовый квартал, к Симеону, врачу нашей колонии, взять у него бальзама, масла и пластырь для твоего отца. На обратном пути, проходя мимо дворца городского управителя, мы вдруг натолкнулись на нескольких римлян с факельщиками впереди. Это были, по-видимому, знатные люди; за ними шла большая толпа клиентов.

— Это был Этерний Фронтон, приятель и вольноотпущенник Тита.

— Да, очень грубый, невоспитанный человек. Он, вероятно, возвращался с пирушки и качался из стороны в сторону. Мы хотели проскользнуть мимо них, как вдруг ты споткнулась.

— Об один из тех камней, — мрачно прибавила Саломея, — которыми незадолго до этого бросали в людей нашей общины.

— Пузырек с бальзамом, — продолжала Тамара, — выпал у тебя из рук, ты нагнулась, чтобы поднять его, твое покрывало откинулось, и свет факела осветил твое лицо. Этерний Фронтон устремил на тебя свой взгляд, как на

небесное явление. Глаза его засверкали, и он с отвратительным смехом схватил тебя за руку и потянул к себе. Ты молча сопротивлялась, я же забыла всякую предосторожность, забыла, что нам, евреям, угрожает смерть за обиду римлянина, и бросила повесе пластырь в покрасневшее лицо.

Она на минутку замолчала и, несмотря на свое грустное настроение, засмеялась при воспоминании об этом.

— Он зарычал, как тигр под ударом кнута, и велел своим людям схватить нас. И тогда в эту минуту, когда грубые руки рабов уже хватили нас, тогда появился он!

— Флавий Сабиний!

Саломея выговорила это имя так странно, что Тамара посмотрела на нее с изумлением. В голосе ее чувствовались и ненависть, и тайное влечение, и глубокое отчаяние...

— Флавий Сабиний, — повторила Тамара тихо, — как он был прекрасен тогда, когда воодушевленный благородным гневом он встал между нами и рабами. Как мужественно звучал его голос, сколько величия было в его осанке! Дерзновенные преклонились перед ним, как слабые колосья перед надвигающейся бурей. Даже надменный Фронтон должен был принудить себя скрыть под беззаботной улыбкой досаду на помеху, но я видела по его дрожащим губам, как он был взбешен, и мне было бы страшно за нашего спасителя, если бы он сам не был племянником Веспасиана. Но когда Флавий Сабиний, — она густо краснела, когда называла это имя, — повернулся в нашу сторону, как он вдруг изменился! В нем исчез повелительный тон, с которым он обращался к рабам. Это был кроткий защитник угнетенных, добрый покровитель женщин. Как он был добр, когда провожал нас в дом твоего отца, и как деликатно избегал упоминать об этом отвратительном происшествии. Я не понимала тебя, Саломея. Ты шла безмолвная, задумчивая рядом с нами и предоставляла мне отвечать на его вопросы. Ни единым словом ты его не поблагодарила, когда он прощался у наших дверей, и я сердилась на тебя за твою холодность...

Она остановилась, как бы давая возможность подруге оправдаться от упрека, прозвучавшего в ее словах, но Саломея молчала, и на ее прекрасном лице было то же замкнутое выражение, как и прежде Тамара посмотрела на нее с осуждением.

— И если бы ты знала, — заговорила она с воодушевлением, — как много он меня расспрашивал потом о тебе. Я его видела два раза после того. Если бы ты знала, что все

мы, твой отец, ты и я, обязаны нашей безопасности среди этого враждебного кровожадного народа только его заступничеству перед Веспасианом, ты бы, наверное, не была столь равнодушна и безучастна, Саломея!

Саломея внезапно преобразилась. Все ее тело задрожало, как будто эти слова ее смертельно ранили. Схватив судорожным движением Тамару за руку, она подняла ее с ковра и потянула за собой к узкому решетчатому окну. Она отдернула занавески, впуская свет зимнего солнца, и заговорила, задыхаясь от душившего ее волнения:

— Ты говоришь, я равнодушна и безучастна, Тамара, потому что я не внимала вкрадчивым словам римлянина? Да знаешь ли ты, каковы римляне?..

— Боже мой, Саломея, что с тобой? — бормотала девочка, с ужасом глядя на побледневшее, горевшее страстью лицо Саломеи.

— Слушай! — резко оборвала та. — Не время теперь для лекомысленной игры в любовь. Разве ты никогда не думала о том, почему Иоанн-бен-Леви, твой собственный отец, который может жить в богатстве и спокойствии, который болен и имел полное основание оберегать свое тело, почему он беспокойно мечется из города в город, почему он, миролюбивый купец, взял меч в руку, чуждую битвы? Разве ты не обратила внимания на то, что дети Израиля ходят с помутившимися глазами, озабоченными лицами, и ни одного слова веселья не слышно в их домах? Посмотри, как мать прощается с сыном, который уходит на несколько часов из дому. Она плачет и молится, не зная, увидит ли его вновь. И неужели ты ничего не знаешь о событиях в Иерусалиме, святом городе, и во всей стране? Из-за чего все это? Хочешь, я скажу тебе?

Она подвела изумленную девочку к окну.

— Видишь, вот Кармель, Божья гора. В течение целых веков Всевышний обитал в уединенном величии этой священной кущи. Туда Элия призывал народ пред лицо Божье и выстроил алтарь. И что же? Святилище покинуто, и если теперь кто-нибудь и подходит к нему, так это нечестивый язычник, вопрошающий о низменных личных интересах. Где верующие, которые прежде ходили поклоняться туда? Кто изгнал их огнем и мечом? Римляне... А там, видишь, огромный сад с могильными камнями и мавзолеями — прежде там было мало могил, Божья рука хранила и благословляла жителей Птолемаиды, а теперь — камень на камне, могила на могиле, не найдешь и местечка для могилы маленького ребенка. Все еврейское население Птолемаиды

перебралось на кладбище, и все они, немые обитатели этого подземного города мертвых, носят следы на своих телах. У одного тяжкая рана в груди, у другого голова пробита бревном, упавшим с горящего дома, у другого поломаны кости от града камней, которые бросала толпа. Кто убил их, спросишь ты? Римляне. Римляне убили моих отца и мать, брата и сестру, убили самое священное — моего Бога, и я — чтобы я полюбила римлянина?

Она высоко подняла руки и произнесла:

— Великий Бог, бог мести, властитель и судья мира! Восстань и отомсти надменным, как они того заслужили! Как долго будут гордиться эти нечестивцы и радоваться своим злодеяниям? Они уничтожили твой народ и надругались над твоим наследием. Они душат вдов и умерщвляют сирот. Отлично, говорят они, нужно истребить их, чтобы они не были больше живым народом, чтобы исчезло имя Израилево. Они заключили союз против Тебя и говорят: Господь этого не видит и Бог Иакова не обращает на это внимания. Но горе вам! Те, которые надеются на Господа, не падут, а будут вечны, как крепость Сиона. Иерусалим окружен горами, и Господь охраняет собой свой народ, и Он, Праведный, разрубит все нити нечестивцев, и позор покроет тех, кто восстал против Сиона. Господи, защитник мой! Из глубины души молю Тебя, поступи с ними, как с мидийцами, как с теми, которые были уничтожены в Эндоре и стали грязью земной. Пусть властители их будут, как Себа и Сальмуна, которые говорили: завладеем домами Божьими. Как огонь пожирает лес, как пламя зажигает гору, так покарай их, и пусть лица их покроются позором, чтобы они все более и более ужасались в душе и погибли в унижении. Тогда они узнают, что власть Твоя велика, что Ты единственный и высший властелин мира!..

Она остановилась в изнеможении, и вдруг — как будто бы Бог хотел дать понять, что он услышал ее мольбу, — внезапно засверкала молния и за ней последовал грохочущий удар грома. Из облака, висевшего над вершиной Кармеля, с внезапной быстротой разразилась ужасающая буря. Над морем и городом раскинулась непроницаемая тьма, лишь на минуту озаряемая синевато-желтым блеском молний, которые прорезывали пламенными полосами горизонт.

Тамара опустилась на пол и плотно прижала руки к лицу. Ей было страшно и бури, и горячности пламенных слов Саломеи. Она чувствовала себя такой несчастной в этот момент. Она уже не думала о Флавии Сабинии, прекрасном юноше, который победно овладел ее невинным сердцем

Саломея думала о нем, прикладывала сжатые руки к горячему лбу.

Серебристая мгла уже поднималась с Кишона там, где Вадди Мелек приносит ему весенние воды с галилейских гор. Нарастая и вздуваясь, она покрывала тихую зеленую равнину на берегу, поднимаясь к бледному небу и вступая в борьбу с близящимся светом дня. Уже первые лучи его покрывали розовым светом вечные снега Гермона, и утесы могучего Чермака окутывались пылающим пламенем. Вершин Кармеля лучи касались мягким поцелуем и спускались полосами к морю, шумящему тихо, словно сквозь сон.

Часовой у галилейских ворот Птолемаиды открыл тяжелые железные ворота и вышел, чтобы оглянуть дорогу утомленными глазами. Все было тихо, только издали, сквозь туман, слышался надвигающийся грохот колес и тяжелое дыхание лошадей.

— Деревенский люд, — бормотал солдат про себя. — Приехали взглянуть на въезд Тита. Глупый народ. Они рады даже врагу, если только он окружен блеском.

Он остановился и стал вслушиваться. Ему послышалось, что кто-то стонет от боли. Он тверже ухватился за копье, оправил ремень щита на плече и стал вглядываться в густые кусты, окаймлявшие дорогу. Звуки, казалось, исходили оттуда.

Вдруг все затихло, и солдат уже подумал, что он ошибся, но вот снова до него долетел звук, на этот раз, несомненно, похожий на предсмертный стон. Он осторожно подошел и раздвинул копьем кусты.

Там, лицом вниз, зарывая руки в землю от боли, лежал старик. Его длинные белые волосы слиплись от крови, простое крестьянское платье было разорвано. Солдат перевернул его концом копья, чтобы взглянуть ему в лицо. Глаза старика уставились на него остекленевшим взглядом, потом в них появился страх при виде римского вооружения, и он попытался подняться, но ноги не слушались его. Рана в плече его была слишком глубока, и потеря крови его обессилила. Он со стоном откинулся назад, и глаза его снова затуманились.

— Иудей, — презрительно сказал солдат, и хотел вонзить острие копья в грудь несчастного. Но потом передумал. — Да ему и так скоро конец. Жаль блестящей стали. От крови она ржавеет, а Сильвий, наш декурион, и так сердит на меня с тех пор, как Веспасиан на последнем смотре заметил пятно на моем шлеме...

Он сдвинул снова кусты над раненым и вернулся к воротам. Через несколько минут со стороны города к воротам подъехала небольшая группа всадников. Во главе ее был высокий молодой человек в белой тунике, на которой алела широкая пурпурная полоса — знак сенаторского звания. Ноги его были обуты в черные сандалии, стянутые четырьмя ремнями и украшенные золотой пряжкой в форме полумесяца.

— Сам Флавий Сабиний, префект ночной стражи, — воскликнул солдат и быстро ударил копьем о металлическую полосу, висевшую у ворот. Потом он вышел на середину ворот.

Воины выстроились в боевом порядке, а Сильвий, их декурион, выступил на несколько шагов вперед, чтобы передать префекту пароль.

— Удали твоих солдат, — повелел префект. — Мне нужно переговорить с тобой о важном деле.

Когда декурион исполнил поручение, Сабиний отошел с ним в сторону и продолжал:

— Надеюсь, друг, я могу довериться твоей преданности Сильвий приложил руку к груди и поклонился.

— Моя жизнь к твоим услугам, господин, — ответил он просто.

— Даже если мои повеления опасны и трудны?

— Повелевай.

— Так слушай. Сегодня или, может быть, завтра будет просить входа в эти ворота один иудей, молодой человек с тонким лицом, одетый в платье галилейского купца; с ним будут два спутника. Ты вступишь его, но только ночью и так, чтобы никто не видал. Тогда же проведи его прямо ко мне и вели дать мне знать через Лепида, моего раба, если меня не будет дома.

— А если чужестранец откажется от моих услуг? Ты ведь знаешь, как иудеи нам, римлянам, не доверяют?

— Тогда шепни ему одно имя, и он последует за тобой

— Какое имя, господин?

Флавий Сабиний оглянулся на свою свиту. Они были достаточно далеко, и все-таки префект наклонился к декуриону и чуть слышно шепнул ему:

— Иоанн из Гишалы.

Сильвий отшатнулся с ужасом

— Галилейский мятежник?! — воскликнул он. — Ты хочешь оказать содействие приверженцу врага римлян?

— Не так громко, Сильвий, — тревожно сказал префект — Конечно, это так, как ты говоришь, но ведь дело

идет о войне. Сюда явится Регуэль, сын Иоанна. Ты поражен? Пойми, в чем дело. Помнишь, мы как-то бродили с тобой по улицам Клавдиевой колонии?

— Да, и ты скрылся потом в саду Иакова бен Леви, еврея, торгующего оливковым маслом, — сказал Сильвий с усмешкой. — Я ведь тогда был верным часовым, охранявшим Флавия Сабиния, которого ждали там нежные девичьи объятия..

— Да ты разве знал? — пробормотал Флавий удивленно.

Сильвий усмехнулся.

— Римский солдат, — сказал он шутливо, — имеет не только глаза, чтобы видеть, но и уши, чтобы слышать. А сквозь шелест листьев мне слышался иногда серебристый девичий смех.

— Я этого не отрицаю, — ответил Флавий Сабиний, — да, я там виделся с иудейской девушкой. Как это случилось, я тебе объясню потом. Моя просьба имеет отношение к той девушке. Регуэл, сын Иоанна из Гишалы, ее брат.

— А он едет за ней...

— Да. Если бы жители Птолемаиды или кто-нибудь из любимцев цезаря узнали, что дочь мятежника среди нас..

Он не договорил. Его лоб нахмурился при мысли об опасности, которой подверглись бы Саломея и Тамара, если бы Этерний Фронтон узнал о них.

— Если девушка красива, тем хуже. Иудейки в цене. Потому, господин, поторопись спрятать для себя красоту, — посоветовал Сильвий.

Флавий Сабиний изумленно взглянул на него. Внезапная краска залила ему щеки.

— Не полагаешь ли ты, что у меня что-нибудь дурное в мыслях? Помоги же мне...

Вдруг с другой стороны ворот послышалась громкая перебранка. Они поспешили туда.

Старик, лежавший в кустах, дотащился до часового и там опять упал в изнеможении. Солдат с ругательствами ударил его копьем, чтобы заставить его подняться: приближалось идущее из города длинное шествие. Посредине шли рослые рабы и несли открытые носилки. В них Флавий Веспасиан отправлялся в укрепленный лагерь ожидать прибытия своего сына Тита. По донесениям, принесенным гонцами, Тит должен был вскоре прибыть по дороге, шедшей вдоль морского берега из Александрии, через Пелузий, Газу, Ябнеель и Цезарею.

— Прочь с дороги, иудейская собака! — выругался сол-

дат и всадил конец копья в ногу старика, который вскочил, захрипев от боли. — Если бы я знал, что ты, как и все ваше гнусное племя, живуч, как кошка, я бы уже давно своим копьем избавил тебя от мучений...

Он собирался нанести второй удар копьем, но Флавий Сабиний удержал его.

— Как ты смеешь, Фотин? — крикнул префект, дрожа от гнева. — Разве ты не знаешь, что Веспасиан справедлив ко всем.

Солдат с изумлением взглянул на него.

— Но, господин, — сказал он удивленно, — ведь это иудей.

— Будь он тысячу раз иудей, он все-таки человек. И вот что я тебе скажу. Если ты хочешь уберечь себя от фустуария*, возьми этого иудея, которого ты так презираешь, и отнеси в караульный покой. Там я перевяжу его раны.

— Я свободный гражданин, — проворчал Фотин, заложив руки за спину.

Лицо префекта побагровело.

— Ты солдат, и теперь военное время! Отними у него оружие, Сильвий, — приказал он. — И скажи Центуриону, чтоб его отправили таскать тюки..:

Сабиний наклонился к раненому; только слабое дыхание обнаруживало присутствие жизни в теле.

Префект позвал декуриона, чтобы с его помощью поднять умирающего. В этот момент Фотин бросился вперед, упал на колени среди улицы и, воздев руки, стал кричать.

— Правосудия! Правосудия!

Веспасиана в это время проносили в носилках через ворота. Услышав крик, он приподнялся и спросил, в чем дело. Флавий Сабиний подошел, чтоб дать ему объяснение.

Полководец выслушал его, не прерывая. Потом легкая усмешка показалась у него на губах.

— Фотин, — сказал он солдату, — ты заслужил наказание за непослушание начальнику, за это ты восемь дней будешь есть ржаной хлеб вместо пшеничного. Но все-таки твое усердие похвально, и за ненависть к врагам я дарю тебе это запястье. Большую цепь ты можешь заслужить себе в бою...

Он снял золотое запястье и отдал его солдату, который гордо выпрямился и бросил торжествующий взгляд на префекта.

* Позорное наказание, состоявшее в ударах плетью. В мирное время ему подвергали только рабов.

— Не забывай, племянник, что полководцу не следует подавлять ненависти своих воинов к врагам, — сказал Веспасиан.

— Прости, дядя, — ответил Флавий Сабиний, и губы его задрожали от негодования, — я не знал, что мы ведем войну со стариками, женщинами и детьми.

Из носилок послышался смех. Посмотрев в ту сторону, префект заметил Этерния Фронтонна, который ехал с полководцем.

— Неужели ты так презираешь жриц Афродиты, Флавий, — воскликнул вольноотпущенник. — Не забывай, что Епафродит, покровитель учителей истории, рассказывал нам про иудейку Юдифь, которая отсекла голову Олоферну. Но я знаю, ты недоступен стрелам Эрота. Минерва и мудрость греческих философов слишком опутали твой разум и в сердце твоём нет места восторгу перед поясом, головной повязкой, а тем более запястьем красивой девушки...

Флавий понял его намек на свое ночное приключение с Тамарой и Саломеей, но был слишком горд, чтобы отвечать в том же тоне. К тому же все его внимание было поглощено раненым, которому Сильвий пытался влить в рот глоток воды. Старик очнулся и растерянно глядел на воинов, окружавших его. Он вдруг поднял обе руки, потом произнес несколько бессвязных слов:

— Иоанн из Гишалы! Они идут, они идут! — И со стоном упал на руки Сильвию.

Веспасиан приподнялся, и глаза его засверкали.

— Иоанн из Гишалы, — проговорил он. — Не его ли Марк Агриппа называл самым деятельным врагом Рима?

Этерний Фронтон утвердительно кивнул.

— Позволь мне, господин, — сказал он, — остаться и заняться раненым. Это несомненно шпион, подосланный врагами...

Веспасиан, соглашаясь, кивнул. Фронтон, однако, не уходил.

— Ну что еще? — нетерпеливо спросил Веспасиан, давая знак продолжать путь.

— Может быть, ты сочтешь удобным, чтобы Флавий Сабиний взял на себя должность чтеца. Вспомни, что я говорил тебе о его слабости к иудеям...

Их глаза на мгновение встретились, потом вольноотпущенник вышел из носилок.

Веспасиан позвал префекта.

— Прошу тебя, племянник, — ласково сказал он, — по-

будь со мной и помоги мне справиться с несколькими делами.

— А Этерний Фронтон? — спросил Флавий Сабиний, едва сдерживая свое неудовольствие.

— Я ему поручил исследовать это дело, — холодно сказал полководец.

Префект должен был повиноваться желанию дяди.

— Будь осторожен, — прошептал он Сильвию, проходя мимо него. Потом они сели в носилки рядом с Веспасианом. Шествие двинулось вперед.

Сильвий обернулся к вольноотпущеннику и, указывая на иудея, спросил:

— Что прикажет Этерний Фронтон?

Тот наклонился к раненому.

— Он недолго протянет, — сказал он. — Отнесите его в караульный покой, а ты, Сильвий, приведи скорее врача. Нужно чтобы он очнулся, а говорить уж я его заставлю...

Глава III

— Не понимаю тебя, Вероника, зачем ты так прямодушна с Веспасианом? Ты ведь понимаешь, в каком опасном и двойственном положении очутились я и весь мой дом из-за этого мятежа.

Вероника пожала своими белоснежными плечами, выступавшими из платья с глубоким вырезом, и даже не переменила положения.

— А кто же, если не ты сам, поставил себя в это положение? Нужно было или встать полностью на сторону римлян и всеми силами подавить восстание в самом зародыше, если это было возможно, или же нужно было последовать моему совету, и встать на сторону своего народа, поднять всех против дерзкого вторжения Рима и самому в конце концов возложить на себя корону Азии...

— Опять ты с этими дерзкими замыслами?

— Чем они плохи? Разве наш отец не к тому же стремился? Ты сам ловко сумел усыпить подозрение Рима, и тебе нужно было только объединить всех властителей, стонущих под игом Рима. Тогда было бы легко задушить безумного императора-актера. По одному твоему знаку все сердца забились бы для тебя, и все вооружились бы для твоей защиты.

Агриппа насмешливо засмеялся.

— Кто этот народ? Несовершеннолетние или мечтате-

ли. Они сами не знают, чего хотят — сегодня одного, завтра другого. И неужели ты говоришь это серьезно? Прежде ты так не думала.

Вероника откинулась назад и мечтательно глядела вдаль.

— Прежде я была легкомысленным, жизнерадостным существом, — тихо сказала она. — Я жила только мыслями о своей красоте и о веселье. Что знала я об отчизне, о вере в Бога? Мир казался мне садом, благоухающим для меня, приносящим плоды для одной меня. Только когда наступило то страшное время в Иерусалиме, я стала понимать, что значит долг, и узнала, что сад жизни не может приносить ни цветов, ни плодов, если его раньше не засеять и не возделывать его. А кто же это делал? Не мы, а как раз те жалкие люди, которых убивали потом у нас на глазах. Разве эти бедняки не имели права требовать тоже своей части общей жатвы?

Агриппа усмехнулся.

— Вижу, — сказал он, — что во время твоего одиночества в Цезарее ты опять занималась чтением греческих философов...

Она его не слушала.

— И если, — продолжала она с возмущением, — если мы так жестоки и себялюбивы, что ставим свое благо выше блага других, то почему не оставить по крайней мере этим несчастным веру в награду в другом мире, ожидающую их там за все их труды и мучения? Зачем заменять эту блаженную детскую веру призрачными богами Египта, жалким гереческим Олимпом и каменными идолами Рима? Наш народ силен и непобедим именно тем, что он должен отстаивать величайшие блага человеческой души от животных страстей Рима. Тут идет война не из-за светских выгод, война за самое великое — за Бога!

Казалось, она упивалась своими собственными словами. Она вскочила в порыве негодования и встала перед братом, высоко подняв правую руку. Ее длинное темное одеяние придавало ее высокой гордой фигуре что-то пророческое.

— А теперь, — продолжала она с горечью, — вместо того, чтобы думать и сожалеть о легкомыслии минувшего, вместо того, чтобы преклониться перед великой силой народа, ты еще жалуешься на меня. Ты говоришь, я возбудила подозрения этого римского наемника, Флавий Веспасиан! Да кто он такой, чтобы глаза иудейской царицы, внучки великого Ирода, следили за движением его ресниц? Он мог побеждать ленивых и невежественных бриттов и германцев,

но тут перед ним нечто иное, святое. В суеверном страхе он старается жалкими жертвами снискать расположение этой святыни, но, если бы он даже победил, Бог Израиля сотрет его своей рукой с земли и не останется следа от него...

Она произнесла эти слова страстно и гневно и опустилась в изнеможении на подушки. Насмешка Веспасиана при встрече оскорбила ее и возбудила всю гордость царицы из рода Ирода, всю гордость ее народа, который с брезгливостью отворачивался от всех, не познавших истинного Бога. Веспасиан шутливо укорял ее за то, что она не стала римской гражданкой.

— Рим покорила весь мир, а Вероника покорила бы Рим, — сказал он.

Она гордо выпрямилась и ответила дрожащим от гнева голосом:

— Вероника — царица и иудейка.

Тогда он расхохотался и сказал:

— Царица — это ничего, иудейка — это кое-что, а римлянка — это все.

Эти слова еще жгли ее душу, и ей казалось, целая река крови не смогла бы смыть ее позора.

Агриппа побледнел от внезапных гневных слов сестры. Глаза его беспокойно забегали. Неожиданная перемена в легкомысленной женщине, которая вдруг стала фанатически преданной Богу, казалась ему опасным препятствием для его планов. Но он знал средство склонить ее на свою сторону. Он наклонился к разгневанной женщине и прижался к ней щекой к щеке, как это делал всегда, когда просил ее о чем-нибудь. Он знал, что это льстило ее гордости, и что ее можно было покорить внешней покорностью ее воле.

В этот момент сходство сестры и брата было поразительно. То же благородство линий и тот же отпечаток чувственности — сочетание, которое составляло прославленную красоту потомков Ирода. Но те же черты, сильные и энергичные у Вероники, были у Агриппы слабыми и вялыми. Природа, как бы следуя странному капризу, дала женщине то, что должна была дать мужчине, и наоборот.

Вероника позволила брату погладить свои пышные волосы и приложить узкую холодную руку к ее вискам.

— А я, ты думаешь, — сказал он почти шепотом, — легко сношу унижение? Во мне тоже течет кровь наших предков. И во мне тоже что-то возмущается, и мне хочется уничтожить всех вокруг. Но я прошел тяжкую школу и научился сдерживать гнев. Когда отец наш умер, царство его

было могущественным и раскинулось гораздо дальше границ наследия Иродова. Но я был молод, жил в Риме, меня там держали заложником, обеспечивающим верность отца. У меня все отнимали и посылали римских наместников туда, где ждали меня, законного властелина. Тогда я понял, что с Римом нельзя честно бороться. Я притворился покорным. Ты знаешь, чего я этим достиг. Клавдий поддался моей хитрости и отдал мне после смерти Ирода, нашего дяди и твоего первого супруга, его царство в Халкиде. Тогда я стал неустанно действовать и добился того, что мне поручен был надзор над иерусалимским храмом. Это важный шаг вперед — он привел меня в соприкосновение с народом наших предков. Клавдий умер, я предусмотрительно оказывал услуги Нерону и его матери, и мое влияние усилилось. Я все ближе подвигался к Иерусалиму, мне бы несомненно дали во владение Иудею, если бы не этот проклятый мятеж. Не напрасно ведь я добился дружбы прокураторов, не напрасно укрепил доверие цезаря подарками и преданностью. Увеличивалось мое влияние на соседей. Наши родственники, Тигран и Аристокл, получили через меня Армению. Король Ацица Эмесский женился на одной из наших сестер, Друзилле, а Алабарх Деметрий Александрийский женился на другой сестре, Мариамне. Ты вышла замуж за Палемона, царя сицилийского. Более того, я знал, что недалеко время, когда можно будет начать мщение. Нужно было подготовить народ. Я приблизил к себе самых видных людей, посвятил их в свои планы. Все они были на моей стороне и готовы были содействовать мне. А теперь пропала долголетняя работа, тщательно подготовленные в течение долгих ночей планы уничтожены, разбиты несколькими безумцами, которые в своем ослеплении считают римлян карликами, а себя великанами. Даже Юст, мой собственный тайный секретарь, увлекся и проповедует открытую войну против императора.

Он вдруг захохотал и сжал кулаки. Вероника поглядела на него с жалостью.

— Бедный Агриппа, — сказала она и погладила его по лицу. — Вот видишь, к чему привела тебя твоя римская змеиная мудрость. Если бы ты раньше попробовал узнать свой народ, который так презираешь, ты бы знал, что нельзя легкомысленно играть его святынями. Твоя ошибка в том, что ты призвал к себе на помощь жрецов храма.

— Без них нельзя было бы ничего сделать...

— Знаю, но Бога следовало касаться лишь в последний момент, когда все другое было бы готово

Агриппа в отчаянии закрыл лицо руками.

— Ты права, все потеряно. Мы должны перейти на сторону римлян!

— Против родины, Агриппа, против Бога?

Его глаза безумно глядели вдаль. Он сам был потрясен мыслью о низком предательстве своего народа.

В его душе, испепеленной суетной жизнью Рима, горела еще искорка преданности вере его отцов. И разве он сам не имел твердого намерения тогда, когда осуществляются все его планы и он сможет назвать себя властелином Азии, раздуть эту искру в пламя и стать тем, чего таинственно ждали иудеи в течение всей своей истории, тем, что, казалось, осуществилось на минуту в его отце. Избранником Божиим, царем и служителем Божиим. Страданиями купить величие... А теперь?! Он сжал губы в бессильной злобе.

Веронике казалось: все величие ее дома, а с ним весь народ израильский окутывались серым густым туманом.

Агриппа рассказал ей, что все члены тайного союза отказались от него потому, что Веспасиан взглянул на них своим холодным пронизывающим взглядом. Рим обвиняет его в измене, Юст схвачен Веспасианом, и ему грозят смертью, если он во всем не сознается. Юст же знал все его планы, и по его поручению собрал вокруг себя бунтовщиков Тивериады. Хотя открытый мятеж вовсе не был в намерениях Агриппы, но враги обвиняли его и в этом.

Веспасиан, казалось, верил им. Была несомненная преднамеренность в том, что он повел Агриппу смотреть на казнь солдата, ослушавшегося своего начальства.

— Так Рим наказывает мятежников, — сказал он, и злобная угроза светилась в его глазах, устремленных на царя

— Вот почему, Вероника, — закончил Агриппа с искаженным от ужаса лицом, — я позвал тебя. Ты мне уже помогала умным советом и быстрыми решительными действиями. На этот раз я тоже молю тебя...

Сестра взглянула на него с некоторым злорадством.

— Что же может сделать такая слабая женщина, как я, — сказала она.

— Ты одна можешь спасти меня, — прошептал Агриппа, — в погребах твоих замков скоплены несметные богатства, а Веспасиан любит деньги. Ты красивее всех римских женщин, умнее и обаятельнее Клеопатры. А Марсия, жена Тита, холодна и ему ненавистна. Если бы ты захотела, тебе было бы легко... приветливо взглянуть, улыбнуться, удержать подольше руку в руке. Прежде чем он успел бы оглянуться, бедняга лежал бы у ног твоих и был бы сча-

стлив, если бы ему дозволено было поцеловать край одежды богини. И все это ни к чему не обязывает. Когда веселая игра надоела, ее прекращают. Да ведь вы, женщины, знаете это в сто раз лучше, чем мужчины. В этом вся ваша жизнь, то оружие, которым вы ведете войну...

Лицо Вероники изменилось, когда брат заговорил с ней легким тоном. Грозная складка между бровей исчезла, она опустила длинные ресницы, из-под них блеснул торжествующий взгляд.

— Это опасное, иногда обоюдоострое оружие,— пробормотала она.

Агриппа напряженно смотрел на нее.

— Я лучше знаю Веронику,— медленно произнес он.— Она не положит руку в огонь, который сама зажгла. Она будет спокойно смотреть на сгорающего там врага и потушит своими нежными пальчиками остатки тлеющей золы.

Голос его становился все более и более вкрадчивым, было какое-то обаяние в его мягком, мелодичном звуке — как во взоре змеи, которая гипнотизирует свою жертву. Вероника даже не тронулась с места, когда она закончила говорить. Она только тихо положила свою полную белую руку под откинутую голову, и грудь ее учащенно поднималась и опускалась.

— А если я исполню то, чего ты желаешь?

Он пристально взглянул в ее глаза.

— Только одного Веспасиана цезарь еще уважает и боится. Он единственный может принести вред Иудее и нам. Веспасиан же любит своего Тита до безумия. Если Тит скажет, что обвинение против Агриппы ложно, Веспасиан скажет то же самое. Если Тит будет того мнения, что войну надо вести осторожно, чтобы оставить противникам время для раскаяния,— Веспасиан будет того же мнения, и если Тит сочтет Агриппу подходящим, достойным правителем Иудеи,— Веспасиан возвестит цезарю, что Агриппа единственный человек, кому следует доверить это место

— Ну, а дальше?

— Затем Тит будет правителем Сирии и глаза Тита будут устремлены на улыбку Вероники. Он не заметит, как властители Азии снова соберутся вокруг Агриппы, он не услышит звона оружия, которым иудейский народ снова начнет опоясываться, не увидит, как стены Иерусалима будут возвышаться до небес и как на вершинах гор поднимутся крепости, а в гавани появятся тысячи гребцов, управляющих флотом Агриппы

— А потом?

— Потом Вероника откроет хранилища своих богатств, и, как подземный поток, золотая река разольется, заливая далекую Британию, Галлию, Германию. И повсюду восстанут варвары против Рима. А когда все поднимутся на Рейне, Дунае и у Гальского моря, когда солнце Азии, Африки и Эллады будет уже редко освещать римского орла, тогда Вероника взойдет на самую высокую ступень священного храма иерусалимского и, как пророчица, издаст трубные звуки, перед которыми падет иго римлян, как некогда пали иерихонские стены.

Неужели позор может породить славу?

А ее покроет позор, если она, надругавшись над божеским заветом, отдастся врагу и язычнику. Неужели величие может быть куплено позором? Она невольно сделала отрицательный жест.

Агриппа не обратил на это внимания. Он спешил объяснить Веронике, чего он смертельно боялся. Завтра день обвинения и суда. До тех пор все должно быть сделано. Тотчас по прибытии Тита Веспасиан отправится с ним на вершину Кармеля вопрошать иудейского Бога о решении судьбы. Там все должно свершиться. Он ей это предоставляет. Ее дело воспользоваться минутой.

Она едва слышала его слова. Совершенно бессознательно она поднялась и направилась к выходу.

Агриппа следовал за ней.

Тогда жесткая складка появилась у ее губ и она презрительным взглядом окинула брата. Он отшатнулся и долго с изумлением смотрел ей вслед. Потом он улыбнулся.

— Она все-таки согласится.

Глава IV

— Воды, — простонал старик.

Врач вопросительно взглянул на Этерния Фронтонна.

— Какой живучий, — проронил тот, отрицательно качая головой, глаза его сверкнули холодной насмешкой.

Сильвий дрожал от негодования, ставя на место уже взятый им в руки кувшин с водой.

Это было ужасно.

Врач перевязал рану иудея и дал ему лекарство, чтобы сохранить в нем сознание. Тогда к нему подошел Этерний Фронтон и стал допрашивать, откуда он пришел, что ему нужно в Птолемаиде, и состоит ли он в сношениях с Иоанном из Гишалы.

Старик крепко сжал губы, чтобы не испустить ни звука, глаза его с презрением глядели на римлянина.

— Будешь ты отвечать? — спросил тот.

Раненый только улыбнулся.

Вольноотпущенник тоже улыбнулся зловещей улыбкой. Потом он сказал врачу одно только слово.

— Соли...

Сильвий это слышал и побледнел, а врач с ужасом отшатнулся от Фронтонна. Но тот еще раз сделал ему знак головой — властный, нетерпеливый, угрожающий.

Дрожащими руками врач снова развязал повязку и положил на рану платок, пропитанный соленой водой.

Это было час тому назад. Тело его извивалось в страшных судорогах, со лба струился холодный пот, и глаза выступали из орбит. Внутри у него горело адское пламя, от которого высыхал язык.

— Воды! Воды!

— Будешь говорить?

Вопрос повторялся уже сто раз, и каждый раз старик в ответ сжимал кулаки и пробовал улыбаться презрительно и насмешливо. И каждый раз Этерний Фронтон делал знак врачу.

— Еще.

Врач прибавлял соленой воды, но старик молчал.

— Жаровню с углем, Сильвий.

Декурион не смел слушаться. Фронтон зажег собственными руками древесные уголья и стал их раздувать.

Потом он поставил их под лавку, на которой пытали старика.

Старик стал рваться, стараясь высвободить руки и ноги из ремней. Он скрежетал зубами и рычал как зверь

— Будешь говорить?

Черное облако опустилось на глаза иудея

— Спрашивай! — крикнул он.

Этерний Фронтон немного отодвинул жаровню.

Барух заговорил.

Он отправился в Птолемаиду с Регуэлем, сыном Иоанна из Гишалы, за сестрой Регуэля, Тамарой, которая жила в доме своего дяди, торговца оливковым маслом, Иоанна бен Леви. Нужно было доставить семью в Гишалу, где им не грозила бы опасность, и в то же время Барух и его спутник должны были привести точные сведения о величине и состоянии римского войска и о планах Веспасиана. В конце их пути на них напала конница галилейского наместника, Иосифа бен Матия. В неравном бою пали

Регуэль и Элиазар. Барух же, тяжело раненный, упал на землю и пролежал всю ночь в обмороке. Только утренний холод привел его в сознание. Припомнив случившееся, он стал озираться, ища своих спутников. Но он нашел только мертвого Элиазара. Регуэль исчез. Огромная лужа крови обозначала место, на котором его повалил наземь ударом меча Хлодомарь. Остался ли Регуэль в живых и уведен всадниками наместника или же он смог продолжать путь в Птолемаиду? Этого Барух не знал.

Больше он ничего не мог сказать. Кровь хлынула у него из горла и заглушила звуки его голоса.

Этерний Фронтон некоторое время внимательно смотрел на него. Потом он уступил место врачу, который старался облегчить страдания старика, истерзанного пыткой.

— Ничего не поможет, — сказал он. — Да теперь все равно. Ведь он все сказал. Веспасиан будет благодарен богу случая, который предал в его руки семью его злейшего врага. Безумствуй, Иоанн из Гишалы, против Рима! Всякий новый меч, который ты поднимешь против Рима, опустится на голову твоего сына...

Он хладнокровно смотрел на судороги умирающего.

Старый иудей облегченно вздохнул, когда врач развязал ремни. Его потухающий глаз следил за светлым солнечным лучом, который врывался в окно.

— Фотин, — сказал Этерний Фронтон одному из стражей, — приготовься идти со мной. Я отправлюсь к Иакову бен Леви, торговцу оливковым маслом. «Было бы забавно, — прибавил он про себя, — если бы Тамара, дочь Иоанна из Гишалы, была тем маленьким чертенком, который сыграл со мной такую штуку в тот вечер».

Вероника быстро прошла длинный ряд своих покоев. Она была полна ненависти к еще недавно так нежно любимому брату. Так вот зачем он ее звал сюда! Он хотел продать ее, как уже продал раз, когда выдал замуж за Палемона Понтийского, как продал и двух ее других сестер. И все это он делал из честолюбия, только для того, чтобы достигнуть женской хитростью того, чего можно было лишь добиться смелым мужественным поведением. Но на этот раз он увидит...

Когда она вошла в последнюю комнату, навстречу ей метнулась фигура эфиопа, любимого раба Вероники. Резкий нечленораздельный звук вырвался у него при виде Вероники. Эфиоп был немым. Он был подвергнут Агрип-

пой наказанию за то, что выдал тайну. Вероника сжалась над умиравшим после пытки рабом, и благодаря ее заботам а также искусству врача Андромаха удалось сохранить его жизнь. Странные отношения установились с тех пор между госпожой и рабом. Казалось, он читал каждую самую сокровенную ее мысль.

Вероника положила ему руку на плечо и повелительным жестом указала на стену.

Он ее понял. Отбросив ковер, он уперся всем своим могучим телом в один из камней стены, пока тот, повернувшись на скрытой оси, не открыл узкий проход, который вел в какую-то комнату. Потом эфиоп отступил назад и наклонился, чтобы поцеловать край одежды Вероники. Вероника ласково потрепала его курчавые волосы и взглянула на него повелительно, указывая пальцем на стену. Потом она исчезла в проходе.

Вероника бесшумно прошла в скрытый покой и подошла к ложу, спрятанному за пологом. Андромах, ее лекарь подошел к ней с поднятой предостерегающе рукой

— Он еще спит, — прошептал он.

Она кивнула головой и осторожно опустилась на стул увешанный золотыми цепочками.

— И у тебя еще есть надежда, Андромах? — спросила она тихо

— Я еще раз осмотрел его раны, — ответил врач — Жизнь его вне опасности. Он бы давно уже проснулся, если бы не был истощен сильной потерей крови

Она сделала ему знак замолчать и наклонилась, чтобы лучше рассмотреть раненого.

Как он был прекрасен! Вероника нагнулась к полураскрытым устами юноши как будто бы для того, чтобы впитать аромат его дыхания. Но в это время он пошевелился. Веки его широко раскрылись, он блаженно улыбнулся, и губы его прошептали «Гелель, это ты? Такой я видел твою красоту когда она сияла надо мной в долгую ночь. Она освещала мне путь к звездам, к тебе, Гелель, о Гелель!»

Руки его потянулись к ней, и она невольно отступила. Он вскрикнул и поднес руку ко лбу. «Ее уже нет, — простонал он, — она ушла от меня!»

Только тогда к нему вернулось сознание, и он понял, что не спит. Но неужели этот дивный женский образ, явившийся ему, был тоже правдой?

Вероника медленно отдернула тяжелую занавеску с маленького решетчатого окна, и дневной свет залил комнату. Потом она раздвинула полог у его постели

Он приподнялся, и пламенный румянец залил его бледные щеки.

— Если ты будешь так волноваться, — сказала Вероника с мягким упреком, — я буду вынуждена уйти.

— О, я буду лежать совсем спокойно — молил он, — только подожди, не уходи!

Она подвинула свой стул к постели и мягким движением откинула голову Регуэля на подушки. Ее прикосновение обожгло его.

Вероника с улыбкой следила за ним. Опять красота ее победила, как всегда и везде. Перед ней стояли на коленях мужи Рима. Ей поклонялись властители Азии. Перед ней мятежная иерусалимская толпа отступала в благоговении, и ей же поддался теперь этот неопытный мальчик. Каждый его робкий взгляд, дрожащий звук его голоса, смущенный румянец ясно говорили о его чувствах. Она вздохнула. Ей казалось, что в его нежных чистых чертах воскресла ее юность — то время, когда она играла с другими детьми во дворце отца. С тех пор ее жизнь стала погоней за успехом, унижительным служением чужим интересам, и она уже перестала внимать побуждениям души. Но здесь перед ней была незатронутая жизнью душа, полная веры и чистоты. Как бы ей хотелось вылепить мягкий воск этого молодого, неиспорченного сердца по собственному желанию. Но разве мыслимо, чтобы Регуэль когда-нибудь узнал, кто его спасительница? Иоанн из Гишалы был самым ее строгим судьей, беспощадно осудившим ее. Неужели Регуэль не разделяет мнения своего отца?

Накануне, когда она и свита ее встретили Хлодомара и узнали от него имя захваченных путников, она решила удержаться от всякого вмешательства. Но потом она взглянула в лицо потерявшему сознание юноше и вдруг почувствовала непреодолимое влечение к нему. Она потребовала, чтобы Регуэля отдали в ее распоряжение. Хлодомар повиновался, хотя и очень неохотно; но он знал отношения своего господина к царскому дому и понимал, что, если не исполнить просьбу Вероники, она сумеет ему отомстить.

Так Регуэль оказался у Вероники.

И теперь — каким торжеством будет для нее влюбить в себя сына того человека, который так гнушался ею.

Нет, Регуэль не должен знать, кто она, кому он обязан жизнью. Она выпрямилась и взглянула на юношу тем пламенным взором, перед которым еще никто не мог устоять до сих пор. И она поняла, что он тоже не устоял.

— Ты ничего не спрашиваешь? — прошептала она. — Тебе не хочется узнать, как ты попал сюда, в Птолемаиду?

— В Птолемаиду?

Он хотел вскочить, но она прикоснулась к нему рукой так легко, что он едва почувствовал прикосновение. Она рассказала, что нашла его среди дороги, в руках грабителей; они общаривали его платье, ища драгоценности. Когда приблизилась ее вооруженная свита, они разбежались и она благодарила Бога за то, что ей удалось спасти соплеменника.

Глаза Регуэля зажглись радостным блеском.

— Так ты иудейка? — спросил он.

— Как и ты, — спокойно подтвердила она и улыбнулась, заметив, что он облегченно вздохнул.

— Но каким образом, — спросил он с недоумением, — решаешься ты выходить из города на дорогу, где даже отважным мужчинам угрожает опасность? Я трепещу при одной мысли о том, что ожидало бы тебя, если бы ты попала в руки одного из этих нечестивых римлян...

Она вспыхнула.

— Разве ты так мало знаешь, как иудейки дорожат своей честью? — сказала она. — Знай, прежде чем римлянин сделал бы меня своей возлюбленной, вот этот последний друг нашел бы путь к моему сердцу.

Она вынула из складок платья маленький кинжал в драгоценной оправе и небрежно коснулась им своей груди.

Регуэль побледнел и потянулся к острому клинку.

— Там яд на острие! — крикнула она, отнимая у него кинжал.

Взгляд ее погрузился в его глаза, и теплое дыхание коснулось его лица.

— Оставь его мне, — взволнованно прошептал он. — Когда я подумаю, как легко...

Она усмехнулась насмешливо и обольстительно.

— А тебе что за дело, мальчик?

— Ты права, — сказал он грустно. — Какое дело мне если твой супруг позволяет...

Он не договорил; скрытый вопрос, который слышался в его словах, позабавил ее.

— Мой супруг, — медленно проговорила она с серьезным выражением лица, — если бы он знал, что я шучу здесь с юношей, он бы... Он был ревнив, как тигр..

— Был? — взволнованно проговорил Регуэль — Значит, он уже умер? И ты

Она вскочила, засмеявшись, и склонилась в степенном глубоком поклоне.

— Старая, старая вдова, — сказала она

Он ничего не ответил, а только глядел на нее долгим взглядом, потом наклонился и поцеловал ей руку

— Что ты делаешь, Регуэль?

— Ты так прекрасна, — прошептал он.

Она слегка отодвинулась от него и посмотрела задумчиво на свои узкие, тонкие пальцы. Много мужских уст касалось их, но никогда никто их не целовал таким горячим и вместе с тем таким чистым поцелуем

— Регуэль, — сказала она. — Я должна пожуричь тебя. Так-то ты исполняешь свои обязанности? Ты даже не спросил о судьбе письма, данного тебе отцом. Успокойся, — быстро прибавила она, видя, как он побледнел — Вот оно. — Она взяла со стола пергаментный свиток и подала ему. — Прости, что я сломала печать. Я ведь не знала, когда ты очнешься, и боялась опоздать с поручением, которое тебе было дано. Из письма я узнала, к моей великой радости, кому я смогла оказать небольшую услугу. Я узнала, что ты Регуэль, сын Иоанна из Гишалы. А его я ставлю выше всех других. Он один в состоянии победить римлян

— Ты знаешь моего отца? — воскликнул Регуэль, и то легкое недоверие которое овладело им при виде распечатанного письма, исчезло

— Я только один раз и видела его, — ответила Вероника — Это было в Тивериаде, когда он обвинял публично Иосифа бен Матия. Народ восторженно приветствовал его, и наместнику едва удалось спастись бегством. Тогда я поняла, что рука Божия покоится на отце твоём..

— Скажи мне, как тебя зовут? — спросил он вдруг

Она изумленно взглянула на него.

— Зачем? — спросила она отрывисто

— Я хотел бы знать, подходит ли твое имя к тому, чем ты мне кажешься.

— А чем я тебе кажусь?

Она это сказала шутливым тоном, но голос ее был странно взволнован.

Он снова покраснел.

— Я вспомнил предания нашего народа, — пробормотал он

— И с кем ты сравнивал меня?

— С Деборой.

Это имя взволновало ее. Как раз об этом она думала во все время своей одинокой жизни в Цезарее. Это было то,

что бессознательно проходило через все ее мысли о будущем величии ее народа, то, что звучало в ее словах сказанных брату.

Дебора!

Ей вспомнилась победная песнь пророчицы. Она так часто повторяла ее ребенком в мрачные бурные ночи и при этом трепетала от восторга. Воображению ее рисовалось былое величие; она вдыхала запах крови, слышала шум колесниц, топчущих трупы врагов.

Неужели то, что удалось простой женщине из народа, не может быть осуществлено ею, могущественной царицей?

Дебора!

— А что если ты угадал, — сказала она Регуэлю — Что если в самом деле мое имя Дебора и я стану Деборой для нашего народа?

— Ты, наверное, станешь ею, и народ израильский будет восхвалять тебя до конца дней.

— А ты?

Он ничего не ответил. Он уткнулся в ее блестящее платье, чтобы скрыть в нем свое пылающее лицо. Она подняла его голову и, погружая свой взгляд в его чистые благородные черты, прижала ее к своей груди

— Регуэль!

Звук ее голоса был такой мягкий и многообещающий. Он не мог больше выдержать ее чар, когда она нагнулась к нему. Ослепленный, он закрыл глаза. Вдруг он вздрогнул и упал на подушки.

Губы пророчицы коснулись его уст

Андромах подошел и нагнулся над юношей, лежащим в обмороке

— Ты могла убить его, — сказал он Веронике с укоризной.

— А ты не думаешь, что смерть его была бы блаженной? — ответила она, странно улыбаясь

Глава V

Когда Вероника вернулась в свои покои, навстречу ей вышел Агриппа.

— Не думай, — сказала царица, обращаясь к брату, — что тебе удастся уговорить меня. Мое решение твердо. Я не вступлю на путь позора. Пусть лучше погибнет дом Ирода, чем израильский народ. А спасение только в самом народе. Мы, слабые потомки сильных предков, ничего не добьемся

ни хитростью, ни силой. Мой совет тебе — поступай, как я! Забудь искушения Рима, вернись к здоровой простоте твоего народа. В этом и только в этом твое спасение...

Агриппа побледнел, слушая взволнованные слова сестры.

— А ты думаешь, — ответил он, — что Веспасиан меня так и отпустит? Стража его ходит вокруг наших дворцов, пробирается в наши покои, и кто поручится, что римское золото не купило уже уста и уши наших слуг?..

— Брось продажных людей, беги от них, как я убегу, — темной ночью. Будем изгнанниками, не все ли равно? Лишь бы вернуться победителями!

Царь взглянул на нее и закусил губу.

— Ты безумствуешь, Вероника. Подумай, кто сделал меня царем? Рим.

— Возврати ему царство и снова завоюй его сам.

Он ее уже не слушал.

— Кто в состоянии сохранить мне власть? Только Рим. Народ? О, не думай, что эта война ведется только против вторгнувшихся чужеземцев. Чернь Иерусалима и других городов требует большего. Они возмущаются против всего, что стоит выше их, — против меня, их царя, против знатных, захвативших должности, против богачей, овладевших рынками. Если не сдержат неистовства толпы сильной рукой, она всех нас уничтожит...

— Пусть. Если знать не умеет защитить родины, а пользуется своим положением только для собственной выгоды, то я первая готова кричать вместе с народом: долой знатных, губящих отечество!

Она проговорила эти слова вне себя от гнева.

— Ты безумствуешь, — простонал он.

— Да ведь ты, — сказала Вероника после короткого молчания, — не можешь судить о людях, которых называешь чернью. Ты слишком мало их знаешь. Это не римская чернь, которая требует хлеба и зрелищ. Нашему народу нужна иная жизнь — в нем силен дух. Он жаждет истины, стремится к Богу. Да к чему говорить тебе это? — прибавила она с горечью. — Ты все равно не поймешь. Ты уже не иудей. Рим сделал тебя рабом: всех, кто к нему приближается, он унижает, повергает в прах до тех пор, пока они не начинают считать самым желанным милостивую улыбку одного из римских тиранов. Но я не хочу потонуть в этой грязи. Лучше погибнуть, как загнанный зверь, где-нибудь в темной пещере галилейских гор, чем целовать руку притеснителя.

Она отвернулась от брата, который растерянно смотрел куда-то вдаль. Наступила долгая, тягостная тишина; наконец с улицы раздались тяжелые шаги проходящей мимо когорты. Царь опустил голову.

С ужасающей ясностью ему представилась страшная картина, которую он видел мальчиком в Риме. Захвачен был в плен вождь восставшего племени. Это был высокий, сильный человек с гордым взглядом. Таким он проходил, гремя цепями, через Аппийские ворота. А несколько недель спустя вся его спесь была сбита пребыванием в сыром погребе; с тупым равнодушием он позволял проделывать с собой все, что хотели его мучители: его привязали к хвосту лошади и волочили по улицам Рима. Толпа бросала в него камни и куски грязи и кричала ему вслед грубые слова. Так его притащили к Тарпейской скале, и, когда пред ним разверзлась бездонная пропасть, он издал крик безумного, смертельного ужаса. Блестящий, страшный Рим еще раз восторжествовал над одним из своих врагов.

Разве Агриппу не ожидала бы та же участь, если Веспасиан, вняв жалобам городов, учинит допрос Юсту, его секретарю, и заставит его выдать замыслы его господина

Агриппа содрогнулся и глухо прошептал:

— Тогда я погиб...

Его внутренняя борьба произвела впечатление на Веронику. Несмотря на свой гнев, она не могла отрешиться от привязанности к брату и теперь в сердце ее проснулась жалость. Но в ушах ее снова раздался чей-то зов: «Дебора!»

— Малодушный! — прошептала она с презрением.

Он это услышал. Лицо его исказилось, и он с трудом удержался, чтобы не броситься на оскорбившую его женщину. Но прошла минута — и он лежал у ее ног и молил о прощении...

Этого она не ожидала. Неужели все его честолюбивые мысли о завоевании мира были только позой, а на самом деле он так беспомощен и жалок?

— О если бы я была мужчиной! — прошептала она и топнула ногой, сгорая от стыда.

И этому жалкому, ничтожному человеку она должна была принести себя в жертву? Никогда. Как Дебора, она готова перешагнуть через трупы. Она оттолкнула от себя брата, обнимавшего ее колени, и посмотрела вдаль, как будто взор ее мог проникнуть сквозь стены, туда, где лежал раненый юноша. Она поднялась и прервала мольбы лежащего у ее ног царя.

— Брось нить,— сказала она резко.— Я сегодня же покидаю Птолемаиду.

Стон вырвался из его груди.

— Вероника!

Она подошла к дверям, у которых должен был ждать ее Таумаст. Она открыла дверь и подозвала его, велев готовиться к отъезду, но в это время раздались поспешные шаги на ступенях ведущей со двора мраморной лестницы. Подняв глаза, она увидела перед собой римского воина со знаками консульского звания. Взволнованным голосом он сказал:

— Прости, царица, что я осмелился проникнуть в твои покои. Но дело чрезвычайной важности привело меня к тебе и к твоему брату Агриппе, которого я напрасно искал в его дворце.

При первых звуках его голоса царь вздрогнул. Неужели Рим уже протягивает свою мстительную руку?..

— Флавий Сабиний! — пробормотал Агриппа.— Тебя послал Веспасиан или...

— Мой дядя не должен знать, что я был у тебя,— сказал торопливо префект и оглянулся вокруг. Указывая на Таумаста, который ждал в глубине залы, он тихо спросил: — Ты уверена в преданности этого раба?

— Не беспокойся,— ответила Вероника и подала ему знак встать у дверей и никого не впускать. Потом она пригласила римлянина следовать за ней.

— Вам, наверное, покажется странным мой поступок,— начал Флавий Сабиний.— Я, римлянин, прихожу просить вас помочь и защитить одного из ваших же соплеменников от римлян...

Флавий Сабиний рассказал о своем знакомстве с Тамарой и Саломеей. Он заметил, что Агриппа улыбнулся, когда он говорил о красоте и душевной чистоте девушек; но теперь ему было не до того, чтобы скрывать свою тайную любовь... Он рассказал то, что знал со слов Сильвия о допросе, которому подвергнут был Барух, провожатый Регуэля.

Флавий Сабиний и Сильвий хотели предупредить об опасности Иакова бен Леви, торговца оливковым маслом, и увести девушек до прихода Фронтонна. Но было уже слишком поздно. По дороге к дому Иакова они встретили шумную толпу; в центре ее были девушки и больной Иаков бен Леви. Их заковали в цепи и вели под конвоем в городскую тюрьму. Вольноотпущенник шел впереди, и лицо его сияло злорадством, когда он увидел побледневшего префекта. Флавий Сабиний предложил свое поручительство, но

Этерний Фронтон отказался отдать захваченных иудеев. Теперь их можно спасти только при помощи самого Веспасиана. Захват родственников Иоанна из Гишалы отдавал и его самого во власть Веспасиана, а вместе с ним и всех тех, которые считали Иоанна своим вождем.

Вероника облегченно вздохнула. Имя Регуэля не было упомянуто. Значит, Этерний Фронтон ничего не знал о спасенном ею юноше. Но опасность грозила ближайшим родственникам Регуэля... Она знала, что благодеяние, оказанное одному члену семьи, обязывает всю семью к благодарности на всю жизнь. Какой случай еще более привязать к себе прекрасного юношу! И кроме того, разве эта удача вольноотпущенника не погубит в зародыше всего восстания? Оно так счастливо началось и так ее радовало. Она познакомилась со всеми участниками восстания и имела возможность их оценить. Для нее не было отныне сомнений, что только один Иоанн из Гишалы сможет выполнить это великое дело. И неужели все это окажется тщетным из-за какого-то вольноотпущенника Фронтонна... Кровь ей бросилась в голову. У нее закружилась голова — так ясно она вдруг поняла, что нужно сделать, и так страшен был настойчивый голос совести. Напрасно она ломала голову, чтобы найти другой выход. Все потеряно, если Вероника сама.. «Сделает это? А мечты стать Деборой?!» Она откинулась назад и закрыла глаза.

Флавий Сабиний продолжал свой рассказ:

— Я смотрел на пленных и не знал, что делать. У меня сердце сжималось от жалости. Бледный, дряхлый старик с трудом передвигал ноги под тяжестью цепей; оскорбленная женская гордость видна была в благородных чертах Саломеи, а прелестная Тамара с испугом прижималась к подруге, ища у нее защиты от беззастенчивых шуток грубой толпы. Я не знал, как помочь им. Тогда декурион Сильвий подал мне совет обратиться за помощью к тебе, Агриппа. «Мы дали иудеям царя, — сказал Сильвий, — и на что он им, если у него нет достаточно власти, чтобы защитить беспомощных женщин». Сильвий заметил взгляд, которым Этерний Фронтон оглядывал обеих девушек. Я пришел к тебе, Агриппа, — закончил префект, глядя царю прямо в глаза, — просить, чтобы ты заступился перед Веспасианом за твоих соплеменников.

Агриппа пожал плечами.

— Я ничем не смогу помочь! Твой Сильвий был прав, говоря о моем бессилии. Да Птолемаида к тому же не входит в состав моих владений и у меня даже нет предложения

— Но употреби хоть твое влияние для того, чтобы с заключенными лучше обращались,— просил его префект.— Я знаю Этерния Фронтонна, он готов на все для достижения своих целей.

— Мое влияние,— сказал Агриппа с горькой усмешкой.— Я был бы доволен, если бы мог самого себя оградить от нелепых обвинений... Право, Сабиний, мне жаль отказать человеку с таким высоким положением, как ты, но ты требуешь от меня невозможного. И прости,— сказал он, взглянув на солнце, которое уже прошло зенит.— Я должен тебя оставить. Мне нужно готовиться к поездке на Кармель.

Он поднялся и бросил умоляющий взгляд на Веронику. Она все еще сидела, откинувшись назад и закрыв глаза. Как будто почувствовав взгляд царя, она встала, ее глаза вдруг широко раскрылись, в них блеснул гнев. Она направилась к двери.

— Таумаст!

— Что прикажешь, царица?

— Носилки!.. Скорее!..

Агриппа вздрогнул и подался вперед, чтобы заключить сестру в свои объятия.

— Вероника! Ты согласна...

Она толкнула его, брезгливо, он внушал ей отвращение.

— Не ради тебя! — проговорила она сдавленным голосом.

Она знаком попросила его и Флавия оставить ее. Флавий Сабиний с удивлением взглянул на царя, который крепко жал ему руку, прощаясь. Агриппа был теперь совершенно иным.

— Надейся, Сабиний,— радостно говорил он.— Сам Бог отдал в руки Этернию Фронтону дочь Иоанна из Гишалы..

— Я не понимаю,— прошептал префект в изумлении.

— Да разве я сам понимаю,— возразил со смехом Агриппа,— разве кто-нибудь может понять женщин? Но не все ли равно, из-за чего Вероника поедет в Кармель, лишь бы она поехала...

В покоях Вероники ловкие руки греческих рабынь одедали царицу для поездки. Обыкновенно Вероника бранила и строго наказывала прислужниц за всякую неосмотрительность, сердилась, когда ее волосы противились новому убору или когда ей не нравился выбор цветов. Сегодня она ни на что не обращала внимания, занятая своими мыслями. Она даже не рассердилась, когда Хармиона, полировальщица ногтей, уколола ей палец так, что показалась капля крови.

Она долго разглядывала красное пятно и давила его

пальцем, чтобы вышло еще больше крови. Потом она засмеялась, высосала кровь и произнесла непонятное гречанкам слово:

— Дебора!

Последние богомольцы спустились еще до полуденного жара тенистыми тропинками с Кармеля; они направлялись в долину Изрееля, или к заливу Акко; там на голубых волнах белели сотни парусов.

Базилид с насмешливой улыбкой проводил взглядом богомольцев. Потом он вернулся затушить огонь на жертвеннике, некогда воздвигнутом израильскому Богу. Его желтое, окаймленное клинообразной черной бородой лицо имело недовольный вид, когда он взглянул на приношения у алтаря

— Ничего существенного, — ворчал он. — Несколько жалких динаров среди всякой дряни — вот и все, а между тем моя слава скорее выросла в глазах глупой толпы, чем уменьшилась. Видно, тяжело давит народ рука Рима.

Он встал на колени, чтобы отобрать из груды даров монеты и кольца.

— Если мне не выдастся скоро какая-нибудь особенная удача, — продолжал он, говоря самому себе, — то придется или умереть с голода, или вернуться в Рим. Жаль, что меня там знают в лицо — да, многие бы дорого заплатили, чтобы увидеть мою голову посаженной на кол! А все-таки, несмотря на все преследования, наше ремесло приносит еще в Риме огромные выгоды. Эти гордые римляне, повелители мира, только стараются убедить себя, что не верят в богов. Как они ни прикидываются вольнодумцами, а все-таки дрожат перед всякой мелочью, которая им кажется необычной, и приносят жертвы Юпитеру и Минерве, Изису и Озирису, Астарте и Богу иудеев. О глупцы!

Он презрительно засмеялся и, собрав жертвоприношения, спрятал их в складках своего длинного, причудливого плаща. Затем он направился к пещере, скрытой среди густой зелени. Оглянувшись вокруг, он толкнул ногой массивную железную дверь.

Его встретил дикий, раздирающий уши крик. У потолка сидели на шесте два орла. Головы их были покрыты кожаными колпаками. Они били крыльями о шест. На остывшем очаге поднимались из клубка змеиных тел головы со сверкающими глазами и, шипя, высовывали свои рассеченные языки. В стену вделано было железное кольцо, с которого слетел черный ворон и, сев на плечо своего господина, прокричал охрипшим голосом:

— Да здравствует цезарь!

— Есть хотите? — со смехом обратился Базилид к зверям. — Погодите, еще не время набивать животы. Еще, может быть, кто-нибудь да придет внимать предвещаниям свыше. А я должен быть уверен в моих слугах...

Он вытряхнул все, что принес в складках плаща, на деревянный стол, и звон серебра заглушил крик зверей. Они вдруг притихли. Душа их хозяина, казалось, переселилась в них — так жадно сверкали глаза змей и вытягивались шеи орлов. Ворон бросился на кучку блестящего металла и, схватив монету, снова вспорхнул на свое кольцо. Базилид засмеялся.

— Подожди, воришка, — крикнул он, — вынимая монету у него из клюва. — К чему тебе эта штука? Или ты опять хочешь ее унести в потаенный уголок, где я недавно нашел кучку золотых и серебряных монет?

Он прикрепил ворона тоненькой цепочкой к кольцу. Птица отбивалась крыльями и клювом, глаза сверкали и без умолку раздавался ее хриплый крик:

— Да здравствует цезарь!

Наконец Базилид взял кусок сырого мяса и укрепил его на остром крюке, вбитом в стену, на таком расстоянии, чтобы ворон не мог его достать. Тогда крик ворона превратился в сдавленное клокотание: рассвирепев от голода, он не переставал жадно тянуться к недостижаемому лакомому куску.

Точно так же Базилид поступил и с орлами. Так он приручал своих птиц, и они настолько привыкли к своей пещере, что возвращались в нее, когда он выпускал их на волю.

Снаружи раздался голос, который прервал его занятия — Базилид, святейший из пророков, где ты?

Эти слова были произнесены высоким, тонким голосом, и горное эхо повторило резкий звук. Базилид вздрогнул. Голос показался ему странно знакомым. Он быстро заглянул за тяжелую занавесь, скрывавшую глубину пещеры, довольный кивнул головой и спустился вниз по нескольким ступеням; попав в длинный, узкий проход, он вышел из пещеры уже совершенно с другой стороны. Он высек этот проход в каменистой почве, чтобы иметь два выхода из пещеры.

Выйдя на воздух, он бесшумно пробрался в заросли кустов, из-за которых мог видеть все, что происходило около жертвенного алтаря. Наконец он увидел звавшего его человека.

К дереву возле алтаря привязан был мул и ел траву которую ему подавал маленький, уродливый человек в пестрой одежде. С дерзким презрением к святости места уродец забрался на сам алтарь. Его огромная голова была опущена, так что Базилид не мог видеть его лица. Действия свои он сопровождал такими же словами, с какими прежде пророк обращался к своим зверям.

Голос и вся фигура его напоминали кого-то очень знакомого. Но нельзя было допустить глумления над святыней которую Базилид сумел обратить в источник доходов. Что если бы кто-нибудь из верующих увидел эту сцену? Он бросился вперед и закричал в притворном гневе:

— Как ты смеешь, несчастный, сидеть на алтаре Всевышнего? Трещины — тебя может сразить молния.

Карлик спокойно поднял глаза на разгневанного пророка

— Молния из такого ясного неба, добрейший Базилид? Увидав лицо карлика, пророк отшатнулся и побледнел

— Это ты, Габба?

Карлик скорчил насмешливую гримасу.

— Как видишь, почтеннейший из отцов, — ответил он прыгивая на землю. — Это я, Габба, твой сын, которого ты так долго считал погибшим и так горько оплакивал. И почему ты так испугался? Уж не боишься ли ты и в самом деле, что старый Илья спустится на своей колеснице, чтобы наказать меня за дерзость? — Он лукаво подмигнул Базилиду — Клянусь всеми богами, у которых ты уже состоял пророком, — продолжал Габба тем же тоном, — я не понимаю, чем тебя так взволновал мой неожиданный приход. Уж не похож ли я, сам того не зная, на покойного цезаря Клавдия? Правда, голова и ноги трясутся у меня, как и у него, когда он еще был жив, но, клянусь Вельзевулом и Асмодеем, язык мой не дрожит, как у него, и, кроме того не любит грибов с тех пор, как Клавдий из-за них попал в число богов*

Базилид смертельно побледнел и протянул вперед руки как бы для того, чтобы остановить поток страшных слов

Но Габба продолжал:

— Не беспокойся, нежно любимый Базилид, заботливейший из всех отцов, — сказал он, хихикая, — я не думаю опустошать твою кладовую. И так у тебя мало чего оста-

* Императора Клавдия отравила ядовитыми грибами его вторая жена, Агриппина, мать Нерона; ее сообщницей была колдунья Локуста. После смерти Клавдий причислен был, по римскому обычаю, к богам

лось после смерти матушки Локусты, которая была тебе так полезна своим знанием целебных трав. Не думай также, что меня привлекла к тебе тоска по деревянному ящику*, ведь с тех пор, как мы расстались, — прибавил он, с горькой усмешкой приподнимаясь на кончиках пальцев, — я уже так вырос, что могу сам пробиться в жизни...

— Чего же тебе нужно от меня? — спросил наконец Базилид, успокаиваясь.

— Мне хотелось только осведомиться, как поживает мой дорогой батюшка, — сказал карлик с насмешкой. — И я хотел предостеречь его по старой дружбе. Ведь еще многие не забыли, что Базилид жил некогда в Риме и с помощью своей добродетельной супруги Локусты помог любящей Агриппине устроить Клавдию божественный пир. Что, если бы в Риме узнали, что тот Базилид и святой пророк горы Кармеля одно и то же лицо! Божественный Нерон обещал высокую награду тому, кто доставит ему удовольствие познакомиться с кудесником. Он даже удовольствовался бы видом одной только головы чародея. Какой завидный отец у карлика Габбы!

Базилид вздрогнул, рука его нащупывала кинжал, спрятанный в складках плаща.

— Оставь это успокоительное снадобье, батюшка, — насмешливо сказал карлик. — Ты бы только нажил себе этим смертельного врага в лице царя Агриппы. Он знает, что Габба, его любимый карлик, отправился на Кармель обнять отца, о котором он сильно тоскует. Царь был бы в отчаянии, если бы лишился своего шута. Ну а теперь оставим шутки, — сказал он серьезнее. — Скажи, хочешь заработать кучу серебряных динариев. Дело, конечно, идет не о грибах... Я ведь пришел к пророку...

Базилид недоверчиво смотрел на него.

— Объясни мне сначала, — пробормотал он, — и если я смогу.

— Разве есть для тебя невозможное? — возразил Габба. — Но здесь неудобно оставаться. Солнце слишком печет. Пройдем лучше в твой прохладный уголок и потолкуем там в тени.

Пророк не отвечал. Разве мог он доверить тайны пещеры тому, кого сделал уродом. Он не мог ждать ничего доброго от Габбы, которого так мучил в детстве. Габба

* Приспособление для искусственной, очень мучительной, остановки роста у детей, с целью сделать из них карликов; они были в цене, как шуты

заметил его нерешительность. Он подошел ближе и стал шептать ему на ухо:

— Я ведь знаю, отец мой любит сверкающее золото и если он послушается совета Габбы, то у него будет целый кошель золота. Скорее, Базилид, идем. Мне, кроме того, нужно убедиться, что у тебя есть средства узнать волю Всевышнего относительно Веспасиана.

Пророк вздрогнул, услышав имя полководца, известного своей верой в оракулы. Он понял, что за словами Габбы скрывается чей-то план. Быть может, если он сумеет воспользоваться случаем, ему откроется неисчерпаемый источник дохода. Но все-таки его недоверие не исчезло.

— Если ты мне не веришь, — нетерпеливо сказал Габба, — так подумай, что у меня есть причины не встречаться с тобой, и если бы дело не касалось чего-нибудь очень важного... Отведи моего мула куда-нибудь и затем — он не мог удержаться от того, чтобы снова не впасть в насмешливый тон, — покажи мне святую святых твоего храма, богоспасаемый пророк!

Базилид отвел мула в тень и пригласил Габбу в пещеру. Карлик стал пытливо оглядываться, усмешка показалась на его лице.

— А, — сказал он, указывая на ворона, который все еще тянулся с безумной жадностью за куском мяса, — Зороб старый знакомец, священный ворон, съевший тысячу лет тому назад Илью у Хритского источника. Как низко ты пал, если Базилид мог заставить тебя после смерти Агриппины приветствовать Нерона именем цезаря.

При знакомом звуке ворон встрепенулся и каркнул.

— Да здравствует цезарь!

Габба расхохотался.

— А ведь Нерон считал это тогда несомненным предзнаменованием, — продолжал он задумчиво. Почему же Веспасиану, не имевшему Сенеку в учителях, не верить этому? А, — продолжал он, увидев орлов, Кастор и Полукс, вестники Юпитера. А вот и змеи египетских заклинателей. Я вижу, батюшка, все твои небесные знаки в хорошем состоянии, но все-таки я боюсь. Веспасиан несколько избалован богами!

Базилид гордо выпрямился.

— Не беспокойся, Габба, — проговорил он, ухмыляясь. — У меня есть нечто убедительное хотя бы и для самого Сенеки. Смотри!

Он откинул занавес и крикнул повелительным голосом.

— Мероэ!

Габба вздрогнул, услышав это имя, и с напряжением стал вглядываться в темную часть пещеры. Голос пророка заставил приподняться лежащую на полу, на львиной шкуре, полураздетую молодую девушку. Губы карлика непроизвольно повторили имя, которое вызывало далекое воспоминание из давно, казалось, забытой поры детства.

— Мероэ!

Он никогда не мог узнать, откуда она была родом. Локуста принесла ее однажды, подобрав на улице в Риме. Она была тогда четырехлетним ребенком, с тонкой, молочного цвета кожей, темно-синими глазами и шелковистыми волосами, которые блестели на солнце, как серебро.

Мероэ была для Габбы тем, чем бывает для выздоравливающего от долгой болезни первый солнечный луч. Когда Габба лежал привязанный к твердой доске и, несмотря на страшные муки, не решался плакать, боясь Базилида, Мероэ усаживалась около него со своей куклой и так долго играла и шутила, пока на посиневших губах Габбы не появлялась улыбка.

Когда Мероэ подросла, она оплакивала вместе с Габбой его печальную участь и старалась, как могла, утешить его. Однажды, когда, в наказание за его упрямство, его заставили дольше обыкновенного лежать на доске, Мероэ воспользовалась отсутствием мучителей, чтобы своими острыми зубками перегрызть его шнуры. Базилид беспощадно избил обоих детей, и Габба, который уже привык к побоям, страдал только за Мероэ.

Она ни одним звуком не выразила раскаяния. И вот опять перед ним та, которая в его жалком детстве была единственным лучом любви и сострадания. Он бросился к ней, чуть ли не рыдая от радости. Голос его утратил всю свою резкость и насмешливость. Он упал перед ней на колени и прижал ее руки к своей задыхающейся груди. Мероэ тупо взглянула на него. Она его не узнала. Потом она провела рукой по глазам уставшим движением и вдруг вся встрепенулась.

— Молчи, он, кажется, зовет меня. Я должна идти, удары его бича ужасны, и кровь... кровь...

Она вздрогнула и застонала.

Габба с ужасом глядел на дикое выражение ее глаз.

Он видел в бледных чертах ее лица страшные следы голода, которым Базилид приручал всех своих слуг: зверей и людей. Сквозь легкое одеяние Мероэ видны были на ее спине кровавые следы бича. Что сделал он из Ме-

роэ, его маленькой дивной Мероэ, которая умела так задушевно смеяться!

Базилид наблюдал за ними с глухой злобой. Но пока он не тронет Габбу. Дело шло о слишком важном. Но потом.

— Сюда, Мероэ,— сказал он с необычной мягкостью

Еле передвигая ноги, она дотащилась до него и склонилась так низко, что пряди волос коснулись земли.

— Что прикажешь, господин.

— Готова ты к обряду жертвоприношения?

Ее тело затрепетало от ужаса.

— Пощади, повелитель,— простонала она прерывающимся голосом.— Ты видел, как тяжело мне было в прошлый раз. Когда теплая струя крови течет мне в горло, мне кажется, что адский пламень сжигает мне сердце. Все кружится около меня. Лучше умереть, лишь бы не этот ужас...

Она с мольбой опустилась перед ним на колени. Базилид грубо поставил ее на ноги.

— Ты смеешь возражать, негодница! — крикнул он.— Слишком долго щадил я тебя. Подумай, какая у меня власть.

Она снова вздрогнула и наклонила голову с безмолвной покорностью.

Базилид с торжествующим видом кивнул головой и вынул из ниши в стене маленький кувшин, в котором была прозрачная, как вода, жидкость. Он налил несколько капель в бокал и подал его Мероэ.

Она с жадностью выпила и, ощупывая дорогу, вернулась обратно на свою львиную шкуру и, упав на нее, уснула глубоким сном.

— Раньше чем через час она не проснется,— сказал Базилид сыну с улыбкой.— Надеюсь, ты уделишь мне это время. Ну, а теперь, скажи мне наконец, что от меня требуется.

Габба не мог прийти в себя. Бедному калеке, которого все обижали, казалось, что не может быть ничего прекраснее и чище его Мероэ, подруги его детства.

Габба, шатаясь, последовал за пророком в переднюю часть пещеры.

— Ты видел Мероэ,— сказал Базилид, когда Габба сел,— и теперь можешь мне поверить, что я в состоянии удовлетворить всем требованиям Веспасиана. Скажи же, в чем дело.

Габба передал поручение Агриппы. Когда он закончил, глаза пророка засверкали торжеством.

— И сколько, говоришь ты, мне заплатит Агриппа?

— Годовое жалованье прокуратора,— ответил Габба Базилид щелкнул языком

— Пусть придет твой Веспасиан,— смеясь, сказал он,— бог Израиля благосклонно примет жертву язычника

Он вышел приготовить алтарь. Габба прокрался снова за занавес и присел возле спящей девочки. Он осторожно проводил пальцем по ее щеке, по благородной линии руки и шептал с восхищением и ужасом

— Мерз!

Он боялся за нее

Глава VI

— Посмотри, Агриппа,— сказал, указывая на море, молодой римлянин, носивший знак императорского легата.— Видишь этот маленький корабль с ослепительным парусом? Он рассекает волны, как пламенный конь рассекает воздух, и обходит искусно все подводные камни. Я бы хотел знать, кто в нем. Корабль словно хочет нас обогнать и, очевидно, спешит, как и мы, к Кармелю.

Агриппа тревожно взглянул на корабль, который все время шел почти рядом со всадниками, ехавшими вдоль берега, и теперь приближался к скрытой у подножия Кармеля бухте. Он знал, что Вероника хочет этим путем опередить Веспасиана.

— Это, верно, какой-нибудь купец везет свои товары,— ответил он с напускным равнодушием,— или богомолец, задолжавший жертву богу.

Тит с сомнением покачал курчавой головой и приподнялся в седле, чтобы лучше рассмотреть корабль.

— Верно, твой взор уже потускнел,— сказал он, смеясь,— или сердце стало равнодушным. Неужели ты не можешь отличить женщины от жалкого продавца или ползающего на коленях богомольца. Под мачтой лежит женщина на пышном ковре; она задумчиво опустила руку в голубые волны, и я готов поклясться всеми богами, что она красива. Светлые волосы сверкают на солнце, как корона, а рука у нее узкая и белая.

— Однако, Тит, ты полон мыслей о богине, рожденной из пены морской,— сказал Агриппа с легкой усмешкой.— Один вид показавшегося вдали края одежды или выбившейся из-под платка пряди волос волнует твою кровь...

Тит поехал с Агриппой вперед, оставляя позади себя

тяжеловесное шествие Веспасиана. Он пришпорил теперь своего горячего коня, тот взвился на дыбы и помчался вперед, как стрела.

— Если твой каппадокийский конь, — задорно крикнул Тит царю, — в самом деле 429 раз одержал победу в Антиохии, как ты прежде похвалялся, так докажи теперь его удаль. Кто первый примчится туда, где причалит корабль? Мне хочется взглянуть в лицо отважной мореплавательнице.

Агриппа неохотно поскакал за ним. Он знал, как Вероника любила очаровывать чужих, окружая себя ореолом, на вид совершенно случайным, но подготовленным до малейшей подробности. Стремясь опередить римлян в Кармеле, она, наверное, следовала заранее обдуманному плану, а непредвиденное вмешательство Тита могло все испортить. Но как удержать его?

Молодой легат был отличным наездником, и Агриппа невольно восхищался силой и дикой мощью его движений. Но когда он увидел, что только маленькая роща отделяет стремительно несущегося Тита от бухты, в которую входил корабль, он выпрямился на седле и громко свистнул. Туск, его конь, на минуту остановился как вкопанный, потом вдруг ринулся вперед и могучими прыжками, которыми стяжал себе славу непобедимости, промчался мимо Тита. Тит крикнул от изумления и задетого самолюбия и пришпорил своего коня. С громким ржанием гирпинский конь закусил удила. Началась бешеная скачка.

Вероника заметила всадников.

— Я отпущу вас на волю, — крикнула она гребцам, — если мы причалим к берегу раньше, чем они.

Гребцы налегли на весла, и маленький корабль помчался вдвое быстрее. Царица стояла у мачты, гордо выпрямившись, и следила за всадниками.

Кто победит, иудей или римлянин, Агриппа или Тит? Ей казалось, что от этого зависит ее судьба и судьба ее народа. Корабль входил уже в спокойные воды бухты, когда из-за деревьев на берегу стали мелькать все ближе и ближе белые развевающиеся одежды всадников.

На минуту губы ее стиснулись, потом она расхохоталась диким торжествующим смехом. Агриппа был впереди. Он победил.

Но Тит скакал за ним следом и может застигнуть ее здесь. Она иначе представляла себе их первую встречу.

Корабль врезался с треском в каменистый берег. Вероника быстро спрыгнула на берег, приподняв одной рукой край длинной одежды

— Назад, — крикнула она гребцам и стала быстро взбираться на ближайшую скалу, куда всадники не могли последовать. Наверху она, тяжело дыша, опустилась на траву и посмотрела вниз. Как медленно отчаливает от берега корабль с гребцами. Если Тит успеет настигнуть их у берега, он узнает, что женщина, которая бежала от него Вероника

Та же мысль пришла в голову и Агриппе. Нужно было во что бы то ни стало задержать Тита

У последнего поворота что-то загородило им путь. Это было огромное широколиственное дерево: Дождь и весенние воды, вероятно, размыли почву, и недавняя гроза повалила его. На озабоченном лице Агриппы показалась улыбка. Ему вспомнилась уловка Авла Виталия на состязании с цезарем Нероном. Побеждать властителя мира было опасно и принесло бы скорее смерть, чем почет. Когда они приблизились к дереву, Агриппа вдруг вонзил шпоры так глубоко, что брызнула кровь. Конь взвился, но в тот момент, когда он уже поднялся над деревом, Агриппа дернул его назад и бросился с лошади на землю. Туск перекувырнулся и упал с треском в густые ветви, ломая все вокруг

— Что случилось, Агриппа? — крикнул Тит, останавливая своего коня.

Агриппа украдкой посмотрел на бухту: маленький корабль уже далеко отплыл от берега, Вероники не было на нем. Облегченно вздохнув, он поднялся и, встретив озабоченный взгляд молодого легата, шутливо сказал.

— Что со мной, Тит? Я благодарю богов, что они не позволили моей отваге забыть долг гостеприимства. Ведь я так горжусь моим Туском, что чуть было не позволил себе опередить гостя. Но я должен извиниться перед тобой за то, что, быть может, испортил тебе, хотя и нечаянно, приятное приключение. Кажется, красавица исчезла; по крайней мере там, на корабле, я ее не вижу.

— Она, вероятно, вышла на берег, — сказал Тит, и тем легче будет нам найти ее.

— Как, ты все-таки хочешь?.. — пробормотал Агриппа, растерявшись.

— Конечно, — надменно возразил римлянин. — Только вечные боги могут удержать Тита от того, что он задумал

Тем временем подоспела свита царя и помогла Туску подняться на ноги. Благородное животное стояло все в поту и дрожало, странным образом совершенно не пострадав от внезапного падения.

Тит смотрел на Туска восторженными глазами.

— Какой конь! — воскликнул он в восхищении. — Я невольно останавливался среди скачки, чтобы посмотреть как он берет препятствия. Какие мускулы, какая сила! Клянусь богами, Агриппа, твой Туск достоин носить на спине властителя мира.

— В таком случае мне пора, — ответил, засмеявшись, царь, — отказаться от него. Надеюсь, ты мне позволишь, благородный Тит, — продолжал он, благоговейно преклоняясь перед молодым легатом, как это было предписано на приемах цезаря, — преподнести его тому, кто мне кажется предназначенным самими богами стать властителем мира.

Он взял поводья и вложил их в руку невольно отступившего римлянина.

— На колени, Туск, — крикнул Агриппа, глядя гриву благородного коня и прищелкивая языком.

Туск радостно заржал и опустился на колени.

— Агриппа! — воскликнул Тит, притворяясь разгневанным, и яркий румянец залил его прекрасное лицо. — Ты льстишь мне.

— Неужели, — ответил серьезно царь, — выражать то, чего жаждет душа, значит льстить?

Тит ничего не ответил, глаза его жадно засверкали. Он взглянул на Туска, потом вдруг, следуя внезапному порыву, вскочил на коня. Тот, как будто понимая речь Агриппы, гордо вытянул стройную шею и стал бить копытом землю. Молодой легат сидел в величественной позе на коне, и в чертах его, в особенности в резко очерченном подбородке, обозначилось выражение властной жестокости, скрытое обыкновенно мягкостью молодого лица. Агриппа, очевидно, коснулся чего-то глубоко затаенного в душе Тита. Отец его Веспасиан, бывший когда-то простым солдатом, стал римским полководцем; имя его все произносили с восторгом и преклонением. Почему же Титу, его сыну, не подняться на плечах своего отца еще выше, почему бы то, что удалось Юлию Цезарю и Октавию-Августу, не удалось Титу? Да, Тит достигнет вершины славы, и могучие крылья молодого орла поднимут вместе с собой и Агриппу. Весь мир будет лежать у их ног. Ведь умер же Британник, который должен был, согласно воле отца своего Клавдия, быть цезарем вместо Нерона. В Риме легко умирают...

Царь отвлекся от своих мыслей, когда увидел, что Тит сошел с лошади и передал ее офицеру своей свиты. Потом молодой легат подошел к воде и громко стал звать назад гребцов Вероники.

— Я хочу спросить их, — сказал он, указывая на маленький корабль, — кто та красавица, которая так лукаво от нас ускользнула.

Но никто из гребцов не откликнулся. Тит тщетно повторил свой приказ; он гневно топнул ногой, пальцы его сжались в кулаки.

— И все-таки, — проговорил он, — я это узнаю. Прошу тебя, Агриппа, — обратился он к царю, — останься здесь с моими людьми, подожди отца.

— Неужели ты хочешь один?..

— Там, где женщина может одна бродить по лесу, там не может грозить опасности, — засмеялся Тит, устремившись вверх по узкой тропинке.

В кустах что-то зашевелилось, и послышались звуки, похожие на серебристый смех лесной нимфы.

Тит остановился, потом быстро пошел вперед. Агриппа насмешливо глядел ему вслед.

Солнечные лучи редко проникали сквозь чащу лавровых и оливковых деревьев, создающих вокруг святого источника пророка Илии густую тень и таинственный прохладный полумрак. И даже проникая в чащу, лучи не доходили до дна источника. Но поднимающиеся на поверхности пузырьки воздуха блестели, как серебряные капли в полосах света, и лопались, бесследно исчезая.

Вероника лежала у края источника и бросала в воду лавровые листья, падавшие ей на колени.

Вдруг совсем рядом раздались чьи-то шаги. Она повернулась в ту сторону, откуда доносился их звук.

По огромной каменной глыбе, от подножия которой источник спускался в долину, за маленькой лесной опушкой, покрытой сочной зеленью, шел, внимательно озираясь по сторонам, тот, кто побудил ее отправиться на гору Кармель:

Лежа в траве, озаренная скользящими лучами, она мысленно сравнивала двух людей, с которыми ее столкнула судьба. Регуэль и Тит. Она уже знала, как разделить между ними свою жизнь. Одному из них, соплеменнику и единоверцу, ее возлюбленному, будут принадлежать ее сердце, ее обольстительный смех, теплое пожатие руки, быстрое бие-ние сердца — все, что есть высокого и прекрасного в ее душе. Другому, римлянину, она тоже будет отдавать сердце, но не преданное и верное, а расчетливое и хитрое. Его она тоже будет встречать улыбками, но заученными поутру перед зеркалом. Вероника, женщина с любящей мягкой

душой, будет женщиной для одного Регуэля; для Тита она будет Дианой, которая видит, что красота ее губит Актиона, и рада этому. Подобно Юдифи, она будет наряжаться, когда пойдет убивать!..

Как опытный охотник, он искал следы ее ног на мягкой земле и на пышном ковре травы.

Подняв глаза, она увидела, что Тит уже совсем близко. Ее отделял от него только могучий ствол дерева, под которым она лежала. Тогда незаметным движением она положила голову на камень, обросший темным мохом. На нем золотистый цвет ее волос выделялся ярким сиянием. Маленькая ножка в римском башмаке немного выдвинулась из-под края длинной одежды. Тонкую белую руку она опустила вниз и закрыла глаза так, что длинные черные ресницы бросали тень на матово-бледную щеку. Потом она полуоткрыла губы, улыбаясь, как ребенок в счастливом сне. Грудь ее ровно и мерно поднималась и опускалась под мягкой прозрачной белоснежной тканью.

Она слышала его приближающиеся шаги и бросила быстрый взгляд из-под опущенных век. Она видела изумленный взгляд Тита и с тайной радостью и легким волнением следила, как сменяются чувства на его лице. Изумление перешло в восхищение, а восхищение в страсть.

Она показалась ему Дианой, отдыхающей у тихого ручья. Что-то непонятное, никогда не испытанное, теснило ему грудь, останавливало дыхание. Кровь, отхлынувшая от сердца, бросилась в голову. В сравнении с пышностью этого тела что значила незрелая красота Арицидии Тертуллы, его первой жены. Он взял ее в жены почти ребенком, и она умерла через некоторое время. Какой ничтожной казалась ему теперь ледяная красота Марции Фурнилы, гордой дочери римского сенатора. Она теперь в Риме едва ли тоскует о далеком супруге. Она не стала ему ближе, даже когда у них родилась дочь.

Выросший в обществе Британика, Тит давно уже понял сущность римской красоты, купленной у продавца косметических товаров. Театральная мишура внушала ему отвращение. Но здесь...

Он осторожно отодвинул листву, подкрался к спящей женщине и опустился около нее на колени, вглядываясь в ее сияющее красотой лицо.

Вероника почувствовала горячее дыхание на своем лице, но осталась неподвижной; она только улыбалась еще обольстительнее.

Тит, горя страстью, нагнулся и поцеловал спящую жен-

щину. Губы ее страстно потянулись навстречу, и руки обвили его шею. Он прижал ее лицо к своему дрожащими руками и вскрикнул, охваченный диким восторгом.

Она проснулась и взглянула ему в глаза, потом вскрикнула и оттолкнула его, но он быстро вскочил на ноги и охватил сильной рукой ее стан. Она рванулась, чтобы убежать, но он удержал ее.

— Теперь ты в моей власти, отважная мореплательница, — прошептал он, — и, клянусь Юпитером, во второй раз ты не убежишь от меня.

Снова он приблизил свои губы к ее губам. Но та, которая его сначала любовно обнимала во сне, а потом гневно оттолкнула, теперь лежала неподвижно в его объятиях и смотрела на него широко раскрытыми глазами, бледная и бесстрастная. Он отпустил ее.

— Почему же ты меня не целуешь? — спросила она. — Ты видишь, я не сопротивляюсь с тех пор, как тебя увидела.

— С тех пор, как меня увидела? — переспросил он с удивлением.

Она засмеялась и откинула волосы назад.

— Я увидела, что ты римлянин, — проговорила она. — Почему же римлянину не напасть на беззащитную женщину? Почему бы ему сдерживать свою похоть и отказываться от чего-либо, что ему хочется? Ведь все мы презренные существа, с которыми вы можете поступать, как вам захочется.

Ее насмешливый тон оскорблял его.

— А что, если я так и поступлю, — сказал он, снова приближаясь к ней.

Она выпрямилась и смерила его изучающим взглядом.

— А ты свободный человек? — спросила она.

— Странный вопрос, — сказал он удивленно.

— Только свободный человек имеет право коснуться свободной женщины, — сказала она резко.

— Римляне свободны.

— Римляне? — переспросила она со смехом. — Конечно, вы считаете себя господами мира, а все-таки в Риме есть человек, пред которым все вы, гордецы, пресмыкаетесь.

— Цезарь... — пробормотал он, пожимая плечами.

— Да, цезарь. Одного только цезаря я и считаю свободным. А ты цезарь?

— Что, если бы я им был?

— Твои слова доказывают, что ты не цезарь. Тот бы не спрашивал...

Она равнодушно отвернулась и прислонилась к стволу дерева.

Он боролся с влечением страсти, охватившей его так внезапно, но гордость в нем оказалась сильнее страсти, и он отступил.

Вероника это заметила и знала, что если он уйдет, то ее дело будет проиграно.

— Уходи, — резко сказала она.

Ее дерзость привела его в бешенство. Одним прыжком он очутился около нее.

— А что, если я не уйду, — проговорил он, задыхаясь, — если я тебя заставлю покориться мне, как ты готова покориться цезарю. Что, если ты будешь принадлежать не цезарю?

Как прекрасен он был в своей страсти, как дрожали его руки! Он стоял, готовый броситься на нее.

Она медленно отступила и подошла к воде.

— Там, в глубине, покойно и тихо, не правда ли? — проговорила она беззвучно.

— Ты хочешь... — сказал он взволнованным голосом.

— Разве этот родник не чище рук несвободного? Он вольный сын гор. Лишь спустившись в долину, он смешивает свои воды с чужими... Я уже сказала: только рука свободного может коснуться царицы.

— Царицы?

— Ты не веришь, конечно, — перебила она. — Да как тебе поверить? Ведь ты римлянин, ты видишь царей, только когда они появляются, окруженные блестящей свитой, в Риме поклониться императору. Что же это за царица, которая одна, без свиты и телохранителей, бродит по горам? Не так ли? Но знай, иудейские царицы не походят на других: они не любят льстить язычникам из-за мимолетных выгод.

— А Друцила, сестра Агриппы, вышла ведь замуж за римского прокуратора Феликса.

— Она полюбила его.

— Ну, так полюби меня...

Он сказал это, смеясь, и все-таки в его шутливом тоне слышалась глубокая страсть.

Она взглянула на него с насмешкой.

— Ты хочешь, чтобы Вероника...

Он вздрогнул, и величайшее изумление выразилось на его лице.

— Вероника! Так это ты была...

Она кивнула головой.

— Это ты была в корабле, за которым я мчался?

— Значит, ты тот римлянин, которого я видела на берегу рядом с Агриппой? — равнодушно спросила она.

Его снова оскорбил ее тон. Он гордо назвал себя.

— Я — Тит!

— Тит? — переспросила она с пренебрежительным равнодушием. — Кто это Тит?

— Тит — сын Флавия Веспасиана, — резко сказал он. — Имя отца ведь ты слыхала?

Она не изменила тона.

— Веспасиан, — повторила она, как будто припоминая что-то. — Ах да, это посланный Нероном полководец. Он хочет завоевать Иерусалим.

— Он его завоюет.

— Да?

Он гневно топнул ногой. Она не обратила на это внимания и медленно сказала, как бы только для того, чтобы не молчать:

-- Так ты — Тит. И больше ничего. Только сын Веспасиана?

— Германия и Британия могли бы тебе рассказать о подвигах Тита, а Галилея и Иудея, надеюсь, будут помнить тот день, когда Тит переступил их границы.

Она не расслышала последних слов

— Германия и Британия? Ах да, это какие-то дикие страны на севере? — Она подняла руку и потянулась за висящим над головой листом.

Он почувствовал скрытую иронию в ее словах и не мог сдержать закипавшей злости.

— В чем цель твоих вопросов, — проговорил он, — и этого тона? Ты хочешь вывести меня из терпения или оскорбить? Не забудь, что я римлянин, а римляне умеют мстить.

Он схватил ее руку и насильно опустил ее, глядя прямо в глаза. Вероника выдержала его взгляд.

— Разве римляне мстят и женщинам? — медленно проговорила Вероника.

Она улыбнулась, когда он отпустил ее руку. Его замешательство росло. Сначала она казалась ему только прекрасной, прекраснее всех, кого он знал и чьей любви добивался. Теперь же он увидел, какой мощный дух в этом прекрасном теле. Станный, жестокий, своенравный и обаятельный дух. Вероника казалась ему подобной таинственному богу ее народа, неприступному, холодному... Но она не была холодна, когда отдавала свои губы его поцелуям. Это было во сне, и она думала о ком-нибудь другом. Кто же был тот, кому предназначалась любовь этой божественной женщины? Им овладело страстное желание узнать

его имя. Не в силах сдержаться, он спросил об этом Веронику.

Она не подняла глаз и, сорвав листик, стала теревить его в руках. Мягкая мечтательная нега разлилась по ее лицу. Она снова показалась ему такой же обаятельной, как в первую минуту, когда он увидал ее спящей. Он не мог отвести от нее глаз.

— Кого я люблю? — повторила она задумчиво. — Да разве я сама это знаю?

— Но когда ты спала, — проговорил он смущенно, — ты так потянулась ко мне, как девушка, которая ждала своего возлюбленного...

— А если бы я тебе сказала, что было бы?

Станный гнев овладел им.

— Я бы этого человека... — вспыхнул он и вдруг остановился, увидав, что Вероника смеется.

— Неужели так легко овладеть твоей любовью? — проговорила она с насмешкой. — Ты отдаешь ее первой встречной женщине, которую увидел в лесу. Ну да, темные глаза и золотистые волосы! Бедный мальчик. Вероника может полюбить только одного человека.

— Кто он?

— Цезарь, — ответила она, глядя ему прямо в лицо. Он с изумлением взглянул на нее.

— Цезарь? — пробормотал он. — Нерон?

— Разве Нерон цезарь? — спросила она в ответ.

— Я тебя не понимаю.

— Да разве я себя понимаю? Я не о таком цезаре говорю. Пред ним весь мир склоняется, а он все-таки дрожит, боясь кинжала кого-нибудь из своих рабов. Мой цезарь не таков.

— Каков же он?

Она посмотрела куда-то вдаль.

— Быть может, он еще не родился, — проговорила она задумчиво.

Он не знал, что думать о ней; его ослепляла ее душа, ежеминутно менявшая свой цвет. И все-таки его влекло к ней, как бабочку, которая летит на огонь и сгорает.

Наступило долгое молчание, только слышны были журчание ручья и жужжание жуков. Издали раздался громкий звук труб.

Это означало, что Веспасиан прибыл на Кармель и приближался к алтарю иудейского бога.

Вероника поднялась и направилась к опушке леса

— Куда ты? — спросил Тит.

— Посмотреть на римлянина перед алтарем нашего бога,— ответила она с усмешкой.— Если хочешь, можешь идти за мной.

В один миг он подбежал к ней и заглянул в ее спокойное лицо.

— Ты еще гневаешься на меня, Вероника? — спросил он мягким, вкрадчивым голосом.

— За что? За то, что ты поцеловал меня во сне. Я уже об этом забыла.

— Будет время, когда ты об этом вспомнишь,— сказал он мрачно.

— Вот как?

— Да. Это будет тогда, когда Рим украсит меня вот этим за разрушение Иерусалима,— ответил он, вынимая лавровую ветвь, которую Вероника не заметила раньше.

Она посмотрела на нее и побледнела.

— Лавровая ветвь...— пробормотала она.— Где ты нашел ее?

Он с некоторым удивлением взглянул на нее.

— Ручей пронес ее мимо меня, когда я выслеживал исчезнувшую мореплавательницу.

Она сжала губы и пошла вперед. Глубокая складка легла между ее тонко очерченными бровями, придавая лицу что-то демоническое. Он не обратил на это внимания, думая все время только об одном: кого она любит?

Когда они приближались к поляне, где был сооружен алтарь, Вероника вдруг обернулась к Титу.

— Отдай мне ее,— глухо проговорила она и потянулась за веткой.

— Зачем?

— Эта ветка моя, я бросила ее в ручей. Значит.

Быстрым движением он спрятал ветку за спину.

— То, до чего дотронулась рука Вероники,— сказал он с улыбкой,— драгоценно для Тита. Я ни на одну минуту не расстанусь с твоей веткой.

— Все-таки я требую отдать ее. Она предназначена тебе.

— А кому?

— Победителю!

— Значит, мне.

В ее упрямстве было для него что-то обаятельное. Она капризничала, как ребенок.

— Когда же ты мне ее отдашь? — спросила она

— В тот день, когда уста Вероники прильнут к устам Тита

— Никогда

Они вышли на широкую поляну. Навстречу им шел Агриппа. Он удивленно смотрел на них.

Тит рассказал царю, где они встретились, но не сказал о том, что между ними произошло

Когда Агриппа после обратился к сестре, прося объяснений, она только пожала плечами И все-таки Агриппа успокоился, потому что Вероника странно улыбалась, когда она останавливала свой взгляд на Тите. Когда Вероника так смеялась

Глава VII

Воины Веспасиана окружили опушку леса широко раскинутым кругом. Их щиты и копья сияли в солнечном свете. Веспасиан вместе с Агриппой и Титом стояли у алтаря. Недалеко от полководца двое слуг держали на пурпурных шнурах двух годовалых козлов и теленка. Принося их в жертву, Веспасиан надеялся снискать благосклонность единого Бога и отвлечь его благоволение от избранного народа

— Базилид!

Пророк не появлялся

Приняв приглашение Веспасиана, Вероника заняла место в его носилках и с усмешкой следила за тем, что происходило вокруг. Она знала, что Базилид, знаменитый пророк горы Кармель, тот, которому язычники приписывали сверхъестественную силу, на самом деле ничтожный служитель господнего храма в Иерусалиме. Его некогда изгнали из храма, и он лишен был права взывать к имени Бога. Веспасиан, видимо, этого не знал. Но если бы он даже и знал, то все-таки, как все греки и римляне, готов был видеть во всяком, даже ничтожном, иудее существо особенное, одаренное необычайными способностями, состоящее в сверхъестественных отношениях к творцу мира. Идея иудейства — жертва всеми земными благами ради единого высшего существа. Веспасиан при всей своей насмешливости был очень суеверен и считал самое незначительное событие своей жизни предусмотренным божественной волей. Он видел во всем предзнаменование будущего. Все, казалось, оправдывало его веру. В одном из помещений семьи Флавиев старый освященный Марсом дуб пустил новые отростки при рождении трех детей Веспасии — матери полководца. Каждый из отростков был ясным предска-

нием будущей судьбы детей. Первый отросток был слабый и скоро засох, и девочка, рожденная Веспасией, не прожила и года. Второй был очень сильным и обещал счастливый рост. Третий отросток стал деревом. И тогда отец Веспасиана, Сабиний, укрепленный в своей вере изречением оракула, повез своей матери известие, что у нее родился внук, который некогда будет императором. Та расхохоталась и удивилась тому, что сын ее уже стал слабоумным, когда сама она еще при полном рассудке.

Потом, когда император Кай однажды рассердился на Веспасиана, бывшего в то время эдилом, за неисправное состояние улиц и велел за это солдатам наполнить уличной грязью складки его тоги, то и в этом видели предзнаменование: говорили, что настанет время, когда пришедшее в запустение и презираемое всеми государство во время какой-нибудь смуты обратится к помощи Веспасиана и найдет у него защиту. Было еще много других предзнаменований Веспасиан вспомнил, как еще недавно, когда он с Нероном отправлялся на олимпийские игры в Ахайю, ему привиделся вещий сон: ему приснилось, что благополучие его и его семьи начнется тогда, когда Нерону вырвут зуб. А на следующий день, когда Веспасиан шел с докладом к императору, он встретил в атриуме врача, и тот показал ему зуб, только что вырванный у императора.

Все это снова пронеслось в памяти Веспасиана. Теперь он хотел прибавить новое предзнаменование к прежним. С нетерпением ожидал он прибытия пророка.

— Базилид!

Он в третий раз произнес это имя, и пророк вдруг появился перед ним как из-под земли. Вероника вздрогнула и чуть не крикнула от возмущения. Агриппа едва успел удержать ее. Базилид, изгнанный служитель храма, осмелился надеть белое льняное платье, мантию и головной убор священнослужителя храма и препоясан был поясом, который имел право носить только верховный служитель храма.

— Вероника! — с волнением прошептал Агриппа. — Не губи меня...

Вероника откинулась назад и закрыла глаза руками.

За пророком следовала Мероэ, одетая в такие же, как он, одежды, она держала в руках драгоценный кубок. Узкое личико ее было мертвенно-бледно, огромные глаза выглядели потухшими.

Когда Веспасиан увидел пророка, он в знак благоговения преклонил колени.

— Чего желает Флавий Веспасиан от Базилида, пророка всемогущего, вечного Бога, — спросил полководца выходец из Эфеса.

— Ты меня знаешь? — спросил Веспасиан

— Пророку Всеведущего все известно.

Природная насмешливость Веспасиана проснулась в нем при звуке торжественного голоса пророка.

— Зачем же ты меня спрашиваешь? — сказал он, усмехаясь.

Лицо Базилида не дрогнуло.

— Потому что тот, кто приносит жертву, должен объявить перед всем народом, о чем он молит Всевышнего Римлянин насмешливо пожал плечами.

— Тогда вам, конечно, легко все знать.

— Ты без веры пришел сюда и хочешь испытать волю божию, — ответил строго Базилид. — А что, если Бог тебя будет испытывать? Не тревожься, — прибавил он, заметив беспокойство Веспасиана. — Тот, кому я служу, отпускает тебе твое признание, ибо ничего ты не можешь скрыть от его глаз. Он знает, что ты пришел вопрошать об исходе войны, которую ты по велению цезаря должен вести против иудеев. Разве это не так?

И опять у Веспасиана появилось желание посмеяться над пророком

— Конечно, — сказал он со смехом. — Да твой Бог был бы более слеп, чем Эдип, если бы не видел сверкания копий и шлемов вокруг нас.

— Ты кощунствуешь, римлянин, — произнес Базилид гневно. — Знай, что Богу легко уничтожить тебя и все твои легионы, если на то была бы его воля. Истреби последнюю искру недоверия в душе твоей, полководец. В противном случае дым от твоей жертвы не поднимется к небу, а будет стлаться по земле. И недостойно священнослужителя класть дары сомневающегося на алтарь Всевышнего. Сказать тебе, о чем твое сердце думает и мечтает в тайниках своих? Открыть ли тебе, что ты пришел узнать про иное и более важное, чем судьба маленького презренного племени?

Мощный, громоподобный звук его голоса внушил полководцу ужас пред чем-то необъяснимым, и тайный смысл, который слышался ему в словах пророка, заставил его побледнеть. Откуда этот человек знает то, что он с таким страхом таил от всех. Свои заветные желания и надежды он не открывал даже самым близким друзьям. Быстрым предостерегающим движением он велел Базилиду молчать.

На темном лице пророка промелькнула торжествующая

улыбка. Он продолжал говорить почти шепотом, так что только один Веспасиан мог слышать его.

— Флавий Веспасиан, — сказал он с мягким упреком. — Твое сердце было полно неверия и сомнения, когда ты поднимался на Кармель. Поэтому ты изрекал хулу на Бога, но Всевышний хочет, чтобы ты познал его. Вот почему я должен возвестить тебе то, что среди бурной ночи и блеска молний мне говорил голос Всевышнего. Слушай же брожение в душе Веспасиана. Он страшится опасности, и в нем все более и более горит желание достичь самого высокого, что земля дает людям. Но должно свершиться то, что вписано в книгу судеб кровавыми письменами. Расслабленный сластолюбец должен пасть с захваченного трона, а на трон взойдет человек темного происхождения, родом из Иудеи.

Он замолчал на минуту, чтобы дать время оправиться пораженному римлянину

— Сказать тебе, Флавий Веспасиан, пришедший покорить Иудею, — продолжал Базилид, впиваясь своим острым взглядом в лицо полководца, — сказать тебе, в чем цель твоих стремлений?

Веспасиан отшатнулся с серым от ужаса лицом.

Базилид усмехнулся. Больше уже нечего было бояться насмешек Веспасиана.

— В таком случае, — сказал пророк, поворачиваясь к алтарю, — ты можешь приносить жертву

Полководец вернулся, шатаясь, к сиденью, приготовленному слугами из камней и моха вблизи алтаря. Затем он дал знак подвести жертвенных животных.

Базилид тщательно осмотрел их и одобрительно кивнул головой. Он обнажил затем свою мускулистую руку и выхватил нож, торчавший за поясом. Затем с быстротой молнии перерезал горло животным. С глухим звуком они упали на землю.

Мероэ, бледная, как смерть, с блуждающим взглядом, наполняла кубок льющейся кровью. Часть ее Базилид брызнул на алтарь, произнося какие-то слова

Наконец судорожные движения жертвенных животных замедлились, кровь стала литься меньше.

У Мероэ в руках был последний кубок с дымящейся кровью. Базилид в это время быстро и умело содрал шкуры, разрезал на куски мясо и, посыпав его солью, положил на костер. Затем он поджег костер, и густой дым заслонил пророка и девушку

Мероэ с расширенными от ужаса глазами смотрела на

своего господина. При каждом его движении она вся вздрагивала. Наконец раздалось грозно:

— Пей!

Холодящий ужас сковал ее, она с мольбой смотрела на пророка.

— О повелитель... — шептала она.

— Пей! — повторил он.

Она пошатнулась, рука с кубком дрожала, как в лихорадке.

— Я не могу, повелитель. Я не могу...

Она опустилась перед ним на колени. Ее длинные светлые волосы рассыпались по земле, в глазах светилось безумие.

Базилид произнес страшное проклятие, потом вырвал кубок из рук Мероэ и силой втиснул край кубка между ее губами. Дымящаяся густая струя жертвенной крови вылилась в горло Мероэ. Потом Базилид отпустил ее, и она упала на землю.

Заходящее солнце бросало кровавые лучи сквозь облака дыма. Легкое дуновение ветра разносило дым во все стороны, и вся поляна была покрыта туманной завесой, то сгущавшейся, то открывающей полосы дрожащего волшебного света. Все предметы казались призраками в этом странном освещении. Искры то вспыхивали мелкими огненными язычками, то потухали, словно танцуя на верхушках деревьев, на оружии и шлемах солдат. Таинственная тишина разлита была вокруг. Ее прерывал только треск догорающего костра на алтаре и шипение жертвенного мяса, от которого поднимался бледно-желтый дым.

Пророк удовлетворенно кивнул головой, потом скользнул сквозь клубы дыма в заросли, скрывающие вход в его пещеру.

Вскоре после этого раздался шум крыльев в глубине леса. Огромный орел поднялся высоко над вершинами деревьев и стал кружить вокруг алтаря. Веспасиан вышел из мрачного раздумья и посмотрел на парившую наверху птицу. Она была эмблемой власти Рима над всем миром. Не было ли это знаменем, посланным иудейским богом?

Вид птицы разрешил тягостное молчание, томившее всех. Они указывали друг другу на птицу. Поднялся шепот, перешедший в общий громкий крик:

— Да здравствует вечный Рим!

Ветер улегся, и жертвенный дым поднялся столбом к небу.

Орел, которого отпугнул крик, на минуту улетел в сто-

рону, потом вернулся и стал снова кружить над манящей его добычей. Суживая круги, он почти неподвижно повис на один миг в воздухе. Раздался пронзительный клекот, и орел бросился в дым и пламя. Потом он снова взвился на воздух, держа в когтях кусок мяса. Вдруг появился второй орел, как молния кинулся на него и стал отбивать добычу. Завязалась яростная борьба. Когда один, нападая, старался схватить другого, тот искусно ускользал от него. Наконец оба они медленно опустились на землю рядом с Веспасианом, который, сдвинув брови, ждал исхода их боя. Но новое чудо! Истощились ли силы соперников, или они повиновались таинственному высшему велению? Они вместе бросились на добычу и, раздирая ее острыми клювами, жадно проглатывали куски с громким криком.

«Что означает этот странный знак? С кем ему придется делить торжество победителя?» — подумал Веспасиан.

Агриппа тихо подошел к нему. Показывая на второго орла, он сказал:

— Тит!

Веспасиан вздрогнул, пораженный правдоподобностью пророчества. «Конечно, его горячо любимый сын предназначен самими небом делить с ним власть». Лицо его прояснилось. Он подозвал к себе Тита и показал ему на обоих орлов. Они только что взлетели и поднимались теперь все выше и выше медленными величественными кругами и наконец исчезли из виду.

Тит, казалось, всего этого не видел. Он стоял, прислонившись к носилкам, в которых была Вероника. Он видел только ее. Но она, казалось, не обращала на него внимания, хотя ее рука покоилась рядом с его головой у края носилок. Его горячее дыхание касалось ее бледных пальцев, проникало под широкий рукав платья, обдавая пламенем ее руку.

Столб дыма на алтаре прояснился и вскоре совсем рассеялся, но огонь еще горел, даже сильнее, чем прежде: в нем дрожали стоящие за алтарем деревья зыбкими призрачными очертаниями.

Базилид увидел, что настало время действовать. Он принес к алтарю плетеную корзинку, которую поставил рядом с Мероэ. Затем наклонился над лежащей без чувств девушкой и натер ей виски и руки какой-то жидкостью с едким запахом. Кровавая пена тотчас же показалась на ее бледных губах. Все ее тело свело в судороге. Она широко раскрыла испуганные глаза, в которых светилось

сверхъестественное пламя. Казалось, что глаза ее сейчас выйдут из орбит

— Пламя, пламя.. — бормотала она.

Базилид взял ее руки в свои. Его прикосновение произвело странное магическое действие на девушку. Она перестала биться, на лице показалось восторженное выражение. Пророк взглянул на нее и поднес к ее глазам указательный палец правой руки. На нем было кольцо со сверкающим камнем. Тело Мероэ оставалось неподвижным, но взгляд ее устремился на камень, который Базилид все ближе и ближе подносил к ее лицу, приблизив его наконец к середине ее лба. Мероэ следила за его медленными движениями, и на лице ее появилось выражение неземного блаженства. Обнаженные руки ее медленно поднялись над головой, ноги стали двигаться в странном ритмическом танце. Казалось, она как дуновение поднялась бы на небо, но таинственная сила приковывала ее к земле.

Базилид повторял ее движения и шептал какие-то непонятные слова, сопровождая их мелодичным напевом.

— Слушайте, слушайте. Звезды поют на пламенном пути...

Крышка корзинки приподнялась, и из нее показалась голова змеи, за ней другая, третья... Влажные сверкающие тела змей переползали через край и потом поднялись с земли в безмолвном страшном танце.

Губы Мероэ приоткрылись, и она стала повторять его слова все яснее и яснее, чем чаще Базилид их повторял.

Она, казалось, хотела ухватиться за какое-то отдаленное воспоминание, принимающее все более и более определенный образ. Вдруг Мероэ вздрогнула, и лицо ее утратило напряженность. Она нашла потерянную нить.

Пророк, увидев это, схватил ее за руку и провел к алтарю. Змеи следовали мелодии, извиваясь и шипя.

Подойдя к нижней ступени алтаря Базилид отошел в сторону и замолчал. Мероэ поднялась на площадку алтаря, свободную от пламени.

Всем показалось, что Мероэ вышла из пламени. Всех охватил ужас. Змеи извивались вокруг Мероэ, вокруг ее груди и бедер, вокруг ее шеи и рук. Голос ее звучал сначала как журчание лесного ручья, бегущего по камням, потом он стал более сильным, подобным горной реке и, наконец, рокоту бурного пенящегося моря.

— Слышите, слышите... Звезды поют на огненном пути.. блестящие сонмы ангелов спускаются в огненном

облаке... Это ты, архангел Михаил, князь высот... глаза твои жгут, как пламя, охватившее весь мир, крылья шумят, как бурный океан... А это ты, родоначальник, ты законодатель, судья!.. Вот видите! Он явился, герой-избавитель; он вышел из Иудеи, из священного Иерусалима! Все повергается перед ним в прах, и все-таки он милосерден и добр, мой властелин... как сладостное вино, как освежающая летняя заря... Божий лик светится над ним. Его мудрые мысли — я знаю их. Они не рассеются, как плевелы, по ветру. Бог вечности исполнит все его желания... я слышу голос Всевышнего. Меня душит дыхание твоих уст... только вокруг уст избранника оно веет, как мягкий летний ветерок. О, зачем повергаешь ты меня и народ мой вместе со мной к ногам великого врага. Горе мне, горе Израилю! Боже, Боже...

Голос Мероэ замер. Огонь, вспыхнув в последний раз, осветил все вокруг. С безумным криком Мероэ вскинула руки и рухнула на жертвенник. Змеи снова поднялись, извиваясь и шипя.

Вдруг что-то темное и призрачное захлопало крыльями рядом с Веспасианом, и раздались слова, произнесенные каркающим голосом:

— Да здравствует цезарь!

Веспасиан вскочил и поднял руку; он хотел что-то сказать, но слова его утонули в ликующем крике:

— Да здравствует цезарь!

Вероника позволила Титу проводить ее до дворца. На прощание она молча кивнула ему головой, не замечая его протянутой руки.

— Ты не хочешь помириться со мной? — мягко спросил он.

Она горько засмеялась в ответ.

— Разве побежденные могут мириться? Ведь даже Бог, Бог нашего народа, предсказал римлянам победу.

— Что для меня значит Бог! — воскликнул он. — Тит преклоняется только перед богиней.

Не обращая внимания на свиту, он хотел опуститься пред ней на колени.

— Это только слова, — прошептала она.

— Нет, не слова. Повелевай, и ты увидишь...

— Да? А что; если бы я поймала тебя на слове... Берегись, Вероника умеет просить только об очень важном

— Будь это выше всего на свете — скажи?

— Догадайся сам.

— А если я догадаюсь. я могу тебе сказать?

— Можешь.

Он облегченно вздохнул и поклонился. Вероника исчезла в дверях, не оглянувшись.

.

Веспасиан не мог заснуть в эту ночь. Он беспокойно ходил взад и вперед по своей спальне; его обыкновенно бледное лицо покрылось густым румянцем, глаза горели. Слова иудейского бога относились, несомненно, к нему. Все прежние предзнаменования были известны лишь немногим и тех, кто знал о них, здесь не было. Значит, Базилид возвестил ему истину. Все тайные желания и мысли Веспасиана должны исполниться и. Он не мог продолжать думать об этом. Пред его внутренним взором выступали блестящие картины: слава и честь несут ему лавры... Все у его ног... И громче всего звучат знакомые слова: так часто раздавались они при появлении другого, и только сегодня Веспасиан познал их сладость:

— Да здравствует цезарь!

.

Базилид сидел в своей пещере. Пламя очага освещало яркими полосами света острое желтое лицо пророка. Он сидел на ковре в передней части пещеры. В углу, на кольце сидел ворон, на земле лежали, свившись в клубок, змеи. Не было только орлов. Они не вернулись. Может быть, они в самом деле остались у иудейского бога. Базилид рассмеялся.

— Не все ли равно,— пробормотал он.— Теперь мне они не нужны. Базилид, пророк Кармеля, умер сегодня, чтобы уступить место Базилиду, государственному человеку. После того, что Агриппа сказал мне на прощание..

С радостным смехом Базилид перебирал кучку золота которое лежало пред ним на ковре.

.

На поляне, у алтаря Всевышнего, сидел карлик Габба. Он держал в руках трепещущее тело Мероэ и с ужасом вглядывался в безумное лицо девушки.

Мероэ повторяла все те же слова:

— Слушайте, слушайте... Звезды поют на пламенном пути... светила. светила...

Нить порвалась. Мероэ не могла собрать своих мыслей. Густая темно-красная отвратительная струя крови все увлекла за собой...

Габба положил ее голову себе на колени. Он безмолвно молился о мщении. Сердце его разрывалось. Никогда более он не увидит в любимых глазах Мероэ луч сознания, не услышит сладостных слов: «Габба, дорогой Габба». Душа Мероэ умерла. Вдруг девушка вырвалась из его рук и расхохоталась. Дикими, безумными прыжками помчалась она по поляне, Габба едва мог уследить за ней. Только ее безумный хохот указывал ему путь. Он страшно звучал среди ночи, и Габба холодел от ужаса.

Глава VIII

В доме Этерния Фронтонна, вольноотпущенника Тита, веселье кипело до поздней ночи.

На плоской крыше, обращенной к тенистому саду, была устроена терраса. На ней, за колоннами, обвитыми венками, расположились гости Фронтонна — пестрое общество, состоявшее из римских офицеров, танцовщиц, мимов и певцов, которые сопровождали своих покровителей. Гости, разгоряченные вином и полураздетые, лежали на пурпурных подушках; их озаряло матово-красное мелькающее пламя высоких светильен. Слуги подавали кубки с испанским вином, прекрасные юноши, одетые девушками, с кокетливой улыбкой разносили венки и яства. Бледные гречанки лежали опьяненные на пышных коврах и бросали в гостей кожуру от плодов. С круглых столов лилось на пол вино, падали смятые розы, разбитые кубки. На запятнанном мраморе валялись раздавленные кольца и запястья. Над всем этим носился серый дым от аравийских благовоний. Одна из рабынь жгла их на серебряном треножнике. Подушки и лежащие на них гости окутаны были тяжелыми облаками, и все пространство между колонн было подернуто словно туманом. Большинство гостей были уже пьяны, а между тем пир только начинался.

— Это что такое, божественный Этерний? — бормотал заплетающимся голосом Секст Панза, знавший только понаслышке о пышной жизни богачей. Он указал на двух рабов, вносивших на подносе корзины. Там на соломе сидела деревянная курица с распущенными крыльями.

Фронтон засмеялся и хлопнул в ладоши; рабы стали

вынимать из соломы яйца, выпеченные из теста, и стали раздавать их гостям. Толстый вольноотпущенник Гай лукаво подмигнул наивному трибуну и стал рассматривать как бы с недоверием свое яйцо.

— Боюсь, что в нем есть уже выводок, — сказал он. — Этерний любит такие шутки.

Секст поморщился от отвращения, несмотря на то, что был пьян. Он хотел бросить яйцо на пол, но оно вдруг расколосось у него в руках. Он крикнул от изумления: из скорлупы выкатился бекас, зажаренный в корке из яичного желтка.

Едва присутствующие успели выразить одобрение хитрой выдумке повара, как второй сюрприз сменил первый. В залу внесли новое блюдо на круглом подносе.

— Клянусь духом покойного Тантала, — воскликнул тощий Петроний, помощник городского префекта, — я боюсь, что Фронтон уморит нас с голоду еще при жизни! — На подносе лежали двенадцать знаков зодиака и около каждого из них соответствующее блюдо. Около знака тельца — кусок мяса, около знака рыбы — два морских краба.

Ожиданиям гостей мало соответствовали такие простые блюда, и они с недоумением приступили к еде. Но в эту минуту четыре раба быстро сняли верхнюю часть блюда. Раздался громкий крик изумления. Посреди блюда оказался заяц, имевший вид пегаса с раскрытыми крыльями, а с четырех сторон — изображения Марсия: из скрытых, спрятанных сосудов лился ароматный бульон на мясо и рыбу, плавающие в расположенном вокруг канале.

Росций Манолий, поставщик хлеба в армию, известный своими пышными пирами, начал опасаться соперничества Фронтонна. Он сморщил от недовольства свой маленький вздернутый нос.

— Хотел бы я знать, — сказал он соседу, — как Этерний может после такого следовать закону постепенного нарастания впечатлений...

Его слова заглушены были шагами рабов, которые расстилали пред гостями, ковры; на них изображены были охотники с копьями. Раздался лай, и вдруг в залу ворвалась свора собак. За ними следовали рабы. Они несли на подносе гигантского вепря с шапочкой на голове. С его рогов свешивались две плетеные корзиночки, одна была наполнена свежими, другая — сухими финиками. Затем появился гигантского роста эфиоп, одетый охотником. Он разрезал вепря, и из зияющей раны посыпались жареные птицы

слуги, стоявшие наготове, подхватили их и обносили ими гостей вместе с финиками, игравшими роль желудей

— Но почему,— спросил наивный Секст хозяина дома,— у вепря на голове шапочка вольноотпущенника?

Этерий рассмеялся. Вопрос доказывал, что Секст не бывал на пирах у богатых римлян.

— Этот зверь был на вчерашнем нашем пиру главным блюдом,— ответил Этерний,— но его унесли в кухню нетронутым, поэтому он возвращается сегодня на стол вольноотпущенником.

Секст Панза в глубине души сердился на свою глупость. Он уже более не задавал вопросов, чтобы не иметь вида человека, никогда не обедавшего в порядочном обществе.

Вскоре новое зрелище привлекло общее внимание. Этерний Фронтон воспользовался этим, чтобы незаметно уйти из комнаты. У него появилась мысль, от которой закипела его кровь, уже и без того разгоряченная вином и лестью гостей. Он вспомнил о своих пленницах.

Старого Иакова бен Леви, несмотря на его слабость, заключили в один из сырых погребов городской префектуры. Себе же вольноотпущенник выговорил право распорядиться судьбой Тамары и Саломеи. Он поместил обеих девушек в одном из отдаленных покоев женской половины своего дома.

Он шел теперь по тускло освещенным проходам, куда не проникал шум пиршества, и его разгоряченному воображению представились лица двух иудейских девушек. Он вспомнил, как вступился за них Флавий Сабиний с его притворной добродетелью во время их первой встречи. Он этого не забыл. Этерний Фронтон никогда ничего не забывал. Настанет когда-нибудь время, когда он отомстит. Он сжал кулаки и произнес проклятие, а потом рассмеялся над самим собой. Время ли теперь думать о таких пустяках? Он мысленно сравнивал между собой обеих девушек: мрачную Саломею с ее резкой строгой красотой и изящную Тамару с ее лукавым изяществом. Обе казались ему привлекательными; выбор между ними был труден. Но зачем выбирать? Жестокая улыбка легла на его узкие губы, когда он раздвинул занавес и вошел в переднюю часть покоя, служившего местом заточения для девушек.

Гликерия, старая прислужница, поднялась, когда он вошел. Ее увядшее лицо было полно подобострастия.

— То-то было плача и визга,— заговорила она шепотом и злорадно хихикая.— Мои старые глаза видели много

диких голубок, которые бились о решетку. Ты это знаешь, господин. Но таких я еще не видала. У младшей глаза распухли от слез; она умерла бы от отчаяния, если бы старшая не ободряла ее.

— О чем они говорили?

— Я не понимаю их языка. Да и как понять бессмысленную болтовню иудеев! Кажется мне, они не молились о благе моего милостивого господина. Но уже и то хорошо, что маленький зверек заснул. Что делает старшая? Еще недавно я слышала ее голос, и, если ты велишь, я пойду посмотреть...

Он остановил ее.

— Я сам,— нетерпеливо сказал он и подошел к двери

Он вдруг остановился у порога.

— А что с едой и вином, которые я послал им? — спросил он.

— Не тронули,— с лицемерным вздохом сказала старуха.— Ты ведь знаешь, иудеи брезгуют пищей язычников. Но завтра, когда их одолеют голод и жажда...

— Я не могу так долго ждать,— вскипел он.— Я считал тебя умнее, старуха! Ведь не в первый раз тебе приходится приручать дикарок...

Он гневно отвернулся и бесшумно отворил дверь.

Саломея не услышала, как он вошел. Она стояла, прислонившись к решетке единственного окна. Сквозь обвивавший его плющ пробивался бледный лунный свет, окутывая сиянием ее голову. Все остальное — стены, жесткая скамейка в глубине, на которой спала Тамара, и дверь — оставалось в глубокой тени.

Этерний Фронтон остановился на пороге. Вид ее красоты, овеянной выражением глубокой грусти, производил на него неотразимое влияние. Им овладело новое загадочное чувство стыда, давно уже им не испытываемое. Ведь он пришел опозорить эту благородную, нетронутую чистоту. Но разве он сам не был чист и добр, прежде чем грубая сила Рима вырвала его из объятий матери? Каждый раз, когда он об этом думал, у него кровь вскипала от бешенства и кружилась голова.. Он хватался рукой за бич, и безжалостные удары сыпались на дрожащие тела рабов. И он в это время придумывал тысячу способов, чтобы растоптать и уничтожить всех. Все добрые и непорочные люди, все кому жизнь улыбалась и кто жил надеждами, были его врагами.

С тихим смешком вошел он в комнату, закрыв за собой

дверь. Тамара проснулась и взглянула на него глазами полными ужаса. Из бледных уст ее вырвалось сдавленное рыдание. Он не обратил на нее внимания. Величественная красота Саломеи полонила его душу. С волнением направился он к ней.

Она слегка обернулась к нему. Она знала, зачем он пришел. Только на минуту глаза ее затуманились, потом она опять взглянула на него ясно и спокойно.

Он подошел к ней, его горячее дыхание обдавало ее лицо.

— Тебе Гликерия передала мое предложение? — спросил он грубо.

— Да.

— И что ты ответила?

— Нет.

Он вздрогнул.

— Нет, — повторил он. — Да знаешь ли ты, девушка, что значит это «нет»? Жизнь твоего отца в моих руках.

— Я знаю.

— И твоя жизнь также.

Она ничего не ответила, отвернулась от него и медленно протянула руку к окну, так что ее осветил бледный луч месяца. Она глядела как во сне на свою руку. Бледный цвет ее в лунном сиянии гипнотизировал ее. Фронтон тоже смотрел на ее руку.

— Нежная, тонкая рука, — глухо проговорил он. — И все-таки сильная. Она держит три жизни. И даже не три, а четыре. Ведь движение этой руки сотрет с лица земли не только Иакова бен Леви, Тамару, самую тебя, но еще одного — Регуэля, сына Иоанна из Гишаны.

Она быстро обернулась к нему, с удивлением повторив:

— Регуэль...

— Он в наших руках. Он пришел в Птолемаиду, чтобы спасти свою сестру и семью своего дяди. Безумец! Он забыл о бдительности Рима.

Этерний чувствовал, как кровь бросилась ему в лицо под ее взглядом. Он разозлился на самого себя. Даже перед Нероном он мог стоять бесстрастно, а теперь опускает глаза перед беззащитной иудейкой.

Ты лжешь, — спокойно сказала она.

Он притворно рассмеялся.

— Советую тебе не раздражать меня, красавица Саломея. В моих руках твоя судьба. Но ты, видно, не понимаешь, какая опасность грозит тебе. У меня есть тысяча

средств сломить твое упрямство. Ты не веришь? Смотри. несколько капель этой жидкости, — он вынул изящный флакон из складок своего платья, — в твоём питье достаточно, чтобы...

— Я не буду пить.

— Может быть, не будешь и есть? — спросил он насмешливо. — Ты, вероятно, никогда не голодала и не испытывала жажды, если так легко говоришь об этом. Когда у тебя будут гореть внутренности и высохнет язык...

— Я разобью себе голову об эту стену...

Она так просто это сказала, что он понял бесполезность своих слов. Гнев охватил его. Красное облако застлало ему глаза.

— Хорошо! — крикнул он. — Я тебе покажу свою власть. Видишь это окно? Оно выходит на тихий заброшенный двор. Если Гликерия через час не принесет твоего согласия, то двор этот осветится светом факелов и рабы мои устроят помост. Там воздвигнут крест. Видела ты когда-нибудь человека на кресте. Слышала ты его стоны, когда ему вбивают гвозди в ноги и руки? Тебе страшно об этом подумать? Ну, так ты увидишь твоего собственного отца на кресте, и когда последний потухающий взор его обратится в твою сторону, то знай, что ты одна будешь виновата в его смерти.

Она стояла, казалось, охваченная ужасом от той картины, что он нарисовал, но потом выпрямилась, гордая и непреклонная.

— Мой отец, — сказала она, — предпочтет лучше умереть, чем видеть свою дочь в объятиях римлянина. И к тому же...

— К тому же?

Она усмехнулась:

— Такого человека, как Иаков бен Леви, брат Иоанна из Гишалы, Веспасиан не даст умертвить ради прихоти одного из вольноотпущенников...

Этерний Фронтон опустил глаза. Она была права. И вдруг взгляд его упал на Тамару. «Вот, что заставит ее покориться...» — подумал он.

Он подошел к двери и, приоткрыв ее, позвал Гликерию. Она тут же подбежала к нему, склоняясь в подобострастном поклоне, ожидая его распоряжений.

— Позови рабов, — приказал он, — пусть захватят с собой плеть. Пошевеливайся! — прикрикнул он на старуху и добавил: — Я решил высечь провинившуюся девчонку...

Посмеиваясь, он стоял в дверях, ждал, когда придут рабы, и, многозначительно ухмыляясь, смотрел то на Тамару, то на Саломею. Наконец раздалась шага и появилось несколько слуг. Этерний Фронтон подошел к одному из них, высокому нубийцу, и что-то стал шептать ему на ухо. Потом рабы быстро вошли в комнату, где были девушки, и держа Тамару за руки, разорвали на ее спине одежду. Нубиец встал около нее, держа наготове плеть.

Этерний Фронтон, подняв руку, спросил Саломею — Может быть, ты передумаешь, красавица?..

Саломея кинулась к Тамаре, но ее схватили за руки рабы и отвели в сторону. Этерний Фронтон опустил руку. Нубиец взмахнул плетью. Рассекая воздух, она со свистом опустилась на худенькую, узкую спину девочки, оставляя после удара багровый, сочащийся кровью рубец. Тамара закричала так, что не было сил вынести этот крик.

Саломея, побледнев, крикнула Фронтону:

— Останови его! Хорошо.. Я согласна. Останови же его!

Вольноотпущенник остановил нубийца.

— Ты согласна? — переспросил он недоверчиво.

— Согласна... — беззвучно сказала Саломея.

Этерний Фронтон приказал отпустить Тамару и принести ей воды. Потом он подошел к Саломее и, все еще не веря ей, спросил:

— Если ты согласна, то ты выйдешь и к моим гостям? Я прикажу одеть тебя...

Она снова беззвучно сказала:

— Да, я выйду.

Этерний Фронтон вернулся к гостям. Он, радостно потирая руки, вошел в залу, где шел пир. Увидев его, все закричали со своих мест:

— Мы тут сдохли от скуки, пока тебя не было... Куда ты запропастился, мы не знали, куда девать себя, а что если устроить травлю на маленькой арене в твоём саду, при свете факелов, это будет замечательным зрелищем.

Этерний Фронтон гордо улыбнулся:

— Что вы, друзья мои! Все это было бы слишком ничтожно для вашего изысканного вкуса. У меня в руках есть уже первая добыча войны, которая еще только начнется. Иудейка чистейшей крови, молодая, прекрасная, знатная

— Иудейка! Их можно купить сколько угодно в Риме

— Но не такую. Ибо Саломея — так ее зовут — пле-

мянница самого опасного врага между иудеями — Иоанна из Гишалы.

Услышав имя мятежника, все вскрикнули от изумления.

— Клянусь молнией Юпитера! — подтвердил Фронтон, увидев недоверие на лицах гостей. — Я сказал правду. Саломея, дочь Иакова бен Леви, торговца оливковым маслом, брата Иоанна из Гишалы, появится пред вами и повторит танец, который некогда танцевала дочь Иродиады, чтобы получить голову безумного пророка...

— Вино твое слишком хмельное, Этерний, вот что! — сказал насмешливо один из гостей. — Племянница Иоанна из Гишалы! Твоя фантазия слишком далеко залетает, и мы не можем за ней следовать...

Фронтон сделал знак одному из рабов, и тотчас после того раздвинулась занавеска в конце залы, впуская целую толпу танцовщиц и певиц. Среди них была Саломея. Греческое одеяние облегло ее стройный стан; ее благородная красота проявлялась в полном блеске. Присутствующие приветствовали ее восторженными криками.

Этерний Фронтон с торжеством оглянулся на своих гостей, потом поднялся и пошел навстречу иудейке и театрально склонил перед ней голову, как перед царицей.

— Прости, — сказал он льстивым голосом, — что я решился нарушить твое уединение. Но слава о твоей красоте и твоём очаровании уже перешла за порог твоего тихого покоя и проникла в сердца моих друзей. Я не мог долее противиться их желанию увидеть тебя.

Бледное лицо Саломеи было бесстрастно, как будто эти слова к ней не относились. Только глаза ее медленно поднялись, странно изменившиеся глаза. В них не было жизни, умерло все, что им прежде придавало страсть и живость.

— Чего ты от меня хочешь? — спросила она, губы ее едва шевелились.

Вольноотпущенник усмехнулся. Это было ему знакомо. Все они таковы, а потом...

— Исполни танец дочери Иродиады, — попросил он.

Она положила на колени восьмиструнную киннору и взяла несколько страстных, безумных аккордов. Инструменты музыкантов вторили ей.

Саломея пела полуоткрытыми губами опьяняющую песню любви. Отбросив киннору после первой строфы, она вступила на ковер посреди залы. Но она не танцевала; стоя на одном месте, она только качалась, следуя ритму мело-

ции И в этом ее движении было, однако, что-то неотра-
зимое

Глаза гостей неотступно следили за ней. Она ни на
кого не обращала внимания. Взгляд ее был устремлен
только на Этерния Фронтонна. Она чувствовала в душе
только безграничную пустоту. Радость и печаль, страсть
и холод, любовь и ненависть — все исчезло. Любовь?
А он — Флавий Сабиний? Чем он был для нее теперь?
Она стала одной из тех холодных мраморных статуй, ко-
торые стояли в углах залы, бесчувственные, безжизнен-
ные. Все видели ее позор. И опять она встретила со
страстным взглядом Фронтонна. Он был, очевидно, изу-
млен переменой, произошедшей с ней, и гордился легко-
стью победы над ней.

— Неужели не все в ней умерло? Безумное чувство смер-
тельной радости душило ее, кружило ей голову. О да, он
должен ее полюбить, полюбить, полюбить до безумия,
и тогда — О сладость мести!

Ее глаза, завлекая, устремились на него, манящая
улыбка осветила ее мраморное лицо; обольстительно из-
гибаясь в танце, она незаметным движением отстегнула
пряжки на своих одеждах.

— Саломея!

Она вздрогнула, и холодный пот выступил у нее на
лбу. Рука бессильно опустилась.

Флавий Сабиний!

Он устремился к ней, раздвигая толпу танцовщиц и пе-
виц. Она отшатнулась; он протянул руки, чтобы поддер-
жать ее, но она выпрямилась, и глаза ее скользнули по
его лицу холодным чужим взглядом.

Этерний Фронтон поднялся со своего ложа, схватил
тяжелый серебряный кубок, чтобы бросить его в голову
ненавистного Сабиния. Но вдруг знакомый голос, которо-
го он так боялся, окликнул его, и чья-то сильная рука
сжала его руку:

— Благодарю тебя, друг Фронтон, за приветственный
кубок вина, который ты мне предлагаешь!

На лице Фронтонна показалась рабская улыбка.

— Тит!

— Ты изумлен, что я так поздно пришел к тебе?
смехом сказал сын Веспасиана. Но разве ты не знаешь,
что Тит всегда рад кубку старого фалернского и пламен-
ному взору прекрасных глаз. Известие о твоём пире дош-
ло до меня как раз вовремя. Бог Кармея и еще кое-что

взволновали мне кровь, и я уговорил Флавия Сабиния пойти со мной сюда.

Он опустился на подушки в одном из углов залы и велел принести ему вина.

— Не лучше ли тебе сесть за большой стол, — сказал нерешительно Фронтон. — Мои гости никогда мне не простят, если я лишу их случая быть замеченными Титом...

— На что мне эти болтуны! — сказал Тит. — Мне нужно поговорить с тобой.

— Я хочу надеяться, — пробормотал вольноотпущенник смущенно, бросив беспокойный взгляд в сторону Саломеи и Флавия Сабиния, — я надеюсь, что буду в состоянии следить за твоими словами. Говоря откровенно, я несколько... вино и...

— Женщины, не правда ли? — сказал Тит, грозя ему шутливо пальцем. — Не притворяйся, друг! Не боишься ли ты, что мой двоюродный братец отобьет у тебя эту красотку? Не бойся, он слишком добродетелен, он не опасен.

Тит усадил слегка сопротивлявшегося Фронтоня около себя и начал говорить ему о чем-то.

Тит был не богат и нуждался в деньгах. Не в первый раз он обращался с подобными просьбами к Этернию Фронтону, своему бывшему рабу. Правда, Фронтон не давал денег даром, но за меньшие проценты, чем ростовщики. Этим он покупал расположение Тита. По мере того, как Тит излагал свою просьбу, лицо Фронтоня все более просветлялось. Наконец он с торжеством взглянул в сторону Флавия Сабиния и Саломеи. Для него оказалось очень кстати, что Тит нуждался в деньгах.

— Саломея, что значит эта внезапная страшная перемена?

— Не спрашивай.

Он с мольбой глядел на нее, но она не поднимала глаз. Неужели он ошибся в этой девушке, неужели ее невинность и сердечная чистота были лицемерием и ложью?

— Если бы ты знала... все это время я думал только о том, как спасти...

Она покачала головой.

— Спасти? Зачем?

Он побледнел.

— Я не понимаю тебя. Ты бы хотела... Фронтон для тебя...

Она не отвечала. Она словно ничего не слышала, а меж-

ду тем каждое его слово, каждый звук его голоса впивались ей в сердце.

— Неужели я тебе так ненавистен? — шептал он. — Конечно... та маленькая услуга, которую случай помог мне оказать тебе, не дает права на твою дружбу. Я все-таки римлянин — враг твоего народа, и ты должна меня ненавидеть...

Ему показалось, что она хочет что-то сказать, он наклонился к ней, затаив дыхание, но она не произнесла ни звука.

— Не знаю, — прошептал он, растерявшись. — Ты не была такой молчаливой и странной в тот вечер, когда я увидел тебя впервые. Теперь же... Саломея, если бы ты могла заглянуть мне в душу... Я не могу отделить мысли о тебе от мысли о моей матери. Она уже умерла давно; она была простая старая женщина, не очень умная, но она любила меня, и я ее любил; с тех пор, как помню себя, я всегда был окружен тихим дыханием ее души. И теперь, когда я смотрю на тебя, мне кажется... что-то перешло к тебе от умершей, что-то высокое, теплое. Мне кажется, будь она жива, она бы, взглянув на тебя, сказала мне: сын мой, вот жена для тебя.

Он замолчал и напряженно вглядывался в ее черты, ища в них ответа.

— Зачем ты мне это говоришь? — глухо спросила она.

— Зачем? Саломея, если бы была возможность, если бы ты хотела...

— Что?

Он взглянул на нее удивленно и растерянно.

— Разве ты не понимаешь, о чем я говорю? Я часто представлял себе, как это будет. Тихий домик у берега моря... Тенистый сад... Чистый ручей... Тихий шелест деревьев вдали от шума и суеты, и среди всего только мы двое. Только ты и я, я и ты!

— Римлянин и иудейка?..

Она проговорила это беззвучно, без горечи, но в голосе ее было что-то бесконечно печальное.

— Об этом я тоже думал, — поспешно сказал он. — Я много думал с тех пор; учение греческих и римских философов, таинственные мистерии египтян, они меня не удовлетворяют, мне чего-то в них недостает, нет в них глубины. Может быть, я нашел бы это в твоей вере...

На ее лице отразилось глубокое волнение. Как он ее любит! Но теперь слишком поздно...

Она вздрогнула и закрыла глаза. Флавий Сабиний взял

ее за руку. Его мягкое прикосновение было ей приятно. Она еле смогла удержаться от слез, ее тонкая рука была неподвижна и холодна как лед; пульс едва бился. Но ожившее вдруг лицо пробуждало в нем надежду.

— Знаешь, — сказал он, — несчастье, постигшее тебя и твою семью, показало мне всю глубину моей любви. Я прежде никогда не чувствовал злобы. Этерний Фронтон — первый человек, которого я возненавидел. При одной мысли об опасности, угрожающей тебе, я весь дрожал. Я бросился к Агриппе — вашему царю, а от него к сестре его Веронике. Она подала мне слабую надежду. Вернувшись с Кармеля, она позвала меня к себе, чтобы поговорить о тебе и о твоей семье. Она хотела упросить Тита, чтобы он отдал тебя и Тамару ей. Только с этой целью она и ездила на Кармель. Но ей не удалось выполнить свое намерение. Вероника все-таки обещала помочь, она предложила мне смелый план... В городе, занятом римскими войсками, никто не станет остерегаться нападения... Я сделал все приготовления и воспользовался случаем, чтобы прийти с Титом сюда. Я надеялся увидеть тебя или по крайней мере дать тебе знать каким-нибудь образом о том, что готовится...

Он замолчал. В первый раз Саломея взглянула ему прямо в лицо своими большими, глубокими, печальными глазами. В них дрожало отражение усталой души.

— А ты не подвергнешься опасности? — спросила она.

Ее участие тронуло и обрадовало его.

— Если бы моя жизнь понадобилась для твоего спасения, я охотно отдал бы ее за тебя! — воскликнул он. Он изложил ей план Вероники. — Все должно произойти в эту же ночь. Декурион Сильвий узнал, где содержатся Тамара и Саломея. Гликерию они подкупили. Они смогут уехать из Птолемиады без всяких препятствий. Один из людей Вероники, хорошо знающий окрестности, проводит их в горы, а там уже беглецы будут в безопасности и потом доберутся до Гишалы.

— Когда ты будешь далеко от меня, среди твоего народа, — закончил Сабиний взволнованно, — может быть, ты вспомнишь обо мне как о друге. И тогда, как только кончится война и снова наступит мир, тогда..

Она перебила его.

— А мой отец, — спросила она, — его тоже?..

— Невозможно освободить его из тюрьмы городской префектуры, — ответил он упавшим голосом. — Но я клянусь тебе памятью моей матери: я сделаю все, что в моих силах.

Тит и Фронтон поднялись.

— Нас сейчас разлучат, — сказал Сабиний. — Скажи, Саломея, ты готова?

Она вспомнила глаза Тамары, когда ее били. Она не допустит, чтобы Тамара подверглась такой же участи, как она. Саломея встала и твердым голосом ответила:

— Я жду тебя.

Глава X

Тишина царила над городом. Только изредка у ворот слышались шаги стражников. Звезды тускло сияли сквозь туманные ночные облака. В доме Этерния Фронтонна были потушены уже все огни. Один из рабов, стороживших вход у двери, спал глубоким сном. Копье выскользнуло из его рук. Вино, которым угостил его декурион Сильвий, было очень хмельное...

С востока, из-за галилейских гор, надвигался бледный свет. Прохладный предутренний ветер веял над землей, возвещая приближение дня.

Несколько мужчин пробиралось через площадь осторожно, избегая всякого шума, к дому Этерния Фронтонна.

Тамара бредила, шепча несвязные слова; в них слышался сначала смертельный ужас, потом ликующее счастье. Флавий Сабиний! Саломея, успокаивая, гладила ее по голове, но не слышала ее слов. Даже любимое имя скользило мимо нее, как дуновение ветра. Шум у двери заставил ее подняться. В комнату вошли двое людей; один из них приблизился к ней, другой остановился у входа. Через открытую дверь Саломея увидела Гликерию, связанную и лежащую на полу.

Один из вошедших приподнял маску. Флавий Сабиний! Саломея наклонила голову, не произнося ни звука. Ей казалось, что все это сон.

Как во сне, она подняла Тамару с постели и закутала в одеяло, которое Гликерия как бы нечаянно оставила рядом с кувшином воды.

Потом Саломея подошла к оконной решетке.

— Иди! — сказала она беззвучно.

Флавий Сабиний вздрогнул. Лицо его побледнело.

— А ты?

Она покачала головой.

— Я остаюсь.

— Ты... ты хочешь, — крикнул он, — остаться... у этого?..

Она подняла руку, останавливая его.

— Зачем бежать? — сказала она, и улыбка показалась на ее губах. — Разве можно бежать от самой себя?

Кровь бросилась ему в голову.

— Но тогда... Я не понимаю, — проговорил он, задыхаясь. — Прежде я думал, я надеялся, а теперь... Ты не любишь меня, Саломея?..

Она прислонилась к стене и прижала дрожащие руки к задыхающейся груди. Ей казалось, что разрывается сердце от бесконечной боли

— Я тебя люблю, — простонала она, — я тебя люблю

— И все-таки... Саломея!

Она опустила голову, чтобы не видеть этой муки на его лице.

— И все-таки, — продолжала она беззвучно, — именно потому, что я тебя люблю...

Он с ужасом взглянул на нее. Он ее не понимал, и она это видела по его растерянному виду. Она подошла к Тамаре Сорвав с нее легкую сорочку, она показала на кровавые полосы, покрывавшие ее спину.

— Я не могла этого вынести, — прошептала она, — не могла смотреть на муки невинного ребенка и тогда..

С тихим, беззвучным рыданием она упала на край постели.

Флавий Сабиний все понял. Крик от бешенства и бесконечной жалости вырвался из его груди. Он опустился на колени рядом с Саломеей и обнял ее. Наступило долгое молчание. Только Тамара блаженно шептала:

— Флавий Сабиний!

Послышался звук шагов. Тот, кто стоял у двери, тихо крикнул:

— Скорее, господин, сюда идут.

Саломея вскочила.

— Иди, — торопила она его, — иди!

— Я не пойду без тебя, — сказал он и схватил ее за руку

Она вырвалась.

— Я остаюсь, — повторила она твердо. — Моя судьба связана с судьбой Фронтонна. Разве ты этого не понимаешь? Но, — прибавила она, задыхаясь, — если ты меня любишь, спаси эту девочку. Спаси ее, молю тебя. Ради меня!

Она заставила его взять на руки лежащую без чувств Тамару и потащила его за собой к двери.

Раздался громкий крик, потом глухие звуки борьбы Саломея побледнела

— Это Фронтон,— пробормотала она.— Мы опоздали!..

— Нет,— крикнул Флавий Сабиний яростно, он отдал Тамару Сильвию и повернулся к ней.

Несколько секунд Сабиний и Саломея молча стояли друг против друга.

— О Саломея, возлюбленная,— шептал он,— прости, что я делаю это, но я уйду только с тобой.— Он поднял ее на руки и понес.

Саломея обвила руками шею Сабиния и притянула его к себе. Долгий поцелуй соединил их уста.

Послышались крики рабов Фронтонна, поспешивших на зов господина; они загородили дорогу беглецам.

— Взять его! — кричал Этерний Фронтон, обезумев от бешенства.— Положить его на землю, но не убивать. Он мне нужен живой. Я сожгу его на медленном огне на глазах его возлюбленной...

Флавий Сабиний опустил Саломею на землю и обнажил мечь.

Трусливые рабы отступали перед ударами префекта. Вдруг Фронтон схватил меч одного из рабов и бросился на Флавия Сабиния, но тот ловко уклонился от его удара, и острие меча коснулось лица его маски. Она упала.

— Флавий Сабиний! — вскрикнул Эстерний Фронтон.— Тебе, видно, захотелось познакомиться с палачом, раз ты врываешься, как грабитель... Что, если я донесу об этом цезарю? Бедный Сабиний! Нерон давно ненавидит Флавию и охотно начнет с тебя...

Он не успел договорить. Меч префекта нанес точный удар. Кровь залила сверкающее лезвие. С глухим звуком вольноотпущенник упал на землю.

Флавий Сабиний, увлекаемая за собой Саломею, выбежал из дому мимо отступавших в ужасе рабов.

Сильвий ждал их внизу. Тамара лежала, вся дрожа, у него на руках. Они поспешили к галилейским воротам. Саломея молча шла рядом. Флавий Сабиний торопливо рассказал о случившемся. Декурион побледнел, услышав рассказ Флавия.

— Какое несчастье! — встревоженно сказал он.— Этерний Фронтон был одним из любимцев цезаря, и ты знаешь, как жестоко Нерон мстит за своих любимцев. Даже Веспасиан не сможет тебя защитить. Он сам в немилости у Нерона. Нерон не упустит случая унижить Веспасиана. Я вижу только один выход, господин. Ты должен

бежать, тотчас же бежать. Веспасиан, не задумываясь, велит арестовать тебя, как только узнает о случившемся.

— Бежать, — пробормотал Флавий Сабиний, — но куда?

— К Мукиану, наместнику Сирии. Он друг твоего отца и сумеет укрыть тебя, пока не забудется это несчастное происшествие.

Взгляд префекта просветлел

— Да, к Мукиану, — сказал он. — Туда можно теперь пробраться через Галилею, потому что береговой путь занят войсками Веспасиана. Тем же путем должны следовать Тамара и Саломея в Гишалу

Сильвий кивнул, одобряя его план.

Они подошли к галилейским воротам. На посту стоял знакомый декуриону солдат, они беспрепятственно вышли из города. На дороге из полуразрушенного домика им навстречу вышел человек. Это был проводник, присланный царицей.

За домиком стояли оседланные лошади. Проводник сел на одну из них, декурион передал ему Тамару. Вдруг Флавий Сабиний отчаянно крикнул:

— Саломея! — Она только что была около него и вдруг...

С трудом декуриону удалось убедить префекта не возвращаться в Птолемаиду. Только услышав звук цоканья, Флавий Сабиний дал себя усадить на лошадь и вслед за проводником поскакал по направлению к галилейским горам.

Рана Регуэля начала заживать. В первый раз Андромах, врач царицы, позволил раненому оставить постель. Царица позаботилась о том, чтобы парк, окружавший внутреннюю часть дворца, был окружен решетками, обвитыми зеленью, так, чтобы ничей взор не мог проникнуть туда.

Опираясь на руку Андромаха, Регуэль вышел из своей комнаты и, пройдя потайными ходами, очутился на воздухе Устав от ходьбы, он опустился на скамейку и после ухода врача прислонил голову к стволу дерева.

Наступил полдень. Темные верхушки кипарисов тянулись к синеве небес. Листья, ветви, цветы наполнены были солнечным светом. Птицы молчали, раздавалась только сонная песнь цикад. Перед Регуэлем сверкал на солнце маленький пруд; на его недвижимой поверхности отражалась статуя Венеры. Под блестящим зеркалом воды мелькали золотисто-багровые пятна, когда маленькие рыбки в глубине попадали под луч солнца.

Сладостное томное чувство овладело Регуэлем. Он закрыл глаза. В серебристых переливах воды двигалось стройное тело богини; снежная белизна ее светится сквозь складки одежды, нежная рука поднимается и манит... Окруженная сиянием голова нагибается к нему... Глаза улыбаются, губы шепчут нежные манящие слова... Она все ближе и ближе. Платье ее шуршит, когда она склоняется к нему...

— Дебора! — прошептал он, когда ее дыхание нежно овеяло его щеку. Он потянулся за золотистой копной волос, погрузил в нее руки, и на лице его засияла улыбка блаженства. Он забыл весь мир.

— Дебора! — повторил он.

— Какое счастье, — сказала она со смехом, — что волосы крепко держатся у меня на голове. Под твоими пальцами всякий обман открылся бы. Но скажи мне, Регуэль, — спросила она, садясь около него, — о чем ты думаешь?

Он улыбнулся.

— О тебе.

— Это правда? Ты в самом деле страдал бы, если бы меня не стало.

Он с ужасом взглянул на нее.

— Если бы тебя не стало?! — вскрикнул он. — Я бы этого не вынес, Дебора.

Она пристально взглянула ему в глаза. Вот человек, который ее любит. Он не знает, что она царица, не знает про ее богатство и любит ее бесконечной, пламенной любовью. От этой мысли сердце ее переполнилось страстным чувством блаженства и вместе с тем никогда не испытываемой печали: ей хотелось плакать от радости и скорби. Она наклонилась к юноше и стала гладить его свесившуюся тонкую руку. Потом она вдруг спустилась со скамейки и положила его руку себе на плечо, как раб, преклоняющийся пред своим властелином. Прерывающимся голосом она сказала:

— Я тебя так люблю, так люблю!

Они даже не поцеловали друг друга. Им достаточно было того, что руки их касались и сердца их бились вместе. Долго сидели они без слов, без движения. Солнце разбивалось тысячью сияющих лучей в неподвижном зеркале воды. Статуя богини белела вдали, ветви деревьев склонялись над ней.

— Скажи, милый, кого ты любишь больше меня?

— Больше тебя? — задумчиво повторил он. — Никого и ничего.

А родину?

Он вздохнул и нахмурился

— Родину! — с мукой проговорил он. — Да, я забыл о ней... Ей нужны теперь все ее сыны, а я... Я..

— Ты тоже исполнишь свой долг, — быстро сказала Вероника, голос ее дрожал. — Но ведь ты еще не окреп, прибавила она, успокаивая его и как бы оправдывая. — Тебе еще нужно беречься!

Он слабо улыбнулся, радуясь в глубине души тому, что она так боится потерять его.

— Ты говоришь как женщина а не как иудейка.

— Как женщина и как иудейка, — сказала она, подчеркивая слова. — Родина нуждается в воинах. Может ли быть более возвышенное, скорбное, но блаженное счастье для женщины, чем беречь жизнь своего возлюбленного для того, чтобы он умер, защищая родину?

Он посмотрел на нее с восхищением.

— Как ты велика, Дебора!

Она наклонилась к нему.

— Но теперь еще время не пришло, — проговорила она с мольбой, и опять в глазах ее появилось тревожное выражение. — И все-таки я спросила тебя: можешь ли ты жить без меня?

— Ты хочешь покинуть меня? — спросил он.

— Не я тебя, а, быть может, ты меня, если ты не исполнишь моей просьбы.

— Твоей просьбы?

Она помолчала с минуту, потом сказала:

— Кажется, начинают подозревать о твоём пребывании здесь. За нами следят, и не одни только римляне. И мне самой небезопасно оставаться в Птолемаиде с тех пор, как Агриппа стал на сторону римлян...

— Агриппа! — проговорил он с презрением. — Неужели он вступил в союз с едомитами, стал врагом Бога и отчизны? Значит, отец мой был прав. Он никогда не доверял царю, считал его игрушкой в руках Рима и его сестры.

Вероника вздрогнула и отвернулась, чтобы он не заметил, как она побледнела.

— Его сестры, — с трудом проговорила она, — Вероники?

— Да, Вероники. Это самая презренная женщина из дома Ирода. Она ненавистна всем сынам Израиля.

Так говорит твой отец, беззвучно проговорила она, — но ты сам, знаешь ли ты ее?

Затаив дыхание она ждала его ответа.

— Я никогда ее не видел, — ответил он. — Говорят, она прекрасна, как дух зла, и умеет покорять сердца людей своей пагубной красотой.

— Как ты ее ненавидишь!

— Ненавижу? — со смехом сказал он. — Нет, я ее презираю...

Она вздрогнула, как от удара. Сердце сжималось у нее от смертельной муки. Потом она пришла в себя и гордо подняла голову; брови ее сжались. Чувство гордости боролось с любовью. А что, если она ему бросит в лицо: «Вот Вероника, та, которую ты презираешь; ведь ты любишь ее!..» Теперь только она чувствовала, как близок и дорог ей Регуэль. Она боялась потерять его. Ей хотелось испытать до конца счастье первой в ее жизни любви. И все-таки она растравляла раны, которые он наносил ей своим презрением.

Она положила голову на грудь Регуэля, чтобы он не мог прочесть правду на ее лице, и прошептала дрожащими губами:

— Скажи, что сделала тебе Вероника? Почему ты ее так презираешь?

Он сказал брезгливо:

— Как, ты не слышала о ее делах? Я не могу передать всего тебе. Про ее первый брак с Иродом из Колхиды известны ужасающие вещи. Она имеет пагубное влияние на Агриппу и пользуется его слабостью. От своего второго мужа, Полемона Понтийского, она убежала. Это низкая женщина. А тем, что она следует внешним правилам нашей веры, она еще более вредит нам. Ведь они могут подумать, что наши законы потворствуют ее беспутной жизни...

— Ты, может быть, прав, — глухо сказала она. — Может быть, Вероника в самом деле такая, как ты говоришь. Но что нам до этого за дело, что нам Вероника? Будем жить, пока можно, только для себя, для себя одних...

Она едва удерживалась, чтобы не зарыдать. Быстрым движением она схватила со скамейки плетеную коробочку, которую принесла с собой. Там лежали мелко нарезанные кусочки хлеба.

— Да ведь я чуть не забыла, — сказала она, — накормить своих рыбок. Ты будешь виноват, если они погибнут.

Она громко и весело рассмеялась и побежала легкими шагами к пруду, таща за собой Регуэля. Ее золотые волосы горели на солнце, а глаза манили своим томным блеском

Он не мог налюбоваться ей. Она стояла воздушно-легкая на краю бассейна и бросала кусочки хлеба золотым рыбкам

— Помоги мне, милый,— сказала она и протянула ему корзиночку. Но, когда он потянулся за ней, она быстро ее отдернула. Она продолжала дразнить его до тех пор, пока лицо его не просветлело. Увлеченный ее детской прелестью, Регуэль вторил ее веселому смеху, и погнался за ней, и привлек ее к себе. Она положила голову на его плечо и замерла. Когда он поднял ее голову, чтобы поцеловать ее в губы, он увидел, что глаза ее полны слез. Он хотел спросить о причине слез, но она остановила его, улыбнувшись скорбной, ласковой улыбкой сквозь слезы. Когда Регуэль наклонился, чтобы поцеловать ее, лицо ее вдруг приняло лукавое выражение. Держа между губами маленький кусочек хлеба, она откинула голову и проговорила

— Возьми, вот твой хлеб насущный!

Что-то зашуршало в кустах за статуей Венеры, но они не обратили на это внимания.

Эфиоп Вероники стоял за кипарисовым деревом, охватив дрожащими руками ствол; глаза его сверкали, он жадно смотрел сквозь листву на влюбленных, и в глазах его светилась ненависть и любовь. Наступит ли когда-нибудь день, когда эта женщина будет покоиться и в его объятиях? Что этот день наступит, он твердо верил. Без этой надежды он бы, наверное, давно уже уступил своей бешеной страсти и уничтожил цветущее тело Вероники. Нужно ждать! Он сдерживал свой гнев и потемневшими глазами следил за своей госпожой и Регуэлем. Они вернулись к скамейке

— Каждый лишний день здесь, среди врагов, увеличивает опасность. Если ты попадешь в руки римлян, ты погиб. Сам Агриппа не смог бы, если бы и захотел, спасти сына Иоанна из Гишалы от плена или от еще худшего,— сказала Вероника.

— Если бы захотел,— с горьким смехом проговорил Регуэль.— Но ведь он не захочет.

Она не обратила внимания на его слова. Ей было все равно. Что ей до Агриппы и до благополучия дома Ирода! Лишь бы скорее уехать отсюда. Но она уедет только вместе с Регуэлем. Без него жизнь казалась ей пустой, не имеющей цены.

— Мы последние иудеи здесь в Птолемаиде,— продолжала она убеждать его.— И я боюсь, что наша тайна откроется. Вот почему я так грустна. Только благодаря

Андромаху за мной не так следят. Андромах ведь однажды вылечил Веспасиана от тяжелой болезни.

Регуэль ее не слушал. С первых ее слов он смертельно побледнел и задумался. Она заметила безучастное выражение его лица.

— Что с тобой? — спросила она тревожно.

— Ты говоришь, что мы последние иудеи в Птолемаиде? А Тамара — моя сестра, а Иаков бен Леви, мой дядя, и Саломея, его дочь? Великий Боже, что если они погибли? Тамара любимое дитя моего отца, единственный луч света среди его тяжелых забот о родине. Я ведь приехал сюда спасти их, а между тем

Он закрыл лицо руками.
Я никогда не смогу больше взглянуть в глаза отцу

Вероника прижала его голову к груди. Глядя ему прямо в доверчивые глаза, она не смогла бы лгать

— Успокойся, милый, шептала она. — Из письма, которое было при тебе, я узнала, зачем ты приехал в Птолемаиду. Мне легко было поэтому предотвратить несчастье, тем более что путь в Галилею еще не был занят римскими войсками.

Все его тело дрожало в ее объятиях

С радостным возгласом он поднял голову и взглянул на нее...

— Как, Дебора, ты...

— Проводник, с которым я сюда пришла, — сказала она, — должен был вернуться на родину, и ему поручены твои родственники. Тамара, Иаков бен Леви и его дочь, вероятно, давно в Гишале. Нет, не благодари меня, — глухо проговорила она, когда он бросился к ее ногам и в безмолвном восторге целовал ее руки и платье. — Подумай лучше о нашем спасении, ведь я надеюсь, — сказала она, делая слабую попытку шутить, — что ты не отпустишь меня одну и без защиты...

Регуэль думал о том, что она сделала для него и для его семьи, думал о своей любви к ней и решил, что он никогда, никогда не оставит ее. Обезумев от счастья, он обнимал пленившую его женщину. Им овладело гордое, опьяняющее сознание своей силы. Торжественным голосом он произнес свою клятву.

— Через утесы и льды, через пламя и терния — с тобой Дебора, куда ты захочешь

Он не подозревал, что вся его сила уже погибла, не успев расцвести.

Песок заскрипел, и приближающиеся шаги испугали

Веронику и Регуэля. Показался эфиоп, давая знать царице, что ее требуют во дворце.

Вероника встала.

— Готовься в путь, — прошептала она Регуэлю. — Мы должны покинуть Птолемаиду еще сегодня вечером.

Она сделала знак эфиопу провести юношу незаметно во дворец. Стефан склонил голову в знак послушания, но ноздри его гневно подрагивали.

Перед дверью залы, где ожидали царицу, она остановилась на минуту. Она тихо засмеялась и подумала про себя: «Еще один раз увидаюсь с Титом и тогда...»

Глава XI

Когда Вероника вошла в залу, где были Тит и ее брат, она казалась совершенно иной. Небрежным, холодным кивком головы она приветствовала молодого легата и медленно опустилась в кресло.

— Я пришел за твоей благодарностью, — сказал Тит, поднимаясь. Она с притворным удивлением взглянула на него.

— Благодарностью? — повторила она. — За что?

Агриппа опустился на одно из мягких сидений.

— Разве ты забыла, — сказал он, несколько задетый ее невниманием, — что сегодня утром Веспасиан выслушивал обвинения моих врагов?

— А, — ответила она с прежней холодностью. — Ты говоришь об истории Юста бен Пистоса — твоего секретаря, и о нелепом восстании в Тивериаде... Ну и что же?

— Тит спас меня, — сказал царь радостным голосом, — наш великий Тит! Он доказал Веспасиану, как важно для меня быть в союзе с нами во время войны; он его убедил не обращать внимания на бредни нескольких безумцев. Меня оправдали.

— А Юста?

— Веспасиан решил, что он один во всем виноват, и передал его в руки правосудия.

Насмешка показалась на губах Вероники. Она слегка поклонилась.

— Прими нашу благодарность, Тит, — сказала она небрежно и снова обратилась к Агриппе. — На чем основывал Веспасиан свой приговор? Мне хотелось бы ознакомиться с римскими законами правосудия.

Царь откинулся на подушки и засмеялся. Тит побледнел, и в глазах его мелькнул гнев. Но он сдержался и тоже засмеялся.

Вероника взглянула на обоих с притворным изумлением.

— Но... я не понимаю... — сказала она.

— Это было очень смешно, — благодушно сказал Агриппа. — Жители Декаполиса слишком неловко действовали. Они хотели подкупить Веспасиана. В обвинительной речи они намекнули на то, что воздвигнут ему, справедливейшему из судей, колоссальную статую за счет города

А Веспасиан?

Он протянул обвинителю руку и предложил ему тотчас же воздвигнуть эту статую, так как фундамент, как он видит, уже готов.

Вероника не улыбнулась.

— Эта неумелость твоих обвинителей была, быть может, твоим счастьем, Агриппа, — сказала она и прибавила серьезнее: — Веспасиан ведь неподкупен.

Она медленно поднялась и подошла к окну, из которого виден был большой светлый двор.

Несколько слуг навьючивали огромные, тяжелые мешки на мулов. В эту минуту один из мешков вырвался из дрожащих рук раба и упал на мраморные плиты. Поток блестящих золотых монет, звеня, рассыпался по мрамору

— Что это значит, Агриппа? — спросила царица у брата, который вслед за ней подошел к окну вместе с Титом

— Знак моего преклонения пред Веспасианом, — шутя ответил царь.

Они переглянулись и рассмеялись, Тит тоже засмеялся

— Я хотел, — продолжал Агриппа более серьезно, — доказать отцу Тита, как несправедливы обвинения моих врагов. Если бы я был в самом деле врагом Рима, каким меня выставляют, неужели бы я предложил деньги моему противнику, содействуя таким образом войне против меня и моего народа.

— Царственное доказательство! — сказал Тит. — Ты, верно, очень богат, Агриппа.

— Богат? — ответил он шутливо и покачал головой. — Да у меня едва хватает на самое необходимое. Во всем остальном я завишу от Вероники, которая имеет маленькую слабость к своему негодному брату. Ты удивлен? — прибавил он, придавая своим словам какой-то скрытый смысл. — В руках Вероники сосредоточены все сокровища

нашей семьи. Тот, кому достанется ее рука, будет счастлив. Ему будет принадлежать власть над всей Азией...

Молодой легат, прищурившись, посмотрел на него.

— Берегись, Агриппа, — медленно сказал он. — Если это станет известно Нерону, то все богатства дома Ирода не спасут тебя от верной гибели. Разве ты не знаешь, что и отца твоего подозревали в этом намерении? Да и тебя из-за этого не выпускали из Рима...

Агриппа принужденно засмеялся.

— Я был заложником, знаю, — сказал он, с трудом сдерживая гнев, который каждый раз овладевал им при этом воспоминании. — Но меня Нерону нечего опасаться. Рим может быть побежден только Римом.

Тит отвел взор от царя, который пристально смотрел на него.

— Я тебя не понимаю, — пробормотал он.

— А между тем это так ясно, — сказал Агриппа прежним шутливым тоном. — Ведь один раз Риму уже угрожала опасность быть поверженным Римом. Вспомни Марка Антония! Если бы он не растратил сокровищ Клеопатры в безумных оргиях, а употребил их на то, чтобы снарядить сильное войско, то мечта великой египетской царицы осуществилась бы и возродилось бы второе азиатское царство, подобное царству Александра Македонского. Конечно, я не отрицаю, что мечта моего отца соблазняла и меня. Я был молод и не знал, что всемирное владычество Рима основано на его сильном, опытном, всегда готовом к действию войске. Но я вскоре это понял. Мы, азиаты, слишком изнежились среди роскоши и безделья. Мы не можем вдохнуть в наших подданных воинственного духа. Это может сделать только человек, владеющий римской твердостью, только римлянин. Но зато, если бы таковой оказался, подумай, в каком он теперь выгодном положении! Государство гибнет, истощенное жадностью бессердечных распутников; сенат, старый, строгий катоновский сенат стал сборищем продажных, трусливых и слабых рабов. Войско разбросано по далеким окраинам, занято бесконечными войнами с дикими народами, которые простирают грубые руки за сверкающими сокровищами римской цивилизации. Наконец, сам цезарь, Нерон, ты ведь его хорошо знаешь, даже лучше, чем я...

Он на минуту остановился, чтобы посмотреть, какое впечатление его слова производят на молодого легата.

Тит не глядел на царя и казался безучастным, но Агрипп-

па отлично видел, что пальцы его, игравшие веером Вероники, слегка дрожали, и горячий румянец покрывал его лицо. Агриппа засмеялся, чтобы придать своим словам шутливый характер.

— Я знаю только одного, — закончил он, — кто мог бы разрушить великий Рим. И это даже не Веспасиан, — поспешно прибавил он, увидев, что легат вспыхнул при его словах. — Ведь, говоря откровенно, Веспасиан слишком осторожен, слишком боязлив, несмотря на свою несомненную храбрость. Он не сможет даже оценить такую великую затею. Нет, я говорю о другом! Нужно для этого соединять выдержку воина от рождения с дерзновенным пылом юности, нужно быть Титом!..

Молодой легат вздрогнул, и глаза его широко раскрылись; в них сверкнула радость.

— Ты шутишь, Агриппа, — медленно сказал он.

— Шучу? — ответил царь со странной улыбкой. — Впрочем, ты прав, Тит, конечно, шучу. Один только Тит мог бы помешать исполнению подобного замысла, но и один только он мог бы...

«...исполнить его! — так хотел он закончить свою мысль, но он не договорил. Вероника остановила его быстрым движением.

— Какой Агриппа мечтатель, — сказала она, обращаясь с улыбкой к Титу. — Он любит бесплодные грезы. Разве сын Веспасиана способен отнять у Рима его лучшие владения и ограбить свою собственную мать? Нет, Тит слишком любит свою родину. Он не дал бы Риму погибнуть от голода. А так случилось бы, если бы он завладел Египтом — житницей Рима. Город на семи холмах погиб бы от дороговизны и нищеты. А сам Нерон — идол голодающей толпы? Ведь он дрожит за свою жизнь, когда хлеб из Александрии запаздывает на несколько дней. Да разве не безумно, — прервала она себя, увидев по лицу Тита, как он борется с самим собой, — разве не безумно говорить даже в шутку о таких опасных затеях? Судьба мира в руке цезаря. Никто другой не может изменить ее. Время титанов и героев навсегда ушло. А все-таки история Флавия Сабиния, о которой мне говорили, перенесла меня в мир древних сказаний. Забыть обо всем идти навстречу опасности и гонениям из-за любви к девушке — в этом что-то есть...

Она откинулась в кресле и бесцеремонно разглядывала молодого легата.

— Я только боюсь, — насмешливо заметил Агриппа, — что Флавий Сабиний будет уничтожен молниями Юпитера.

— А как Фронтон? — спросила Вероника.

— Он, к счастью, остался цел, — ответил молодой легат, отрываясь от своих мыслей, — но для меня и моего отца все это крайне неприятно: Фронтонна цезарь очень любит.

— Вольноотпущенник уже на ногах?

— Он медленно поправляется. Странно, что он обязан своим спасением той самой девушке, из-за которой все и произошло. Саломея, племянница Иоанна из Гишалы, ухаживает за раненым с трогательной заботой, как будто бы это не римлянин и не Этерний Фронтон. Говоря по совести, после той, которую я не смею назвать, — глаза его с восхищением и страстью поднялись на Веронику, — я никогда не видел более красивой женщины, чем Саломея...

— А Флавий, что слышно о нем?

— К сожалению, ничего.

— К сожалению?

— Ты думаешь, потому, что он наш родственник? Поверь, это не имеет никакого значения на решения моего отца. Конечно, мы жалеем о судьбе несчастного. Мы все его любим, несмотря на его странные взгляды. Но теперь нужно доказать цезарю, который вообще, как ты знаешь, очень подозрителен, что у нас исчезают всякие личные чувства, всякие интересы, когда дело идет о службе государству. Поэтому отец выбрал самых опытных людей для погони, их повел декурион Сильвий, который к тому же случайно встретил префекта, когда тот бежал из Птолемаиды.

Вероника отвернулась, чтобы скрыть свою улыбку. Она не могла удержаться от нее, когда услышала, кто послан в погоню.

— Ну и что же, — прибавила она небрежно, — этот Сильвий, он настиг беглеца?

— Он уже был совсем близок от него, — сказал молодой легат. — Их разделяли какие-нибудь полдня пути.

— Ну и что же?

— И все-таки декурион вернулся ни с чем. После трех дней погони по лесам Сильвий и его люди попали в узкое темное ущелье. Там был заброшенный домик, где, очевидно, переночевали беглецы: Сабиний, Тамара — дочь Иоанна из Гишалы, и какой-то человек, служивший им, вероятно, проводником. Видно было, что они только что снялись

с места; в очаге еще догорали угли. Следы двух коней вели обратно в лес. Сильвий бросился в ту сторону, но скоро следы исчезли, смешавшись со следами большого конного отряда. Что это был за отряд, неизвестно. Во всяком случае, это не были сторонники Иоанна из Гишалы, иначе дело не дошло бы до боя...

— До боя? — тревожно спросила Вероника.

Агриппа лежал, вытянувшись на подушках, и не обращал внимания на их разговор. Что ему за дело до судьбы Флавия Сабиния и дочери Иоанна из Гишалы. Ему важно было склонить Тита к созданию азиатской империи. А уж потом — меч не всегда будет иметь последнее слово...

— Да, до боя, — подтвердил молодой легат. — В каких-нибудь ста шагах Сильвий нашел часть вооружения Флавия, а в кустах спрятан был труп неизвестного иудея.

Он остановился и пристально посмотрел на Веронику. Царица побледнела, но выдержала его взгляд.

— Ты рассказываешь это в стиле трагедий Софокла и Эврипида, — сказала она, пытаюсь улыбнуться.

— Фотин, один из наших людей, утверждает, что этот иудей был в твоей свите при въезде в Птолемаиду.

— В моей свите? — повторяла она, как бы стараясь припомнить. — Я до сих пор не заметила чьего-либо отсутствия.

Легкая улыбка показалась на губах Тита.

— Фотин, наверное, ошибся, — сказал он. — Я так и сказал отцу. Да и зачем бы тебе оказывать услуги Иоанну из Гишалы, нашему общему врагу?

— Услуги Иоанну из Гишалы? — повторила она с изумлением. — Я не думаю, чтобы он был мне благодарен, если бы я содействовала бегству его дочери с римлянином...

Тит со страстью смотрел в ее глаза, обращенные к нему. И снова молодой легат почувствовал тревогу и блаженство, как тогда, на Кармеле, у источника Илии.

— Разве такой большой позор для иудейки полюбить римлянина? — спросил он.

Глаза ее холодно и вместе с тем обольстительно взглянули на него.

— Конечно, — ответила она, — смертельный позор. По крайней мере в глазах тех, кто выше всего ставит веления Бога.

— А ты, Вероника, тоже так думаешь?

Она засмеялась.

— Я? Смотря по тому, кто бы это был. Если бы он был достоин, но зачем спрашивать? Нет такого человека.

— То же самое ты говорила, когда мы в первый раз увиделись. Он, верно, еще не родился — твой цезарь?

Она пожала плечами, потом медленно поднялась и пошла к окну.

Тит последовал за ней. Его влекла к ней таинственная, неодолимая сила.

Агриппа очнулся от своей дремоты, рассеянно посмотрел на сестру и Тита и тихо вышел из комнаты.

Вероника чувствовала горячее дыхание римлянина на своей щеке и его взгляд на плечах и шее, но она стояла, не оборачиваясь. Гордое величие своей красоты кружило ей голову.

Он повторил еще раз прерывающимся голосом:

— Твой цезарь — он еще не родился?

Она немного повернула голову к нему, так что кончики ее волос касались его губ, и проговорила тихо, почти шепотом:

— Как знать...

Но глаза ее были обращены куда-то в неведомую даль. Кого она там видела? А все-таки... Быть владычицей Азии, быть может, владычицей всего мира, видеть, как римские орлы склоняются пред богом иудеев! И над всем этим власть единого Бога — Бога Вероники!

— Нерон ведь тоже стал цезарем не по праву, — услышала она его страстный шепот.

— Благодаря Агриппине.

— А Марк Антоний мог стать цезарем Азии.

— Благодаря Клеопатре!

— И Вероника будет принадлежать тому, кто станет

— ...цезарем!

Сказав это слово, она почувствовала облегчение. Она обернулась к легату, опьяненному страстью, и взглянула ему прямо в глаза. Они поняли друг друга, не произнеся ни слова. «А Марция Фурнила, твоя жена?» — прочел он в ее взгляде и сделал резкое движение, как бы устраняя нечто давно надоевшее. Холодная Марция была вычеркнута из его жизни. «А мой Бог?» — читал он дальше. Он пожал плечами. Что ему до Бога? Поступай как знаешь. «А Веспасиан?» Лицо его омрачилось, он отвел глаза. Вероника улыбнулась и повела молодого легата к окну.

Там уже не было рабов Агриппы, таскавших его подношения Веспасиану, но на дворе кипела работа

Таумаст, управитель дома, стоял посреди выложенного мрамором двора и следил за тем, как рабы готовят носилки царицы, укладывают провизию в дорожные сумы.

Тит отступил от окна и побледнел. Вероника увидела в его глазах недоверие.

Она снова улыбнулась и произнесла вслух тот немой вопрос, который он прочел в ее глазах:

— А Веспасиан, твой отец?

Теперь он ее понял.

Да, конечно, лучше, чтобы Вероника уехала. Веспасиан не должен подозревать, чем она стала для Тита, потому что он не допустит развода с Марцией Фурнилой. Разве он может согласиться на брак сына с иудейкой? Веспасиан, римлянин, выходец из народа, боялся всего, что могло возбудить насмешку над ним или его семьей у гордых римских патрициев. Он был никогда не позволил Титу оттолкнуть от себя дочь знатного дома. Конечно, если бы дело шло о замене ее более знатной и могущественной женой, он согласился бы, но из-за иудейки — никогда. Но разве необходимо связать себя с Вероникой, чтобы обладать ею?

Прощаясь, они пристально смотрели друг другу в глаза, и губы их улыбались. Тит что-то вынул из складок верхнего платья и подал царице.

То была дактиотека, маленькая круглая шкатулочка, оправленная жемчугом и зелеными бериллами. На крышке был изображен амур верхом на льве.

Вероника засмеялась. Но лицо ее вновь стало серьезным, когда молодой легат открыл крышку.

Внутри лежал увядший лавровый лист — кармельский лавр.

— Победителю? — спросил Тит.

— Победителю, — ответила Вероника.

— Прощай, Вероника!

— Прощай, Тит!

Внизу ее поджидал Агриппа. Он узнал от Таумаста, что сестра готовится к отъезду.

— Как, Вероника! — воскликнул он в величайшем волнении. — Теперь, как раз теперь, когда наши планы и надежды начинают осуществляться, ты уходишь от меня?

Она едва обернулась к нему.

— Разве ты не думаешь, мой мудрый брат, что товар поднимается в цене, когда он становится редким?

— Ты полагаешь? — пробормотал он растерянно.

— Конечно, — насмешливо сказала она. — Разлука усилит чувство Тита и возбудит его решимость. Тогда твое дело дать мне знать вовремя. К тому же сам Тит одобряет мой отъезд.

Он облегченно вздохнул.

— Куда же ты едешь? — спросил он.

— Куда, если не в Цезарею Филиппийскую, в старый дворец. Я более, чем когда-либо, нуждаюсь в уединении

— В старый дворец? — удивленно воскликнул он. — Но он совсем не устроен и тебе там будет неудобно.

— Тем лучше. Я всей душой ненавижу роскошь и изнеженность, которые делают нас неспособными противиться врагам. Впрочем, хорошо, что ты напомнил мне, я забыла попросить у Тита разрешение на проезд для пограничной римской стражи

Она вышла во двор, где ее ждал Таумаст. Агриппа с недоумением посмотрел ей вслед. Он совершенно растерялся. Какой каприз заставляет Веронику покинуть его в такую важную минуту? Он отлично понимал, что заигрыванье с Титом и мнимая потребность в одиночестве только предлог, за которым кроется нечто иное. Но что именно?

На лестнице он встретил ее эфиопа.

Обыкновенно он избегал встречи с царем, не умея скрыть своей ненависти. Но на этот раз глаза его радостно заблестели, когда он увидел Агриппу. Он промышчал что-то Агриппа остановился. Он понял, что раб хочет ему что-то сообщить. И то, что он обратился именно к нему, показалось Агриппе небезынтересным. Он пошел за эфиопом, когда тот коснулся его платья и повел за собой.

У окна, из которого виден был двор, глухонемой остановился и показал на Веронику, оживленно говорившую с Таумастом. Потом он кивнул головой и повел царя по уединенному длинному проходу к потайному ходу в покое Вероники. Агриппа остановился в нерешительности на минуту. Эфиоп выдвинул камень из стены и позвал за собой. Он на минуту испугался. Быть может, изуродованный раб хочет затащить его куда-нибудь в уединенное место, чтобы отомстить ему? Но что мешало ему напасть на него открыто? Он смело пошел за эфиопом и остановился, изумленный, у двери. В полумраке комнаты лежал на ложе юноша редкой красоты. Он подложил руку под голову, и на лице его было разлито блаженство, словно от счастливого сновидения

Агриппа хотел подойти ближе, но эфиоп потянул его назад. Юноша, казалось, просыпался.

Потом Агриппа и раб вернулись в покои Вероники, и камень был установлен на прежнее место.

Царь посмотрел на раба, требуя объяснений. Эфиоп понял. Он быстро вынул из складок одежды свиток и передал его Агриппе. Это было письмо, найденное Вероникой у раненого юноши. Царь развернул и прочел его. Он вскрикнул от изумления. Регуэль — сын Иоанна из Гишалы! И Вероника... Агриппа понял теперь все: ее сопротивление Титу, ее быстрый, непонятный отъезд.

Он подумал, потом отвел раба в угол и заговорил с ним знаками. Эфиоп напряженно следил за руками царя. Его уродливое лицо вдруг озарилось торжеством. Он кивнул головой в знак согласия и поцеловал руку того, кто изуродовал его. Он его понял.

При последних лучах заката на северном склоне горы Чермака показались два всадника. Они остановились для отдыха под огромной сосной, наполнявшей воздух смолистым запахом.

— Ты видишь отсюда мост, Базилид? — спросил один из них, человек могучего телосложения. Светлые волосы и курчавая борода окаймляли его лицо, в котором светились задумчивые молодые глаза.

Спутник его вздрогнул.

— Не называй меня по имени, Хлодомар, — сказал он тревожным голосом. — Жителям Гишалы совсем необязательно знать, кто я. Если я не ошибаюсь, — продолжал он, указывая на темную черту, видневшуюся в тумане над рекой, — то вот там нужное нам место...

Хлодомар бесшумно пошел в указанном направлении.

— Берегись, — крикнул ему вслед Базилид. — На стене сверкает копье.

Хлодомар быстро спрятался в высокую траву у берега. В воздухе просвистела стрела и вонзилась в землю рядом с Хлодомаром. Несколько минут часовой вглядывался в темноту, потом продолжил свой путь вдоль стены. Хлодомар быстро вскочил и, подойдя к мосту, наклонился над одной из свай. Найдя, что ему было нужно, он тихо свистнул.

Базилид быстро привязал мулов к сосне и осторожно пробрался к мосту.

— Камень в фундаменте у первой сваи выдвигается, —

прошептал Хлодомар. — Как раз так, как говорил Иосиф бен Матия. А вот отверстие, — продолжал он, направляя туда руку Базилида.

— Отлично, сюда можно будет закладывать все наши вести. Скажи наместнику, чтобы он посылал сюда людей через каждые три дня. Пусть он также известит об этом Агриппу. А теперь скорее в лес, — закончил он, осторожно поднимаясь. — Мне пора ехать, чтобы попасть еще сегодня в город и рассказать свою басню Иоанну.

Хлодомар медленно пошел вслед за ним. Им овладело неприятное чувство. Пророк внушал ему отвращение выражением змеиного коварства на желтом остром безбородом лице и в беспокойных глазах. Но вместе с тем что-то мучило его: он не раз участвовал в опасных и не всегда честных предприятиях, но теперь сердце его было на стороне человека, против которого ему приходилось бороться. Если бы это только касалось кого-нибудь другого, а не его, не Иоанна из Гишалы. Ведь и так уже Хлодомар отнял у него сына, а теперь..

С первой минуты своего прибытия в Галилею в качестве наместника Иосиф бен Матия ополчился на Иоанна, единственного человека, равного ему по уму и превосходившего его храбростью. Неужели Иосиф бен Матия прав, а Иоанн в самом деле только из гордости и властолюбия противится во всем избраннику иерусалимского синедриона. Хлодомар, исполнитель тайных поручений наместника, отлично знал, что Иоанн бен Леви совершенно прав, не доверяя наместнику и все время остерегая своих соплеменников от него. Иосиф бен Матия пользовался большим авторитетом в глазах невежественного и легковверного галилейского населения, благодаря своему высокому происхождению из рода асмонеиских правителей, своей принадлежностью к аристократическому духовенству святого города, и всем этим он пользовался для того, чтобы тайно содействовать изменнику царю, вступившему в союз с Римом. Иоанн из Гишалы первый обличил эту двойственность наместника, и теперь он стал в глазах многих единственным оплотом сопротивления.

Хлодомар прислонился к стволу дерева и думал об Иоанне из Гишалы, и не обращал внимания на то, что делал Базилид. Когда пророк встал прямо напротив него в полосе лунного света, он вздрогнул от неожиданности.

— Я тебе удивляюсь, Хлодомар, — тихо смеясь, сказал пророк. — Спать среди опасностей — на это я не способен,

клянусь останками моей матери, которую я никогда не знал. Но видишь ли, — прервал он сам себя, показывая на плащ, в который он завернулся, — одним я превосхожу тебя — хитростью. Скажи сам, сумел ли бы ты превратить свою могучую фигуру Геркулеса в жалкого уставшего странника, сумел ли бы ты из своего молодого мужественного лица сделать морщинистое лицо старика?

— Храброму мужу не подобает, — с презрением отвечал Хлодомар, — нападать на противника исподтишка. — Нужно сражаться лицом к лицу, мечом к мечу.

— О варварская простота! — засмеялся Базилид. — Ты только и умеешь сражаться. Но между битвами бывают перерывы. Что бы стало с вами, кулачными бойцами, если бы мы не приходили к вам на помощь своим умом и не выведывали для вас слабых сторон врагов. Иосиф бен Матия отлично это знает и только потому принял меня так хорошо, несмотря на то, что я пришел к нему от Агриппы — его врага. И поручение, с которым он меня послал к могущественному Иоанну, более почетно для меня, чем смерть сотни врагов, от твоего меча.

Он поднял голову и постучал самодовольно своими длинными желтыми пальцами по своей груди.

— Вот ты смеешься над умом, — сказал он, — а сознайся, ни за что бы тебе не узнать в этом жалком старике, с трудом переводящем дыхание, гордого, величественного пророка горы Кармея. Если бы ты не присутствовал при том, как совершилось это превращение, ты бы и сам не поверил, что это одно и то же лицо. Нет уже длинных падающих по плечам волос, исчезла борода. А мой невидимый панцирь лучше охранит царя и Иосифа бен Матию, чем сотня таких мечей, как твой, отважный Хлодомар. Оружие Иоанна бессильно против него.

Он злорадно рассмеялся, быстро накинул изношенный, запыленный плащ на грязное, протертое от долгих скитаний платье странника. Его высокая прямая фигура согнулась, спина сгорбилась, лицо сморщилось. Он ухватился дрожащими руками за узловатую палку и, шатаясь, пошел, едва волоча ноги. Пройдя несколько шагов, он остановился и обернулся к Хлодомару, глядевшему ему вслед с нескрываемым отвращением.

— Прощай, Хлодомар, — проговорил он прерывающимся от кашля голосом. — Привет тебе от единственного уцелевшего человека Клавдиевой колонии.

Хлодомар стоял не двигаясь и смотрел вслед Базилиду.

Ему еще долго слышалось его отвратительное хихиканье даже после того, как туман крыл сгорбленную фигуру странника...

Иоанн из Гишалы, сын Леви, вернулся больной после поездки в Тивериаду, которую он тщетно пытался защитить от наместника. Жители Тивериады до сих пор твердо стояли за Иоанна и были верны своей родине, хотя они не входили в состав Галилеи, а находились под непосредственной властью Агриппы. Но теперь самый надежный из их предводителей, Юст бен Пистос, тайный секретарь царя, изменил делу восстания и отправился в Птолемаиду, чтобы перейти на сторону римлян. Жители Тивериады после этого пали духом и не оказали серьезного сопротивления войскам наместника. Иоанн, таким образом, потерял сильного союзника. Кроме того, беспокойство о своей семье усиливало изнуряющую его лихорадку. Тщетно ждал он со дня на день возвращения детей и родственников. Ему нужна была нравственная поддержка. Молодой пыл Регуэля так же, как безоблачная веселость Тамары, придавал ему сил в тяжелые минуты. Но напрасно рассылал он гонцов. Все они возвращались ни с чем: им не удавалось пробраться сквозь двойной ряд соглядатаев наместника и римской пограничной стражи.

Кроме того, он видел, что решимость его прежних друзей и единомышленников исчезает. Они не знали, принять ли участие в восстании Иоанна против наместника избранного синедрионом, и против Рима или лучше повременить, пока не выяснится, на чью сторону склоняется успех.

Холодный пот покрывал тело больного. Он метался в постели, не находя себе места. Тщетно пытался врач дать ему лекарство, понижающее жар. Иоанн отказывался от его услуг с горькой улыбкой.

— Да ты разве не понимаешь, — говорил он, — что не эта ничтожная болезнь гложет мне сердце и зажигает кровь. Я измучен неизвестностью о судьбе детей и родины. О, как тяжело лежать здесь и знать, что зреет измена которая все отнимет у нас. Они не слушали меня, глупцы когда я говорил, что у них подкапывают почву под ногами. Теперь, когда наступила опасность, они хотят твердо ступать, но земля согнетса и поглотит их всех.

Он на минуту остановился и горящими глазами уставился куда-то вдаль. Резкие темно-красные пятна выступили на его худощавых щеках.

Врач с испугом посмотрел на него.

— Молю тебя, Иоанн, успокойся, возьми себя в руки. Подумай, ведь только покой может победить болезнь.

— Болезнь! — нетерпеливо перебил его Иоанн. — Да время ли теперь болеть, когда каждая минута...

Он остановился, услышав шум во дворе. Послышались проклятия и какие-то крики. Прежде чем врач смог удержать его, Иоанн одним прыжком очутился у окна и широко растворил его.

Свет факелов освещал толпу галилейских юношей. Они окружили какого-то человека, который спускался с лошади. Он что-то невнятно говорил, но каждое его слово увеличивало волнение толпы. Наконец раздался крик: «К Иоанну!» — и на лестнице раздались тяжелые шаги вооруженных людей.

Иоанн побледнел и отступил от окна. Он узнал гонца, которого послал к единоверцам в Нижнюю Галилею, призывая их к общему восстанию против Иосифа бен Матия и римлян. Он быстро оделся и прошел в зал собрания, где его ждали сторонники:

— Гонец из Нижней Галилеи вернулся, друзья, — сказал он. — Приготовьтесь, быть может, к самым дурным вестям.

Все угрюмо молчали, опустив глаза. Можно ли было ожидать чего-нибудь хорошего, пока наместник сеет в сердцах вражду и уныние своей нерешительностью.

Иоанн стоял около стола, держась за его край, ища поддержки для своего тела, изнуренного лихорадкой. Его большие горящие глаза устремились на дверь, в которую должен был войти гонец. В покое, бледно освещенном красноватым пламенем факелов, была глухая тишина ожидания. Наконец все ближе и ближе раздался шум приближающихся шагов. Дверь отворилась, и в нее вошел гонец, а за ним толпа взволнованных людей... Они наполнили комнату смятением и криками. Но раздался голос Иоанна, и все затихло.

— Какие вести ты принес? — спросил Иоанн.

Гонец упал пред ним на колени.

— Не карай невинного вестника, повелитель! — проговорил он и, вынув из складок платья свиток, развернул его и подал Иоану.

Иоанн взглянул на послание, и глаза его гневно засверкали, а вокруг бледных уст показалась горькая усмешка. Потом он обратился к собравшимся.

— Хотите знать, что пишет Иосиф бен Матия? — спросил он, гордо выпрямившись.

Это имя вызвало взрыв негодования.

— Смерть предателю! — гневно вскричали воины, хватаясь за мечи. — Долой союзника римлян, сторонника малодушных!

Иоанн движением руки восстановил молчание и начал читать:

«Иосиф бен Матия, наместник, шлет галилеянам пожелание всех благ. Когда священный синедрион назначил меня вашим правителем в военное и мирное время, он дал мне власть судить и миловать, укреплять в вас любовь к родине. Я поклялся именем всемогущего Бога исполнять свои обязанности и старался не нарушать мой обет. С помощью Божией мне это удалось: я приготовил к бою более ста тысяч воинов и обучил их. Много городов я окружил стенами, чтобы они помогли обороняться от врагов. Я построил крепости, устроил в них склады хлеба и арсеналы. Все это я сделал. Но когда об этом узнал Иоанн бен Леви, из Гишалы, когда он увидел, что мне все удастся, что подчиненные любят меня, а враги боятся, он стал мне завидовать, думая, что моя удача будет его гибелью. Он подумал, что счастье изменит мне, если он возбудит против меня ненависть подвластного мне народа. Он стал сеять измену, окружил стеной свой родной город — Гишалу. Некоторые поддались ему и пошли за ним, но большинство отвернулось от него и оставило его. Ведь если бы я хотел предать родину римлянам, разве бы я сделал для Галилеи все, что перечислил? Слушайте: враг подходит к нашим границам с огромным войском. Отступитесь же от Иоанна бен Леви, вернитесь ко мне, вашему наместнику. Тем же, кто держал сторону Иоанна, я обещаю именем вечного Бога сохранность и защиту, если они одумаются, и даю им двадцать дней, чтобы вернуться на путь истинный. Если же они за это время не сложат оружия, я сожгу их дома и отдам народу их достояние. В истине моих слов клянусь Всевышним. Иоанна бен Леви из Гишалы и детей его я, наместник, объявляю вне защиты законов. Всякий имеет право убить его, где только застигнет его. И кто доставит мне его живым или мертвым, того я объявляю другом и благодетелем родины и вознагражу его тысячью серебряных шекелей. Имя его будет благословляться как имя освободителя. И я требую от вас, чтобы вы послушались моих слов и соединились со мной, вашим наместником, для блага родины и для славы Всевышнего».

Иоанн закончил читать и оглянулся на своих приверженцев.

— Кто из вас хочет заслужить награду и стать освободителем родины? — спросил он и нагнул голову, так что его шея обнажилась.

Общий ликующий крик был ему ответом, и прежде чем он успел что-либо сделать, юноши выхватили у него из рук послание наместника. Оно было разорвано на куски и растоптано.

Иоанн отошел от стола, за который держался, и наклонился к вестнику.

— Встань, — сказал он мягко. — Тебе прощаются твои вести...

Тот не шевелился.

— Ты еще не все знаешь, повелитель, — глухо пробормотал он.

— Говори!

Опять наступила глубокая, напряженная тишина.

— Ты послал меня к войску твоих союзников из Нижней Галилеи, — продолжал вестник. — Они шли к тебе. Я их встретил в трех днях пути отсюда. Все это были сильные, отважные, решительные воины. Их было четыре тысячи, но...

Он остановился. Иоанн подошел к нему и схватил его за плечо.

— Да говори же, — дико закричал он, — говори!

— Послание наместника дошло и до них... и...

Иоанн отпустил его, и лицо его страшно побледнело.

— Они отступились? — с трудом проговорил он. — Изменили родине? Скажи скорее, что это неправда!

Вестник опустил голову.

— И все-таки это так, как ты говоришь.

Иоанн бен Леви закрыл дрожащими руками лицо. Это уничтожило долгую тяжелую работу нескольких месяцев, проведенных в неутомимом воздействии на умы галилеян. Погибла возможность продолжать войну. Эти отступившиеся четыре тысячи могли заразить своим примером всех. Рознь, намеренно или ненамеренно созданная наместником, распространится, несмотря на сопротивление Иоанна, и Галилея легко станет жертвой римлян. Галилея же была для Иерусалима неистощимым источником сил. Когда он потемневшим взором обвел лица своих сторонников, он на всех их прочел ту же мысль — гнев и безнадежность, отчаянное желание мести и страх перед будущим.

Один из сторонников, человек с большим влиянием, служащий Иоанну в надежде на лучшее будущее, пробрался

сквозь толпу воинов, стоявших у стен, и покинул зал. Первый утративший веру в успех войны. А сколько еще последует за ним? Горькая усмешка показалась на губах Иоанна. Мрачный огонь искрился в его глазах; он медленно оглянул онемевшее собрание, распахнул на груди платье и сказал твердым голосом:

— Еще раз спрашиваю вас: кто хочет получить награду от Иосифа бен Матии?

Тягостное молчание наступило на минуту, потом раздался общий многоголосый крик возмущения, засверкали мечи. Все эти испытанные в боях воины бросились к своему вождю, окружили его, моля не покидать их, верить в их преданность и не думать, что среди них возможны предатели...

Худощавая фигура Иоанна дрожала в лихорадочном возбуждении, он поднял руку, требуя внимания. Но Иоанн бен Леви ничего не успел сказать: глаза его, горящие вдохновением, устремились на среднюю дверь покоя. Два стражника ввели в комнату какого-то человека. Это был старик; длинные, белые спутанные пряди волос спускались по его сгорбленной спине; худое лицо было покрыто морщинами от старости, забот и долгих скитаний. Он был одет в изорванный, запыленный, испачканный кровью плащ. Дрожащие руки с трудом опирались на сучковатую палку.

— Мы нашли его у южных ворот. Он лежал без чувств, — пояснил один из приведших его в ответ на удивленный взгляд Иоанна. Мы не видели, как он пришел. Может быть, он уже давно там лежал. В ответ на наши вопросы он только называл твое имя, господин, поэтому мы и привели его сюда.

Старик не двигался, только тусклые глаза его устремились на лицо стоявшего пред ним Иоанна.

— Чего тебе от меня нужно? — сказал Иоанн, подходя ближе.

— Кто это говорит? Этот голос...

— Это я, Иоанн бен Леви.

Странник вздрогнул; глаза его широко раскрылись.

— Да, это ты, — проговорил он дрожащим жалобным голосом. — Горе мне, что именно я должен принести тебе страшную весть!

Иоанн вздрогнул, предчувствие нового горя сжало ему сердце.

— Страшные вести? — с трудом проговорил он. — Говори же, откуда ты, кто ты?

Старик переложил свой посох в другую руку.

— Я с трудом пробрался по утесам и пенистым горным ручьям, среди ночного холода. Глаза мои видели дымящуюся кровь и трупы убитых. Мое имя Оний, я беглец, лишившийся родного крова, последний из моих единоверцев в Птолемаиде!

Иоанн вздрогнул и поднял руку, как бы для того, чтобы отстранить ужасное известие.

— Из Птолемаиды? Последний? А Иаков бен Леви, мой брат?

— Спроси римлянина с холодным лицом. Они зовут его Веспасианом.

— Великий Боже! Он казнил его?

— Нет, не казнил,— глухо сказал старик,— он его держит как свидетельство торжества римлян над иудеями

— Он в плену?

— В плену.

Иоанн закрыл лицо руками. Потом он вдруг снова задрожал, руки его опустились.

— В доме моего брата... была молодая девушка... еще дитя... невинное и чистое... зовут ее Тамарой.

Старик печально покачал головой.

— Я ее хорошо знал,— пробормотал он.— Часто она помогала старому Онию сесть в тени кипариса, растущего в саду Иакова бен Леви. Тамара! Мы звали ее солнечным лучом...

— Вы звали ее,— проговорил Иоанн, задыхаясь. Скажи скорее, что с ней случилось?

— Спроси Веспасиана.

— И она?..

Старик кивнул.

Страшная, душная тишина стояла в комнате, переполненной людьми. Ни звука, ни движения, кроме потрескивания факелов. Казалось, что Иоанн бен Леви одинок среди этого собрания своих приверженцев; никто не решался подойти к нему. Вид его оцепеневшей от скорби фигуры сковывал всех...

Наконец Иоанн заговорил почти беззвучно.

— Скажи мне все. Ты что-то еще скрываешь. Не слышал ли ты чего-нибудь о Регуэле, моем сыне. Я послал его за сестрой.

Опять раздалось страшное, безнадежное:

— Спроси Веспасиана...

Иоанн бен Леви больше не спрашивал. Он отшатнулся,

дрожащими руками ища опоры, хватаясь за стену. Чужеземец, склонившись к нему, говорил резким голосом, который слышно было всем:

— Сам Веспасиан послал меня к тебе. Он избрал меня, самого старого и слабого из всех, переживших гибель колонии Клавдиевой. Отправься к Иоанну, заклятому врагу римлян, — сказал он, — и расскажи ему, что ты видел его сына и дочь, брата и племянницу в моих руках. Если отец будет бороться против Рима, то дети будут пленниками Рима и украсят торжество победы. Сын умрет на арене в честь римской победы. Дочь же будет наложницей во дворце цезаря. Та же участь постигнет брата и племянницу...

Иоанн не двигался. Время от времени тело его вздрагивало; холод сковывал ему члены, лихорадка усиливалась.

— Если же Иоанн перестанет сопротивляться, — продолжал старик, отчетливо выговаривая каждое слово, — то он станет другом Рима. Его будут почитать, как драгоценнейшего из союзников. Дети друзей считаются детьми Рима, родственники друзей — родственники Рима. Им не причинят никакого зла. Кто их коснется, тот будет иметь дело с вечным Римом. Поэтому, говорит Веспасиан Иоанну брось вражду, не ссорься с нами, а приди ко мне, как друг к другу и брат к брату. Детей и родственников ты получишь из рук моих невредимыми. В знак того, что все это правда возьми то, что было найдено у Регуэля, твоего сына доказательство твоей измены Риму и Веспасиану. Все это будет забыто и прощено, если ты оставишь ряды врагов

Он вынул из-под плаща свиток и подал его Иоанну. Это было письмо, найденное Вероникой у раненого Регуэля

Иоанн выпрямился, его скорбное лицо осветилось как ким-то внутренним светом, он сказал

— Слышите, друзья, что вы мне посоветуете, должен ли я принять предложение римлянина?

Шум прошел по собранию, но никто не говорил, все напряженно смотрели на вождя. Иоанн взял из руки одного из воинов обнаженный меч, потом встал посередине залы. Высоко подняв меч в правой руке, сказал торжественно и строго; и все были потрясены его клятвой:

— По Твоей воле я стал одиноким и покинутым в моем доме, Господь Бог мой. Ты отдал детей моих и родственников в руки врага. Сердце мое разрывается от муки, но я знаю, Боже, Ты не велишь мне покинуть Тебя и сестр у ног Твоих противников. Ты хочешь испытать меня. Я по-

знал Тебя и душа моя верна Тебе. Приношу обет, великий Бог: пусть я буду одиноким в доме моем и пусть все отпадет от меня, к чему привязано мое сердце: сына и дочь, брата и племянницу я отдаю Тебе и отчизне. Она мне будет сыном и дочерью, и до тех пор я не успокоюсь, пока снова не раздастся радостная свободная песнь избранного народа в родных горах. Все вы, которые видели меня удрученным земной скорбью, воспряньте вместе со мной, возьмите оружие, забудьте все, что не есть единое и нераздельное, великое: Бог и родина!..

Воздух наполнился единогласным торжествующим криком: «Бог и родина!» Даже Оний, невольный посол Веспасиана, последний иудей Клавдиевой колонии, охвачен был всеобщим воодушевлением. Он пытался дрожащими руками коснуться меча, поднятого Иоанном. Дотронувшись до него, он вдруг упал на колени и с мольбой поднял руки

— Великий вождь! — воскликнул он. — Прости, что уста мои послужили орудием страшной вести. Я пришел сюда, отчаявшись в благе нашего народа, согбенный горем. Теперь же изменились мои мысли, и я молю тебя: позволь мне принять участие в твоём деле. Невелики мои силы, но и слабый может быть орудием Господа. Не отталкивай меня, Иоанн, дай мне идти по твоим следам, радоваться великому делу и повторять слабыми устами клич твоих приверженцев: «Бог и родина!»

Иоанн бен Леви поднял стоявшего на коленях старца и, прижав его к груди, сказал:

— Будь мне отцом, Оний

Глава XII

Флавий Веспасиан выступил из древнего Акко и перенес войну в самую упорную из иудейских провинций — Галилею, известную храбростью своих жителей. Двойственность наместника Иосифа бен Матии и вызванная этим смута обещали легкий успех римскому оружию. Войско Веспасиана состояло из шестидесяти тысяч человек, не считая вспомогательных войск, не уступавших, однако, по храбрости и умению владеть оружием римлянам

Ужас охватил галилейских иудеев, и вместо того, чтобы сопротивляться, они рассыпались во всех направлениях распространяя смятение по всей стране. Обитатели деревень скрывались в лесах или искали спасения за стенами

крепостей. Когда же туда являлись римские воины, они сдавались, не помышляя об обороне. Дыхание страшного чудовища — Рима стерло в их сердцах и упование на Бога, и прежнюю пламенную любовь к родине. Напрасно такие люди, как Иоанн бен Леви, пытались укрепить дух своих соотечественников. Сам Иосиф бен Матия, наместник, изменил всем своим блестящим обещаниям, своей безграничной самонадеянностью и, увлеченный общим потоком беглецов, укрылся не столько от римлян, сколько от негодования своих соотечественников, в Тивериаде, городе у Генисаретского озера, принадлежавшем изменившему родине царю Агриппе.

Разгром Иудеи начался с цветущей Гандары. Веспасиан овладел этим городом почти без боя. Но хотя почти никто в городе не оказал сопротивления, Веспасиан велел умертвить всех взрослых горожан, а сам город и все лежащие вокруг деревни были сожжены.

Этерний Фронтон, едва оправившийся от болезни, начал тогда свое страшное дело: среди пленных он отбирал тех, кто предназначался для борьбы на арене. Под влиянием ужаса, охватившего Иудею, Иосиф бен Матия с лихорадочной быстротой собрал остатки сил, удерживая от бегства всех, кто попадался ему на пути. Он решил отстоять крепость Иотапату. Она построена была на высоких утесах, и проход к ней открыт был только с севера, но эта сторона была защищена высокой крепкой стеной.

Веспасиан вел осаду неутомимо и упорно, но много раз приходил в замешательство от неожиданных шагов Иосифа и от мужества защитников Иотапаты. Осажденные отразили несколько штурмов сами и делали удачные вылазки. Во время одной из них Веспасиан был даже серьезно ранен.

Но ни храбрость защитников Иотапаты, ни изворотливость наместника не смогли отвратить от города его неизбежную судьбу и справиться с превосходством римлян. Все теснее становился железный пояс, охватывающий крепость, все слабее отпор обессиленных осажденных. Метательные снаряды разрушали самые крепкие стены и башни, камни, перелетая в город, приносили смерть жителям.

Защитники, однако, не теряли мужества, хотя силы их ослабевали и страдания увеличивались от недостатка воды и съестных припасов. Иосиф бен Матия, отважный и находчивый, когда удача ему улыбалась, сразу поник, увидев, что счастье изменило иудеям. Его воинственный пыл исчез; он думал только о том, чтобы под каким-нибудь предлогом

оставить крепость. Он даже уговаривал прекратить бесполезную борьбу. Но это возбудило всеобщее негодование.

Борьба возобновилась с удвоенным ожесточением, но иудеи, ослабленные потерями, держались лишь с величайшими усилиями.

Веспасиан узнал от перебежчиков, что осажденные обыкновенно засыпают под утро; в это время и стража дремлет на стенах. Веспасиан сначала не поверил доносчику — он знал, как иудеи преданны своим соплеменникам и что они не боятся смерти. Но сведения, принесенные иудейским перебежчиком, совпадали с наблюдениями римских стражей, и Веспасиан решил сделать попытку штурма на рассвете.

Серый густой туман окутывал город, когда Тит и несколько солдат пятнадцатого легиона взобрались на стену. Они закололи спящих стражей и открыли ворота крепости. Жители и воины спали еще глубоким сном, когда римляне начали резню. Иудеи защищались с храбростью, дошедшей до безумия. Но прижатые на узких улицах к отвесному уступу горы, они были все уничтожены.

И весть, которую разнес по стране пожар Гандары, подтвердилась с падением Иотапаты: Веспасиан пришел, чтобы стереть с лица земли иудеев.

Так пала Иотапата в первый день месяца тамуза на тринадцатом году царствования цезаря Нерона.

Иосиф бен Матия избежал смерти. Ему удалось убежать и скрыться в мало кому известной пещере. Там он нашел прятавшихся видных горожан, принесших с собой припасов на долгое время. Три дня, несмотря на тщательные поиски, Веспасиан не мог найти заместника, пока наконец одна из пленных женщин не указала римлянам его убежища. Веспасиан послал к Иосифу трибуна Никанора, друга заместника, с предложением сдаться.

Стыд пред другими или, быть может, недоверие Веспасиану заставили Иосифа сначала ответить отказом. Когда же ему обещана была неприкосновенность, а римляне грозили поджечь пещеру, если он будет долго колебаться, заместитель потребовал время для обсуждения.

Возмущенные трусостью заместника, спасшиеся вместе с ним иудеи стали упрекать его и угрожать смертью, если он сдастся римлянам. Они требовали, чтобы он вместе с ними умер за родину. Иосиф дрожал от ужаса, слушая их, и присущей ему изворотливостью искал выхода из опасного положения.

— Самоубийство позорно! — кричал он, словно охваченный религиозным ужасом. — Это величайшее преступление против Бога и природы. Души самоубиц осуждены на вечную адскую муку. Чего нам страшиться от римлян — смерти? Но если бояться смерти, зачем искать ее? Если мы хотим жить, то не позорно быть обязанными жизнью тем, кому мы доказали свою доблесть. Если же мы хотим умереть, то что может быть почетнее, чем смерть от рук врагов? Я не сдамся римлянам, чтобы никто не подозревал меня в измене, но я хотел бы возбудить их ненависть, чтобы они убили меня, хотя и обещали даровать мне жизнь.

Эти слова еще более возмутили всех, вместо того, чтобы успокоить. Они уже надвигались с мечами на Иосифа, когда вдруг у него мелькнула последняя спасительная мысль.

— Хорошо, — сказал он, гордо выпрямившись. — Я готов умереть с вами. Но предоставим решение воле Всевышнего. Кинем жребий, кому первому умереть. На кого жребий выпадет, того пусть заколет его сосед и так далее, по очереди, до самого последнего.

Иосиф сделал это предложение только для того, чтобы устрашить других, но, к его ужасу, они не только его приняли, но и тотчас же стали выполнять. С дикой решимостью они вынимали жребий и без ропота принимали смерть от рук братьев.

По странному совпадению последними остались сам наместник и один юноша — храбрейший из всех принявших смерть. Наступила минута, когда они должны были кинуть жребий.

Смертельная бледность покрыла лицо наместника, когда он стал вынимать роковой жребий. Он уже собирался молить о пощаде, и вдруг в душе его мелькнула безумная надежда: юноша едва держал меч, на котором была кровь убитого им только что его собственного отца.

Иосиф бен Матия воспользовался минутной слабостью юноши, прислонившегося к стене, и бросился на него, чтобы вырвать оружие из его рук. Во время их борьбы трибун Никанор и его воины незаметно прокрались в пещеру и схватили их.

Иосиф бен Матия отведен был в римский лагерь, который он некогда обещал своим приверженцам как богатую военную добычу. Душа его была полна теперь ужаса и сомнений. Сдержит ли Веспасиан свое слово?

Глава XIII

Вероника и Регуэль жили странной, похожей на сон жизнью. Царица сумела превратить юношу в своего раба. Ей удалось то, к чему она страстно стремилась, ухаживая за раненым в Птолемаиде. Она вылепила по своему желанию мягкий воск его сердца и придала ему форму, которая казалась ей самой прекрасной и желанной. Она радостно дышала, чувствуя свою неограниченную власть и видя свой образ на алтаре его сердца. Она была для него странным сочетанием женщины и богини.

Они жили, как будто, кроме них, не было никого во всем мире. Немой тихий эфиоп не выводил их из очарованного сна: другим рабам Вероника тоже велела молчать, и они повиновались, зная, что царица умеет карать и награждать. Для Регуэля и для всех других Вероника была Деборой, вдовой богатого купца. Шум войны не доходил до уединенного Бет-Эдена, но царица получала сведения о ходе римского завоевания. Между нею и Агриппой шел обмен вестями, от Тита она иногда получала небольшие послания.

Вероника равнодушно читала их, что ей за дело теперь до Тита, Агриппы и до судьбы ее народа? Все ее чувства и мысли были заняты первой страстной молодой любовью. С жадностью она хваталась за настоящее, намеренно забывая прошлое, и старалась не торопить грозное будущее. Она ясно сознавала: их скрытое от мира счастье не может длиться вечно. Долго ли удастся ей еще обманывать возлюбленного относительно происходящих событий. Он думал, что война еще не началась, что Веспасиан, уstraшенный восстанием целого народа, все еще в Птолемаиде. Он был уверен, что Тамара и его родственники прибыли в Гишалу и что отец продолжает дело освобождения родины, стоя во главе галилейских патриотов. Ни на секунду у него не возникало сомнения в словах Деборы. К тому же письма отца подтверждали истину того, что она говорила. Он не знал, что по приказу Вероники эти письма искусно подделывались и передавались ему заранее подготовленными к расспросам гонцами. В этих письмах Иоанн бен Леви повелевал сыну оставаться там, где он находился, пока его не позовут, и Регуэль охотно повиновался.

Эфиоп ждал. Через его руки проходило все, что относилось к царице. От его зоркого взгляда ничего не укрывалось. Вестники Агриппы тоже приходили к нему, он вел их

к повелительнице, уже обменявшись с ними тайным знаком. Но тот, кого он ждал, все не приходил.

Наконец однажды пришел в Бет-Эден Хлодомар. Во время одной из стычек у стен Иотапаты он попал в руки солдат Агриппы, и его привели к царю. Он тогда перешел на службу царя; и до того Хлодомар передавал тайные вести от Иосифа бен Матии Агриппе. Царь знал, что Хлодомару известны его тайные отношения с наместником, и был уверен в его преданности.

Хлодомар принес обстоятельные вести Веронике от царя. Когда он передал свиток эфиопу, вестник и раб пристально взглянули друг другу в глаза. Хлодомар вынул дощечку, на которой было что-то написано, и показал ее эфиопу. Раб прочитал: «Выведай, что решила Вероника и скажи вестнику». Он показал глазами, что понял, и пошел передать царице письмо Агриппы. Увидев послание, Вероника почувствовала грозящую опасность. Она знала, что падение Иотапаты — вопрос времени и что вместе с ней вся Галилея попадет под власть Рима. И тогда придется принять решение — Иерусалим или Рим! Она могла избрать лишь один из них, и оба решения были одинаково опасны: Иерусалиму принадлежало ее сердце, с Римом связывали ее интересы ее семьи, вера в успех. Разрывая с Римом, она должна была пожертвовать Агриппой и всеми владениями семьи Ирода; отрекаясь от Иерусалима, она предавала свой народ, своего Бога, свою любовь.

Время решения настало: Иотапата пала.

Агриппа писал ей в приподнятом от радости тоне: он теперь меньше ненавидел Рим, чем иудеев; восставая против чужеземных притеснителей, они тем самым объявляли войну и честолюбивой политике Агриппы, последнего и слабейшего из дома Ирода. Враждебно настроенные иудеи ненавидели его за все неискупленные преступления его предков. Это наследие было тем более подавляющим, чем менее было смелости у Агриппы открыто прибавить новые грехи к старым. Он был даже лишен ореола жестокости, которая внушила бы ужас его врагам.

Иотапата пала — быть может, это откроет глаза ослепленным жителям Иерусалима относительно того, что их ожидает. Агриппа писал, что он вполне согласен с решением Веспасиана с восставшими галилеянами нужно поступить самым строгим образом, нужен устрашающий пример. Слишком долго этот упрямый народ злоупотреблял терпением властителей. Эта кара принесет пользу самим иудеям,

они должны понять, что спасение только в подчинении Агриппа же надеялся получить от римлян покоренные провинции в царственное владение. Конечно, вначале за ним еще будут следить, но достижение полной независимости только вопрос времени. Теперь для Вероники наступило время действовать. Ее роль та же, какая некогда выпала на долю Эсфири. Агриппа извещал ее, что снова представился случай укрепить в душе Веспасиана и Тита пробужденную на горе Кармеле веру в их божественное предназначение, в то, что им должен достаться трон цезарей.

«Я воспользовался для этой цели, — писал царь, — нашим старым другом, Иосифом бен Матия. Я узнал, что он взят в плен, и послал к нему Хлодомара, человека вполне верного, с посланием на арамейском языке. Иосиф бен Матия прочел послание и стал действовать с обычной ловкостью по моим указаниям. Я был при том, когда его привели к Веспасиану. В припадке полного, быть может, даже непритворного, раскаяния он упал к ногам полководца и стал молить, как о милости, о том, чтобы ему позволено было дать доказательство его дружеского расположения к римлянам. Мольба его обращалась и ко мне. Я исполнил его просьбу, но так равнодушно, что Веспасиану не могла в голову прийти мысль о нашем тайном соглашении. То, что я имел при этом в виду, вполне осуществилось. Веспасиан сообщил мне, что непременно должен отправить человека, столь высоко стоящего, как Иосиф бен Матия, в Грецию, к Нерону. Только сам император может решить его участь. Я в нескольких словах выразил свое сожаление и с притворным безучастием повернулся к Титу, который стоял около меня; я стал его спрашивать, доволен ли он своим конем Туском. В то же время я подал Иосифу условный знак. Тотчас же, с ловкостью опытного актера, Иосиф обратился к Веспасиану с вдохновенным видом пророка. «Ты думал, — сказал он, — что взял в плен только Иосифа бен Матию, наместника Галилеи, но я являюсь провозвестником более высоких и важных вестей. Разве бы я стоял теперь перед тобой, если бы не был послан свыше и не понимал бы тайных пророчеств иудейского Бога? Я ведь знаю, как должен умереть полководец! Зачем тебе посылать меня к Нерону? Не цезарь Нерон, а ты сам господин моей жизни и повелитель моей судьбы. Пройдет немного времени, и ты сам будешь носить имя цезаря, властителя земли, моря и всего человеческого рода, а Тит, твой сын, будет твоим преемником на всемирном престоле»

Веспасиан побледнел от изумления, и на лице его я прочел воспоминание о том, что было на горе Кармеле. Но он еще не верил. «Ты безумствуешь, — крикнул он, отступая от Иосифа, — или хочешь обмануть меня, чтобы вернуть себе свободу!» Пленник усмехнулся. «Зачем мне лгать? — сказал он. — Разве жизнь моя не в твоих руках? Ты можешь отдать меня на величайшие пытки, чтобы вырвать у меня признание, и все же я буду тверд. Я жрец великого бога и знаю, что свобода мне должна быть даром твоих рук». Твердость Иосифа бен Матия внушила полководцу доверие. Чтобы усилить впечатление, я сказал в легком тоне, обращаясь к Титу, но так, что Веспасиан мог меня слышать, что Иосиф в самом деле жрец. Упомянул также, что, как известно, большая часть жрецов обладает даром пророчества. Это замечание положило конец колебаниям Веспасиана. Он велел, конечно, держать пленника под строгим надзором, но уже отменил его отправку к цезарю, где, конечно, его ожидала смерть. Благодарность Иосифа ко мне безгранична, как он передавал чрез других, и он готов служить мне, чем только может. Я, конечно, не придаю большого значения этим уверениям, но его необычайная хитрость и ловкость смогут сослужить мне службу Тебе же Вероника, — писал Агриппа в заключение, — я напоминаю данное мне слово. Более чем когда-либо важно склонить Тита на нашу сторону, чем бы война ни кончилась. Поэтому я пригласил Веспасиана и его сына отпраздновать покорение Галилеи в Цезарее Филиппийской; оба они согласились, тем более что войско страдает от жары. Веспасиан уже ранее решил дать ему несколько недель отдыха. Поэтому, когда Хлодомар придет к тебе, сделай все приготовления, чтобы встретить римлян по-царски. А более всего я советую тебе удалить все, что может казаться подозрительным Веспасиану и в особенности Титу. Надеюсь, что ты поймешь меня. Ведь мои интересы на этот раз совпадают с твоими».

Вне себя от бешенства Вероника смяла письмо в руках. Никогда эгоизм брата не проступал так обнаженно и грубо. Притворяться теперь, когда сердце ее полно любви к другому? Помогать Агриппе, который изменяет родине и губит народ израильский, народ Регуэля!

Никогда! Она не позволит отнять у себя свое сокровище, она защитит его от всех, от собственного брата, от всего мира. Единственное средство спасения — бегство, быстрое, безотлагательное бегство... Она вскочила и с гад-

ливостью оттолкнула ногой письмо брата. Бросившись к эфиопу, который стоял у дверей, она показала ему знаками.

«Бежать... в тот же вечер... Только с Регуэлем и с ним». Но куда? Вдруг ее озарило. Куда? Конечно, в Иерусалим. Там сердце ее народа, место Регуэля и дочери Асмонеев у врагов Рима. Она во всем признается возлюбленному, откроет свое имя и обман с письмами отца. Он ее простит, и тогда — любовь за любовь. Она признается ему дорогой, темной ночью, когда краска стыда не заметна будет на ее щеках...

Ее поспешность заразила раба... Как безумный бросился он из комнаты. Она вздрогнула и вышла собрать в дорогу драгоценности. Хлодомар ждал еще ответа. Когда эфиоп вернулся, он вопросительно взглянул на него. «Она хочет бежать» — написал Стефан на врученной ему дощечке.

Благородное лицо Хлодомара омрачилось, потом он медленно обнажил висевший у пояса кинжал и показал рабу сверкающую сталь; на ней было вырезано одно слово: «Убить!»

.....
Иоанн из Гишалы звал его.

Регуэль держал письмо в руках и перечитывал его несколько раз. Вероника с беспокойством смотрела на юношу; она опять решилась на обман. Сказать теперь правду она не смела. Регуэль также ненавидел и презирал Веронику, как любил Дебору. Вероника боялась, что он произнесет слово, которое их навсегда разлучит.

Лицо Регуэля омрачилось. Наступило время разлуки. Опьянение счастья нарушено призывом, который слышался в прочитанных строках. Сведет ли судьба снова пути Регуэля и Деборы? Он покраснел от своей эгоистичной мысли. Что значила теперь судьба отдельного человека, когда гибнут тысячи и погибнет, может быть, целый народ! И все-таки у него было тяжело на сердце.

— Прочти, — сказал он глухо и подал царице письмо.

Она его не взяла. Даже если бы она не знала, что в нем, она догадалась бы о содержании письма по глазам Регуэля.

Вероника слабо улыбнулась. Она видела, как ему трудно расстаться с ней.

— Тебе нужно покинуть меня, так уходи, — сказала она небрежно, как бы шутя. Даже в такую напряженную минуту она не могла удержаться от того, чтобы не проявить

своей власти над ним. — Почему же ты не идешь? повторила она, видя его безмолвный, устремленный на нее взгляд.

— Так-то ты прощаешься со мной? — взволнованно проговорил он. — Без сожаления, Дебора?

Она пожала плечами.

— Ты мужчина!

Он вздрогнул.

— Ты права, — проговорил он взволнованно. — Я чуть было из-за тебя не забыл этого. Благодарю тебя, Дебора. Благодарю за то дивное, навсегда исчезнувшее время!..

Он не мог продолжать и, медленно наклонившись, поцеловал руку царицы. Потом он направился к двери. Она смотрела ему вслед.

— Навсегда? — спросила она тихо, и печальные ноты слышались в голосе. — Почему навсегда? Зачем ты вообще уходишь?

Он остановился в изумлении.

— А родина?

— Родина? — повторила она с кажущейся насмешкой. — Что она тебе даст, твоя родина? Ты принесешь ей в жертву все, что есть самого дорогого для тебя, а она ничего не даст, кроме смерти. Ты забыл, что выше всего — жить любовью?

Она медленно подошла к нему, как бы для того, чтобы следить по его лицу, как он борется с собой, как у него разрывается сердце от сомнений.

Регуэль смотрел на нее с изумлением. В ее глазах была какая-то немая, полная ужаса мольба. Вероника, убеждавшая его жить для себя, казалось, ждала от него слова, которое разрешит сомнения в ее собственной душе. В первый раз с тех пор, как он увидел Дебору, Регуэль почувствовал, что не знает ее. Он ответил ей более резко, чем хотел.

— Родина для иудея самое великое — большее, чем для всех других народов, ибо наша родина — Бог. Когда опасность грозит родине иудеев, она грозит Богу, тому Богу, который вселил в наши сердца чувство любви. Защищая родину, я защищаю не только эту страну, ее леса и долины, реки и горы, не только Иерусалим, города и храмы, не только людей, населяющих святую землю; я вместе с тем защищаю и самое великое, все, что наполняет душу человека, — Бога и конечную цель жизни. Счастье мира держится верой в Бога.

Он сказал это без всякой торжественности, не возвышая

голоса. Казалось, что слова медленно поднимаются из его души, что в них простая и понятная истина, которую не нужно даже доказывать.

Вероника с удивлением смотрела на него. Так вот что живет в той части его сердца, которая ей не принадлежит? Она хотела рассердиться на него и не могла. Кровь ее закипела от мысли о соперничестве, но это было соперничество с Богом. Никогда прежде она так ясно не понимала, что душа ее бедна духом, что жизнь беспощадной рукой отняла у нее то, что составило бы святыню ее высокого ума. Среди роскоши, пышной жизни, могущества и интриг она утратила то, что отличало иудеев: мысль о великом призвании человечества, о том, что выше временных целей Регуэль раскрыл пред ней бедность ее души. Она увидела границы своего могущества, но это не возбуждало в ней протеста. В ней проснулась нежная потребность женщины покорно прильнуть к возлюбленному, как плющ к дубу, и поднять на него глаза с доверием и восторгом. Рабство любви, которому она прежде подчиняла других, настало теперь для нее, и она отдавалась ему с блаженным чувством счастья.

Она подошла к Регуэлю, положила ему на грудь свою уставшую голову и сказала, вся дрожа от волнения:

— Прости, возлюбленный, что я тебя испытывала. Ты велик и силен. Не лишай меня этой опоры, не отталкивай меня. Ты видишь, я слабая женщина. Защити же меня, чтобы я не погибла в вихре, и поступи со мной по твоему желанию. Если ты останешься здесь, я буду сидеть у ног твоих, я буду служить тебе. Если ты уйдешь, дай мне следовать за тобой — к победе или к смерти. И то, и другое я с блаженством разделю с тобой.

Она наклонилась и поцеловала руку Регуэля. Бог и родина одержали в ней победу над соблазном власти.

Вероника долго потом помнила эту минуту. Никогда еще она не сознавала в себе такого подъема духа, как в ту минуту, когда покорила свою гордость.

Регуэль вернулся к себе, опьяненный счастьем. Будущее представало пред ним в сияющих красках. Ему предстояла борьба за святыню своего народа рядом с отцом, благороднейшим из мужей Иудеи, и с Деборой, благороднейшей из иудейских женщин. Дебора ему обещала на прощание, что она станет его женой, если Иоанн бен Леви одобрит выбор сына. Почему бы отцу не одобрить его? Прекраснее, чем Дебора, нет на свете женщины! Он быстро собрал те

немногие вещи, что ему принадлежали. Эфиоп, их доверенный раб, принесет их к месту условленной встречи.

Регуэль должен был согласиться с Деборой - им не следовало вместе оставлять город. Римское войско было уже близко; быть может, даже воины Веспасиана уже рыщут в окрестностях. Легко мог найтись среди жителей или даже среди слуг Деборы предатель, который будет рассчитывать получить награду от римлян. Трудно предположить, что присутствие Регуэля в Цезарее Филиппийской осталось тайной, несмотря на все предосторожности. Веспасиан, как и Агриппа, не упустят случая захватить в плен сына их врага.

Условленным местом встречи был иорданский источник. Там Дебора должна была ждать его. Эфиоп даст знак Регуэлю, когда оставит Бет-Эден. Им предстоит прекрасная поездка ночью, вдоль Иордана, такая же прекрасная, как и путешествие из Птолемаиды в Бет-Эден, может быть, еще прекраснее: тогда Дебора и Регуэль не были так близки друг другу. А потом Гишала, приветливое серьезное лицо отца...

Регуэль лег отдохнуть. Отъезд был назначен в час полуночи, нужно было собраться с силами для предстоящего путешествия. Регуэль заснул, мечтая о блестящих глазах Деборы, с именем отца на устах, с надеждой и любовью в сердце.

На мече Хлодомара было написано: «Убить!»

Агриппа же писал в своем письме: удали все подозрительное.

Эфиоп прочел и то, и другое. Наступил час, которого он долго ждал. Он был обещан ему царем еще в Птолемаиде «Убить!» — он убьет, но не мечом. Слишком ничтожной и легкой казалась ему эта смерть. Сколько раз он умирал от внутреннего всепожирающего огня! Огонь! Теперь, когда это в его силах, он тем же отомстит своему врагу. Глаза эфиопа загорелись при этой мысли, и жестокая улыбка легла вокруг его сжатых губ.

Он только что вернулся от царицы. По ее приказу он принялся за ящики и сундуки, чтобы наполнить их драгоценными камнями и золотом. Вероника хотела примкнуть к восстанию со всем своим богатством. Пусть Рим узнает, что он потерял вместе с ней!

Эфиоп равнодушно перебирал сокровища. Что ему до всех драгоценностей мира! Глаза его жадно следили за

тонкими пальцами, передававшими ему камни, и за ослепительно белой рукой, которая терялась в розовой тени широкого рукава. Царица не обращала на него внимания и не посмотрела на него, когда он уходил. Она не видела странного блеска в его глазах. Она думала только о Регуэле.

За дверью он выпрямился и облегченно вздохнул. Затем он бесшумно пробрался через переходы дворца к комнате Регуэля, осторожно приоткрыл ее и заглянул внутрь. Его соперник спал. На лице его безмятежное выражение и губы его шептали лишь одно имя. Эфиоп не мог его расслышать но все-таки понял, чье оно. Он усмехнулся, потом выскользнул из комнаты и по маленькой лестнице, ведущей вниз прошел в небольшой сарай, где были сложено просмоленное дерево. Прежде чем войти туда, эфиоп остановился и посмотрел наверх: окно Регуэля находилось как раз над ним...

Они прибыли к источнику Иордана — месту условленной встречи. На маленьком возвышении стояла царица несколько поодаль эфиоп с тремя лошадьми. Раб и царица смотрели вниз, на долину, расстилающуюся перед ними темной полосой в серебряном свете луны, белую извивающуюся дорогу, которая поднималась вверх из долины. По ней должен был приехать Регуэль.

Первый час пополуночи давно прошел, Вероника начала тревожиться, и с волнением следила за каждым движением на тропинке. Но камни на ней все еще однообразно блестели светом без теней. Регуэля все не было.

Вдруг эфиоп вздрогнул, и торжествующая улыбка показалась на его губах.

Над крышей, которая виднелась вдали, поднялось облачко, сначала незаметное, исчезающее в тонком световом покрове луны, но оно становилось постепенно темнее и темнее и превратилось наконец в резко очерченный поднимающийся вверх столб дыма, и вдруг яркое пламя пробилось снизу, сквозь серые клубы дыма, освещая их кровавым заревом. Огненный язык лизнул темное небо, за ним последовал другой, третий и наконец сплошное пламя заслонило крышу — Бет-Эден горел.

Эфиоп подошел к царице и коснулся ее руки. Она вздрогнула и обернулась к нему, как бы очнувшись от сна. Он опустил глаза, чтобы сиявшая в них радость не выдала его, и показал на Бет-Эден. Вероника взглянула в ту сторо-

ну и отшатнулась. Бет-Эден горел! Регуэль! Она прижала дрожащие руки к вискам и закрыла глаза, чтобы не видеть губительного пламени. Но вдруг у нее мелькнула мысль: быть может, еще не слишком поздно! В одну секунду она подбежала к лошадям и взвилась на свою лошадь, ухватившись за ее гриву, помчалась вниз.

— Регуэль! — звала она, несясь вперед.

За ней погнался на другом коне эфиоп. Глаза его были широко раскрыты и сияли радостным блеском; сквозь стиснутые зубы слышался злорадный смех.

Лев отважился на первый прыжок.

Регуэль проснулся. Ему казалось, что чья-то тяжелая рука схватила его. Веки так отяжелели, что он едва их смог поднять. Он не мог очнуться от страшного сна, который еще и теперь ясно стоял перед его глазами. Ему снилось, что возле него Дебора — его жена. Она нагнулась к нему, чтобы поцеловать его, но ее прикосновение становилось все холоднее и холоднее, и вдруг лицо ее странно изменилось. Мягкие черты сморщились, глаза сузились и горели, кожа покрылась пятнами и сверкала, рот стал огромным и широко раскрылся; из глубины этой хищной пасти высунулся кровавый, длинный, раздвоенный язык. Это уже была не Дебора, а змея — страшное чудище, хитрый враг человеческого рода. Регуэль весь похолодел, волосы его от ужаса поднялись, он тщетно пытался крикнуть; и лежал, не в состоянии двинуться. Что-то душное окутывало его, странные тени носились перед его глазами, он не мог их рассеять, и вдруг, сквозь дым и удушье, прорвалось яркое пламя.

Он быстро вскочил и бросился к окну. Пламя поднялось ему навстречу. Он отшатнулся. Бет-Эден горел! Дебора! Первая его мысль была о ней. В смертельном ужасе он бросился к двери. Но что это значило? Она не поддавалась — она была заперта снаружи. Он растерялся, взглянув еще раз на пламя, которое поднималось снизу. Смертельный ужас охватил его: если никто не придет спасти его, он погиб. Он снова бросился к двери, громко взывая о помощи, но ответа не последовало. Ничего, кроме треска пламени. Было бы безумием выпрыгнуть из окна — он бы разбился о камни внизу...

Адское пламя жгло лицо и язык присыхал к небу, холодный пот покрывал все тело среди огня и дыма. Потом вдруг все сразу исчезло. Он упал на колени, и голова его свесилась на грудь, длинные черные призрачные руки тяну-

лись к нему из пламени, поднимали его и баюкали, навевая блаженную дремоту. Манящие голоса шептали ему что-то «Регуэль!» Издалека доносился до него этот крик; он улыбался от счастья. То Дебора шептала его имя, Дебора любит его...

К нему на минуту вернулось сознание. Он, шатаясь, подошел к окну; оконная рама была уже съедена пламенем. На минуту ворвалась свежая струя воздуха, и Регуэль увидел сквозь дым Дебору. Она крикнула, увидев его, и что-то приказала стоявшему около нее эфиопу, но раб не двигался; тогда она бросилась ко входу сама. Дебора хотела сама его спасти, принести ему в жертву свою жизнь. Эта мысль придала ему силы. Нужно помешать Деборе, она одна не справится с пламенем. Он хотел крикнуть, но дым помешал ему. Он облегченно вздохнул, увидев, что эфиоп наконец бросился за его возлюбленной, чтобы вернуть ее. Затем он исчез, а Дебора осталась одна и, стоя на коленях, поднимала с мольбой руки к небу. Но кто это стоит рядом с ней в блестящем панцире и шлеме? Его лицо, окаймленное широкой, озаренной пламенем бородой, обращено на Регуэля. Он кого-то напоминает Регуэлю. Нет, это только плод его воображения. Как Хлодомар, сыщик Иосифа бен Матии, может очутиться в Бет-Эдене?..

Вокруг Регуэля было только пламя и удушливый дым, он снова стал искать дверь. Дверь поддалась... Он судорожно ухватился за перекладину; ему казалось, что он все ниже и ниже опускается в страшную, темную пропасть. Только искры мелькают в глубине... Потом все исчезло...

Секунды казались Веронике вечностью. Она хотела молиться и не могла. Почему не возвращался эфиоп? Неужели он не смог попасть к Регуэлю, или они отрезаны оба стеной пламени?

Она вздрогнула. Безумный, душераздирающий крик раздался из пламени. Это был голос эфиопа. Так он, вероятно, кричал, когда ему вливали расплавленный свинец в уши. Сердце ее остановилось от ужаса. Кто-то выбежал из двери в горящем платье, с безумным воем и с опаленным черным лицом.

Это был эфиоп. Она бросилась к рабу, который упал на землю и катался по ней, обивая пламя.

Со страшным треском обрушилась крыша Бет-Эдена, хороня все под своими горящими обломками.

Огненный столб поднялся к небу, затмевая свет луны

Глава XIV

Два дня спустя Тит вместе с Агриппой прибыли в Цезарею Филиппийскую. Царь опередил войско, беспокоясь, поступила ли Вероника согласно его указаниям.

Тит поехал с ним вместе под предлогом осмотра помещений для войска. Веспасиан улыбнулся и шутя погрозил ему пальцем.

— Ты знаешь,— сказал он,— я неохотно исполняю твою просьбу. Марцию Фурнилу, дочь одного из знатнейших римских патрициев, нельзя бросить из-за каприза, как надоевшую певицу или танцовщицу. Моя и твоя карьера еще не закончены, и поэтому не следует наживать себе врагов. Впрочем, я доверяю твоей осмотрительности, Тит, но помни: берегись дружбы Агриппы и прекрасных глаз Вероники. Оба они слишком умны, чтобы делать что-либо без выгоды для себя.

Тит гордо поднял голову.

— Я ведь вырос на глазах Мессалины и Агриппины,— возразил он.— Даже Поннея Сабина тщетно пускала в ход все свои чары, задумав от скуки соблазнить меня...

— И все-таки берегись,— еще раз сказал Веспасиан.— У этих азиаток есть таинственные чары, которым трудно противостоять. Вспомни Клеопатру...

— Я не Антоний,— сказал Тит гордо и помчался за опередившим его царем.

Тит говорил совершенно искренно с отцом. Он поехал вместе с Агриппой скорее из самолюбия, чем из-за любви; ему хотелось положить у ног гордой царицы, надменной иудейки, завоеванную им Галилею. Он все еще не мог забыть ее насмешливого тона, когда она задала ему на Кармеле обидный вопрос: кто такой Тит? Теперь Тит покоритель Галилеи. В его руках судьба народа, к которому принадлежит Вероника. Она уже не посмеет больше надменно обращаться с ним и оскорблять в нем самолюбие мужчины и гордость римлянина.

Чем ближе, однако, приближался он к концу пути, тем больше это первоначальное намерение исчезало. Образ женщины затмил в его воображении мысль о царице; теперь он помнил только дивную красавицу на зеленом мху у журчащего ручья и горел страстным желанием снова увидеть ее. В порыве нетерпения он прищипорил ко́ня и в несколько прыжков опередил Агриппу, но все-таки ему казалось, что они ползут как черепахи.

В последний день пути им навстречу выехал Таумасть, домоправитель царицы. Он сообщил царю о случившемся. По его словам, Веронике показалось слишком шумным пребывание в старом замке великого Ирода, и она переселилась с несколькими слугами в Бет-Эден, где жила среди своих любимых занятий с греческими философами. Причины пожара остались невыясненными: по всей вероятности, просмоленные дрова сами воспламенились. Во время пожара погиб Хлодомар, вестник Агриппы, а также один из слуг, эфиоп, другой слуга получил страшные ожоги и едва ли выздоровеет; по приказу царицы за ним самым тщательным образом ухаживает врач Андромах. Вероника не пострадала от огня, но не может оправиться от случившегося, не пускает к себе. Даже Андромах не может добиться доступа к ней, так же, как и служанки; в ее закрытых покоях полная тишина, окна завешаны и не пропускают ни одного солнечного луча, а еда, которую ей приносят, остается нетронутой.

Тит прерывал рассказ домоправителя вопросами, Агриппа же слушал молча и казался равнодушным. Тит был так взволнован, что не заметил, как при упоминании о погибшем слуге торжествующая улыбка показалась на губах царя. Регуэль погиб, и так удачно, не возбуждая никаких подозрений. О разрушенном Бет-Эдене горевать нечего. Вероника достаточно богата, чтобы не жалеть о потере, а то, что страшная смерть возлюбленного омрачила на время Веронику, не тревожило царя. Напротив, за это время он успеет осуществить свои планы. Нужно только умело воспользоваться угнетенным состоянием Вероники. Она женщина, и в своем горе будет искать опоры; нужно только, чтобы она считала Агриппу своим другом. В то же время предоставлялся случай овладеть доверием Тита и заслужить его благодарность. Агриппа сможет устроить так, чтобы молодой легат только при его посредничестве встречался с любимой женщиной, Тит получит Веронику из рук Агриппы... Ожидания царя оправдались.

Вероника долго не показывалась, и все попытки Агриппы попасть к ней были тщетны. Наконец сам молодой легат, страсть которого еще более возбуждена была постоянными отказами, явился просить Веронику принять его; но он даже не получил ответа от царицы, и удалился, взбешенный. Агриппа боялся, что оскорбленная гордость римлянина победит страсть влюбленного; лук был натянут до предела и каждую минуту мог сломаться и ранить самого стрелка

Необходимо было, чтобы Вероника наконец появилась и отняла последнюю долю рассудка у обезумевшего от страсти легата. Агриппа решил добиться свидания с Вероникой во что бы то ни стало, через несколько дней приедет Веспасиан, а у полководца проницательный взгляд, от него нельзя будет ничего скрыть. А все должно остаться тайной, потому что Веспасиан никогда не допустит... Царь не решился додумать до конца своей мысли, но решение его было твердо: он должен повидаться с Вероникой...

Она лежала в тупом полузабытьи, ни о чем не думая; одна только мысль терзала ее больной мозг: Регуэль погиб, а с ним все, что было в ее жизни светлого, все, что составляло опору ее борющейся души. Теперь ее ожидала пустая, ненужная жизнь, еще менее содержательная, чем прежде, когда она не знала, что счастье возможно. После первых капель истинного наслаждения завистливая судьба вырвала кубок из рук ее как раз в ту минуту, когда уста ее раскрылись для жадного глотка. Жизнь ей больше ничего не может дать, и поэтому нужно покончить с ней. Странное спокойствие овладело ею при этой мысли. Она стала наблюдать за собой как будто со стороны, как будто бы не она сама холодным, спокойным движением принялась отвинчивать жемчужину на своем перстне, чтобы достать оттуда сильный, легко умерщвляющий яд.

Но нет. Еще не время вкусить вечный сон. Женщина, которая собиралась умереть, была царица, одна из прекраснейших цариц на свете; властители народов склонялись к ногам ее, и даже рев грубой толпы смирялся при виде ее красоты и переходил в благоговейный шепот. Столь божественное существо не должно исчезнуть беззвучно и неприметно, как простые смертные.

Она подошла к окну и отдернула тяжелую занавесь; дневной свет озарил комнату, но сияющая картина дня не обрадовала ее, она отвернулась от света и подошла к своему ложу. Пусть думают, что она умерла во сне; затем она подошла к большому, отполированному металлическому зеркалу и, вынув гребни, распустила золотистые волосы. С напряжением вглядывалась она в бледное лицо, выступавшее из рамы; она искала на нем следы ужаса пред грядущим мраком, но ничего не увидела, кроме странного, оцепеневшего выражения покоя в усталых глазах.

Она улыбнулась, довольная собой. И в смерти лицо ее сохранит царственное величие, на нем не видно будет боли, как у обыкновенных людей.

Все было готово. Она медленно легла на подушки, опустила волосы на плечи и грудь, так что голова ее казалась окруженной золотым венком; она спокойно взяла жемчужину, заключающую в себе яд, и поднесла ее к губам.

Она на мгновение остановилась. Ей показалось, что она слышит голос Агриппы, царь стоял у двери и молил впустить его.

Она усмехнулась. Вот человек, для которого смерть ее будет невозвратимой утратой. Но разве для него одного? А для другого, для римлянина — Тита? О, если бы Вероника захотела... В этих тонких пальцах, держащих смертоносный порошок, покоилась судьба целого народа, всего мира; одним движением руки она могла бы доставить счастье и радость тысячам людей, превратить великое кровавое всемирное царство Рима в царство мира и улыбающегося счастья... если бы Вероника захотела... Она горько засмеялась. Зачем ей желать этого? Разве ее собственная жизнь не была загублена с самого начала. Нет, она не хочет радостной жизни, царства мира и улыбающегося света. Но эта слабая, тонкая рука может превратить цветущие долины в опустошенную пустыню, может превратить сияющий мир в первоначальный хаос... Если Вероника захочет... она уже не смеялась, в глазах вспыхнуло дикое, жгучее пламя; какое-то новое чувство увлекало ее упоительным призраком могущества. Как она была безумна! Разве достойно царицы поддаваться низменному будничному горю, бросать оружие и щит и спасаться бегством. Смерть Вероники была бы женским бессилием, такой же слабостью и глупостью, как вся ее детская любовь к этому глупому мечтательному мальчику. То была не Вероника, а жалкая деревенская девушка, рабыня, пресмыкающаяся у ног своего господина. Она с отвращением бросила в угол жемчужину, встала, выпрямилась и глубоко вздохнула, проводя рукой по лицу. Под прикосновением руки разгладились ее черты; она улыбнулась холодной, надменной и жестокой улыбкой.

Она встала, чтобы открыть дверь Агриппе.

Вечером следующего дня дворец Ирода в Цезарее Филиппийской был ярко освещен. Цветы украшали огромные столы, которые ломились от яств и напитков; танцовщицы и певицы, актеры и мимы готовились к предстоящему празднеству; арену, которую недавно выстроил Агриппа на площади, готовили для завтрашнего торжества.

Блестящее собрание римских военачальников и знатных граждан города рассыпалось по дворцу, ожидая прибытия полководца.

Веспасиан приехал утром, раньше, чем его ожидали; его встретили Агриппа и Тит; взглянув в лицо сына, Веспасиан понял, что он приехал вовремя. Тит хотя и научился притворству, живя при дворе цезаря, но все-таки не сумел скрыть своего неудовольствия по поводу неожиданного прибытия отца, Веспасиан мешал ему, значит, то, чего он опасался, еще не случилось.

Агриппа с трудом смог скрыть от острого взгляда полководца снова возникшее в нем опасение. В Веронике он теперь был уверен, но кто знает, не заставит ли вмешательство отца образумиться Тита. Когда он признался сестре в этом, она насмешливо улыбнулась. Блеск в глазах Вероники показывал, что она уверена в победе.

Она уже не запиралась в своих покоях, но умела ловко избегать встречи с Титом, хотя это было очень нелегко. Агриппа сообщил Титу, что сестра уже вышла из своего затворничества. Страстный римлянин стремился увидеть ее, но, несмотря на все его попытки, это не удавалось; Тит проводил время в ее постоянных тщетных поисках и мучился от оскорбленной гордости и разгоревшейся страсти.

В готовящемся торжестве Вероника отказалась принять участие и даже не присутствовала на приеме Веспасиана. Тит приходил в отчаяние; напрасно молил он Агриппу подействовать на сестру и сломить ее упорство. Агриппа, уступая его просьбам, отправлялся к царице, но возвращался с отрицательным ответом.

В последний раз это случилось, когда торжество было в полном разгаре.

— Что же она тебе ответила? — взволнованно спросил Тит.

— Она не хочет, — ответил Агриппа, пожимая плечами, — а если Вероника не хочет...

— Но... чего же она хочет? — глухо спросил римлянин.

— Чего она хочет, я не знаю, — серьезно сказал Агриппа, — но чего она не хочет — это я могу тебе пояснить..

— Почему ты остановился?

Агриппа выпрямился и заглянул в устремленные на него глаза молодого легата.

— Вероника не хочет быть игрушкой в руках римлянина, — медленно сказал он.

Тит раздраженно засмеялся.

— Игрушкой?! — воскликнул он громко. — Можно ли говорить об игрушке, когда...

Он не договорил: его глаза увидели вопросительный взгляд отца. Но это не образумило его, а еще более воспламенило. Разве он не взрослый мужчина, не воин, одерживавший победы? Неужели он все еще должен подчиняться отцовской воле?..

Агриппа незаметно наблюдал за ним; он понял, отчего закипела теперь кровь у молодого легата, почему у него задрожали губы и он сжал кулаки.

— Когда что? — переспросил Агриппа.

Тит поднял голову и твердо сказал:

— Вероника должна стать моей.

— Твоей? Римлянина? — притворно изумившись, сказал царь.

— Ты изумлен? Конечно, я не иудей. Но Вероника сама сказала мне однажды, что это не может быть препятствием. Это она сказала мне на прощание в Птолемаиде, но с тех пор она странно изменилась. Мы тогда расстались почти друзьями, а теперь...

Агриппа задумался.

— Это мне многое объясняет, почти все, — медленно проговорил он. — Вот почему она бежала из Птолемаиды, разве это не было похоже на бегство? Вот почему она скрывает со мной, от которого она никогда не имела тайн, вот почему она живет в одиночестве, мучит себя... она боится!

— Чего?

— Я тебе давал понять это раньше. Вероника — царица из дома Ирода. Иудейка может лишь под одним условием полюбить римлянина.

— Под каким?

— Под тем, что она станет его женой!

Он почти раскаивался, что произнес это слово. От него зависело исполнение всех планов, судьба всего народа, всего мира. Он тревожно следил за лицом Тита.

Молодой легат нахмурил брови; он смотрел, ничего не видя, на шумный пир. Вдруг он вздрогнул, встретив испытующий взгляд отца, Веспасиан поднял кубок и с улыбкой кивнул сыну головой, Тит увидел странную насмешку в этом взгляде, он тоже поднял кубок, кивнул и улыбнулся ему. Вдруг римлянин нагнулся к Агриппе и шепнул ему хриплым, прерывающимся голосом:

— Хорошо. Вероника станет женой Тита.

Агриппа с трудом удержался, чтобы не вскрикнуть от радости. Лицо его побледнело от внутреннего волнения; он должен был откинуться в кресло и прикрыть глаза рукой, чтобы не выдать себя. Но его опасения были напрасны. Тит ничего не слышал и не видел из того, что происходило вокруг. Только когда Агриппа, оправившись, заговорил с ним, Тит пришел в себя и стал слушать с горячим интересом то, что шепотом ему говорил Агриппа среди шума пиршества. Нетерпение Тита было так велико, что он хотел вскочить и уйти в другой покой, но Агриппа удержал его; он боялся возбудить подозрение Веспасиана. Намек на отца привел Тита в себя.

— Он никогда не согласится на это! — воскликнул молодой легат с волнением. — Он слишком боязлив, чтобы допустить что-нибудь необычное.

— Поэтому, — поспешил прибавить Агриппа, — он ничего не должен знать о твоём намерении жениться на Веронике. Впоследствии...

— Впоследствии? — переспросил его Тит. — Разве ты не видишь, что я сгораю от жажды обладать этой дивной женщиной, которая занимает все мои мысли и чувства.

Царь тонко улыбнулся.

— Разве одно исключает другое? — спросил он. — Разве Вероника не может стать супругой Тита без ведома Веспасиана?

Молодой легат вздрогнул и с удивлением взглянул на собеседника; потом он глубоко вздохнул и так крепко сжал его руку, что Агриппа чуть не крикнул от боли.

— Если бы ты это мог устроить, Агриппа, — пробормотал Тит, дрожа от волнения, — то, клянусь Зевсом и всеми богами Олимпа, ничто не было бы для меня слишком дорогим, чтобы выразить тебе мою благодарность.

Царь прикрыл глаза, чтобы не выдать сверкавшего в них торжества.

— В таком случае будь готов, — шепнул он.

— Когда?

— Сегодня, после пира.

Он не стал ждать взрыва восторга, охватившего легата, и поспешил обратиться к Веспасиану, чтобы отвлечь его внимание от Тита.

Взгляд его при этом встретился с вопросительным взором Таумаста, который стоял у дверей, почти незаметно царь сделал ему знак, наклонив голову.

Таумаст кивнул и скрылся за дверями.

Двумя часами позже величественный дворец Ирода погрузился в темноту. Только из-за тяжелых завес у окна одного покоя пробивался слабый луч света. Вероника лежала на низких подушках, неподвижная, с окаменелым выражением лица: около нее, у ее ног, был Тит. Луч света падал на его восторженное лицо, обращенное к красавице; несколько поодаль стоял Агриппа и с легкой насмешкой наблюдал за ними; рядом с ним был Иосиф бен Матия, пленник Веспасиана, еще далее у дверей стояли Андромах и Таумаст.

За маленьким столом посредине комнаты сидел Юст бен Пистос, секретарь царя. Он только что кончил чтение лежащего пред ним документа, в котором Тит, сын великого Веспасиана, римский легат, признавал себя супругом Вероники, царицы Понтийской.

Глубокое молчание наступило после чтения, потом Юст медленно поднялся и подошел к легату и царице, чтобы получить их подписи. Тит подписался первый, за ним Вероника. Их лица представляли странный контраст. Тит был взволнован, глаза его сверкали, губы дрожали от страсти, она же была бледна, вокруг ее рта залегла глубокая презрительная складка; так же различны, как и их лица, были их подписи: расплывающаяся, дрожащая у Тита; прямая острая, как обнаженное лезвие меча, у Вероники.

Бумага быстро покрылась подписями свидетелей, потом Иосиф бен Матия, священнослужитель, подошел к супругам и произнес благословение над их головами.

Вскоре после того они остались одни. Тит, гордый римлянин, завоеватель Галилеи, бросился на колени пред иудейкой и, взяв ее ногу, поставил ее себе на шею.

Вероника улыбнулась торжествующей улыбкой; затем подняла его и в первый раз со времени их прощания в Птолемаиде спросила его:

— У тебя еще сохранился Кармельский лавр?

Он вынул маленькую, украшенную жемчугом шкатулку с изображением амура верхом на льве.

Вероника подняла крышку и, вынув увядший лист, прикрепила его к груди Тита.

— Победителю...

Глава XV

Известие о взятии Иотапаты римлянами вызвало у жителей Иерусалима страшное волнение и отчаяние. Пока не были известны подробности и слухи называли одним из ревностных защитников крепости наместника галилейского до тех пор все жалели Иосифа бен Матию и оплакивали его, как мученика. Когда же стала известна истина, жители Иерусалима возмутились против гнусного изменника и его семьи, жившей в священном городе, так, что власти города вынуждены были заключить в тюрьму отца изменника.

Вместе с тем снова разгорелась старая ненависть озлобленных zelотов против аристократии и ее римских симпатий и против нерешительности фарисеев. Их считали причиной несчастья.

Толпы ходили по улицам, на каждом перекрестке к ним присоединялись все новые люди, и все площади покрыты были народом. Толпа бушевала и перед городской управой. С угрозами и проклятиями требовали удаления всех подозрительных людей из военного совета, требовали наказания изменникам и решительного удаления от управления аристократии, отстаивающей интересы Рима. Народ требовал продолжения войны.

— Нас предают! — кричал один служитель храма — Наши вожди сговорились выдать нас римлянам.

— Смерть им! — кричал огромного роста суконщик грозно поднимая мускулистую руку. — Долой аристократию! Долой военный совет! В них гибель и смерть Израиля. Они обирают бедный народ; они живут нашим потом и кровью, утопают в роскоши, а мы умираем от голода.

Тысячи голосов вторили словам суконщика. Руки с угрозой поднимались к окнам управы; огромное великолепное здание содрогалось от криков. Волнение народа росло по мере прибытия многочисленных беженцев. Они приходили из Галилеи и приносили вести о новых поражениях иудеев. После Иотапаты римляне завладели Тивериадой, Тарихсей и крепостью Гамалой. Воды Генисаретского озера стали красными от крови, его цветущие берега покрыты были трупами.

Только в Гишале держался еще мужественный Иоанн бен Леви, но и он должен был наконец уступить большинству. Хитростью ему удалось обмануть осаждающих и вывести свою маленькую армию в Иерусалим. Вход его в город превратился в торжество, как будто бы он был не побе-

жденным, а победителем Толпа двинулась ему навстречу и на руках пронесла через весь город.

— Вот это герой!— кричал служитель храма, возбуждавший народ против аристократии.— Второго такого нет во всем Израиле!

— Если бы наша знать походила на него,— прибавил один левит, еще более возбуждая толпу,— тогда бы римляне не завоевали в Галилее ни пяди земли.

— А Иосиф бен Матия, низкий изменник, отстранил его.

— Смерть предателю! Долой военный совет! Да здравствует народ, да здравствует Иоанн бен Леви!

Толпа направилась к управе, где заседал синедрион во главе с Симоном бен Гамлиелем. Подойдя к широкой лестнице, Иоанн поднялся на верхнюю ступень и, обернувшись к народу, окинул пламенным взором величественное зрелище, расстилавшееся пред ним; огромный город с его сияющими дворцами, гигантскими стенами и священной кровлей храма, готовых на подвиги людей, столпившихся вокруг.

— Невозможно! — крикнул он, раскрывая объятия, как бы для того, чтобы прижать к сердцу каждого и все, что открывалось его взору.— Невозможно, чтобы Бог осудил все это на гибель. Израиль будет жить вечно. Не унывайте, несчастье было только испытанием, указанием на необходимость единения, которое нас спасет. Не Иотапата, не Гамала и не Гишала были предназначены совершить подвиг освобождения! Иерусалим, священный, несокрушимый город, сломит римлян, и ваша вера в Бога уничтожит их воинство. Имя Божие, произнесенное с кровли храма, заставит их отступить. Поэтому я говорю вам: пусть всякий, у кого сильна рука, вооружится для защиты Иерусалима, для славы Всевышнего. Рим падет во прах перед нашим кличем: «Бог и отечество!»

На бледном, изможденном лице Иоанна сияла уверенность в победе, заразившая всех вокруг него. В эту минуту забыты были все споры и личные счеты. Когда Иоанн бен Леви направился в синедрион, в душе его было гордое убеждение, что этот народ последует за ним даже на смерть и скорее даст себя похоронить под развалинами Иерусалима, чем оставит римлянам хотя бы один камень священного города...

Иоанн был встречен членами синедриона с различными чувствами

Симон бен Гамлиель председатель синедриона, ученик Гилеля, дружественно обнял его и приветствовал с искренней радостью

— В такое тяжелое, опасное время нам дорог всякий благоразумный и деятельный человек, а тем более Иоанн бен Леви, доказавший свою преданность отечеству. Как мы раскаиваемся, что слишком поздно поняли, насколько ты был прав относительно Иосифа бен Матия

Гордое лицо бывшего первосвященника Анания вспыхнуло при этих словах.

— И я,— сказал он, подойдя к Иоанну,— приветствую тебя, хотя и не согласен со словами высокочтимого Симона бен Гамлиеля. Иосиф бен Матия принадлежит к одному из наших знатнейших родов, и только обстоятельства заставили его изменить делу народа. Прости, Иоанн, но я не могу не упрекнуть тебя в том, что ты затруднял его деятельность в Галилее; если бы ты с самого начала сблизился с ним, то весьма вероятно, что римляне сломили бы свои силы, подступив к Галилейским горам

Иоанн с удивлением посмотрел на него

Я, вероятно, тебя неверно понял, благородный Ананий,— медленно произнес он. Неужели я должен был спокойно смотреть, как Иосиф делает все в угоду Агриппе и Веронике, с которыми он находился в тайном сговоре?

Ананий засмеялся.

— Вот видите,— сказал он с горечью.— Нас опять обвиняют в предательстве; это всегда так бывает, когда мы начинаем общаться с народом. Ослепленные своей ненавистью, zeloty сумели всех восстановить против нас, и все потому, что мы не позволяем нарушить святыне законы наших великих праотцов и уничтожить привилегии знатнейших родов, которых Бог поставил судьями над народом. Берегись,— закончил он, обращаясь к изумленному Иоанну,— берегись, выходец из Гишалы, быть заодно с толпой zelотов. Мы не потерпим нарушения законов и насмешек над высшей властью и тяжело покараем за это

Бурное одобрение послышалось после его слов из группы людей, сидевших у длинного стола по правую сторону от председателя. Иоанн увидел, что там были члены знатных родов: казначей Антинас, происходивший из царственного рода, Софа бен Регуэль, Иоанн бен Гамала и Иошуа — бывшие первосвященники, Иосиф бен Горион, Матиа бен Теофил и другие, принадлежавшие к знатным семьям пер-

восвященников. Они составляли большинство собрания, и, очевидно, решения синедриона зависели от них. Тем не менее Иоанн бен Леви не испугался их; он уже собрался было объяснить свое отношение к Иосифу бен Матии, но вдруг поднялся мрачный человек огромного роста и проговорил:

— Ты хочешь оправдываться перед ними? — спросил он с горьким смехом. — Не трать понапрасну слов, тебе не поверят, как не поверили мне, когда я им давно уже предсказывал то, что теперь случилось. А ведь я был одним из них, я — Элеазар бен Симон, начальник храма. Я говорил им, что народ стонет под бременем налогов и проклинает своих притеснителей, так же как проклинают их левиты и служители храма, которым имя легион; страдая от бедности и лишений, они с гневом смотрят на пышную жизнь знатных. Я говорил им, что храм и все отечество погибнет, если знатные не будут опираться на отважный, готовый идти на смерть народ. Но слова мои были напрасны. Народ стали еще больше притеснять, все назойливее становилась роскошь знати — враг брал город за городом, кровь тысячи единоверцев проливалась римскими мечами. Но слушайте, что я говорю вам, гордецы, презирающие народ. Настанет кровавый день и для вас. Напрасно, Ананий, ты хватаешься за меч, вы можете умертвить нескольких из нас, но вы все погибнете, когда разольется поток справедливого гнева народа. Еще раз говорю вам: вот необходимые условия для победы над римлянами — нужно уничтожить привилегии знатных родов, снизить налоги и улучшить положение низшего духовенства, покарать аристократов, предавших отечество...

Последние слова Элеазара были заглушены взрывом возмущения. Кроткий Симон бен Гамлиель с трудом сдерживал негодование аристократов с помощью своего друга, Иоханана бен Сакаи. Многоголосый гул наполнил собрание; лица людей, созванных для того, чтобы решать судьбы иудейского народа, горели гневом и мстью. Уже кое-где мелькали обнаженные мечи; Ананий уговаривал своих единомышленников напасть на предводителя zelотов, заключить его в тюрьму, а в случае сопротивления убить. Тогда Симон бен Гамлиель поднялся со своего места, разрывая дрожащими руками свои священнические одежды: он предвидел тяжкую участь, которая ожидает народ израильский из-за распри знатных вождей.

Пораженный видом старика, Ананий опустил меч, кото-

рый уже было поднял на Элеазара, и внезапная тишина наступила в собрании.

Симон, опираясь на руки Иоханана, подошел к Иоанну из Гишалы, смотревшему в ужасе на все происходившее, взял его за руку и сказал глухим голосом:

— Идем, мой друг, отсюда. Бог отступился от своего народа.

Вид благородного старца, одинаково почитаемого знатью и зелотами за его кротость и благочестие, и на этот раз произвел впечатление на собрание. Мечи опустились, выражение лиц смягчилось; но пронизательный взор Иоанна увидел, что это спокойствие было кажущимся, что это затишье пред грозой.

Душевное напряжение висело над священным городом, и воздух уже содрогался в ожидании первого опустошительного удара молнии из серых, сгустившихся на небе облаков. В таком настроении он последовал за Симоном, когда тот закрыл собрание синедриона. Они направились к дворцу в Акре, предназначенному для пребывания Иоанна. По дороге их все приветствовали возгласами любви и преданности, но это не рассеяло мрачных дум Иоанна.

«Здесь то же, что и в Гишале, — думал он. — Отовсюду страшный призрак распрей. Они приведут к гибели, если все не изменится».

У дворца их ожидала толпа, привлеченная видом галилейских воинов Иоанна. Появление вождя вызвало громкие клики радости у его воинов, и толпа стала вторить их возгласам.

— Да здравствует Иоанн бен Леви, противник Иосифа бен Матия, смертельный враг Рима! Да здравствует тот, кто одержит победу и спасет отчизну!

Симон бен Гамлиель грустно улыбнулся.

— Народ тебя любит, Иоанн. Быть может, твое прибытие спасет нас от злополучных распрей. Может быть, тебе удастся примирить непримиримых. Это было бы великим подвигом, даже более важным, чем десять побед над Римом.

— А разве ты сам не в состоянии этого сделать?

Симон грустно покачал головой, и его лицо, сиявшее добротой и грустью, омрачилось тяжким предчувствием, закравшимся в его душу.

— Столь тяжелое дело, — сказал он, — требует более молодых сил и непреклонности, мне даже трудно удержать враждующих от насилия, наступит кровавая распря. И тогда...

Глаза Иоанна засверкали

— А тем временем, — гневно воскликнул он, — проходит день за днем, и ничего не делается против внешнего врага! Горе тем, которые виноваты в этом. Они ответят за несчастья Израиля, и потому чем скорее наступит конец распрям тем лучше для всех. Кто бы ни одержал верх в этой войне иудеев против иудеев, хорошо будет уже то, что враг встретит народ, готовый к сопротивлению. Тогда он не отважится подступить к святыне израильского Бога

Симон взглянул на него с удивлением

— Неужели, Иоанн, тебе все равно, кто станет во главе государства, — саддукеи, фарисеи или zelоты?

Иоанн посмотрел в устремленные на него глаза друга

Разве утопающий смотрит, чиста ли рука спасающего? На чью сторону я стану, я еще не знаю все это слишком ново для меня, я не могу сразу понять всего одно только могу уже теперь сказать тебе: я буду на стороне тех кто больше любит отечество Только истинная любовь к отчизне дает силы, а только сила поможет нам победить

Глава синедриона опустил седую голову

В таком случае я боюсь — пробормотал он

Чего ты боишься?

Симон мягко сказал

Зачем нам омрачать нашу встречу после долгой разлуки Ты еще узнаешь что меня тревожит

Они прошли ко дворцу

— Да ведь это скорее крепость чем дворец, сказал Иоанн, с изумлением разглядывая здание И ты хочешь чтобы я здесь жил?

Симон улыбнулся грустной улыбкой

Я хотел бы, чтобы мои предчувствия не оправдались Но все-таки ты, быть может, поблагодаришь меня когданибудь за то, что я позаботился о твоей безопасности Пойдем, я проведу тебя в прохладную комнату, здесь слишком душно...

Двадцать дней отдыха, которые Веспасиан назначил для своего войска, прошли; для Тита они пролетели незаметно а для Вероники тянулись медленно: ее не занимали празднества и беспрестанные уверения в любви того кто был ее тайным супругом

Вероника стала неузнаваемой для всех, кто знал ее прежде; исчезла страшная жажда жизни царицы из дома Ирода, исчезли религиозные порывы исчезла нежность

женщины. Она холодным, трезвым взором смотрела на тех, кто добивался ее расположения. Было очевидно для всех, что Тит, могущественный сын великого полководца, слушается ее советов и что сам Веспасиан учитывает заключения ее острого ума. Если возможно было достигнуть могущества при помощи женщины, то это должно было более чем кому-либо удасться Титу при помощи Вероники: для него ее люди рыскали по всей стране, ради него она нанимала соглядатаев и подкупала изменников в Иерусалиме, чтобы иметь сведения о всех действиях иудеев, для него она вступала в тайные союзы с азиатскими правителями, и богатства ее текли в охотно раскрываемые руки римских сенаторов и египетских, и сирийских наместников. Для него она очаровывала своей любезностью теснившихся вокруг нее легатов и военачальников, для него придумывала новые забавы, чтобы увеличить популярность Тита среди окружавших его людей. Большого не смогла бы сделать женщина и для того, кого она страстно любила бы.

Любила ли Вероника Тита? Она часто задавала себе этот вопрос, но тотчас же смеялась над собой. Ведь с любовью она навсегда покончила. Другая страсть воспламеняла ее тайным пожирающим огнем. Возвысится ли она сама с возвышением Тита, поднимется ли так высоко, как только возможно для человека? Ею овладела безумная, всепожорная страсть власти: она хотела стать первой на земле и видеть всех у своих ног. Это заставляло ее принимать горячие поцелуи Тита; он был для нее воплощением ее стремлений, кумиром, пред которым преклонялось ее честолюбие. Забыта была ее прежняя ненависть к римлянину, забыта блаженная любовь к юноше, погибшему в Бет-Эдене, забыта Отчизна и Бог... Сердце ее стало пустыней, спаленной удушливым ветром и пылающими лучами того солнца, которое зовется властолюбием. И над всем этим носился дух ее презрения к людям. Она презирала мужа, раба ее красоты, презирала великого полководца Веспасиана, которого можно было купить золотом, презирала брата, готового продать сестру из-за выгоды, презирала себя за то, что не могла всем этим людям высказать в глаза свое презрение, за то, что не решалась задушить своего супруга, когда он стоял перед нею на коленях, за то, что в тиши Бет-Эдена не нашла достаточно сил, чтобы покончить с собой. Что, как не страх и трусость, удержало ее? Все ее кажущееся стремление к мести и к власти было только предлогом, чтобы обмануть себя в истинной причи-

не которая заставляла ее с такой боязнью и жадностью депляться за жизнь

Против ожидания Веспасиан после отдыха в Цезарее Филиппийской не двинулся на Иерусалим. Он ограничился тем, что очистил Перею от мятежников; ему удалось этого достигнуть в течение трех месяцев с помощью действующей там партии мира. Потом он поместил свои войска на зимние квартиры в Барите и Цезарее Приморской.

Войска его были недовольны бездействием; их возмущало то что покорение Галилеи стоило стольких потерь, и они горели нетерпением взять штурмом столицу и уничтожить народ, который чуть было не поколебал славу римского оружия. Но полководец, казалось, не замечал возрастающего недовольства; не обращая внимания на ропот солдат, он устраивал марши, учил метальщиков и стрелков пользоваться осадными машинами, строил крепостные валы и рвы для обучения своих солдат. Казалось, что он или жалеет иудеев, или боится поражения

Это последнее предположение всего более оскорбляло римские войска; неопределенность положения побудила военачальников обратиться к Веспасиану с просьбой о немедленном продолжении войны. Тит тоже присоединился к ним. Ни он, ни Агриппа не могли понять причину странной нерешительности полководца. Для Агриппы особенно важно было быстрое подавление восстания; это было для него единственным средством осуществить свои надежды на царствование в Иудее, прежде чем она будет совершенно обескровлена внутренними раздорами

Веспасиан принял военачальников с обычной спокойной вежливостью и выслушал своего сына, выбранного говорить от имени всех. Когда Тит закончил, улыбка показалась на губах Веспасиана.

— Тит Флавий, легат, — сказал он с легкой усмешкой, — употребил, говоря о моей медлительности, столь резкое слово, что оно нуждается в моем прощении. Он сказал, что я поступаю, как женщина. Он прав, сознаюсь, что если я подражаю великому Фабию Кунктатору, то делаю это следуя совету женщины.

Шум прошел по всему собранию; все догадывались о ком идет речь. Тит покраснел под пронизательным взглядом отца.

— Неужели ты говоришь о Веронике, моей сестре? — спросил Агриппа.

— Да, — ответил Веспасиан, — и клянусь, что все мы

могли бы поучиться у нее. Истинный римлянин должен быть не только полководцем, но и государственным человеком. Сознаюсь, я уже собирался двинуть войско на Иерусалим, но Вероника меня вовремя удержала...

— Я ничего не понимаю! — воскликнул Тит, обеспокоенный тем, что Вероника за его спиной вела переговоры с отцом. — Какие основания она представила тебе?

— Пусть она сама даст объяснения, — сказал Веспасиан, откидывая тяжелую завесу, разделявшую комнату.

Вероника поднялась с кресла, на котором сидела, и приблизилась к собравшимся.

— Тебя удивляет мое присутствие здесь, — сказала она невольно отступившему легату и добавила, тонко льстя Веспасиану: — Ты, вероятно, полагал, что то, о чем все говорят, не доходит до ушей полководца. Веспасиан все видит и все слышит... Вы спрашиваете, что за причина промедления, от которого страдает ваше самолюбие, — обратилась она к остальным. — Ведь вы знаете, вероятно, что Риму угрожают не одни только иудеи: в Галлии Виндекс поднял восстание против цезаря, а в Риме каждый день открывают новый заговор. Как знать, быть может, близок день, когда Рим, истерзанный междоусобиями, увидит свое единственное спасение в Веспасиане и во всех вас, собравшихся под его знаменами. Для проницательного взора видно, что готовится переворот, более опасный, быть может, чем распря триумвиров. И тогда должен появиться новый Август, который сможет твердой рукой взять власть в свои руки и успокоить умы.

Она на минуту остановилась как бы для того, чтобы дать собранию понять то, что она сказала.

— А теперь представьте себе, — продолжала Вероника, — что буря разразится тогда, когда вы будете заняты осадой Иерусалима. Не думайте, что вы одержите слишком легкую победу над жителями. Борьба будет жестокая и трудная, и уже нельзя будет, оставив иудеев, идти на помощь гибнущей империи. Нельзя было бы избрать более благоприятного для иудеев момента, чем теперь, для начала войны. Конечно, они разделены, но яд междоусобных распрей не проник еще достаточно глубоко в их сердца. Все они: саддукеи, фарисеи, zelоты и сикарии — выступят против вас как один. Яд междоусобия не сразу умерщвляет, а действует медленно и тайно; должно пройти время, пока он проникнет во все части организма и ослабит его. Вот почему я не советовала Веспасиану идти теперь на Иеруса-

лим; я ему рассказала одну басню, хотите и вы послушать ее?

— Говори! — возбужденно крикнул Тит.

Вероника начала рассказывать:

— Одному рабу его господин повелел бороться против целой стаи волков, обещая ему в случае победы свободу. Все слышавшие его приказание считали несчастного обреченным; одни уговаривали его бежать, другие советовали ему испугать волков, бросившись на них сразу с мечом в руках. Раб не сделал ни того, ни другого. Надев на себя несколько овечьих шкур и вооружившись коротким кинжалом, он вышел на середину арены и притаился в песке. Когда раскрылись клетки с дикими зверями, он стал издавать жалобные звуки, похожие на блеяние овцы; в первую минуту волки остановились, потом дружно кинулись на мнимую овцу, чтобы растерзать ее и насытить свой голод. На это раб и рассчитывал: он выскользнул из-под шкур, оставив их на песке, а сам затаился в углу арены. Волки бросились на шкуры, причем каждый старался выхватить кусок у другого; началась страшная грызня между волками, и каждый раз, когда один из волков падал, другой бросался, чтобы загрызть. Рабу было очень легко убивать их одного за другим. Наконец, остался только один волк, самый сильный и страшный, но и он уже так ослабел от ран, что не мог оказать серьезного сопротивления. Так и получилось, что один человек победил целую стаю волков, и все потому, что он держался старого, но всегда оправдывавшегося правила: разделяй и властвуй...

Все разразились рукоплесканиями, когда она смолкла. Потом Вероника с улыбкой показала на Веспасиана и сказала:

— Иногда женщина может найти средство распутать гордиев узел, не разрубая его мечом; но исполнение уже дело мужчины. Рим счастлив тем, что у него есть человек, соединяющий решительность полководца с терпением и пониманием государственного деятеля. Если государство будет спасено, то оно этим будет обязано не жалкой хитрости Вероники, а спокойствию Веспасиана. Вот почему, — она выпрямилась и с вызывающей отвагой взглянула на Веспасиана и Тита, — вот почему те, кто любит вечный Рим и желает, чтобы во главе государства был справедливый и достойный муж, пусть заменят на своих знаменах имя кровавого тирана именем единственного...

Она не успела договорить. Веспасиан с испугом встал

между нею и собранием, но недосказанная мысль Вероники уже воспламенила, как искра, воинов Веспасиана. Чей-то нетвёрдый еще голос воскликнул:

— Да здравствует вечный Рим! Да здравствует Веспасиан! — И все повторили его восторженно.

Веспасиан погрузился в глубокое раздумье. Те же мысли волновали его, как и после жертвоприношения на Кармеле, но теперь к ним присоединилось новое чувство; на этот раз приветствия легионов не закончились обычным криком: «Да здравствует цезарь!» — на этот раз никто не вспомнил далекого властителя. Но он знал, как опасно играть в такую игру, пока силен Нерон. Он поднял руку, как бы отстраняя приветствие, и дрожащими губами произнес:

— Да здравствует цезарь Нерон!

Но никто не подхватил его слова, наступило долгое жуткое молчание.

Веспасиан не сразу пришел в себя, и его обыкновенно спокойный голос звучал отрывисто и хрипло, когда он объявил пароль для стражи. Улыбка мелькнула на лицах присутствующих; все переглянулись, пароль был: «Разделяй и властвуй»...

Военачальники ушли из палатки; только Вероника Агриппа и Тит остались с Веспасианом.

Царь сидел мрачный у маленького стола, покрытого свитками. Вероника вытянулась на пышном ковре и с улыбкой смотрела на полководца, который, задумавшись, ходил взад и вперед. Тит прислонился к столбу, поддерживающему палатку, и с восхищением смотрел на Веронику.

— Вероника, — сказал Веспасиан, — ты объяснила своей басней, что нужно внести раздор в среду наших противников, но как это сделать? Чтобы пойти по этому пути, нужно найти то, чем для раба были овечьи шкуры. Не приготовила ли ты какой-нибудь приманки?

Вероника засмеялась.

— Я изменила моему народу, — сказала она, и глаза ее заискрились мрачным светом, — ты прав поэтому, требуя, чтобы я предала моего бога. Все для Рима — не так ли? Хорошо, я согласна. Что самое святое для иудея?

— Бог, — ответил Веспасиан с суеверным страхом.

Вероника заметила это и насмешливо улыбнулась.

— А после Бога?

— Закон.

— Я вижу, Веспасиан хорошо изучил своих врагов. Да,

для того чтобы теперешняя распря между иерусалимскими иудеями перешла от ученых споров к опустошительной распре, нужно, чтобы был нарушен закон и веления Бога. Но во всей этой обетованной стране один только человек воплощает собой закон в глазах народа. Его они считают заместителем Бога, и он стоит во главе народа.

— Вероника! — окликнул ее Агриппа.

С изменившимся, побледневшим лицом он подошел к сестре.

— Ну что? — спросила она пренебрежительно.

— Понимаешь ли ты, что делаешь? — тихо сказал он. — Ты хочешь втоптать в грязь сан первосвященника. Этим ты оскверняешь самое священное в народе и губишь основу его жизни. Израиль никогда не оправится от такого удара.

Она взглянула на него с притворным удивлением.

— Я не понимаю тебя, Агриппа. Ведь ты первый замарал одежды первосвященника. Сколько заплатили тебе Евсей из Гамелы и Матия бен Теофиль за эту должность? К тому же твои собственные интересы требуют подавления восстания — ты сам это не раз говорил. Так радуйся, что мне удалось найти способ разжечь распрю в Иерусалиме

Агриппа, пораженный ее словами, умолк. Неужели Вероника забыла истинную его цель? Как же он сможет потом утвердить свою власть в Азии, если народ будет обессилен?..

— Какой же ты нашла способ? — спросил Веспасиан Веронику.

Она вынула из складок платья исписанные дощечки и передала их полководцу.

Веспасиан прочел: «Как долго народ еще будет покоряться губительному игу знатных родов? Где сказано, что первосвященник должен избираться только из аристократов? Все колено Леви имеет по закону право на священничество, и можно найти и более достойного окропить голову священным маслом, чем Матия бен Теофиль. Действуй согласно с этими словами».

— Страшное средство! — воскликнул Веспасиан с суевверным страхом. — Что, если оно навлечет на нас гнев вашего могущественного Бога?

Вероника снова засмеялась.

— Не бойся. Этот гнев поразит только истинного виновника, и я готова взять на себя последствия.

Римлянин с ужасом посмотрел на нее. Она встала и гор-

до выпрямилась; на лице ее было выражение глубочайшего презрения к людям, к Богу, ко всему...

— Через кого ты пошлешь это воззвание? — спросил Агриппа дрожащим голосом.

— Разве ты забыл своего посланника в Гишалу? — насмешливо сказала она. — Оний слишком умен, чтобы не попытаться служить двум господам. И он совершенно прав. Разве мое золото весит легче твоего? Сегодня же я пошлю верного человека в Иерусалим, — сказала она полководцу. — Надеюсь, ты останешься доволен.

Она подала свою руку Титу, и молодой легат, сияя от восторга, увел ее из палатки.

Полчаса спустя Агриппа вошел к Веронике с мрачным лицом. Она, казалось, ожидала его и не показала, что удивлена его приходом. Она только глубоко вздохнула, как бы от затаенного удовлетворения.

Царь медленно подошел к ней и остановился пред ней, нахмутив брови.

— Разве ты забыла, Вероника, — спросил он резким голосом, — наше условие в Птолемаиде?

— Вероника ничего не забывает, — спокойно ответила она, — Вероника не должна стать возлюбленной римлянина, она будет лишь вести с ним веселую игру, ни к чему не обязывающую. Цель всего — возвеличение дома Ирода и гибель Рима.

— А теперь ты делаешь все, чтобы укрепить власть Рима. Никогда бы Веспасиану не пришло в голову воспользоваться учеными спорами между иерусалимскими глупцами. Ты выдала ему эту слабость Иерусалима.

Она опустила голову в минутном раздумье.

— Да, — пробормотала затем она, — я всех выдала: народ, отечество и Бога. И ради кого? Ради тебя! Почему же теперь мне не предать и тебя — меня уже не связывает данное в Птолемаиде слово. Ты сам превратил игру в нечто более серьезное. Не думаешь же ты, что я люблю римлянина? Ты воспользовался моей слабостью, и теперь я — супруга Тита благодаря моему честолюбию, порожденному тобой. Вместе с Титом я буду властвовать. Тайнственное слово! Власть не терпит никого около себя, даже тебя. Поэтому, Агриппа, откажись от борьбы с Римом. В тот день, когда в Цезарее Филлипийской Вероника стала супругой Тита, ты думал, что одержал блестящую победу; а между тем знаешь ли, чем это было? Величайшим поражением,

отнявшим у тебя единственную союзницу, Веронику. Мечта о мировом царстве в Азии разбита. Теперь есть только один трон для властителя мира — Рим. А там уже нет места для Агриппы рядом с Вероникой...

Она сделала такое движение рукой, как будто отстраняя что-то назойливое... Агриппа, смертельно бледный, смотрел на нее глазами, полными ужаса.

— Вероника! — крикнул он с отчаянием. — Карай меня, но не губи. — Он задыхался.

Ее лицо оставалось неподвижным.

— С того дня, как ты меня продал, у Вероники нет брата. Уходи, — сказала она.

Он хотел броситься к ее ногам.

— Уходи, — повторила она тем же жестким тоном, и глаза ее были полны ненависти. — Не смей становиться на моем пути. Клянусь тебе памятью нашей матери, я раздавлю тебя, как червя.

Агриппа, шатаясь, вышел из комнаты, но за дверью он остановился, сжал кулаки, и глаза его засветились гневом, он прошептал:

— Ты еще не Августа, Вероника! А до тех пор...

Глава XVI

Высоко-высоко в голубом небе смеялось солнце, в ущельях Дчаланского нагорья и в голубом Генисаретском озере, покрывая его дикими пенистыми волнами, ревела буря. Мощная, словно исполненная руками исполинов, музыка бури разбивалась о скалы у входа в глубокую пещеру и колебала воздух мягкими звуками, подобными аккордам далекой арфы; звуки эти смешивались с тихим пением молодой женщины, сидевшей в глубине пещеры у очага; она смотрела на слабое пламя большими синими глазами; ее хрупкое стройное тело облачено было в длинную белую одежду, напоминающую одежды египетских жриц Изиды. По плечам девушки рассыпались блестящие, как серебро, волосы; было странно видеть у берегов Галилейского моря девушку северных германских лесов.

Ее пение вдруг оборвалось и перешло в рыдание. Из угла пещеры к ней бросился одетый в лохмотья карлик

— Мероэ плачет? — спросил он нежно, и чувство глубокой любви в его покрасневших глазах делало его безобразное лицо почти красивым

— Мероэ есть хочет, — жалобно ответила девушка. Она говорила детским голосом, и дикие безумные глаза ее имели то же детское выражение.

Карлик Габба обращался с Мероэ, как с ребенком; он ласково гладил ее по волосам и уговаривал ее; когда это не помогало, он приносил ей пестрые раковины и блестящие камни, тогда Мероэ успокаивалась, смеялась, как ребенок, и весело хлопала в ладоши.

Безумие, овладевшее ею после жертвоприношения на Кармеле, прошло; но вместо этого она впала в детство, и все-таки Габба не терял надежды на ее выздоровление. Только это оживляло его безрадостную, тяжелую жизнь.

Их, как диких зверей, гнали отовсюду. Станный, безумный вид Мероэ и уродство Габбы возбуждали суеверный страх. Никто не давал им приюта, не хотел им помочь. Наконец карлик нашел эту пещеру. Редко заходили странники в это мрачное ущелье, столь отличное от плодородной Генисаретской долины; вход в пещеру Габба заложил камнями, чтобы никто не мог догадаться, проходя мимо, что здесь человеческое жильё. Днем Габба никогда не оставлял Мероэ, а ночью пробирался, как дикий зверь, в генисаретские сады и воровал там фиги, виноград и дыни, а с полей — пшеницу и ячмень; когда счастье ему улыбалось, он прокрадывался в хижины рыбаков или к пастухам и добывал для Мероэ рыбы и молока.

Он любил Мероэ такой исключительной, кроткой и преданной любовью, какой может любить только отверженный всеми людьми человек. Для него Мероэ была всем — Богом, родиной, семьей; он надеялся, что настанет блаженное время, когда она начнет понимать его и тогда его озарит луч ее солнцеподобного существа. Он был почти счастлив, живя с Мероэ в пещере. Война, бушевавшая вокруг Генисарета, не доходила сюда. Только пламя горящих городов и деревень, освещавшее ему путь ночью, было знаком римских побед. Почти на его глазах битва на озере между иудеями и римлянами закончилась падением Тарихей. Но он равнодушно смотрел на сражавшихся. Что ему за дело до человеческих распрей!

Он возвратился после обычной своей вылазки и приготовил для Мероэ, заснувшей над своими камешками и раковинками, ячменную кашу и кусок дыни. Вдруг насторожился и стал прислушиваться. Чьи-то голоса раздавались совсем рядом с пещерой — голоса мужчин. Весь дрожа, он бросился к выходу из пещеры и выглянул из нее, но выступ утеса

загораживал ему обзор. Он решил выйти из пещеры. Пробравшись к краю каменной насыпи, он осторожно выглянул из-за нее и посмотрел вниз.

Под ним, на маленькой горной поляне, свободной от камней, лежал молодой человек, растянувшись на чахлой траве; его благородное лицо было бледно и измождено, глаза глубоко запали, губы жадно раскрылись; он лежал, не двигаясь; только его прозрачные бледные руки, дрожа, касались травы.

— Не заботься обо мне, друг мой, — услышал Габба его шепот; страдальческая улыбка пробежала по изможденным чертам юноши, когда он обратился с этими словами к человеку с рыжеватыми волосами и бородой. Он старался подняться и удобнее положить голову юноши.

— Ты бы еще один раз сделал над собой усилие, — сказал он. — Пещера, куда я хочу тебя отвести, здесь поблизости; я отлично помню это место со времени одного похода Иосифа бен Матия; мы преследовали разбойников и как раз здесь, на этой горной поляне, они сделали последнюю попытку отбиться: ни одному из них не удалось спастись; их женщины тогда бросались со скал, чтобы умереть вместе со своими мужьями.

Лицо лежащего стало грустным.

— Кровь и смерть, куда ни взглянуть, кого ни послушать. Несчастливая родина! Нет, оставь меня, уходи, пока не будет слишком поздно. Разве ты не знаешь, что на мне тяготеет проклятие.

— Ты рано приходишь в отчаяние, — сказал рыжий. — Иерусалим еще не сдался.

Юноша печально улыбнулся.

— У меня нет больше сил — я ни на что не годен. Все, что было во мне, вся сила моя осталась у той, которая умерла; я должен следовать за ней, поэтому...

Голос его перешел в невнятный шепот, и глаза закрылись. Лицо покрылось смертельной бледностью.

Рыжий наклонился, приподнимая несчастного юношу, но глаза его оставались закрытыми, голова беспомощно свесилась.

Габба услышал слова рыжего: где взять воды смочить ему губы. Но не двинулся с места, хотя в душе его страх боролся с жалостью. Рыжий, очевидно, знал про пещеру — если Габба покажется, то рыжий поймет, что пещера обитаема и заставит пустить его туда с умирающим юношей. Если же он не покажется, то юноша умрет. Но разве самого

Габбу не гнали отовсюду? Кто протягивал ему руку помощи? Теперь дело идет о безопасности Мероэ. Пусть умрет беглец, лишь бы отвратить опасность от Мероэ.

Габба осторожно поднялся, чтобы прокрасться обратно в пещеру, но он вдруг весь задрожал — Мероэ стояла перед ним.

Она проснулась в его отсутствие; луч света, проникавший через незакрытую щель, привлек ее. Она вышла из пещеры и очутилась около Габбы, не видя его и радуясь, что ветер развеивает ее волосы и освежает лицо. Габба не двигался и не подавал голоса. Если Мероэ заметит его, она заговорит и люди внизу обратят на них внимание. Но она стояла неподвижно. Ветер затих так же неожиданно, как поднялся. Светлая синева неба засияла по-прежнему, солнечный луч упал на горную поляну и заиграл на блестящем поясе рыжего. Мероэ громко засмеялась, захлопала в ладоши и закричала ликующим голосом:

— Золото, золото!

Рыжеволосый взглянул наверх и замер.

— Фрея! — пробормотал он. — Неужели это твой божественный образ носится над галилейскими горами.

Охваченный трепетом он поднял руки и стал шептать какие-то слова. Габбе они показались странно знакомыми. Когда Мероэ попала в дом Базилида в Риме, она говорила что-то похожее.

Мероэ, подавшись вперед, стала прислушиваться. В глазах ее промелькнули медленно возвращающиеся воспоминания, и она стала отвечать такими же странными словами.

В следующую минуту рыжеволосый очутился наверху рядом с девушкой и Габбой.

— Кто бы ты ни был, — сказал он с мольбой в голосе, — ты не откажешь уставшим и гонимым путникам в приюте и пище на одну ночь. Я пришел к тебе с миром и прошу помощи для изнемогающего друга. Грозные парки обрежут нить его жизни, если ты не сжалишься над ним.

Габба взглянул на него и тихо сказал:

— Могу ли я доверять тебе, когда теперь брат не доверяет брату и отец сыну.

Вместо ответа рыжеволосый вынул меч и кинжал из-за пояса и бросил перед Габбой на камни.

— Клянусь тебе памятью моих родителей, я уйду, когда ты потребуешь. Спаси только несчастного юношу. Я Хлодомар и служил некогда Иосифу бен Матия, галилейскому наместнику; теперь я никому не служу и не хочу воевать.

А этот юноша Регуэль, сын Иоанна из Гишалы, знаменитого мужа в Галилее. Поверь, могущественный отец вознаградит тебя за помощь, оказанную сыну.

— Теперь я вспомнил тебя, — сказал Габба. — Я видел тебя у царя Агриппы. Я тоже служил ему прежде; я Габба, царский шут. Как и ты, я принужден спастись от преследований; хотя я много раз испытал измену, но все-таки поверю тебе. Да разве бы я мог, — заключил он с грустной улыбкой, — противиться тебе. Если бы ты захотел, то и без оружия легко мог бы свалить меня с ног и войти в мое убежище. Неси же туда твоего спутника. Пусть то, что принадлежит Габбе, будет и твоим.

— А эта девушка? — спросил Хлодомар, показывая на Мероэ, которая села на землю и играла блестящей рукоятью меча.

— Божий дух парит над ней! — торжественно сказал Габба.

Хлодомар поклонился с благоговением. Он разделял веру своего народа в то, что устами безумных говорит Бог.

Раздоры в Иерусалиме все более обострялись. Взаимные обвинения становились настойчивее, страсти разгорались. Иерусалим разделился на два больших враждебных лагеря, готовых вступить в открытую борьбу при первом удобном случае. Ананий, старейший из первосвященников, стал во главе умеренных и осторожных фарисеев; они больше всего стремились к восстановлению мира, хотя бы ценой подчинения Риму; zeloty требовали участия народа в управлении. К ним присоединялись бродяги, всякого рода преступники. Тайные агенты римлян разжигали смуту и призывали к насилию. Самым опасным из них был Оний, «последний житель колонии Клавдиевой». Во время своего пребывания в Гишале он старался ни чем не возбудить подозрения Иоанна, выдавал себя за врага римлян и завоевал полное доверие галилейского вождя. В Иерусалиме Оний тоже держался очень осторожно и заботился, казалось, только об интересах Иоанна; а между тем он был доверенным лицом самых подозрительных людей и среди zelotov, и среди аристократии. Мечта Базилида, кармельского пророка, исполнилась. Оний стал государственным деятелем, и от него зависела судьба целого народа. Одно его слово могло возбудить междоусобную войну, и он бросил это слово в лагерь враждующих, как горящий факел на соломенную кровлю.

Вероника в своем письме, посланном через доверенное

лицо, написала это роковое слово «Удали первосвященника».

Люди Ония распространили слухи о заговоре, в результате которого Иерусалим должен был быть предан в руки римлян. Вождями заговорщиков называли Анания, Матия бен Теофиля, правящего первосвященника, и приверженцев дома Ирода. Волнение дошло до высших предстол; когда же наконец были схвачены и отведены в тюрьму казначей Антипас и различные высокопоставленные лица, когда их предали суду, то измена казалась доказанной. Народ требовал казни изменников и грозил сам напасть с оружием в руках на тюрьму и убить предателей.

Вечером того же дня Елеазар бен Симон, предводитель зелотов, сам не одобрявший необдуманную быстроту действий, созвал собрание во дворе храма. Только этого Оний и ждал. Он запустил в толпу своих людей, и огромный двор наполнился странным наглым людом; предводитель зелотов понял опасность положения и хотел тотчас же распустить собрание; но один из людей Ония стал требовать смещения первосвященника и выбора нового из народной среды. Поднялся страшный шум. Напрасно более благоразумные старались умиротворить рассвирепевшую толпу, которая требовала жертвы; даже более спокойные присоединялись к требованиям толпы, одни из искреннего патриотизма другие из боязни перед мечами бунтовщиков.

Через несколько минут был образован совет, который свергнув Матия бен Теофиля, уничтожил старинные привилегии аристократии. Брошен был жребий для выбора первосвященника из народа.

Раздался оглушительный смех, когда выбранным оказался невежественный крестьянин Пинхас бен Самуэль, он происходил из священнического рода. Его привели в Иерусалим прямо из деревни, с хохотом и насмешками нарядили в одежды первосвященника и привели в храм, занятый зелотами. Такое глумление над святыней сделало примирение невозможным. С тем же гонцом, который доставил письмо Вероники в Иерусалим, Оний сообщил царице и через нее Веспасиану о том, что святой город залит кровью своих жителей.

Произошли уже кровопролитные схватки между знатными родами и зелотами. Оний же оплакивал вместе с Симоном бен Гамлиэлем и Иоанном из Гишалы несчастную родину, обреченную судьбой на гибель. Иоанн сидел вместе с престарелым председателем синедриона в одной из

комнат дворца, когда вошел Оний с выражением глубокого волнения на лице.

— Благословен Всевышний, что я вас застал! Вы одни можете остановить всеобщую гибель. Нужно спешить и потому...

— Спешить? — перебил его Иоанн. — Но что же случилось, говори!

— Страшное, небывалое должно свершиться в эту ночь. Ананий решил осадить храм ночью и беспощадно убивать всех, кто будет сопротивляться.

Симон бен Гамлиэль побледнел.

— Но разве он не знает, — крикнул старец дрожащим голосом, — что идет против иудеев, своих единоверцев и соотечественников!

Оний пожал плечами.

— Он ослеплен интересами своей партии и не видит опасности, надвигающейся извне.

На минуту наступило томительное молчание. Иоанн ходил взад и вперед с нахмуренным лицом. Оний с кажущимся спокойствием стоял у дверей, следил за Иоанном. Вероника требовала, чтобы Оний как можно более отдалил Иоанна от всех партий. Если он примкнет к одной из них, то, конечно, тотчас же получит высшую власть в государстве и объединит народ для сопротивления римлянам. Нужно непременно лишить его доверия и любви народа, сделать его подозрительным в глазах толпы. Онию казалось, что наступила минута для выполнения этого плана и что ему удастся представить Иоанна виновником смуты.

— Я знаю, — сказал он медленно после долгого раздумья и опустил глаза, чтобы скрыть лукавое выражение лица. — Я знаю, как покончить эту несчастную распрю, но средство опасно для того, кто его будет применять: он легко может возбудить подозрение всех партий.

Иоанн вспыхнул.

— Дело идет о спасении всех, и нужно быть предателем, чтобы не пожертвовать личным положением для общего блага.

— Таково и мое убеждение, — ответил Оний горячо. — Поэтому я предлагаю тебе, Иоанн, любимцу народа, употребить свое влияние для восстановления мира. Отправься к первосвященникам, собравшимся во дворце Анания. Убеди их отказаться от некоторых своих привилегий в пользу низших. И когда тебе это удастся, при помощи Симо-

на бен Гамлиэля отправься в храм к осажденным зелотам и убеди их, в свою очередь, уступить аристократии.

Он закончил говорить и пристально взглянул на Иоанна. Тот понимал, как опасно последовать совету Ония и как посредничество между двумя партиями может возбудить всеобщую ненависть и еще более увеличить смуту. Но когда Симон бен Гамлиэль встал и подошел к нему с умоляющим видом, Иоанну показалось, что вся жизнь его великого отечества сосредоточена в фигуре согбенного старца. Он решил отдать последнюю каплю крови за неприкосновенность этой священной главы. Он выпрямился и молча взял меч.

— Что ты решил, Иоанн? — спросил Симон бен Гамлиэль.

Кроткая улыбка показалась на истомленном лице Иоанна; он положил руку на плечо председателя синедриона и повел его вместо ответа к двери.

— Ты укажешь нам путь к дому Анания, Оний?

Благодаря красноречию Иоанна и просьбам Симона бен Гамлиэля удалось прийти к соглашению. Партия знатных согласилась, несмотря на сопротивление Анания, войти в переговоры с зелотами в храм; решено было после долгих обсуждений уменьшить тяжесть поборов и допустить низших служителей храма к некоторым высшим должностям; за это зелоты должны были свергнуть избранного первосвященника и назначить новые выборы из среды знатных родов. Переговоры были поручены по предложению Симона Иоанну.

Один только Ананий противился до конца этим решениям. Оний оставался молчаливым свидетелем споров, потом он незаметно пробрался за кресло Анания.

— Ананий опасается тайных честолюбивых замыслов Иоанна? — спросил он. — Нужно заставить его дать клятву, что он ничего не предпримет против вашей партии. Если бы он нарушил такую клятву, он заслужил бы смерть, как изменник, по закону божескому; весь верующий народ отвернулся бы от него, как от клятвопреступника, и проклял бы день, когда признал его своим любимцем.

Ананий был поражен его мудрым советом и потребовал слова.

Иоанн дал клятву ничего не предпринимать против партии знатных и вернуться из храма, даже если зелоты не примут предложения мира. Потом он в сопровождении

Ония направился к храму. Улицы были точно вымершие жители прятались в домах, опасаясь расsvирепевшей толпы. Иоанн и его спутник приблизились к храму, вокруг которого горели сторожевые огни осаждавших. Из узкой темной улицы к ним подошел какой-то человек и стал разглядывать Иоанна и Ония, закутанных в плащи. Иоанн не обратил на него внимания, он не заметил, что Оний подал ему знак. Иоанн только тогда внимательно взглянул на него, когда тот обратился к нему, удерживая его за край одежды.

— Прости, господин, — сказал он — Я чужой в Иерусалиме и вошел в город только с наступлением ночи. Я не могу найти никого, к кому бы обратиться с вопросом не знаешь ли ты, как мне пройти во дворец Анания, старейшего из первосвященников?

Иоанн хотел было уже показать ему дорогу, но Оний вдруг дернул его за рукав, и тогда у Иоанна мелькнуло подозрение. Ему стало любопытно, с кем это Ананий, которого zelоты подозревают в тайных сношениях с Римом, поддерживает связи вне Иерусалима.

— Ты иудей? — спросил Оний неизвестного.

Тот смутился.

Конечно, господин, — проговорил он нетвердо.

Откуда же ты?

Я изгнанник из Гишалы.

Иоанн, подойдя к незнакомцу, посмотрел ему в лицо.

— Ты лжешь, — сказал он. — Я знаю всех жителей Гишалы, но ты...

— Право, господин, — ответил тот, заикаясь, — я клянусь тебе...

— Если ты говоришь правду, — вмешался Оний, — то ты должен знать самого знаменитого из жителей Гишалы — Иоанна бен Леви.

Незнакомец в смертельном испуге сделал шаг назад.

— Иоанн бен Леви! — с ужасом проговорил он, стараясь высвободиться от Ония; когда же это ему не удалось, он сбросил свой темный плащ и скрылся в узкой боковой улице.

— Измена! — крикнул Оний. — Это был лазутчик! Позови стражу, Иоанн.

Но уже было поздно. Незнакомец исчез в темноте, появившаяся на крик Ония стража погналась за ним, но не смогла его найти.

— Что же с его плащом? — спросил Иоанн.

Оний опустился на землю, чтобы разглядеть оставленную одежду, и быстро поднялся.

— Я, кажется, нашел нечто важное, — шепнул он Иоанну, показывая кусок материи, который он кинжалом вырвал из плаща. — Только молчи теперь. Не нужно показывать это воинам Анания. Иначе нас не пропустят в храм.

Иоанн кивнул головой в знак согласия и пошел вперед. Оний последовал за ним. Прежде чем вступить в храм, он еще раз оглянулся на тихую улицу. «Молодец, — пробормотал он с торжествующей улыбкой. — Вероника наградит тебя по-царски».

Зелоты, засевшие в храме, встретили Иоанна бен Леви восторженными криками. Без сомнения, он пришел помочь им; он понял предательство знатных, их лицемерие и властолюбие и теперь примкнул к зелотам. Он едва мог освободиться от тянувшихся к нему с приветствиями рук; его почти внесли на руках на возвышение среди большого двора, служившее осажденным местом сбора.

Но радостное настроение сменилось, когда Иоанн в длинной речи изложил условия соглашения. Его прервали насмешливые возгласы. Когда же он потребовал свержения невежественного первосвященника, волнение перешло всякие границы.

— Никогда! — кричал огромного роста суконщик. — Никогда мы не уступим им ни в чем.

— Мы не хотим мириться. Имена тиранов стерты из истории Израиля. Их сменил великий, всемогущий народ. Пусть лучше обрушатся на нас стены этого храма, прежде чем их осквернят руки предателей.

Иоанн бен Леви был бессилен против взрыва общего негодования; он понял, какая бездна разделяет народ от знатных, он и сам чувствовал влечение к этому народу, полному сил и любви к свободе. Эти люди вокруг него правы. В самом деле, аристократы не раз предавали народ. Но его связывает клятва. Он не имеет права повиноваться внутреннему чувству. Ананий сумел лишить его свободы действий... Погруженный в свои мысли, он стоял, прислонясь к колонне. Вдруг чья-то рука коснулась его плеча, и послышался голос Ония.

— Хочешь знать, Иоанн, что я нашел в плаще незнакомца?

Он передал ему клочок папируса; Иоанн взял его и прочел написанные на нем латинские слова: «...Вероника шлет благородному Ананию пожелания всего лучшего. Будьте наготове. Через несколько дней Веспасиан двинется с войском на Иерусалим. Ты помнишь условие: когда войны

полководца подожгут стену вокруг Базета, чтобы отвлечь подозрение народа от ваиши партии, пусть ворота Акры и верхнего города охраняются лишь самыми слабыми и трусливыми воинами. Хорошо бы также, если бы засовы ворот были сгнившими. Тит и десятый легион отблагодарят за это вас всех. Дай мне знать через моего гонца и поспеши устроить свидание с Вероникой, которая будет оказывать тебе содействие, чем только может».

Иоанн стоял оцепенев, выронив письмо из рук. То, чему он бы никогда не поверил, теперь предстало пред ним в сухих деловитых словах. Представители благородных родов Израиля шли рука об руку с изменнической семьей царя и готовы предать отечество и Бога.

Он выхватил меч, и страшная улыбка придала жестокость кротким чертам его лица. В эту ночь в душе Иоанна погибло самое священное и нерушимое — вера в людей.

Оний следил за тем, как менялось лицо Иоанна. Ему было ясно — еще минута и Иоанн поступит так, как хотелось Веронике.

— А твоя клятва? — шепнул он ему на ухо.

Иоанн вздрогнул и смертельно побледнел. Кому он дал клятву? Тем, кто готовы были предать? Эти люди хотели воспользоваться им, ничего не подозревавшим, чтобы погубить родину.

— Смерть знатым родам!

Не помня себя, он крикнул эти слова, и красный туман застлал ему глаза. Потрясая мечом, он крикнул:

— Ко мне, несчастный, поработенный народ! Тебя предают, но я спасу тебя. Всемогущий Бог слышал клятву, которую я дал тем людям; но клятва эта не имеет силы перед Богом — она дана была предателем. Теперь клянусь, я не успокоюсь до тех пор, пока предателей Господа не закроет земля. Все вы, отшатнувшиеся от безбожников и пришедшие в храм Бога вашего, слушайте и клянитесь вместе со мной: пусть не будет мне ни минуты покоя, пока нечестивцы не будут истреблены. Пусть лучше падут стены Иерусалима и все разрушат под собой, чем уступить презренным хоть одну пядь земли святого города. Клянусь в этом именем Всевышнего, и да поможет нам Бог.

Все вынули мечи, и смертоносный блеск наполнил место собрания. Все повторяли клятву: «Да поможет нам Бог!»

Оний нагнулся к лежавшему на полу куску папируса и поднял его; потом он тайным ходом вышел из храма

и очутился на безлюдной улице, которая вела ко дворцу Анания. Он громко расхохотался:

— Да поможет им Бог!

Глухое эхо повторило его смех гулким раскатистым звуком.

Казалось, весь Иерусалим смеется над своей предстоящей гибелью.

Известие об измене Иоанна из Гишалы и об его переходе на сторону zelотов вызвало в партии знатных дикое возмущение. Оний это предвидел и на это рассчитывал. Он постарался в таком виде представить происшедшее в храме, чтобы еще более подогреть страсти и вызвать начало кровопролитной распри. В этом ему помогал Ананий. Напрасно старался Симон бен Гамалиэль представить в более мягком свете непонятный ему самому поступок его друга. Началась открытая борьба вокруг храма. Приверженцы знатных родов осаждали его с дикой яростью. Зелоты сражались под начальством опытного в военном деле Иоанна.

У Вероники не хватало терпения выжидать; она горела желанием как можно быстрее возвеличить Тита. По достоверным вестям из Рима, падение цезаря Нерона было теперь только вопросом времени; нужно было поэтому как можно скорее покончить с иудеями, Иерусалим должен быть обезвреженным, когда разразятся события в Риме. Ее изобретательному уму удалось найти средство, еще более губительное, чем выбор первосвященника из народа. Тот же вестник, который передал в руки Иоанна поддельное письмо к Ананию, снова прибыл в Иерусалим с письмом Вероники к Онию.

«Позови идумеян на помощь zelотам» — гласило краткое содержание письма, но эти немногие слова имели огромный смысл. Оний, никогда не останавливающийся ни перед каким преступлением, побледнел, прочтя его.

— Это начало конца, — пробормотал он и подумал с какой-то дьявольской радостью: «Сто умных людей не придумают того, на что способна женская хитрость».

Через час посланные им люди отправились к предводителю идумейского племени, чтобы передать ему от имени zelотов, что знатные роды предали святой город и отчизна близка к гибели.

Уже со времен царя Давида соседи и соплеменники Израиля, идумеяне, жили в непримиримой вражде с потом-

ками Иакова. Но, будучи верующими и ревностными иудеями, они считали Иерусалим центром мира, из которого должен изойти свет, как на них самих, так и на весь мир.

Гонцы Ония, люди опытные и хитрые, сумели притвориться фанатически преданными отечеству воинами. Им легко удалось воспламенить дух идумеян и уговорить этот воинственный народ вмешаться в иерусалимские дела. Уже через два дня Оний смог с притворным ужасом сообщить партии знатных, что он заметил в окрестностях города группы вооруженных людей, идущих на Иерусалим. В самом деле Ананий едва успел дать приказ закрыть ворота, как идумеянское войско прибыло к стенам Иерусалима. Старый священный закон гласил, что Иерусалим должен быть открыт для всех верующих. Напрасно высланы были им навстречу жрецы, чтобы уговорить их вернуться, напрасно партия знатных доказывала, что их оклеветали, обвиняя в измене. Идумеяне охвачены были недоверием и возбуждением zelотов; отвергая всякую попытку к переговорам, они готовились силой вступить в город. Партия знатных, со своей стороны, приняла меры, чтобы встретить нового противника надлежащим образом; произошло уже несколько стычек у ворот, и предвиделась большая битва, исход которой был спорным.

Оний не был доволен таким оборотом дела; ему нужно было, чтобы события развивались быстро; долгая осада могла повести к совершенно непредвиденным осложнениям. Он искал случая обречь Иерусалим на разгром его же собственным народом. Случай представился в следующую же ночь. Само небо благоприятствовало его предприятию. Страшная гроза разразилась над городом, земля дрожала под ударами молнии. Под прикрытием непроницаемой тьмы люди Ония прокрались к воротам, осажденным идумеянами, распилили деревянные засовы и впустили их войско.

Озлобленный и дикий от природы народ бросился на улицы Иерусалима, наполняя их кровью и трупами тех, которые еще недавно правили святым городом. Около двенадцати тысяч человек, принадлежащих к знатнейшим родам Иерусалима, погибли в эту ночь.

Ананий, Исаия, первосвященники, все царской крови, были убиты. Их дворцы, их сокровища были разграблены: ничто не останавливало кровожадности идумеян и zelотов — ни возраст, ни положение, ни святость. Иерусалим купался в крови своих граждан, и богатства Иерусалима гибли среди кровопролития.

Иоанн бен Леви был совершенно бессилен против этого безумия толпы. Он не раскаивался в том, что нарушил данную им клятву и поставил интересы родины выше своих собственных; но им овладело чувство жалости и опасение за будущее. Покинув друзей, он стоял один на террасе своего дворца, как вдруг услышал крики толпы:

— Да здравствует Иоанн из Гишалы, наш предводитель!

С серым от ужаса лицом он отшатнулся и в смертельном страхе вытянул руки, как бы отталкивая чудовище, которое хочет прижать его к пропитанной ядом груди. Он — предводитель этих братоубийц? Нет, только не это. «Руки мои чисты!» — хотел крикнуть он, но его дрожащие губы не могли произнести ни одного звука.

И тогда все вдруг стало для него беспощадно ясным: он один виноват в том, что висевший над Иерусалимом меч упал на головы грешников, он один виноват в той крови, которая обагрила стены священного города.

Он ничего не смог возразить, когда Оний и другие предводители zelотов и князей идумеянских пришли к нему и преклонили перед ним колена, принося ему в знак своего повиновения обнаженный меч, на котором еще блистали в лучах заката капли свежей крови.

— Властителю Иерусалима!

Смертельный холод охватил его. С громким рыданием упал он на землю, поднимая руки к вечернему небу, и тогда само небо послало ему знак: странная, никогда не виданная блестящая чудесным светом звезда вдруг загорелась на небе и осветила ночь ярким светом. Вдруг она вытянулась и приняла отчетливый образ — на небе засиял огромный поднятый меч. Ужас охватил всех; и те же люди, которые спокойно наносили смертельные удары братьям, бросились на землю, закрывая лицо руками.

Меч Господень.

Один из zelотов рвал на себе одежду, посыпал голову землей и, внезапно охваченный безумием, кричал:

— Горе, горе Иерусалиму!

Он захохотал хриплым голосом и, дико вращая глазами, стал плясать над грудой трупов, сваленных на площади.

Глава XVII

Габба перестал недоверять Хлодомару и Регуэлю. Увидев, что они ему не сделают ничего злого, он, напротив, стал чрезвычайно откровенен с ними. Юноша долгие дни пролежал в горячечном бреду, не переставая говорить о Деборе и о Бет-Эдене; звуки голоса его были так печальны, что сердце карлика, смягчившееся среди забот о Мероэ, переполнилось состраданием.

Жалость Габбы еще более усилилась после рассказа Хлодомара о судьбе юноши. История любви Регуэля к Веронике пробудила ответные струны в душе Габбы. Вероника лицемерно скрывалась под маской Деборы, чтобы овладеть душой человека, который смертельно возненавидел бы ее, если бы узнал, кто она. А разве душа Габбы не скрывалась под маской его уродливого тела? Только у Деборы маска была прекрасна, а внутренняя сущность уродлива. А душа Габбы стремилась проявить свой свет сквозь безобразие внешнего образа. Габба внимательно слушал рассказ Хлодомара о событиях в Бет-Эдене. Хлодомар подоспел вовремя. Он взвалил Регуэля себе на плечи и выбежал из горевшего здания никем не замеченный. Он понял, что Регуэлю не следует более видеться с Вероникой; близость этой женщины пагубно действовала на доверчивого юношу. Хлодомар знал, что Регуэль погибнет, если вернется к мнимой Деборе.

Хлодомар ненавидел Рим больше всего на свете. Рим его разлучил с женой и ребенком, заставил скитаться по миру. Он не мог забыть своей далекой, давно покинутой родины; там, под священными дубами Германии. Мысль о родине снова охватила его; ему казалось, что иудейский юноша Регуэль его собственное дитя, которое он держит теперь в объятиях. Собственное дитя! Он все еще вспоминал Вунегильду, его маленькую девочку; она так жалобно тянулась к нему ручками, когда его связали и увели. Что случилось с Вунегильдой? Если теперь еще ноги ее касаются земли, то она, наверное, стала стройной цветущей девушкой с голубыми глазами и серебристыми волосами, как и у матери.

Проникнутый этим грустным воспоминанием, Хлодомар сосредоточил всю свою нерастраченную силу любви на Регуэле, как и Габба на Мероэ. Было много общего между великаном германцем и уродливым карликом. Они сблизились и подружились. Они стали понимать друг друга с первого слова, и Хлодомар прочел в обращенном на него

взгляде Габбы то же обещание, которое он сам себе дал. Регуэль никогда не должен узнать, что он отдал свою любовь недостойной лицемерной женщине. Пусть Дебора Регуэля будет похоронена навсегда в развалинах Бет-Эдена.

Габба и Хлодомар вышли чтобы при последних лучах солнца осмотреть окрестности. В последнее время часто слышались неподалеку голоса людей, бродящих по лесу.

Розовый свет заходящего солнца пробрался сквозь щель у входа в темную пещеру, играл на стенах и покрыл живым румянцем лицо спящего Регуэля. Мероэ присела у его ложа и с детским любопытством следила за ровным дыханием Регуэля: он заснул спокойным сном, предвестником выздоровления. Но Мероэ не знала, что он болен, не знала, что он чужой; для нее это прекрасное лицо, то внезапно вспыхивающее, то мертвенно неподвижное, окруженное черными кудрями, было не что иное, как новая игрушка — гораздо лучшая, чем раковины и блестящие камешки, чем бьющиеся о песок рыбы и румяные плоды. Это была кукла, как та, которую отец Мероэ купил ей, когда был работником у римского торговца. Она была из пестрой глины и одета в блестящие лохмотья. Но глаза у куклы были неподвижные, а эти...

Когда Мероэ была ребенком, она танцевала весенний танец под зеленой кровлей листьев, на солнечном благоухающем лугу, а теперь... Эти холодные мрачные своды над ней, кровавые языки пламени в углу и странное мертвое молчание...

Она медленно провела рукой по глазам, вздрогнула и все-таки не могла прогнать смутного колеблющегося видения прошлого; оно казалось ей таким близким, что каждый предмет она могла бы схватить руками. Вот журчит лесной ручей, верхушки тростников нагибаются к ней, белка выглядывает сквозь листву, солнечный луч дрожит над танцующими детьми и освещает покрытый соломой деревянный дом. Мероэ поднимается; волосы ее рассыпаются, и с криком радости она несется навстречу двум людям, которые, обнявшись, стоят под навесом. Она поднимает руку...

Хлодомар, вернувшийся в пещеру, смотрел на Мероэ. Когда же девушка приблизилась к нему, танцуя как германские женщины, он вдруг все понял. С диким криком радости он сжал ее хрупкое тело в своих объятиях, покрывая серебряные волосы и синие лучистые глаза безумными поцелуями и твердя одно имя: Вунегильда!

Вунегильдой называли женщину, которую он любил, и тем же именем назван был ребенок, родившийся в далекой родине, под дубами у источника. Волосы Мероэ касались его щек подобно волосам Вунегильды. Из глаз Мероэ глядели на него глаза Вунегильды.

Девушка вздрогнула, услышав свое имя. Черты ее осветились светлой улыбкой, подобно тому, как солнце приветствует первыми лучами лес, охваченный ночной мглой. В глазах засветилось воспоминание, и губы ее повторяли, сначала неуверенно, потом все более твердо, слова песни Хлодомара, той колыбельной песни, которую ее мать Вунегильда пела у ее колыбели.

Мероэ опустила голову на грудь Хлодомара и заснула с детской улыбкой на устах; воин поднял ее, заботливо уложил вблизи очага и долго еще стоял на коленях, склонившись над ней и вглядываясь в дорогие черты.

Шум в передней части пещеры заставил его встать. Он увидел Габбу, бледного и дрожащего. Случилось нечто необычайное. Хлодомар бросился к карлику, чтобы спросить его, но тот остановил его движением руки.

— Римляне! — прошептал он.

Хлодомар вздрогнул. Неужели в ту минуту, когда он нашел Вунегильду, их убежище будет открыто врагами. Он осторожно пробрался из пещеры и нагнулся над утесом, чтобы видеть то, что делается внизу.

Габба был прав. Десять римских солдат привязали к деревьям лошадей и разводили костер для ночлега. Из их разговоров Хлодомар понял, что они посланы отыскивать скрывающихся в горах беглецов.

Хлодомар вернулся в пещеру, и вместе с карликом и Регуэлем они стали обдумывать план действий.

Они решили бежать в ту же ночь в горы и там отыскать окольную дорогу, ведущую в Иерусалим. Они согласны были с Регуэлем, что только в Иерусалиме они будут в безопасности, там, где Иоанн из Гишалы пользуется всеобщей любовью и поклонением.

Через час пещера была пуста. Беглецы молча шли вперед, пока не нашли дорогу. Попав на прямой путь, они остановились для отдыха. Хлодомар и Габба рассказывали друг другу о том, что каждый из них знал о жизни Мероэ. Габба рассказал, как он спас Мероэ от Базилида и затем скитался с ней по горам. Хлодомар, слушая его рассказ, схватил руки Габбы и прижал их к губам.

Регуэль отвернулся, ему тяжело было видеть счастье

отца, нашедшего дочь. Ведь и он снова увидит отца. Сердце его сжалось от боли и стыда. Он возвращается как недостойный, забывший самое святое — свою родину в дни бедствий. Будет ли так же благодарить Хлодомара за спасение сына его отец, как Хлодомар Габбу за Мероэ?

О Дебора! Твоя любовь легла тяжелой виной на душу Регуэля, и целая жизнь раскаяния и мук не изгладит его вины, не облегчит его совесть. Он с бесконечной горечью думал о возлюбленной, погибшей в Бет-Эдене, и вместе с тем безгранично тосковал о ней.

Была ночь, когда беглецы достигли Иерусалима. Когда Регуэль назвал имя своего отца, Иоанна из Гишалы, им тотчас же открыли ворота. Вскоре воин, взявшийся быть их проводником, остановился вместе с ними у дворца, где жил Иоанн. Путники медленно поднялись по лестницам, где толпился народ. Им навстречу вышел могучий галилеянин, преграждая им путь. Взглянув в лицо Регуэля, он отшатнулся в ужасе.

— Регуэль бен Иоанн! — воскликнул он с суеверным ужасом, отступая от него, как от призрака.

— Ведь я не умер, Барух, — сказал Регуэль с грустной улыбкой. — Я вернулся обнять колени отца.

Он сделал знак своим спутникам, прося их подождать, и вошел в комнату отца.

Покой был освещен бесчисленными свечами, как будто живущий в нем человек боялся самой легкой тени. Яркий свет освещал самые отдаленные углы, так что Регуэль, ослепленный, остановился у двери.

В комнате стояло ложе и стол, покрытый картами, планами и свитками.

С ложа поднялся исхудалый, старый человек. Он посмотрел на вошедшего широко раскрытыми глазами.

Регуэль замер от ужаса. Неужели этот старик с дрожащими руками, с лицом, изможденным от скорби, его отец, Иоанн бен Леви? Что должен был он испытать, чтобы так измениться?

Регуэль упал на колени перед откинувшимся на подушки отцом и с мольбой поднял к нему руки.

— Отец!

Несколько минут прошло в молчании. Иоанн из Гишалы лежал не двигаясь, только слабое дыхание показывало, что в нем еще была жизнь.

— Неужели уже мертвецы встают? — прошептал Иоанн хриплым голосом. — Итак, куда бы я ни взглянул,

я вижу лица убитых. Ночи мои проходят без сна, и даже дневной свет не может рассеять призраков. А теперь и ты, Регуэль, приходишь обвинить меня. О Боже, разве преступно было послать его служить Тебе и отечеству?

— Отец, приди в себя,— сказал Регуэль, и, взяв руки отца, прижал их к груди.— Смотри. Ты думал, что я погиб, а я возвращаюсь к тебе живой и молю прощенья за все. Не терзай же моего сердца, не отвращайся от меня. Позволь мне объяснить все...

Наклонившись над ним, он рассказал ему обо всем, что пережил: о событиях в Птолемаиде, о жизни в Бет-Эден, о любви к Деборе и о том, как, спасенный Хлодомаром, он попал в Иерусалим.

Отец и сын не обращали внимания на присутствие еще одного человека в комнате. Упоминание имени Хлодомара заставило его вздрогнуть. Когда же Регуэль назвал имя Габбы, он с побледневшим лицом вышел из комнаты. Проходя по коридору, он услышал чей-то знакомый голос:

— Мероэ!

Она стояла, прижавшись к стене, и в безумном страхе протянула руки вперед, словно защищалась от него. Он уже хотел было броситься на нее, вдруг послышались голоса Габбы и Хлодомара.

Изрыгая проклятья, он бросился бежать.

— Вина твоя велика,— сказал Иоанн мягким голосом, когда Регуэль закончил свой рассказ.— Но ты поступил, как ребенок, и Бог простит тебя, если ты отныне посвятил себя только Ему.

— А ты, отец, простишь? — спросил Регуэль, став на колени и наклонив голову. Иоанн положил руки на голову сыну, благословляя его.

— Я не сержусь на тебя Регуэль,— прошептал он.— Твое появление кажется мне милостью неба. Если бы я был так грешен, как мне кажется в минуты душевных мук, справедливый судья не послал бы мне этой последней радости.

Регуэль изумленно посмотрел на его бледное лицо.

— Ты говоришь о своих преступлениях,— воскликнул он,— ты — лучший из отцов, всегда ставивший Бога и отчизну выше всего!

— Ты забываешь кровь двенадцати тысяч жертв,— грустно ответил Иоанн.— Она взывает к небу о мщении.

— Бог не внемлет предателям.

Иоанн закрыл лицо руками.

— Как узнать наверняка, что они предавали отчизну,— сказал он жалобным голосом.— То письмо Вероники к Ананию, может быть, было ловушкой, чтобы усилить наши междоусобия; в ту минуту я обезумел от бешенства и слепо верил тому, что видел; потом наступили страшные мучительные сомнения, но уже было поздно. С тех пор..

Ледяной холод охватил его дрожащее тело, ослабленное приступами лихорадки.

— Но теперь будет лучше,— продолжал Иоанн, сжимая руки Регуэля в своих, и слабая надежда засветилась в его взоре.— Теперь, когда ты около меня, ты мне pomoжешь переносить эту тяжесть. Увы, муки мои не оставляют меня и вблизи того, кто был мне самым лучшим другом. Мне даже тяжело видеть его. А между тем он, Оний, и передал мне письмо Вероники к Ананию.

Регуэль вздрогнул.

— Оний? — спросил он, пораженный смутным воспоминанием; ему казалось, что он слышал это имя от Хлодомара

— Да Оний,— сказал Иоанн несколько удивленный.— Нет, впрочем,— прибавил он, подумав,— ты не можешь его знать. Он явился ко мне в Гишалу из Птолемаиды уже после того, как ты уехал. Это последний из колонии Клавдиевой

Регуэль побледнел. Вот то, чего он боялся. Оний, который с помощью письма Вероники склонил отца к убийству знатных граждан, и тот Оний, которого Хлодомар привел по поручению Агриппы в Гишалу,— одно и то же лицо

Но пусть Иоанн никогда не узнает, что он стал жертвой обмана. Ония нужно удалить незаметно, а Веронику О, когда настанет день отмщения всему царскому роду предателей! Оний! Регуэлю нужно посоветоваться с Хлодомаром и Габбой.

— Позволь мне, отец,— сказал он, поднимаясь,— привести к тебе моих друзей...

Он не успел договорить, как послышался крик Мероэ, испуганной появлением Ония. Вслед за тем дверь открылась, в комнату вошли Габба, Хлодомар и Мероэ, прежде чем Регуэль мог помешать им.

— Прости повелитель,— задыхаясь, проговорил карлик, бросаясь к ногам Иоанна.— Измена проникла в эти стены.

— Измена?! — крикнул Иоанн гневно — Кто говорит в доме Иоанна об измене?

— Еще раз прости, господин, — сказал Габба, дрожащий от возбуждения. — На этот раз негодяй попался нам в руки. Он не уйдет от меня, клянусь всеми богами, которым он служил на Кармеле, когда называл себя Базилидом.

Иоанн вздрогнул и подошел ближе.

— Базилид? — спросил он.

— Да это так, — подтвердил карлик. — Я — Габба, бывший шут Агриппы. Я знаю все гнусные поступки Базилида лучше, чем кто-либо. Я ненавижу его, хотя эта ненависть и величайший грех. Базилид мой отец, а эту девушку, Мероэ, он мучил, пользуясь ею для своих дьявольских жертвоприношений. Теперь он снова встретился нам там, за дверьми, где мы ждали возвращения Регуэля. Он вышел отсюда, из этого покоя...

Недоверчивая улыбка показалась на устах Иоанна.

— Ты ошибся Габба, — сказал он, — хотя намерения твои хороши. У меня был один из самых близких друзей моих — беглец из Птолемаида.

— Да ведь Птолемаида лежит у подошвы Кармеля, — сказал карлик, дрожа от волнения. — Спроси же Хлодомара, спроси Регуэля, сына твоего...

Иоанн снова вздрогнул, и взгляд его обратился на присутствующих; все они были смертельно бледны.

— Говори же, Хлодомар, — сказал он беззвучно.

— Я тоже некогда служил Агриппе, — сказал германец, — и тогда, по его поручению, я провел Базилида, Кармельского пророка, в Гишалу. Он должен был вкратость в доверие Иоанна из Гишалы и передать царю и Веронике намерения их опасного противника. Это было в тот день, когда наместник Иосиф бен Матия объявил Иоанна вне закона и когда его галилейские союзники отпали от него. Базилид назвал себя последним из колонии...

— Хлодомар, молю тебя, остановись, — крикнул Регуэль. Он подбежал к отцу, чтобы поддержать его, но Иоанн собрал последние силы и медленно направился к двери. Глаза его сверкали.

— Благодарю вас, друзья, вы спасли Иерусалим, — проговорил он глухо, — от больших невзгод. Пойдемте же теперь к изменнику...

Иоанн не мог продолжать, глухой стон вырвался из его груди, но все-таки вышел из комнаты, держась прямо, и направился мимо стоявших на страже воинов к той части дворца, где жил Оний. Каждый раз, когда по пути ему встречался галилейский воин, Иоанн давал ему знак, и воин

присоединялся к шествию, которое двигалось вперед медленно и тихо, как похоронная процессия.

Дверь в комнату Ония была широко раскрыта. На столе посреди комнаты горела свеча, пламя ее беспокойно колебалось и бросало дрожащие отсветы на свиток, положенный под подсвечник. Комната была пуста, только на полу валялась брошенная впопыхах одежда.

Иоанн остановился на минуту на пороге, потом покачал головой, как будто ожидал случившегося, потом он вошел и вынул свиток из-под светильника. Он прочел спокойным беззвучным голосом:

«Ты слишком поздно прозрел, Иоанн из Гишалы. Базилид ушел, закончив свое дело. Сила сопротивления Иерусалима сломана, и в этом виноват ты — защитник Иерусалима, умертвивший двенадцать тысяч граждан. Если нам суждено когда-нибудь увидеться, то ты сможешь подтвердить Веронике, что я поступал согласно ее приказаниям. Большого не смог бы сделать и сам Нерон: двенадцать тысяч благородных голов были снесены при помощи нескольких жалких слов, в которых не было даже намека на правду. Прости, Иоанн, что я растравляю твои раны, но я не мог уйти, не внушив тебе некоторое уважение перед заслугами твоего друга Ония, последнего из колонии Клавдиевой»

Наступила душная тишина, все молчали. Казалось, что вина одного сразу легла бесконечной тяжестью на всех.

Иоанн повернулся и пошел к выходу. Он все еще держал свиток в руке; все замерло в его душе. Воины отступили перед ним, образуя проход; он шел вперед и никто не осмелился взглянуть ему в лицо. Регуэль преградил ему путь.

— Отец! — сказал он, протягивая руку к злополучному свитку. Иоанн остановился и взглянул на сына остановившимся потухшим взглядом. Регуэль отшатнулся, как будто его остановила рука Господня или величие вины, сиявшее на лице его отца, — безвинной вины.

Иоанн из Гишалы затворился в своем покое; напрасно Регуэль стучался в дверь до поздней ночи — она оставалась закрытой.

Вождь Иерусалима стоял у открытого окна, не двигаясь и не произнося ни звука. В его руке на ночном ветре трепетал свиток Базилида, глаза Иоанна прикованы были к светилу, сиявшему на ночном небе. Двенадцать тысяч человеческих душ взывали к Всевышнему об отмщении. Вот почему Иерусалим под мечом Господним.

Давно ожидаемые события в Риме наступили. Нерон пал жертвой своих врагов, и оставленный всеми своими сторонниками, покончил жизнь самоубийством. За ним последовал Гальба, убитый на площади. Вокруг Оттона, выбранного в цезари, начались нескончаемые раздоры и смуты, тем более опустошительные, что Вероника, действовавшая вместе с Титом, употребляла все, чтобы усилить их. Она думала, что наступил надлежащий момент для вступления Флавиев на цезарский престол. Поток золота текли в Рим, в Египет и Азию, чтобы повсюду иметь сторонников Флавиям. В войске Вероника и Тит сумели возбудить симпатию к Веспасиану и возмущение против Вителлия, полководца Оттона. Либийские легионы первые провозгласили имя Веспасиана. К ним присоединились полководцы Египта и Сирии. Солдаты окружили палатку Веспасиана, требуя, чтобы он освободил Рим от гибельных смут, низверг порочного Вителлия и восстановил в империи спокойствие и справедливость. Когда же полководец стал колебаться, они обнажили мечи, угрожая Веспасиану смертью за сопротивление воле легионов. Он вынужден был согласиться, и его тотчас же окружили солдаты, выражая ему свое повиновение и преклонение. Впереди всех шел Тит — римский легат. Как бы повинувшись божественному вдохновению, Вероника громко воскликнула в то время, как Тит наклонился и поцеловал руку отца:

— Да здравствуют цезари Веспасиан и Тит!

Веспасиан снова вспомнил день, когда на Кармеле два орла мирно делили добычу. Знамение иудейского Бога исполнилось. Он услышал приветствие, которое наполняло его душу восторгом, обещая ему власть над всем миром.

Да здравствует цезарь!

Нужно повиноваться велению Бога, тогда осуществится предзнаменование счастья и торжества. Веспасиан нагнулся к сыну, с улыбкой взглянул на Веронику, притянул Тита к себе и поцеловал его. Таким образом Рим получил в этот день двух властителей, и оба они подчинены были влиянию Вероники.

Это доказал первый поступок Веспасиана. Прежде всего он велел освободить от оков изменника Иосифа бен Матию, бывшего галилейского наместника, и сделал его своим приближенным. Он помнил, что Иосиф предсказал ему торжество. Кроме того, он считал его содействие необходимым для продолжения войны с иудеями. Вероника настаивала на необходимости завоевания Иудеи: оно возвеличит Флавиев

над всеми другими цезарями, которых они сменили на римском престоле. Нерон, Клавдий, Калигула довольствовались дешевой славой, добываемой чужими руками. На памяти живущих не было ни одной победы, в которой празднующий ее был бы вместе с тем и победителем. Такое желанное зрелище должны дать Риму Веспасиан и Тит; своими подвигами они заставят забыть свое низкое происхождение, и только тогда могущество их будет прочным и неоспоримым. Вот почему Иудея и Иерусалим должны быть уничтожены.

Агриппа глубоко вздохнул и опустил голову на грудь. Это решение Веспасиана разбивало все его тайные намерения и надежды; разорванное когтями римского орла израильское царство никогда уже не воскреснет; имя Агриппы, правителя Иудеи, не станет великим в истории народов. И кто в этом виноват? Только одна Вероника. Он готовил ее для содействия своим планам; она же отплатила неблагодарностью. Агриппа забыл, что он первый изменил всему, что свято для людей — чести, отечеству и Богу, и сам толкнул Веронику на путь преступления. Все ее благородные порывы были им подавлены и превратились теперь в неутолимую жажду отомстить ему. Ненависть Вероники чувствовалась во всех ее поступках и будила и в нем такое же чувство. Отрешившись ото всех прежних стремлений к собственному величию и могуществу, он всецело отдался злобе и страстно мечтал о том дне, когда сможет наказать Веронику. Конечно, Веспасиан цезарь, Тит его соправитель, а Вероника — жена цезаря Тита. Но этот союз пока тайный, и Вероника еще не имеет титула Августы. Единственное стремление Агриппы с этого дня — это чтобы она никогда не стала Августой.

Вероника казалась в этот день чрезвычайно мягкой и нежной.

— Когда же, о милый, — спросила она на прощанье, положив себе голову Тита на грудь, и глядя ему в глаза, — когда цезарь Тит представит цезарю Веспасиану свою супругу?

Аромат ее волос опьянил его и возбуждал его страсть.

— Когда Вероника прикажет, — сказал он, обнимая ее. — Завтра или еще сегодня.

Она улыбнулась и откинула его спутавшиеся волосы с пылающего лба.

— Как ты нетерпелив! — сказала она. — Нет, Вероника

не настолько любит почести, чтобы забывать благоразумие. Я хотела только испытать твою любовь, а не торопить тебя. Веспасиан не может возвести иудейку на престол Августы, пока не будет покорена Иудея. Вероника только тогда появится рядом с тобой, когда война будет закончена и Риму нечего будет опасаться Иерусалима. А до тех пор пусть я кажусь бессильной, закончила она в шутливом тоне, в котором однако слышалась угроза, хотя, конечно, на самом деле эта маленькая рука управляет вами всеми, не правда ли?

— Конечно, — ответил он. — Я благодарю за это богов Тит не стоял бы у порога власти над всем миром, если бы Вероника не уготовила ему этот путь.

Он нагнулся и поцеловал ее маленькую руку с выражением признательности и преданности.

Вероника засмеялась. Ей было приятно постоянно ощущать в себе презрение ко всем этим будто бы великим, а в сущности, весьма маленьким людям. Это презрение было ее единственным оправданием и единственной защитой против укоров совести. Считая неблагодарным преждевременно раздражать своими требованиями честолюбие возвеличенных ею людей, она не могла, однако, удержаться от мелких уколов из самолюбия, она не думала о том, что их грубая сила ни за что не примирится с превосходством женщины. Уже то, что Тит торопился всегда отдать ей должное, признать ее власть над собой, показывало, что он начинает тяготиться ее влиянием, хотя любовь все еще заставляет его со всем мириться. Она не заметила, что в этот день, когда благодаря ей исполнились его самые заветные желания, он оставил ее слегка расстроенный. Она занята была только радостным сознанием своей силы. Перед именем Августы Вероники исчезнут имена Мессалины, Агриппины и Пoppей Сабины. Новая эпоха настанет для мира, когда Вероника вступит на престол — быть может, благодатное время, но возможно, что и пагубное. Она сама еще не знала, что доставляет большую отраду — созидание или разрушение. Она уже знала радость созидания: в Бет-Эдене она создала в душе Регуэля сказочное здание любви — и оно погибло в пламенном дыхании жалкой стихии. В Цезарее Филиппийской она создала здание могущества для неведомого темного рода, и здание это, быть может, будет разрушено маленьким презренным племенем. Нет, Иерусалим должен исчезнуть с лица земли. Когда великий царственный город с его блистающими дворцами и величе

ственным храмом, не имеющим ничего равного себе на свете, когда весь этот избранный Богом народ будет зависеть от ее воли, тогда Вероника испытает радость разрушения и сможет определить, что выше — созидание или разрушение. Быть может, и то, и другое вместе: сначала созидание, потом разрушение...

Ее размышления были прерваны внезапным появлением человека, который подошел к ней с раболепными поклонами.

Вероника вздрогнула, узнав его.

— Оний! — воскликнула она. — Каким образом лучший друг Иоанна из Гишалы появился у Вероники? Скажи, что заставило тебя так неожиданно покинуть Иерусалим?

Он рассказал ей, что случилось. Оний не любил говорить о своих планах и этим предавать себя в чужие руки. Он сообщил только, что Иоанн каким-то образом узнал правду о письмах Вероники.

— Теперь, — закончил пророк свое донесение, — я думаю, тебе следует позаботиться о моей безопасности. Если даже Иоанн будет молчать о случившемся, чтобы не возбудить в своих сторонниках суеверного ужаса перед небесной карой за убийство невинных, то все-таки в Иерусалиме я уже не могу действовать, да там уже и ничего нельзя сделать.

— А распря между зелотами и идумеянами? — спросила Вероника. — Разве нельзя разжечь ее?

— Она совершенно улеглась, — ответил Оний. — Большая часть идумеян вернулась на родину и предоставила Иоанну полную власть над городом.

Вероника вспыхнула.

— Да ведь это, — крикнула она в гневе, — совершенно уничтожает наш план. Вместо того чтобы устранить Иоанна, мы его возвеличили. Мне кажется, Оний, ты ведешь двойную игру. Ты виноват, если идумеяне...

Оний пожал плечами.

— Ты слишком быстро судишь, повелительница, — ответил он спокойно. — Я не виноват. Все уже было подготовлено, на улицах Иерусалима начались схватки. Иоанну ничего не оставалось, как или отказаться от роли предводителя, или выступить против своих друзей и начать новую смуту. Но тогда...

Он остановился на минуту, потом нагнувшись к Веронике, спросил ее:

— Слыхала ли ты что-нибудь о бар Гиоре?

Вероника посмотрела ему в глаза.

— Ты говоришь о Симоне из Геразы? — спросила она — О предводителе шайки разбойников и бродяг?

Оний улыбнулся и покачал головой.

— На этот раз у тебя неверные сведения. Этот «предводитель разбойников» близок к тому, чтобы стать на юге Иоанном из Гишалы. Он уже овладел крепостью Мазады, ему повинуется вся местность Акрабатены, он уже близок к воротам Иерусалима. Но он не грабитель; его считают другом угнетенных и пламенным приверженцем иудейского Бога. После смерти Анания он прежде всего объявил свободу всем рабам и затем, чтобы отомстить за опустошение Иерусалима и убийство знатных родов, напал на идумеянское племя и разгромил виновников убийства. Вот почему идумеянское войско оставило Иерусалим. Конечно, цель Симона та же, что у Иоанна из Гишалы. Он хочет возбудить весь народ: богатых и бедных, свободных и рабов знатных и низких к всеобщему восстанию против Рима

Вероника задумалась

— В интересах Рима, — сказала она, — следовало бы заставить этих двух вождей столкнуться. Не находя себе места рядом, они должны будут ополчиться один на другого.

— Конечно, это единственная возможность сделать их бессильными. До сих пор Симон бар Гиора еще не занял определенного положения относительно иерусалимских событий, но я надеюсь, что при некоторой поддержке...

Он остановился и с улыбкой взглянул на Веронику. Она презрительно сжала губы и бросила ему кошелек с золотом. Оний ловко подхватил его и спрятал в складках верхнего платья.

— Значит, ты советуешь, — сказала она медленно, — натравить Симона бар Гиора на Иоанна, но как это сделать? Ты говоришь, что он не доступен соблазнам честолюбия и корысти. К тому же он верующий иудей...

— Разве ты забыла, царица, свои советы Веспасиану? Иерусалимская знать погибла, потому что zelоты затронули святость первосвященника. Почему бы Иоанну не погибнуть по той же причине? Ведь он виновен в гибели знатных родов

Я тебя не понимаю. Объясни яснее.

Симон бар Гиор должен узнать, что обвинение знатных в измене было клеветой.

Глаза Вероники загорелись

— Ты думаешь, что Симон возмутится и направит свои войска на Иерусалим.

— Несомненно.

— Кто же ему откроет правду?

Оний поклонился и сказал:

— Твой раб Оний к твоим услугам.

— Ты? — с удивлением спросила Вероника. — Какая смелость! Ты ведь ушел из Иерусалима уличенный в предательстве.

— Ты забываешь, что Иоанн совершил неосторожность. Он не объявил о невинности погибших жертв; и поэтому я могу явиться в Мазаду, к Симону бар Гиора послом от оставшихся приверженцев знатных родов, призвать его для защиты храма. Я уже все приготовил на тот случай, если ты одобришь мой план.

Оний вынул небольшой сверток. В нем оказались смятые свитки; по внешнему их виду можно было подумать, что они доставлены тайно и что принесший их подвергался множеству опасностей. На одном из них были даже следы крови.

— Это несколько капель крови знатного Анания, — сказал Оний с усмешкой. — Я сам его заколол в толпе, чтобы знать наверное, что партия знатных лишилась самого деятельного из своих вождей.

В глазах Вероники мелькнул луч беспощадного злорадства. Она выхватила свиток из рук Ония и стала жадно разглядывать бурое пятно.

— Так вот как выглядит кровь первосвященника, — сказала она резким голосом и засмеялась. — Да, в сущности, я не вижу никакой разницы между ней и всякой другой обыкновенной кровью. И это, — продолжала она, указывая на бумаги, — все, что ты придумал, чтобы погубить Иерусалим?

— Напрасно ты так презрительно говоришь, — сказал Оний. — Вот письмо к Ананию, перехваченное Иоанном; вот признание вестника, полученное Матией бен Теофилом. Там говорится, что ты поручила ему вручить письмо Иоанну. Вот твое послание к некоему Базилиду, приверженцу знатных, погибшему вместе с ними во время резни. Ты требуешь в этом письме, чтобы Базилид содействовал вестнику. Очень подробное письмо, доказывающее невинность Анания. Вот наконец письмо Матии бен Теофиля: он рекомендует своего друга Ония Симону бар Гиора и изъявляет согласие на все планы Ония для освобождения свято-

го города от ига Иоанна из Гишалы. Это письмо, — закончил Оний, самодовольно глядя в лицо Вероники, — настоящее.

Вероника встала и посмотрела на него с восхищением.

— Право же, Оний, — сказала она, — из тебя вышел бы могущественный государственный человек.

Он опустил глаза, чтобы скрыть загоревшийся в них огонь.

— Я не стремлюсь, — сказал он, — к тем опасным высотам, вблизи которых пропасти кажутся еще более глубокими. Я мечтаю только о том, чтобы спокойно и приятно провести старость. К тому же эта игра за целый народ меня прельщает. Есть какая-то дьявольская радость в мысли, что моя презренная рука управляет судьбой всего мира...

Он замолчал и с жестокой улыбкой посмотрел на нее. На губах Вероники была та же улыбка, та же радость разрушения.

Вероника овладела собой и глухим, неуверенным голосом сказала:

— Будешь ты делать всегда все, что я от тебя потребую, Оний?

— Повелевай.

— Еще не теперь. Быть может, позже, когда...

Губы ее сжались, чтобы удержать слово, которое против воли просилось на уста. Она, как бы просыпаясь, провела рукой по лицу.

— Когда же ты отправишься?

— В эту же ночь.

Она отпустила его движением руки. Когда он ушел, ее глаза мрачно сверкнули.

— Когда-нибудь, Тит, когда-нибудь...

Глава XVIII

В Мазаде у Мертвого моря жили Тамара, дочь Иоанна из Гишалы, и Флавий Сабиний, римский префект.

Они оставили вместе с проводником Вероники Птолемаиду и направились к северу, чтобы пробраться через Галилейские леса в Гишалу. А оттуда Флавий хотел бежать к Муциану, римскому наместнику. Но им не удалось далеко уйти. На третий день они увидели вдалеке всадников. Они поспешили укрыться в недалекой лесной чаще, но было уже слишком поздно. Сверкающее римское вооружение Флавия

выдало беглецов. Всадники нагнали их бешеным галопом, с диким криком и обнаженными мечами. Это была шайка отважных, одетых в лохмотья людей. Напрасно проводник заговаривал на галилейском наречии: ненавистный вид римлянина решил участь беглецов. Началась короткая схватка, проводник упал на землю с раскрытым черепом, и уже занесли меч над раненым префектом, и тогда Тамара, забыв все перед опасностью, грозящей возлюбленному, бросилась вперед, закрывая его своим телом. Ее охватил смертельный ужас, и из уст ее вырвалось имя, которое сразу заставило опустить оружие нападавших.

— Иоанн из Гишалы!

Предводитель смиренно подошел к ней, прося объяснений. Когда же он узнал, что его пленница — дочь Иоанна, он и его спутники приветствовали ее радостными криками. Они шли как раз к Иоанну, чтобы под его предводительством выступить против римлян и римского наместника Иосифа бен Матии. Таким образом Тамара и Флавий Сабиний примкнули к этой шайке бежавших преступников и бывших рабов. Римлянину странно было видеть среди них такое братское единение, какого он давно уже не наблюдал, его изумляла их непоколебимая вера в конечное торжество Бога. Никто из них не стыдился своего прошлого. Напротив, они гордились лишениями и страданиями, вынесенными за Бога и отечество. Что же это за Бог, который дает верующим такую несокрушимую стойкость? Что это за отечество, которое зажигает даже в самых презренных своих сынах пламенную самоотверженную любовь? Во время вечерних прогулок Тамара рассказала внимательно слушавшему ее префекту историю своего народа. Освобождающая мир идея Бога открылась ему более ясной и величественной в ее простых словах. Прелесть девушки придавала ее словам об истинном Боге оттенок грациозности; римлянину все это казалось знакомым по вероучениям его греческих учителей. В ее присутствии префект продолжал испытывать то высокое чувство, которое некогда будила в нем Саломея. Девичья прелесть Тамары вытеснила понемногу из его души образ Саломеи.

Отряду, среди которого теперь находились Тамара и Сабиний, никак не удавалось пробраться в Гишалу. Каждый день им заграждали путь воины Иосифа бен Матии. Происходили кровопролитные схватки, ослабляющие и без того небольшие силы изгнанников. Увидев наконец, что наместник окружает их, они решили отступить и направились

к югу; они прошли окольными путями через всю Самарию и Иудею, мимо Иерусалима, который был еще в руках аристократической партии и не открыл им ворот, и обратились к Геброну. Тамара и Флавий вынуждены были следовать за ними; с ними обходились дружелюбно, но ясно было, что их продолжают считать пленниками. Они были драгоценными заложниками для этих отверженных. У Геброна их настигло воззвание Симона бар Гиора: он созывал под свои знамена иудеев отовсюду. Уставшие от скитаний воины откликнулись на его призыв, и несколько дней спустя Тамара и Сабиний очутились в крепких стенах крепости Мазады. С ними обращались так же мягко, как и прежде, но они чувствовали, что за ними пристально наблюдают. Симон бар Гиора, несмотря на свою молодость и горячность, не оставлял без внимания ничего, что могло бы когда-нибудь оказать ему пользу.

Для беглецов наступила, казалось, после долгих скитаний пора отдыха. Но это только казалось, на самом деле каждый день приносил что-нибудь новое для Сабиния и девушки. Вид окружающей его мертвой природы будил в римлянине печальные, чуждые миру мысли; одинокое море у ног его казалось ему похожим на его собственную судьбу. И он, подобно этому морю, оторван от всех радостей отчизны; он чужой между чужими, лишь капля в мировом океане великой мрачной судьбы человечества. Тамара должна была употребить всю свою силу любви, чтобы бороться против отчаяния Сабиния. Но даже любовь ее увеличивала его грусть.

Тамара любила его, и он ее любил; она оживляла его душу своим чистым дыханием. И все-таки он никогда не испытает счастья обнять ее тонкий, гибкий стан, прочесть в ее глазах признание ее любви и назвать ее своей женой. Никогда Тамара, дочь Иоанна из Гишалы, не будет принадлежать язычнику римлянину; эта мысль еще более омрачала его дух.

Однажды он ходил по крепостному двору, погруженный в отчаяние. Вдруг он услышал какие-то голоса, доносившиеся из маленького, стоявшего поодаль дома. Что-то влекло его туда, и он вошел внутрь. Он очутился в простой, ничем не украшенной комнате, разделенной на две части: в передней, более низкой, стояло множество воинов, а в глубине виднелось возвышение вроде алтаря; в стене, обращенной к северу, был закрытый занавесью шкаф, а вблизи него — восмиконечный, украшенный надписями,

подсвечник. На возвышении стоял седовласый старец и читал что-то из свитка, только что вынутого из льняных покровов, украшенных серебряными полосами. Он произносил слова проникновенным благочестивым голосом, и присутствующие стоя внимали ему.

Префект понял, что он попал в молельню крепости, и хотел уже удалиться, как вдруг он увидел Тамару. Она стояла вместе с другими женщинами, она увидела его и приветствовала легким поклоном головы. Как очарованный, он остановился и смотрел на девушку. Погруженный в печальные мысли, он очнулся только тогда, когда чья-то рука опустилась ему на плечо.

Пред ним стоял Симон бар Гиора; он показывал ему на проход, освобожденный воинами в передней части молельни. В конце прохода вблизи читающего Флавий увидел группу людей. Это были его спутники во время бегства из Галилеи в Мазаду; но ведь они язычники... Неужели?..

Взволнованный, он обратился с этим вопросом к вождю. Симон усмехнулся.

— Эти люди, — ответил он ему, — были язычниками, когда явились в Мазаду; но со вчерашнего дня они уже другие. Посмотри на тех двух, которые стоят впереди: один бывший испанский гладиатор, другой римлянин, как и ты; но через некоторое время, когда они поднимутся на возвышение в глубине, около них сядут их друзья из иудеев, чтобы произносить обеты за них; они оставят молельню после этого не как чужие, а как братья, не испанцем и римлянином, а иудеями.

Сабиний вздрогнул и взглянул ему в глаза.

— Что они сделали, — спросил он взволнованно, — чтобы удостоиться такого превращения?

Симон снова усмехнулся.

— Что они сделали? Только признали единого Бога и согласились носить знак нашего союза.

Римлянину показалось, что небесный свет проливается на него. Они признали единого Бога... Но разве он сам уже не признал его давно в глубине души. И все-таки душа его колебалась порвать со всем, давно привычным, со всем, что ему было дорого, с отечеством и семьей. Внутренняя борьба душила его. Слова читающего старца проникали ему в глубину сердца. Он отшатнулся от бар Гиоры, который смотрел на него выжидающе, и выбежал на улицу. Как долго он бежал вперед, он не знал. Он пришел в себя, лишь когда его окликнул голос часового. Подняв глаза, он уви-

дел, что стоит на стене крепости, окружающей Мазаду со стороны моря. Там, перед мертвым однообразием моря, умолкла борьба в его душе и странное блаженное спокойствие наполнило его душу. На лице его лежал отблеск неземного света, когда он снова вернулся в молитвенный дом и, пройдя через строй воинов, встал рядом с испанцем и римлянином.

В этот день Флавий Сабиний, племянник Веспасиана, сын римского консула, стал иудеем, членом общины преследуемых, обреченных на гибель израильтян.

Для Флавия Сабиния с этого дня началась новая жизнь. Все вокруг него приняло измененный и просветленный вид. Симон бар Гиора и воины Мазады и прежде относились к нему сочувственно, но все-таки он чувствовал, что их разделяла пропасть. Теперь все это исчезло. Полководец посвящал нового товарища в свои планы и относился к нему с уважением и доверчивой дружбой. Вскоре Флавий Сабиний стал даже одним из главных руководителей движения на юге Иудеи. Он учил воинов военному делу.

И Тамара изменилась с того дня, когда любимый ею римлянин вступил в союз с ее Богом. Все ее существо было по-прежнему проникнуто девственной сдержанностью, она все еще избегала Сабиния, но в ней уже вспыхивала женская потребность любви, в ней просыпалась уже любящая женщина.

Однажды из Иерусалима пришли вестники, очевидно, с очень важными сообщениями. Симон бар Гиора принял их наедине.

Замок, некогда построенный Иродом на неприступной скале, был полон народа. Повсюду стояли оживленно разговаривающие воины. Видно было волнение на их лицах, и, когда Флавий Сабиний проходил мимо, он услышал повторенное несколько раз имя Иоанна из Гишалы. Но Флавий не обратил на это внимания, его занимала девушка, только что вышедшая из двери в крепостной стене. Это была Тамара. Она, очевидно, направлялась, как всегда, к песчаному холму у подошвы горы. Она любила сидеть там, погружаясь в грустное и странное очарование Мертвого моря. Сабиний тихо пошел за ней, чтобы не испугать ее. Тамара вдруг остановилась и нагнулась за чем-то на вершине дюны. Сабиний не мог разглядеть, что это было. Он остановился, выжидая, когда Тамара пройдет дальше, но она присела на землю и затем вдруг крикнула Флавию, не показывая никакого удивления, словно она знала, что он там:

— Смотри, что я нашла!

Сабиний подошел к ней и увидел, что из песчаной почвы поднимался низкий невзрачный кустик с тупыми сморщенными листьями и иссушенными, лишенными стебля красноватыми цветами, стянутыми в плотный клубок.

— Этот цветок в народе называют иерихонской розой,— сказала Тамара в ответ на удивленный взгляд Сабиния.— Это цветок тайны.

— Мне кажется, что он похож на сердце девушки,— сказал он задумчиво: — И оно тоже уходит в себя, как лепестки этого цветка, и закрывает от пытливых взглядов то, чем оно полно. И никогда нельзя проникнуть в него.

— Никогда? — переспросила она, и легкий румянец покрыл ее нежное лицо. Потом она лукаво улыбнулась и кокетливо взглянула на него из-под опущенных век.— Как знать? Перед тем, кто проник в тайну, цветок не боится раскрыть себя...

Он заглянул в ее обращенные на него с дразнящей улыбкой глаза. Неужели исполнится его заветная мечта? Если то, что он только что прочел в глазах Тамары...

— Тамара,— сказал он, пытаюсь взять ее за руку.

Она отняла от него руку и слегка улыбнулась, но он почувствовал ее легкое пожатие.

— Не ранее,— сказала она,— чем иерихонская роза откроет свою чашечку...

— А когда же это случится? — спросил он.

— Когда на нее упадет освежающая капля влаги,— ответила она задумчиво.— В самом деле, ты прав, цветок этот похож на человеческое сердце. Один только свет, сухой горячий свет солнца не дает распуститься цветку, если его не смягчит теплое и влажное дуновение весны и не вернет ему мягкости и гибкости; цветку и сердцу нужны дождь и любовь.

Она взглянула на него мягким, ласковым взглядом.

— Я не понимаю тебя, Тамара,— пробормотал он.

Она засмеялась прежним светлым, освежительным смехом.

— Неужели же я должна объяснять тебе это, слепец? — весело сказала она, но в голосе ее слышались теплые звуки взволнованного чувства.— Оглянись вокруг себя, что ты видишь?

— Песок и солнце.

— Песок дело солнца,— прибавила она.— Чего не достает этому песку, этой омертвелой почве, чтобы вернулась

к ней сила и чтобы все в ней зацвело и зазеленело, как те кипарисы в Энгадине?

— Не достает воды...

— Ну так вот, слушай же. В Иерихоне жила некогда гордая, величественная царская дочь, прекрасная, как роза, когда она ночью открывает свои лепестки и наполняет воздух упоительным ароматом. И многие напрасно добивались ее руки. Сердце ее полно было строгости, и она никому не внимала. Наконец сын солнца проведал про ее красоту и отправился взглянуть на нее. И он проникся горячей любовью к ней. Но и его она оттолкнула от себя. Он впал в бесконечную грусть, захирел и исчез, став облаком. Но когда его не стало, она увидела, что именно его она и любила. А мать юноши, солнце, разгневанное холодностью царской дочери, послало свои самые палящие лучи, чтобы уничтожить ее. И она засохла в тоске об исчезнувшем, сделалась жесткой и сморщенной, и царство, в котором она жила, превратилось в песчаную пустыню. Но еще более она замкнулась в себе с неумолимой гордостью, чтобы никто не коснулся ее красоты. Так она обречена стоять до тех пор, пока не сжалится над ней душа солнечного бога и не спустится к ней в теплые дождливые летние ночи. Тогда она широко раскрывает свои объятия возлюбленному и, пылая стыдом, впивает росу его очей. Потом она снова уходит в себя, когда он прощается с ней. С тех пор люди прозвали ее иерихонской розой, цветком тайны, символом нежной и кроткой любви.

Сабиний внимательно слушал ее. Он нагнулся к иерихонской розе и заботливо вынул ее вместе с корнем. Тогда она увидела, что он ее понял. Разве солнечный бог мог спуститься к ней здесь, в пустыне, лишенной дождя и воды? Разве Тамара — не иерихонская роза, вырванная, как тот цветок, из родной почвы, лишенная отеческого дома? Она тоже стоит беззащитная среди чужих и должна ограждать себя строгой замкнутостью. Она должна защищаться и против него, своего возлюбленного, против своего собственного мятежного тоскующего сердца. Придет ли когда-нибудь день, в который обоим им возвращена будет свобода и они смогут открыто говорить о любви?

— Дай мне розу, — попросила Тамара, когда они молча направились обратно в крепость.

Он удивленно взглянул на нее. Она улыбнулась ему.

— Когда иерихонская роза... — пробормотала она и замолчала, отворачивая свое вспыхнувшее лицо.

Он подал ей розу, не говоря ни слова. Но рука его при этом дрожала и его взор искал ее глаза. Они обменялись длинным горячим взглядом. Когда иерихонская роза распустится для него?..

Это было их последним свиданием. Когда они вошли на крепостной двор, им навстречу вышел Симон бар Гиора, окруженный толпой воинов и женщин. Все готовились сняться с места.

— Мне глубоко жаль, Тамара, — сказал он девушке, — что я должен сообщить тебе дурные вести, но я не могу скрыть их от тебя. Я узнал от верных вестников, что Иоанн из Гишалы, твой отец, нарушил клятву послушания синедриону и погубил невинных людей из знатных родов Иерусалима. Невинно пролитая кровь взывает о мщении Симон бар Гиора — защитник праведного дела и не может позволить, чтобы даже Иоанн из Гишалы запятнал его знамя.

Девушка побледнела.

— Ты говоришь, что отец мой нарушил клятву? — воскликнула она с возмущением. — Он, для которого Бог выше любви к людям и к себе? Это неправда, Симон бар Гиора. Или вестник твой лжет, или...

— Остановись, — перебил он мрачно. — Женщине не подобает судить о поступках мужей. Но я прощаю тебя, ты дочь обвиненного. — Затем он сказал чужестранцу, стоявшему за ним и смотревшему с ненавистью на девушку: — Скажи ей сам, Оний.

Лицо Ония засветилось торжеством.

— Я, Оний, друг и доверенный благородного первосвященника Матии бен Теофиля, еще раз утверждаю это и готов сказать всякому в лицо. Иоанн из Гишалы — виновник смерти иерусалимских знатных родов. Он хотел завладеть Иерусалимом и действовал из преступного честолюбия, которое давно заглушило в нем мысль о родине. Да погибнет изменник, Иоанн из Гишалы...

Возгласу его вторили воины, стоявшие на площади и готовые отправиться в Иерусалим. Все они узнали страшную весть о последних событиях в Иерусалиме и возненавидели Иоанна из Гишалы за предательство.

Флавий Сабиний стоял, ошеломленный несчастьем, обрушившимся на него и на его возлюбленную. В первый раз он увидел призрак раздора, который уже давно вступил в стены Иерусалима; здесь, в тихой Мазаде, он еще был не виден. Им овладели страх и печаль за судьбу этого народа

Он понял, что Рим сумеет воспользоваться смутой в лагере врагов.

— Ты сама понимаешь теперь, девушка, — сказал Симон бар Гиора Тамаре, — дочь врага отечества становится для нас не тем, чем была дочь союзника и друга. Поэтому, как это мне ни горько, но ты будешь продолжать путь не вместе с женами и детьми, а рядом со мной и под стражей. Это тяжело для девушки, но я надеюсь, — сказал он и с улыбкой взглянул на стоящего около него Флавия Сабиния, — что моими усилиями и при помощи нашего друга удастся смягчить твою участь.

Она едва слышала его слова и очнулась лишь тогда, когда услышала глухой голос Сабиния:

— Что ты намерен предпринять, повелитель?

Симон бар Гиора побледнел, потом резкая краска покрыла его щеки и глаза сверкнули.

— Нужно освободить Иерусалим от убийц и очистить храм от преступников, проливших кровь. Не возражай, — вскипел он, когда Сабиний попытался что-то сказать. — Это решено.

Когда на следующий день солнце взошло над зубцами крепости Мазады, оно уже не осветило обычной суеты просыпающегося военного лагеря. Оставлен был лишь маленький отряд для защиты крепости от внезапного нападения. Но к северу, по направлению к Геброну, извивалась длинная колонна вооруженных людей с Симоном бар Гиора во главе. Рядом с ним шел Оний. Насмешливая улыбка искривила его губы, скрытая бородой, когда он оглядывался на идущих за ними вооруженных людей. «На этот раз ты не уйдешь от меня, Иоанн», — сказал он про себя.

Носилки Тамары окружены были стражей. Сабиний ехал рядом с ней. Она встречала его грустной улыбкой каждый раз, когда он нагибался, чтобы сказать ей несколько слов утешения. Она касалась рукой иерихонской розы, которую носила при себе, и глаза ее полны были слез. Когда же ты раскроешься, таинственный цветок?

Снова вспыхнула в Иерусалиме междоусобная распря. Симона бар Гиора первосвященник бен Теофиль встретил как спасителя, и тотчас же после его прибытия началась осада храма, защищаемого Иоанном из Гишалы. Снова полилась кровь лучших граждан города. Оний уже полагал, что цель его достигнута и Иерусалим совершенно обескров

лен В это время пришла весть, что Веспасиан завладел Египтом и послал Мукиана в Италию против Вителлия, что Вителлий убит римской чернью, а Тит направляется с огромным войском в Иерусалим, чтобы, покорив иудеев, окружить победоносным орлом имя Флавиев.

Понимая, до чего иерусалимские распри опасны ввиду приближения Тита, Иоанн из Гишалы принял решение которое давно уже обдумывал Он попросил перемирия на один день. Несмотря на сопротивление Ония, Симон бар Гиора согласился, и Иоанн велел тотчас своим служителям отнести его на носилках в лагерь врагов. Напрасно друзья его старались удержать его. Даже Регуэль был бессилен Иоанн мрачно качал головой, и в его лихорадочном взоре видна была тревожная поспешность

— Пустите меня, друзья, молил он. — Я уже давно чувствую, что слишком слаб, чтобы управлять Иерусалимом. Преступно пролитая кровь гнетет меня, а коварный враг внутри, — он указал на грудь, из которой исходили хрипящие звуки, — застилает мне взор. Я разучился быть вождем. Молодая сила должна вытеснить немощную старость. Малодушие и раскаяние пригодны в келье грешника, но им не место управлять отчизной, и потому

Он вытянул исхудалую дрожащую руку по направлению к палатке Симона бар Гиона. На его возбужденном лице видно было непоколебимое решение сдаться.

— Это будет гибелью для всех нас, — проговорили все, опустив головы.

— Лучше погибнуть нам, чем Иерусалиму, — сказал Иоанн и сделал знак слугам нести вперед носилки.

Симон бар Гиора принял его, окруженный войском. Он поднялся навстречу больному Иоанну, и тот с огромными усилиями встал из носилок и приблизился к нему с опущенной головой

— Я пришел к тебе, — сказал тихо Иоанн и поднял свой взгляд на мрачное лицо Симона. — Старость пришла к юности, прошлое к будущему. Я хочу, чтобы ты понял, что отечество гибнет из-за нашей распри.

Симон бар Гиора рассмеялся.

— Из-за нашей распри? — повторил он резко. — Кто же виновник несчастья, кто навлек на Иерусалим гнев Божий? Я не был сторонником знатных родов, но я враг лжи, выдуманной твоим безграничным честолюбием Не думай, что ты можешь меня обмануть, как ты обманул своих сторонников В моих руках доказательства твоей измены

и потому, несмотря на перемирие, я воспользуюсь возможностью расправиться с тобой.

Он схватил за руку стоявшего перед ним Иоанна и заставил его встать на колени.

— Смотри, народ иерусалимский, смотри на Иоанна из Гишалы, изменника своей родине!— крикнул Симон.

Возгласы негодования слышались из группы сторонников Иоанна, пришедших с ним. Они столпились вокруг него, защищая его своими телами, впереди всех был Регуэль, который спешил поднять отца с земли. Но Иоанн не позволил этого.

— Оставь,— сказал он.— Это справедливая кара. Я давно хочу искупить свою вину пред Богом. Ты не знаешь, как я страдаю. Для меня отрада лежать здесь в пыли и чувствовать карающую руку Господа.

Регуэль приходил в отчаяние. Смятение увеличивалось, галилеяне уже хватались за мечи, чтобы обороняться, а под предводительством Хлодомара из храма спешил отряд зелотов. Битва казалась неизбежной. Но вдруг среди воинов показалась женская фигура. Она опустилась на землю рядом с Иоанном из Гишалы, все еще стоявшим на коленях, и обняла голову старика.

— Тамара,— вскрикнул он.— Тамара, это ты?

— Да,— ответила она, рыдая и целуя его руки.— Это я, твоя Тамара, твое дитя. Но...

Она обернулась к бар Гиоре. Он обнажил меч и встал во главе своих людей, чтобы вести их против галилеян и зелотов. Она быстро вскочила и откинула назад волосы, опустившиеся ей на лицо от резкого движения. Глаза ее сверкнули, и, встав между воинами, она сказала громко:

— Слушайте, воины, это я, Тамара, дочь того, который здесь унижен. Перед всеми теми, которые любят отечество не менее тебя, перед лицом святого города и вечного храма, перед лицом Всевышнего спрашиваю я тебя, Симон бар Гиора, почему ты обвинил Иоанна из Гишалы в предательстве?

Повисла глубокая тишина. Даже самые возбужденные поняли, что девушка спрашивает справедливо. Симон бар Гиора облегченно вздохнул. Он видел, что и среди его приверженцев многие не одобряют его поведения относительно Иоанна из Гишалы.

— Ты спрашиваешь, девушка,— сказал он,— о вещах, которые нам всем известны. Отец твой стремился к власти и поэтому хотел удалить представителей знатных родов. Он

нашел средство лишить их доверия народа. Он подделал письма, по которым будто бы видно было, что противники его заключили союз с Вероникой, Агриппой и римлянами. Эти ложные письма он распространял в народе. Так он обманывал и проливал невинную кровь.

Иоанн из Гишалы вздрогнул как от удара бича и гордо поднял голову.

— Ты лжешь, Гиора, — крикнул он, — я никогда...

Он не закончил. Тамара мягко взяла его за руку.

— погоди, отец, — сказала она. — Я знаю Симона бар Гиора. Он вспыльчив и нетерпелив, но он добр и честен. — Обращаясь затем к Симону, она продолжала: — Ты говоришь о письмах, но где же они? Принеси мне доказательства, покажи их нам, и клянусь Всемогущим Богом, если твое обвинение справедливо, сам отец отдастся тебе на суд и никто из его людей не поднимет меча против тебя...

— Клянусь в этом, — подтвердил Иоанн и выступил вперед, поддерживаемый своими детьми.

Симон бар Гиора был изумлен твердостью человека, вина которого была так очевидна. Он обернулся в ту сторону, где до прибытия Иоанна стоял доверенный его невинных жертв.

— Оний! — позвал он.

Но никто не отвечал. Никто не шел на его зов. Он позвал еще раз.

Иоанн из Гишалы вздрогнул, и глаза его широко раскрылись.

— Оний? — переспросил он. — Это он дал тебе эти письма?

Симон бар Гиора кивнул: страшное подозрение закралось в его душу.

— Оний! — крикнул он в третий раз.

Из толпы воинов вышел один человек.

— Я встретил его на улице, ведущей к складам, — сказал он.

— Если это тот же Оний, — сказал Иоанн, — то читай...

Он подал ему свиток, который Базилид оставил в своей комнате перед бегством.

Симон бар Гиора взял свиток и стал его читать. Потом он вдруг упал к ногам Иоанна, к ногам того, который только что лежал перед ним в пыли...

— Прости! — крикнул он. — Прости...

Иоанн наклонился к охваченному отчаянием Симону и обнял его. Воины безмолвно окружили их.

Вдруг крик ужаса раздается на площади. С треском поднялось над крышами домов Иерусалима страшное пламя. Перебегая от склада к складу, оно охватило в одну минуту все кладовые. С ним удалось уничтожить запасы священного города.

В то время, как первые языки пламени поднялись к небу над иерусалимскими кладовыми, на дороге из Габат-Саула показался отряд блестящих вооружений и со сверкающими копьями. Впереди мая на быстром коне римский тегат и победным движением прогирал руку над городом, видневшимся вдали. Это был Тит.

Глава XIX

Наступило восьмое (а 13) год со времени построения первого храма Соломон. Что стало с Иерусалимом? Исчезла зелень садов и роц, нюгда расстилающихся вокруг города. Деревья пшли и пстрой у укреплений, кустарники сожжены были римскими сторожевыми постами, а холмы, окружавшие город, овалны были с землей под копытами легионов, мащих на поле битвы.

Пали все стены, защищавшие город, и битва велась теперь вокруг самого храма. Обе стороны сражались с одинаковой храбростью. Прюдутаилась смерть, безжалостно косившая и воинов, и многих граждан, мужчин и женщин, старцев и детей. Несчисленное число иудеев пало, защищая город. Одни погибли от камней и стрел, другие бросались в пропасти, ища добровольной смерти. В городе царил голод, мор и глубокое отчаяние. Иерусалим стал походить на гнездо диких зверей, рздиавших друг друга. Женщины отнимали последние куски у мужей. матери у детей. Трупы погибших от голода лежали на улицах, распространяя заразу. То, что щадило голод, г.б.о. от меча. Шайки одичалых людей ходили по улицам, врывались в жилища, грабя всех, не останавливаясь ни перед чем в своей безумной жажде разрушения. Уничтожение было всяким стыдом, всякая брезгливость, голод заставлял этих смых отвратительных животных, а потом кожу обуви и ремни щитов, испорченную солому и сено. Одна знатная женщина, приехавшая в Иерусалим на праздник Пасхи и попавшая в осаду, задушила в безумии собственного ребенка и съела его.

И все-таки смерть и голод отчаяние и ужасы не сокрушили мужества иудеев. Римлянам приходилось ценой крови

отвоевывать каждый метр города. Падение городской стены и осада храма не уничтожили надежд иудеев. Пока не сокрушен священный храм, Бог не ставит своего народа

Дворец Грантов в нижней части города уцелел, защищенный гигантским зданием храма. Утром девятого аба глубокая тишина царила в его длинных переходах; изредка только человеческая тень скользила по злитым солнечным светом галереям. В покое, где жил Иоанн из Гишалы, собралось несколько человек. Симон ба Гиора только что оставил смертельно больного Иоанна Габба стоял с Мероэ в стороне, стараясь заслонить от девушки больного, чтобы не вызвать снова тяжелых видений в его больном мозгу. Тамара сидела у постели отца и с ужаом следила за переменами в его лице. Врачи уже давно осудили его на смерть, но дух его все еще был жив.

— Боже, — молился Иоанн, — еси зоя Твоя такова, что Иерусалим и храм Твой должны ичнуть с лица земли, то пусть последний камень разрушенной звятыни раздробит мою голову, чтобы я не попал в руки римлян.

— Отец, — сказала Тамара, наклся к нему, положив ему руку на горячий лоб. — Опомнсь храм не тронут. Римлянин не осмелится напасть на звятью, он сам преклоняется перед ней...

Иоанн грустно покачал головой.

— И все-таки он разрушит его, — трговорил он с горечью. — Новый дух овладел землей, дух отрицания. И он сметет с лица земли нас, детей Израия, которые долго противились ему. Потом наступит зтой потоп, более губительный и страшный, чем первый. Ечера было решено на римском военном совете, что храм будет сожжен...

Тамара вскрикнула от ужаса.

— Это невозможно, отец, на это быне решился и сам Нерон, а Тит...

— Тит был против этого, но Вюонка доказала ему, что все силы Израия сосредоточены теерь вокруг храма, и разрушение его навсегда сломит мсущество иудеев. Но, — перебил он себя, — ты слышишь паги? Это Хлодомар, я послал его за Регуэлем и Сабиним. Я многого не исполнил в своей жизни, но не могу умереть, не устроив своих домашних дел.

Он с трудом поднялся и позвал всех. Хлодомар остановился почтительно у двери, Регуэль брсился на колени у постели отца, Флавий Сабиний стоял в нерешимости

посреди комнаты, опасаясь быть нескромным Но Иоанн ласково подозвал его.

— Подойди ближе, Сабиний,— сказал он — Ведь ты теперь наш. Римляне не могут сказать, что иудеи неумело сражались,— их учил Сабиний Ты честно сдержал обет верности, который дал нашему народу,— честнее, чем многие иудеи... Теперь же нужно тебя освободить от данного обета, тем более что скоро рухнет понятие родины. Ее не станет для иудеев.

— Иоанн,— сказал Флавий Сабиний взволнованно,— неужели ты считаешь меня способным бросить в несчастье тех, которые приютили меня?

Иоанн грустно улыбнулся.

— Мне кажется, что ты немного счастья видел у нас Но,— прибавил он,— я хотел освободить тебя от одних уз с тем, чтобы связать тебя другими. Тебя привела к нам рука Божия, но посредством другой человеческой руки и — ведь я прав, Тамара?

Тамара покраснела и опустила глаза.

Флавий Сабиний радостно посмотрел на Иоанна и опустился на колени около девушки. Тамара еще более покраснела, потом, рыдая, бросилась к отцу и прижала к губам его руки.

Иоанн нежно обнял ее.

— Помнишь, ты мне рассказывала о невзрачном стыдливом цветке, который распускается только под влагой земной печали.

— Иерихонская роза,— прошептала она

— Да, иерихонская роза,— задумчиво повторил он Она есть у тебя, Тамара? Принеси ее сюда Это все, что я имею,— сказал он Сабинию, когда девушка вышла из комнаты,— и что могу тебе дать в награду за твою верность, Сабиний. Больше у меня ничего не осталось Ведь родина моя...— Голос его стал глубоко печальным — О что они сделали с моей родиной!

— Ты мне дал самое лучшее,— мягко сказал Сабиний.— И я буду беречь это величайшее из твоих сокровищ...

Тамара вернулась и поставила перед Иоанном иерихонскую розу и кувшин. Потом она опустилась на колени рядом с Сабинием и робко дала ему один из стеблей степного цветка, а сама взяла другой. Иоанн из Гишалы открыл крышку кувшина и вылил воду на розу.

— Подобно розе иерихонской, ваша любовь выросла на

знойной, сухой почве, среди горя и несчастья. Пусть святая вода Иордана, ставшая теперь водой печали, напоит ее, чтобы она распустилась и после долгой ночи открыла свою душу солнечному лучу. Смотрите!

Иерихонская роза, цветок тайны, распустилась и сияла в солнечном свете. Флавий Сабиний смотрел на нее восхищенным взором, как на чудо.

— Флавий Сабиний, я тебя вопрошаю: хочешь ли ты взять эту девушку в жены? — спросил торжественно Иоанн.

Ликующее «да!» вырвалось из его уст, и, обняв Тамару, он наклонился вместе с ней к отцу, прося его благословения.

— Боже, Боже! — проговорил Иоанн, и взор его устремился на солнечный луч, освещавший комнату. — Будет ли солнечный свет сиять в жизни этих детей?

* Когда Тамара и Сабиний ушли, нежно попрощавшись с отцом, Иоанн долго еще глядел на солнечный луч, ворвавшийся в комнату, и лицо его озарялось внутренним светом.

— Пришло время вернуть в руки Создателя его дар, — сказал он сильным и ясным голосом. — Регуэль, помнишь ли ты свой обет служить делу родины каждой своей мыслью, каждым движением?

— Помню, отец, — твердо ответил Регуэль, — и в час гибели я буду около тебя.

— Нет, — ответил Иоанн. — Только слабым должно умирать. Ты же силен: твой святой долг — месть!

Глаза Регуэля вспыхнули, он схватился за меч.

— Месть?

Из груди Иоанна послышался глухой стон.

— Да, месть, — шептал он. — И разве ты не знаешь, кому нужно отомстить? Кто предал Бога и отечество врагу? Вероника. Кто попрал стыдливость иудейки и отдался язычнику? Вероника. Кто поселил раздор в Иерусалиме и вселил в римлян дух разрушения? Вероника. В тот день, когда иерусалимская святыня будет сожжена, пламя это сделает Веронику владычицей мира. Но ей грозит месть, и она в твоей руке, Регуэль. Когда Вероника будет на вершине власти и будет упиваться радостью разрушения, ты должен будешь наполнить кубок ее торжества кровью ее собственного сердца. Месть должна быть столь же великой, как и преступление... Вероника должна умереть на пороге к торжеству.

Он наклонился к сыну и вынул у него меч из ножен. Светлая сталь засверкала в солнечном свете.

— Поклянись мне, Регуэль, чистотой этого меча, поклянись умирающей душой отца, поклянись именем Всевышнего, что ты исполнишь долг мести...

Регуэль трижды поднял руку и трижды поклялся мечом, отцом и Богом. Потом отец и сын обнялись долгим прощальным поцелуем.

— На твою долю выпадает самое тяжелое, — сказал Иоанн после короткого молчания. — Тебе придется смотреть, как умирают братья, и ты не сможешь помочь им. Ты должен быть свидетелем гибели Иерусалима, и взор твой не посмеет дрогнуть. Вот что ты должен сделать. Из западной части дворца старый подземный ход ведет далеко за крепостной вал римлян к масленичной горе. Когда пламя покажется над храмом, спустись в него, выйди из города и тогда будь римлянином для римлянина, сирийцем для сирийца, арабом для араба, пока ты не исполнишь своего обета.

— А ты, отец?

Иоанн из Гишалы ничего не ответил. Послышался страшный, пронзительный крик. Казалось, земля разверзлась и собирается поглотить человечество.

Регуэль подбежал к окну. Он отшатнулся, бледный и дрожащий.

Горел храм.

На лице Иоанна показалась чуть заметная улыбка.

— Он зовет, — прошептал он, широко раскрыв глаза, и руки его вытянулись. — Всевышний зовет меня!..

Несмотря на требование Вероники и военачальников, Тит не решался приступить к уничтожению храма. Он благоговел перед великим произведением искусства, равного которому не было даже в самом Риме. Он сам еще утром отдал приказ потушить пожар, начавшийся в храме по чьей-то вине.

Вероника гневно топнула ногой, когда Оний передал ей о нерешительности молодого цезаря, и на губах ее показалась презрительная улыбка. Но вдруг лицо ее вспыхнуло, потом стало смертельно бледным.

— Где Тит? — спросила она отрывисто.

— Он уже вернулся к себе в палатку.

— А у храма еще продолжается бой?

— Да, продолжается, но без огня римляне не победят.

— Я знаю...

Как долго продолжится это невыносимое положение?

Уже прошли многие месяцы, а жалкий народ все еще не покорен. Вероника жаждала власти над Римом, как изнемогающий от жажды человек хочет капли воды. Здесь, в лагере грубых, не понимающих ее красоту воинов, она была только сестрой Агриппы, слабого, ничтожного царя. А в Риме — о, когда удастся ей поднести к губам опьяняющий кубок власти и выпить этот освежающий напиток?..

— Ты умеешь быть отважным, Оний? — спросила она вдруг.

— Испытай меня.

— Я хочу... бросить горящий факел в храм... Иди, возьми у кого-нибудь из моих телохранителей вооружение для себя и пришли мне сюда моего эфиопа.

Глаза Ония вспыхнули, он понял ее и быстро вышел из палатки.

На лице эфиопа еще видны были следы бед-эденских ожогов. В глазах его все еще горело мрачное пламя страстной любви к царице. Он все еще ждал.

Он покорно остановился у порога. Вероника рукой подзвала его к себе и подала условный знак. Он направился в угол палатки, вынул из ящика богатое вооружение и бросился к царице, чтобы помочь ей надеть его.

Когда Оний вошел снова в ее палатку, он был поражен видом царицы.

— В этом виде ты всегда будешь иметь толпу телохранителей, — сказал он. — Всякий примет тебя за Тита.

— Я заказала себе такое же вооружение. Если работа удалась, то тем лучше. Римляне будут храбрее в присутствии полководца...

По дороге к храму они увидели Агриппу.

— Осажденные сделали новую вылазку, Тит, — крикнул он еще издали взволнованно. — Боюсь, солдаты твои не устоят. Иудеи сражаются, как...

— Вероника, это ты? — проговорил он, когда подошел ближе. — Что ты задумала?

Вероника насмешливо взглянула на него.

— Вот все, что может сказать царь иудейский? Он убегает, потому что бой опасен. Какое несчастье для римлян, что все иудеи не такие, как их царь. Спешి домой, добрый Агриппа, там, куда мы идем, будет опасно...

Она повернулась и пошла дальше с Онием и эфиопом. Агриппа задрожал от гнева.

— Ты увидишь, что я...

— Что ты не трус? В таком случае иди с нами. Завтра

уж будет поздно показывать храбрость. Завтра Иерусалима не будет...

Агриппа побледнел.

— Что ты задумала?

— Иди с нами и увидишь.

Она пошла вперед, Агриппа последовал за ней.

Бой продолжался у северной стены храма. Иудеи воспользовались тем, что часть осаждавших была занята тушением огня, и сделали вылазку. Римляне уже отступали, когда на месте сражения появилась Вероника. Ее появление подействовало, как чудо.

— Тит пришел нам на помощь, — закричали римляне и с новой силой бросились на врагов.

Вероника шла вперед, высоко держа меч; рядом с ней шли эфиоп и Оний с горящими факелами в руках.

— Тит и легионы! — крикнул Оний, а эфиоп вторил ему страшными криками, возбуждая ужас у иудеев своим почти голым черепом, налитыми кровью глазами и вздутыми мускулами на руках.

Иудеи готовы были уже обратиться в бегство, но их предводитель, сильный и храбрый воин, выступил вперед.

— Я уже давно жажду чести, — воскликнул он, — пасть от руки цезаря. Исполни же, Тит, мое желание, если слава твоей храбрости справедлива.

Он бросился на царицу, обнажив меч. На минуту его воины остановились и римляне тоже опустили мечи, наблюдая за завязавшимся поединком. Эфиоп хотел броситься на иудея, но Вероника удержала его властным взглядом. Лицо ее было бледным, но не от страха за жизнь. В ней что-то дрожало, быть может, это был ужас женщины перед кровопролитием. Она знала, что убьет этого великана — она, Вероника. Это ее и страшило, и влекло, но желание превозмогло отвращение.

Когда иудей бросился на нее, она стояла неподвижно, разглядывая его. Было что-то мягкое в его возбужденных гневом глазах. Он, наверное, не создан был воином, а был в мирное время одним из учеников в храме и сидел у ног своих учителей, впитывая с жадностью истины Божественного учения. Только война, разрушающая все великое, благородное и человеческое, пробудила в нем зверя.

Он уже поднял меч, чтобы опустить его ей на голову. На минуту все исчезло перед глазами Вероники. Она отскочила в сторону, уклоняясь от его удара, и одним прыжком бросилась к нему, ударив его коротким кинжалом в шею

Иудей зашатался и упал, из зияющей раны полилась кровь. Перед смертью у иудея появилось в глазах прежнее выражение кротости и доброты; черты его осветились мягкой, почти детской улыбкой.

В первый раз она убила, в первый раз почувствовала опьяняющую радость торжества над врагом. Вероника бросилась вперед, и с ужасом иудеи отступали перед ней, бежали обратно в храм.

И теперь она вспомнила, для чего она пришла сюда.

Она пристально посмотрела на стены храма. Вот окно, за ним множество дерева, драгоценная резная работа — самая лучшая пища для пламени. Она быстро поднялась, встав на плечи эфиопа, солдаты подавали ей горящие факелы. Она бросала их через окно в дом бессильно умолкнувшего иудейского бога. Огонь вспыхивал внутри, зажигая то деревянную обшивку, то тяжелые завесы... Наконец Вероника не могла больше вынести удушливого дыма, который повалил из окна, и спустилась со спины эфиопа к нему на руки. Вероника не обратила внимания на страстные возгласы эфиопа, державшего ее в объятиях, и поспешила к дверям храма, за которыми скрылись осажденные. За ней двинулись легионеры с факелами. Огромные двери поддались, погребая под собой иудейскую стражу.

Храм горел.

Флавий Сабиний подбежал к окну.

— Храм горит! — крикнул он. — Эти варвары подожгли его.

В эту минуту он не думал о том, что сам был римлянином. Он быстро одевал оружие.

Тамара побледнела от ужаса.

— Ты идешь? — крикнула она.

Он кивнул головой.

— Муж твой не может не идти, когда его зовет долг. Ты бы этого не позволила, — глухо сказал он.

Она медленно поднялась.

— Иди!

Она помогла ему вооружиться и, подавая щит, горячо молилась:

— О Боже, защити, защити моего возлюбленного!

— Я скоро вернусь, — сказал Сабиний, обняв Тамару, целуя ее бледный лоб.

Она покачала головой.

— Нет, ты не вернешься, — проговорила она. — Я знаю.

Ты останешься там, как и все другие. Оттуда никто не вернется.

Сердце его было измучено. Слеза упала на ее бледное лицо, склонившееся к его плечу. Но он высвободился из обвивавших его рук.

Тамара осталась одна. Он ушел. Погибло счастье иерихонской розы.

Она не помнила, как долго она сидела и ждала. Ее пронзила ясная мысль. Флавий Сабиний не должен погибнуть вместе с племенем израилевым. Невинный не должен разделять ту же судьбу, что и виновные. Она поднялась, обвязала голову платком и вышла на улицу. Ее подхватила людская волна, которая неслась к храму, чтобы разбиться об его стены. Ведь когда погибнет храм, и народ израильский не сможет больше жить.

Вблизи храма еще сражались. Римляне хотели окружить храм, чтобы отрезать его от города.

Тамара оказалась у стены, в ней была маленькая дверца и несколько ступеней вели наверх. Она поднялась по ним. Может быть, Флавий Сабиний сражается наверху. Но там происходил не бой, а резня. Римляне стояли неподвижной железной стеной с вытянутыми вперед мечами и на эти мечи бросались люди с безумными криками боли и блаженства. Отхлынувшая толпа заставила ее спуститься вниз. Она увидела, что иудеи уже не бросались слепо на римские мечи, а сражались. Из узкой улицы устремился вперед мощный поток воинов, стараясь опрокинуть римлян. Впереди шел, нанося страшные удары мечом, Симон бар Гиора и рядом с ним — Флавий Сабиний.

Тамара вскрикнула и протянула к нему руки. Но толпа разделяла ее от возлюбленного. Она должна была стоять недвижимо у стены и смотреть.

Вдруг она крикнула от ужаса. Брошенный врагами камень сбил шлем с его головы. Крик сотни голосов показал, что его узнали. Предводитель римского отряда указал на него рукой, Тамара слышала его слова: «Захватите живым предателя».

Несколько солдат бросилось к Флавию Сабинию. Он защищал щитом голову, Симон бар Гиора сражался рядом. Тамара бросилась к Флавию Сабинию, чтобы умереть вместе с ним.

Горящий факел упал перед ней в толпу. На минуту ее откинул поток спасавшихся бегством, но она проскользнула, задыхаясь от дыма, и наконец очутилась совсем близко.

от того места, где они сражались. Флавий Сабиний еще отражал удары, Гиору уже повалили на землю.

Огромный легионер подскочил к Флавию Сабинию, но тот нанес разящий удар, солдат пошатнулся и упал всей тяжестью своего тела на Флавия Сабиния, придавив его. Тамара увидела, как рука римлянина схватила камень и подняла его, чтобы опустить на голову Сабиния.

— Фотин! — вдруг крикнул Флавий Сабиний, увидев его лицо.

— Да, Фотин, почтеннейший префект, — с усмешкой сказал солдат — Теперь уже поздно наказывать меня за непослушание. Теперь ты сам, благородный Флавий Сабиний...

Из уст Тамары вырвался крик и она бросилась вперед, но ее схватили руки легионеров.

— Славная добыча, — с хохотом сказал римлянин. — Хорошенькая иудейка! Я уже давно хотел иметь такую. Да ты не отбивайся, голубушка, а то испортишь мне платье, и Рим будет смеяться надо мной на триумфальном шествии нашего великого цезаря Тита...

Он прижал Тамару к груди, и она едва могла дышать. Она увидела, что-чья то рука остановила Фотина. И раздался голос Этерния Фронтонна:

— Что это тебе вздумалось, Фотин? Разве это смерть, достойная предателя?

Тяжелое черное облако застлало глаза Тамары. Она все еще тщетно отбивалась от державших ее цепких рук. Испустив дикий крик, она впилась зубами в руку легионера. Он, вскрикнув от боли, выпустил ее.

— Проклятая кошка! — кричал солдат.

Разъяренный насмешками товарищей, он бросился за ней. Ее длинные волнистые волосы распустились по плечам и спине; легионер догнал ее, схватил за волосы и ударил. Тамара упала.

Жадное пламя проникало все дальше и дальше. Треск падающих балок, шипение расплавленного металла, звон разбитого стекла, рев озверевших римлян наполняли воздух, пропитанный дымом.

Вероника была как в чаду. Запах крови, смрад горевших тел, дикие хриплые предсмертные стоны опьяняли ее, как тяжелое вино. Она мчалась вперед; ее свита тоже была опьянена кровью. Позади всех шел Агриппа. Лицо его было смертельно бледно от ужаса. Он весь дрожал, как будто его

опустили в ледяную воду. Они прошли северную и среднюю часть храма, и повсюду вслед за Вероникой вспыхивало пламя. Шлем упал с ее головы; длинные, золотистые, освещенные пламенем волосы окружали ее пламенным ореолом. У южной части храма ее остановило неожиданное препятствие. Небольшая группа галилеян окружала безоружного старика, обороняя его своими телами.

— Иоанн из Гишалы! — воскликнула Вероника и бросила в него широкий меч. Один из галилеян заслонил вождя, меч попал ему прямо в грудь. Начался бой. Эфиоп бился с Хлодомаром, Оний с Габбой. Карлик укрыл обезумевшую от вида крови Мероэ за колонной, и поспешил к Хлодомару, как только увидел Ония в числе нападавших.

Новый отряд римлян положил конец неравному бою Хлодомара связали. Габбу держали за руки, в судорожно сжатых кулаках карлика был зажат клочок волос, вырванных у Ония. Он смотрел на пророка с невыразимой ненавистью. Оний усмехнулся, потом опрокинул движением ноги легкое тело своего сына на землю. Габба перевернулся на спину и глаза его ясно говорили: «Убей же меня скорее, убей меня, как я бы убил тебя».

Но Оний не убил Габбу. Адская мысль возникла в нем при виде сына. Габба должен умереть от другой руки.

Мероэ притаилась за колонной. Она шептала непонятные слова, и глаза ее широко раскрылись, глядя на происходящее вокруг нее. Разве она не видела однажды уже нечто подобное, почти то же самое. Только тогда горело не это огромное, поднимающееся к небу здание: горела хижина, построенная из бревен, и над соломенной кровлей высились северные дубы и вязы. Все остальное было как теперь. Такие же люди, закованные в железо, с холодными жестокими лицами, та же резня, и тот же человек лежал, как и тогда, связанный на земле. Он смотрел на нее большими синими добрыми глазами. Завеса, окутывавшая душу Мероэ, вдруг порвалась, память осветила ее ярким светом. Она выскочила из-за колонны и бросилась к лежащему на земле Хлодомару.

— Отец! — крикнула она, прижимаясь к его груди.

Хлодомар нежно целовал светлые серебристые волосы дочери и прошептал с горькой радостью:

— Вунегильда, Вунегильда!

Оний оттащил девушку от отца.

На огромном возвышении посредине здания стояло несколько тысяч человек. Они собрались здесь с твердой

надеждой, что в последнюю минуту небесный огонь уничтожит римлян и спасет святыню от полного разрушения. Но пламя поднималось теперь к ним, отрезая всякую возможность спасения. Мертвая тишина последовала за первым криком, и, широко раскрыв глаза, несчастные смотрели замороженно на надвигавшееся на них все ближе и ближе пламя.

Иоанн из Гишалы тоже был взят в плен. Падающие балки и камни храма миновали голову старика. Его привязали к колонне и насильно подняли его лицо, окруженное длинными белыми волосами. Каждый раз, когда Вероника придумывала новую пытку для его друзей, она искала в его воспаленных обезумевших глазах слез вызванных страданием.

— Израиль погибает из-за женщины, — кричала она ему. Женщина победила Иоанна из Гишалы, героя иудеев и женщина заставит плакать героя.

Но глаза Иоанна утратили способность проливать слезы.

— Неужели ты и в самом деле не можешь плакать собака? — крикнула она, бросаясь к нему и ударяя его по лицу — Так заплачь, хоть от боли.

Она остановилась. Люди, стоявшие на возвышении видели, как Вероника глумилась над седовласым старцем. Из тысячи уст раздался один общий крик, заглушивший бушевание стихии. Потом снова повисла тишина. И вдруг раздался вопль отчаяния.

— Горе, горе Иерусалиму!

Это послужило словно сигналом. Поодиночке, по двое по трое, целыми группами люди бросались с высоты в бушующее пламя. Сквозь облака дыма и пламени виднелись извивающиеся тела, дико сплетенные в трепещущие безобразные узлы. Удушливый смрад горящих тел наполнял воздух.

Это было последнее, что видел Агриппа. Он смог наконец произнести звуки, похожие на вой истерзанного зверя. Потом все закружилось вокруг него и он уже ничего не мог видеть. Он бежал через трупы и камни, сквозь дым и пламя. За ним неслись стенания человечества, и он вторил им все тем же животным трусливым воем. Минувя римские укрепления он побежал дальше, через поля, и наконец, споткнувшись о камень, упал на землю. Но крики все еще раздавались в его ушах. Земля и небо, казалось, кричали ему: «Это ты, ты во всем виноват».

Чтобы больше ничего не слышать, Агриппа, последний царь иудейский, зарывался головой в комья земли все глубже и глубже. Но земля дрожала под ним и шептала ему: «Ты, ты во всем виноват!!»

Глава XX

По улицам Рима, сияющим золотом и пестрыми красками, среди тысячной толпы крика и ликований, двигалось триумфальное шествие цезаря, возвращающегося после покорения Иудеи.

Регуэлю все было хорошо видно. Перед ним проходили победоносные легионы с орлами и знаменами. За ними следовали в огромных клетках дикие звери, которых Тит привез для травли в амфитеатре. Пышно одетые рабы несли трофеи покоренных галилейских и иудейских городов — остатки уничтоженных национальных святынь. Канделябры и алтарные украшения из золота, изображения битв яркими грубыми красками. Следом за рабами двигались, едва держась на ногах, раненые, полумертвые от голода люди, с бледными изможденными лицами, потухшими или горящими ненавистью глазами. Они шли длинными молчаливыми вереницами, скованные по двое. Это был остаток от девяноста тысяч военнопленных. Остальные были казнены по приговору римских военных судов, тысячи погибли в египетских рудниках, тысячи рассеяны были рабами по всей земле и еще тысячи погибли на праздничных играх в Берите и Цезарее в когтях и зубах диких зверей.

А эти оставшиеся, эти знатнейшие из пленников, они сохранены для удовлетворения римской страсти к зрелищам. Хлодомар и Габба, Тамара и Мероэ замыкали шествие.

Флавий Сабиний не был в числе захваченных в плен. Регуэль был уже достаточно долго в Риме, чтобы узнать, где он. Слава, окружавшая имя Флавиев, не допускала, чтобы среди носивших это имя был изменник; Веспасиан отослал своего племянника в далекую провинцию, где его держали под стражей.

Регуэль оглянулся, чтобы убедиться, что за ним не следят. Никто, казалось, не обращал на него внимания. Все взоры устремлены были на величественную картину гибели целого народа, целого мира.

С двух сторон триумфального шествия шли глашатаи, повторявшие громким голосом одни и те же слова:

— Рим! Погляди на вождей Иерусалима!

Вожди Иерусалима — Симон бар Гиора и Иоанн из Гишалы шли в грязных разорванных одеждах, в цепях. За ними следовали легионеры, держа в руках острое копье и бичи, чтобы ободрять к дальнейшему шествию изнемогавших от усталости пленников.

Симон бар Гиора шел медленно, не оглядываясь по сторонам, и только время от времени его взор, полный ненависти, поднимался на толпу.

Как только Регуэль взглянул на благородное изможденное лицо с потухшими глазами, на согбенную вздрагивающую фигуру отца, он понял, что Тит показывает Риму умирающего врага. Почти после каждого шага солдат, шедший за ним, должен был взмахивать бичом. И каждый раз из толпы поднимался злорадный хохот. Тысячи рук бросали гнилые плоды, яйца и разбитую утварь в умирающего врага. Молоденькая улыбающаяся девушка почти ребенок. Регуэль ясно видел ее. бросила камень в лицо Иоанна, он упал на грязную пыльную дорогу. Весь Рим снова захохотал.

«И ты должен будешь спокойно смотреть, как умирают твои братья» Регуэль снова шептал про себя эти слова стараясь найти в них силу. Рука его ухватила под верхней одеждой за рукоять кинжала; он всегда держал его при себе с тех пор, как стал для римлян сирийцем, а не иудеем. Он ведь поклялся отомстить, поклялся мечом, именем отца и Бога.

Шествие, остановленное на минуту, двинулось дальше. Показались рабы с носилками Веспасиана, за ними лошади Тита и Домициана, затем свита азиатских князей и союзников. Во главе их ехал Агриппа, царь побежденного народа, с лицемерно улыбающимся, но серым лицом. За ними потянулось несметное число пеших легионов. Регуэлю казалось, что все это носится как призрак в воздухе, что это триумфальное шествие смерти и ее железная нога вталкивает землю в прежнее небытие. И среди блеска оружия, из складок царственных одежд, рева зверей и ликования опьяненной черни, из стонов пленных, из-за неподвижных окаменелых бескровных лиц торжествующих цезарей поднимался перед ним образ жестокого ангела разрушителя мира — образ Рима.

А вокруг него раздавался ликующий крик тысячной толпы поднимаясь к сияющему над Римом небу.

— Слава Веспасиану, слава Титу!

Подняв глаза, Регуэль увидел большую колесницу. Наверху сидели люди, одетые на подобие жрецов храма — они вынимали из мешков и бочек горсти золотых монет и бросали их в толпу. И каждый раз при этом они называли один из завоеванных городов.

— Золото Тарихеи, Гамалы и Гишалы, Эспереи и Иерусалима! Золото, золото!

И гордая толпа Рима, победители и властители мира ревели от восторга и хватали монеты, толкаясь и борясь между собой, валяясь в грязи перед своим кумиром и победителем, перед кумиром золота.

Наконец раздался голос глашатая

К Тарпейской скале! Симона бар Гиора будут казнить

Золото было забыто. Рим бросился к другому своему кумиру, крови. Чтобы увидеть, как будут истязать жертву на форуме и бросят с Тарпейской скалы на те же камни которые некогда обагрившись кровью благороднейших граждан

Регуэль увидел перед собой на земле монету. Он машинально поднял ее и прочел надпись «Плененная Иудея!» Золото обожгло ему руку, как огонь

Он не бросил монету. Когда его иудейская сталь пронзит сердце изменницы, тогда иудейское золото застрянет у нее в горле. Он медленно возвращался к городу. Все, что он видел, выливалось в одну преследующую его мысль. плененная Иудея, по вине Вероники.

За ним на расстоянии не более двадцати шагов шел человек с желтоватым лицом и острой бородкой.

Вероника беспокойно ходила взад и вперед в своих покоях во дворце Тита, где она поселилась по прибытии в Рим. Напрасны были все доводы и просьбы молодого цезаря, который уговаривал ее остановиться в доме Агриппы. Напрасно он указывал на неблагоприятность ее пребывания в его доме в глазах строгих римлян, не знавших законности их союза. Напрасно Тит давал понять, что еще не прошло сопротивление Веспасиана против брака сына с царицей из ненавистного Риму племени. Вероника не обращала ни на что внимания. Со времени падения Иерусалима она совершенно изменилась. В ней исчезла вся женственная кротость и спокойный ум, заставлявший ее считаться с решениями Веспасиана для того, чтобы иметь на него влияние. Внезапное проявление ее безудержной природы при

разрушений Иерусалима уничтожило все преграды. Неограниченное честолюбие и презрение к окружающему все более выступало в ней, и Тит почувствовал тайное желание освободиться от Вероники. Он ждал удобного случая, чтобы свергнуть ее иго, которое становилось несносным и перестало быть полезным после окончания войны и достижения цели.

Когда Вероника очутилась в Риме, где все ей говорило упоительным языком о могуществе богоподобных цезарей, она совершенно потеряла всякое самообладание. Ей казалось, что она вознеслась высоко над землей и покоится на облаках. Ей казалось, что она может придать всему существующему какую захочет форму, что все послушно ее безудержной воле. Ею овладела мания величия, и она с бесконечной жадностью стремилась проявить свою власть. Ей хотелось быть повелительницей безвольных рабов, быть законной супругой Тита, признанной Римом и целым миром, носить священный сан Августы.

Молодой цезарь долго противился ей, говоря, что еще не наступил надлежащий момент; ненависть римлян против покоренных иудеев еще слишком велика, чтобы дать им властительницу из покоренного племени. Все эти убеждения не действовали на твердую волю царицы.

— Я так хочу, — говорила каждый раз Вероника ледяным тоном.

Красота Вероники была еще велика — с годами она скорее увеличивалась, чем ослабевала. И на этот раз она опять одержала победу над гордостью Тита. Молодой цезарь пошел сообщить отцу о своем тайном браке и попросить его открыто объявить о нем.

Прошло уже несколько часов, а Тит еще не возвращался. Неужели Веспасиан отказал?

Вероника вспыхнула от негодования. Если Веспасиан осмелится, тогда.

В комнату вбежал слуга и прервал ее размышления

— Цезарь идет, — проговорил он, запыхавшись.

Вероника едва пошевелинулась.

— Тит? — спросила она пренебрежительно

— Не Тит, госпожа, а сам державный Веспасиан. Он только что вступил в атриум дворца

Вероника вскочила, и лицо ее просветлело. Он сам идет к ней, несомненно, для того, чтобы взять ее с собой на заседание сената и представить ее там как Августу. Наконец-то она у цели!

Вероника вышла навстречу Веспасиану с приветливой улыбкой

— Слава великому, справедливому цезарю, — сказала она, вглядываясь в него. — Ты не погнушался снизойти к скромнейшей из твоих верных служанок и признать святость права.

Лицо Веспасиана осталось неподвижным. Сухо и с деловитым спокойствием он подвел Веронику обратно к месту, с которого она поднялась, и сам сел рядом с ней

К несчастью, не всегда возможно, — медленно ответил он, — осуществить всякое право. Иногда права частных людей противоречат интересам государственным, и я советую тебе, Вероника, не слишком заявлять о твоих правах теперь. Нельзя волновать умы теперь новыми замыслами, не следует возбуждать Рим против нас. Римляне совсем не то, что твой народ. Из всякого пустяка могут возникнуть кровавые смуты и пасть благородные головы. Ради наших общих интересов

Ты отказываешься, перебила она его с негодованием, — признать мои справедливые требования и исполнить обещание твоего сына?

— Не о моем сыне идет речь, — холодно ответил он. К тебе пришел не отец, а цезарь, и, как цезарь, я не могу потерпеть, чтобы недовольные обрели новый предлог для возмущения против плебеев Флавиев, как они нас называют. Брак Тита с иудейкой мог бы стать причиной нашей гибели..

Вероника не слышала последних слов. Она с возмущением вскочила и стояла перед Веспасианом, готовая открыто высказать ему свое презрение:

— Ты забыл, с чьей помощью Флавии достигли своего величия, — кричала она вне себя. — Кто принес им победу? Кто разжег распри врагов? Кто привлек союзников, азиатских властителей, римских правителей, даже вождей враждебной партии? Чья рука вооружила тысячи рук, кто вознес Флавиев на престол цезарей?

Веспасиан спокойно взглянул на нее, и на тонких губах показалась насмешливая улыбка

— Кто? Сознаюсь, что в значительной степени Вероника

Его хладнокровие еще более ее возбуждало

А теперь, — сказала она с высокомерным смехом, теперь, когда цель достигнута, Флавий не нуждается более в том, кто поднял его на высоту

— Я повторяю, речь идет не о Флавии, а о цезаре. Если бы Веспасиан, полководец Нерона, отверг в свое время твою помощь, это было бы преступлением против государства. Если бы Веспасиан, став цезарем, возвел иудейку в священный сан Августы, это было бы тоже преступлением против государства. Веспасиан поклялся, что время преступлений миновало.

— Значит, ты не дашь согласия?

— Вероника может быть возлюбленной Тита, но никогда — его супругой...

Крик бешенства сорвался с ее уст.

— Никогда супругой? — крикнула она. — А между тем Тит, наверное, сообщил тебе то, что ты, вероятно, и сам уже давно знал. Вероника уже стала супругой цезаря. Не думай, что я позволю безнаказанно оттеснить себя. В Риме еще существуют законы, еще есть сенат, и я открыто заявлю о своем священном праве, подтвержденном подписью Тита.

Веспасиан снова усмехнулся и медленно поднялся.

— Конечно, Рим еще имеет законы, — равнодушно сказал он, — и есть еще сенат. Он был и при Нероне, а между тем его супруга Октавия, происходившая из знатного рода, сама дочь цезаря, была признана виновной в супружеской измене перед законом и сенатом, хотя была невинна, как новорожденное дитя...

— Я не кроткая Октавия, — возразила Вероника. — Меня нельзя отстранить, как Марцию. Веспасиан может, конечно, велеть умертвить Веронику, но до того Рим узнает, как цезари понимают справедливость. Доказательства в моих руках.

— Доказательства? — спросил Веспасиан с притворным изумлением. — У тебя есть доказательства?

— Да, собственноручная подпись Тита, — сказала она с торжествующим смехом: — Контракт, составленный Юстом бен Пистосом, тайным секретарем Агриппы, вскоре после твоего прибытия в Цезарею Филиппийскую. Тит признает себя в нем законным супругом Вероники, царицы Понтийской.

— Как? — Удивление Веспасиана, казалось, возрастало. — У тебя есть этот контракт?

— Да, и я представлю его сенату.

— Неужели? — повторил Веспасиан еще настойчивее, и в глазах его засветилась жестокая насмешка. — У тебя есть этот контракт? Не ошибаешься ли ты?

Вероника вздрогнула, и с ужасом взглянула на него. Нее мелькнуло подозрение.

Одним прыжком она оказалась у железной шкатулки, которую всюду носила при себе. Дрожащими руками она нажала тайную пружину. Крышка открылась, внутри было пусто.

Смертельно побледнев, она отшатнулась от стола. Красная завеса застлала ей глаза.

- Ну что же, — медленно проговорил Веспасиан. — Где же контракт?

Украден, — крикнула она. — Ты украл его у меня. Веспасиан пожал плечами.

Цезарь не крадет, — холодно ответил он, — ибо цезарю все принадлежит. Конечно, я должен сознаться, — продолжал он холодным ироническим тоном, — что и до меня дошли слухи о браке между Вероникой и Титом. Я никогда не верил этому слуху. Тит слишком умен, чтобы дать преждевременно заковать себя в цепи. Я понял сразу, что мнимое доказательство — несомненная подделка. Подписи были очень похожи на настоящие, но все-таки это подделка. Мне было неприятно, что Вероника, наша бескорыстная союзница, могла необдуманно совершить поступок, который так жестоко карается законами. Поэтому я решил избежать следствия и проявил свою дружбу тем, что уничтожил этот поддельный документ.

Веспасиан подошел к открытому окну, медленно вынул из тоги свиток и стал его рвать на мелкие кусочки, которые потом бросил в окно. Ветер подхватил их и разнес повсюду. Только один кусочек залетел обратно в комнату и упал к ногам Вероники. Но она не обратила на него внимания. Она опустилась на подушки, зарывая пальцы в мягкий шелк, и лежала, уничтоженная, глядя на цезаря глазами, полными ненависти. Так вот оно, страшное возмездие! Вероника предала свое отечество и своего бога ради власти над людьми. И теперь, когда она стояла на пороге могущества, предательство обратилось против нее самой. Око за око, зуб за зуб. Но еще не все потеряно. Она будет бороться до конца, хотя бы все погибло вместе с ней.

И вдруг она громко засмеялась.

Однако, несмотря на всю твою осмотрительность, ты кое-что забыл, цезарь, — надменно сказала она.

Ты забыл о свидетелях, — повторил Веспасиан спокойно. Их показания очень сомнительны. Я тщательно прочел все имена. Кто они? Ах да — Агриппа, царь иудей-

ский... Почему же Агриппа сказал мне теперь, когда я его спросил в присутствии других, что он никогда не подписывал такой безрассудной бумаги. Я не знаю, Вероника, чем ты его прогневила, но он идет против интересов своей сестры

— Он мстит мне, — глухо проговорила она. — Этот трус хочет свалить всю вину на меня

— Я не настолько посвящен в ваши дела, — равнодушно продолжал Веспасиан, — чтобы возражать тебе. Но и другие подписи сомнительны. Иосиф бен Матиа, например..

Вероника горько засмеялась.

— Он, конечно, друг Флавиев, — презрительно сказала она. — Ведь Веспасиан подарил ему даже свой дворец и дал ему римское имя Флавия Иосифа. Этот предатель..

Она не договорила, это слово сорвалось у нее с губ против воли. Разве она имеет право называть других предателями?

— Он не помнит, — продолжал Веспасиан, — что когда-либо призывал благословение неба на брак между иудейкой и язычником. Что касается других — Андромах, твой придворный врач, уже умер; Юст бен Пистос сослан в Тивериаду и под страхом смертной казни не имеет права оставить ее Таумаст, твой домоправитель, слишком стар. Поездка в Рим сломила бы его последние силы, не говоря о том, что при теперешних смутах слишком опасно путешествовать. Его могут убить в дороге.

Веспасиан вертел в руках маленькую шкатулочку, украшенную жемчугом; на крышке было изображение амура оседлавшего льва. Повисла напряженная тишина; Вероника нарушила ее последней попыткой сопротивления

— А Тит?

— Тит, конечно, — ответил Веспасиан, — утверждает то же, что и ты. Но если бы даже он имел смелость проявить свою любовь к Веронике открытым признанием подлинности поддельного и даже исчезнувшего документа, то это принесло бы мало пользы Веронике. Римские браки непохожи на иудейские. В Риме легко добиться развода без всякого повода. Что бы, например, помешало Веспасиану признать Веронику, царицу покоренного народа, военнопленной и отдать ее Титу как рабыню? Тит тогда будет иметь право поступать с рабыней по своему усмотрению. Он может ее подарить, продать или, если хочет, сделать своей наложницей. Одного только он не может сделать по нашим законам. Он не может жениться на Веронике, не лишая себя в то же время всяких прав на почести и на власть в будущем. Не забывай, что друзья Рима вместе с тем и рабы Рима. Говоря откровенно,

я не думаю, чтобы Тит принес такую жертву Веронике. Он мне дал сегодня эту изящную безделушку, — вероятно, дар любви. — чтобы я передал ее тебе

Он открыл шкатулочку и положил ее на стол перед Вероникой. Из шкатулки выпал сухой лист. Вероника вскрикнула:

— Лавр Кармеля!

Она оттолкнула шкатулку, и та упала на пол.

Вероника вскочила с безумным криком. Веспасиана уже не было; она не заметила, как он ушел. Нет, она не покорится. Бороться до конца! Власть или смерть!

Когда четвертью часа позже к ней вошел Оний с очень важными вестями, она не дала ему сказать ни слова

Не говорил ли ты мне однажды — быстро сказала она, — что ты все сделал бы для меня, Оний?

Он с изумлением заглянул в ее глаза. Потом смиренно наклонил голову

Все, госпожа

Докажи это на деле. Веспасиан должен умереть

Оний вздрогнул от неожиданности. Вероника усадила его рядом с собой и изложила перед ним свой план

Исполнишь это? — спросила она

Его глаза тоже сверкали

Исполню

После триумфального шествия Регуэль стал бесцельно бродить по улицам Рима, не замечая, что происходит вокруг него. Одна мысль наполняла его существо, мысль о мщениии. Вероника должна умереть на вершине достигнутого ею могущества. Теперь Вероника достигла высоты. Победа Рима над Иерусалимом была ее собственной победой. Завтра или, быть может, даже сегодня она будет провозглашена властительницей над блестящим могущественным Римом, над всем миром. Она уже держит в руках кубок, чтобы с жадностью осушить его. Но прежде, чем ей это удастся, кинжал мстителя пронзит ее, кровь ее сердца смешается со священной кровью мучеников за родину, кровью, которая уже пролилась и еще должна пролиться.

Рим требовал своей доли в опьяняющем празднестве победы. На всех зданиях вывешено было воззвание цезарей, приглашавших на празднество.

«В деревянном амфитеатре Нерона состоятся завтра бои пленных иудеев и звериная травля»

Регуэль знал, что заключается в этих простых холодных

словах Он уже слышал о пышности победных празднеств, устроенных Титом после покорения Иерусалима в Берите и в Цезарее Филиппийской. Чем больше жертв, тем больше славы.

Для Рима было оставлено самое лучшее. Тамара и Мероэ, Габба и Хлодомар в их числе.

Конечно, Вероника будет смотреть на них с высоты императорского подиума и будет наслаждаться блеском своего могущества. Она, быть может, будет аплодировать, когда дикие звери бросятся на дочь Иоанна из Гишалы. Придет ли час мести? Регуэль поднял кулаки к небу

Вдруг его окликнул чей-то голос. Он испуганно оглянулся. Рядом с ним рабы проносили носилки. По знаку сидевшей в них женщины они остановились около Регуэля. Он сначала растерянно взглянул на нарядную римлянку, лежавшую на пышных подушках, потом вздрогнул и краска залила его лицо.

— Саломея! — прошептал он — Ты жива! И ты. — Он с презрением взглянул на ее богатые одежды — И тебе не стыдно теперь, когда народ твой унижен, тебе, племяннице Иоанна?

Ее бледное лицо тоже залила краска.

— Ты все узнаешь, но не здесь. Я догадываюсь, почему ты теперь в Риме. Из-за пустяков не рискуют жизнью. Каждый шаг грозит тебе смертью. Иди за мной издали, не приметно. Иначе мне не удастся укрыть тебя.

Прежде чем Регуэль успел ей возразить, она дала знак рабам, и носилки двинулись дальше. Регуэль после короткого размышления последовал за ней. Встреча с Саломеей показалась ему божественным предзнаменованием, знаком того, что небо покровительствует задуманному им делу.

У дверей великолепного дворца, в котором скрылись носилки, Регуэля встретил доверенный раб Саломеи. Он обратил внимание юноши на проходившего мимо человека с сухим желтым лицом. Регуэль узнал в нем человека, который стоял около него во время триумфального шествия.

— Как бы там ни было, — сказал раб, — ты можешь пробыть по крайней мере до вечера в полной безопасности во дворце Этерния Фронтонна. Едва ли осмелятся беспокоить друга и вольноотпущенника Тита.

— Во дворце Этерния Фронтонна? — переспросил с ужасом Регуэль. Так это?

Раб усмехнулся.

— Не пугайся этого имени,— сказал он.— Фронтон распоряжается, по воле Тита, судьбой пленных иудеев, но он совсем иной, когда дома. Там он обязан уничтожать побежденный народ, здесь он на него молится...

Раб провел его за ворота и тщательно закрыл их. Регуэль шел за ним, ошеломленный всем, что он услышал.

Раб говорил правду. Влияние Саломеи на Этерния Фронтонна было безграничным. Со времени страшных дней в Птолемаиде она сделала своим рабом того, кому вынуждена была покориться. И она достигла власти не лестью и покорностью, а своей гордостью, строгой сдержанностью, тем, что увлекая Этерния, она была далека от разнузданности римских женщин. Ее упорное сопротивление довело его страсть до настоящей любви. Это не была капризная любовь юноши, которую убивают неудачи, а последняя любовь стареющего человека,— он знал, что когда она кончится, то настанет пустота. Все его жизненные силы сосредоточились на этой любви, вся тоска по ушедшей молодости и весь тайный ужас перед одиночеством конца жизни.

— Такова любовь Этерния Фронтонна ко мне, иудейке,— закончила Саломея свой рассказ.

Регуэль слушал ее с мрачным видом.

— Этерний не отказывает мне и в самом трудном. Тамара в числе других пленных обречена на гибель в амфитреатре, Фронтон должен освободить ее...

— Не знаю,— ответил Регуэль насмешливо,— хочет ли Тамара остаться в живых после гибели родины и смерти мужа. Всем нам смерть кажется избавлением.

Она почувствовала упрек в его словах и сказала:

— Да жить гораздо труднее. Но жизнь драгоценна — она дает возможность мстить. Неужели ты думаешь, что я перенесла бы все унижения и позор, если бы не была воодушевлена мыслью о мести?!

Она быстро поднялась, в глазах ее мелькнул гнев.

— Меч приличествует воину — у женщины другое оружие. Конечно, я уже давно бы могла вонзить римлянину кинжал в сердце, когда он лежал беззащитный у ног моих. Я могла влить яд в его кубок...

— Почему же ты этого не сделала?

— Женщина мстит тем же оружием, которым ее ранили. Этерний Фронтон убил во мне любовь, и он сам будет убит любовью. В тот день когда он с тоской будет звать Саломею, в тот день он будет одинок.

— А ты?

— Я буду тем же, чем была — потерянной песчинкой в пустыне, еще одной каплей в море крови, принесенной в жертву. Не спрашивай. Быть может, ты увидишь, как кончит Саломея. Завтра все должно решиться.

— Завтра, в день игр?

— Да. Ты удивлен, Регуэль?

— Я поражен сходством нашей судьбы, — глухо ответил он. — У нас почти одни и те же мысли. Завтра, в день игр, и я буду отомщен. Я охотно следую за тобой, Саломея, хотя вначале не доверял тебе.

— Чего же ты хочешь?

— Этерний Фронтон — устроитель игр. Его рабы окружают амфитеатр и будут иметь доступ повсюду. Покажи, имеешь ли ты власть над Фронтоном.

Она остановила его, взгляды их встретились.

— Довольно, Регуэль. Если бы я знала больше, я бы уже не могла свободно действовать. Достаточно того, что я догадываюсь о твоём намерении. В таком деле не может быть союза. Только тот, кто один, силен. Ты будешь одним из рабов Фронтонна...

Июньское солнце взошло в полном своем блеске в день, назначенный для игр в амфитеатре Нерона. Народ с самого рассвета устремился к Марсову полю.

Накануне Марк, один из рабов Этерния Фронтонна, попросил Регуэля взять на себя часть его обязанностей во время зрелища, устраиваемого вольноотпущенником Тита. Только на минуту Регуэлю удалось еще раз увидеть Саломею.

— Не выдай себя, — шепнула она ему. — Никто не должен знать, что ты иудей. Тит приготовил для Вероники ложу, составленную из двух смежных. Вероятно, она не решится еще бесстыдно показаться римской толпе, когда будут истязать ее единоверцев. Марк будет в маленькой ложе ждать приказаний царицы. Будь около него и постарайся найти удобный момент...

Регуэль с благодарностью пожал ей руку.

— А ты? — спросил он. — А Тамара?..

Саломея сжала губы.

— Этернию Фронтону еще не удалось добиться ее освобождения, — ответила она глухим голосом.

На рассвете Регуэль пошел за своим провожатым. Он вошел в огромное здание амфитеатра. Безучастно смотрел он, как наполнялись ряды амфитеатра сенаторами, знатны-

ми патрициями и одетыми в пестрые одежды чужеземными князьями и посланниками, занимавшими почетные места в первых рядах. Все одели белые тоги и украсились венками, ослепительное солнце освещало амфитеатр. Упоительная музыка, то тихая и манящая, то страстная и ликующая, смешивалась с многотысячным гулом толпы.

Регуэль все это мог видеть сквозь узкую щель между занавесями, которые отделяли ложу от взора публики. Но он не обращал внимания на то, что происходило на арене. Все его внимание сосредоточено было на соседней ложе. Туда вела маленькая дверь; через нее он войдет, чтобы исполнить свою клятву. Но время еще не пришло. Звуки труб и ликование толпы возвестили о прибытии Веспасиана и его сыновей. Вскоре после этого Регуэлю показалось, что он слышит шелест женских одежд в соседней ложе и слышит тихий голос. Вероника была там.

Игры смерти начались.

После состязаний гладиаторов, возбудивших страсти толпы, наступила короткая пауза. Арену густо посыпали песком, чтобы скрыть следы крови. Раздались торжествующие звуки труб. Первые иудейские военнопленные вошли на арену для борьбы друг с другом, отец против сына, брат против брата. Наступило страшное, напряженное молчание в огромном амфитеатре. Пленники стояли друг против друга; их исхудалые тела были обнажены, и по первому знаку цезаря они должны были вонзить друг другу в грудь короткие копья.

Веспасиан поднялся и подал знак. Музыка заиграла и сразу оборвалась, ибо сильнее труб и литавр зазвучала величественная старинная песнь смерти и печали осужденных на смерть.

Пленные подняли свои мечи к солнцу, сиявшему над амфитеатром; темные, широко раскрытые глаза мучеников устремились, призывая мщение Всевышнего, на холодный, празднично украшенный Рим, — и он содрогнулся от суеверного ужаса. Потом они бросили мечи на землю — они поклялись умереть только от руки врагов. Римляне с бешенством вскочили со своих мест и с дрожащими от гнева устами потребовали смерти дерзких пленников, презирающих римлян.

Вероника вскочила с подушек, на которых лежала в мрачном раздумье, подошла к перилам и раздвинула занавесь, скрывавшую ее от зрителей. Солнечный луч упал

с высоты, и ее золотистые волосы вспыхнули ярким огнем, среди которого неподвижная бледность ее лица выделялась, как маска. Она быстро отступила назад.

Но из толпы иудеев на арене поднялась рука, указывавшая в ее сторону, и громкий голос воскликнул:

— Взгляните на позор Израиля! Вот Вероника, предавшая Бога и отчизну, Вероника, презренная любовница язычника. Проклятие Веронике!

И все повторили:

— Проклятие Веронике!

Она хотела бежать и не могла двинуться. Рука Всевышнего словно приковала ее к месту. На лице Вероники показалась странная безумная улыбка. Она взглянула в сторону сенаторов, среди которых Тит сидел рядом с Веспасианом. Она увидела, как покраснело его лицо, как пальцы его сжались. Но Веспасиан удержал Тита и, подозвав Этерния Фронтоня, дал знак к продолжению игр.

Отойдя в глубину ложи, Вероника обессиленно упала на подушки. До сих пор она еще не решалась исполнить свой план при помощи Ония и надеялась достигнуть цели другим путем. Но теперь все ясно. Во всем виноват Веспасиан. Он один мешает ей достигнуть власти. Веспасиан должен умереть. Она выбежала из ложи, не подозревая, что этим спаслась от меча мстителя.

XXI

Пленные ждали наступления казни в маленьком темном помещении. Через узкие оконца в глубину подземелья падал солнечный луч и тянул за собой голубоватую дрожащую полосу света. Сверкающая бабочка впорхнула в темноту с волною света и тщетно пыталась отяжелевшими от сырости крыльями снова вернуться на свободу.

Тамара стояла, прислонившись к прохладной каменной стене, и с горьким чувством следила за тщетными усилиями бабочки. Разве в жизни не то же самое? Сильный всегда готов проглотить слабого, уродство уничтожает красоту. Хитрость и жестокость владеют всем, война сокрушает мир, Рим уничтожает Иерусалим. Рим и Иерусалим — паук и бабочка.

Посредине подземелья на камне сидел Хлодомар. У него на коленях лежала Мероэ. Солнечный луч падал на ее бледное лицо с большими синими глазами и белым лбом.

Серебристые блестящие волосы окружали ее голову, как венок весенних цветов.

«Весенние цветы, которые завянут, едва распустившись», — подумал Габба, и сердце его сжалось безграничной жалостью.

Глухой рев шестидесятитысячной толпы доходил до них с арены. Звуки шагов идущих на смерть братьев, хриплый голос надсмотрщика, считавшего жертвы, — все это говорило о том, что у них оставалось немного времени.

Настала минута разлуки. Хлодомар и Габба должны были бороться в числе последних пленников Мероэ кротко проводила их до дверей, ни одного звука не сорвалось с ее уст. Она еще раз улыбнулась уходившим на смерть. Дверь глухо захлопнулась за ними.

Хлодомар и Габба стояли на арене друг против друга, среди хохота толпы.

— Бейся отважно, Габба, — шепнул ему Хлодомар. — Может быть, если ты меня осилишь, это возбудит жалость толпы. Этот проклятый народ имеет странные капризы

— А ты?

— Я хочу умереть. Так смотри же, когда ты увидишь, что я пошатнусь, ударь сильнее, слышишь?

Габба кивнул. В глазах его было выражение твердой загадочной решимости.

Бой начался. Хотя Хлодомар был сильнее, но Габба с блестящей легкостью уклонялся от его ударов. Наконец Хлодомар решил, что пора привести в исполнение задуманное.

— Прыгни в сторону, — шепнул он, поднимая меч как бы для страшного удара. — Потом сам ударь, чтобы никто ничего не заметил.

Габба приготовился. Меч Хлодомара тяжело упал, но Габба не уклонился. Он стоял неподвижно и шептал: «Мероэ». Он упал на песок и его правая рука, державшая еще оружие в судорожно сжатом кулаке, отлетела далеко в сторону

— Подними палец левой руки, — прошептал Хлодомар в ужасе.

Но Габба не двигался. Он с ненавистью смотрел на толпу зрителей, осыпавших его насмешками. Наконец глаза его остановились на чьем-то лице, окаймленном острой черной бородой. Он вздрогнул, и левая рука его сжалась в кулак.

— Базилид, — хрипло крикнул он. — Проклятый отец

Рев толпы заглушил его слова. Его поднятую с угрозой руку приняли за моление о пощаде и спорили, осудить ли его или даровать жизнь. Габба увидел, как отец опустил палец вниз. Габба усмехнулся с торжеством.

— Ну, давай же, Хлодомар!

Хлодомар отшатнулся.

— Я никогда не соглашусь тебя убить, если бы даже меня пытали раскаленным железом...

— Но тогда другой нанесет мне смертельный удар, — молил Габба. — Неужели Рим увидит германца, малодушно отказывающегося занести меч?

Хлодомар крепко сжал губы и глаза его засветились презрением.

— Прости мне, Габба, — проговорил он и поднял меч. Глухой стон сорвался с его уст, глаза блуждали в мрачном ожидании по лицам зрителей. И то, на что он надеялся, к чему стремился, обезумевший от пролитой крови, свершилось.

— Это Хлодомар, — крикнул Оний громко. — Ему легко было сразить слабого карлика. Нужно выставить против него гладиатора.

Толпа криками одобрения встретила это предложение. Веспасиан подозвал к себе Этерния Фронтоня.

Вскоре на арене появился один из самых знаменитых гладиаторов, любимец римских женщин.

Хлодомара охватило дикое бешенство; он с яростью бросился на нового противника. Напрасно тот попытался уклониться. Меч Хлодомара опустился на его голову. Не ожидая решения зрителей, он вонзил ему меч в горло, как это сделал против воли с Габбой.

Толпа крикнула от бешенства, но Хлодомар ответил только презрительным движением руки.

— Так вот какова ваша храбрость, римляне! — крикнул он так громко, что его слышно было на весь амфитеатр. — Теперь я начинаю верить, что вы достигли победы над Иерусалимом только хитростью и предательством...

Даже спокойное лицо Веспасиана побледнело от оскорбления. Не дожидаясь требования толпы, он сам подозвал Фронтоня. И опять на арене появился гладиатор, и снова началась борьба. За ним последовал другой и третий, и наконец противники стали выходить против него по двое. Он защищался все с тем же холодным бешенством и с таким же успехом. Никто не мог устоять против него. Каждая новая победа, казалось, увеличивала его силу. Неопишное вол-

нение охватило толпу. Ничего подобного никогда не бывало. Лучшие гладиаторы Рима, увешанные знаками за храбрость, выходили сражаться с Хлодомаром и падали на песок от его неотразимых ударов. Когда же двое гладиаторов обратились в бегство, гнев народа внезапно перешел в восторг. Рукоплескания и крики одобрения потрясали амфитеатр, и из тысячи уст раздался, обращенный к Веспасиану, крик:

— Пощади его, цезарь, пощади!

Веспасиан поднялся, и движением руки восстановил тишину. Потом, обращаясь к Хлодомару, он сказал:

— Римляне решили дать тебе свободу, о храбрый воин. Ты свободен; иди куда хочешь. Но если ты жаждешь почестей и славы, то советую тебе — не уходи, а стань тем, кем ты уже был, центурионом александрийского легиона.

Новый взрыв рукоплесканий последовал за этими словами. На лице Хлодомара показалась презрительная улыбка. Он выпрямился, поднял руку, и среди наступившей тишины раздался его голос.

— Велика твоя милость, о цезарь, и твоя, римский народ. Но эта милость не почет для германца, ибо она милость рабов. Да, — крикнул он среди взрыва негодования, — римляне рабы, и презренен тот человек, который примет дар из их рук. Вы были некогда свободны и знали, что такое честь, но теперь вы жалкие псы... Вы заслуживаете того, чтобы вам плевали в ваше распутное лицо, как это делаю я, Хлодомар, из племени хаттов.

Хлодомар плюнул, бросил меч и захохотал.

— Смерть ему! Сжечь его!

Амфитеатр задрожал от криков. Тысячи рук простирались к дерзновенному, осмелившемуся оскорбить Рим. Этерний Фронтон уже открыл дверь, ведущую в помещение гладиаторов, чтобы выставить против Хлодомара целый отряд, но в эту минуту раздался голос Ония:

— Бросить его на растерзание диким зверям.

Эти слова зажгли толпу, как удар молнии. В полных гнева глазах, устремленных на Хлодомара, искрилось торжество над близким страшным концом оскорбителя Рима.

Этерний Фронтон спустился в подземелье для приготовлений к последней и самой великолепной части зрелища. В полуосвещенном проходе перед ним вдруг появилась Саломея. Лицо ее было бледным, и мрачный блеск был в ее глазах.

— Ты от цезаря? — коротко спросила она — Что он ответил?

Фронтон робко взглянул на нее.

— Он готов отдать кого угодно, только не дочь Иоанна из Гишалы. Народ имеет право на ее жизнь...

Саломея горько засмеялась.

— Народ! Конечно, он должен льстить толпе, а это в Риме возможно только посредством крови и золота

Когда ты просил его?

До начала игр.

Попроси его еще раз. Быть может, когда он насытился кровью

— Саломея, ты ведь знаешь... Это было бы напрасно

— Все равно нужно сделать последнюю попытку. Если же и она будет неудачна, тогда..

Голос ее перешел в невнятный шепот, и глаза потемнели. Этерний Фронтон с ужасом смотрел на нее.

Тогда, Саломея? — дрожащим голосом переспросил он. Ты ведь знаешь, как я люблю тебя. Для меня счастье исполнить каждое твое желание, но ты требуешь невозможного

Она пожала плечами

Ты думаешь, что я не знаю. Я не потому требую, что надеюсь на исполнение. Я только буду более спокойна, когда буду знать, что все было сделано...

Но. Уже в последний раз, когда я просил его об этом, Веспасиан нахмурился.

— Да, конечно, если милость Веспасиана для тебя важнее, чем..

Этерний Фронтон поежился, увидев угрожающее выражение ее глаз.

— Иду, — сказал он, — иду.

— Я буду спокойнее, — повторила она странным голосом, — спокойнее..

Когда Фронтон вернулся, Саломея сразу увидела по его расстроенному лицу, что нет никакой надежды. Тамара должна умереть

Где она? — спросила Саломея, выпрямляясь.

Там, — пробормотал он, указывая на узкую железную дверь

Саломея направилась к двери

— Что ты делаешь, Саломея? — сказал он, хватая ее за руку

Она вздрогнула от его прикосновения, как от чего-то

гадкого. И все-таки она улыбнулась ему, как улыбалась в Птолемаиде после пляски во время пира.

— Ты в самом деле любишь меня, Этерний Фронтон? — спросила она.

— Ты еще спрашиваешь, Саломея? — ответил он с волнением. — Разве я не исполняю во всем твою волю? Если бы ты хотела отомстить, ты не смогла бы сделать более того, что сделала. Ты превратила меня в раба.

— Если бы я хотела отомстить тебе. — задумчиво повторила Саломея. — Разлука со мной доставила бы тебе страдания? Если бы ты потерял меня, ты был бы несчастен?

Он побледнел, губы его задрожали.

— Потерять тебя, Саломея? Я бы этого не перенес.

— Ты бы не перенес... — прошептала она. Затем, меняя тон, она сказала, указывая на дверь. — Открой!

Он взглянул на нее с изумлением.

— Ты что-то скрываешь от меня, Саломея, — сказал он с возрастающим беспокойством. — У тебя на уме что-то страшное...

Она улыбнулась принужденной улыбкой.

— Что страшного в том, что мне хочется облегчить последние минуты Тамары? Подумай, она была мне так близка, она мне почти сестра. Я бы хотела утешить ее, ободрить. Ничего, кроме этого, я не могу теперь сделать...

— Ты клянешься мне?

— В чем?

— В том... Часто случалось, что осужденные избегали последних мук... им доставляли перед казнью яд или кинжал.

Она гордо покачала головой.

— Иудейка не боится смерти на которую идут ее братья

— Но ты, ты, Саломея.

— Ты думаешь, что я могу покинуть тебя? О нет! Раз попав в Рим, нельзя уйти из него: поэтому... право, Фронтон, я начинаю верить в твою любовь. Она делает тебя ребенком.

Она позвала проходившего мимо привратника, чтобы он открыл ей дверь. Этерний поспешил за ней

— Саломея, еще раз, молю тебя.

Она остановилась, улыбнулась ему и сказала.

— Я люблю тебя, Фронтон, я люблю тебя

Она сказала это шутливым, почти насмешливым голо-

сом, и рука, которая коснулась лба Фронтонa, была холодной и сухой.

Через четверть часа толпы женщин, детей и стариков потянулись, связанные попарно, на арену. Там, в отгороженном от зрителей помещении воспроизведен был в миниатюре вид Иерусалима. При виде хорошо знакомых башен и кровель иудеи огласили воздух воплями бесконечной скорби и простерли закованные в цепи руки к сверкающему золотом храму.

Все было воспроизведено с мельчайшими подробностями. Белая постройка расположена была террасой, как мраморный храм. Воспроизведены были ворота, зал Соломона с мраморными колоннами, кедровой крышей и пестрым мозаичным полом, царское место с тремя входами, коринфские колонны, между которыми в Иерусалиме некогда торговцы предлагали свои товары. Жертвенный алтарь высился среди отделения для священнослужителей. В предверьи к внутреннему храму воспроизведена была даже гигантская виноградная лоза — символ власти жрецов. И как в Иерусалиме, так и здесь, святыня была завешана вавилонским ковром с вытканными в нем четыремя священными красками, символами четырех стихий.

Над крышей поднимались бесконечные золотые острия. На храме Господнем они служили для того, чтобы отпугивать птиц, а здесь... здесь к ним привязали беззащитных пленников. Из подвалов до них доносился глухой рев зверей.

Саломея оставалась у Тамары и Мероэ до последней минуты. Но она не обменялась ни единым словом со своей подругой из Птолемаиды. Только, когда они встречались глазами, у обеих мелькала на лице улыбка. Этерний Фронтон стоял рядом с Саломеей и смотрел на нее с любовью и тревогой. Он все еще чего-то опасался.

Слуга принес распоряжение цезаря. Народ возмущался — слишком долго его заставили ждать.

Фронтон схватил Саломею за руку и потащил ее от помоста, на котором находились осужденные. В эту минуту появился Домициан узнать о причине задержки. Невольно Фронтон выпустил руку Саломеи и побежал к сыну Веспасиана.

Копия храма вознеслась наверх; на его крыше между осужденными были Тамара и Мероэ. Рядом с ними был Хлодомар, вооруженный коротким мечем. Он один был освобожден от оков. В ногах у Тамары сидел кто-то. В ту

минуту, когда помост подняли наверх, она с криком безумного восторга обняла Тамару. Это была Саломея.

Этерний Фронтон вздрогнул от звука знакомого голоса и посмотрел вверх. Он отшатнулся, и лоб его покрылся холодным потом. Саломея кивнула ему, улыбаясь.

— Кто однажды видел Рим, уже его не оставит. О, как я люблю тебя, Этерний Фронтон, как я люблю...

Он крикнул рабам, чтобы они остановили машину. Но было уже слишком поздно. Храм иудейского Бога появился уже на арене, приветствуемый оглушительным ревом толпы.

Из груди Этерния Фронтонна вырвался страшный крик. У него было отнято то единственное, что он любил. Жизнь его снова станет такой, как прежде, пустой и безрадостной. Еще более безрадостной, чем прежде, когда он не знал любви и не ощущал в ней потребности. Теперь он навсегда одинок.

Игры закончились. Смеясь и болтая, зрители уходили из театра. Регуэль был среди них.

Он ни о чем не думал и не знал, куда идет. Ему было безразлично, что бы ни случилось. Он даже не думал о мести. Все исчезло.

Он едва обернулся, когда чья-то рука легла ему на плечо. Перед ним было желтоватое лицо с острой черной бородой. Он с трудом припомнил, что где-то уже видел его, и даже несколько раз. Сначала на триумфальном шествии цезарей, потом на улице, когда встретил Саломею. Когда это было — вчера? Один день стал для него вечностью.

— Не останавливайся, — шепнул неизвестный, озираясь. — Шпионы цезаря теперь повсюду. Пойдем рядом, как беспечные римляне, которые разговаривают о пышности и блеске недавнего зрелища.

Регуэль отвернулся.

— Я тебя не знаю, — сказал он.

Незнакомец улыбнулся и подошел к нему совсем близко.

— А я слежу за тобой с тех пор, как увидел тебя вчера.

— Почему?

— Я знаю, кто ты. Я боюсь, что и ты можешь попасть в руки римских палачей. Особенно теперь, когда исчезла единственная твоя опора в Риме — первая жертва зверей.

Рука Регуэля невольно ощупала спрятанный под платьем кинжал, и он с недоверием посмотрел на незнакомца.

— Я тебя не понимаю.

— Не бойся предательства, — ответил незнакомец на иудейском наречии. — Регуэль, сын Иоанна из Гишалы, священен для несчастных детей Израиля, даже если бы Иегуда бен Сафан не был другом твоего великого отца.

— Регуэль, сын Иоанна из Гишалы? — повторил Регуэль. — Я не знаю, за кого ты меня принимаешь. Я Александр, купец из Дамаска, и привез товары для...

— Хвалю твою осторожность, — перебил его незнакомец. — Я бы и сам на твоём месте поступал точно так же. Но так как я все-таки надеялся повидать тебя, то я захватил с собой одно письмо; твой отец написал мне его из Гишалы, когда Иосиф бен Матиа обвинил его в предательстве.

Он передал Регуэлю маленький свиток. Регуэль узнал почерк отца. Иоанн извещал своего друга, Иегуду бен Сафана в Тивериаде, об измене галилейских союзников и о пленении его родственников Веспасианом в Птолемаиде. Он уговаривал его примкнуть к восстанию в Иерусалиме.

— Я тогда тяжело заболел, — объяснил Иегуда Регуэлю, — и не мог последовать воззванию героя. А когда я поправился, было уже слишком поздно: Иерусалим был уже осажден Титом.

Он опустил голову, и Регуэлю показалось, что глаза его полны слез.

— Что же теперь привело тебя в Рим? — спросил он. Незнакомец наклонился к Регуэлю.

— Месть, — проговорил он тихим, но твердым голосом. — Я надеюсь отомстить осквернителям нашей святыни. Мазада, крепость у Мертвого моря, еще не взята римлянами, еще стоит Александрия, и в городах Азии тысячи храбрых мужей ждут подходящей минуты, чтобы возобновить войну. Я жду подходящей минуты, чтобы поднять мятеж. Как только Рим затеет новую войну, все равно где, в Германии или Британии, иудейские воины объединятся, и наступит конец порабощению Израиля.

Регуэль с изумлением посмотрел на него и грустно покачал головой.

— Иерусалим погиб, — сказал он со вздохом, — и никогда не возродится. Напрасные мечты. То, чем Рим завладел, он никогда больше не выпустит из своих рук...

Незнакомец нахмурился, глаза его засветились мрачным огнем.

— Неужели же эти нечестивцы безнаказанно будут топтать все человеческое? Неужели они без страха наказания будут пользоваться наградой за свои преступления? Нико-

гда! Мщение ближе, нежели они думают. — продолжал он, понижая голос. — Здесь, в Риме, собрались уже единомышленники, мы имеем доступ к их дворцам, их самым скрытым покоем, и доверенные рабы их выдают нам все тайны. Измена погубила Иерусалим, измена восстановит его.

Он поднял с угрозой руку к зданию, перед которым они остановились. Регуэль поднял глаза и вздрогнул. Это был дворец Тита. Здесь жила Вероника.

Сознание священного долга, завещанного отцом, наполнило душу Регуэля. Вероника здесь. Он должен проникнуть в эти стены.

— Верно ли я тебя понял? — быстро спросил он; всякая осторожность становилась излишней относительно единомышленника и друга отца. — У тебя есть связи в дворцах знатных римлян? И в этом тоже?

— Зачем ты спрашиваешь? — спросил Иегуда с внезапным недоверием. — Ведь ты же говоришь, что отчаялся в спасении Иерусалима?

— Иерусалима? Да. Но я хочу мести. Да, Иегуда я должен сознаться тебе. И я живу одной только мыслью и...

Он рассказал все о том, что делал для того, чтобы попасть к Веронике и совершить задуманное. Когда он сказал, что ему удалось при помощи Саломеи попасть в ложу царицы, Иегуда неодобрительно покачал головой.

— Никогда бы, — сказал он, — твое намерение не могло быть исполнено там, среди толпы, которая неустанно следит за ненавистной всем иудеянкой. Ее охраняет раб. Если бы раздался крик о помощи, в ту же секунду туда поспешили бы телохранители Тита. Вероника дорога сыну Веспасиана, и он сумеет защитить ее.

— Значит, нет никакой надежды попасть к ней?

— Могу ли я тебе довериться?

Регуэль не заметил, как они поменялись ролями. Он клялся памятью отца, что не выдаст ни звука из того, что ему скажет Иегуда.

— В таком случае хорошо, — сказал наконец незнакомец. — Я знаю одного домослужителя царицы. Он сделает все, что я хочу. Сегодняшний вечер самый подходящий для исполнения твоего замысла. Тит устраивает пир в честь своего отца: моему другу легко будет спрятать тебя в одной из комнат Вероники. Теперь, однако, еще слишком рано. Если ты подождешь меня где-нибудь.

Регуэль согласился, и Иегуда провел его в таверну

одного иудея Там они расстались, чтобы встретиться в условленное время у входа во дворец Тита

Пир подходил к концу. Часть гостей уже поднялась из-за стола и отправилась бродить по парку, ярко освещенному факелами и пестрыми фонарями, около дома Тита. Рабы уже вносили изысканные плоды на серебряных блюдах, что означало конец пира. Оний показался на минуту у дверей, напротив которых сидела Вероника. Он подал ей условный знак и исчез.

Вероника побледнела, глаза ее широко раскрылись. Она с беспокойством взглянула на раба, который подавал Веспасиану на серебряной тарелке яблоко из Матии — обычный десерт цезаря. Веспасиан, занятый шутливым разговором, взял яблоко и стал его резать.

— Что с тобой? — спросил озабоченно Тит, наклоняясь к Веронике и глядя на нее восхищенным взором Ты была так оживлена и остроумна, и вдруг...

Она опустила глаза.

— Здесь слишком душно, — проговорила она, поднимаясь. — Пойдем лучше туда, к фонтанам, — там прохладнее.

Они были одни. Издали доносились до них смех и гомон толпы.

У одного из фонтанов стояла скамья. Вероника медленно опустилась на нее, подставляя лицо брызгам воды, которые доносил до нее ночной ветер. Тит молча остановился перед ней.

— Почему ты ничего не говоришь? — спросила она Она прислушалась. Что это — из дома донесся какой-то крик?.. Нет, все тихо.

— Ты на меня сердита? — спросил он в ответ. — Если бы ты знала, как я боролся, прежде чем покориться воле отца.

— Воле? — повторила она с горечью. — Не воле, а тирании. Не возражай, — сказала она, видя, что он хочет что-то сказать. — Все это напрасно, Веспасиан — цезарь, власть в его руках. Почему же ему не пользоваться ею? Я ведь иудейка, бесправная и беззащитная. Я за то должна быть благодарна, что ты не гонишь меня, когда я опротивела тебе..

Необычайно мягкий тон ее голоса смутил его. Ее лицо и шея покрыты были розовым отблеском света от факелов, волосы отливали золотом. Как она хороша!

— Ты мне опротивела? — проговорил он вне себя

и бросился перед ней в росистую траву, обнимая ее стан. — Я никогда так ясно не сознавал, как я тебя люблю. Я только тогда убедился, что не могу жить без тебя, когда мне угрожала опасность потерять тебя. О Вероника! Если я еще не имею возможности пока дать тебе место, на которое ты имеешь право рядом со мной, то в сердце Тита ты всегда будешь полновластной властительницей.

— Еще не имеешь возможности, — повторила она. — Еще не имеешь? И никогда не будешь иметь?

— Дай остыть гневу против иудеев.

— А если Веспасиан и тогда будет против?

Тит гневно выпрямился.

— И тогда? Тогда недалек будет день, когда Тит станет единственным властителем Рима!..

Теперь и она вспыхнула.

— Ты решишься на это?

— Клянусь всеми богами. Цезарь Тит прежде всего признает Веронику Августой.

Она посмотрела на него испуганным взглядом и стиснула зубы, удерживая крик. Теперь она не ошиблась. Страшный крик раздался во дворце.

— Но ведь Веспасиан, — проговорила она, задыхаясь, — силен и здоров. Веспасиан будет жить долго...

Он глухо вздохнул.

— Долго...

Они замолчали. Раздались чьи-то торопливые шаги. Вероника сидела неподвижно, она побледнела, и глаза с мучительным напряжением вглядывались в подходившего к ним человека.

— Тит! — раздался его испуганный голос. — Цезарь..

Тит вскочил.

— Иосиф Флавий? — удивился он. — Что случилось?

Бывший наместник Иудеи тяжело дышал от быстрой ходьбы.

— Веспасиан... — проговорил он с трудом, и ужас отразился на его лице. — Веспасиан умирает. Его только что унесли... Спеши!..

— Умирает? — проговорил Тит бледнее и невольно отступил от Вероники.

— Умирает? — повторила и Вероника беззвучно.

— Он опирался на руку Агриппы, — сказал Иосиф Флавий, — чтобы подняться из-за стола, когда вдруг смертельно побледнел и зашатался. Агриппа едва удержал его. Несколько врачей около него, но они не могут понять, в чем

дело. Он лежит без движения, сердце едва бьется. Вероятно, внезапный паралич. Во всяком случае, Тит, поспеши к нему. В случае его смерти сенат тотчас же принесет тебе присягу и ты покажешься народу. Ты ведь знаешь. Домициан, твой брат...

Он замолчал. Тит уже бежал ко дворцу. Домициан! У Тита не было большего врага, чем Домициан, который завидовал его славе и стремился занять его место.

У большой лестницы Вероника догнала его.

— Ты мне дашь знать, Тит, — настойчиво просила она, еще в эту ночь?

В эту ночь, — подтвердил он и прибавил тихо, чтобы Иосиф Флавий его не слышал. — Тит умеет быть благодарным. Если Веспасиан умрет, то Рим завтра будет приветствовать Веронику именем Августы.

Иегуда бен Сафан вышел из ворот дворца и махнул рукой. Регуэль быстро вышел из-за угла.

— Счастье тебе улыбается, — прошептал Иегуда. — Веспасиан внезапно заболел. Поговаривают о яде. Во дворце величайшее смятение. Тебе легко будет попасть к Веронике.

Регуэль ничего не ответил. Он молча последовал за своим проводником через темные безмолвные покои. Иегуда остановился у маленькой двери, осторожно открыл ее и стал прислушиваться, затаив дыхание. Затем он позвал за собой своего спутника.

Они вошли в одну из комнат, через дверь соседней пробивался луч света.

— Это свет из спальни царицы, — сказал Иегуда. В этой комнате хранятся ее наряды. Там в углу покрытое коврами возвышение. Спрячься за ним и обожди, пока Вероника отпустит своих служанок. Но, может быть, — прибавил он, — ты откажешься от своего опасного замысла? Не скрою от тебя, что отсюда трудно будет выбраться. А если тебя схватят, то тебя ожидает...

Регуэль остановил его движением руки.

— Я только разделю участь моего народа, — сказал он твердым голосом.

Он спрятался за коврами. Иегуда вышел, душная тишина повисла в комнате.

Иегуда смеялся, спеша куда-то по темным улицам Рима. «Было бы безумием, — думал он, — держась за крылья умирающего орла, надеяться взлететь с ним вверх. Власть

Вероники погибает. Расшатанный дом нужно скрыть до основания прежде, чем он обрушится на живущих в нем».

Он подошел к дворцу Веспасиана, перед которым заметно было оживление. Гонцы и сенаторы, астрологи и врачи входили и выходили, озабоченные болезнью цезаря. Иегуда обратился к одному из придворных:

— Царь Агриппа у Веспасиана?

Тот утвердительно склонил голову.

— Позови его поскорее или лучше проводи меня к нему. Дело чрезвычайно важное. Оно касается здоровья императора.

Придворный быстро повел его во внутренние покои. Иегуда последовал за ним. Вскоре из покоев императора поспешно вышел Агриппа.

— Это ты, Оний?! — воскликнул он удивленно.

Бывший пророк поклонился с улыбкой.

— Вспомни, — сказал он, — что ты до сих пор не отпускал меня со своей службы.

Царь нахмурился.

— Поздно вспомнил об этом, — сказал он, — и, право, теперь не время.

— Теперь-то именно и время, — сказал Оний многозначительно. — Я пришел сообщить тебе то, что навсегда упрочит твою дружбу с Флавиями. Выздоровление цезаря в твоей руке. Цезарь отравлен.

Агриппа побледнел.

— Вероникой?.. — пробормотал он невольно.

— Вероникой, — подтвердил Оний. — Я могу дать тебе средство отомстить ей.

Царь с угрозой поднял руку.

— Клянусь моим павшим могуществом, — воскликнул он, — я воспользуюсь этим средством.

Вдруг чья-то рука легла ему на плечо. Перед ними был Тит.

— Отравлен Вероникой? — спросил сын Веспасиана, задыхаясь. — Докажи это.

Оний спокойно сказал:

— Прости, благородный цезарь, что не я принес тебе это известие. Я хотел пощадить твое сыновнее чувство. Но это правда. По поручению Вероники я сам напичкал ядом яблоко, которое приготовлено было для Веспасиана. Но успокойся, — прибавил он, улыбаясь. Желание Вероники было, чтобы яд был смертельный, я же не исполнил ее приказа. Никогда бы я не посягнул на жизнь цезаря..

— Однако Веспасиан лежит, как мертвый. Сердце его едва бьется. Усилия врачей оживить его тщетны.

— Это потому, что они не знают истины,— ответил пророк.— Я выбрал безвредное снотворное средство, и Веспасиан встанет свежим и здоровым завтра утром, даже если ты не повелишь употребить раньше это противоядие. Я передаю его тебе как доказательство моей честности. Ты можешь дать его врачам для исследования.

Оний передал Титу маленькую коробочку.

— Но почему,— спросил Тит, глядя на него с презрением,— почему ты не донес о покушении заранее?

Оний пожал плечами.

— Тогда бы стали допрашивать Веронику,— ответил он,— и скорее поверили бы ее оправданиям, чем моему доносу. Ты ведь знаешь, даже пытка не всегда заставляет говорить правду, а я слишком слаб, чтобы выдержать такое. Да к тому же это было бы напрасно. Царица, несомненно, нашла бы другую, менее совестливую руку для исполнения своей воли.

Тит склонил голову, соглашаясь с доводами Ония, но взгляд его по-прежнему оставался мрачным: Рим не провозгласит его завтра цезарем.

— Жди здесь ответа,— сказал он после короткого раздумья и подозвал стражей, стоявших внизу,— центурион Фотин останется при тебе. Но берегись, при первой попытке бежать ты будешь немедленно казнен.

Пророк усмехнулся и отошел на несколько шагов. Фотин встал около него, Агриппа прислонился к дверям.

Прошло около часа, прежде чем вернулся Тит.

— Ну, что же? — спросил царь.

— Он сказал правду,— холодно ответил Тит.— Веспасиан проснулся совершенно здоровым, он только еще слишком слаб, чтобы говорить. Подойди ближе, Оний.

Оний подошел со смиренным видом, но глаза его горели жадным ожиданием. Теперь наконец он близок к желанной цели. Он спас цезаря. Награда его будет неслыханной.

— Что ты повелеваешь, цезарь? — проговорил он с напускным благоговением.

— Ты заслужил благодарность Флавиев,— сказал Тит с холодным спокойствием.— Требуй себе награды.

Оний низко поклонился.

— Да исполнится воля великого цезаря. Вот все, чего я желаю...

Презрительная улыбка промелькнула на хмуром лице цезаря

— Хорошо Вот тебе.

Он подозвал раба, который нес за ним два маленьких мешочка.

— Вот золото

Выражение торжества исчезло с лица Ония Золото только лишь золото?..

Раб вложил ему в руки оба мешка Пророк еще раз взглянул на Тита, но то, что он прочитал на его лице отбило у него охоту просить что-нибудь еще Он медленно направился к выходу. Тит молча следил за ним Потом он вдруг окликнул его:

Оний!

Пророк радостно обернулся

.. Что велишь, цезарь?

— Ты состоял на службе у Вероники?

- Да, цезарь.

Тит не мог скрыть своего презрения

— Тем постыднее твоя измена. Ты получил награду за твою услугу. А наказания за измену ты не боишься? Взять его, Фотин! Брось его на съедение самому свирепому тигру и не забудь дать ему с собой мешки с золотом .

Пророк упал на колени, продолжая судорожно сжимать в руках свою награду.

— Пощади, цезарь,— взмолился он.— Пощади! Подумай. Если бы я не ставил жизнь твоего отца выше, чем волю Вероники, то...

Тит оборвал его, сделав повелительный жест. Фотин и солдаты схватили его и потащили за собой

Тит стоял не двигаясь, и глаза его тупо смотрели в пустоту Агриппа спросил его:

- А Вероника? Хочешь, чтобы я.

— Я сам...— прохрипел Тит.

Луч света померк Кто-то встал перед дверью. Регуэль не обратил на это внимания. Долгое ожидание среди ночной тишины отвлекло его мысли. Он стоял на пороге смерти Он не уйдет, не свершив свое дело. Ему казалось, что из темной пропасти у ног его к нему поднимается с мягкой улыбкой чей-то образ и манит его знакомым страстным шепотом. Он чувствует аромат золотистых волос Деборы «Я иду к тебе», шептал он, упоенный, протягивая руки, чтобы обнять за пределами жизни погибшую возлюблен-

ную. Вдруг он вздрогнул. Чей-то голос донесся до него из соседней комнаты. Сдержанные, неясные звуки, но он чувствовал в них радость торжества и победы... Это была Вероника. Теперь она стоит на высоте и поднимает победный кубок к надменным устам.

— Нет, не жемчуг, Хармиона! Укрепи мне в волосах вот этот камень. Он не раз возбуждал изумление и зависть римлянок своим блеском. Он блестит, как капля росы на лепестках розы. Одень мне венец. Ведь сейчас придет Тит, и Вероника должна предстать пред ним Августой, владительницей мира. Завтра ты увидишь весь Рим и весь мир у моих ног

Она говорила, как в бреду, обрывками слов, и несколько раз прерывала себя коротким смехом. В сладостном сознании торжества она легла на диван, протянула вперед руки и полузакрывает глаза, так что свет проникал в них отдельными искрами.

Легкий шум послышался у двери в соседнюю комнату от приближения чьих-то осторожных шагов. Кто-то наклонился над ней, чья-то рука ощупывала ее одежду, и теплое дыхание коснулось обнаженной шеи. Она медленно приподнялась и повернула к нему свое лицо, отуманенное сном. Она улыбнулась.

— Регуэль,— прошептала она,— я знала, что ты придешь!..

Он отпрянул от нее, вскрикнув, лицо его помертвело. Кинжал, который он только что вынул, чтобы пронзить им сердце предательницы, упал с глухим звуком на ковер.

— Дебора, это ты?!

Она не пошевелилась. Полуоткрытыми глазами она ласково смотрела на него.

Голос его, казалось, не доходил до нее, и она продолжала жить во сне. Она снова увидела перед собой все, что случилось со времени пожара.

— Значит, все это была неправда,— радостно шептала она.— Неправда. Стены Бет-Эдена не пали среди пламени, Вероника не стала женой язычника. Всего этого не было. Израиль могущественнее, чем когда-либо. Видишь, как сверкает священное золото на кровлях храма. Вероника все еще принадлежит одному только Регуэлю. И он к ней вернулся.

Она медленно поднялась и подошла к нему.

— Разве я не хороша? Я нарядилась для тебя.

Он попятился от нее. Теперь он вдруг все понял, все

нити сплелись, образуя коварную сеть, в которую он попался. Все в ней было лживо — каждое слово, каждая улыбка. И теперь, чтобы спастись от него, она притворяется безумной.

Она пошла вслед за ним. Длинным волочащимся по полу платьем она потянула за собой кинжал. Когда Регуэль с внезапной яростью бросился на нее, кинжал оказался у его ног, сверкая на темном ковре. Он его быстро схватил.

— Теперь ты умрешь. Счастлива рука, которая положит конец твоей гнусной жизни.

Глаза ее широко раскрылись, но не от страха. Казалось, она хотела запечатлеть в них образ мстителя. И опять улыбка показалась на ее устах.

— Умереть в любви! Убей меня! — Кровь возлюбленной сейчас прольется на него.

Он взялся рукой за кинжал. Вероника оставалась неподвижной. Его охватил ужас.

Он долго стоял перед ней на коленях. Потом провел рукой по влажному лбу и медленно поднялся. Он думал только об одном: рука его никогда не будет иметь достаточно силы, чтобы остановить это сердце, никогда

— Дебора!

Она лежала, как спящая, но выражение ее лица изменилось. Улыбка счастья исчезла, и упрямство образовало жесткую складку вокруг рта.

Вдруг открылась маленькая дверь из соседней комнаты — та, через которую вошел Регуэль. Эфиоп остановился у двери и озирался вокруг. Он увидел Регуэля. Лицо раба налилось кровью, нечленораздельный, резкий крик вырвался из его груди, и пальцы его сжались.

Вероника поднялась и бросилась, как бы ища у него защиты. Указывая рукой на Регуэля, она стала молить жалобным голосом:

— Видишь, он хочет растоптать меня! Защити меня от него, Оний, защити от Веспасиана! Он разорвал брачный контракт. Он надругался надо мной. Но ведь у тебя, Оний, есть яд, не правда ли? Ты его вступишь в его жилы, чтобы он умер. Я перешагну через его труп, чтобы подняться на вершину, и ты со мной. Убей его, Оний, убей!

Регуэль побледнел, взглянув в ее безумные глаза. Теперь он все понял.

Даже если бы у него хватило силы, месть его пришла бы слишком поздно. Вероника уже наказана судьбой.

Эфиоп не слышал слов своей госпожи. Но он все понял по выражению ее глаз. Перед ним стоял Регуэль.

Он бросился на него, вырвал кинжал и вонзил его быстрым твердым ударом в его грудь. Регуэль не защищался. Спокойно принял он смертельный удар и упал. Он только еще раз поднял взгляд на прекрасный образ, склоняющийся над ним. Он видел в нем не ту женщину, которая в безумии ухватилась за колонну и дрожала от страха, а величественный чистый образ другой женщины — женщины из Бет-Эдена

Дебора!

Все кончено. Эфиоп поднялся и посмотрел на нее жадными, налитыми кровью глазами — как зверь, готовый сделать прыжок.

Он долго ждал — целые годы, он видел счастье Регуэля и Тита. Лев отважился на прыжок. Тихий жалобный стон его жертвы замер под его руками. Он припал к ней губами, но не для того, чтобы целовать Веронику. С безумным воем он впился ей в губы и стал пить показавшуюся кровь. Еще еще!

От страшной боли к Веронике на минуту вернулось сознание. Она вдруг все ясно увидела и поняла. Как тогда после пожара в Бет-Эдене, когда она хотела умертвить себя, так и теперь демон безумия протягивал к ней руки, и она теряла власть над собой. Безумие всего ее рода обрушилось на нее, подавляя ее разум. Оно охватило ее с тех пор, как она отдалась Титу. Измена отечеству, разрушение Иерусалима, гибель ее народа — все это произошло по вине ее отравленной, разлагающейся уже крови.

— Проклятая кровь дома Иродов! — С последним напряжением сознания она крикнула эти слова и лишилась чувств

Они медленно поднимались по камням и грудам обгорелых балок, свидетельствующих, что здесь некогда стоял Иерусалим.

— Сион, ты был некогда венцом в руке Божией. А теперь?

Там, где некогда стоял храм, они остановились. Вероника опустилась на почерневший кусок мрамора, а эфиоп лег у ее ног, как верный пес.

Теперь Вероника принадлежала ему. Они поднимались сюда вечером в тумане наступавшей ночи. А на рассвете они возвращались туда, откуда пришли, — к заброшенной

пещере у ручья. Римские солдаты, охранявшие развалины, хорошо их знали и часто смеялись над ними.

Иногда они благоговейно склонялись перед женщиной.

— Да здравствует царица! — кричали они и хохотали.

Вероника гордо благодарила их за поклоны.

Иногда они ее били и дергали за длинные золотистые волосы. Тогда Стефан бросался перед ними на колени и умолял их мрачными воспаленными глазами не делать этого.

Была ли Вероника безумной? Люди это ей говорили тысячу раз, но она не верила. Ночью, когда она сидела на мраморных обломках, перед ней восставали знакомые лица шести тысяч людей, бросившихся в пламя. Она видела Иоанна, и Регуэля, и погибших в когтях у диких зверей иудеев. Она зажимала уши, чтобы не слышать криков, и закрывала глаза руками, чтобы не видеть кровь, льющуюся из трепещущих тел. Она страдала от невыразимых мук и при первом дуновении утренней прохлады бежала прочь с криком ужаса. Но вечером она снова возвращалась. Кто ее заставлял? Она чувствовала, что должна смотреть на страшные призраки убитых единоверцев.

Наступил день, когда у нее уже не было сил подняться вверх. Эфиоп, охваченный смертельным ужасом, поспешил за помощью. На развалинах он встретил одного из иудеев, которые приходили ежедневно молиться у разрушенных стен. Он последовал за эфиопом, возвращаясь и каждый раз снова уступая его безмолвной просьбе.

Когда они вошли в пещеру, Вероника остановила их властным движением руки. С последним напряжением сил она поднялась, устремила потухающий взгляд на иудея и с усилием произнесла:

— А где сыны Божии?

Иудей что-то ответил. Лицо Вероники помертвело. Застонав от горя, она упала на свое ложе. Когда эфиоп нагнулся над ней, она была уже мертва.

Что сказал ей незнакомец?

Дети Израиля скитаются по земле.

МАРИЯ РАТАЦЦИ

ОСАДА ИЕРУСАЛИМА

Перевод с итальянского

I

Трирема «Артемида» вышла из Родосского порта ранней весной 70-го года. Был вечер. Море было тихо, почти неподвижно. Ветер едва шевелил двумя большими кормовыми парусами, и волны слабо шумели под разрезавшим их носом судна. Солнце, скрывшееся в волнах, оставило на горизонте пеструю кучу розовых и красных облаков; но наступившие вскоре сумерки стерли с них яркие краски и небо сделалось белесоватым на западе, светло-голубым в зените и серым на востоке. Во время непродолжительных сумерек тысячи звезд покрыли небосклон. Морской горизонт, слегка подернутый туманом, сливался с ним по всей громадной окружности за исключением небольшого отрезка позади галеры, где на светло-голубом фоне неба чернели прибрежные горы Родоса.

Находившиеся на «Артемиде» люди, хотя и привычные к чудной картине, представляемой по вечерам небом в этих широтах, высыпали на палубу, очарованные и восхищенные, и видели в этом счастливое предзнаменование для путешествия.

Отплыв из Бриндизи в Цезарею с грузом для Восточной армии, «Артемида» представляла собою целый мирок. Кроме 120 гребцов и матросов, латинян и сицилийцев, на ней были греки, с материка и с островов, финикияне, египтяне, эфиопы, которых она захватывала в различных портах, к которым приставала, римские легионеры, германские, галльские и батавские союзники, отправлявшиеся на при-

соединение к армии Тита с многочисленными женщинами и рабами

Здесь можно было услышать всевозможные наречия, встретить всевозможные костюмы, начиная от желтого «сагума» галла до белого бурнуса араба. Финикийские купцы, сидя с подобранными под себя ногами, молчали и имели сосредоточенный вид. Греки кричали, жестикулировали, рассказывали разные истории. Несколько певцов, потомков древних рапсодов, взятых на борт галеры на островах Архипелага, собирались играть на цитре. Германские солдаты собирались играть в кости. Женщины, завернувшись в плащи, растянулись на войлочных одеялах или на кипах одежды. Рабы спали на скамейках, на тюках, на сложенных парусах или на свернутых канатах. Палуба была завалена товарами, мешками, шкурами зверей, всякого рода оружием, а также различными снастями и такелажем — парусами, веслами, канатами, реями.

Среди групп, образовавшихся на палубе «Артемиды», была одна чудесная семья, глава которой, Памаиль-Иосиф, был дядей Иосифа Флавия, летописца осады Иерусалима. Вместе с ним ехала его внучка Ревекка и двое слуг.

Лицо Измаила бросалось в глаза своей длинной седой патриаршей бородой и выражением лукавства и напускного добродушия, граничившего с вульгарностью. Его внучка Ревекка была поразительно красива. Ее большие, темно-синие глаза блестели каким-то диким блеском, великолепные черные брови еще более усиливали их выражение. Яркий румянец, роскошные черные волосы, выбивавшиеся из под покрывавшего ее голову красного шелкового тюрбана, высокий, хотя и вполне женственный лоб, большой, но тем не менее красивый рот, обворожительная улыбка, чувственные розовые губы, великолепная грудь, очертания которой обрисовывались из-под складок широкой одежды, словом, все в молодой женщине было прекрасно.

Одета она была в холщовый хитон, затянутый вокруг талии поясом из красной тирской кожи, а поверх его был накинут дорожный плащ, нечто вроде бурнуса, буро-красного цвета, яркий отблеск которого красиво гармонировал с темным блеском ее глаз.

Измаил-Иосиф и семейство его сели на судно в Родосе. Как только Ревекка появилась на палубе «Артемиды», она обратила на себя всеобщее внимание. Один из офицеров воскликнул, обращаясь к одному из своих товарищей:

— Это богиня Астарта, вышедшая из пучины морской! Клянусь богами, я никогда не видел ничего подобного!

Произнесший эти слова был трибун галльского отряда Максим Галл. Отец его получил право римского гражданства во время войны Германика против варваров. Лишившись его еще в детстве, Максим Галл пошел по его стопам и, будучи еще молодым человеком, обратил на себя внимание Веспасиана, которого он сопровождал в его походах в Германию, Британию и, позднее, в Африку. Желая довершить военное образование своего сына Тита, будущий римский император назначил его воспитателем Максима Галла. Веспасиану было известно, что Галл, очутившись, подобно ему самому, с самой ранней молодости в среде, представлявшей немало соблазнов для всякого, не обладающего достаточно твердым характером человека, сумел сохранить твердость души, благоразумие и осторожность.

Теперь Галл возвращался из Рима, куда Веспасиан посылал его с важным поручением. Возвращение его было ускорено событиями, готовившимися в Иудее. Тит написал ему, что нуждается в его советах для успешного ведения осадных работ. Во всей Восточной армии не было никого, кто был бы лучше знаком с использованием метательных орудий, как Максим Галл. Во время плавания он обдумывал предстоящую осаду. Но, как только Ревекка появилась на палубе судна, мысли его всецело перенеслись на молодую иудейку. Он стал допытываться у всех, что известно об этой девушке и о ее семействе? Иосиф Флавий был ему немного знаком, он не раз видел его в римском лагере и за столом у Тита. Узнав, что Флавий — родственник прекрасной девушки, он решил познакомиться с Измаилом.

Ревекка сидела на палубе, Измаил, укутавшись в свой белый плащ, прохаживался рядом с ней.

— Измаил-Иосиф, — обратился к нему Галл, останавливаясь перед ним, — я только что узнал, кто ты такой. Я хорошо знаком с Иосифом Флавием. Я люблю и уважаю его. Он друг римлян и отличается как умом, так и красноречием. Ты можешь располагать мною как мой друг.

— Благодарю тебя, господин, но скажи мне, кто ты, для того, чтобы я мог называть тебя по имени.

— Мое имя — Максим Галл. Оно, быть может, не безызвестно тебе...

Услышав имя Максима Галла, Ревекка, остававшаяся до сих пор неподвижной, вскинула глаза на собеседника своего деда.

Да, конечно, имя твое известно мне, — ответил Измаил. Я не раз слышал его от Иосифа Флавия. Не правда ли, Ревекка?

Ревекка утвердительно кивнула головою, но ничего не сказала.

Измаил-Иосиф принадлежал к партии саддукеев и, подобно Иосифу Флавию, принял сторону римлян. Не отличаясь возвышенностью чувств, не зная иных побуждений, кроме своей личной выгоды, иной страсти, кроме любви к богатству, льстивый и угодливый с сильными, он не признавал иного бога, кроме бога силы. Всякий римлянин был для него высшим существом. Поэтому он считал за особое счастье представившуюся ему возможность наслаждаться беседой с таким высокопоставленным лицом, как Максим Галл.

— Мне довелось, — говорил он между прочим, — беседовать с Титом. Я как будто и теперь вижу его перед собой, напоминающего Геркулеса Родосского, с его мужественным лицом.

— А душа его еще прекраснее; Рим это когда-нибудь узнает, — добавил Галл убежденным тоном.

— Мне кажется, что между твоим лицом и лицом Тита есть много общего. У Веспасиана совершенно иной тип, чем у Цезарей. Он, должно быть, не римского происхождения.

— Твое замечание делает честь твоей проницательности, Измаил, — ответил Галл, улыбаясь. — Семейство Флавия Веспасиана родом из Цисальпинской области, которая когда-то была населена галлами, моими предками.

— В тот день, когда я имел счастье всматриваться в его черты, подле меня стоял один из тех халдейских астрологов, которые умеют предсказывать будущее подобно пророкам моей родины. Это было в царствование Нерона. «Видишь ли ты этого молодого человека? — спросил он меня, указывая на Тита. — Его ожидает блестящая будущность. Запомни хорошенько, что я тебе сейчас скажу, Измаил: судьба предназначила ему быть римским императором». — Я на другой же день рассказал об этом внучке. Не правда ли, Ревекка?

Слова о предстоящей гибели отечества, произнесенные таким равнодушным тоном, поразили ее. Измаил смутился и отвернулся в сторону; он увидел приближение бури лишь после того, как вызвал ее.

Галл, поняв то, что происходило в сердце Ревекки, поспешил сказать примирительно:

— Твой дед и твой отец иначе понимают потребности времени, и всякий удивляется их мудрости

— Мне не пристало осуждать их в твоём присутствии

— Ты горда и великодушна, Ревекка!

— Я всего лишь желаю остаться верной религии моей матери.

В числе свидетелей этой сцены был один человек, на которого Максим Галл не обратил внимания. Это был слуга Измаила и Ревекки, Эфраим бен Адир.

Эфраим бен Адир был молодой араб, который год тому назад поступил на службу к Измаилу-Иосифу. Ему было лет двадцать, и душа его принадлежала Ревекке. То, что он ощущал к повелительнице своей, не было чувством раба по отношению к своему господину: это было преклонение фанатика перед своим Богом.

Ревекке было известно то чувство, которое она внушила ему, и временами это пугало ее. Однако у нее не хватало решимости прогнать своего молчаливого обожателя.

Для Эфраима не проходили незамеченными ни одна из ее радостей, ни одна из ее печалей. Все чувства, волновавшие его господжу, отзывались в душе верного слуги. Когда Измаил напомнил о предсказании халдейского астролога, он заметил негодование Ревекки. Когда Ревекка спустилась в каюту, чтобы отдохнуть, Эфраим не спускал глаз с Измаила и Галла и прислушивался к их разговору.

На следующее утро, как только Ревекка показалась на палубе, он сказал ей:

— Ревекка, хозяин решил, что ты не возвратишься в Иерусалим. Он просил римлянина содействовать ему в том.

— Хорошо, Эфраим. Все будет так, как то угодно Богу. Через несколько дней показались берега Палестины. Все высыпали на палубу, любуясь амфитеатром Цезареи и видом Иудейских гор. Галл, Измаил и Ревекка тоже поднялись на палубу. Ревекка устремила свой взгляд на берег. Галл угадал мысли, которые волновали ее; он приблизился и поклонился ей.

— Твой дед, — сказал он, — сообщил мне, что ты отправляешься в Иудею с намерением войти в Иерусалим и что ты желаешь разделить со своими согражданами лишения осады. Хотя это намерение благородно и великодушно, но Измаил слишком тебя любит, чтобы позволить тебе осуществить его.

Ревекка, выслушав его, побледнела и произнесла твер-

дым и спокойным голосом, бросив презрительный взгляд на Измаила:

— Мой дед поступил нехорошо, сообщив чужому то, что должно было оставаться в семье. Я не могу гневаться на тебя, так как ты, очевидно, повинешься лишь доброму чувству. Я даже благодарна тебе за твой совет. Но решение мое будет неизменно

— Гвой дед просто любит тебя и не желает, чтобы ты шла на верную смерть.

Смерти боятся трусы, Максим Галл; я же боюсь только одного: как бы не разгневать Господа Бога и не оказаться недостойной памяти моей матери. Если Иерусалиму суждено пасть, я желаю быть погребенной под его развалинами. Предсказания должны исполниться; ведь не потекут же волны Кедрона обратно к своим источникам.

Я надеюсь, — сказал Галл, — что ты еще подумаешь о тех опасностях, которым ты подвергла бы себя, если бы вздумала настаивать на осуществлении своего плана. Поверь, наступит день, когда ты раскаешься в том, что ты намерена теперь делать.

Раскаиваются только в дурных поступках: а разве может считаться дурным поступком желание присоединиться к своим друзьям в минуту опасности, разделить их славу, пасть или победить вместе с ними? Наконец, меня влечет в Иерусалим сила, известная моему деду и которой я тщетно старалась бы противиться; моя мать, умирая, предсказала мне, что судьба моя будет связана с судьбой храма нашего Бога.

Корабль приближался к Цезарее. Уже можно было различить желтые береговые скалы, обрамленные темным кустарником, далеко выступавшие в море.

— Итак, твое решение непоколебимо? — спросил Галл

— Так же непоколебимо, как и те священные горы, там вдали.

— Но подумала ли ты о препятствиях, которые тебе придется преодолеть? Ведь это нелегкое дело — проникнуть в осажденный город.

— Я надеюсь, что слабой женщине не запретят взглянуть в последний раз на храм своих предков. Я сошлюсь, в случае надобности, на расположение моего деда к римлянам.

— Но есть законы, которые сильнее, чем всякая дружба и расположение.

Ревекка взглянула на Галла и сказала ему, улыбаясь

— Ты не всегда верно угадываешь будущее, Максим Галл. Кто знает, не ты ли сам раскроешь передо мной ворота, которые, как ты теперь уверяешь, закрыты для меня!

Несколько часов спустя корабль пристал к Цезарее. Измаил, Ревекка и их слуги остановились в доме одного из своих знакомых.

Рано утром на следующий день Ревекка позвала к себе Эфраима бен Адир и сказала ему:

Ты немедленно отправишься в Иерусалим. Мне самой еще нельзя ехать туда: за мною следят. Ты отдашь это письмо Симону бен Гиоре. Письмо мое ты непременно должен отдать Симону лично. Чувствуешь ли ты себя в силах проникнуть в город и исполнить мое поручение?

— Я ничего не боюсь; твое поручение будет исполнено.

II

Изам, царь Набазеев, идумейского племени, жившего по соседству с Иерусалимом, женился на Деборе, дочери Измаила-Иосифа. От этого брака родилась Ревекка. Хотя Изам и принадлежал к семейству Ирода и был связан давнишней дружбой с Береникой, однако он был самым ярким врагом римлян. Жена его, вопреки привязанности отца своего Измаила к иноплеменникам, вполне разделяла взгляды своего мужа и сумела передать их своей дочери. Воспитание которой она поручила Иоанану Боэнергу, одному из самых энергичных сторонников независимости Иудеи.

Измаил-Иосиф, обожавший свою внучку, желая устранить влияние на нее семьи, счел нужным ознакомить ее с греческой и римской культурой. Он отвез ее на некоторое время к Беренике, а затем совершил вместе с ней путешествие в столицу Римской империи. Но тем не менее он не достиг своей цели. Ревекка возвращалась из Рима на родину с еще более глубокой ненавистью к римлянам и с еще более пламенной любовью к своему отечеству. Как только она узнала об осаде Иерусалима, у нее возникло только одно желание — вернуться в священный город.

Любовь Ревекки к Симону возникла не более года назад, хотя знакомы они были уже давно. Ее мать, Дебора, как и сын Гиоры, была родом из Геразы, и ее семейство давно

уже находилось в дружеских и даже родственных отношениях с семейством Бен Адира. Года три тому назад Ревекка долгое время гостила в Геразе, куда ее привлекли воспоминания детства и одна, дорогая ей, могила. Там она беспрерывно слышала имя Симона, которое произносилось не иначе, как с величайшим почтением, и Ревекка вполне разделяла это уважение. Еще будучи молодым человеком, он примкнул к тем, кто боролся против римлян. Ведя жизнь, полную приключений и опасностей, вынужденный скрываться в пещерах, преследуемый римлянами и теми из иудеев, которые признавали их господство, он сумел мало-помалу стать одним из вождей и привлечь на свою сторону всю Идумею, собрать целую армию, сначала в 20, а затем и в 40 тысяч человек, взять несколько больших городов, в том числе старинный и богатый город Хеврон. В то время, когда Веспасиан был провозглашен императором, Симон пользовался уже такой громкой славой, что его призвали в Иерусалим, чтобы вручить ему власть, или по крайней мере дозволили ему завладеть ею.

Ревекка в первый раз увидела Симона за несколько недель до вступления его в Иерусалим. Он был ранен в сражении против Цереазиса, под стенами Хеврона. Будучи доставлен в Махерон, один из городов, державшихся еще против римлян, он встретил самый заботливый уход в доме бабушки Ревекки. Молодая девушка видела его ежедневно и ухаживала за ним вместе с другими членами семейства. Чувства сострадания и благоговения к нему не замедлили перейти в чувство любви.

Город Махрон был построен на высокой горе, окруженной отвесными утесами и глубокими оврагами. На запад тянулась зеленой лентой на расстояние более шестидесяти стадий узкая долина, упиравшаяся в Мертвое море. К северу и югу тянулись длинные и узкие ущелья, терявшиеся в необозримом горизонте Иудейской равнины, а на восток извивающиеся излучины узкой долины вели к остроконечной горе Навав, принадлежавшей к цепи аравийских гор.

В Махероне находился дворец, выстроенный по повелению Ирода Великого. Рядом с городом были горячие источники, отличавшиеся необыкновенной целебностью своих вод. Холодные источники были не менее целебны, чем горячие. В одном месте над пещерой, находившейся вровень с землей, выдавались, точно две большие каменные женские груди, два выступа, из которых текли две струи воды — одна холодная, другая горячая; смешиваясь,

воды этих источников составляли приятные и целебные ванны.

Безопасность Махерона, считавшегося неприступным, и целебное свойство его вод были главными причинами, привлекшими сюда Симона после сражения при Цереазисе. Кроме того, у него было здесь много сторонников. В первый раз, когда он увидел Ревекку, он был поражен ее красотой. Но гораздо более сильное впечатление произвели на него возвышенность ее характера и общность взглядов и мыслей. Они ежедневно беседовали о своих печалях и надеждах; молодая девушка подействовала скорее на ум, чем на сердце Симона. Однако мало-помалу и другое чувство стало овладевать Симоном; образ его первой жены стал постепенно изглаживаться из его памяти, и он почувствовал, что душа его раскрывается для новой страсти.

Выздоровление Симона успешно подвигалось вперед; он собирался покинуть Махерон с тем, чтоб условиться со своими единомышленниками относительно нового плана восстания. За несколько дней до его отъезда Ревекка отправилась со своей служанкой Диной погулять в северную долину. Она встретила там Симона.

— Ты завтра уезжаешь? — робко спросила Ревекка Симона.

— Да, это необходимо. Друзья наши готовятся к новой и решительной борьбе.

— Я желала бы сражаться рядом с тобой, Симон: женщина не должна разлучаться с тем, кого любит. Но все равно, так как нам приходится расставаться, то я постараюсь служить тебе и издалека. А по окончании войны мы встретимся, безразлично от того, будут ли усилия твои сопровождаться успехом или нет.

— По окончании войны нам можно будет послушаться голоса наших сердец. Ты, Ревекка, красивее, чем знамена и флаги Соломона.

— Дед мой желает увезти меня в Рим; мне казалось, что я могу принести пользу Иерусалиму и сыну Гиоры, ознакомившись поближе с нашим неприятелем; я колебалась предпринять, ли мне это путешествие. Ныне, когда сердце мое отдано тебе и когда ум мой должен останавливаться только на мыслях, достойных того, кому оно отдано, моим сомнениям нет уже места. Кто знает, быть может, для того, чтобы с успехом бороться против римлян, бесполезно будет увидеть их поближе. Я увезу с собою воспоминание о тебе, как клятву в вечной ненависти к ним. Я буду лелеять

его, как надежду, оно будет для меня днем освежающей сенью, ночью — живительной росой. Мой дед ненавидит тебя; я постараюсь превратить его ненависть в любовь. А если это мне и не удастся, то все же мы на всю жизнь будем принадлежать друг другу.

Когда она уезжала из Иудеи, чтобы сопровождать своего деда в его путешествии по Греции и по Италии, ей ни на одну минуту не приходила в голову мысль, что он может забыть или обмануть ее.

То, что она увидела вдали от Иерусалима, ни в чем не изменило ее чувств, не ослабило их силы. Ей казалось, что она видела одни только призраки, одни только гробницы во всех городах, которые посетила; нигде она не находила того, что она считала самыми существенными свойствами человека: энергии, веры и любви к свободе. Сравнивая Симона со всеми другими виденными ею мужчинами, она могла бы лишь тем более верить в него, если бы только малейшее сомнение в нем могло прокрасться в ее душу. Впрочем, в душе ее только и могло находить место то, что она так сильно чувствовала, а именно: любовь к Иерусалиму и та сильная и непоколебимая страсть, которая освящена Богом.

Поэтому она возвращалась из своего путешествия полная счастья и веры. Возобновление борьбы, которое, как она знала, было неизбежно, являлось, правда, темным облаком на ясной лазури ее горизонта, но это облако не касалось ее любви, которая продолжала сиять в ее сердце чистым сиянием. Ее патриотические надежды могли не сбыться, но надежда, подсказываемая ей ее любовью, не могла обмануть ее. Если «он» не достигнет своей цели, если «он» погибнет, то это может случиться только под развалинами Иерусалимского храма. А какой интерес представляла бы для нее после того жизнь? Какое она имела бы право на существование. «Он» и Иерусалим слились в ее уме в одно целое, вполне отождествились. Симон не мог бы пережить падения Иерусалима; она не могла бы пережить Симона: таким образом, он и Иерусалим являлись двумя конечными точками ее судьбы.

III

Эфраим Бен Адир, покидая Цезарийский порт, видел, что город переполнен войсками; очевидно было, что они предназначались для отправления под стены Иерусалима и что они составляют только часть войск, уже отправленных вперед. Это заставило его задуматься. Если бы он поехал по большой дороге, ведущей в Иерусалим, то он рисковал быть задержанным на каждом шагу, или же вынужден был бы совершать длинные обходы, которые замедляли бы его путешествие; он мало был знаком с этой частью Иудеи, но ему отлично была знакома дорога из Яффы в Иерусалим; здесь не было ни одного кустика, ни одной лужайки, которая бы не была ему известна. Поэтому, расставшись с Ревеккой, которой он сообщил свой план и которая его вполне одобрила, он отправился в гавань, сел на попутную лодку и высадился несколько часов спустя в Яффе; а к вечеру того же дня он уже был на дороге из Яффы в Иерусалим, проходящей через богатую Сартскую долину.

В окрестностях Яффы было множество прекрасных садов, наполненных гранатными, фиговыми, лимонными деревьями и яблонями в полном цвету. Ближе к морю белый и красноватый песок был покрыт мастиковыми деревьями, пальмами, смоковницами; дальше, по мере возвышения почвы террасами, встречались оливковые деревья, белый клен, дерево, щелкунец. Над всем этим сияло чистое, лазурное небо. Всем этим красотам природы недоставало только людей, которые бы любовались ими. По случаю праздника Пасхи почти все жители этих мест отправились в Иерусалим, а так как там возобновилась осада, то они не имели возможности вернуться домой.

Но Бен Адир не пугало отсутствие людей в местности, которую он прежде знавал столь населенной. Только когда он оставил долину позади и углубился в горы, суровый вид которых живее напоминает человеку его одиночество, он почувствовал какое-то смутное беспокойство, он надеялся найти в Вифлееме, где ему прежде случалось жить, помощников для своего предприятия, и теперь предвидел, что это ожидание его не сбудется.

Действительно, в Вифлееме он нашел ту же пустоту, как и в других местностях, через которые он проходил. Печальные предчувствия овладели Бен Адиром. Сначала он разыскал дом, в котором когда-то жил он оказался запертым,

и сквозь окна его Бен Адир увидел, что дом был совершенно пуст. Он обошел весь город, стучась в каждую дверь, нигде не было и следа присутствия человека. Уже приближалась ночь, и он умирал от голода, так как взятые им с собой в дорогу съестные припасы истожились; а ему не удалось даже найти ни одной сушеной винной ягоды в этом городе, где когда-то царили богатство и веселье.

— Нужно идти в Дта-эль-Нотур, — сказал сам себе Бен Адир, — быть может, я застаю там Бен Актура. Если же и он бежал, то мне не на кого более рассчитывать.

Дта-эл-Натур, или Селение Пастухов, была деревня в окрестностях Вифлеема, куда часто приходили молодые арабы, чтобы наниматься в пастухи, поэтому деревня эта и получила арабское имя. Он направился в Селение Пастухов, идя по гребню гор, покрытых виноградниками, оливковыми деревьями и кунжутными кустами.

Он не раз останавливался, прислушиваясь к разнообразным звукам, наполнявшим воздух, и стараясь различить в них хоть что-либо, что походило бы на человеческий голос; но он ничего не слышал, кроме пения птиц и воя шакала. Придя в деревню, он прежде всего постучался в дверь той хижины, в которой когда-то жил Бен Атур. Но никакого ответа не последовало; в Дта-Атуре царило то же безмолвие, как и в Вифлееме: и отсюда бежали все обитатели.

Посланец Ревекки был человек терпеливый и энергичный, пылкий и страстный: чувство страха было совершенно незнакомо ему. Одиночество и темнота хотя и не пугали его, но были ему неприятны, и его воображению стали представляться мрачные видения. Выйдя из Селения Пастухов, он перешел через Кедронский ручей, броды которого были ему хорошо известны, и, утолив жажду, повернул направо, на восток.

Луна взошла, и при бледном свете ее все казалось ему еще более печальным и пустынным. Серые очертания гор обрисовывались на бледно-голубом небе. В промежутке между двумя горами он увидел Иерусалим, и вид священного города, города, обожаемого Ревеккой, придал ему на минуту бодрости. Но каким образом пробраться в него? Наиболее свободный доступ в город был влево от него, с западной стороны; но он узнал в Яффе, что у подножия Гинномовой горы, к западу от нового города, был расположен римский лагерь. Поэтому он решил проникнуть в город с правой стороны, пробравшись по одному из трех глубоких

оврагов, защищающих его. Ему была знакома тропинка, проходившая у подножия храма, ведущая к Сионской горе и оканчивавшаяся у Овчих ворот; это был единственный путь, по которому он мог надеяться проникнуть в город. Но ему нужно было огибать гору Соблазна, чтоб добраться до горы Елеонской и до Иосафатовой долины, снова перейти через поток Кедронский, который в этом месте имел очень быстрое течение и был небезопасен для перехода в брод, если перекинутый через него мост был разрушен. Он миновал уже гору Соблазна, прошел мимо колодца Неэмии и мимо Силоамской купели, которую он оставил влево от себя, и дошел до Вианских ворот. Была уже глубокая ночь; Бен Адир едва держался на ногах от усталости, пройдя Вианию, он опустился на землю. Вдруг ему показалось, что донеслись человеческие голоса; он приподнялся и стал прислушиваться. Голоса на минуту замолкли, и до слуха Бен Адир не долетало ничего, кроме крика ночных птиц, укрывшихся в покинутых жителями хижинах Виании; но вскоре прежние звуки снова раздались, и теперь не было уже сомнения — это были человеческие голоса.

Бен Адир почувствовал, как к нему возвращаются его силы. По мере того как он продвигался вперед, звуки становились все более и более явственными. Он различил медленный и торжественный напев, свойственный духовному или надгробному пению. Теперь он мог уже в точности определить место, откуда они исходили, и расстояние, отделявшее его от этого места.

После нескольких минут ходьбы он заметил в густом кустарнике, отделявшем тропинку от довольно большого пустыря, расстилавшегося около дороги, небольшую прогалину, в которую он и пролез, и тотчас же он увидел перед собою другую тропинку, углубляющуюся в пустырь. Тропинка эта поворачивала вправо: она была чрезвычайно узка, камениста и неудобна для ходьбы; даже шакал с трудом мог бы пробраться по ней. Бен Адир последовал по ней, не сомневаясь в том, что тропинка эта ведет к жилью незнакомца.

Наконец он достиг рва оврага и очутился перед углублением, похожим на отверстие заброшенной каменоломни. В это время голос, молчавший почти все время, пока Бен Адир спускался в овраг, раздавался снова. Он выходил из углубления, и на этот раз Бен Адир ясно различил громко и внятно произнесенные слова:

— Горе Иерусалиму! Горе храму! Горе городу! Горе всему народу!

Бен Адир успокоился: он знал, что находится вблизи друга, и никто лучше Зеведея — так звали пророка — не мог служить его планам. Ему было известно, что Зеведей — добрый патриот и что имя Симона бен Гиоры послужит хорошей для него рекомендацией.

Он остановился в нескольких шагах от входа в пещеру, служившей обиталищем пророку. Он собирался было войти, но Зеведей снова заговорил, и Бен Адир не мог устоять перед желанием послушать, что будет вещать Божий человек.

— Да! — говорил Зеведей. — Я не перестану до последнего дня испускать мой жалобный вопль: «Горе Иерусалиму!» Он замрет в моем горле только с последним моим дыханием, в тот день, когда язык мой сделается холоден и неподвижен. Не Ты ли велел мне это, Господи, в один вечер, когда голос мой возносился к Тебе, и разве Ты не Всемогущ, Ты, которому повинуются земля и небеса, Который двигает горами, Который одним дуновением Твоим можешь снести их, как мелкие песчинки? Ты потрясаешь твердью земною и Ты в состоянии поколебать столпы мира. Ты приказываешь солнцу — и солнце останавливается, и звезды не высыпают по ночам на твердь небесную. Перед Тобою весь мир — ничто иное, как песчинка, склоняющая весы, как капля росы, падающая по утрам на полевою былинку. И зачем, о Иерусалим, ты забыл слово Божие! Доколе ты будешь продолжать несправедливый суд! Ты не сумел быть справедливым к сироте и бедняку, к угнетенному и к несчастному и этим ты навлек на себя всеобщее осуждение; ты не захотел слушать гласа Божьего, ты всегда шествовал в потемках, и вот почему стены твои колеблются в своих основах*.

В это мгновение голос пророка прервал нежный женский голос.

— Зеведей, — произнес этот голос, — тебе нужно отдохнуть. Бог отцов наших не требует от тебя утомления, превышающего твои силы и которое сократит дни твои.

— Нет, я не могу молчать, — ответил пророк, — ибо я слышал трубный звук, до меня донеслись воинские клики**. Иегова дал мне дар слова, Он научил меня, и я дол-

* Псалмы 138 и 81. — «Притчи Соломоновы»

** Псалом 94.

жен вещать: каждое утро Он будит меня и заставляет меня выслушивать его с покорностью. Тогда в меня входит частица Его мудрости и я не бегу от возлагаемого Им на меня поручения. Я подставил спину мою ударам и ланиты мои пощечинам, и когда мне плевали в лицо, я не отворачивался.

— Зеведей, я рассержусь, если ты не станешь слушаться моих просьб. Господь повелел: «не убей», а ты убиваешь дочь своего брата!

Эти последние слова, казалось, подействовали на пророка. Он замолчал. И затем сказал молодой женщине нежным голосом, который составлял поразительный контраст с его недавним возбужденным тоном.

Не сердись, дитя мое, я этого не желаю, ибо твоя мать закидала бы меня камнями, если бы я не возвратил ей неприкосновенным сокровище, которое она вручила мне. А что сказал бы Симон, сын Гиоры? Отдохни же немного, Эсфирь, а я займусь приготовлением пасхального агнца, а затем прилягу, прежде чем отправиться для исполнения моего проклятого поручения.

Бен Адир постоял еще несколько минут в надежде, что разговор между дядей и племянницей, во время которого упомянуто было имя Симона, продолжится, но там замолчали, и поэтому он тихими шагами подошел к отверстию пещеры, закрытому решеткой, окруженной кустарником.

Зеведей был старик высокого роста, несколько сутуловатый, но крепкого телосложения. Седая, включенная борода ниспадала на его грудь. На нем надет был балахон из темного полотна, подпоясанный простой веревкой. Обнаженная лысая голова его была посыпана пеплом. Когда Бен Адир вошел в пещеру, старик стоял, точно проповедник, собирающийся с мыслями после изречения божественного слова.

В одном из углов пещеры был разведен костер, на котором жарился ягненок. Это очень удивило Бена Адера.

— Кто ты, неожиданный гость? — спросил пророк, заметив Бена Адера.

— Я друг Симона бен Гиоры, — ответил Эфраим.

Зеведей окинул молодого человека с ног до головы подозрительным взглядом.

— Ты говоришь, что ты друг Симона бен Гиоры? Чем ты можешь доказать это?

— Ничем, — ответил Бен Адир твердым голосом, а тем не менее я говорю правду.

— Если ты друг Симона, ты должен знать его. Скажи же мне, кто он таков, чем он занимается?

— Симон, сын Гиоры, — начальник защитников священного города. Он мститель Бога живого и столп Его храма

— Хрупкий столп! — воскликнул пророк и снова заговорил: — Горе Иерусалиму! Горе его храму! Горе его народу!

Он помолчал немного, затем продолжал более мягким голосом:

— Нет ли на лице Симона бен Гиоры какой-либо приметы, которая отличала бы его от других смертных?

— Этого я не знаю, потому что никогда не видел его.

— Ты никогда не видел его, а называешь себя его другом!

— Я такой же друг ему, как и тебе, просто потому, что он любит священный город и защищает его

— Увы! Он защищает его против самого Господа Бога, который осудил его на гибель. Горе Иерусалиму! Впрочем, не он вызвал на греховный город проклятия Всевышнего, и поэтому проклятие это не должно падать ни на его голову, ни на головы его друзей.

Пророк замолчал, устремив на Бен Адирю пристальный взгляд. Затем сказал более ласковым голосом:

— Да, Симон бен Гиора внушает доверие, и друзья его имеют право на нашу дружбу. Но почему же ты на мой вопрос ответил именно тем, что назвал его имя?

— Потому что одно лицо, к которому я питаю полнейшее доверие, сказало мне, что его имя послужит мне рекомендацией при встрече со всеми, кто любит Иерусалим, а я знаю, что пророк Зеведей любит Божий град и не отвергнет тех, которые одушевлены тою же любовью, каким бы образом эта любовь ни проявлялась.

— А кто та особа, которая внушила тебе эту уверенность?

— Этого я не могу сказать.

Пророк нахмурил брови и задумался.

В эту минуту женщина, лежавшая на циновке в углу пещеры, поднялась со своего ложа. Молчание пророка встревожило ее, и она боялась, как бы тот не прогнал незнакомца, который сумел привлечь ее к себе одним только именем Симона бен Гиоры. Она подошла к Бен Адирю и произнесла голосом, сладким, как надежда:

— Добро пожаловать, молодой незнакомец; моему дяде Зеведею хорошо известны законы гостеприимства.

Потому ли, что вмешательство Эсфири рассеяло сомнения пророка, потому ли, что благоприятного впечатления, произведенного с первого раза Бен Адиром, оказалось достаточно для того, чтобы напомнить ему о законах гостеприимства, но только после слов Эсфири он, в свою очередь, сказал:

— Ты мудр не по летам, молодой человек. Ты дельно говорил, но я должен сказать тебе, что ты не понял моего вопроса, когда я спросил тебя, почему ты упомянул в разговоре со мною имя Симона бен Гиоры. Я желал только знать, в каком смысле мне понять твою ссылку на него. Сердце человеческое — глубокая пропасть, ее никто не измерил, и человек, не умеющий поступать осторожно, похож на город, который не возвел стен. Старца украшает опытность; но тот, кто заткнет уши для того, чтобы не слышать просьбы убогого, тоже будет молить и не будет услышан. Я не могу ставить тебе в упрек то, что ты хранишь вверенную тебе тайну. Однако не можешь ли ты мне сказать, для чего тебе нужно видеть Симона, сына Гиорова?

— Я должен передать ему важное поручение; если мне не удастся попасть в Иерусалим, я не в состоянии буду исполнить этого поручения, и мне было бы крайне досадно, что я понапрасну совершил такое длинное и трудное путешествие. Но Господь привел меня к твоему жилищу; значит, Он желает, чтобы ты служил мне путеводителем.

— Кстати сказанное слово — то же самое, что золотое яблоко и серебряный сосуд, — сказал пророк мягким голосом. — Ты нравишься мне; в тебе мудрость змея соединяется с мужеством льва. Ты не убоился опасностей, для того чтоб исполнить желание близкого тебе человека, и ты сумел избежать их. Поэтому, как сказала дочь моего брата, будь желанным гостем в жилище пророка и смело рассчитывай на его содействие. Если тебе не удастся попасть в Иерусалим, то в этом виноват будет не Зеведей. Но уже поздно. Садись, по лицу твоему видно, как ты устал. Раздели с нами нашу скромную трапезу. Бог послал мне на Пасху ягненка. Он никогда не забывает своих верных слуг. Кто же, как не Он, поставил в кустарнике овна, который был принесен Авраамом в жертву вместо сына его Исаака!

Пещера, служившая жилищем Зеведею, представляла собою естественное углубление, которое, по всей вероятности, служило гробницей какого-то святого, разрушенной временем. Оно имело сажени две в ширину и сажени три

в глубину Стены и потолок пещеры были в трещинах. Вправо от входа видно было нечто вроде подземного хода, по которому теперь с трудом можно было пробраться ползком. Две грубые скамьи, поднос из кедрового дерева, кувшин воды и несколько стручьев гороху — вот все, что было в пещере. Светильник, поставленный на высокий камень подле костра, освещал ее слабым и тусклым светом.

Трапеза продолжалась недолго, Зеведей первый поднялся со своего места

— Нам нужно торопиться, — сказал он, — в первом часу мы должны быть у Овчих врат

Он приблизился к очагу, взял из него несколько пригоршней золы, посыпал ею свою голову и свою седую бороду и захватил из угла толстую палку, похожую на пастушеский посох.

— Ну, прощай, Эсфирь, — сказал он, — я принесу тебе известия о твоей матери и о Симон бен Гиоре. Отдохни хорошенько; ты устала. Когда мы выйдем, завали за нами входное отверстие и помолись за нас Господу Богу Горе Иерусалиму и его народу!

Затем он пошел вместе с Бен Адиром по узкой и крутой тропинке, по которой тот недавно спустился. Он шел впереди, и оба они хранили глубокое молчание

Для того, чтобы достигнуть из Вифании до Овчих ворот, через которые Зеведей хотел войти в Иерусалим, нужно было пройти через селение Веррагу, пересечь долину Иосафатову, подняться на Элеонскую гору и перейти через Кедрон. Пророк совершал этот путь ежедневно, и потому он ему был известен в мельчайших подробностях. Несмотря на свой преклонный возраст, он шел впереди быстрой поступью. Бен Адир, подкрепивший свои силы и одушевленный надеждой вскоре добраться до цели своего путешествия, не отставал от него. Вскоре они дошли до Елеонской горы; здесь они остановились на несколько минут, чтобы перевести дух, перед ними раскинулся священный город

В ту самую минуту, когда они достигли вершины Елеонской горы, солнце вошло из-за Аравийских гор и осветило своими лучами Мертвое море. Башни, укрепления, дворцы города осветились золотистым светом, а далее, за городом, можно было различить палатки римского лагеря. Пророк стоял неподвижно, с опущенной головой, вытянув правую руку, опираясь левою на свой посох, слезы текли по щекам его. Вдруг он выпрямился

Горе Иерусалиму! воскликнул он громовым голо-

сом, и эхо разнесло эти слова по горам и долам, точно трубный звук.

Бен Адир испугался. Он видел вдали римские палатки и боялся, как бы римляне, услышав этот крик, не схватили их.

Зеведей отгадал его мысли и сказал:

— Не бойся, я друг римлян. Доступ в Иерусалим закрыт для всех, кроме меня!

Вскоре они дошли до Овчих ворот, в которые Зеведей трижды стукнул своим посохом. Какой-то вооруженный человек показался на стене и, узнав пророка, тотчас же спустился, отворил тяжелые ворота из кедрового дерева и впустил старика и его спутника.

— Ты сегодня что-то поздно, Зеведей,— обратился он к пророку.— Уж не встретился ли ты по дороге с римлянами?

— Нет, римляне еще в своих палатках, спят, напившись вина, похищенного из погребов Израиля.

Пока Зеведей говорил, часовой подозрительно оглядывал Бен Адир.

— А это кто такой? — спросил он.

— Тебе нечего так внимательно его рассматривать: он пустил корни среди избранного народа, и тебе нет дела до того, откуда он родом. Я могу лишь сказать тебе, что он прислан сюда к Симону бен Гиоре с важным поручением от одного из наших друзей.

— Если он прибыл к Симону без оружия и с важной вестью, то ворота Иерусалима откроются перед ним,— сказал часовой.

Затем они были впущены в город. Бен Адир, поклонившись в знак благодарности часовому, повернулся было в сторону пророка, чтобы поблагодарить и его, но тот уже куда-то исчез.

В этот день, когда Бен Адир вошел в город, в среде партии сопротивления должен был произойти решительный переворот. Если бы Бен Адир был ближе знаком с положением дел, то он по одному виду улиц догадался бы о том, что готовится что-то необычайное. Для того, чтобы попасть от Овчих врат в ту часть нижнего города, в которой жил Симон, ему пришлось пройти через довольно большой пустырь, отделявший место расположения войск Иоанна и Симона, и по множеству узких и извилистых переулков, шедших от самой ограды храма. Хотя был еще очень ранний час, однако мужчины, женщины и даже дети высы-

пали на улицы и всюду заметно было возбуждение. По случаю праздника Пасхи население Иерусалима более чем устроилось. Все иногородные не могли разместиться по домам, и потому везде виднелись тысячи палаток, сделанных из холста или из овечьих шкур.

Провожатый Бен Адира, проходя мимо групп разговаривающих о чем-то людей, неоднократно останавливался; его спрашивали. Иногда и он осведомлялся о ходивших по городу слухах. Посланный Ревекки, убежденный в том, что все происходящее в Иерусалиме должно интересовать его госпожу, жадно присматривался и прислушивался ко всему, что его окружало. Таким образом он узнал, что между защитниками города не было согласия, что образовались уже три партии, что во главе одной стоял Симон бен Гиора, во главе другой — Иоанн Гишала, а во главе третьей — Элеазар, сын Симона, что последний занимал внутреннюю ограду храма, Иоанн — внешнюю, а Симон — верхний город и значительную часть нижнего.

В то время как они проходили мимо группы вооруженных людей, сидевших на земле у входа в большую палатку, они вдруг услышали чей-то голос.

— Да, да, он изменяет нам, — сказал один из сидевших Силас — так звали проводника Бен Адира — остановился.

— Кто изменяет? — спросил он того, кто произнес эти злоеющие слова.

— А, это ты, Силас! Но как же ты можешь спрашивать меня, кто изменяет? Кто же способен на такое преступление, кроме Элеазара, сына Симонова. Если Иоанн Гишала и Симон бен Гиора не соединятся против него — несдобровать священному городу, и мы сделаемся добычей воронов.

— Катлас прав, — вставил свое слово другой. — Элеазар принадлежит к партии первосвященника, а тот вместо того, чтобы явиться первым защитником священного храма, отрекся от своей веры и желает отдаться в рабство. Я его прежде хорошо знал. Элеазара, равно как и его наперстника Захария бен Анфикана, который так же, как и он, из священнического рода. Они оба — волки, забравшиеся в овчарню. Нужно истребить их, если мы сами не желаем умереть.

— Однако Элеазар показал себя с хорошей стороны, — заметил Силас. — Он принес нам большую пользу в первую нашу вылазку против римлян; он столько же благоразумен, как и храбр; у него голова и рука на месте. Ведь это он посоветовал нам держаться сначала в засаде, дать Титу дойти

до Псефимонской башни и затем выйти из ворот напротив Еленинской гробницы, около Бабьей башни, с тем чтобы напасть на него с фланга и отрезать его кавалерию. И вы знаете, что его план удался: Тит с небольшой свитой оказался отрезанным от главных своих сил и чуть-чуть не попался в наши руки.

— Да и лев храбр,— ответил тот, которого назвали Катласом,— а все же он животное коварное. Элеазар пристал к нам только для того, чтобы занять первое место; ныне же, обманувшись в своих честолюбивых надеждах, он идет на попятную и уже не подставит свою шкуру римлянам, ручаюсь вам в том: он из породы Иосифов и Ананиев. Дрожжи честолюбия и зависти заставили подняться в его душе тесту измены...

— Если только эти дрожжи не текут из-под пресса,— вставил свое слово один из воинов.

— Ах да, я и забыл тебя спросить,— сказал Катлас,— расскажи-ка нам, Захарий; что тебе известно об этом человеке, которого ты однажды посетил в его берлоге.

— Верно сказано, Катлас, именно берлога,— произнес Захарий, вставая и приближаясь к Силасу.— Симон бен Гиора послал меня с каким-то поручением к этому дикому зверю; я и застал его в его пещере; вокруг него лежали пустые кувшины из-под вина. Когда я вошел, Элеазар лишь с трудом поднялся с кедрового стула, на котором он сидел согнувшись; в руках он держал большую чашу, которую выпил залпом. Некоторые из его друзей, сидевшие вокруг него, последовали его примеру.

— И эти негодяи пьют жертвенное вино,— заметил Катлас. — Для чего же он торопился немедленно по прибытии своем в Иерусалим занять внутренний храм, если не для того, чтобы наложить руку на жертвоприношения.

— То, что я видел, нисколько не опровергает установившуюся за ним репутацию пьяницы,— продолжал Захарий,— и каких же только гнусностей он не совершил, прежде чем присоединить свои силы к нашим! Так, видели, что он поджигал дома, и притом не во время вылазок против римлян, а во время нападений своих на Симона и несмотря на то, что дома эти были переполнены хлебом и другими съестными припасами. Таким образом он уничтожил то, что было приготовлено на время осады и что дало бы нам возможность продлить сопротивление и, быть может, заставить неприятеля снять ее. Поговаривают об измене его, и, по-видимому, не без основания...

— Это так же ясно, как ясна вода из Силоамской купели,— сказал Катлас.— Чтобы в этом сомневаться, нужно бы иметь глаза, для того чтобы не видеть, и уши, для того чтобы не слышать. Он, очевидно, желает передаться римлянам.

Какая-то старуха, лежавшая до сих пор на земле, укутанная во что-то черное, услышав эти слова, вскочила на ноги и воскликнула:

— Кто говорит о сдаче римлянам! Кто осмеливается произносить такие слова! Разве храмы уже разрушены? Разве Силоамский источник иссяк? Разве родные матери пожрали своих детей?

Раздался другой женский голос, настолько же робкий и нежный, насколько первый был резок и горделив.

— Матушка,— произнес этот голос,— не вмешивайся в рассуждения мужчин. Их дело разобрать, достаточно ли мы уже пострадали, или нет; тебе не пристало подзадоривать их. Наш слух и без того днем и ночью только и поражают, что клики сражающихся, стоны раненых, вопли умирающих; глаза наши и без того ничего не видят, кроме ран, крови, непохороненных трупов, бледных и изможденных лиц, груд наваленных друг на друга тел, которых топчут ногами, которых наваливают на укрепления и которые служат укрытием сражающимся...

— Замолчи, несчастная! Что тебе, жалкой рабыне, хочется и детей твоих видеть рабами? Если их ожидает такая участь, то пусть они лучше возвратятся к тому ничто, из которого они только что вышли.

— Молчите, женщины! — закричал Катлас, который был мужем одной из них и сыном другой. — А ты, Силас, если увидишь Симона бен Гиору, не забудь сказать ему, что он может рассчитывать на нас и что слезы наших женщин не ослабят нашего мужества.

Слово «измена» переходило из уст в уста. Бен Адир заметил даже, что оно стало произноситься все чаще и чаще по мере того, как они приближались к ставке Бен Гиоры.

Предводитель «непримиримых» занимал со своими войсками большую часть Иерусалима: верхний город, большую стену, господствовавшую над Кедронской долиной, часть старой стены, тянувшейся от Силоамской купели до дворца Монобаза, царя Абухбенов, а также часть нижнего города до дворца Елены, матери Монобаза. Здесь же был и дом Симона, который частью был похож на дворец, частью на цитадель. Цитадель эта была построена на отвесной скале

60 футов вышины, что делало ее недоступной со всех сторон. Скала была облицована белым мрамором, столь гладким и скользким, что по нему нельзя было ни подняться, ни спуститься. Главная башня была окружена стеной, имевшей 80 футов в окружности. По четырем углам стояли четыре другие башни, образуя собою четырехугольник; три из них имели по 80 футов высоты, а четвертая — 120; эта последняя господствовала над горой и двумя долинами уходившими на восток

Внутренность жилища вполне соответствовала обстановке дворца. Тут были роскошные покои с многочисленными ваннами, с помещениями для женщин, в которых роскошь, заимствованная у римлян, соединялась с роскошью Востока. Здесь когда-то жили и цари Иудеи, и римские губернаторы; здесь было достаточно места для довольно значительного гарнизона

Для того чтобы добраться до жилища Симона, Бен Адиру и его спутнику пришлось пройти почти сквозь целую армию. Под начальством Симона было более 15 000 человек регулярного войска, и жители Иерусалима и Иудеи которых он разделил на небольшие отряды в 200 человек каждый, и, кроме того, 5000 идумеян, главными начальниками которых были Солфа бен Иаков и Катлас бен Симон

Вокруг дворца Симона раскинуты были шатры из овечьих или верблюжьих шкур, а пятьдесят палаток из полосатого холста были заняты предводителями. Лагерь этот раскинут был на большом пространстве и спускался по отлогим склонам горы до Тиропейской долины, отделявшей верхний город от нижнего. К шестам, воткнутым в землю около палаток, привязаны были лошади идумеян; рядом с лошадьми лежали на земле верблюды, которым предназначено было вскоре служить пищей для их хозяев. Воины, стоявшие неподвижно с мечами у бедер и с луками и стрелами у ног своих, по-видимому, ждали какой-то команды начальников. Во всем лагере царило мрачное молчание; не было слышно ничего, кроме шагов бдительных часовых, расставленных вокруг лагеря.

Силас был хорошо известен в рядах «ревнителеев», к числу которых он принадлежал; всем было известно, что он пользуется доверием Симона. Поэтому его и Бен Адира всюду беспрепятственно пропускали; разве только бросали любопытный взгляд на его спутника. Они прошли через весь лагерь и вскоре были допущены к Симону бен Гиора

В ту минуту, когда посланный Ревекки, пройдя по мно-

гим и длинным коридорам, входил в сопровождении Силаса в комнату, где был Симон, тот сидел возле мраморного стола, покрытого свертками папируса. Симон казался погруженным в глубокую задумчивость.

Увидев вошедших, он встал и пошел навстречу Силасу, не обращая внимания на Бен Адира.

— Ну, нет ли чего новенького, Силас?

— Да вот, все говорят, что Элеазар готовит измену Симон стоял, скрестив руки на блестящих латах. Слова Силаса, казалось, не удивили его.

— Так ты говоришь, что все уверены в измене Элеазара? — сказал он. — Хорошо, допустим, ну а каково же твое мнение, Силас?

— Душа человеческая — потемки, — ответил Силас уверенным голосом, — я не могу читать в душе Элеазара, но я сужу по внешним признакам и невольно пугаюсь. Общий голос обвиняет его, а глас народа — глас Божий. К тому же и прошлое Элеазара таково, что оно вполне оправдывает подозрения. Все признаки, даже в глазах наименее предубежденных людей, говорят против него.

— Но ведь признаки эти могут быть обманчивыми.

— Все же благоразумие заставляет нас принимать их в соображение. Человеку, руководствующемуся благоразумием, приходится часто идти по неудобному и каменистому пути, но все же оно не приведет его к пропасти. Конечно, не мне пристало давать тебе, Симону, советы и напоминать о необходимости быть бдительным и мудрым. Я сказал достаточно, остальное — твое дело.

— Нет, продолжай, Силас, и выскажи мне все, что ты думаешь. Пути праведника верны, а ты — праведник. Слово мудреца может служить поощрением, а ты пользуешься славой мудреца.

— Хорошо, я продолжу... Кому неизвестно, как поступал Элеазар за последнее время? Он всячески добивался верховной власти, он не переставал твердить, что отданная под его начальство армия будет лучшим щитом и мечом Израиля. А теперь он говорит, что дальнейшее сопротивление немислимо, что оно было бы верхом безумия. Если он не верит в возможность сопротивления, почему же он не отказывается от начальствования? К тому же известно, что именно он велел сжечь запасы. Этого одного было бы достаточно для того, чтобы доказать его преступные замыслы... Мудрец сказал, — продолжал Силас, — «не давай сильным мира сего вина, дабы они не забыли справедливости

и интересов бедных». А между тем жизнь Элезара — непрерывная оргия; он не приходит в совет иначе, как отуманенный винными парами. Кто же виноват в наших бедствиях? Тот, кто проводит время в пьянстве, а ведь вино — это жалящая змея; оно, подобно змеиному яду, проникает в кровь и отравляет мозг. Чего ждать от того, мысли которого ежедневно тонут в опьяняющей его жидкости? Прежде чем Иоанн из Гишалы переменялся, сошедшись с тобою, какое зрелище представляло его войско? Воины его наряжались, причесывались, румянились, точно женщины, и не только старались подражать в своих прическах бесстыдству суетного пола, но даже превосходили их. Их можно было видеть расхаживавшими по нашим улицам медленной и жеманной походкой. Они одеты были в тирский пурпур, а на головах у них были венки из Иерихонских роз. Не верь кутилам, которые говорят: «Давай пить, наряжаться, срывать цветы нашей молодости и увенчивать чело наше розанами прежде, нежели они завянут!» От таких людей прока не будет, они неспособны ни на что великое. Не надушенным рукам сломить тирана, не им завоевать и сохранить за собою обетованную землю!

Симон слушал его молча.

— Благодарю тебя, — сказал он наконец, вставая, — ты — добрый советник. Я поразмыслю о том, что ты сказал мне, и постараюсь воспользоваться этим. Мы раздавим голову змее. Но скажи мне, кто этот молодой человек, с которым ты пришел? Без сомнения, это друг, иначе ты не говорил бы так откровенно в его присутствии?

— Я, собственно, не знаю, кто он такой. Его привел ко мне Зеведей. Он сам объяснит тебе все.

— Ну, говори, — сказал Симон, обращаясь к Бен Адиру, — кто ты такой и кто тебя послал?

— Ты узнаешь это, прочитав письмо, — ответил Бен Адир и, подойдя к Симону, вынул из-за пояса письмо Ревекки.

Между тем как Симон читал письмо, Бен Адир наблюдал за ним с тем любопытным и страстным вниманием, с которым он относился ко всему, что касалось его госпожи. Сначала ему показалось, будто какое-то легкое облачко прошло по лицу Гиоры, но затем по губам его скользнула легкая улыбка.

Окончив чтение, Симон оставался несколько мгновений погруженным в задумчивость, затем, взглянув на Бен Адир, ласково сказал:

— Ты, молодой человек, достойный и храбрый юноша Та, которая послала тебя, хорошо знала, кому довериться. Ты вполне достоин того, чтобы содействовать великому делу, которому она посвятила себя.

Бен Адир поклонился, польщенный похвалой.

Симон встал, надел на голову шлем и собрался уходить.

— Что же мне сказать госпоже моей в ответ на ее письмо? — спросил Бен Адир.

— Пойдем с нами, ты просто расскажешь ей то, что сам увидишь и услышишь. Неприятель обложил город; дороги небезопасны. Счастье не всегда благоприятствует самоотверженным людям, и поэтому наши тайны будут лучше сохранены в твоей памяти, чем в твоём поясе, несмотря на всю твою ловкость и все твоё мужество.

И с этими словами он стал спускаться с высеченных в утесе ступенек и в сопровождении Силаса и Бен Адера, направился к храму, где его ждал Иоанн Гишала.

V

Между той частью города, которую занимал Иоанн Гишала, и той, в которой расположился со своими войсками Симон, лежал обширный пустырь. Здесь неоднократно происходили ожесточенные схватки партий до тех пор, пока под влиянием Бен Гиоры они не убедились в необходимости соединить все свои силы против римлян; но следы происходивших здесь стычек еще сохранились. Земля здесь была усеяна обломками разного рода оружия. Небольшие холмы указывали на те места, где были похоронены мертвые; кое-где еще виднелись человеческие кости. Римский амфитеатр и школа саддукеев, расположенные невдалеке от храма и служившие укреплениями Иоанну Гишале или Элеазару в дни боя, были почти совершенно разрушены; кое-где стены этих зданий были в копоты. Кругом валялись обгорелые бревна, разбитые колонны.

Это пространство являлось нейтральной почвой. Здесь собирались вожди — Симон, Иоанн и Элеазар, когда им нужно было о чем-либо посоветоваться между собой. Несмотря на сближение, последовавшее между ними, они нашли нужным сохранить ту позицию, которую они занимали до прибытия римлян; да и между войсками их сохранилась еще известная обособленность; идумяне Симона ненавидели галлилеян Иоанна. Симон пользовался авторитетом среди

своих войск, и он был вполне уверен в их повиновении; но что касается Иоанна, то скорее он слушался своих подчиненных, чем приказывал им. Впрочем, его сдержанность и осторожность заслуживали похвалы, ибо достаточно было бы одной искры, чтобы произвести всеобщий пожар. Что касается Элеазара, то не одни только соображения благоразумия заставили его настаивать на том, чтоб именно ему предоставлена была защита храма: им руководили в этом случае иные, далеко не похвальные побуждения, которые и не замедлили обнаружиться.

Посреди площади возвышался громадный шатер, обтянутый белым и красным холстом и прикрепленный толстыми канатами к дубам Иорданской долины. Над ним возвышался купол из красного сукна; на том конце его, который был обращен к храму, был выстроен помост, покрытый темным сукном и уставленный скамейками; на противоположном конце два громадных кедровых бревна, врытые в землю, к которым был привешан в виде занавеса большой разноцветный ковер, заменяли собою дверь. Для того чтобы не допускать к шатру зевак и любопытных, был протянут вокруг него канат; вообще же гражданам не возбранялось присутствовать при совещаниях совета под тем лишь условием, чтоб они не мешали. Ограда и сам шатер были убраны черными флагами, и вообще вся серьезная и даже несколько мрачная обстановка как нельзя более соответствовала обстоятельствам.

Было условлено, что каждого из трех предводителей будут сопровождать в заседание совета пятьдесят лиц, но что только предводители будут вооружены, так как опасались, что в пылу спора могли произойти ссоры, которые вызвали бы вооруженное столкновение партий; совет состоял, кроме трех предводителей войска, из членов синедриона, представителей синагог и наиболее популярных должностных лиц, пользовавшихся расположением народа. Члены совета заняли свои места: предводители войска посреди помоста, старейшины по сторонам. Многочисленная толпа, сосредоточенная и внимательная, стояла вокруг ограды.

Бен Адир вошел вместе с Силасом. Ему разрешено было войти за ограду в качестве вестника, прибывшего с важным поручением. Он с уважением смотрел на собрание и пожелал узнать имена всех. Силас показал ему наиболее известных людей, составлявших вместе с Элеазаром, Симоном и Иоанном верховный совет.

В наружности Иоанна Гишалы не было ничего такого,

что оправдывало бы установившуюся за ним еще до осады Иерусалима репутацию храброго и опытного полководца. Невысокого роста, курносый, с плоским лицом, с мутными глазами, он походил скорее на переодетого левита, чем на воина. Однако он был храбр до отчаянности: тысячу раз видели его хладнокровно кидающимся в самую гущу битвы. Он любил славу — и в этом заключалась тайна его храбрости; он готов был бы выступить один против целой армии. Он сражался только для того, чтобы впоследствии иметь случай сказать, как он сражался. Вся его душа была на устах его. Ионафан довольно верно отзывался о нем, что у него были золотые уста и свинцовый меч.

Когда к Иерусалиму подступали римляне, народу показалось, что он нашел в Иоанне нового Иуду Маккавея, нового спасителя Израиля; но сами события не замедлили опровергнуть это странное заблуждение: Иоанн Гишала походил на Маккавеев разве только благочестием своим, да и благочестие это было не искренне: все оно исчерпывалось внешнею обрядностью; в этом отношении он был настоящий фарисей. Охотнее всего он находился в обществе левитов-снотолкователей. Он составил и спрятал в верное место какой-то необыкновенный план защиты в полной уверенности, что весь успех плана зависит от того, где тот хранится. Он был до того суеверен, что ни за что не решился бы ни на малейшую стычку в тяжелый день; он самым внимательным образом наблюдал за тем, чтобы каждое утро вставать непременно на правую ногу, и он счел бы себя навсегда погибшим, если бы ему когда-нибудь пришлось встать на левую.

Другой вождь, Элеазар бен Симон, хотя и происходивший из касты священников, был, в сущности, не что иное, как искатель приключений, человек совершенно беспринципный, поклонявшийся только одному богу — жажде наслаждений. Как человек честолюбивый и жадный, он добивался власти только для того, чтобы умножить источник для веселой жизни. Как только счастье начало ему улыбаться, он сказал сам себе: «Весь обширный мир Божий, со всеми его наслаждениями, будет мой!» Дни свои он рано стал проводить в оргиях, а ночи — в самом утонченном разврате. У него был целый гарем, не хуже Соломонова, и он со снисходительным сожалением относился к Давиду, сумевшему отбить только одну жену. Его лысая голова, его плоское и некрасивое лицо, его тусклый и безжизненный взор ясно свидетельствовали о пороках, гнездившихся

в душе его. Ему нельзя было отказать в храбрости, и в первых битвах с Веспасианом он даже стяжал репутацию искусного полководца, но ум его, как и душа, не имел в себе ничего возвышенного; он был мелочен по природе, мелочно-храбр, мелочно-хитер, мелочно-умен; если бы у иудеев существовал обычай носить эмблемы, то он с полным правом мог бы нарисовать на своем знамени изображение шакала. Он был обязан возвышением своим гораздо более хитрости, чем смелости, но хитрость же впоследствии и погубила его; он был женолюбив и не замедлил попасть в ловушку, расставленную ему женщиной.

Вождь зекенимов, призванный народом в совет обороны, назывался Зоробабабелем бен Анания. Вся его сила заключалась в его красноречии. Оно стяжало ему громкую репутацию во время управления внука Ирода Великого Агриппы, и оно же заставило не раз трепетать алчных и кровожадных проконсулов, которых Рим посылал в Иерусалим: Пиалиса, Перса, Гора, Альбина. Его львиная голова, обрамленная густыми седыми волосами и длинной белой бородой, его вздернутые презрительно губы, его голос, то звучный, как труба, то мелодичный, как цитра, его спокойное, но мужественное и твердое в самых бурных народных собраниях поведение, — все это отвело ему почетное место в глазах народа. Греки, жившие в Иерусалиме, любили слушать его, и им казалось, что устами его говорит их излюбленный оратор Демосфен. Когда вспыхнуло последнее восстание — чему он немало содействовал своим могучим словом, — народ возложил на него большие надежды. И хотя действительно ум его был равен его красноречию, однако он не оправдал возлагавшихся на него надежд. В первое время осады он обращался к жителям города с громкими героическими фразами, которые возбуждали их мужество; но этим все и ограничилось: внутреннее пламя в нем вскоре потухло, даже голос его как будто спал, и душа его, вместо того, чтобы, по мере возрастания опасности, становиться все более и более возвышенной, напротив, как будто измельчала. Он не был счастлив, он много выстрадал, ему изменяли; он вдруг утратил веру в самого себя. Но тем не менее личность его остается одной из самых крупных и самых неверно понятых личностей этой эпохи.

Над ним тяготели два губительных влияния, которые оба увлекали его в одном и том же направлении: влияние Матафии бен Мардохея и Филона бен Эдры.

Матафия обязан был своей популярностью тому посту,

который он занимал, и скорее уму своему, чем красноречию, хотя он и причислялся к выдающимся ораторам. Он говорил красно, умно и не без огонька, но в то же время несколько напыщенно; в его речи было более блеска, чем души. Будучи воспитан в школе саддукеев, он весь был пропитан духом этой секты и ее, в сущности, безнравственным учением. Счастье представлялось ему конечною целью жизни, и к этой-то цели он и стремился в погоне за славой. Толстый, широкоплечий, пышущий здоровьем, с лицом, блестящим, как сардоникс, вечно сияющий, как молодой супруг, входящий в комнату новобрачной, он как будто так и хотел сказать: «Я — полевой цветок, я — лилия долины, я — елей благоуханный, вылитый на голову первосвященника и стекающий на его бороду и на его одежду, я — Хермонская роса, опускающаяся на священную долину, на Сион, куда Господь поместил вечное блаженство*. Он был убежден, что предназначен к чему-то великому; ангел Господен, явившийся к Гедеону и сказавший ему: «Иди, тебе суждено избавить Израиль», — являлся и ему, по крайней мере во сне. Когда на него находило вдохновение, он готов был поставить на кон свою жизнь, подобно Зевулону, взойти на холм, подобно Нафтали, и восстать, подобно Деборе, матери Израиля. Он вступил в совет обороны только для того, чтобы быть в нем представителем партии саддукеев, голос которых, по его убеждению, был гласом народным. Ионафан говорил о нем: «Матафия, все равно будет ли он победителем или побежденным, все равно сумеет извлечь для себя пользу; он готовит себе великолепный пестрый плащ и уже выбрал себе ленты для того, чтобы украсить свою голову».

Рядом с ним стоял и Филон бен Эзра, пользовавшийся также большим влиянием благодаря гибкости своего ума. Он пользовался, и не без основания, репутацией талантливового и ученого человека; он обладал всеми кладезями мудрости, ознакомился со всеми источниками светской науки. Он был прекрасно знаком с историей Греции и Рима; мудрецы этих народов завещали ему свои сокровища, и он, как хороший оратор, охотно расточал их мудрость перед жадно слушавшей его толпой; никто из партии «ревнителей» не умел говорить красноречивее его о Боге и о свободе. Но это был маяк, зажженный для того, чтобы, смотря

* Песнь песней.

по обстоятельствам, или светить другим, или вводить их в заблуждение. По убеждениям своим он был «ревнитель», по образу жизни — фарисей. Публично он говорил: «Лучше пойти в дом печали, чем в дом пиршеств и радости», — а между тем он не пропускал ни одного роскошного пира, он любил блеск и мишуру. Филон в молодости, в минуты увлечения, совершал честные поступки; гордость помешала ему впоследствии совершать поступки бесчестные. Жизнь его походила на поэму, и первая его песнь, благородная и гармоничная, задавала тон и остальным песням: он из гордости остался верен хорошему началу своей жизни, но при обыденном течении жизни, будничной и мелочной, низменные стороны души стали преобладать, возвышенные взгляды все понижались. Мудрость стала проявляться только проблесками, проповедник обнаруживался только минутами. Но странный это был проповедник: голос его дрожал от слез, а сам он оставался холоден; он высказывал возвышенные вещи, которые, однако, никого не возвышали; он произносил горячие фразы, которые, однако, никого не грели. Объездив весь мир, он не видел никого, кроме самого себя, видел все, что творится на белом свете, и найдя, что все — суета сует и всяческая суета, он сделал исключение только для самого себя и воздвиг на развалинах дворец для своей горделивой личности.

Эти три человека, друзья Флавия, отказались, правда, позже, чем он, от сопротивления римлянам, но тем не менее они во многом были похожи на него и преследовали, в сущности, одинаковые с ним цели; они оставались на своем опасном посту, только будучи связаны обстоятельствами прошлой своей жизни. Но тот, кто сумел бы заглянуть поглубже в их душу, легко заметил бы в ней зародыши слабости и желания стяжать славу без жертв. В заседаниях совета они почти всегда склонялись на сторону Иоанна Гишалы и Элеазара, не будучи, однако, способны на измену, как последний, и менее убежденные в конечном торжестве своего дела, чем первый. Популярность их уравновешивала популярность более смелых и убежденных партии «непримиримых», таких как Симон бен Гиора.

Среди «непримиримых» особенно выделялся старик Иоазар бен Матис. Основательное его знакомство с Пятикнижием Моисея, его гуманность и благотворительность были известны всему городу. Пристав в решительную минуту к партии «ревнителей», он благодаря своим нравственным качествам и своему красноречию не замедлил занять

в ней выдающееся место. Преклонный возраст его несколько ослабил силу его воли, но намерения его всегда были честны, и всегда достаточно было одного слова Симона, чтобы снова придать ему решимости и твердости в те минуты, когда он начинал колебаться. Бог дал ему мудрость и красноречие, и он не скрыл этих даров Божиих под спудом. Он избрал себе девизом мудрое изречение Соломоново: «На свете немало золота, несчетное число жемчужин, но драгоценнее всего этого — уста мудреца». Природа создала его далеко не красавцем; но, когда он говорил, всякому невольно вспоминались следующие слова библейского мыслителя: «Не хвалите этого за его красоту, не презирайте того за его некрасивость: пчела — ничтожное насекомое, а мед ее сладок». Слово его напоминало собою звуки, извлекаемые из золотой арфы Давида; изречения его напоминали собою изречения Самуила и Соломона.

Рядом с ними был Ионафан бен Гамлиель, по прозвищу стрелец. Он происходил от одного из древнейших родов Израиля; предки его отличались в войнах против египтян, ассирийцев и персов. Хотя он и происходил из священнической семьи, однако присоединился к партии «ревнителей» и стал служить делу свободы и независимости своего народа с беззаветной храбростью и с блестящим умом, каждая искра которого жгла и клеймила. Он не переставал направлять стрелы своего остроумия против скупости Веспасиана и против любовных похождений Тита и Береники. Он, подобно древним пророкам, собирал народ на улицах, на площадях, у колодцев, на горах и на пригорках и начинал пробирать своих недругов, изобличать и бичевать их, возбуждая восторг и негодование своих слушателей. Он не щадил пороков и преступлений; он срывал маски с лиц фарисеев и разоблачал их притворную добродетель; не менее доставалось от него и саддукеям. Он иронически относился к праздникам и субботам, к постам и различным торжествам, в которых внешний блеск совершенно вытеснил внутреннее содержание; он зло смеялся над лицемерами, старавшимися на улицах и в синагогах выставить напоказ свое мнимое благочестие. Он отлично умел выставить несоответствие слов с делом, поднять на смех лжемудрецов и святош. Ирония в устах его была острее меча, разрушительнее метательного снаряда. Высокий, худощавый, лысый, бледный, с блестящим, как будто несколько воспаленным взором, он по наружности походил на аскета, высохшего в пустыне. Однако образ жизни его ни в чем не напоминал

собою образ жизни древних пророков; он и не думал питаться акридами, пить только ключевую воду; он постоянно вел образ жизни, соответствовавший его высокому положению в обществе; но согревавший его внутренний огонь все очистил, и народ многое простил ему, потому что он много любил.

Флавий говорит, что у партии «ревнителее» не было недостатка в шпионах, без которых, впрочем, и трудно было бы обойтись в военное время: когда человек сделался врагом других людей и волком глядит на своих ближних, то он неизбежно должен соединять силу с хитростью. Начальником над ними был Силас бен Силас. С первого взгляда нельзя было заметить у Силаса тех качеств, которые необходимы для этой должности; вся его фигура изобличала скорее силу, чем хитрость. Небольшого роста, широкоплечий, плотный, он представлял собой как-будто самую заурядную личность. Но пристальный взгляд его черных, впалых глаз пронизывал точно меч, его отрывистый, резкий и твердый голос, его сжатые тонкие губы, его невозмутимо-спокойное лицо, принимавшее в минуты опасности ироническое выражение, выдавали в нем человека недюжинного, одаренного твердой волей. Он имел способность легко распутывать самые запутанные интриги, искусно ставить ловушки своим врагам и побивать их собственным их оружием. У него не было недостатка в врагах, чему много содействовала резкость его манер: видя его постоянно мрачным, сосредоточенным, нелюдимым, посторонние невольно думали, что он преисполнен злобы; только пронизательный человек мог бы разглядеть под этой обманчивой поверхностью яркое пламя глубокой веры; на ней сосредоточены были все его привязанности и все его страсти. Он был безусловно предан Симону, видя в нем человека действительно сильного и единственный источник спасения.

Асмонеи, человек смелый, красивый, привлекал и останавливал на себе с первого взгляда всеобщее внимание и расположение. Природа одарила его гибким, блестящим умом и всевозможными талантами. Скульптор, музыкант, поэт, он в состоянии был бы обратить на себя внимание и в мирные времена. Находчивый, решительный, не зная усталости, он посвятил все эти драгоценные качества на служение святому делу, и, хотя в нем и не особенно было развито чувство дисциплины, он, однако, был всецело и слепо предан Бен Гиоре.

Ардель, ближайшее доверенное лицо Симона, казалось,

не был создан природой для той роли, которую ему пришлось играть возле его друга; он скорее был мыслитель, чем деятель; его можно было принять за эссеянина, случайно попавшего в военный стан. Человек еще молодой, лет под тридцать, белокурый, с голубыми глазами, с правильными и чистыми чертами лица, которое любой художник с удовольствием взял бы моделью для изображения молодого бога, он обладал таким красноречием и такою убедительностью слова, что, несмотря на его молодость, пользовался величайшим авторитетом в военном совете. Обязан он был ему своим здравым и трезвым умом, широте взглядов. Он был умен не по летам, и страсти не помешали правильному развитию его счастливой, богато одаренной натуры; он вырос точно ливанский кедр, которого скалы все время защищали от влияния ветров и бурь. Будучи воспитан в школе саддукеев, он, однако, с ранних лет сумел выйти за пределы, обведенные вокруг него софистической наукой, и почерпнул мудрость в греческой философии. Это обстоятельство, а равно и основательное знакомство его с духом Моисеева учения, немало содействовало широкому и правильному развитию его души и ума. Великие мысли, обретенные Моисеем в пустыне и выраженные в его Пятикнижии, осветились в его уме еще и блестящими лучами греческой философии. Он пристал к партии «ревнителеев» потому, что видел в них смелых борцов за те истины, от торжества которых, по его глубокому убеждению, зависели судьбы человечества.

Все эти лица вошли в шатер, Симон, Иоанн Гишала и Элеазар прибыли в сопровождении своих ближайших помощников.

Распространился слух, что заседание это созвано было для того, чтобы судить некоторых людей, обвинявшихся в намерении выдать Иерусалим римлянам и давно уже заключенных в темницах. Ввиду этого слуха наплыв любопытных был громаден, и в толпе преобладало убеждение, что виновные должны подвергнуться примерному наказанию. Под влиянием этого впечатления вокруг шатра еще до прибытия верховного совета замечалось сильное волнение и слышались громкие разговоры. Женщины подливали еще более масла в пылавший и без того уже ярким пламенем очаг ненависти и мести, который разгорелся из-за слухов об измене. Одна из них остановила Ионафана, пробиравшегося сквозь толпу, и сказала:

— Ты-то исполнишь свой долг, я в этом уверена. Ты забудешь, что виновные — царского рода.

— Все равны перед законом, — сказал Ионафан, наклонив голову.

— И перед Господом Богом, — добавила женщина.

— А разве это не все равно? — произнес он с лукавой улыбкой.

— Ну, что там еще! — воскликнул Матиас. — Молчите, женщины!

Молодая женщина кинула на Матиаса сердитый и раздраженный взгляд и сказала:

— А почему бы женщинам не иметь такого же права говорить?

— Они получают это право, когда научатся сражаться, — ответил Матиас.

— Да ведь они вдохновляют мужчин на борьбу, — вмешалась в разговор другая женщина, — для тебя, Матиас, ведь это не новость; ведь ты же сын Елизаветы.

— Ладно, ладно, — ответил Матиас более мягким голосом, — но дело теперь не в этом, а в том, что все должны замолчать. Вот уже встает Иоанн Гишала и судей сейчас пригласят произнести свой приговор.

В заседаниях совета по очереди председательствовали главные военачальники; в этот день председательствовал Иоанн Гишала. Он взглянул на толпу ласковым взглядом, в котором замечалось, однако, некоторое волнение, так как ему известно было, что народ желает строго наказать виновных, сам же он скорее склонялся к более мягким мерам.

— Нам предстоит обсудить, — начал он, — как поступить с заключенными Антипатом, Зевией, Софией и их сообщниками, обвиняемыми в намерении впустить римлян в Иерусалим. Обвиняемым следует предоставить все средства к защите, — продолжал он, возвышая голос, — а доверие народа — лучшая награда для судей.

Водворилось глубокое молчание. Иоанн сел, а со своего места поднялся Элеазар.

— Не лучше ли было бы, — сказал он, — подождать окончания войны, чтобы затем уже решить участь обвиняемых? Умы тогда успокоятся, и нам можно будет внимательнее прислушаться к голосу нашей совести. Страсть — плохой советник в подобного рода делах.

Удар грома, внезапно разразившийся бы среди безоблачного неба над Елеонской горой, менее поразил бы толпу, чем эти слова. В глазах большинства Элеазар моментально превратился из судьи в сообщника; у всех явилась мысль,

что он обещал римлянам спасти обвиняемых, так как всякое другое объяснение казалось немислимым. Все с нетерпением стали ждать, чем кончится все это дело; все устремили вопрошающие и встревоженные взгляды на лица судей.

Судей неожиданное предложение Элеазара поразило, по-видимому, не менее сильно, чем толпу, хотя и не всех одинаковым образом. Иоанн Гишала, Зоробабель, Матиас и Филон, казалось, были не прочь присоединиться к предложению Элеазара. Они плохо верили в успех обороны и желали на всякий случай сохранить за собою поддержку саддукеев. Однако ввиду весьма недвусмысленного настроения толпы они не решались прямо высказать свое мнение. Иоазар также склонялся на их сторону; хотя он и не сомневался в виновности обвиняемых, но он считал необходимым соблюдение формальностей процесса. Остальные члены совета лишь с трудом сдерживали свое негодование.

Еще прежде, чем улеглось волнение, вызванное предложением Элеазара, и восстановилась тишина, Силас, наклонившись к Симону, шепнул ему на ухо: «Я бы хотел кое-что сказать».

Но Иоазар, услышав эти слова, сказал: «Не лучше ли выслушать прежде всего Ионафана? Подсудимые — царского рода, а так как Ионафан тоже царского рода, то исходящее от него обвинение имело бы более веса.

Ионафан встал и заговорил:

— Не время пускаться в длинные рассуждения теперь, когда римляне устанавливают свои метательные машины, для того чтобы разрушить город и храм наш. Я поэтому ограничусь только одним вопросом: желаем ли мы защищать Иерусалим или нет? Желаем ли мы обороняться серьезно или же только делать вид, будто обороняемся?

Толпа принялась неистово хлопать. Члены совета, наиболее склонные к умеренности и уступчивости, не решились пойти против общего мнения ввиду недвусмысленного настроения толпы и хранили молчание. Один только Элеазар отважился стоять на своем. Он поднялся с места и сказал, окинув толпу злобным взглядом:

— Наш молодой стрелец неверно понял мою мысль: вопрос идет вовсе не о том, должны мы или не должны обороняться; вопрос этот уже решен, ибо мы обороняемся. Теперь же вопрос заключается только в том, следует ли судить обвиняемых теперь, когда страсти возбуждены, когда мы легко можем совершить несправедливость, или же

лучше подождать более спокойных, более удобных для правосудия времен. Вот в чем весь вопрос.

— Когда нам угрожает серьезная опасность, — возразил Ионафан, — умеренность легко может стать обоюдоострым мечом; она может уподобиться развратной женщине, сердце которой — синок, а руки — цепи; она может повести к тому, что сам охотник запутается в расставляемых им сетях. Что же касается слов Элеазара, то я на них могу возразить только одно: так как все согласны с тем, что мы защищаемся и должны защищаться, то мы обязаны доказать это наше намерение поступками, которые не давали бы никому права сомневаться в нашей решимости, которые положили бы предел всяким колебаниям, всякой слабости. А одним из этих поступков, и притом весьма убедительным, будет то, что мы накажем тех, кто не только не сражался вместе с нами, но даже желал покрыть нас вечным позором, впустив римлян в наш священный город. Здесь говорят о справедливости; но первое условие справедливости — это наказать измену, раздавить голову ядовитой змее...

Слова эти были встречены криками одобрения. Однако Элеазар все еще не сдавался. Он опять поднялся со своего места и воскликнул громко:

— А я все-таки остаюсь при своем мнении: справедливость — лучшее средство к защите, чем меч; опираясь на меч, легко можно поранить самого себя.

Толпа заволновалась еще больше. Симон решил, что теперь наступило время сказать свое слово. Как только Элеазар сел, он поднялся со своего места. Протянув руку к храму и как бы призывая божество, он воскликнул:

— Не станем умалять слово справедливость! Не станем приывать его в пользу тех, которые желали бы упразднить самое это понятие! Ради чего же мы сражаемся, спрашиваю я вас, если не ради защиты того места, в котором она нашла последнее себе убежище. Не следует забывать того, что, защищая нашу свободу, мы защищаем ее для других народов, что мы спасаем завет, священный завет, в котором заключены права народов, самые драгоценные сокровища рода людского. Если мы будем побеждены, мы, быть может, будем иметь возможность, подобно Давиду, изгнанному неприятелем, перейти через Кедронский поток, подняться с плачем на Елеонскую гору и направиться в пустыню; но можно ли будет нам унести с собой нашу святыню? Да и пустыни-то теперь нет; римлянин всюду распространил свою власть и свою тиранию. Элеазар, по-видимому, не

отдает себе отчета о призвании избранного народа, о святых, хранение которой нам поручено и которую мы должны защищать до самой смерти. Он не в состоянии понять одушевляющих нас чувств. Ведь должен же быть на земле маяк, с которого светила бы истина! Ведь должна же справедливость иметь верное и неприкосновенное убежище!

В этом месте речь Симона была прервана оглушительными рукоплесканиями толпы. Когда снова водворилось молчание, Симон продолжал:

— Быть может, скажут, что мы беремся за непосильное дело? Пусть так! Но поражение не будет постыдным, если мы сделаем все, что в наших силах, чтобы предупредить его; прах наших руин станет плодородным, если мы польем его нашей кровью: он разнесется по всем странам и посеет всюду семена справедливости и истины!

Вновь раздался взрыв рукоплесканий. Симон продолжал, глядя на побледневшего Элеазара

— Из всего этого следует, что нам нужно поступить так, как советует Ионафан. Щадить изменников — значит становиться их сообщниками, и я объявлю изменником всякого, кто выскажется за отсрочку возмездия. Мы жаждем справедливости, потому что мы жаждем истины. Не следует допускать никаких сделок, никаких полумер: тот, кто не с нами — против нас, кто не за храм — против храма! Святилищу нашему угрожает пожар, и священные камни уже лижет пламя. Неужели же мы не признаем изменником и нечестивцем того, кто не только отказывается содействовать тушению пожара, но кто еще указывает дорогу поджигателям? Обратим же против них самих зажженный факел и сожжем его пламенем их преступные головы!

Симон сел при громких, одобрительных криках всего собрания! Элеазар воскликнул дрожавшим от гнева и волнения голосом:

— Я не изменник, но тем не менее я стою за отсрочку суда!

Слова Элеазара и надменный тон, которым он произнес их, вызвали сильный шум, который Иоанн Гишала тщетно старался прекратить. Элеазар, видя, что к нему относятся с недоверием, вздумал позлить возбужденную толпу. Он поднялся, крики усилились. Тогда его смелость превратилась в наглость и он произнес с презрительной улыбкой:

— Что же, быть может, кто-либо из присутствующих настолько смел, что сомневается в моих словах!

Он произнес эти слова так громко, что перекричал толпу, и все вдруг замолчали. Потом в тишине раздался голос:

— Да, Элеазар бен Симон, здесь есть тот, кто сомневается в твоих словах!

— Кто это там говорит? — спросил Иоанн Гишала.

— Это я, Елизавета, мать Матафеи, — ответила Елизавета, пробираясь сквозь толпу. Все это случилось так быстро, что Иоанн даже не успел остановить ее. Взгляды всех присутствующих обратились на Елизавету.

Старуха была укутана с ног до головы в широкое синее покрывало. На плечи ее был накинут длинный черный хитон, волочившийся позади нее по земле; из-под него высывалась красная, морщинистая рука, а черные с проседью космы, выбившись из-под покрывала, падали на лоб. Она остановилась перед членами совета, медленно обвела их глазами и наконец остановила свой взгляд на Элеазаре и стала пристально смотреть ему в глаза.

Элеазар побледнел. Он невольно смутился, стараясь, однако, сохранить спокойствие.

— Я не знаю этой женщины, — сказал он, стараясь придать своему голосу презрительный оттенок.

— Да, но я тебя знаю, я, — произнесла Елизавета громким, твердым голосом, — тебе не удастся запугать меня твоими пренебрежительными гримасами, Элеазар бен Симон, любовник Марии Рамо!

Элеазар вздрогнул, однако промолчал.

— Я тебя знаю, говорю я, — продолжала Елизавета, — и я докажу тебе это. Если ты желаешь, я сейчас расскажу тебе, как ты провел последнюю ночь.

Елизавета оглянулась на толпу с улыбкой, как бы ища ее одобрения, затем произнесла, приблизившись к Элеазару:

— Мария Рамо вошла в храм вчера ранним вечером и вышла из него только сегодня на рассвете. А ведь она красавица — Мария! На щеках ее цветут иерихонские розы, а тело ее благоухает всеми аравийскими бальзамами.

— А мне что за дело до этого? — спросил Элеазар, стараясь сохранить хладнокровие.

— Постой, постой, — продолжала Елизавета, — и слушай меня внимательнее, Элеазар. Так вот, вчера вечером она говорила тебе: «Неужели ты, Элеазар, потомок первосвященников, намерен продолжать эту разбойничью жизнь, достойную какого-нибудь головореза? Это хорошо для ка-

кого-нибудь Иоанна Гишалы или Симона бен Гиоры, родившихся на большой дороге. Ведь Иерусалиму не устоять; только безумец может воображать, будто нам удастся восторжествовать над римлянами; ведь Тит еще храбрее и искуснее отца своего, Веспасиана. Для чего же идти против рожна? На это способен только глупец, а не мудрец. Ты неравнодушен к сладостям жизни и к почестям: римляне дадут тебе все, чего ты только пожелаешь. Они и теперь уже ценят твой ум; они еще более оценят твое благоумие. Ты любишь роскошь — ты будешь покрыт пурпуром не хуже любого сатрапа; ты неравнодушен к наслаждениям жизни — ты будешь иметь достаточно золота, чтобы купить самых красивых женщин, самых блестящих блудниц Коринфа и Александрии. Ты будешь наслаждаться в прохладных залах, при звуке арф, увенчанный цветами, лежа на тирских коврах с женщинами, более красивыми, чем я, более соблазнительными, чем Береника! Ты не менее храбр, чем Тит: почему же тебе не быть столь же счастливым, как он? Произнеси только одно слово. Тит протягивает тебе руку; он предлагает тебе скипетр и трон; ты можешь стать вторым Иродом Великим. Или ты предпочитаешь, чтобы тебя выбросили на съедение коршунам? Пускай это будет уделом какого-нибудь Симона бен Гиоры, Иоанна Гишалы, безвестных и глупых случайных людей, которым на роду написано окончить свою жизнь пригвожденными к кресту». — Так вот, Элеазар, что говорила тебе Мария Рамо. А вот что ты ей ответил: — «Я люблю тебя, Мария Рамо; нет ничего на свете, чего я бы ни совершил ради тебя; к тому же уже давно жизнь мне в тягость и я возненавидел людей, с которыми мне приходится иметь дело. Я готов войти в соглашение с Титом, но только под тем условием, чтобы он пощадил бы моих соотечественников и не посягал бы на их предрассудки; на этом я настаиваю, хотя для меня на свете существует только одно божество — моя несравненная красавица Мария Рамо. А дело может устроиться весьма просто; пусть только отдадут мне управление Иудеей и сделают меня верховным жрецом Иерусалимского храма. На этих условиях я буду соблюдать интересы римлян и вместе с тем интересы моих сограждан».

Елизавета замолчала на минуту, как бы для того, чтобы дать выпущенной ею стреле время вонзиться в сердце ее жертвы; затем продолжала, обращаясь к Элеазару:

— Ты видишь, Элеазар, что я знаю тебя и, быть может, даже больше, чем бы ты хотел. Да, ты человек ловкий

и коварный, это всем известно, но ты борешься против Бога, Элеазар, а Бог мудрее тебя: Он сумеет найти орудия, необходимые Ему для Его целей. Это я, недостойная, привела Марию в храм; я же ее встретила, когда она вышла оттуда. Мария отдалась тебе по моему приказанию; она любит сына моего сильнее, чем ты ее любишь; она ради него готова была бы поджечь храм. Я сказала все, что хотела сказать...

Элеазар, не побледнев, выслушал слова старухи; однако, чувствуя, что все взоры обращены на него, он смутился и крикнул: «Ты лжешь, ты лжешь от первого слова до последнего!»

Елизавета, пожав плечами, взглянула на него презрительно, затем, выпрямившись, она обратилась к толпе:

— Он говорит, что я лгу! Ну, так если я лгу, так я лгу не ради него одного! Пусть весь народ узнает, что я сказала, и рассудит, на чьей стороне правда! А если бы даже народ поколебался в своем решении, то у меня есть и свидетель.

Мария Рамо громко повторила то, что говорила вчера Элеазару. Пока она говорила, мертвое молчание царило в собрании; а затем поднялся невообразимый шум. Все члены совета поднялись со своих мест, устремив на изменника негодующие взгляды. Элеазар незаметно приблизился к своему конвою. Офицеры этого конвоя вопреки соглашению остались при оружии, спрятанном под плащами. Теперь они поспешили обнажить его. Увидев это, толпа разразилась криками негодования. Некоторые из присутствующих, у которых было оружие, не могли сдержать своего негодования и закричали Симону, что они готовы наказать изменника.

Симон пользовался громаднейшим авторитетом среди населения. Его любили за его мужество, за его красноречие, за его преданность святому делу. Слово его было приказанием: одного жеста было достаточно, чтобы заставить всех преклониться перед его волей.

Измена Элеазара была очевидна. Народ жаждал мести; он готов был бы сейчас расправиться с преступником.

— Долой его! — раздалось со всех сторон. Толпа собиралась уже кинуться на Элеазара и на его свиту. Но тут Симон крикнул повелительно:

— Прочь оружие! Изменники будут наказаны, как бы они ни были могущественны и высокопоставлены! Те, которых вы облекли вашим доверием, неукоснительно исполнят свой долг. Но если они должны исполнить долг свой по

отношению к вам, то они обязаны исполнить его по отношению к самим себе. Мы условились между собою, что все члены верховного совета будут пользоваться неприкосновенностью, и мы не нарушим этого условия. Элеазар находится здесь на нейтральной почве, и поэтому мы не можем допустить никакого насилия над ним. Но он не избегнет мщения. Положитесь в этом на Иоанна Гишалу и на Симона бен Гиору. Что же касается пленников, которых он хотел спасти, то не пройдет и дня, как они получат возмездие за свои преступления.

Эти слова произвели желаемое действие. Буря улеглась, и Элеазар смог беспрепятственно удалиться. По приказанию Симона толпа разошлась.

Бен Адир следил за всеми подробностями произошедшего с живейшим интересом; особенно поразили его Елизавета и ловкость, с которою она выследила Элеазара. Воображение рисовало ему тысячи приключений и опасностей, и он подумал, что ему не найти лучшего союзника, если ему когда-либо суждено будет возвратиться в Иерусалим, чем эта старуха. Он тут же решил, что ему следует ближе сойтись с ней. Он тотчас же сообщил о своем плане Силасу, который повел его к Симону.

— Господин,— сказал ему Бен Адир,— я собираюсь отправиться обратно. Могу ли я задать тебе несколько вопросов, несмотря на важность момента и обстоятельств?

— Говори,— ответил ему Симон,— ты друг и посланец друга.

— Не следует ли мне рассказать внучке Измаила все, что я видел и о чем я слышал?

— Да, и скажи ей еще, чтобы она не забывала о Юдифи и что дело ее должно совершиться не в Иерусалиме.

— Я желал бы предложить тебе еще один вопрос, господин: можно ли положиться на Елизавету?

— Вполне. Но на что тебе это?

— Нам с госпожой моей, быть может, понадобятся посредники для того, чтобы пробраться к тебе. Елизавета, видно, умнее Зеведея, и она могла бы оказаться очень полезной.

— Ты мудр, Бен Адир,— сказал ему Симон, не сумевший прочесть всего, что происходило в душе молодого араба.— Да, Елизавета может оказаться нам полезной. Мы сейчас поговорим обо всем этом с Асмонею бен Элионеем.

И, подзвав к себе Асмонею, он сказал ему:

— Познакомь этого молодого человека с Елизаветой,

матерью Матафии. Бен Адир вполне предан Ревекке, дочери царя Изаты. В настоящее время она находится в лагере римлян. Он может служить нам посредником.

Когда Симон возвращался из военного совета, он увидел Зеведея, Симон отвел его в сторону и спросил:

— Как здоровье Эсфири?

— Она скучает.

— Ей нельзя дольше оставаться там, где она теперь; ей следует или отправиться в Иерихон, или перебраться в Иерусалим. По прошествии нескольких дней окружение города римлянами будет закончено. Будь же благоразумен, Зеведей. Смотри, чтобы завтра ее уже не было в пещере.

Бен Адир, слышавший этот разговор, стал думать о том, каковы могли бы быть причины, заставлявшие Симона интересоваться племянницей пророка, и решил разузнать об этом. Однако он изнемогал от усталости. Когда Асмонеи привел его к Елизавете, он тотчас же бросился на циновку и проспал глубоким сном до следующего утра. Поутру за ним пришел Зеведей и они направились к Овчим воротам. Проходя мимо ограды храма, они заметили несколько крестов, на которых были распяты какие-то люди. Среди распятых был и Элеазар.

— Что же случилось ночью? — спросил он у Зеведея.

— Казнили пленников, а вместе с ними задушили и коршуна, — ответил тот.

VI

Ревекка возвратилась в Иудею для того, чтобы видеть Иерусалим; кроме того, она надеялась, что, быть может, ей удастся принести какую-нибудь пользу священному городу. Она желала также увидеться с Симоном, воспоминание о котором ее не покидало и любовь к которому сливалась в ее сердце с любовью к Иерусалиму. Но сила ее страсти, как она ни была значительна, не лишала ее рассудительности. Возражения, которые высказал ей Максим Галл по поводу ее желания прибыть в осажденный город, произвели на нее некоторое впечатление. Не отказываясь от своих планов, она решила, однако, что ей следует выждать благоприятного случая. Поэтому-то она и послала Бен Адир в Иерусалим и последовала, без всяких возражений, за своим дедом в лагерь Тита.

Лагерь римского полководца был разбит в семи стадиях от Иерусалима; но, несмотря на то, что осадные работы уже начались и что он старался ускорить их, Тит проводил большую часть времени в замке Береники, в окрестностях Иерихона. Туда же отправился и Измаил-Иосиф, присоединившись к свите Максима Галла, и там Ревекка была представлена прекрасной царевне.

Береника встретила Ревекку приветливо, чему немало способствовало уважение, которым пользовался у римлян ее дед, а также покровительство Галла, а красота молодой девушки окончательно расположила в ее пользу царевну. Нужно заметить, что хотя Ревекка была не менее красива, чем Береника, однако царевна относилась к ней без всякого чувства ревности: она хорошо знала вкусы Тита, которого не привлекала молодая и строгая красота; к тому же она была слишком уверена в своей власти над ним. Вскоре между обеими женщинами установилась самая тесная дружба, к великой радости Ревекки, которая очень скоро поняла, какую ей можно будет извлечь из этого пользу. Она была уверена в доверии к себе Береники, которая, в свою очередь, пользовалась полнейшим доверием Тита; она могла бы, если бы только захотела, приобрести также полное доверие Максима Галла, который также, будучи самым близким другом и самым доверенным лицом римского полководца, мог отлично знать, что тот собирается предпринимать. Она сразу угадала страсть, которую она успела внушить другу Тита, и по достоинству оценила ту пользу, которую ей можно будет извлечь из этого обстоятельства. Стоило только поддерживать ее, не заходя слишком далеко, и подавать время от времени некоторую надежду, не компрометируя себя.

Гордая и честная от природы, Ревекка, правда, не могла сразу помириться с той ролью, которую ей приходилось играть; она не была создана для того, чтоб обманывать; она сознавала все, что было для нее унижительного в этом подделывании к женщине, которую в душе считала развратницей и — что еще хуже — способной изменить родине. Она решилась играть эту роль только после продолжительной внутренней борьбы. Еще тяжелее ей было обманывать человека, которого она уважала. Но, говорила она себе, Юдифь, для того чтобы спасти свою страну, принесла больше жертвы, чем собираюсь принести я; а между тем Юдифь прославляют в священном писании: ведь сам первосвященник вместе со старейшинами Иерусалима отправился

в Бетулию, чтобы благодарить ее за убийство Олоферна и чтобы объявить ей, что она — слава Иерусалима, украшение Израиля и что имя ее будет благословляться во веки веков. Пример ее — это маяк, поставленный Иеговой для того, чтобы светить дочерям Израиля и указывать им тот путь, по которому они должны следовать.

Замок, в который прибыл Галл вместе с Измаилом-Иосифом и его внучкой, находился по соседству с Иерихоном.

Продолговатая Сале-Гадольская долина, в которой построен Иерихон, граничит к северу со снежными вершинами Енона, а к востоку — с холмистой возвышенностью Гавлонида и Переи, бесплодной, голой, сожженной жгучими солнечными лучами. Река Иордан протекает по ней почти по прямой линии, с севера на юг, выходя из Генесаретского озера и впадая в Мертвое море.

Между Иерихоном и Мертвым морем возвышался пологий холм, который Береника выбрала для того, чтобы выстроить дворец, где она принимала своего любовника. Дворец этот, в сущности, представлял собой не что иное, как богатую римскую виллу, построенную по типу самых красивых загородных дворцов Италии. Она изобиловала галереями, портиками, купальнями; при ней был ипподром, сады, разбитые с величайшим искусством и украшенные цветами и редкими деревьями, длинные колоннады, изящные аркады, балконы со сводчатыми навесами, гроты, фонтаны, водопроводы; особенно много было воды, поддерживавшей приятную прохладу и придававшей свежесть растительности. Всюду в садах протекали журчащие ручейки, были вырыты красивые и чистые пруды, устроены каскады; вода текла и из мрамора, и из бронзы, среди деревьев и в зелени лужаек, по склонам холма и в отдаленнейших уголках сада.

Береника, внучка Ирода Великого, племянница Агриппы, вдова последнего царя иудейского, была чрезвычайно богата. Честолюбие и любовь заставили ее потратить значительную часть своих богатств на то, чтоб очаровать человека, которого она любила и с которым она надеялась разделить со временем власть над миром.

С особенным блеском проявились вкус и воображение очаровательной Береники в убранстве громадной галереи, в которой она устраивала свои пиры и празднества. Там, между широкими колоннадами и высокими арками, блестящими позолотой, тянулся стройной чередой ряд красивых

статуй, а стены были увешаны картинами. При этом всюду сквозила одна и та же мысль: картины и статуи изображали Амура. Береника постаралась собрать самых известных героев и героинь той страсти, которую она внушила и которую во что бы то ни стало желала поддерживать, — статуи женщин, знаменитых своей красотой и той властью, которою они обладали над мужчинами: Семирамиды, Клеопатры, Аспазии, Фрины, Лайсы, Ловии, Мессалины, Поппеи. Царевна поместила в эту коллекцию и себя, и своего любовника в блестящих, чеканных латах, он занимал место рядом с Аполлоном, Геркулесом, Адонисом, Парисом, Тезеем и Мелеагром. Фавны, сатиры, центавры, нимфы, дриады стояли кругом, как бы обрамляя это сборище красивых женщин и мужчин. Большая статуя Веспасиана из белого мрамора, поставленная на высокий пьедестал, возвышалась в центре и, казалось, господствовала над всем и простирала на все лучезарный блеск своего царственного величия.

Дворец этот был всего в нескольких часах пути от Иерусалима. Тит велел провести туда из римского лагеря дорогу и приезжал сюда почти каждый вечер.

В Беренике восточная царевна слилась с греческой куртизанкой. Она переходила с поразительной быстротой от вызывающего кокетства гетеры к холодному величию женщины царского рода, и лицо ее принимало, по ее желанию, любое выражение. Оно было смугло, с тем синеватым и темным отливом, который часто встречается у восточных женщин, с аквамаринового цвета глазами, напоминавшими разрезом своим глаза Минервы Фидия. Она обладала способностью придавать им выражение то задумчивой меланхолии, то жгучей страсти. Ее длинные шелковистые волосы, то зачесанные кверху по всем правилам греческого искусства, то распущенные с кажущеюся небрежностью, за которой скрывалась, однако, тонкая расчетливость, придавали еще больше прелести ее лицу.

Со времени Ирода Великого в высших слоях иудейского общества водворились римские нравы. Береника вполне усвоила их; они были ей тем более по душе, что она привыкла считать себя будущей римской императрицей. Однако в ней проявлялись и восточные наклонности, которые влекли ее, точно чудодейственной силой, к величественной роскоши и к утонченным наслаждениям. Широкий ассирийский плащ, пояс с бахромой, головной убор, блестящий драгоценными камнями, заменяли собою нарядные греческие или римские уборы. Роскошь и своеобразие

этого костюма давали широкий простор проявления ее богатой фантазии: она украшала свою одежду всевозможными цветами, зеленые изумруды, красные рубины, белые жемчужины перемешивались в вышивках в тысячах разнообразных узоров и сливали свой блеск. Широкие ленты, ниспадавшие с ее головного убора, похожи были на огненных змей. Ее уши, руки, пальцы, шея и грудь блестели украшениями из золота и из драгоценных камней.

Она не любила того великолепия, которое выдвигало на первый план царицу, отодвигая женщину; она предпочитала в этом отношении изящную и чувственную простоту эллинов. Но Титу это великолепие нравилось, потому что напоминало ему великолепие Рима. Поэтому, для того чтобы быть ему приятной, а быть может, желая подражать Клеопатре, могущество которой надеялась когда-нибудь превзойти, она появлялась перед Титом среди самой роскошной обстановки восточного характера и старалась среди великолепных задаваемых ею праздников разыгрывать роль будущей владычицы мира.

Честолюбивая царевна, предчувствуя судьбу своего народа, предсказанную пророками, и поняв, как важно будет для нее расположение Тита, решила привязать его к себе как можно крепче.

Бен Адир решил, что с его стороны будет благоразумнее всего, для того чтобы поскорее добраться до своей госпожи, отправиться в лагерь римлян и объявить там, кто он такой. Он был вполне уверен в том, что, назвав имена Максима Галла и Иосифа Флавия, он не встретит ни малейшего препятствия.

Расставшись с Зеведеем и зная, что лагерь Тита расположен в нескольких стадиях от городских укреплений, на восточном склоне Масличной горы, он решил подойти к первому римскому отряду, который встретит. Его тотчас же отвели во дворец Береники, где он увиделся с Ревеккой и рассказал ей обо всем, что он видел.

— Они там бедствуют, страдают, а мы здесь проводим время в удовольствиях и в пиршествах! — вырвалось из уст Ревекки, когда она выслушала его рассказ. Бен Адир смотрел на нее с благоговением.

— Да, — вздохнула она, — и я сама вынуждена принимать участие в них. Мне приходится убирать чело мое розами, в то время, как они, мои братья, истинные сыны Израиля, посыпают главы свои пеплом!

В этот день в замке Береники устраивалось большое празднество, и Ревекка, по настоянию царевны, должна была присутствовать на нем.

VII

В числе гостей Береники был и Тит, прибывший в сопровождении Максима Галла и нескольких военных трибунов, приехавших как раз в этот день из Рима. Отец Ревекки явился в сопровождении своего племянника Иосифа Флавия и встретил здесь множество самых известных левитских и саддукейских фамилий Иудеи. Был подан великолепный ужин, во время которого играла великолепная музыка. Потом появились танцовщицы. Одна из них, высокого роста, с пепельного цвета волосами, распущенными по плечам, с черными глазами, обведенными великолепными дугами бровей, с длинными и тонкими ногами, подобными ногам Дианы-охотницы, со стройным и гибким, как у змеи, туловищем, особенно очаровала всех. Она была окутана легкой, прозрачной шелковой материей; с ушей ее свешивались большие серьги, а вокруг щиколоток были нанизаны маленькие бубенчики. Три-четыре человека ударяли в кимвалы и в тамбурины в такт ее движениям. Сначала звуки были тихи и мелодичны, но затем они становились все быстрее и быстрее. Точно так же и пляска была вначале плавна и медленна, но мало-помалу она оживлялась и доходила, наконец, до неистовой страстности. Пляски танцовщиц вызывали взрывы рукоплесканий.

Празднество приближалось к концу; но Береника приготовила гостям сюрприз. Когда танцовщицы удалились, она наклонилась к Титу и сказала:

— Так как я устроила для тебя праздник, то завершат его танцы и пение моих соотечественников. Говорю не хвастаясь. Это настолько же выше того, что ты только что видел и слышал, насколько ты, мой властелин, выше всех других воинов мира. Перед тобой предстанут две настоящие волшебницы.

— И кто же эти волшебницы? — спросил Тит, улыбнувшись.

— Мария Рамо и Ревекка, внучка Измаила Иосифа.

— Неужели тебе удалось убедить неприступную и строгую Ревекку выступить?

— У нас танцы считаются делом серьезным, мой дорогой.

Первой появилась Мария Рамо. Не даром Береника

назвала ее волшебницей. Все, что в состоянии подействовать на воображение и очаровать его, соединилось в гетере, которой Тит воспользовался для того, чтобы соблазнить Элеазара. Она принадлежала к числу тех женщин, которых называли «огненными». Черты и выражение ее лица, ее улыбка, ее глаза, формы ее тела, ее жесты, позы, малейшие ее движения дышали сладострастием. Большие, продолговатые, с золотым отливом глаза, густые, черные, дугою изогнутые брови, выведенные точно кистью, ее талия, осиная талия, ее грациозные движения, ее мантия из легкой алой материи, застегнутая на плечах золотыми застежками, — все это было в ней в высшей степени гармонично и придавало ей вид жрицы Астарты. На поясе ее висела цитра, украшенная драгоценными камнями.

Когда она появилась, отовсюду раздался шепот одобрения. Дойдя до середины залы, она скинула с себя быстрым, нетерпеливым движением плащ и предстала перед зрителями словно молодая и свежая утренняя заря, только что скинувшая с себя ночные покровы. Мария Рамо поклонилась Титу и Беренике, медленно обвела вокруг себя глазами и улыбнулась. Затем она начала танцевать. Каждое ее движение дышало сладострастием. Она запела, и каждое ее слово было огненным поцелуем, горячей головней, падавшей на головы очарованных зрителей: «Любите, любите, дочери Иудеи! — пела она. — Подставляйте ваши губы поцелуям мужчин! Нигде солнце не освещало, нигде оно не заставляло распускаться более жгучей любви. Небесная роса оплодотворяет ее, вифлеемские вина распалют ее, густая лоза на холмах, развесистые смоковницы в долинах, старые кедры Ливана осеняют ее своею тенью. Любите, любите, дочери Иудеи! У нас, в наших садах, в которых растут фиговые деревья, пальмы, масличные деревья, яблони, прежде всего расцветал запретный плод. Белокурая Ева первая отведала его, и она приглашает дочерей своих нагнуть ветви древа жизни и угостить этим чудесным плодом детей Адама. Любите, любите, дочери Иудеи! Все славные дела Израиля — не что иное, как лучи, исходящие из светила нашей любви. Соломон обязан своим венцом мудреца числу своих наложниц и самой лучшей песнью своею — Суламифи. Кто знал бы о Самсоне, если бы не было Далилы, окутавшей этого сильного человека своими золотистыми волосами, точно сетью, и привлекшей его в благоухающий рай? Мы прославляем Эсфирь, подчинившую своему господству великого царя, и гордую Юдифь, которая

опьянила собой Олоферна и сама упилаась его кровью. Не будем же выродившимися дочерьми могущественных матерей наших! Любите, любите, дочери Иудеи! Мрачный пророк взывает к нам из пустыни гор: «За то, что дочери Сиона расхаживали с открытою грудью, делая знаки глазами, за то, что они семенили ногами, стуча своими сандалиями, Господь сделает их лысыми и лишит их всяких украшений». Тщетны твои угрозы, пророк! Мы от того не сделаемся менее красивы, если опояшем себя фиговыми листьями Любите, любите, дочери Иудеи! Пусть согбенные от бремени лет старцы простираются в прах и хранят молчание пусть они посыпают пеплом свои поседелые головы и покрывают свои дряблые члены власяницей! Мы же будем омывать в прозрачных водах Генесаретского озера наши молодые тела, мы будем играть нашими красивыми полными руками на лютнях; пусть Терихон украшает головы наши розанами, пусть Аравия разливает все свои благоухания на наши молодые тела, трепещущие от радости и от сладострастия. Любите, любите, дочери Иудеи! Сохнет лист и вянет цветок; туман рассеивается под солнечными лучами, наши ноздри жадно вдыхают в себя благоухание жизни, убегающая тень, скользящий по волнам корабль, птица разрезающая своими крыльями воздух, стрела, сильной рукой направленная в цель, — вот что такое человек. Итак, проходите, прекрасные дочери Иудеи! Спешите вдыхать в себя легкие, опьяняющие благоухания; срывайте скоропреходящие цветы вашей юности; венчайте свою голову розами, прежде чем они успели отцвести. Любите, любите, дочери Иудеи! Кто же те безумцы, которые желают сделать из Иерусалима долину слез, город бога битв? Царство Иуды — царство красоты и удовольствий. Бог провозгласил Соломона самым мудрым из царей только за то, что Соломон — тот из царей, который наиболее любил. Любите же, любите, дочери Иудеи!»

Мария Рамо закончила петь, и все долго хлопали ей.

Береника сделала знак Ревекке, которая среди всеобщего шума поднялась со своего места. Когда рукоплескания умолкли, она медленно вышла на середину. Она была одета в белое, с большими складками, платье скромного покроя, без пояса, с накинутой на него алой мантией. Ее роскошные волосы, собранные в две густые косы, придавали ее фигуре еще большее величие. В волосах ее не было ни одного цветка, в ушах и на шее — ни малейшего украшения Ревекка обещала Беренике спеть брачную песнь и пригото-

вилась исполнить соответствующее место из «Песни Песней». Но пение Марии Рамо заставило ее изменить свое намерение, когда она увидела, что последняя строфа песни Марии вызвала улыбку на устах деда Реввеки.

Она решила спеть гимн Деборы, несколько изменив его: «Нет, не могу молчать, — пела она. — Я услышала трубный звук, я услышала боевые крики. Иегова наполняет меня дыханием своим; Он прикоснулся ко мне искрой расплавленного в горниле металла. Я лежала ничком, а Он возглаголил с высот Сиона: «Встань и услышь мои слова. Война подступила к стенам их города за то, что они избрали себе новых богов. Но мое сердце болит от этого. Показались копья и щиты, сбежались наконец воины. Мужайся, Дебора! Проснись и спой воинственную песнь». Нимврод молвил в своей гордыне: «Я поднимусь превыше облака ходячего и установлю престол свой над звездами. Господь поднялся, и Нимврод сделался пленником смерти. Как он спокоен теперь, великий охотник перед Господом! Иегова сломает скипетр грешников и палку тиранов. Ибо народ Его выступил вместе с ним против сильных. Первым пришел Эфраим затем — Вениамин, Забулон и Изахар. А ты что там делаешь, Рувим, среди своих плетней и виноградников? Неужели ты находишь теперь время прислушиваться к бляению твоих овец и жечь сухие виноградные лозы? Цари выстроились в боевой порядок; они бились близ Танаха, близ Магедского источника. Но за нас сражались светила небесные и они с высот своих поразили своими стрелами Сисру, и Кишонский поток, поток отцов наших, унес своим течением трупы их. Дуновение Всевышнего сломало сильного. Дочери Израиля не только красивы, но и храбры. Иоиль, жена Хабера, подала молока Сисру, просившего у нее воды; но затем она взяла в левую руку гвоздь, а в правую молоток и метко вколотила гвоздь в голову Сисры, и последний упал мертвым. Юдифь заключила в свои объятия Олоферна, но ее рука задушила проклятого, и та же рука, которая ласкала его курчавые волосы, отрубила голову от окровавленного туловища. Жены Израиля красивы. Солнце позолотило цвет их лица самыми яркими лучами своими. Глаза их то кротки и ласкающие, как глаза вифлеемской газели, то свирепы и страшны, как глаза ассирийского барса; но груди их полны благородного молока, в недрах своих они носят будущих мстителей своим врагам. «Итак, радуйся, знойная пустыня, ликуй, бесплодная страна, ибо ты снова зацветешь, как лилия во влажной долине...»

Пропев последние слова песни, Ревекка выронила цитру, и слезы горечи потекли из ее глаз. Но, окинув взором собрание, она поняла, что ее пение смутило многих и что ей нужно постараться поскорее изгладить произведенное им впечатление.

Когда Береника приблизилась к ней с намерением упрекнуть ее, она опередила ее и спросила, с улыбкой:

— Не правда ли, прекрасная царевна, что я рождена для того, чтобы быть великой актрисой?

— Ты действительно замечательная актриса, милая моя Ревекка, — сказала обезоруженная Береника.

— Я брала уроки в Афинах, — скромно ответила Ревекка, опустив глаза.

— Но, заимствовав у греков искусство, ты присоединила к нему свой талант и свой природный дар импровизации, — сказала Береника с улыбкой.

— Импровизация — дело случая, — сказала Ревекка. — Что же касается таланта, то я никогда не верила моему деду, когда он уверял, что у меня есть талант.

— Ты, кажется, говорила мне, что ты хочешь пропеть нам любовную песнь? Мы ждали Суламифь, а встретили Дебору...

— Всякая любовная песнь после той, которую пропела Мария Рамо, показалась бы слишком пресной; нужно было спеть что-либо совершенно иное. Ведь разнообразие не вредит наслаждениям! По крайней мере так меня учили в Афинах. А теперь я готова исполнить мое обещание. Я пропою одну из песней Соломона...

— Если ты не устала...

— Усталость исходит только из сердца, а Музы — дочери Памяти: этому тоже учили меня в Афинах.

Береника, возвратившись к Титу, передала ему содержание своего разговора с Ревеккой и прибавила:

— Ревекка — артистка в полном смысле слова, и она повинуется только велениям муз. Ты сейчас услышишь «Песнь Песней». Она уже пела ее однажды. Тебе покажется, что ты услышишь соловья...

— Или лань в лесу, — сказал Тит, улыбаясь. — Но, клянусь Зевсом, эта Ревекка — престранное существо. То ее глаза сверкают, как у дикого зверя, то они томны и нежны, как у голубки. Я чуть не испугался, когда она запела песнь Деборы.

— А теперь ты придешь в восторг, мой возлюбленный. Но слушай! Вот она берет свою цитру.

К Ревекке возвратилось все ее хладнокровие; она поняла, что необходимо во что бы то ни стало изгладить впечатление, произведенное ею. Сильно ударив по струнам, она запела:

Сплю, но сердце мое чуткое не спит...

За дверями голос милого звучит:

— «Отвори, моя невеста, отвори!

Догорело пламя алое зори;

Над лугами над шелковыми

Бродит белая роса

И слезинками перловыми

Мне смочила волоса;

Сходит с неба ночь прохладная —

Отвори мне, ненаглядная!»

— Я одежды легкотканые сняла,

Я омыла мои ноги и легла,

Я на ложе цепенею и горю —

Как я встану, как я двери отворю?»

Милый в дверь мою кедровую

Стукнул смелою рукой:

Всколыхнуло грудь пуховую

Перекатною волной,

И, полна желанья знойного,

Встала с ложа я покойного.

С смуглых плеч моих покров ночной скользит;

Жжет нога моя холодный мрамор плит;

С черных кос моих струится аромат;

На руках запястья ценные бренчат.

Отперла я дверь докучную:

Статный юноша вошел

И со мною сладкозвучную

Потихоньку речь повел —

И слилась я с речью нежною

Всею душой моей мятежною*.

Ревекка спела прекрасную песнь Соломона с неподражаемой силой, не как актриса, а как любящая женщина. Ее

* Перевод Л. А. Мея.

страстная натура вполне сказалась в этой песне: все влечения ее сердца, все упоения страсти вылились из ее уст. Когда она закончила, восторгу слушателей не было предела.

По сигналу, поданному Титом и Береникой, зала огласилась рукоплесканиями.

VIII

Береника пожелала поздравить Ревекку с громадным успехом, который та имела накануне, и после обеда отправилась к ней. Между царевной и Титом возник небольшой спор по поводу Ревекки. Речь шла о том, сказался ли голос сердца в сделанном Ревеккой выборе из «Песни Песней» Соломона, и в голосе, в искренне-страстном тоне, которым она пропела свою песнь, не руководила ли в данном случае женщина артисткой. Тит утверждал, что, как в первой из пропетых песен, так и во второй, в Ревекке сказалась только артистка; Береника же утверждала обратное. «Если песнь Деборы, — говорила она, — можно пропеть без участия сердца, то того нельзя сказать относительно песни Суламифи. Только любящая женщина может пропеть ее так, как пропела Ревекка. Впрочем, я выясню это. Я дружна с Ревеккой и сумею выведать у нее эту тайну».

Ревекка жила в отдельном доме, расположенном в громадном саду. Она лежала на широких мягких коврах, когда к ней вошла царевна. Она была бледна и лицо ее носило на себе следы утомления. При появлении царевны Ревекка поднялась с лихорадочной поспешностью, вовсе ей не свойственной. Береника обратила внимание и на это. Береника воскликнула с непритворным участием, схватив горячие руки девушки:

— Ты плохо чувствуешь себя, дитя мое; удовольствие, которое ты нам доставила, все же не мешает мне сожалеть о том, что я вчера упростила тебя петь. Ты бледна, как мертвец... нет, что я говорю, это сравнение не пристало к тебе... ты бледна, как белая лилия в Кедронской долине, только что смоченная дождем.

— Я вчера немного взволновалась, — ответила Ревекка, улыбаясь, — если дождь, как ты так благосклонно выразилась, смочил лилию, то он не промочил ее насквозь; но если бы даже он совсем прибил ее к земле, то живительные лучи твоих похвал не замедлили бы заставить ее подняться. Мне

даже кажется, что скорее на меня подействовала снисходительность твоя и Тита, чем усталость. Эхо ваших рукоплесканий всю ночь отзывалось в ушах моих; сладкий голос, прекрасная царевна, непрерывно звучал в них, и он-то и не давал мне сомкнуть глаз.

— Я буду очень рада, если это так, и мне доставляет удовольствие это твое объяснение. Только совершенно напрасно ты употребила это слово снисходительность: рукоплесканиями нашими руководила справедливость. Ты пела так, как может петь только муза Аттики или восхваляемый поэтами соловей; а что касается пляски твоей, то самые знаменитые танцовщицы Индии и Египта недостойны развязать ремень у сандалий твоих. Если бы Соломон мог воскреснуть, то он, наверное, распростерся бы у ног твоих: ты еще более украсила его и без того уже прекрасную любовную песнь и прибавила новый цветок к его благоухающему букету.

Ревекка покраснела, выслушивая эти похвалы, но ничего не ответила. Ей не нравился льстивый тон, царствовавший при дворе Береники. Береника перешла к главной цели своего посещения.

— Я заставила тебя покраснеть, — сказала она с сожалением, — я знаю, что ты любишь более укоры, чем похвалы. Знаешь ли ты, Ревекка, что ты в этом отношении совершенно не похожа на других людей.

— Нет, я этого не знала, — смеясь, ответила Ревекка, — и, быть может, ты и права; но совершенно верно то, что я до того не люблю похвал, что иной действительно может, пожалуй, подумать, будто мне больше нравятся упреки. Для тебя я, однако, делаю исключение: с твоей стороны мне все нравится, как похвалы, так и упреки.

— Ну и отлично! Это дает мне возможность не стесняться; ибо я должна сделать тебе упрек, мой прекрасный и скрытный друг.

— Упрек? Неужели! Клянусь Юпитером, — как имеет обыкновение говорить отец мой, с тех пор как он отрекся от своей веры, — тем лучше; я предпочитаю уксус меду, но так как преступление это не предумышленное, то оно, без сомнения, будет вскоре прощено мне.

— Не предумышленное? Да нет же, ведь у тебя есть тайны, а ты заставляешь меня отгадывать их.

— У кого нет своих тайн? — сказала Ревекка. — Сердце женщины, как сказал один из наших пророков, есть не что иное, как темная бездна.

— Значит, ты сознаешься и все же утверждаешь, что ты не виновата?

Ревекка, не понимая, к чему клонит царевна, невольно почувствовала некоторое беспокойство, несмотря на то, что тон, которым говорила Береника, и выражение лица ее не имели в себе ничего тревожного. Однако она старалась овладеть собой и только легкая краска покрыла ее щеки.

— Ну что, ты сдаешься наконец! И прекрасно! Это примиряет меня с тобой. Да, моя прекрасная Муза, мне известно, какой гений вдохновляет тебя. И с чего бы тебе отречься от этого? У нас, женщин, талант является не из головы, а из сердца, и от этого он не становится меньшим; человек несколько не теряет в цене оттого, что прошел через это горнило. Да, вчера вечером ты выдала себя: в твоём сердце живут две страсти. Я спешу заявить тебе, что я извиняю одну из них ради другой. Одна из них пройдет, ибо другая пожрет ее, как огонь пожирает солому; это повторение все той же притчи Иосифа о семи худых и семи тучных коровах. Но если ты желаешь, чтобы прощение было полное, то и признание должно быть полное. Ты любишь, ибо только одна любовь способна произвести то чудо, которое ты произвела вчера вечером.

Ревекка опустила глаза, как стыдливая молодая девушка, тайну которой разгадали, и не произнесла ни слова. Береника, радуясь своей догадливости, продолжала, смеясь:

— Я отлично знала, что я права; мужчины ничего не понимают в подобного рода вещах. Они видят только канат и не видят тонкой нитки, и поэтому-то так часто и ошибаются. Что бы ни говорил Тит, несомненно, что нужно любить, для того чтобы петь так, как ты пела вчера; есть такие чудеса, которых не может сотворить никакой талант без содействия сердца. Многие недоступно женщине, если в дело не вмещается любовь к мужчине.

Ревекка чувствовала по голосу царевны, по ее веселости и игривости, что она может быть спокойна за свою тайну. Однако, желая доиграть роль свою до конца, она, краснея, продолжала держать глаза опущенными.

— Зачем же краснеть, Ревекка, и опускать глаза? Ты любишь! Что ж в этом дурного? Мы ведь и живем-то, собственно, для того, чтобы любить. Если Господь Бог насадил дерево познания в земном раю, то сделал это, конечно, для того, чтобы наши руки срывали с него плод и подносили его мужчинам. Не далее, как вчера, это нам объяснила в своей песне Мария Рамо, и она была права.

Я даже думала бы о тебе дурно, если бы ты в состоянии была вечно лежать под сенью сочного дерева и никогда не испытывала бы искушения протянуть к нему руку. Нет, ты любишь, я в том уверена, в этих вещах я никогда не ошибаюсь. К чему же скрывать это от меня? Ведь я люблю тебя, и к тому же я могу оказаться полезной. Ведь должны же мы помогать друг другу. Поэтому ты должна во всем сознаться мне, и сознаться с полной откровенностью; только полнейшая искренность может изгладить вину, которую ты совершила относительно меня своей скрытностью. И, для того чтобы начать с самого начала, ты назовешь мне имя жениха твоей Суламифи.

Вопрос этот не только смутил Ревекку, но и был для нее настоящей пыткой. Она не могла сказать царевне, что та ошибается, так как этим только совершенно обидела бы ее, в то же время не убедив ее, и лишилась бы доверия, которое с таким трудом успела приобрести. Но она могла назвать имя того, кого любила, так как имя Симона бен Гиоры на всех наводило ужас, и царевна, без сомнения, испугалась бы, услышав его.

Береника была женщина слишком проницательная, для того чтобы не заметить ее смущения; но она приписала ее девической робости.

— Ты молчишь! Вот что значит иметь всего двадцать лет от роду и быть знакомой с земным раем только по Моисеевым книгам! Итак, мне приходится отгадывать! Хорошо, попробуем. Максим Галл, моя прекрасная притворщица, не менее притворщик, чем ты, но он не так хитер. Эти люди, посвятившие себя войне, сильны только на поле битвы, а этот еще воображает себя политиком! В то время, когда ты пела, я заметила, как смотрел на тебя Максим Галл. Для меня сразу же стало ясно, что он любит тебя; я готова биться об этом об заклад любовью Тита против вифлеемской вишневой ягоды. Не он ли нашел тот путь, который ведет к виноградникам Суламифи?

Положение Ревекки становилось все более и более затруднительным: разубеждать Беренику было небезопасно; сказать, что она любит Галла, было для нее противно, и в то же время она не могла рисковать делом, которому служила.

— Любовь, как и дух, — сказала она со стыдливой улыбкой, — дует всюду, куда захочет. Люблю ли я Галла? Право, я сама не знаю этого. Но одно я могу сказать определенно — это то, что я вполне признаю его заслуги и что я не

могла бы остаться равнодушной к чувству, которое испытывал бы ко мне такой человек, если только он действительно испытывал бы его.

Береника увидела в этих словах полное признание и поцеловала Ревекку.

— Ты прекрасна, как Иродов дворец, — сказала она, — ты такая женщина, каких я люблю. Ты умеешь соединить любовь с честолюбием. Максим Галл через несколько дней будет назначен правителем Иудеи, и ты, если захочешь, можешь сделаться правительницей Иерусалима, где ты можешь возобновить великолепие Ирода Великого. Тебе будет принадлежать слава исцеления ран, нанесенных городу войной. Эта мысль преисполняет меня радостью, и она осуществится, так как я люблю тебя, а Тит любит меня.

Царевна встала, а Ревекка удержала ее.

— Умоляю тебя, прекрасная царевна, — сказала она, — оставим пока это между нами. Не говори никому об этом, даже великому и добросердечному Титу.

— Я ни в чем не могу отказать тебе. Твои тайны останутся между нами, как и мои. Ты будешь сообщать мне свои, я буду передавать тебе свои, ибо я знаю, что ты любопытна. Ты научишь меня искусству завоевывать сердца; я же научу тебя завоевывать города в ожидании того времени, когда уроки в этом искусстве будет давать тебе Галл.

Весь этот разговор был мучением для Ревекки. Все ее самые сокровенные, самые дорогие чувства были задеты: ей пришлось сделать усилие над своим сердцем, над своей гордостью. Она умела скрывать и притворяться, но каждый раз ей нужно было делать для этого над собой усилия, и это причиняло ей невыразимые страдания. Когда Береника вышла от нее, она снова бросилась на ковер, рыдая, в полном изнеможении.

Береникой, когда она рисовала перед Ревеккой блестящую перспективу, которая открылась бы перед ней в случае союза с Галлом, отнюдь не руководила только дружба. Хотя мысль эта и возникла у нее внезапно, тем не менее она была вызвана политическими соображениями. Она не сомневалась в успехе осады Иерусалима; не сомневалась в том, что развязка близка, и думала уже о том, чтобы обеспечить за собой возможно большее влияние при новом правлении. Как только мысль о браке между Галлом и Ревеккой возникла в ее уме, она показалась ей отличной находкой для осуществления своих планов: Тит управлял бы через Галла,

а она — через Ревекку. Все это показалось ей так просто и так удобно, что она не могла устоять против искушения тотчас же не сообщить свой план Галлу, а для этого ей пришлось рассказать ему о своем разговоре с Ревеккой и передать то, что она обещала хранить в тайне. Правда, сообщая ему все это, она просила его молчать. Но при том настроении, в котором он находился в то время, это оказалось почти невозможным: он и без того уже был опьянен, а тут он хлебнул еще и этого крепкого вина, и он окончательно охмелел. Ревекка снова появилась перед ним в том ярком ореоле, которым воображение его окружило ее еще на «Артемиде».

Мария Рамо осталась в замке Береники, к которому многое ее привязывало. Галлу известна была ее история и та роль, которую она сыграла в казни Элеазара. Ему известно было также и то, что она являлась орудием политики, проводимой Титом и Береникой. Прогуливаясь по саду, он встретил красивую куртизанку, которую не видел со вчерашнего дня: она сидела под тенью смоковницы, перед статуей Венеры. При виде ее образ Ревекки в роли Суламифи снова предстал перед его глазами. Ревекка в его воображении вдруг опустилась до уровня Марии. Он понял, что его поведение во время песни Ревекки не осталось незамеченным.

— Ты ошибаешься, Мария, — сказал он, — если принимаешь мои похвалы не за чистую монету; я уроженец такой страны, в которой мужчины привыкли говорить с женщинами так же, как с царями, а царям они говорят правду.

— Значит, тебе кажется, Максим Галл, что прекрасная Ревекка не стоит похвал, которые расточаются ей отовсюду?

— Этого я не говорю, и эти слова могут послужить для тебя доказательством моей искренности. Вы обе были выше всякой похвалы. Любовь нашла и в Ревекке, и в Марии достойных выразительниц. Но только вы обе выразили ее различным образом. Лилия и роза различаются между собою и цветом, и запахом; однако кто же стал бы утверждать, что одна из них менее совершенна, чем другая. Нет, можно восхищаться одной, не унижая другой; предметы восхищения различны, но чувства одинаково сильны.

Мария была польщена тем, что ее сравнили с Ревеккой.

— Вот такие откровенные и в то же время любезные речи нравятся мне, — сказала она, улыбаясь. Ты совершенно прав, Галл, имея такое высокое мнение о Ревекке, и мне

особенно приятно то, что ты высказываешь это в ее отсутствие. Ревекка — замечательная актриса. И это, право, тем более удивительно, что она нигде не училась великому искусству нравиться мужчинам.

Галл уселся возле куртизанки. Находя, что этого вступления вполне достаточно, он решил прямо приступить к делу.

— Я тебя встретил очень кстати, — сказал он. — Ты девушка умная, и я хотел бы разрешить спор, который только что произошел у нас с Береникой. Речь шла о любви и об искусстве. Я утверждал, что для того, чтоб исполнить роль влюбленной невесты, или, вернее сказать, молодой супруги, опьяненной первой любовью, необходимо предварительно испытать те чувства, которые выражаешь. Поэтому я утверждал, что Ревекка не только любила и чувствовала себя любимой, но что она любила именно так, как Суламифь, и что, говоря языком Соломона, охраняя виноградники, которые были вверены ее охране, она не сумела сохранить своего собственного виноградника. Береника, напротив, утверждала, что мое предположение ни на чем не основано, что талант может обойтись и без опыта, что силой воображения можно поставить себя во всевозможные положения. Так, например, говорила она, нет необходимости быть самому отцеубийцей, чтобы прекрасно изобразить роль Ореста...

— Царевна умна, — сказала Мария, — и мне очень нравятся ее сравнения; и так как она обладает к тому же еще и громадным опытом, то я склонна думать, что она права. Береника сказала Галлу: «Для того чтоб исполнить так, как это сделала Ревекка, роль невесты, опьяненной счастьем, необходимо, чтобы она носила в душе образ любимого человека». Но в сердце Галла вдруг закралось сомнение. Действительно ли именно он, Галл, внушил ей эту страсть?

— Да, она любит, — говорил он сам себе, — это несомненно, но только любит она не меня; она обманывает Беренику и желает провести нас обоих. Я узнаю, кого она любит, — и горе этому человеку!

Как только эта мысль овладела Галлом, она крепко засела в его голове, и он уже не мог отделаться от нее. Встреча с Марией Рамо показалась ему неожиданной удачей. Она знала весь Иерусалим; она принадлежала к такому миру, в который стекались все тайны города. К тому же она знала Ревекку и ее семейство. Одного слова ее, быть может, было бы достаточно для того, чтобы доказать

ошибку Береники и чтоб открыть ему самому, что счастье его покоится на весьма хрупком основании.

С этими мыслями он подошел к куртизанке.

— Мария, — сказал он ей со свойственной римлянам любезностью, — я благодарю богов, позволивших встретить тебя. Вчера мне помешали выразить тебе все то восхищение, которого ты заслуживаешь. Если мне дозволено будет употребить цветистый язык твоей прекрасной страны, то я скажу, что ты настолько же выше всех других женщин, насколько кедр ливанский выше зверобоя, растущего в долинах. Мне приходилось много путешествовать; я видел танцовщиц в Риме, Коринее, Афинах и Александрии; но нигде в целом мире мне не приходилось видеть таланта, равного твоему...

— Хотя я и знаю, что ты льстишь, Максим Галл, однако твои речи радуют меня: даже если в твоих словах была бы даже хотя бы только половина правды. Такие ценители, как ты, редки. Но если ты позволишь мне, в свою очередь, говорить с полной откровенностью, то я скажу тебе, что твои похвалы были бы более уместны, если бы они были обращены к Ревекке, внучке Измаила-Иосифа.

Мария Рамо произнесла эти слова с улыбкой, однако не без скрытой иронии. Наше воображение, в особенности если к нему на помощь придет сердце, получает иногда удивительную проницательность.

Галл почувствовал облегчение; ему показалось, что с его груди сняли тяжесть.

— Итак, ты думаешь, — сказал он, улыбаясь, — что было бы слишком смело на основании превосходного исполнения внучкой Измаила роли Суламифи сделать заключение относительно ее целомудренности.

— Без сомнения, — ответила куртизанка, — да вот хотя бы и я могла разыграть перед тобой роль римской матроны.

— Ну так что ж? — спросил он. — Так ты вывела бы заключение, что она никогда не любила?

— Это уж менее всего. При ее годах и при том оттенке страсти, который сказался в ее игре, я не решилась бы утверждать, что сердце ее до сих пор не заговорило. Я и без того ей удивляюсь, а если бы это было так, то я удивилась бы еще больше.

— Значит, ты думаешь, что она любит или любила кого-нибудь?

— Я ничего не думаю, — смеясь ответила Мария, — по той простой причине, что для меня это все равно.

— И для меня также, — сказал Галл, — я только стараюсь собрать авторитетные мнения для того, чтоб опровергнуть уверения Береники. И к тому же мне интересно выслушать твое мнение по этим вопросам.

— А нельзя ли узнать, почему?

— Потому, что ты красива и слова твои сладки, как поцелуи. Итак, ты полагаешь, что она в настоящее время любит кого-нибудь?

— Кто? — спросила Мария, ожидавшая, очевидно, совершенно иного вопроса.

— Да Ревекка.

— Ревекка? Любит ли она кого-нибудь в настоящее время, этого я, клянусь Иеговой, не знаю, но любила ли она когда-нибудь вообще — это совершенно иной вопрос, и я в этом убеждена, как будто видела это своими собственными глазами. Мы живем в такой стране, где когда-то был рай земной; мы родились под деревом соблазна, и все виноградники кишат змеями. Что же касается Ревекки, то я не берусь ничего утверждать. Мне только помнится, что в прошлом году я слышала в Иерусалиме, что сердце ее принадлежит человеку, о котором дед ее и слышать не хотел. Этим объяснилось бы многое, а именно: каким образом она, будучи девушкой, могла с такой правдивостью исполнить роль Суламифи. Неудовлетворенная любовь все угадывает и на все способна; для нее нет тайны, которой она, при желании, не могла бы разгадать. И к тому же все неизведанное и неиспытанное представляет для нас особую притягательную силу; доказательство тому наша праматерь Ева. По крайней мере что касается меня, то у меня почти всегда является желание обнять именно то, что далеко. Мы, женщины, уж так созданы, и Ревекка в этом отношении, конечно, не составляет исключения. Мы все вылиты по одной форме.

— Значит, ты полагаешь, что предмет ее любви далеко? — спросил Галл.

— Да, насколько позволительно делать предположения; ибо мы, Галл, делаем здесь лишь одни предположения.

IX

При всяких проявлениях страсти, будь то любовь или честолюбие, бывают мгновения, когда душа уже не принадлежит сама себе, когда река, под воздействием урагана,

разливается, когда воля и разум становятся бессильными будучи затоплены страстью. Пока Максим Галл видел в Ревекке лишь чистую, гордую и молодую девушку, она представлялась ему каким-то божеством, и он едва мог возноситься до нее своими помыслами. Но теперь, после разговора с Марией, в голове Галла крепко засела мысль, что Ревекка любит, и что тот, кого она любит, — не он. И кто же тот человек, которому она отдала любовь свою? Какой-нибудь презренный иудей! И это с таким-то гордым лицом с таким чистым и смелым взглядом! Кто знает, не опустилась ли она даже до того, что удостоила своей любви кого-нибудь из тех разбойников, которые бесчинствуют в Иерусалиме?

В то время, когда Галл терзался, стараясь разгадать мучившую его загадку, в нескольких шагах от него прошел Бен Адир, направлявшийся вместе с Измаилом в занимаемый Ревеккой дом. Ревнивому Галлу в эту минуту показалось, что он угадал тайну Ревекки. При виде молодого араба ему вдруг припомнилось, что во время происшедшего накануне представления он случайно заметил, что молодой человек со страстью смотрел на Ревекку. «Быть может она любит именно этого раба, — подумал он, — он молод, красив, он постоянно находится при ней, он исполняет все ее желания. Разве не было примеров тому, что высокопоставленные женщины безумно влюблялись в рабов, даже в евнухов».

Бен Адир, проходя мимо, низко поклонился ему с робким видом; Измаил же улыбнулся ему, обратившись с несколькими приветливыми словами. Галл, вдруг устыдившись только что пришедших ему в голову мыслей, подумал «Однако не безумец ли я? Нет, мне пора уезжать из этих мест!»

Несколько часов спустя Галл отправился в римский лагерь, присутствие его среди войска было необходимо. Однако его продолжали преследовать все те же, зародившиеся в замке Береники, мысли.

Несколько дней спустя он снова вернулся. Он сторулил нетерпением снова увидеть Ревекку. Вихрь обуявшей его страсти уносил этого сильного человека, как легкую соломинку: У него появилось непреодолимое желание выяснить свое положение.

— Если Береника права, — говорил он сам себе, — я завтра же женюсь на Ревекке. Но если права Мария Рамо, то горе ей!

Стоял конец мая. Небо было безоблачно, и прекрасное солнце Иудеи заливало все своим блеском; воздух был тепел, прозрачен и насыщен благоуханиями; голуби ворковали в густой листве или стаями перелетали с дерева на дерево. Легкий ветерок поднимал слабую зыбь на чистых прудах сада, в которые смотрелись статуи.

На следующее утро после возвращения в замок Береники Галл прогуливался по саду. Он думал о Ревекке. Чувство, заставившее его покинуть лагерь, не давало ему покоя, и при каждом своем шаге он ощущал в сердце жгучую боль.

— С этим нужно покончить, — сказал он сам себе. — Положение это недостойно меня! Я должен знать, следует ли мне любить или ненавидеть!

На самой возвышенной точке холма, недалеко от дома, в котором обитали Ревекка и ее отец, стояла высокая башня, с которой открывался вид на Иордан и на Мертвое море и даже виден был Иерусалим. На этой башне по ночам разводили огонь, и она являлась маяком, с которого подавались сигналы в лагерь Тита. Но днем на башне никого не было, и Ревекка любила сидеть на ее вершине. Она видела отсюда свой возлюбленный город. Здесь она часто проводила по несколько часов, погруженная в глубокую задумчивость, в воспоминания.

Галл отправился в дом Измаила и изъявил желание повидаться с Ревеккой. Ему сказали, что она вышла вместе со своим дедом и что они направились к маяку Тита, так называлась башня. Он расспросил, как пройти к башне, и направился туда. Едва прошел он несколько шагов, как увидел Измаила, шедшего вместе с Иосифом Флавием в сторону Иерихона. Он заключил из этого, что Ревекка осталась одна, и ускорил шаг. Но, когда он приблизился к подножию башни, когда наступил решительный момент, он стал колебаться. Этот человек, тысячу раз показавший свою храбрость на поле сражения, дрожал, как лань. Он стал подниматься, пошатываясь, как бы ступая впотемках. Его вела к Ревекке скорее любовь, чем собственная воля.

Девушка задумчиво смотрела в сторону Иерусалима. Она была одета в белое платье, мантия такого же цвета спускалась вдоль ее гибкого стана. Она так была поглощена своими мыслями, что не слышала шагов поднимавшегося по лестнице Галла. Она обратила на них внимание лишь тогда, когда он подошел к ней. Обернувшись, она улыбнулась ему. В ее улыбке было столько прелести, что Галл забыл о сло-

вах Марии Рамо, он в эту минуту помнил только слова Береники.

Ревекка догадалась о том, что происходило в его сердце. Она сказала сама себе, что он, без сомнения, пришел с тем, чтобы объясниться ей в любви, что Береника выдала ее. Она предвидела объяснение и желала предотвратить его. Но присутствие духа покинуло ее:

— Увидев тебя здесь, Галл, — сказала она, — мне пришло на ум, что между характером мужчины и характером женщины существует громадная разница: я пришла сюда, чтобы любоваться красотой неба и земли; ты же, без всякого сомнения, пришел с тем, чтобы думать о войне.

— Ты ошибаешься, Ревекка: я пришел сюда с мыслями о любви.

— Увы! — сказала она. — Теперь, к сожалению, не такое время, когда подобные мысли могли бы приходить на ум: они заглушаются среди шума оружия.

— Но в таком случае зачем же вчера вечером ты представила нам целую картину любви? Можно было бы подумать, что ты сама горишь тем пламенем, которое одно присутствие твое зажигает в сердцах человеческих.

Ревекка покраснела, но быстро овладела собой. Она ответила совершенно спокойно:

— Я желала доставить удовольствие Беренике, а раз я решила что-нибудь сделать, я уже не могу делать этого кое-как. Неужели можно упрекать актрису за то, что она пробуждает чувства, переполняющие душу сладостями жизни?

— Да, но бывают такие вольности, которые хуже преступлений. Они открывают перед всеми самые сокровенные тайны.

— У нас не запрещается петь любовные песни. Я одинаково равнодушно пела и о любви, и о войне.

— Неправда, Ревекка, — сказал Галл, которого ее слова начали раздражать, — ты равнодушна ни к той, ни к другой. Ты любишь! Нельзя так выразить любовь, если не чувствуешь ее.

Галл произнес эти слова резким, надменным тоном. Ревекка, догадавшись о намерениях Галла, хотела быть спокойной и терпеливой. Однако она почувствовала, что терпение ее начинает иссякать.

— Ну так что же! — сказала она. — Разве я не властна любить или ненавидеть кого хочу? Я никому не обязана отдавать отчет в моих чувствах. Я этого не позволяю и тем,

с кем связана узами крови. Жизнь моя протекла вдали от тебя. С какой стати я предоставила бы тебе такое право, в котором я отказываю даже деду моему? Нас не связывают решительно никакие узы.

— Ты ошибаешься, Ревекка, и ты сама отлично знаешь это. Ты знаешь, что с первого же дня, в который я тебя увидел, я полюбил тебя, я отдал тебе всю мою душу, я весь отдался тебе беззаветно. Да, ты знаешь, что жизнь моя принадлежит тебе, что сердце мое стремится к тому, чтобы соединиться с твоим и что на свете нет ничего такого, на что бы я не решился, лишь бы обладать тобою. Ты догадалась об этом с первого же дня, с первого же взгляда, который ты бросила на меня, ты измерила силу и глубину моей страсти. Ты знаешь, что если бы я мог располагать империей, подобно Антонию, то я готов был бы положить ее к твоим ногам, как он положил свою империю к ногам Клеопатры. И если бы ты только пожелала того, то я завоевал бы целую империю, для того чтобы предложить тебе разделить со мною власть над нею. Я стяжал славу, — я пожертвую ею ради тебя; я люблю Тита, — я изменил бы ему, если бы ты того пожелала.

Ревекка слушала его не то чтобы равнодушно, но без смущения, до тех пор, пока он не упомянул о том, что готов был бы изменить Титу. В ее уме промелькнула мысль, что неплохо было бы сделать из ближайшего помощника Тита орудие для спасения Иерусалима. Перед ней предстала было Юдифь, но мысли ее тотчас же перенеслись в Иерусалим; ей показалось, будто она видит на стенах священного города Симона бен Гиору, и она сама испугалась своей недавней мысли. Оправившись от впечатления, произведенного на нее этим видением, она постаралась избежать прямого ответа на пламенное объяснение Галла и спокойно сказала ему:

— Все то, что ты только что сказал мне, может только льстить моей гордости; да и кто в самом деле мог бы не гордиться любовью такого человека, как ты? Но я считаю своим долгом сказать тебе, что всякая мысль о любви недоступна моему сердцу с тех пор, как мое отечество повержено в несчастье. Пусть оно сперва будет спасено, а затем уже я дам волю моим чувствам.

Ревекка, несмотря на все свое спокойствие и свое самообладание, не заметила, однако же, явного противоречия, заключавшегося между этим заявлением и тем, что она говорила вначале, когда она, оправдывая свое равнодушие к нему, уверяла его, что ей одинаково чужды и патриотиче-

ские, и любовные помыслы. Галл, с той пронизательностью страсти, от которой не ускользает ничего, что могло бы послужить ей на пользу, заметил это противоречие и поспешил ухватиться за него.

— Видишь ли, Ревекка, ты говоришь только устами, а не сердцем. Ты думаешь о войне: сейчас ты в этом призналась, а несколько минут тому назад ты отрицала это; и в то же время ты думаешь и о любви. Да, ты любишь, ибо ты лжешь. Ты ничем не лучше других, ты, которую я ставил в моем сердце выше существ бессмертных; и ты тоже пропитана ядом. Ты, столь красивая и гордая, столь возвышенная духом, ты ничем не отличаешься от остальных женщин. У тебя даже не хватило мужества сказать несчастному, который любит тебя, который готов отдать за тебя свою жизнь, любишь ли ты его!

— Я сказала тебе, Галл, что я не ненавижу тебя. Слово мое столь же чисто и прозрачно, как и вода этих фонтанов, плеск которых достигает нашего слуха, как и тот золотой свет, который обливает нас, оно столь же истинно, как и наши священные книги. Я не могу ненавидеть человека, который не питает ко мне никакого иного чувства, кроме любви.

В памяти Галла снова всплыли слова Береники. Признание Ревекки, исключавшее ненависть, не исключавшее, однако же, любви, он принял за признание робкого сердца, которое не решается сделать полного признания, но которое выдает себя, однако, своей робостью. В его глазах блеснул луч надежды, взгляд его смягчился, и он воскликнул с такой искренностью, которая не могла не тронуть Ревекку:

— О, скажи мне, что ты любишь меня, Ревекка! При том мучительном состоянии, в котором я нахожусь, для меня недостаточно знать, что ты не ненавидишь меня. Я желаю быть уверенным в твоей любви: сомнение, как змея, гложет мое сердце, и этому должен быть положен конец. Да наконец разве я не могу умереть завтра же? Я желаю быть счастливым по крайней мере один раз, я буду счастлив, если ты скажешь то, о чем я прошу тебя всеми силами моей души. Я предпочитаю умереть сейчас же, выслушав твой ответ, чем жить вечно без божественного признания, которое я молю у тебя.

— Не настаивай, Галл, и давай прекратим разговор, который я не могла бы продолжать, не краснея.

Слова эти были произнесены голосом тихим, но неж-

ным. Ревекка встала и сделала несколько шагов к лестнице. Кровь прилила к голове Галла, он кинулся к Ревекке в ярости, точно безумный, опьяневший от бешенства и от любви, с протянутыми вперед руками, с дрожащими губами.

— Ты не выйдешь отсюда, — произнес он глухим голосом, — не сказав мне того, что я желаю знать.

Этот тон не испугал Ревекку; она решила не отнимать у Галла всякую надежду в интересах своего дела, но не желала заходить слишком далеко.

— Ты просто безумствуешь, — сказала она ровным голосом, — ты ошибаешься, если воображаешь, что можешь силой заставить меня сказать то, о чем я решила умолчать. Не удерживай меня здесь; я не ненавидела тебя, когда ты пришел сюда; но я почувствовала бы к тебе презрение, если бы ты вздумал упорствовать, а от презрения до ненависти — только один шаг.

Но Галл уже не в состоянии был спокойно слушать ее. В этой женщине, ради которой он готов был принести в жертву все за одно только слово ее любви, перед которой он готов был преклониться, повергнуться в прах, как перед божеством, если бы это слово сорвалось с ее уст, — в этой женщине он теперь видел только упрямую и капризную куртизанку, злоупотреблявшую красотой своей и которую можно было разбить, как игрушку. Красота эта еще никогда не являлась в таком блеске.

Ревекка стояла на залитой светом площадке со сверкавшими от волнения и гнева глазами; щеки ее пылали, губы дрожали, мантия ее откинулась назад. Галл совершенно опьянел от страсти и от гнева; он кинулся к ней, обхватил ее своими сильными руками и судорожно поцеловал ее в полуоткрытые губы. Ревекка рванулась, стараясь освободиться из его объятий.

— Галл, — воскликнула она дрожащим голосом, — ты не достоин даже сострадания! Я ненавижу и презираю тебя!

— А-а! Ты ненавидишь меня! Наконец-то мне удалось заставить тебя высказаться! Хорошо! Хотя ты и ненавидишь меня, но я тебя люблю и добьюсь того, чего я желаю. Если ты не хочешь стать женой моей, я сделаю из тебя мою наложницу!

Он отстегнул свой меч; затем запер дверь и снова кинулся на Ревекку. Она бросилась к краю башни, твердо решив скорее умереть, чем отдаться обезумевшему от страсти римлянину.

Галл приблизился к ней, тяжело дыша, и схватил за кисти рук.

— Еще не поздно! — воскликнул он. — Скажи мне, что ты готова стать моей женой, и я отпущу тебя.

— Я никогда не выйду, — спокойно произнесла Ревекка, которой опасность возвратила хладнокровие, — замуж за человека, способного на то, что ты замышляешь. Нас и без того разделяла бездна, а ты еще более расширил ее. Ревекка никогда не выйдет за человека, которого презирает.

Галл снова попытался привлечь ее к себе. Ревекка смогла вырваться и подскочить к самому краю. Только один шаг отделял ее от бездны.

— Если ты сделаешь еще хотя бы один шаг, я убью себя! — воскликнула она.

Галл остановился. Его опьянение моментально исчезло. Дикая характер его страсти исчез. Удивление, внушенное ему ее мужеством, возвратили в его глазах молодой девушке все ее обаяние.

— Остановись, Ревекка! — воскликнул он. — Я был безумцем, но безумие мое прошло и теперь осталась одна только любовь. Не бойся, ты находишься под покровительством моей любви.

— Как я могу положиться на слово человека, — сказала она, — который не уважает ни законов гостеприимства, ни дружбы? Разве не ты назвался другом моего деда? Разве не ты привез нас под этот гостеприимный кров? А между тем ты не постыдился угрожать моей жизни и моей чести!

— Не упрекай меня, Ревекка! Клянусь тебе всем, что только есть священного для человека, клянусь тебе воспоминанием о моей родине, теми высокими горами, среди которых я родился, клянусь тебе богами моих предков, что я не нанесу тебе оскорбления.

— Я не желала бы лишиться дружбы твоей, Галл, и поэтому прежде, чем уйти, я хочу, чтобы ты поклялся мне не только в том, что ты не нанесешь мне никакого оскорбления, — я и без того сумела бы избежать его, — но что до окончания войны уста твои никогда не раскроются для того, чтобы говорить мне о любви. Не думай, Галл, чтобы я когда-либо забыла о Иерусалиме; до тех пор, пока священный город будет находиться в опасности, сердце мое не в состоянии будет радоваться и мысли мои по необходимости должны быть печальны.

— Значит, ты позволяешь мне надеяться? — спросил Галл.

— Надежда — всеобщее достояние; всякий имеет право дышать тем же воздухом, каким мы дышем. Но только не предавайся иллюзиям. Нас отделяют друг от друга тысячи препятствий: ты — римлянин, ты враг моего отечества и ты угрожаешь его существованию.

Слова эти не отнимали, однако, у Галла надежду.

— Значит, ты меня не ненавидишь? — спросил он.

— Нет! Еще несколько минут тому назад я ненавидела и презирала тебя, но в настоящую минуту я испытываю только чувство жалости к тебе. Какой же ты был безумец, если вообразил себе, что в наших сердцах любовь может зародиться в один день! Мы желаем, чтобы нас завоевали, как укрепленные города.

— Прости, Ревекка, но, право же, я не настолько виноват, как тебе кажется. Да и к тому же, если я виноват, то виноват не я один. Твоя—поразительная красота, слова Береники, ложь Марии Рамо...

— Береника говорила с тобой обо мне! Но на кого же после того положиться, если даже царевны выдают тайны своих друзей! Что касается Марии Рамо и того, что она могла сказать тебе, то я краснею при одной мысли о том, что ты расспрашивал ее обо мне, и я даже не желаю слышать того, что она могла бы ответить...

Ревекка произнесла эти слова с выражением такого отвращения, что если бы у Галла оставалось еще хотя бы малейшее сомнение в ее непорочности, то это сомнение должно было окончательно исчезнуть.

Вдруг раздался звук трубы: это был сигнал к отъезду в лагерь, куда Галл должен был провожать Тита.

— Я совсем было забыл о моем долге, — сказал он, — это одно могло бы доказать тебе всю безграничность моей страсти, Ревекка. Мне придется пробыть несколько дней под стенами Иерусалима. Если бы ты знала, какие мучения причиняет мне эта ужасная война...

Ей показалось, что теперь ей представлялся удобный случай узнать о том, что происходит в Иерусалиме, надеясь узнать, что замышляется против священного города. Поэтому она принялась расспрашивать Галла о планах римлян.

Расставшись с Галлом, Ревекка стала думать, как ей передать Симону добытые ею сведения. Вдруг она увидела Бен Адир, шедшего ей навстречу.

— Ревекка, — сказал он ей, — меня послала к тебе Дина, она говорит, что одна из женщин, сопровождавших Марию Рамо, желает переговорить с тобой.

— Какая женщина? — спросила Ревекка не без удивления, не будучи в состоянии представить себе, что могло бы быть общего между ней и служанкой куртизанки.

— Дина не назвала мне имени этой женщины, — ответил Бен Адир, — но, по-видимому, она хочет сообщить тебе важные новости.

Х

Женщина, о которой сказали Ревекке, была та самая Елизавета, мать Матафии, которую Бен Адир встретил в Иерусалиме, та самая, которая привела в храм Марию Рамо и обнаружила перед собравшимся народом измену Элеазара. Когда Бен Адир, узнавший ее, назвал ее по имени, Ревекка обрадовалась.

— Ты находишься у друзей, — сказала Ревекка, беря ее за руку. — Бен Адир много говорил мне о тебе, и я знаю, каким уважением Елизавета пользуется со стороны Бен Гиоры. Без сомнения, он послал тебя сюда?

— У меня действительно есть поручение к дочери шейха Илата, — ответила Елизавета, вынимая из-за пазухи письмо.

Симон извещал Ревекку, что она может вполне положиться на женщину, которая передает ей это письмо. Ревекке хотелось бы найти нечто другое в письме любимого ею человека; она нашла это письмо сухим и холодным, и сердце ее болезненно сжалось, ею овладело какое-то предчувствие, но она сделала над собою усилие, овладела собой. Она подвела Елизавету к дивану, усадила ее на него и сама села рядом.

Елизавета заговорила первой.

— Прежде, чем сообщить тебе истинную цель моего прибытия, — сказала она, — я должна рассказать, что случилось в Иерусалиме после того, как оттуда пришел Бен Адир.

— Мне уже известно кое-что о военных действиях, — перебила ее Ревекка, которой хотелось поскорее узнать, что сообщает ей Симон, и надеясь услышать что-нибудь, что касалось бы ее лично. — Я пользуюсь полным доверием Береники и Галла; мне даже известно не только то, что уже случилось, но и то, что замышляется в ближайшее время, и перед твоим отъездом я передам тебе все, что мне известно, для того, чтобы ты могла сообщить это Симону. Ну а теперь говори.

— Тебе, вероятно, известно, что с первых же дней появления Тита под стенами нашего города предместья были совершенно разрушены. Деревья были срублены. В течение нескольких дней и ночей на нас, на наши дома, на наш храм метали громадные камни. Затем наступила очередь таранов, которые со стороны Хлебных ворот, Царских гробниц и Масличной горы не переставали громить наши укрепления со страшным шумом и грохотом. Нам порою казалось, что земля дрожит и что Масличная гора вот-вот обрушится. Воины наши делают все, чтобы защищать священные стены, чтобы мешать осаждающим возводить свои сооружения, чтобы разрушать их, чтобы спастись от их метательных снарядов. Я слышала, что ты пела воинственную песню Деборы. То же самое пламя горит и в груди всех истинных иудеев в Иерусалиме. Все они, подобно Зевулону, с презрением относятся к смерти, все, подобно Нафтали и Вениамину, поднимаются на укрепления, кидаются вперед с той же неустрашимостью, и земля дрожит перед лицом их, и стены колеблются под их ногами. Священный гимн звучит во всех сердцах и одинаково воодушевляет всех. Галл, быть может, уже сообщил тебе, что однажды Симон, выйдя из ворот Гиппиковой башни, разрушил все возведенные римлянами осадные машины и добрался до самого их лагеря и что в ту же ночь одна из трех башен в 50 локтей вышины, построенных Титом для того, чтобы господствовать над нашими укреплениями, обрушилась под нашими ударами. После двухнедельной ожесточенной борьбы «Никон», самое большое из стенобитных орудий римлян, приблизилось, однако, на довольно близкое расстояние к городской стене, и была пробита брешь, вследствие чего стала открытой вся северная часть города. Тотчас же римляне обратили свои усилия против второй стены, но здесь они встретили сильное сопротивление. В течение четырех дней между обеими сторонами шла упорная борьба: Иоанн со своими войсками держался в форте Антония и в портике храма, занимая всю северную часть города до гробницы Александра; Симон защищал местность от гробницы первосвященника Иоанна до Водопроводных ворот. Кровь лилась ручьями, как волны Кедрона, сталкивающиеся и разбегающиеся в разные стороны с глухим шумом. Неприятелю удалось удержаться во второй стене, теперь готовится нападение на третью стену.

Ревекка, слушавшая ее с тревожным волнением, хотя ей в общих чертах уже известны были все новости, прервала Елизавету и попросила рассказать о настроении горожан.

— Твоя высокая и благородная душа, Ревекка, сама должна подсказать тебе ответ на этот вопрос: для людей храбрых неудачи являются лишь новым стимулом. Храм может быть разрушен, но он не будет сдан. Если виноградник должен быть взрыт и виноград брошен в чан Божьего гнева, как говорит пророк Зеведей, то мы, если понадобится, смешаем нашу кровь с вином... Жизнь ничто без свободы ума и сердца, а римляне всюду вносят рабство. Если бы только ты могла послушать все, что нам иногда говорит об этом Симон бен Гиора!..

Елизавета замолчала; ей как будто стоило некоторых усилий продолжать. Ревекка заметила ее колебание и спросила:

— Елизавета, неужели ты боишься быть со мною вполне откровенной? Быть может, дело идет об отце моем и о моей бабушке, оставшихся в Иерусалиме? Мы должны походить на камень, брошенный в цель: нам нечего смотреть на то, что находится на пути этого камня...

— Иосиф Флавий интригует, — тихо сказала она, опасаясь, чтобы слова, не дошли до слуха Бен Адира; хотя она знала, что на него можно положиться, он действует сообща с первосвященником Матвеем. Их обоих поддерживает все, что осталось в городе из партии саддукеев и фарисеев. Правда, они еще не решаются открыто выступить в совете со своими гнусными мнениями: но они втихомолку стараются поколебать мужество граждан, ослабить сопротивление...

— Неужели это правда? — воскликнула Ревекка.

— Увы, к сожалению, все это слишком печальная правда! Но дело в том, что доказательств мы не имеем и мы рассчитываем на тебя. Необходимо, чтобы ты во что бы то ни стало добыла их от самого Иосифа Флавия.

— Иосиф — человек ловкий; его нелегко повести туда, куда он не желает идти. Он чует ловушку даже еще раньше, чем она поставлена.

— Мне лучше, чем кому-либо, известна его ловкость, его осторожность, его предусмотрительность. Змея пустынь не может быть лукавее, а дикая серна не может быть ловчее его; он чует издали врага не хуже любого ворона. Но орел из выси небес разглядел змею, иерихонский пес напал на след серны, коршун уже наметил ворона. Симон соединяет мужество льва с мудростью змея. Вот что он придумал: что ты, Ревекка, сказала бы о том, если бы оказалось возможным склонить Иосифа к какому-нибудь

решению, которое можно бы было обратить против Матвея, под тем условием, понятно, чтоб об этом решении можно было возвестить заранее и представить его результатом соглашения между ними? В случае удачи сообщничество и заговор обоих участников мог бы считаться доказанным. А последствия нетрудно понять: раздраженный народ не стал бы сомневаться в столь ясно обнаруженной измене, а положение благомыслящей части совета, колеблющейся ныне из страха смерти, было бы упрочено; она не стала бы рисковать, возбуждая народную ярость, и сторонники мира уже не могли бы более рассчитывать на нее.

— Я понимаю, — сказала Ревекка, внимательно слушавшая Елизавету. — Народу нужно будет сказать: первосвященник Матвей и Иосиф Флавий держат сторону римлян; они сговорились между собой. Потом Иосиф выступит с мирными предложениями от имени Тита. Понятно, что если несколько дней спустя Иосиф действительно сделает то, о чем было возвещено уже за несколько дней перед тем, то не будет подлежать ни малейшему сомнению, что он действует сообща с Матвеем; последний явится изменником, будут требовать его смерти, и он по меньшей мере будет свергнут; падение же его напугает тех, которые стоят за мир, а умеренная часть совета сделается осторожнее и не посмеет настаивать на заключении мира. Из всего этого вытекает то, что нужно убедить Иосифа, чтоб он отправился в Иерусалим и сделал от имени римлян мирные предложения.

— Именно так! — воскликнула Елизавета, обрадованная тем, что ее так хорошо поняли.

Ревекка только не могла понять, каким образом Матвей, бывший другом Симона, мог отречься от него? Да и основаны ли возводимые против него обвинения на достаточно веских доказательствах? Она попросила у Елизаветы разъяснений.

— Да, — ответила Елизавета, — действительно Матвей был другом Симона, и он даже призвал его в Иерусалим, но потом отношения их изменились. Бывают такие люди, вера и мужество которых исчезают перед призраком смерти. Матвей принадлежит к их числу, и он еще более виновен, потому что имеет право говорить от имени Иеговы. Таково по крайней мере мнение Симона, который не придерживается того правила, что дружбу следует ставить выше долга. Что касается доказательств, Ревекка, то его измена не может подлежать сомнению; о ней сообщил нам отец твой, который, в свою очередь, узнал это от твоей матери.

— Хорошо, — сказала Ревекка, удовлетворенная этими

объяснениями, — но я должна предупредить тебя, что Флавий, хотя и приходится мне дядей, не любит меня и не доверяет мне. С тех пор, как я живу здесь, у Береники, у которой я осталась, чтобы успешнее служить делу Иеговы и Симона, он следит за мной. Он уже не доверяет мне. Каким же образом мне внушить к себе доверие? Сказать, что в сердце моем наконец одержало верх чувство жалости, что я не могу долее видеть без ужаса страдания народа Божьего? Он мне не поверит; я и теперь уже вижу на его тонких губах насмешливую улыбку. Я опасаясь даже, что мое обращение к нему может оказаться не только бесполезным, но даже опасным. Он, без сомнения, постарается сам себе объяснить истинные его причины и заподозрит западню.

— Все равно, Ревекка, нужно, чтобы ты сделала эту попытку. Если ты потерпишь неудачу, то мы вместе с тобой постараемся придумать что-нибудь другое. Я даже откровенно скажу тебе, что не столько важно, чтобы ты успела обойти Иосифа, сколько то, чтобы мне удалось переговорить с ним, причем ты должна только присутствовать при нашей беседе. Это, впрочем, требует некоторых разъяснений... Того, что я тебе сейчас скажу, Ревекка, никто не слышал из моих уст. Я делаю это только потому, что доверяю тебе. Но сердце сердцу весть подает, и никто не может быть более тебя достоин дружбы Елизаветы, ибо ты не страшишься никаких опасностей, лишь бы только служить святому делу. Итак, знай, что Иосиф Флавий не всегда был другом римлян. Он даже боролся против них до взятия Иотапаты. Как подумаешь, дитя мое, насколько люди могут изменяться! После падения Иотапаты, спасаясь от римлян, он спрятался в пещере, где пробыл несколько дней. Он утверждает, будто в этом убежище его обнаружила женщина, которая выдала его римлянам. Да, это верно! Но он умалчивает о том, что женщина же спасла его от врагов и отыскала ему убежище, что у этой женщины была дочь, которую несколько времени спустя он же соблазнил и обманул, и что если потом он и был выдан, то был выдан не этой женщиной и не дочерью ее, а соперницей соблазненной и обманутой дочери, которая отомстила за измену изменой же. Вот вся истина, из которой он рассказал только частицу, как ты сама теперь можешь убедиться в этом, Ревекка. Ну, так знай же, дитя мое, что женщина, которая спасла его, — это была я; молодая девушка, которую он обманул, — это моя дочь, что он нарушил и законы

благодарности, и законы гостеприимства; он даже нарушил, быть может, нечто еще более священное, — он разорвал узы, связывающие людей, преследующих одно общее дело, ибо он знал, что мы обе, дочь моя и я, поклялись в вечной ненависти к римлянам, что враги их были нашими друзьями и что он, в то время самый непримиримый враг их, являлся в глазах наших в ореоле Маккавеев, Давида, Саула. Ведь он, подобно этим героям, с честью и славой боролся против преследователей евреев. Правда, уже вскоре он сам постарался порвать эти узы и совершил еще более гнусный поступок... Я до сих пор хранила в тайне этот его позорный поступок, Ревекка, из чувства уважения не к нему, а к тебе, к твоей матери, к твоему благородному отцу, наконец. Но ныне всякие соображения должны быть отброшены в сторону, если он не исполнит того, что мы от него требуем. Я надеюсь склонить его к этому, ибо он чувствителен к общественному мнению, и в особенности к мнению римлян и Береники. Он желает, чтобы его считали честным и справедливым человеком. Уже в течение целых двадцати лет он хлопочет о том, чтобы составить себе такую репутацию. Ну, так если он откажется оказать Иерусалиму ту услугу, которой мы от него потребуем, то я сорву с него его фарисейскую маску, я растопчу ногами его венец. Полагаешь ли ты, что ввиду моей угрозы открыть все Беренике, Титу, Иерусалиму, изобличить его в измене и в подлости он в состоянии будет не исполнить нашего требования? Я его хорошо знаю: ничто не в состоянии удержать его, когда затронуты его честолюбие или его тщеславие; он в состоянии был бы избавиться от угрожающей ему опасности, он велел бы заключить меня в тюрьму и даже распять меня... Вот почему, Ревекка, мне необходимо твое содействие. Если мне придется обращаться к нему с угрозами в твоём присутствии, то они подействуют сильнее; и я полагаю, что мне не придется даже прибегать к этой крайности. Он просто исполнит наши желания, и, быть может, даже в уме его не возникнет никаких подозрений. Ведь вполне естественно, что женское сердце сильнее страдает при виде наших бедствий...

— Ну, так идем же к нему! — воскликнула Ревекка, поднимаясь. — Я уже сказала тебе, что он меня не любит, хотя бы мне стоило только пожелать того, — и он бы полюбил меня. Но он боится меня, а когда в деле не замешано его честолюбие, он охотно исполняет капризы «леопарда», как он меня называет. Он знает, что я его

презираю, и, вероятно, поэтому-то он и боится меня. В детстве я ставила его имя наряду с именем Симона бен Гиоры. Теперь я тем более зла на него, что он обманул мои надежды и запятнал имя, которое он мог бы прославить.

Женщины застали Иосифа в комнате, которая была отведена ему Береникой. Он принял их со всеми проявлениями римской вежливости, которой он любил подражать.

— Береника сказала мне, что ты устала, Ревекка, — произнес он с ласковой улыбкой. — Вот что значит, дитя мое, гоняться за рукоплесканиями и исполнять за один вечер роли Деборы и Суламифи! И одной из них достаточно. Поверь моей опытности: нельзя служить разом двум господам, Богу и Мамоне. Это, кажется, сказал тот отщепенец, Назарянин, но это не мешает словам этим быть справедливыми. Кстати, приход твой напомнил мне, что я еще не успел похвалить тебя за твой талант. Ты просто сама превзошла себя третьего дня. Тит и Береника были в восторге, — и совершенно справедливо. Я и в Риме не видывал лучшей актрисы. В тебе соединились красота Поппеи и талант Нерей...

Дядя и племянница не могли встречаться, не наговорив друг другу колкостей. Ревекка отлично сознавала это и поэтому дала себе слово быть на этот раз спокойной, не давать воли своим чувствам. Но с первых же его слов она почувствовала, что эта ее решимость начинает слабеть. Намек на событие, которое она желала бы забыть и которое привело уже к столь неприятным для нее последствиям, раздражил ее. Ее особенно оскорбил не столько насмешливый и иронический тон, которым были сказаны эти похвалы, сколько сквозившее в них плохо скрытое презрение к тем вещам, которые для нее были священны...

— Флавий, — сказала она серьезным тоном, — мне кажется, что те обстоятельства, в которых находится священный город, город твоих и моих предков, вовсе не такого рода, чтобы давать повод для шуток. Я по крайней мере опечалена и с трудом удерживаю слезы, когда вспомню о тех страданиях, которые приходится выносить нашим согражданам.

— А я, Ревекка, полагал, что ты наконец образумилась и что как в воинственной, так и в любовной песне твоей, — таково мнение и Береники, — сказались только артистическое вдохновение или девичий порыв, что ты просто желала блеснуть своими талантами перед могущественными друзьями...

— И что я желала идти по стопам моего дядюшки, не так ли?

— Ну, полно, Ревекка, я был далек от мысли оскорбить тебя, я тебя искренно люблю, — сказал Иосиф ласково. — Неужели же преступление — сказать, что ты была больна и что ты исцелилась, как полагает Береника?

— Да, это преступление, если болезнь, от которой, как ты полагаешь, я выздоровела, называется состраданием к несчастным моим согражданам и любовь к городу, в котором живет и твоя мать, Иосиф Флавий!

— Они сами виноваты в своем несчастье, и счастье их зависит от них самих. Впрочем, я отличаю слабых и заблуждающихся от разбойников и преступников. Если сострадание твое распространяется на всех, даже на разбойников, то я, понятно, расхожусь с тобой во мнениях.

Слова эти переполнили чашу терпения Ревекки. Услышав, что друзей ее, тех, которые страдали за дело, которое она считает святым, за Божье дело, называли разбойниками и преступниками, Ревекка вышла из себя и совершенно забыла и о Елизавете, и о том деле, ради которого она пришла к Иосифу.

— Флавий! — воскликнула она торжественным и дрожавшим от волнения голосом, — ты заставляешь меня делать невыгодные для тебя сравнения! Ты называешь разбойниками людей, которые жертвуют своей жизнью для защиты своего домашнего очага и своего Бога против деспотизма и неверия! Ты называешь преступниками тех людей, за которыми идет целый народ! Но в таком случае, что же такое все остальные? Что же такое ты сам, Флавий? Ты, значит, желаешь, чтобы я объяснила тебе, кто хорош и кто дурень, кто овцы и кто козлища, кто сыны Божьи и кто сыны Ваала и чем можно отличить истинных евреев от ложных.

— Истинные евреи, — сказал Иосиф, — это те, которые слушаются голоса мудрости, а ложные евреи — те, которых увлекает за собой голос безумия...

— Вот как! — произнесла Ревекка с выражением горькой иронии и глубокого презрения. — Значит, по-твоему, мудрецами следует считать этих нарумяненных фарисеев, лица которых покрыты лаком лицемерия. А ложными евреями, по-твоему, следует считать тех, которые стремятся не к одной только внешней, а к действительной мудрости и добродетели, которые не кричат и не спорят, голоса которых не услышишь на улицах, которые не стараются

совсем обломить надломанную ветвь, которые не заливают тлеющий еще огонь, которые желают, чтоб у Божьих детей было место, в котором они могли бы преклонить голову, подобно тому, как лисицы имеют свои логовища, а птицы поднебесные — свои гнезда, наконец, те, которые жаждут справедливости и терпят за это преследования, которые не признают другого Господа, кроме Иеговы, которые умеют умирать за Него и за свободу?

— Милая Ревекка, — сказал он ей спокойно, — ты говоришь так, как говорит мудрец или тот проповедник из Назарета; если я не ошибаюсь, ты даже, кажется, повторяешь его слова; а между тем я полагал, что ты принадлежишь не столько к его секте, сколько к секте «ревнителей». Ты поддалась гораздо больше, чем я предполагал, этим химерам.

— «Ревнителю» стремятся к справедливости; они видят в своих ближних братьев своих; им не нужно проходить Тору для того, чтобы найти истину. Иегова первый сказал устами своих пророков: «Если враг твой голоден — накорми его; если он жаждет — напои его. Бог возвратит тебе это сторицей».

— Однако неужели ты пришла для того, чтобы склонять меня к твоему толку?

— Ты прав, — сказала она более мягким голосом, — теперь не время рассуждать, я люблю хорошие слова, но я еще более люблю хорошие поступки и хотела предложить тебе сделать хороший поступок.

— Ну, так садись вот здесь, возле этого окна, — ответил Иосиф, улыбаясь. — Самое лучшее средство для того, чтоб успокоить наш ум, — это смотреть на небо или прикасаться к тому, с помощью чего мы его исследуем. В этом-то я и черпаю ясность мыслей и забываю о суете мирской.

Ревекка села подле своего дяди на указанное им место Елизавета, не приподнимая своего покрывала, осталась стоять в некотором отдалении. Иосиф не обращал на нее внимания, принимая ее за прислугу.

— Тебе лучше, чем мне, известно, что происходит в Иерусалиме; известно, конечно, и то, что известно всем и каждому, — что в городе свирепствует голод, что женщины и дети ежедневно умирают тысячами, что дома и даже улицы завалены трупами. Не пора ли положить конец этим бедствиям?

— Да, конечно; но только я-то тут при чем? Не в моей власти вернуть разум безумцам, точно также, как не в моей власти отнять свирепость у тигра или когти у льва.

— Нет, ты можешь сделать больше, Флавий. Иегова одарил тебя даром красноречия. Ты мог бы, если бы пожелал этого, убедить этих доведенных до отчаяния людей. Твое слово может быть или Кедронским потоком, который все увлекает, или Силоамским ручьем, который орошает и утоляет жажду.

Иосиф не привык выслушивать комплименты от своей племянницы и поэтому был польщен ее словами. Поэтому он готов был бы сделать что-нибудь приятное для нее; но зная, до какой степени он непопулярен в Иерусалиме, он опасался, как бы шаг, которого от него требовали, не повел к результатам совершенно противоположным тем, которых ждала Ревекка. Подумав немного, он сказал:

— Ревекка, я справлялся у пророка и не могу исполнить того, чего ты от меня требуешь. Против Иеговы бороться невозможно, а Он осудил Иерусалим...

— Иегова не может противоречить самому себе. Бог не может изменить слова Божьего!

— Но каким же образом ты объяснишь, Ревекка, все небесные и земные знамения, повторяющиеся с самого начала нашего восстания против Римской империи? Над Иерусалимом в течение целого года виднелась комета в виде огненного меча. До начала войны народ собрался для празднования Пасхи; вдруг, в девятом часу ночи, в течение целого получаса, вокруг храма засиял такой яркий свет, что было светло, точно днем, между тем как за священной оградой царил глубокий мрак. Около того же самого времени, во время тех же праздников, корова, которую вели для жертвоприношения, родила ягненка в самом храме. Восточные двери храма, как тебе известно, сделаны из меди, и они так тяжелы, что двадцать человек, напрягая все свои силы, едва в состоянии открыть их; а между тем однажды, ко всеобщему изумлению, они распахнулись сами собой, несмотря на то, что они были заперты громадными замками..

— Флавий, — сказала Ревекка, перебивая его, — я, конечно, не позволю себе сомневаться во вмешательстве Иеговы в дела человеческие; но мне кажется, что для тех необычайных явлений, о которых ты только что напомнил, можно подыскать и другое объяснение. Сияние над храмом, тяжелые двери, открывающиеся точно под дуновением Иеговы, двойная жертва вместо простой жертвы — во всем этом я не вижу ничего особенно страшного для избранного народа...

— Да, то же самое говорили и лжепророки для того,

чтобы ввести в заблуждение наш несчастный народ; они даже выводили из этого благоприятные предзнаменования. Но есть еще и другие предвестия, еще более несомненные, в которых нельзя не найти указаний на неминуемую гибель Иерусалима.

— Какие же это предвестия? — холодно спросила Ревекка.

— Вскоре после праздников вокруг всего города можно было видеть полчища духов, направлявшиеся к городу и собиравшиеся осадить его. В ночь на пятидесятницу священники были в храме и отправляли богослужение; вдруг раздался какой-то непонятный шум и под священными сводами раздался голос, повторивший несколько раз кряду: «Выйдем отсюда». За четыре года до начала войны, когда Иерусалим еще наслаждался миром и благополучием, Иесус бен Анания, простой крестьянин, приблизившись к воротам скинии, воскликнул: «Горе Иерусалиму!» И он не переставал бегать и днем, и ночью по всему городу, повторяя все один и тот же возглас. Несколько знатных горожан, которым надоели его зловещие возгласы, велели высесть его розгами, причем он не испустил ни одного крика, не сказал ни единого слова в свою защиту и только повторял свои жалобные возгласы. Наконец власти, придя к убеждению, что во всем этом есть нечто сверхъестественное и божественное, повели его к губернатору Иудеи, Альбину, который велел бичевать его до крови. Но и это истязание не в состоянии было извлечь из него ни одной слезы, ни одной мольбы; при каждом наносимом ему ударе он повторял только: «Горе, горе Иерусалиму!» А на вопросы Альбина о том, кто он такой, откуда он родом и что побуждает его произносить подобные речи, он ничего не отвечал.

— Да, все это мне известно; мне известно также и то, что после Альбин прогнал его как безумца. Ему бы с этого и следовало начать. Пророк твой — некто иной, как безумец Зеведей, который, как говорят, не перестает юродствовать таким образом в течение семи лет и пяти месяцев, без малейшей усталости и даже без малейшего ущерба для своего здоровья и своего голоса. Поверь мне, Флавий, если бы предсказание твое относительно Веспасиана не имело иного основания, ни ты, ни он, вы не пользовались бы теперь таким влиянием и такою властью. Право, досадно видеть, как люди, подобные тебе, окружают лучезарным сиянием пророков легкомысленные головы и принимают за откровения неба бред больных и омраченных страхом умов.

— Ты, Ревекка, — девушка ужасно неверующая. Неужели ты станешь отвергать и то, что написано в священных книгах, — что, когда храм превратится в четырехугольник, и храм, и город подпадут под власть неприятеля?

— Этого я не отрицаю. Я замечу тебе только, что это означает лишь то, что город и храм будут во власти неприятеля лишь тогда, когда неприятелю удастся овладеть ими. И к этому я прибавлю еще следующее: мы считаем, что среди нас должен появиться человек, который будет повелевать всем миром. Ты увидел этого человека в Веспасиане. Всякий волен толковать явления по-своему. Для нас же истина заключается только в Торе, слове Иеговы, и в мудрых речах истинных служителей его. Иегова же не допускает на земле иной верховной власти, кроме своей. Всякое толкование Его слова в смысле раболепства перед иной волей есть не что иное, как ложь, как клевета на Него.

— Ревекка, — сказал Флавий, с трудом сдерживая свое раздражение, — ты повторяешь то, что говорят дорогие твоему сердцу «непримиримые». Но все же ты не права. Что бы ты ни говорила, дело их — дело безнадежное, а их ослепление не поведет ни к чему иному, кроме гибели Иерусалима.

— Нет, Флавий, если ты только согласишься исполнить мою просьбу и призовешь их быть благоразумными.

— Я не могу этого сделать.

— Ты забываешь, что в Иерусалиме живут твоя мать и твой брат? Неужели ты можешь допустить, чтоб они умерли от голода и от жажды? Неужели ты не сделаешь ничего для того, чтобы спасти от истребления избранный народ?

— Я тебе уже сказал, что я не люблю действовать зря. Я обдумал все последствия того шага, которого ты от меня требуешь. Хотя мне и неудобно отказать тебе, но так как я глубоко уверен в бесполезности моего шага, то я его не сделаю...

Уже вечерело. Блестящая вечерняя звезда появилась на восточном небосклоне и озаряла своим бледным светом далекие горы. Ревекка встала и подошла к окну.

— Флавий, — сказала она, — неужели наука халдеев, в которой ты так сведущ, не в состоянии объяснить тебе сочетание этой звезды и звезды Арктуруса, которая сейчас взойдет над гробницами наших царей?

— Нет, не в состоянии, — ответил Иосиф, улыбнувшись.

— Ну, так я в этом деле более сведуща, чем ты, Флавий. Звезда эта говорит мне, что ты ошибаешься, уверяя, что ты не сделаешь того, чего я от тебя требую, и она говорит правду.

Ревекка произнесла слова эти твердым, уверенным голосом. Иосиф не мог понять этой ее надменной уверенности и продолжал улыбаться как человек, уверенный в себе и в безошибочности своего решения. Но улыбка его мимолетно исчезла, как только женщина, которую он до сих пор принимал за служанку, откинула свое покрывало.

— Елисавета! — воскликнул он удивленно. — Кто привел тебя сюда? Чего тебе от меня нужно?

— Я хочу, чтобы ты исполнил то, чего требует от тебя Ревекка.

Елисавете известны были слабые стороны Иосифа Флавия, она рассчитывала добиться успеха.

— Ты любишь славу, Флавий, — сказала она, — ты желаешь казаться человеком мудрым и справедливым. Но я сорву с тебя эту личину, которой ты так долго морочил людей. Я скажу все: что ты делал в пещере, скрываясь от погони, что ты говорил Гликерии, твоей жене, пленнице Веспасиана, на которой ты женился из желания угодить ему, а также и о том, что заставило тебя покинуть ее. Я потребую у тебя отчета, в присутствии Береники и Тита, в твоём недостойном поведении относительно меня, относительно моей дочери. Я скажу им: «Этот человек, надевающий на себя личину добродетели, нарушил святость семейного очага...»

Опасение быть разоблаченным подействовало на Иосифа сильнее, чем какие-либо иные соображения.

— Мне нужно несколько дней для размышления, — сказал он, — теперь же я могу обещать только то, что я сделаю все от меня зависящее для того, чтобы склонить Тита к предъявлению условий мира.

— Нет, не того я от тебя требую, — сказала Елисавета. — Ты должен поклясться в присутствии Ревекки, что ты лично прибудешь в Иерусалим с мирными условиями от имени Тита; ибо только ты в состоянии довести это дело до конца.

— Хорошо, я и на это согласен, — сказал он. — Я воспользуюсь первым удобным случаем.

— Нет, это должно быть сделано сегодня же, — перебила его Ревекка, понимая, что нельзя медлить, — или самое позднее — завтра.

Иосиф обещал то, чего от него требовали, и проводил женщин с любезностью фарисея, делающего вид, будто он добровольно делает то, что его заставили сделать.

Ревекка написала Симону о замыслах римлян, затем, расспросив Елисавету подробнее о положении города, она написала ему о своем плане посетить Иерусалим.

Ее удивляло молчание Симона в его письме о тех чувствах, которые он питал к ней; в его письме не было ни единого слова ласки или симпатии, не говоря уже о любви. Сначала она подумала, что он не нашел удобным писать об этом и что, быть может, он поручил Елисавете передать на словах что-нибудь такое, что могло бы успокоить ее, но, видя, что Елисавета собирается уходить, и поняв, что ей нечего от нее ждать, она вдруг почувствовала, что сомнение, точно змея, заползает в сердце. Молчание Симона заставило проснуться в ее душе демона ревности.

— А что, Зеведей в Иерусалиме? — спросила она как бы между прочим, — и неужели ему все еще позволяют беспрепятственно выкрикивать свои зловещие предсказания?

— Да, — ответила Елисавета, несколько удивившись, — впрочем, все уже давно привыкли к его крику. И к тому же у нас есть пророки, которые проповедуют войну и которых народ слушает.

— Это все, конечно, пустяки, — продолжала Ревекка равнодушным тоном, — однако, если бы я была в Иерусалиме, я бы, мне кажется, посоветовала Симону заставить его замолчать. Ты слышала, что только что сказал Иосиф Флавий: «Бессмысленные предсказания причиняют больше вреда, чем обыкновенно предполагают; ими пользуются против нашего святого дела; эти возгласы, раздающиеся из бездны, приписываются самому Иегове». Я прошу тебя, Елисавета, как женщину умную, обратить на это обстоятельство внимание Симона, если только у него нет каких-либо особых причин, чтоб оставлять свободно болтать этого зловещего прорицателя, — и, помедлив с минуту, она наконец спросила: — А что, племянница его Эсфирь тоже в Иерусалиме?

Вопрос этот не удивил бы Елисавету, но ее поразило выражение, с которым были произнесены эти слова. Она сразу угадала, что Ревекка любит, и притом любит именно Бен Гиору. Это открытие опечалило ее, так как Симон только что женился на Эсфири. Ей не хотелось говорить ничего такого, что могло бы повредить Симону или Ревек-

ке, которую она любила. Сказать ей всю правду значило бы нанести ей смертельный удар. Поэтому она постаралась обойти вопрос и сказала лишь часть правды.

— Кажется, племянница Зеведея живет при своем дяде; впрочем, я в этом не уверена. Во всяком случае, она живет в уединении, в пещере в нижней части города. Ты знаешь, что она принадлежит к так называемой христианской секте.

— Говорят, она красавица. Ты не знаешь, замужем ли она?

— Да, она замужем, по крайней мере так говорили мне. Впрочем, подобного рода вещи меня мало интересуют; у нас есть дела поважнее.

— Ты права, — ответила Ревекка, вздохнув, — нам теперь некогда заниматься этими вещами.

Елисавета собиралась уходить, и Ревекка не удерживала ее.

— До свидания, — сказала она. — Через несколько дней, если будет возможно, я постараюсь побывать в Иерусалиме. Скажи об этом Симону. Я хотела бы еще раз увидеть храм, прежде чем он будет разрушен, если только ему суждено быть разрушенным. Быть может, мне доведется быть похороненной под развалинами его вместе с тем, что я люблю...

От Ревекки не скрылось, что Елисавета невольно вздрогнула, когда она спросила ее, замужем ли Эсфирь; она, впрочем, постаралась даже улыбнуться, пытаясь скрыть то, что происходит в душе ее. Но, оставшись одна, она почувствовала, что силы оставляют ее.

— Да, я отправлюсь в Иерусалим, — прошептала она. — Я войду туда с мыслями о любви, но как бы мне не довелось выйти оттуда с мыслями ненависти и мщения...

XI

Прежде чем возвратиться в Иерусалим, Елисавета открыла Бен Адиру тайну женитьбы Симона на Эсфири и поручила ему сообщить об этом своей госпоже следить за Ревеккой. Он провел почти всю ночь возле ее спальни, сдерживая дыхание, внимательно прислушиваясь к происходившему в ее комнате. Для него не могло оставаться ни малейшего сомнения в том, что госпожа страдает и что виновник ее огорчения — Симон.

Как только что рассвело. Ревекка вышла из своей ком-

наты и направилась к Мертвому морю. Он последовал за ней.

Ревекка дошла до побережья Мертвого моря и остановилась в задумчивости. Взгляд ее был устремлен на черносиние волны этого мрачного озера, которым первые лучи восходящего солнца кое-где придавали сероватый оттенок. Вдруг она вспомнила то, что Бен Адир рассказывал ей о своем путешествии в Иерусалим. «Бен Адир видел Зеведея, значит, он видел и его племянницу. Но почему же он не сказал мне об этом? Почему же он не узнал о тех отношениях, которые существовали, без сомнения, уже тогда между ней и Бен Гиорой? Нужно его сейчас же расспросить обо всем, что он видел и слышал», — думала она.

И она тотчас же направилась к вилле, желая удовлетворить свое любопытство. Как только она вернулась, Ревекка позвала к себе Бен Адира.

— Мне нужно поговорить с тобой, — сказала она ему, как только он вошел, — и поговорить обстоятельно. Поднимемся на Титову башню...

Если бы даже Бен Адир ничего не было известно о том душевном настроении, в котором находилась Ревекка, о ее волнении и ее тревоге, то нетрудно было понять все по выражению ее лица, по ее голосу, по тому раздраженному тону, которым произнесены были эти слова. Бен Адир последовал за ней молча, сам чувствуя какую-то тревогу и волнение.

Когда они вышли из сада, Ревекка вдруг сказала:

— Нет, мы не пойдем на Титову башню. Ноги мои подкашиваются, и я чувствую, что не в состоянии буду подняться так высоко.

И она пошла к Мертвому морю. Тем временем солнце поднялось уже довольно высоко, воздух становился удушливым, они шли по сухой, каменистой земле. Из-за серого тумана, расстилавшегося над озером, нельзя было разглядеть горизонта. Когда они удалились уже на довольно значительное расстояние от виллы, Ревекка остановилась и сказала:

— Послушай, Бен Адир, я сердита на тебя: ты мне передал не обо всем, что ты видел и о чем ты слышал в Иерусалиме.

Бен Адир побледнел и посмотрел на нее грустным взглядом, точно упрек этот удивил его.

— Ну что же, ты не понимаешь меня? — спросила Ревекка резким, почти угрожающим тоном.

— Я передал тебе все, что, как мне казалось, должно было интересовать тебя, — ответил Бен Адир спокойно. — Я пересказал тебе почти все, что говорил Симон в моем присутствии...

— Нет, ты мне не рассказал всего, что ты видел и слышал в пещере Зеведея.

Эти ее слова произнесены были прерывающимся голосом; затем она на мгновение остановилась, как будто ее удерживало чувство стыдливости, и наконец сказала:

— Разве ты не видел в пещере Зеведея племянницы его Эсфири?

— Как же, видел, — совершенно спокойно ответил Бен Адир.

— Ты, значит, видел эту назарейнку, ибо она назарейка; она принадлежит к этой трусливой секте, которая старается парализовать мужество защитников Иерусалима и которая видит в несчастиях, обрушивающихся на Иерусалим, лишь осуществление ее пустых пророчеств. Ты видел ее, не так ли?

— Да, видел.

— Так почему же ты ничего не сказал мне об этом?

— Потому что я не думал, чтобы это могло интересовать тебя, Ревекка.

Ответ этот несколько смутил Ревекку. Она прошла несколько шагов по направлению к Мертвому морю, храня мрачное молчание.

— Что же она, красива? — спросила она наконец сдавленным голосом.

— Да, — ответил Бен Адир, — племянница Зеведея красива; но она гораздо менее красива, чем ты.

— Дело не во мне, — произнесла Ревекка сухо, и в голосе ее слышалось даже раздражение, — я спрашиваю тебя о племяннице Зеведея. Так ты говоришь, что женщина эта красива?

— Да; все женщины красивы, когда их любят.

Она молчала, продолжая идти быстрым шагом. Бен Адир следовал за нею. Вдруг она остановилась и сказала более мягким голосом.

— Послушай! Знаешь ли, почему Симон покровительствует Зеведею, который не что иное, как лжепророк, и который, подобно черному ворону, носится по улицам, предрекая гибель Иерусалиму?

— Нет, я этого не знаю, Ревекка.

— Ты лжешь, ты знаешь это! Симон покровительствует

Зеведею, потому что любит его племянницу. И тебе это было известно, слуга неверный! Почему ты мне ничего не сказал об этом? От скольких пыток ты бы избавил меня этим!

Слезы выступили на прекрасных глазах девушки; они прошли молча еще несколько шагов. Вдруг Ревекка остановилась и вздрогнула. Бен Адир, угадывавший происходившую в ее сердце борьбу, тихо сказал:

— Не отправиться ли нам вместе с тобою в Иерусалим?

При этих словах глаза его загорелись каким-то страшным огнем. Ревекка поняла его. Однако она спросила, опустив глаза:

— А зачем же нам отправляться в Иерусалим?

— Чтоб избавить тебя от племянницы Зеведея и... от другого. — Он не решился назвать Симона.

— Симон женился на Эсфири. Я это знаю. Мне вот тут что-то говорит об этом, — сказала она, кладя руку на свое сердце. — Елизавета сообщила тебе об этом, не так ли?

— Да, — спокойно ответил Бен Адир.

Ревекка остановилась и пошатнулась. Бен Адир поддерживал ее.

— Пойдем домой, — сказала она через несколько минут довольно спокойным голосом. — Нужно принять какое-нибудь решение. Отправляйся в пустыню и постарайся разыскать Иоханана. Иерусалим в нем нуждается. Он найдет меня там — у царя Исаия. Ты проводишь его ко мне. Бог найдет средства, чтобы раскрыть перед вами ворота священного города.

XII

В Иерусалиме распространился слух о том, что Тит посылает осажденным предложения мира. Волнение было необычайное. Улицы и площади были переполнены народом. Женщины, дети, старики выползли из домов, с печатью нужды и лишений на лице, бледные, изнуренные, исхудалые, завернутые в свои жалкие плащи, точно в саваны. При виде их можно было бы подумать, что это призраки, вызванные вдруг каким-то волшебством из своих могил.

Имя Иосифа Флавия было на устах у всех: одни произносили его с любовью, другие — с ненавистью и ужасом. Известно было, что именно он принес с собой мирные предложения Тита.

На укреплениях, со стороны храма, образовались многочисленные группы. В них происходили оживленные споры. Друзья первосвященника Анании выступали особенно смело. Они не сомневались в успехе попытки Флавия и были в полной уверенности, что толпа не устоит против его красноречия, тем более что она была уже поколеблена вынесенными страданиями. Они рассчитывали также и на колебания умеренной фракции совета, давно уже отчаявшейся в возможности сопротивления и которую малейший толчок мог заставить отделиться от партии «непримиримых».

— Анания сегодня же вечером будет выпущен из темницы, — говорили они, — умеренные члены совета воспротивились приведению в исполнение приговора, в силу которого он должен быть побит камнями, утверждая не без основания, что нет ни малейших доказательств его виновности. День избавления близок.

В одной из самых возбужденных групп можно было заметить сына Елизаветы, Катласа, того самого, который первый произнес слово «измена» по отношению к Елеазару. У ног его лежали жена и ребенок его, оба бледные, исхудалые, изнуренные. Среди этой группы новость произвела совершенно иное впечатление, чем среди фарисеев и саддукеев. Слова «перебежчик», «изменник», «отступник» переходили здесь из уст в уста, как круговая чаша, к которой каждый прикладывается губами. Даже женщины с бешенством пили из этой чаши.

Стоявший рядом с Катласом воин рассказывал ему о том, что произошло во время последней атаки римлян.

— Тит атаковал одну из башен второй ограды, ту, которая выходит на север, — быстро говорил он, — начал он с того, что велел направить на эту башню стенобитное орудие и приказал стрелкам и пращникам поддержать атаку, так что нам пришлось покинуть башню. В ней остались только Картор и еще десять человек. Картор — человек храбрый и искусный, или, увы, вернее сказать, был человек храбрый и искусный, ибо его уже нет в живых. Но не в том дело! Картор лег со своими товарищами на землю, прикрывшись плащами, и в таком положении они пролежали несколько минут. Затем, когда они почувствовали, что вся башня задрожала и затрепетала, подобно тому, как смертельно раненная стрелой птица несколько времени бьется на воздухе, прежде чем упасть на землю, Картор крикнул Титу, умоляя его остановить штурм. Римлянин попался

в ловушку; он очень легковверен, этот любовник Береники! Ведь принял же он ее за непорочную девственницу, за какую-то дочь Ефая! Итак, он вообразил себе, будто Картор, правда, хочет сдаться. Он приказывает перестать разрушать башню и велит своим стрелкам прекратить стрельбу. Наконец, он приказал спросить Картора, чего им нужно. «Мы желаем мира», — ответил Картор с кротостью ягненка. «Хорошо, — сказал Тит. — Я вижу, что ты — человек благо-разумный. Ну а что другие-то, воодушевлены ли они теми же чувствами?» Пятеро из них отвечают «да», пятеро — «нет», все это было условлено заранее. Начинаются длинные рассуждения, во время которых Картор успел подать Симону сигнал, что он отвлекает Тита и чтобы тот постарался извлечь из этого пользу. Между тем наши продолжают притворно спорить, горячатся, от слов переходят к делу, вынимают мечи, наносят друг другу удары — понятно, стараясь не причинить ими никакого вреда, — и наконец некоторые из них падают на землю, как будто они были взаправду убиты и ранены. Тит, видевший все это издалека, был вполне введен в заблуждение этой храбростью. Одно случайное обстоятельство еще более усилило в нем это заблуждение. Картору попадает в лицо какая-то шальная стрела, пущенная из римского лагеря; он вытаскивает ее из раны, показывает ее Титу, жалуясь на вероломство, недостойное его великодушия. Задетый за живое этим упреком, который он признает вполне справедливым, Тит приглашает Флавия, стоявшего возле него, отправиться в башню и подать Картору руку в знак верности его своему слову. Иосиф — продувной мошенник; но тот, кто вздумал бы сравнить его с Валаамовой ослицей, жестоко ошибся бы. Он сразу пронюхал ловушку и отказался исполнить возлагаемое на него поручение

— Значит, врут, что Иосиф Флавий должен прибыть к нам с оливковой ветвью? — спросил кто-то.

— К сожалению, мы будем иметь удовольствие увидеть его размалеванную рожу и услышать медовый голос этого торговца словами, который воображает себя вдохновенным, как Иеремия, потому что с тех пор, как он жрет из яслей римлян, глаза его превратились в два источника слез, более неиссякаемые, чем Силоамская купель, столь обильная в нынешнем году, и более жалобные, чем леса Фавора, колеблемые шквалами, приносящимися с Тирского моря.

— А известно ли, что ответил Тит на его предложения? — спросил какой-то раненый, поджимавший свою искалеченную ногу.

— Он просто потребовал, чтобы мы оказались героями, — ответил стрелок. — Он вообразил себе после взятия второй ограды и нового города, что мы тотчас же сдадимся ему. Когда мы показали ему, изгнав его из завоеванной уже им части нового города, что он принял кипарисы Мертвого моря за иерихонские розы, он решил, что нужно попробовать одолеть нас иным, более дешевым способом.

— А каким же образом удалось вытеснить его из второй ограды и из нового города? — спросил калека.

— Неужели ты этого не знаешь?

— Нет...

— Ну, так я расскажу тебе и об этом. Тит, заметив, что после того, как башня обрушилась, в стене образовалась довольно большая брешь, собрал до двух тысяч отборного войска и направил их в тесные улицы нового города, населенные суконщиками, торговцами железом, медниками и лоскутниками. Он не ожидал встретить ни малейшего сопротивления и шутя говорил, что аршины — не мечи, котлы — не пращи... Мы же доказали ему, что наши ремесленники и торгоши стоят варварских полчищ Гога и Магога. Две тысячи человек отборного войска его на каждом шагу подвергались нападениям, их били из-за углов и из окон домов, и они принуждены были отступить. Тщетно Тит выходил из себя: волки его дрожали, точно овцы, и в конце концов он был вынужден оставить вторую ограду в наших руках. Конечно, все это не мешает саддукеям и фарисеям утверждать, что мы уже недостойны называться потомками наших предков.

— Пусть они говорят это за себя, а не за нас, — перебил его калека.

— Ты прав, — продолжал воин. — Маккавеи воскресли, они покинули свои гробницы, которые видны отсюда, и сражаются вместе с нами, согревая наши сердца дуновением своих великих душ. Все это, без сомнения, заставило Тита призадуматься, и потому-то, вероятно, он и посылает нам Флавия.

В это время раздались громкие звуки труб.

— Это Тит производит смотр своей армии, — сказал воин. — Он желает напугать нас, прежде чем соблазнить нас; но того, чего не могли сделать его стрелы, пращи, тараны, конечно, не сделают блеск оружия и красивая сбруя его лошадей. Глаза наши окажутся столь же непоколебимыми, как и наши сердца. Неужели же любовник Береники принимает нас за каких-то непотребных женщин!

Действительно, Тит производил смотр своей армии Легионы, составлявшие осадную армию, стояли в опустошенных предместьях и на площади Офла, недалеко от дворца Ирода. Римская армия, несмотря на большие понесенные ею потери, все еще представляла собой достаточно величественное зрелище. Пехота выступила в полном своем вооружении, которое ярко блестело на солнце. Медные каски и латы, обнаженные мечи всадников, красивая сбруя лошадей — все это блестело на солнце, а пыль, которую они поднимали копытами, окутывала их точно золотистым облаком. Когда всадники, проходя мимо Тита, пустили коней своих в галоп и проскакали мимо толпы, размахивая своими длинными блестящими на солнце мечами, то их можно было принять за легион демонов, вышедших из преисподней, на которых еще отражается красноватый отблеск вечной геенны. Это было ужасное вступление, подготовленное Титом к речи своего посланца.

Жители Иерусалима отовсюду собрались, чтобы посмотреть на это зрелище. Вся северная стена занята была любопытными, а крыши домов едва не ломились под тяжестью взобравшихся на них людей. Но еще более, чем желание посмотреть на блестящее зрелище, привлекло толпу желание послушать Иосифа Флавия, посланца Тита, которого с одинаковым нетерпением ожидали как сторонники мира, так и сторонники войны.

Едва закончился смотр, как раздался звук трубы, и народ увидел приближающегося к стенам человека, несшего гражданам в одной руке мир, в другой — войну. Иосиф Флавий был не такой человек, чтобы пренебрегать мелочами. Ему хорошо было известно, что его силу и силу римлян составляли в Иерусалиме знатные левитские семейства. Поэтому Флавий счел нужным предстать перед этими людьми и их приверженцами в таком виде, который был бы способен наиболее польстить им. Он появился в одежде, соответствовавшей всем еврейским традициям. Но этим он вызвал едкие насмешки со стороны его противников. Особенно доставалось ему из группы, собравшейся около Катласа.

— Послушайте, друзья мои, — сказал Симон бен Гиора, который был тут же, в числе других членов совета. — Нужно быть предельно осторожными. У Иосифа Флавия, друга Веспасиана и Тита, здесь есть сторонники. Пусть каждый исполнит свой долг!

Слова эти, произнесенные громким голосом, были услышаны толпой. Раздались громкие крики.

— Позор перебежчику! — кричали они.

— Нам не нужно отступника! — воскликнула какая-то женщина.

— Пусть он оставляет при себе свои почести и оставит нам нашу честь! — сказал какой-то молодой человек, опираясь на лук, который был больше его самого.

— Если бы он не продал римлянам Иотапаты, до тех пор неприступной, — говорили другие, — если бы он не предал своей армии, то римлян можно бы было остановить, и они не стояли бы в настоящее время над Иерусалимом...

Симон, слышавший все это, счел нужным еще раз вмешаться.

— Все это совершенно справедливо, друзья мои, — сказал он, — но все же мы обязаны выслушать его, на то существуют важные причины. Вы узнаете их еще раньше, чем солнце, стоящее теперь вон там, над Дамаскскими воротами, скроется за Гильонскими высотами.

Все замолчали, и взгляды всех обратились на Флавия. Взойдя на развалины внешней ограды, возле гробницы Ирода, откуда можно было расслышать его слова, — так как ветер дул с севера, — Флавий поклонился священному городу.

— Пожалейте самих себя, — сказал он, — сопротивление ваше является просто безумием. Вы ведь издавна уже привыкли к чужеземному игу! Почему же именно теперь вы из сил выбиваетесь, чтоб освободиться от него! Прекрасно сражаться для защиты своей свободы; но раз она утрачена, стремление к приобретению ее вновь ведет к неизбежной гибели. И разве позорно входить в состав державы, владычествующей над всем миром? Человек должен уступать тому, кто сильнее его. Это делают даже и звери; это всеобщий закон природы. От кого исходит власть? От Бога. Он дает ее тому, кто ему угоден. Повиноваться более сильному, значит повиноваться Богу. Итак, вы должны покориться римлянам и притом сделать это немедленно. В настоящее время они готовы еще послушаться голоса милосердия, но, если вы упустите этот удобный момент, если вы будете упорствовать в сопротивлении, они никого не пощадят...

Слова «изменник», «перебежчик», «отступник» вылетели из тысяч уст, как только он замолчал.

Как только Иосиф Флавий удалился, среди толпы раздался громкий голос:

— Пророк идет! Пророк идет!

— Кто это? Зеведей, что ли? спрашивали со всех сторон

— Нет, какой Зеведей! Зеведей-лжепророк! — сказал кто-то. — Настоящий пророк — Иоханан бен Захария, пришедший из пустыни

Пророк Иоханан, подобно всем еврейским пророкам, жил в Аравийской пустыне. Елисавета провела его в город под видом пастуха с Галанских гор. Он шел медленным шагом, высоко подняв голову. Иоханан встал на «бему» — камень, служивший трибуной, и обвел всех медленным взглядом. Недаром Иоханана прозвали сыном грома: голос его был похож на оглушительный раскат грома. Каждый раз, как он возвышал его, толпа содрогалась и начинала волноваться

— Я пришел из пустыни, — начал он, — чтобы возвестить вам слово Божие. Я удалился в пустыню с самого падения Иотапаты для того, чтобы поразмыслить о гнусной измене того человека, которого вы только что выслушали. Каким образом я проник к вам? Спросите у Моисея, каким образом он ушел от Фараона? Спросите у Юдифи, каким образом ей удалось благополучно пробраться через лагерь Олоферна и подготовить освобождение Израиля? Я спал возле самой палатки Тита, и его бдительные часовые не заметили меня. Я летал, — помолчав, продолжал он, — подобно птице Божией на крыльях облака, подобно стае воронов, которую я только что видел носившеюся над нашими укреплениями и которых созвал со всех концов света ангел-истребитель. Что за зрелище, дети Иеговы! Начиная от Силоамской купели и до ступеней храма, не видишь ничего, кроме трупов, призраков, вышедших из гробниц своих, женщин, у которых уже иссякли все их слезы, грудных детей, тщетно припадающих потрескавшимися губами своими к иссохшим грудям матерей своих, — словом, всюду — одни только бедствия и отчаяние. Сердце мое истекало кровью, пока я шел, ноги мои скользили по мостовой, обгащенной кровью наших сограждан. Но я вспомнил слово Божие, и сердце мое окрепло; я отогнал от себя чувство слабости, и ноги мои донесли меня до этого места. Я пришел с тем, чтоб обличить обманщика, посланного к вам Титом. Он осмелился сказать вам здесь, перед самым храмом Иеговы, перед нашей святыней, что Бог желает подчинения вашего римлянам!..

— Никогда! — крикнул кто-то в толпе. — Никогда! — повторили тысячи голосов

Толпой овладело неопишемое воодушевление. Мужчины потрясали оружием, женщины прижимали детей своих к своему сердцу и, казалось, сожалели о том, что младенцы эти не могут еще идти по стопам своих отцов. Отовсюду раздавались громкие возгласы. Все призывали гибель на головы римлян, все проклинали малодушных и отступников. Партия мира потерпела окончательное поражение. Вместе с тем решена была судьба Анании и его сообщников.

Среди толпы можно было заметить двух закрытых покрывалами женщин, жадно прислушивавшихся ко всему происходившему вокруг них. За ними шел в некотором отдалении человек, укутанный в темный плащ. Это были Ревекка, Елисавета и Бен Адир.

Ревекке удалось проникнуть в Иерусалим. Когда глазам ее предстал священный город, залитые солнечными лучами крыши его домов и купол храма, выделявшийся на этом фоне, как яркая звезда, она почувствовала, что всем ее существом овладели лишь два чувства: патриотизм и религия, — и еще так недавно обуревавшая ее жажда мести, казалось, была совершенно забыта.

Слова пророка Иоханана значительно ослабили чувство ненависти, которое она испытывала к Симону. Но особенное впечатление произвела на нее казнь первосвященника Анании.

Симон должен был присутствовать при этом ужасном зрелище вместе со всеми членами верховного совета. Он стоял все время неподвижный и бесстрастный. Но затем, когда он отошел в сторону, она увидела, что он вытирал слезы, выступившие на глазах; Симон долгое время был другом Анании.

Эти его слезы тронули Ревекку и поколебали ее решимость. «Он нужен для Иерусалима, — сказала она сама себе. — Пусть он живет! Время мести наступит само собой; если храму суждено погибнуть».

— Теперь нам можно идти и к отцу моему, — сказала она Бен Адиру. — Он будет доволен своею дочерью, когда узнает, что мы приняли участие в сегодняшних событиях.

Бен Адир ничего не ответил; он, казалось, даже не расслышал этих слов. Он угадал все, что происходило в сердце Ревекки, и его гнев против Симона от этого только усиливался. Он возненавидел Симона с первого же дня, и с тех пор его ненависть с каждым днем все более и более усиливалась. Сначала он ненавидел его за то что Ревекка

его любила, а потом за то, что он причинял страдания той которая отдала ему всю свою жизнь.

Когда же мы пойдём к Симону? — Он задал этот вопрос спокойным голосом, но глаза его при этом сверкнули зловещим блеском

— Мы ещё увидим его, — ответила Ревекка

— Ты простила его, Ревекка? — спросил он — Это очень великодушно!..

— Кто тебе сказал, что я простила его?.. — тихо сказала она

XIII

Неудача, которую потерпел Иосиф Флавий, ускорила ход событий. Тит понял, что ему нечего рассчитывать на сдачу Иерусалима. Произведены были новые осадные работы под руководством Галла, имевшего особые причины добиваться скорейшей развязки, он надеялся, что с падением Иерусалима наступит начало его счастья. Он велел разрушить все ходы, соединявшие цитадель Антония с первой оградой храма, чтобы оттеснить осажденных в последнее их убежище и сжечь их в самом храме. Таким образом храм превратился в цитадель, к великому неудовольствию фарисеев и саддукеев, которые утверждали, что храм Иеговы, что бы ни случилось, должен был оставаться неприкосновенным.

Храм возвышался на холме Мория. Он состоял из лабиринта стен, частью увенчанных крышами, частью открытых, олицетворявших собою мир, состоящий из света и мрака — символа Иеговы.

Галереи поддерживались колоннами из белого мрамора, с обшивкой из кедрового дерева, блестящего и черного, причем игра света менялась в них с каждым часом. Все десять входных дверей, имевших по тридцати футов в высоту и по пятнадцати в ширину, были обиты золотыми и серебряными полосами, за исключением одной, украшенной полосами из коринфской стали, так славившейся в древности.

Внутренний храм разделялся на две части. Дверь первой из них, равно как и стены, представляла собою верх великолепия. Над головой виднелись виноградные ветви в человеческий рост, на которых висели гроздья, и все это из чистого золота. Двери также были сделаны из золота. Они

были завешаны вавилонским ковром, в котором лазурь, пурпур, багряница и янтарь были перемешаны с таким искусством, что невозможно было смотреть на него без восхищения. Они изображали четыре стихии: багряница изображала огонь, янтарь — землю, лазурь — воздух и пурпур — море. В нижней части храма, перед святилищем, стояли подсвечник, стол для жертвоприношений и алтарь. Подсвечник с семи концов олицетворял семь планет. Двенадцать хлебов, положенных на стол, олицетворяли двенадцать знаков Зодиака и двенадцать месяцев в году.

Святилище, или Святая святых, представлявшее собой средоточие храма, было земным обиталищем «Невидимого», символом неизвестности, лежащей над происхождением всего существующего в мире, подобно тому, как у древних египтян голова Изида была покрыта черным покрывалом. Здесь царило молчание, царила тайна. Эта часть храма была отделена от остальной длинным покрывалом, легким, но тем не менее непроницаемым, покрывалом, за которое не мог проникнуть ни единый взор.

Однажды вечером, два дня спустя после неудачной попытки Иосифа, Ревекка была вместе с другими женщинами в храме. Из глубины святилища раздавалось священное пение: «Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний — и рассыпал их. И явились источники вод, и обнаружались основания Вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Тогда простер он с высоты руку, взял меня, извлек из вод великих»*.

Ревекка была погружена в молитву. Вдруг раздались громкие возгласы, и на пороге молельни появился пророк Иоханан.

— Внешней ограде храма, — воскликнул он громким голосом, — угрожает опасность! Бой может перейти и сюда. Пусть женщины удалятся и возвратятся в дома свои. Они не должны подвергать себя опасности, ибо они должны дать миру мстителей за Божье дело!

Женщины стали расходиться, но далеко не все последовали совету пророка; многие направились к защитникам храма.

Ревекку опасность не только не пугала, а скорее привлекала. Пробужденная из глубокой задумчивости голосом

* Псалмы Давидовы, XVII, 15—17

пророка, она поднялась со своего места, и ею овладело непреодолимое желание сделать что-нибудь для общего дела. «Почему же, — говорила она сама себе, — одни только мужчины должны рисковать своей жизнью?» Она скрылась за одну из колонн, откуда пробралась на террасу второго храма.

Был девятый час вечера. Солнце только что скрылось за Гильонскими горами, и город начинал окутываться тьмою. Ревекка могла еще ясно видеть и ворота храма, и цитадель Антония, и стоявших в боевом порядке римских солдат. Тит несколько часов тому назад овладел цитаделью. Она узнала его по окружавшей его блестящей свите. Она увидела также стоявшего недалеко от него Максима Галла, отдававшего какие-то приказания. Римские легионы двинулись вперед. Вся земля задрожала.

По эту сторону внешней ограды стены были заняты жителями города; они ждали атаки, безмолвные, мрачные и неподвижные. Здесь собрались все мужчины, способные еще носить оружие. Дети стояли возле своих отцов, жены — возле своих мужей. Идумеяне, полунагие, облаченные лишь в звериные шкуры, особенно выделялись среди всех. Они сидели на корточках за колоннами, держа свои луки наготове.

Ревекка стала глазами искать Симона и увидела его стоявшим рядом с Иоанном Гишалой. Он, по-видимому, о чем-то совещался с ним. Здесь был и пророк Иоаханан, длинная белая мантия которого отделялась во тьме, точно звезда на темном небосклоне.

Место, где происходил бой, занимало не особенно обширное пространство, и потому Ревекка могла не только разглядеть положение сражающихся, но даже довольно ясно различать знакомых ей воинов. Но мало-помалу совершенно стемнело, и ночь опустилась над городом, откутав густым мраком улицы, дома и войска. С высокой террасы, на которой стояла Ревекка, можно было различить лишь неопределенные, смутные, двигавшиеся фигуры, напоминавшие призраки.

Максим Галл поставил метательные орудия у цитадели Антония, откуда они успешно могли поражать стены храма. Громадная метательная машина стала забрасывать защитников храма. Ревекка ясно могла слышать свист летевших в воздух огромных камней и треск разрушающихся зданий.

На мгновение факелы, зажженные на стенах цитадели Антония, осветили поле боя кровавым мерцающим светом:

все пространство между цитаделью и храмом было покрыто трупами. Среди римских легионов опять произошло какое-то движение, раздались слова команды. Римляне подняли щиты, и к храму медленно направилась темная, немая, страшная масса. Дав неприятелю приблизиться, защитники храма стали скатывать камни на головы римлян, и ступени храма стали покрываться ранеными, окровавленными легионерами. Первый приступ римлян был отбит. Факелы потухли, и все погрузилось в темноту. Глубокая тишина царила над всем полем сражения, нарушаемая только стонами умирающих и раненых.

Луна медленно взошла из-за Масличной горы, освещая тусклыми лучами своими башни цитадели Антония и римские легионы.

Поощряемые словами Тита, обещающего богатую добычу, римляне снова ринулись на приступ.

Максим Галл велел придвинуть осадные машины еще ближе, и часть стены обрушилась под их тяжеловесными ударами. Римляне бросились в открывшуюся брешь, повергая на землю все, что им попадалось на пути, ударами топоров и мечей. Внешняя ограда была занята, и римляне принялись уже ломать первые ворота, как вдруг позади них раздался страшный грохот и громадная балка упала на первые ряды штурмующих и покатила по мраморной лестнице, увлекая за собой и ломая руки и ноги римским воинам. Потом на римлян обрушились новые балки, тяжелые камни и полился огненный дождь. Вопли ужаса раздались среди римлян. Римские солдаты падали десятками, испуская дикие вопли. Шлемы их были пробиты, и кипящая смола жгла им волосы.

Услышав страшный треск, увидев над главным входом огромное полыхание, из которого по всем направлениям разлетались мириады искр и валились обломки бревен, увидев огненные языки, вылетающие из клубов черного густого дыма, многие среди защитников подумали было, что римляне подождгли их святилище. Но затем, когда они увидели, как на римлян полился целый огненный дождь, они вообразили, что к ним на помощь пришли сами невидимые силы небесные.

Молва об этом чуде с быстротой молнии распространилась среди всех защитников храма. Пророк Иоханан решил, что ему следует воспользоваться этим, и он воскликнул:

— Сам Всевышний за нас! Он поражает врагов наших огнем небесным! Он вызвал из-под земли тот самый огонь, который сокрушил Содом и Гоморру!

Симон и Иоанн Гишала обращали внимание своих воинов

на то, что галерея, с которой ниспадал огненный дождь, была отделена от остальной части храма и что пожар ограничивался только этим пространством. Это придало храбрости всем защитникам храма. Расстроившиеся было ряды их снова сплотились, опущенные было копья снова поднялись, под сводами галереи раздался громкий голос Симона.

— Нужно воспользоваться их замешательством, — кричал он, — нужно выбить их из-за ограды!

Ревекка не могла разглядеть подробности сражения, она могла только слышать грохот метательных снарядов, треск обваливающихся стен, стоны раненых, хрипение умирающих.

Воспользовавшись смятением, произведенным в рядах римлян, защитники храма дружно ринулись на отступавшего в беспорядке неприятеля. Римские солдаты были оттеснены до самой цитадели Антония. Но здесь на помощь к штурмующим подоспели свежие войска. Римляне привели в порядок свои ряды и снова пошли в атаку. Пламя, вырывавшееся из подожженного портика храма, освещало поле сражения. Симон употреблял величайшие усилия на то, чтобы задержать отступление своих воинов, которого он не в состоянии был остановить. Он был впереди рядов идумеев, оспаривая каждую пядь земли у теснивших его римских легионеров.

Ревекка смотрела на Симона и уже не чувствовала более ненависти к этому человеку. Вдруг она вздрогнула и быстро обернулась. Несмотря на темноту, она узнала Бен Адир, стоявшего рядом с ней.

— Ах, это ты, Бен Адир! Как ты напугал меня!..

Ревекка сделала шаг к нему и заметила, что лицо его покрыто кровью.

— Ты ранен? — спросила она, — ты принимал участие в сражении? Она стала осматривать его рану, вытирая рукой струившуюся из нее кровь.

— Не беспокойся обо мне, — проговорил он, — подумай о себе, Ревекка. Храму угрожает серьезная опасность, он скоро может оказаться в руках неприятеля. Пойдем. Я не хочу, чтобы эти варвары пролили и твою кровь.

Бой тем временем продолжался. В воздухе стоял глухой, зловещий гул, к нему примешивались крики отчаяния, хрип и стоны умирающих. Вдруг раздался громкий голос, покрывший все остальные голоса, раздавшийся точно трубный звук страшного судилища.

— Горе Иерусалиму! Горе храму! — кричал этот голос
— Это Зеведей! — воскликнула Ревекка, — это злое-
щий пророк!

— Гибель храму! Гибель Иерусалиму! — снова закричал
Зеведей.

Начинало светать. Луна медленно скрывалась за Ги-
льонскими горами Пламя, так долго озарявшее храм, по-
гасло. Лучи восходящего солнца озарили башню цитадели
Антония, на которой можно было различить Тита и его
свиту. Он стоял и смотрел оттуда на то, что происходило
у его ног.

XIV

— Нужно торопиться, — повторил Бен Адир, — иначе
тебе угрожает серьезная опасность. Храм может быть уже
окружен...

Но она как будто не слышала его. Бен Адир схватил ее
за руку. Они быстро сошли по ступенькам, перешли через
площадку и вскоре очутились за оградой.

Тут они увидели людей, несших раненого Симона. За
ними следовала многочисленная толпа детей и женщин
Бен-Адир понял, что Ревекка хотела бы присоединиться
к ним. Это желание ее, в котором он увидел только про-
явление слабости, снова пробудило его ненависть к Симону
и у него появилось одно только желание, одна мысль —
передать ей частицу того пламени, которое сжигало его,
внушить Ревекке хотя бы частицу тех чувств, которые он
сам испытывал.

— Ревекка, — сказал он ей, — я понимаю твою скорбь
ты видела, как он сражался, и ты простила его. Я последую
за ним Я вижу Елисавету в числе женщин, стоящих на
площади Остаься с ней, а я принесу тебе известия о ране-
ном..

Ревекка пожала ему руку, как бы желая поблагодарить
его за этот добрый его порыв; но, как бы извиняясь за свою
слабость, она сказала:

— Я не простила, Бен Адир, но я чувствую сострадание
к павшим героям В смерти их я вижу лишь горе для
священного города и страшный для него удар..

— Быть может, ты желаешь последовать за ним? Но
в каком отношении ты могла бы быть полезна для него? Не
твоей руке перевязывать его раны.

Слова эти были произнесены совершенно просто, как бы без всякой определенной цели; но тем не менее они вонзились отравленной стрелой в сердце Ревекки и разлили в нем яд. В нем тотчас же вспыхнуло ярким пламенем чувство ревности. В Ревекке проснулась женщина.

Она шла, опираясь на руку Елисаветы, молчаливая, мрачная, с лицом, на котором сказывались утомление и овладевшее всем ее существом волнение. Она еле держалась на ногах.

— Ревекка, — сказала Елисавета, — мы сейчас дойдем до дома твоего отца. Ты еле держишься на ногах от слабости. Нам обоим нужно отдохнуть. Иерусалим еще держится, и нам не следует падать духом. Отчаяние к добру не приведет, а Бог, очевидно, сражается за нас...

Ревекка ничего не ответила Елисавете, позволяя ей вести себя. Но в ту минуту, как из глаз ее должен был скрыться, быть может, навеки, человек, которому принадлежали все ее мысли, все ее существо, как бы желая в последний раз увидеть его, она обернулась и увидела, как несшие его остановились и какая-то женщина, нагнувшись над ним, приподняв красный плащ, смотрела на раненого. До слуха ее донесся крик, и она поняла, что крик этот вырвался из груди той женщины.

— Что это за женщина, Елисавета? — спросила она, останавливаясь

— Не знаю, — ответила та, поняв, что происходит в сердце Ревекки, и не желая еще более отягощать ее горя.

— Зачем же ты скрываешь от меня истину? — сказала девушка. — Неужели ты считаешь меня способной думать о чем-либо другом, кроме Иерусалима, в эту ужасную минуту? Ведь эта женщина, подошедшая к Симону наклонившаяся над ним, ведь это Эсфирь! Увы! Она имеет право плакать и скорбеть над ним! Она перевяжет его раны. Я знаю это, я знаю также и то, что он обещал любить меня и соединить мою судьбу со своей. Но теперь я уже не чувствую в себе силы ни любить, ни ненавидеть. Идем! Веди меня; как ты счастлива, что сохранила еще силы для ненависти и для мести!

Шум и суета на улицах не прекращались. Елисавете не хотелось попасть в руки неприятелей; кроме того, она боялась за Ревекку. Опасность стерегла их на каждом шагу. В то время, как беглянки поворачивали налево, в улицу, которая должна была привести их к стене Манассии, римская когорта, преследуя разбитый отряд Симона, показа-

лась в конце улицы. Впереди несло несколько всадников, прокладывая ей путь и топтавших копытами лошадей попадавшихся им навстречу женщин.

Вдруг камень, брошенный из толпы, попал в голову одного из всадников. Тогда римляне окружили женщин и повели их в цитадель Антония.

— Не давать им пощады! — приказал центурион. — Женщины, принимающие участие в бое, — уже не женщины

После того началось ужасное избиение. Пленниц собрали в одной из крытых галерей цитадели; здесь было до сотни женщин, девушек и детей. Галл и Флавий стояли рядом с Титом, в соседней галерее, откуда они смотрели на затихавший уже бой. Флавий узнал Елисавету, которая кричала ему:

— Иосиф Флавий, в числе женщин, которых избивают, находится и Ревекка, дочь твоего брата...

Ревекка стояла молча, завернувшись в свой черный плащ, с распущенными по плечам волосами. Можно было подумать, что она не понимает того, что происходит вокруг. Казалось, что она с радостью ожидала приближения смерти: Иерусалим погибал, Симон был ранен, быть может, даже он уже умер, и, наконец, он принадлежал другой. Что же могло еще привязывать ее к жизни? Она не слышала, как Елисавета звала Флавия, она повернулась, чтобы в последний раз посмотреть на храм, как вдруг увидела перед собой Флавия и Галла.

Галл подошел к центуриону и что-то сказал ему.

— Ревекка, ты можешь уйти! — крикнул центурион

— Я не уйду отсюда, — твердым голосом сказала Ревекка, — пока не кончится бойня. Другие женщины так же невиновны, как и я. Если же они преступницы, то и я преступница.

Галл распорядился, чтобы пощадили всех, кто еще был жив.

— Отвести всех этих женщин к моей палатке! — приказал он.

XV

Римляне торжественно отпраздновали взятие Иерусалима.

Прежде всего устроено было триумфальное шествие от Капуанских ворот к Капитолию, затем была произведена

личная казнь на форуме захваченных в плен предводителей евреев, и, наконец, торжество закончилось празднествами на улицах и во дворцах.

Ревекка упросила Галла, чтобы Симон, которого предполагалось отдать на съедение диким зверям в цирке, был казнен на форуме, рукой Бен-Адира, который стал таким образом орудием ее мести.

После своего прибытия в Рим, куда она приехала вместе с отцом, царем Изейским, помилованным по просьбе Береники, она жила во дворце, который Веспасиан отвел для нее.

В день казни она стояла, облокотившись на мраморные перила галереи, выходившей на форум. Взгляд ее скользнул по дворцу Цезарей, по крыше священного храма Весты, по развалинам Капитолия, недавно истребленного пожаром, по толпе, бушевавшей на площади. Иногда он останавливался на возвышавшемся посреди форума четырехугольном помосте, на котором устроены были зловещие приспособления, и при этом невольная дрожь пробегала по ее телу. Береника стояла рядом.

— Я очень довольна тобой, милая моя Ревекка, — сказала она, — я видела Галла, сообщившего мне приятную весть. Он говорит, что у Веспасиана есть особый план относительно Иерусалима и что он рассчитывает на него и на тебя для его осуществления. Пока же он назначил его правителем Иудеи, а там — посмотрим...

Береника вполне одобряла любовь Ревекки к Иерусалиму, она всегда хотела лишь подчинения Иудеи римлянам, оставаясь в этом отношении верной политике своего семейства, но не желала разрушения Иерусалима и считала вполне возможным его будущее возрождение.

— Любезная Ревекка, — сказала она, — меня давно беспокоит одна мысль, от которой я желала бы отделаться. Я слышала, теперь уже не помню от кого, что любовь к Иерусалиму была не единственной любовью, наполнявшей твое сердце, и...

Ревекка вздрогнула и перебила царевну.

— То, что ты слышала, Береника, отчасти верно, — сказала она, — я любила защитника Иерусалима, но теперь уже не люблю его. Я хотела бы сказать тебе правду. Я почти не вспоминала о Симоне бен Гиоре, в полной уверенности, что он погиб, и решила навсегда соединять память о нем с воспоминанием о той катастрофе, которой он не в состоянии был предотвратить... Но Бен Адир

рассказал мне о судьбе защитников Иерусалима. Узнав, что Бен Гиора жив, я почувствовала, как дрожь пробежала по всему моему телу.

Бен Адир рассказал мне о смерти Катласа. Он был окружен, вместе с немногими из друзей своих, двумя римскими когортами, и солдаты, раздраженные их продолжительным сопротивлением, собирались изрубить всех их. В это время мимо того места проходил Галл. Он удивился мужеству наших друзей и хотел спасти их. Он стал советовать им покориться и сказал Катласу:

— Назови Веспасиана господином своим — и жизнь твоя будет сохранена.

— Мы признаем господином своим одного только Бога, — ответил Катлас. — Пользуйся своим правом победителя. Я же не намерен покупать себе жизнь ценой предательства.

Такой же ответ дали и товарищи Катласа. Солдаты собирались ринуться на них, но Галл их остановил.

— Воины, — сказал он, — вы сами люди храбрые, и поэтому вы должны уметь ценить храбрость. Пощадите этих людей ради их храбрости и преданности своей вере. Уже достаточно пролито крови...

Солдаты послушались его; но, когда он ушел, центурион снова подошел к пленникам, приглашая их изъявить покорность Веспасиану. Катлас опять отказался. Возле того места, где все это происходило, была навалена груда бревен. Центурион велел подвести Катласа к этой груде, поджечь бревна и сунуть его ноги в огонь.

— Покорись Веспасиану, — сказал он ему, — или я вслю поджарить тебя на медленном огне...

— Я знаю только одного господина, — ответил Катлас, — и господин этот — не Веспасиан.

Рядом с Катласом был его сын. Центурион схватил ребенка и поставил его на горящие бревна, рядом с отцом.

— Посмотрим, — сказал он, — так же ли ты упрям, как и твой отец? И ты отказываешься поклониться Веспасиану?

— Да, отказываюсь, — ответил ребенок.

Бен Адир рассказал, что лишь Симон изъявил покорность...

И тогда что-то оборвалось в моем сердце и исчезла любовь моя к нему, и прежнее мое благоговение перед ним сменилось ненавистью, смертельной ненавистью, которая достаточно объясняет то, почему я присутствую при этом зрелище и почему я отдаю руку свою Галлу...

В это время раздались громкие крики толпы, собравшейся на форуме. Береника и Ревекка посмотрели вниз. На помосте, воздвигнутом на том самом месте, где в обыкновенное время стояла ораторская трибуна, среди ликторов появился человек в черном плаще, со связанными руками и с обнаженной головой. Один из ликторов взял топор.

Береника отвернулась, а Ревекка, напротив, жадно смотрела вниз.

— Знаешь, — сказала она царевне, — что палач говорит своей жертве? Он говорит ему: «Симон бен Гиора, взгляни на меня: я Бен Адир, слуга Ревекки, дочери Изея, и я здесь для исполнения ее воли... Ревекка поручила мне сказать тебе в последнюю минуту твоей жизни: это я, Симон, я, Ревекка, твоя Мохеронская невеста, наношу тебе удар рукой моего слуги. И не думай, чтобы я наносила тебе этот удар потому, что ты изменил мне. Я, которая могла бы спасти тебя, как я спасла отца моего, — я наношу его тебе за то, что ты изъявил покорность, вместо того чтобы умереть так, как умерли Катлас и другие...»

В это мгновение Бен Адир коротким ударом отсек голову Симона.

Толпа разразилась громкими криками и рукоплесканиями. Ревекка спокойно обернулась к Беренике и сказала, указывая на находящуюся в ее руке вычеканенную по поводу победы над Иудеей медаль:

— То, что вычеканено здесь, изображает состояние моей души: это я сижу под пальмой и оплакиваю Иерусалим. Я тебе говорила, Береника, у меня только одна истинная страсть — любовь к Иерусалиму и к его храму. И тот, и другой разрушены. В сердце моем пустота, и потому, выходя замуж за Галла, я руководствуюсь лишь надеждой на возрождение Иерусалима...

Э. ОЖЕШКО

МИРТАЛА

Перевод с польского

I

Под безоблачным куполом неба, в сиянии золотого солнечного света, зеленая роща Эгерии расстилала глубокие и неподвижные тени на поля, с которых благоговение к священному месту изгнало человеческие жилища и суету. Священным было для римлян это место, потому что в тенистых его глубинах, под раскидистыми ветвями вековых буков, дубов и платанов возвышалась белоснежная статуя одного из самых привлекательных божеств вечного города и протекал ручей, журчанием своим рассказывающий векам и поколениям о долгих одиноких беседах великого Нумы с его обожаемой и мудрой Нимфой. Когда-то великий царь-законодатель, тревожась об участи народа ребенка, приходил в это уединенное место и возводил к сапфировому небу умоляющий взгляд. Тогда с неба спускалась Эгерия, ослепительная и все же благосклонная, и среди буков, дубов и платанов слышались вздохи любви и таинственный шепот; прекрасная небожительница прикладывала свою руку к царскому сердцу и успокаивала бушующие в нем бури, а из ее бессмертных уст изливались возвышенные слова. Все исчезло: имя Нумы Помпилия время превратило в эхо, все слабее звучащее в устах и сердцах отдаленных поколений; то, что он воздвигал, скрылось в тени новых зданий, и только невежественная чернь сохранила веру в небожителство и бессмертие Эгерии. Но древняя роща, которую сторожили и за которой ухаживали, уцелела, напоминая людям о чудной женщине, изливающей на царя благотвор-

ные вдохновения, и о царе, заботившемся о благе подчиненного ему народа.

Громадный Рим шумел совсем рядом, но все же в глубине рощи царила торжественная тишина. Редко нарушали ее шаги набожных странников, проходящих сюда, чтобы поклониться алтарю богини или почерпнуть воды из священного источника. Часто проходили дни, а нога человеческая не ступала на густую, украшенную цветами траву священной рощи, ни один молящийся голос не сливался с журчанием ручья, извивающегося серебряной лентой у подножия белоснежной статуи богини. Только на краю рощи, там, где сходились к ней красивые, усаженные буками и устланные базальтом дорожки, с раннего утра сидел человек и ждал, пока набожный странник не вложит в его ладонь мелкой монеты. Это было податью, уплачиваемой теми, кто посетил священную рощу; человек же был сборщиком этой скромной подати.

Сборщик этот не походил на римлянина, и достаточно было бросить лишь один взгляд на него, чтобы узнать в нем пришельца с Востока. Его сухощавая, сгорбленная фигура была облачена в широкую, коричневого цвета одежду из грубой ткани, перетянутую в талии истрепанным поясом. На голове у него была тяжелая, желтоватого цвета чалма, которая оттеняла его пятидесятилетнее увядшее, исхудалое лицо, с длинным, горбатым носом и пепельной, вьющейся жесткими прядями бородой. Из-под чалмы ниспадали длинные кудри пепельных волос, а по обеим сторонам горбатого носа под черными еще щетинистыми бровями горели жгучим огнем большие, черные, как самая непроглядная ночь, глаза. Они глядели в пространство с вечной пронизывающей грустью. Страстной скорби этих глаз отвечало выражение тонких бледно-розовых губ, которые в зарослях седеющей бороды непрерывно извивались задумчивой или горькой улыбкой или же неслышным шепотом обращались к пустому полю, к небу, к неподвижным букам и дубам, к шумной, присылающей сюда отзвук своего шума столице. Сидя на перилах золоченой балюстрады, укрытый от зноя тенью рощи, с болтающимися на воздухе босыми ногами в сандалиях, худыми, почерневшими пальцами перебирающий концы своего пояса, с пламенным взглядом своим и сгорбленной спиной, человек этот, казалось, был олицетворением жителя Иудеи

Рим кишел чужестранцами, а среди них было много и таких, как иудей Монобаз, у которого римская молодежь

брала ссуды; многие патрицианки отдавали взамен горсти сестерций свои драгоценности. Даже сам император Веспасиан, собирающий и тщательно оберегающий общественные деньги, попусту растрачиваемые столько лет в безумных оргиях Нерона и междоусобных войнах, даже он, старый солдат, с грубой речью, с сердцем, заботящимся об общественном благе, не колебался брать их из самых сомнительных рук. Не внушали ему также отвращения и деньги Монобаза. Его белые, украшенные драгоценными перстнями руки не могли получать из рук странников подати, надлежащей роце Эгерии. Их заменяли исхудалые, почерневшие руки Менохима. Почему Менохим посвящал себя этому занятию и даже усердно хлопотал о нем у Монобаза? Кто знает? Быть может, другим способом заработать куска хлеба не позволяли ему эти безграничные раздумья, которые выражались в его глазах. Быть может, непрерывным размышлениям его благоприятствовало это место, безлюдное и тихое. Быть может, зелень роци давала спокойствие его глазам, а щебет птиц и серебряное журчание ручья прерывали иногда угрюмые песни его души сладостным мотивом утешенной надежды.

Сгорбленный, не касаясь ногами земли, сидел он долгими часами на золоченой балюстраде и смотрел на громадный город, незапятнанная чистота мраморов которого, золотые купола храмов, грациозные арки триумфальных ворот были залиты солнечным светом, и, казалось, не мог насмотреться.

Взгляд Менохима изменял направление и наталкивался на Аппиеву дорогу, которая, выбегая из-под величавых арок капуанских ворот, широкая, прямая, исчезающая в не досягаемой глазу дали, казалось, была рукой великана, протянутой для того, чтобы схватить полмира. А целыми днями там царила шумная толкотня людей и животных. Менохим видел движущиеся по дороге нагруженные товарами возы, которые тянули мулы и ослы, и красивые, легкие колесницы. Между возами он видел мелькающие фигуры всадников или же блестящие дорогими украшениями носилки, которые несли на плечах невольники и откуда выглядывала то завитая женская головка, то развевался пурпур, украшающий легатскую тогу. Иногда по дороге проходил отряд пехоты или конницы, и тогда металлические щиты, панцири, шлемы горели на солнце ослепительным заревом, топот ног раздавался по базальтовым плитам протяжным грохотом, в воздухе рассыпались сотни коротких металли-

ческих звуков и тысячи голосов распевали строфы воинственной песни. Там все было движением, суматохой, блеском, пением и смехом. Менохим судорожно возводил к небу свои сжатые руки, а из груди его вырывался крик, хриплый и короткий:

— А Иерусалим лежит в развалинах!

Порой на его плечо падала тяжелая рука, и грубый голос кричал весело и насмешливо:

— Чего ты так вперил в небо свои бараньи глаза, иудей? Разве ты не видишь, что мы хотим войти в священную рощу?

Менохим пробуждался от раздумий и замечал двоих или троих людей, закутанных в грубые коричневые тоги, с лицами, защищенными тенью шляп с широкими полями. По одежде, по их обращению можно было узнать ремесленников, а может быть, людей, живущих на подачки вельмож или государства. Возвращаясь из рощи, они поддразнивали его

— Может быть, ты голоден? У нас есть кусок жареной свинины, и мы охотно поделимся с тобой...

Менохим молчал, смотря в землю.

Один из посетителей рощи, походя на шута, которыми были переполнены дома богатых римлян, приставал к нему

— Милейший, не мог ли бы ты отвести меня в свою молельню и показать ту ослиную голову, которой вы молитесь? Я был бы очень рад ее увидеть и рассказать то, что я видел, достойному Криспину, потому что он несколько дней в дурном расположении духа, и, если я чем-нибудь не позабавлю его, он удалит меня от своего стола.

Он не шутил, просил искренно и даже трогательно

Другие бывали сердитые

— Оглянуться не успеешь, — говорили они, — как вы начнете шить себе туфли из шкуры, содранной с наших хребтов.

Менохим отвечал глухим голосом:

— Не мои это деньги, которые я с вас беру. Я слуга Монобаза и отдаю ему все, что вы тут мне даете.

— Да поглотят подземные божества господина твоего Монобаза, который из моего бедного племянника Минуция высосал уже последнюю каплю крови и купил себе перстень с рубинами! На первых же играх мы будем просить в цирке цезаря, чтобы он повелел изгнать вас всех из Рима

Однажды изящная женская фигура в сопровождении двух служанок промелькнула по дорожке и, молча сунув

монету в ладонь Менохима, исчезла в глубинах рощи. Потом, тихо ступая по густой траве, она возвращалась назад, ее печальные глаза, тоскующие о чем-то, что-то оплакивающие, с любопытством остановились на смуглом, морщинистом лице иудея. Она остановилась перед ним и, откинув с лица вуаль, заговорила тихо:

— Ты беден, я обогащу тебя, если ты откроешь мне, в чем я могу найти утешение и спокойствие, которого ни боги наши, ни богатства дома моего дать мне не могут. Вы, азиаты, знаете много тайн, и у вас есть какой-то Бог, который в самых жестоких скорбях ниспосылает вам утешение

— Чего же ты хочешь? — спросил Менохим

Красавица римлянка печально ответила

— Мне опротивели богатство и наслаждения. Я не люблю своего мужа и никого из римских юношей полюбить уже не в состоянии, я жажду совершенства, добродетели, которая бы пламенем разожгла мое пустое сердце; того неведомого Бога, которому греки воздвигают алтари и который должен отличаться от богов наших, в которых я уже не верю.

— Если ты не веришь в богов своих, зачем же ты навещала рощу Эгерии?

— Я жажду тишины и тени. Я умираю среди шума и блеска. Я люблю тут размышлять о небесной любви и великих человеческих сердцах. Теперь любовь низка и пошла, а сердца тех, которые меня окружают, из железа или грязи!

Менохим долго-долго шептал ей о чем-то, что-то обещал, что-то открывал. Потом римлянка удалилась, а старый иудей, сложив руки на коленях, сидел, гордо распрямившись, и таинственная улыбка мелькала на его морщинистом лице.

Некоторое время спустя он слышал, как двое невольников, направлявшихся в рощу, рассуждали о странном событии, случившемся в доме их хозяина. Их госпожа Флавия уверовала в какого-то чужеземного бога, облеклась в грубые одежды, перестала участвовать в пирах, стала посещать этот отвратительный, вонючий квартал города, в котором живут азиаты. Невольники говорили об этом насмешливо, как обыкновенно прислуга говорит о странных капризах своих господ; морщины на лице Менохима дрогнули, когда он услышал слова

— Муж Флавии сердится, потому что насмешки унижа-

ют его. Над Флавией смеются все ее подруги, знакомые и, вероятно, сам цезарь, да продлится его жизнь.

Дальнейших слов Менохим не расслышал, но с торжествующей улыбкой на морщинистом лице он прошептал:

— Таинственны пути твои. Вот и жалкий червяк, растоптанный в пыли, впустил каплю яда в гордое княжеское сердце...

Он взял большую книгу, которую прятал в высокой траве, и стал медленно водить глазами по ее строкам. Однако недолго предавался он чтению: его мистическая натура не способна была долго сливаться с чужой мыслью, он с набожным почтением положил книгу на прежнее место, и вынул из-под платья деревянные дощечки, и, достав стило, начал писать на тонком слое воска. Он писал быстро, лихорадочно, так же, как и читал. Щеки его покрывались румянцем, капли пота стекали из-под чалмы.

Однажды, когда он так же быстро что-то писал на табличках, на дорожке между буками появился человек, окутанный плащом, капюшон которого защищал голову от солнечного зноя. Человек этот, видимо, не направлялся в священную рощу, потому что шагах в двух остановился и стал смотреть на пишущего сборщика. Прождав напрасно некоторое время, он подошел ближе и вполголоса окликнул:

— Менохим!

Из пальцев пишущего выпало стило. Он воровато стал прятать свою дощечку за пазуху и поднял на подошедшего испуганные глаза.

— Не узнаешь меня, Менохим? — сказал пришедший. — Я Юст, секретарь Агриппы. Я был частым гостем в твоём доме, когда там проживал еще приемный сын твой Ионафан.

— Прости меня, Юст, за то, что я не сразу узнал тебя. Глаза мои начинают стареть... — покачал головой Менохим.

— Нет, с улыбкой ответил Юст, — но тебя занимала работа, которой ты предавался. Ты пишешь...

— Я! — испуганно вскрикнул Менохим. — Разве бы я сумел? Нет, это только счета, которые я свожу для господина моего Монобаза!

— Ты скрываешь это, — засмеялся Юст, — будь спокоен, я не стану расспрашивать об этом. Недаром я несколько лет состою секретарем при Агриппе и царственной сестре его Беренике. Там столько тайн, сколько звезд на небе. Я научился уважать их; разве же я сам не обладаю своей

собственной тайной? Я не спрашиваю тебя, Менохим, ни о чем. Я пришел к тебе по важному делу

— Слушаю тебя,— приветливо сказал Менохим

— Дело простое, не знаю только, покажется ли оно тебе таковым. Друг моего хозяина Агриппы, Иосиф Флавий — ты знаешь, конечно, кто он. желает взять к себе еще одного секретаря, который переписывал бы произведения, начатые им. Ты знаешь, что, что бы ни говорили об Иосифе, он все-таки любит народ свой. Он поручил мне отыскать израильянина, умеющего писать по-гречески Я подумал о тебе. Хочешь ли ты занять выгодное и почетное место у ученого соотечественника нашего, друга Агриппы и Береники, любимца Цезаря и сына его, Тита?

— Благодарю тебя, Юст, за то, что ты вспомнил обо мне, но приближенным Иосифа Флавия я не стану ни за что,— тихо ответил Менохим.

Юст не показал удивления и проговорил спокойным голосом:

— Плата, связанная с этой должностью, значительна. Жилье во дворце Агриппы, место за его столом и двадцать тысяч сестерций в год.. Подумай.

— Ни за что,— коротко повторил Менохим.

— Занимая это место, ты мог бы оказывать услуги нашим бедным братьям...

— Ни за что, Юст!

— У тебя есть приемная дочь Миртала, которой нужен более свежий воздух, нежели в предместье за Тибром.

— Ни за что, Юст!

— Старость, Менохим, приближается к тебе быстрыми шагами. Когда немощь прикует тебя к одру болезни, когда твои усталые руки уже не будут в состоянии приняться ни за один труд, в Агриппе и Иосифе ты найдешь щедрых благодетелей и заботливых покровителей

— Ни за что, Юст!

Юст помолчал с минуту и потом так тихо, точно опасаясь, чтобы даже дубы и буки священной рощи не услышали, спросил:

— А если... а если Ионафан, это возлюбленное дитя твое, этот бедный изгнанник, которого, наверно, теперь сжигает африканский зной и в тысячу раз более жестокое отчаяние, если он... вернется? Чем ты защитишь его от опасностей? Кого ты призовешь на его защиту? Агриппа и Флавий могут защитить его, одно движение пальца Бе-

реники освободит его шею из-под топора или вырвет его тело из пламени костра...

Менохим задрожал, простертые вверх руки его затрепетали, как крылья раненой птицы.

— Юст, Юст! Зачем ты меня искушаешь? Ионафан мой... это правда! Его шея обречена топору... а может быть, как Горию, его бросят в пламя костра, и римская чернь обезумеет от радости при виде мук одного из последних защитников Сиона... О Юст, что ты мне сказал! Ты заклинал меня жизнью любимого сына, того, которого я младенцем вырвал, выкупил из неволи. Да, Юст, Агриппа может его охранить, Флавий может защитить его, Береника...

Он, не договорив, уткнулся в высокую траву. Юст с сочувствием смотрел на припадок отчаяния, овладевший стариком. Мало-помалу Менохим, однако, успокоился. Прижавшись лицом к земле, он думал. Много времени прошло, прежде чем он поднялся и, устремив из-под чалмы свои жгучие глаза на Юста, повторил опять:

— Ни за что!

Юст опустил голову.

— Я ожидал твоего отказа, однако я надеялся, что мои доводы...

— Какие же это доводы, Юст? — все еще дрожащим, но успокаивающимся голосом спросил Менохим. — Бедность? Но разве она не более всего к лицу сыну губнущего рода? Миртала? Разве же я не вырвал ее так же, как и Ионафана, из неволи? Пусть делит мой черный хлеб и дышит вместе со мной воздухом несчастья. Ионафан? Он первый отсоветовал бы мне делить богатства и наслаждения тех, которые отреклись, отступились от родного, священного дела...

Последние слова он произнес с блеском ненависти в глазах. Юст, помолчав с минуту, ответил:

— Ты слишком суров, Менохим, и твои суждения отличаются поспешностью, которую им придает огонь твоего сердца. Ни Агриппа, ни Иосиф, ни даже Береника не отступники. Торжественно и гласно соблюдают они все праздники наши, щедро помогают деньгами несчастным братьям нашим...

— Но сердца их, Юст, сердца, сердца! — Морщины на его лице дрогнули презрительно. — Сердца, Юст, — повторял он, — которые прильнули к грехам, руки их, Юст, которые ежедневно сердечными пожатиями соединяются с ладонями врагов наших! Иосиф Флавий за столом Веспас-

сиана! Береника в объятиях Тита, того самого Тита, который швырнул в наш храм горящую головню! Агриппа ходит в одежде римского сенатора, с шестью ликторами; сгоняющими с его дороги его ниществующих братьев, как собак! Ха, ха, ха! И ты, Юст, смеешь говорить, что они не отступники! Праздники наши соблюдают! Субботы святят! Бедных братьев дарами наделяют! А сколько же стоит драгоценный перстень, который преподнес Беренике разрушитель ее отчизны? А какой же ценой куплены те подарки, которые Иосиф Флавий получил от Поппеи, распутной жены страшного Нерона?

Юст внешне спокойно выслушал эту страстную речь, но в тени капюшона на щеках его выступила краска.

— Что же ты, следовательно, думаешь обо мне, Менохим? — спросил он тихо. — Обо мне, живущем в их золоченых стенах и сидящем за их роскошным столом?..

— Я люблю тебя, Юст, потому что ты был лучшим другом Ионафана, потому что я знаю душу твою и знаю, что в ней обитают любовь и верность. Голод иссушивал твои кости, когда ты скрылся от него под кров Агриппы, ты был приверженцем кроткого учения Гиллея, которое отстраняет от ненависти и гнушается кровью... Ах, и я когда-то был гиллелистом. Сердце у меня было голубиное, и я пил только сладкий мед дружбы и согласия. Но, Юст, никакой перец не обжигает так и никакое вино не поднимает такой бури в голове, как несправедливость! И видишь, Юст, какой вред угнетающий причиняет угнетаемому: твоя чистая душа должна грязниться на службе у безбожников, мое кроткое сердце переполнилось ядом...

Юст после долгого молчания проговорил:

— Не имеешь ли ты новых известий о Ионафане?

— Он жив, — коротко сказал Менохим.

— Благословен Господь! Он ведь до сих пор вырывал его из рук преследователей. Прощай, Менохим

— Да будет мир с тобою, Юст

Юст хотел уйти, но, сделав несколько шагов, вернулся.

— Если, — сказал он, — если Ионафан прибудет в твой дом, дай мне об этом знать. Может быть, я могу быть чем-нибудь полезным ему... Позволь мне по крайней мере выказывать мою дружбу к вам.

Менохим чуть заметно кивнул

И так он по-прежнему приходил сюда на восходе солнца, чтобы вплоть до сумерек сторожить вход в священную рощу. Должность, которую он занимал, не была так уж

выгодна однако находились такие, которые завидовали ему. Одним из них был Силас, сириец, в грязной красной тунике, опоясанной кожаным поясом, с наполовину лысой головой, с хитрым лицом. Он был носильщиком. Он провел значительную часть жизни в рабстве и недавно был освобожден по завещанию своего хозяина и стал жить на воле разгульной жизнью. Ношение носилок было слишком тяжелой для него работой. Он бы предпочел просиживать целые дни в роскошной тени рощи Эгерии. Он не сидел бы так, как Менохим на жесткой перегородке, но удобно бы разваливался на прохладной и густой траве. Босые ноги его согревались бы на солнце, а гибкие руки сумели бы часть получаемых тут денег спрятать в свой кошелек; он приво-дил бы сюда с собой двух, трех товарищей, и они бы весело болтали, играя в чет и нечет или даже в кости, попивая триполинское вино, которое было бы по карману сборщику священной подати и которое, хотя и последнего сорта, приятно разливалось бы в теле вольноотпущенников. Если бы не этот проклятый иудей, который уселся тут несколько лет тому назад, точно навеки, то через посредство одного из слуг Монобаза, который был расположен к нему, он непременно добился бы цели своих мечтаний. Менохим в те минуты, когда он был наиболее углублен в чтение или писание, порой внезапно вздрагивал и с ужасом осматривался вокруг. Причиной этого был пронзительный, не человеческий крик, похожий на рев зверя, который вдруг раздавался над самым его ухом. Он осматривался вокруг и не замечал ничего, но, едва он успевал успокоиться от своего испуга и снова вернуться к своим размышлениям, в ногу его ударял камень, пущенный такой искусной рукой, что он больно ушибал ему ступню и сбрасывал на землю санда-лию, и он замечал гибкую фигуру в грязной красной тунике; вскидывая босыми ногами, она пряталась между дере-вьями, а из-за ветвей высовывалось смуглое, искривленное ехидной улыбкой лицо Силаса. Иногда, среди самой глубо-кой тишины, из-за какого-нибудь дерева выскакивал Силас и, опершись ладонями на землю, оскалив зубы, начинал перед ним выделять удивительные прыжки. В голубом, позолоченном воздухе, на фоне пустого поля и тихой рощи, гибкая, босая, грязная фигура сирийца, мечущаяся в упоен-ных скачках, имела в себе нечто дьявольское, из-за оскален-ных зубов его вылетал град издевательств и бесстыдных слов. Менохим закрывал глаза, но ушей заткнуть не мог. Он страдал и молчал. Молчал также, когда в складках

своего платья находил неизвестно откуда взявшиеся куски свинины, которые он отбрасывал с отвращением. Однако он не мог смолчать, когда однажды в сумерки, возвращаясь домой, он заметил несколько человек, гонящихся за крупной девушкой. Менохим узнал свою приемную дочь Мирталу. Как бешеный бросился он вперед, но те разбежались. Убежавшими были Силас и его друзья.

— Чего ты хочешь от меня? В чем я провинился перед тобой? — спросил на следующий день Менохим Силаса, когда тот, как это часто бывало, показался поблизости от роши Эгерии.

— Хочу, чтобы ты мне уступил это место, — ответил Силас, — а вина твоя в том, что ты иудейский пес, подобных которому год назад сирийцы избили в Антиохии тысяч двадцать...

— Да смилуется над тобой Господь, человек черных мыслей и жестокого сердца, подумай, Иудея и Сирия — это две родные сестры. Мы говорим одним языком и поклоняемся одному Богу, племя наше происходит от одного корня.

— Чтобы тебе сгореть в огненном объятии Молоха! Твое единство языка и племени, и Бог твой, и Иудея, и Сирия также мало меня интересуют, как подошва драной сандалиии. Я пить хочу, а на те деньги, которые тебе платит Монобаз, я мог бы досыта напиться. Лежать хочу, а ты занимаешь то место, на котором я мог бы спокойно улечься. Поэтому я и решил или выгнать тебя отсюда, или вырвать твою иудейскую душу...

— Я буду жаловаться на тебя! — спокойно, но решительно сказал Менохим.

— Вой, пес! Увидим, сумеет ли твой хозяин Монобаз, на которого скалят зубы уже многие благородные римляне, защитить тебя от Силаса.

Менохим пошел к Монобазу. Силас был наказан, его нигде не было видно в течение десяти дней. Однако потом он опять показался, но перестал мучить Менохима. Он только искал случая с ним встретиться и, как только нашел его, молча погрозил рукой. Столкнувшись однажды с Менохимом в толпе, собравшейся на рынке, проходя мимо него, он сказал угрюмым голосом:

— Ненависть затаенная более жестока, нежели явная. Наступит когда-нибудь час Силаса!

В полдень Менохим, сидя на своей балюстраде, ел хлеб, присыпанный луком, запивал его водой, приправленной уксусом; читал, писал, думал, молча выносил оскорбления

и шутки прохожих. В смешанном хаосе стен и крыш Рима он мог различить дворец Агриппы, являющийся и жилищем Иосифа Флавия, который приглашал его к себе. Никогда направленные в эту сторону глаза его не выражали ни сожаления, ни зависти. Зато они часто горели негодованием. Дрожащими губами повторял он тогда имя Ионафана..

Но, видно, он обладал таинственным целебным бальзамом для всех своих огорчений. Ежедневно, когда огненный шар солнца скрывался за краем горизонта и шум великого города умолкал, когда с сапфировых небес спускался на тихие поля прозрачный покров сумрака, а в глубине рощи все яснее и серебристее звенели воды ручья, Менохим подпирал лицо ладонью и впадал в безмолвное, ясное раздумье. Быть может, в нем воскресал гиллелист, человек с голубиным сердцем, гнушающимся несогласием, кровью и проклятиями. Лицо его успокаивалось, в глазах угасала страсть.

Выражение тихой радости разливалось по его лицу, когда, глядя в небо, он говорил:

— Ты, которого имени не умеют выговорить уста мои, благодарю Тебя, что Ты и на меня опустил бич, которым Ты коснулся моих братьев, потому что сто раз и тысячу раз лучше страдать с угнетенными, нежели наслаждаться с угнетателями.

Он доставал книгу свою из густой травы, тщательно прятал ее под складки платья и по дорожке, устланной базальтом и усаженной буками, спокойно, выпрямив спину и даже точно с какой-то гордостью, с высоко поднятой головой направлялся к кварталу города, носящему название Транстиберим, то есть за Тибром.

Транстиберим заключал в себе два холма: Яникульский и Ватиканский. На противоположной стороне Тибра, на семи его холмах, сосредоточивались все храмы, блеск и мощь великой столицы; тут же были общественные сады, носящие имя цезаря и Агриппины, точно так же, как окруженные садами виллы вельмож, они покрывали вершины и склоны двух холмов предместья густой зеленью, среди которой виднелись белоснежные, величавые арки и своды ворот, ведущих за пределы города. У подножия Яникульского холма, на узком пространстве, замкнутом стеной холма и берегом реки, напротив арки Германика, которая точно богатой пряжкой замыкала спускающуюся с Авентина Остийскую улицу, находилась часть предместья, которая была заселена исключительно сирийцами и иудеями. Это

место отличалось от других частей города своеобразной архитектурой улиц и зданий. И на противоположной стороне реки существовали места, плохо и тесно застроенные. Субуры также отличались узкими улицами, потрескавшимися домами, непрочностью своей возбуждающими страх в прохожих. Тем не менее это были все-таки дома высокие, украшенные колоннадами, кирпичи и гипс которых подражали мраморам величавых частей города; в узких переулках была мостовая из лавы, блестящей, как темное зеркало, а улицы украшены были статуями, изображающими богов или цезарей. На татибранском предместье было все иначе. Сотни коротких, узких, кривых переулков извивались около одноэтажных, низких домов с плоскими крышами, окруженными балюстрадой, увенчанными чем-то вроде трехугольной будки. Будка эта, торчащая над плоской крышей, заключающая в себе комнатку, увеличивающую скудное помещение внизу, плоская крыша, окруженная балюстрадой, расширяли тесное и душное пространство, образуя род террасы, на которой ели, молились и часто спали. Тут не было ни тог, ни туник, ни женских стол, ни кокетливых вуалей, легких, как облако, окутывающих фигуры, затянутые поясами, блистающими металлическими украшениями. Мужчины носили здесь длинные, широкие, грубым шерстяным шарфом опоясанные в талии одежды, называемые хитонетами, на головах их были тяжелые чалмы. Женщины же блестели своими платьями, как разноцветные цветы на лугах. В глазах зеленело, голубело, желтело, если посмотреть на толпу здешних женщин, когда они сбегались для продажи или покупки на одну из узеньких площадей или длинной вереницей в доверчивой беседе усаживались у стены одного из домов. Ни золото, ни серебро не сверкало на поясах, охватывающих их стан, но были холщовые или бумажные ленты, пестреющие роскошными восточными узорами. Пожилые головы свои накрывали белоснежными или узорчатыми чалмами; молодые опускали на плечи свои роскошные черные или огненные косы и нередко на ходу побрякивали бубенчиками, колыхающимися у высоких сандалий из красной или вытесненной узорами кожи. Все они, мужчины, женщины и дети, кудрявые и полунагие, говорили языком, совершенно неизвестным в других частях Рима, являющегося слиянием двух языков восточных: сирийского и халдейского. Язык этот, употребляемый также живущими тут сирийцами, множеством заключающихся в нем гортанных звуков превращал даже тихую беседу в шумную и рез-

кую, придавая ей вид ссоры. Внутри домов слышались жужжание веретен и скрип ткацких станков; виднелось множество голов, склоненных над оправой в бронзу цветных стеклышек, или шлифовкой и резьбой драгоценных камней, удушливый запах благовонных трав и корней выдавал приготовление благовоний. Кое-где на открытых, но узких пространствах множество людей мешали с соломой глину и, усердно утаптывая ее ногами, перерабатывали ее в груды возвышающихся кирпичей; далее вращались с треском колеса и ворчали камни гончаров; в другом месте стояли вышивальщицы с согнутыми над пальцами плечами, в постоянно поднимающихся и опускающихся руках которых сверкали разноцветные, золотые и серебряные нитки. Здесь были и кожевники, а текущие у порогов жидкости отвратительного запаха свидетельствовали о занятии красивым ремеслом. Из нескольких трактиров доносился на улицу шум грубых голосов и запах дешевых напитков, около них толпились крикливыми кучками идущие на заработок в город носильщики. Среди носильщиков было много сирийцев и иудеев, в особенности в том месте, где на желтых волнах Тибра останавливались корабли, нагруженные товаром, присылаемым сюда из морского порта Остии. Корабли прибывали непрерывно, непрерывно на берегу реки толпились моряки, смешиваясь с теми, кто, снимая с кораблей товары, складывал их в возвышающиеся на берегу груды, или на хребтах мулов и ослов, или в телегах, запряженных мулами и ослами, увозили к мостам, соединяющим берега реки. И этот стук, скрип, протяжные оклики моряков, плеск весел, грохот телег, шум трактиров, мужские голоса, трескотня женщин, крики детей образовывали оглушительный шум. Может быть, еще яснее, нежели в одеждах и чертах лица, Восток проглядывал тут в нагроможденном вездех мусоре, в свободно протекающих мутных и вонючих водах, в остром и пресном запахе, доносящемся из кухонь. Запах лука и тухлой рыбы смешивался в воздухе с густым дымом кожевен, с едким смрадом красилен, с одуряющим ароматом мирры, каалью, шафрана и корицы, ароматических трав и корней. Сюда никогда не показывался никто из тех, кто на Капитолии, Авентине или на цезарском палатинском холме, прохаживался по мостовой, в свежей и благовонной тени дворцов и портиков, поглядывал на этот муравейник на противоположной стороне Тибра, презрительно, неприязненно.

И если сверху никто никогда не спускался вниз, снизу

вверх поднималось множество людей, ежедневно отделяющихся от этого муравейника и неизменно возвращающихся в него. Ежедневно множество иудеев, старых и молодых, покидали Транстиберим, проходили один из мостов и взбирались на холмы, заселенные повелителями мира. Это были торговцы, разносящие по городу товары, изготавливаемые в их квартале и интересующие и привлекающие римлян своей оригинальностью. Один из таких торговцев нес на продажу ювелирные изделия, сделанные из осколков сосудов, из цветного стекла и хрусталя, разбитых в домах вельмож и тщательно скупаемых и употребляемых в дело жителями Затибрия. Другой привлекал взгляд связками прелестных женских сандалий из тисненой кожи. Третий размахивал роскошными поясами, или развешивал ткани, покрытые восточными узорами, или побрякивал изделиями из меди, бронзы и железа, или показывал на перстнях и запонках искусно вырезанные камни, фантастической формы сосуды, наполненные жидкостями и мазями.

Среди этого роя пчел, которые, вылетая из грязного крикливого улья, рассыпались по Риму, часто была молодая девушка, миниатюрная, красивая, ловкая и странно наряженная. Это была одна из вышивальщиц, разносящих длинные полосы шерстяных материй, покрытые вышивкой из восточных узоров, пестреющих фантастически изломанными линиями и пурпуром всех оттенков, смешанных с серебром и золотом. Римлянки охотно раскупали эти изделия, которыми они украшали края своих платьев, мебель и окна своих жилищ. Молодая вышивальщица из Транстиберима всякий раз, как ей надо было отправиться со своим товаром на другую сторону Тибра, очень рано выходила из предместья и скорее бежала, чем шла по узким переулкам, веселая, легкая, кажется, не касающаяся земли и постоянно при свете восходящего солнца любующаяся красотой предметов, которые она несла. Это восхищение проявлялось в постоянном развешивании красивых полос материи и рассматривании их, которое сопровождалось восторженным покачиванием в обе стороны ее маленькой головы. Она была покрыта такой массой огненно-рыжих кудрей, что издали на солнце их можно было принять за тяжелый золотой венец. Миниатюрную и хрупкую фигуру ее прикрывало бедное, полинялое платье, опоясанное в талии куском тоже полинялой, но роскошно вышитой ткани; шею украшало блестящее и позвякивающее ожерелье из цветных стеклышек, оправленных в бронзу.

Она бежала, навесив на худенькие плечи вышитые полосы, и, любовно качая головой, улыбалась им, а ей улыбались дружески и ласково высовывающиеся из окон и дверей головы только что пробудившихся от сна женщин и старух. Некоторые из них посылали ей громкие, шутливые приветствия; она отвечала на них дружескими кивками и радостными улыбками; она радовалась, что люди выказывали ей расположение и дружбу; но более всего ее радовали приветы Сары, женщины с лицом ясным и добродушным, с величавой осанкой, богатой хозяйки одной из самых обширных вышивален Затибрия. Ее собственностью и был товар, который молодая девушка носила на продажу. Девушка вышивала нитками, которые ей давала Сара; Сара платила ей за это довольно щедро и ее же, а ни кого-нибудь другого посылала с товарами в город, потому что никто другой не умел так ловко обратить на себя внимание и так бегло говорить на языке едомитов. Говорить на языке едомитов ее научил ее приемный отец Менохим. Сара ее научила вышивать, но девочка вскоре превзошла в искусстве свою наставницу. Только она подросла, как у нее появились прелестные выдумки; презрительно надув пунцовые губки, она отбрасывала предлагаемые ей узоры, и из-под крошечных ручек ее появлялись зарождающиеся в ее собственной голове своеобразные, не похожие ни на какие другие арабески, цветы, как бы замкнутые в разных рамах, удивительная смесь красок и линий. В голове девочки под волной огненных волос сверкали лучи творчества. Когда тучная Сара в первый раз увидела самостоятельные работы своей ученицы, она всплеснула своими пухлыми ладонями и с счастливой улыбкой на добродушных губах воскликнула несколько раз:

— Хошеб! Хошеб!..

Это означало, что девочка в искусстве вышивания была признана импровизаторкой. Тогда-то, в день наименования ее этим титулом, она получила в подарок от Сары это ожерелье из цветных стеклышек и прелестные сандалии, без бубенчиков, правда, которые были неподходящими для бедной девушки; но из пунцовой кожи и с подошвой, громко и весело постукивающей о мостовую. Сандалии эти и ожерелье она надевала только тогда, когда шла на другую сторону Тибра.

Громко ударяя сандалиями о плиты из лавы или мрамора, она медленно взбиралась на Авентинский холм и забывала о красоте навешанных на ее плечи вышитых полос.

Теперь ее окружали другие красоты, известные ей давно, но на которые она никогда не могла достаточно наглядеться. Повсюду здесь были резьба, мозаика из разноцветного мрамора, колоннады, статуи, а блестящие и изящные наряды мужчин и женщин всегда в ней возбуждали любопытство и восхищение. Кипящая тут жизнь, не крикливая и грязная, перемешанная с ругательствами и слезами, как в ее родимом предместье, но изящная и веселая, вызывала в ее груди наполовину сладостное, наполовину мучительное ощущение. По широко открытым глазам ее, по дрожащим губам, по выступающему на щеках румянцу можно было понять, что ей хотелось не бежать, а лететь, не дышать здешним воздухом, но упиваться им. Она шла то медленно, то быстрее, улыбалась всему, что попадалось ей на глаза, и машинально, бессознательно, как бы желая приспособиться к красоте и блеску обстановки, она наряжалась в вышивки, которые несла, обвивала их около шеи, опускала на полинявшее платье живописными складками. Вскоре она была осыпана вся серебряными и золотыми искрами, которые солнце зажигало в ее вышивках, пока они не угасали в тенях портика, в который она поднималась по нескольким мраморным ступеням и в котором она останавливалась у одной из колонн, внимательная, тихая, высматривающая покупателей.

Это был портик, построенный Цестием, одним из знатнейших вельмож римских на Авентине, и дарованный им римскому народу для прогулок. Он состоял из двух длинных рядов колонн, соединенных вверху легкой крышей, а внизу мраморным полом. Карнизы крыши, капители и подножия колонн изобиловали богатой резьбой, потолок был покрыт также резными квадратами и медальонами; между колоннами возвышались грациозные статуи. Обыкновенно там было множество людей, и многие останавливали внимание на стоящей у колонны вышивальщице. Многие римлянки подходили к ней, рассматривали ее вышивки и покупали их. Она, давно уже знающая эти места и этих людей, не робела: на обращенные к ней вопросы отвечала коротко и ясно, и румянец выступал у нее на щеках, когда она видела улыбки, вызванные ее манерой произносить латинские и греческие слова. Ведь на обоих этих языках обращались к ней, и она умела ответить, но путалась и опускала свои длинные ресницы всякий раз, как встречала презрительную улыбку или неприязненный взгляд. Самым презрительным и суровым казалось ей лицо вышивальщика, которого она

видела тут часто Из какого-то разговора, услышанного ею, она узнала, что он был, так же, как Сара, владельцем вышивальни, находящейся на Авентине, и что его звали Сильвием. Это был человек среднего возраста, одетый в клетчатую тунику, или тогу со складками, с длинным носом, придающим его физиономии птичий вид, с белой, выхоленной, драгоценным перстнем сверкающей рукой. Однажды он подошел к ней и, перебирая ее вышивки, спросил резким голосом:

— Из-за Тибра?

— Да, господин.

— Из вышивальни Сары?

— Да, господин.

— А ты кто же такая?

— Работница Сары... импровизаторка.

Она полагала, что сообщение титула, которым она гордилась, смягчит сурового римлянина. Но он бросил на ее испуганное лицо злобный взгляд и пробормотал сквозь стиснутые зубы:

— Чтобы вас взяли к себе придворными вышивальщицами адские божества!

Потом он часто проходил там и бросал на девушку взгляды, преисполненные неприязни. Однажды он шел в сопровождении другого человека, низкого и пухлого, с искусно завитыми волосами и тогой, сложенной в кокетливые складки, от него исходил крепкий, далеко разносящийся запах духов. Это был торговец благовонными товарами, Вентурий. Оба они разговаривали между собой с большим оживлением. Сильвий указывал пальцем на вышивальщицу; Вентурий повернулся в противоположную сторону и точно таким же гневным и презрительным жестом указал на старого, сгорбленного иудея, который в другом конце портика, присев у подножия колонны, предлагал публике благовонные жидкости и мази.

— Вскоре, — воскликнул один из них — честные римляне усядутся на мосту среди нищих, а чужеземцы будут благоденствовать в граде Ромула. Право, это странно, что цезарь, да продлится жизнь его, не запретит этим азиатским псам доступа по крайней мере в главные улицы города.

— Не теперь, конечно, не теперь может это случиться, — таинственным, слегка горьким тоном ответил Вентурий, — когда Тит, — чтобы к этому полубогу вечно милостивыми были боги! — душой погрузился в прелестные глаза Береники

— Я желал бы, чтобы все ичавая Береника и царственный ее брат Агриппа обладали вечной милостью богов! Они иудеи, это правда, но что за беда, если недавно, когда им понадобилось для их дворца сто вышитых покрывал на ложа и диваны, они заказали их у меня. Право, только глухие и слепые могут не знать Сильвия, превосходнейшего в Риме вышивальщика, или предпочитать его изделиям лохмотья этих азиатских варваров!

Девушка слышала их разговор и потом подумала: возможно ли, чтобы существовало такое противоречие между людьми и их произведениями? Создать столько красот, а иметь сердца алчные, жестокие... как это могло быть? Следовательно, эти римляне, которые в ее воображении отличались несравненной красотой и могуществом, были, может быть, действительно такими, какими их считали в Транстибериме? Там их называли извергами, порабощателями, богохульниками и врагами добродетели, там их ругали чуть ли не каждую минуту и жаловались на них и в храме, и дома.

Сильвий и Вентурий удалились, удалились и эти нарядные барыни, которые, рассматривая и покупая товар, смотрели на нее гордо и насмешливо; но каким почтенным и добрым казался этот пожилой человек, который часто прохаживался под тенью портика, окруженный группой юношей, с которыми он беседовал и которые слушали его с любопытством и благоговением! Длинная борода с проседью ниспадала ему на темную, живописно драпированную тогу, высокий открытый лоб прорезывали морщины, в глазах сверкал почти юношеский энтузиазм, а в очертании губ проглядывала нежность сердца, умеющего любить. Сопровождающие его юноши были красивы, нарядны, однако же серьезны и скромны; пожилой человек напомнил ей Менохима. Хотя другими были его движения и черты, другая фигура и одежда, однако же между ними было нечто общее. От соотечественника, продающего духи, она узнала, что этот человек был одним из тех, которых римляне называли философами, что его называли также стоиком, что его имя Музоний Руф, а сопровождающие его юноши его ученики. Она вовсе не знала, ни что значат названия — философ и стоик, ни чему, собственно, мог учить Музоний, но в ней зародилось жгучее любопытство услышать речь его, усвоить те поучения, которыми он наделял своих юных соотечественников. Она усердно ловила звуки долетающей до нее беседы и раза два услышала произнесенные Музонием сло-

ва справедливость, добродетель, чистота сердца, сострадание, верность. Что это значит? Там, в Транстибериме, часто произносили эти слова, и, право, в устах этого римлянина они имели точно такое же значение, как и то, в каком их произносил Менохим. Она чувствовала какое-то странное влечение к этой медленно прохаживающейся по портику группе, и когда взгляд одного из юношей, случайно упавший на нее, остановился на ее волосах и лице, она произнесла мысленно: «Как они прекрасны»

Один из них однажды сказал ей:

Ты прелестна, маленькая иудейка! И если бы я был живописцем, то я тотчас бы нарисовал твою голову!

Проси об этом Артемидора! — сказал другой

Час спустя мимо молодой вышивальщицы проходила немного знакомая ей жительница Затибрия, разносящая по городу разные изделия. Девочка попросила у нее стальное зеркальце и, как бы присматриваясь к искусной рамке его, разглядывала отражение своего лица. Потом она была еще веселее обыкновенного и громко смеялась, глядя на игры маленьких мальчиков, которые в портике подталкивали гибкими тростями обручи, украшенные колокольчиками. Обручи катились и звенели, мальчики в коротких туниках с золотыми цепочками на шеях гнались за ними. Молоденькая вышивальщица смеялась, принимая участие в забаве. О, как ей хотелось подскочить, схватить одну из гибких тростей и вместе с этими детьми бегать в тенистом портике за звенящим обручем... Она чувствовала вдруг, что ноги у нее начинают болеть оттого, что она простояла целый день, и, опустившись на мраморный пол, сядила у подножия колонны, а чем больше день приближался к концу, тем большая тишина воцарялась в портике и на улицах около него. Крохотная фигурка ее как бы съеживалась. В тенях, начинающих наполнять портик, окончательно потухали те искры, которыми ее осыпало утреннее солнце, когда она приходила сюда. Она вставала и, шагая медленно, совершенно иначе, чем утром, покидала Авентинский квартал, переходила через мост, под которым глухо шумели воды реки, и исчезала в этом густом, удушливом тумане, который подобно куполу из грязного стекла охватывал обитель нищеты.

Однажды, после того как Менохим отверг блестящее предложение Юста, молодая вышивальщица, входя в Авентинский портик, увидела необычайное зрелище. Это было в пополуденные часы, в которые римляне обыкновенно

наполняли бани. Улицы были почти пусты, в портике сидело только несколько разносчиков, и редко шаги спешащего прохожего ударяли на минуту о мрамор, потом все смолкало. Вышивальщица пришла сюда в неудачную пору, ее задержали в другом месте, где раскупили значительную часть товара. Недалеко от входа в портик был воздвигнут высокий помост, на котором находилось несколько человек. Одного из них вышивальщица заметила прежде всего

Молодой, высокий, в белой тунике с обнаженными плечами, он сидел на ступени помоста и кистью, которую держал в руке, рисовал на холстине, занимавшей широкое пространство между потолком и капителями колонн; часть этой полосы, которая, очевидно, должна была окружить портик блестящим венцом, была уже окончена. Она состояла из цветов и колосьев, заключенных в рамы из греческих фестонов и грациозно перемешанных с множеством детских фигурок, крылатых, шаловливых, смеющихся. Характер этой работы был таким же веселым и изящным, как лицо и движения самого художника. Несколько других молодых людей помогали ему в работе. Они подавали ему краски, кисти, легкими движениями рук набрасывали на стене очертания следующего рисунка, сбегая на несколько ступеней ниже, издали присматривались к уже оконченным частям работы, испускали восклицания удивления или делали робкие замечания. Они казались его учениками

Она так жаждала увидеть вблизи одного из тех, произведения которых наполняли ее странным наслаждением, теперь смотрела на художника с жадностью, и хотя религиозные верования едомитов были ей известны только по слухам, хотя ее с малолетства учили поклоняться единому Богу, в глубине души своей она тревожно, но с благоговением назвала его полубогом. В последнее время работницы Сары окончили много работ, а она в награду за сделанную ею вышивку, которая была еще красивее и оригинальнее других, получила от доброй женщины, чуточку балующей ее, поручение распродать товар. Итак, она приходила и смотрела. Он ее и не замечал. Утром он являлся сюда веселый, в свите своих учеников и поклонников, быстро взбегал на вершину помоста и оставался там часами, погруженный в свою работу, порой только смеясь над замечаниями своих поклонников или же освежая пунцовые губы сочным плодом, поданным ему. Вышивальщица вынимала в полдень из-за пазухи кусок хлеба и сыра и, быстро съев их, снова предавалась своему, никем не замеченному созерцанию.

Однажды почти рядом с нею раздался громкий голос:
— Артемидор! Артемидор!

Так позвал художника один из его учеников, сухощавый, товкий юноша, который сбежал с помоста на самый низ портика и, протянув вверх руку, показывал учителю на одну из лилий, которая снизу могла показаться слишком маленькой и вялой. Артемидор обернулся и, грациозно перегнувшись на своем высоком сиденье, взглянул вниз на ученика. Взгляд его упал и на девушку в полинявшем платье, с головой, залитой волной огненных кудрей, с устремленным на него взглядом черных глаз. Он весело поглядел на нее с минуту, но потом отвернулся и опять погрузился в работу. Однако на следующий день на минуту остановил взгляд на лице девушки. Она не опустила глаз перед этим взглядом. Они улыбнулись друг другу.

Вскоре после этого Артемидор пришел в портик в сопровождении только одного ученика. Он рисовал долго, потом наконец, небрежным жестом наклонив голову, спросил:

— Кто ты, девочка?

Она отвечала подавленным голосом:

- Я иудейка.

Артемидор громко засмеялся.

— Если бы ты мне ответила иначе, я сказал бы тебе, что ты лжешь.

— Солнце Азии не касалось моих волос, я родилась в Риме.

— Действительно? И, клянусь Юпитером, не причинив Риму стыда. Латинская речь чуточку забавно звучит в твоих устах, но это делает тебя еще оригинальнее, а римляне питают страсть ко всем редкостям. Как тебя зовут?

— Миртала.

— И имя это также редкое. Где ты живешь?

— В Транстибериме.

Он поглядел на нее еще с минуту и снова вернулся к своей работе. Через некоторое время он опять взглянул вниз, точно желая убедиться, что она не ушла. Она продолжала стоять на том же самом месте, смотря куда-то вдаль мечтательными глазами, со скрещенными на груди руками. Солнечные лучи, забравшись под карнизы портика, разжигали в ее волосах и ниспадающих с плеч вышивках тысячи искр. В глазах художника выразилось нечто вроде восхищения.

— Что, это твоя работа? — спросил он.

— Моя, — отвечала она и с гордостью широко развернула одну из полос.

— Прелестные узоры! — воскликнул художник — Откуда ты их берешь?

— Я составляю их сама. Я импровизаторка.

— Арахна! Я должен вблизи присмотреться к тебе и к твоим работам!

Воскликнув это, он соскочил с места и живыми, гибкими движениями, с кистью в руке, стал спускаться с помоста. В эту минуту в портике показалась женщина с величавой осанкой и в богатом наряде, ведущая за руку девятилетнего ребенка в пурпурной короткой тунике, пунцовых сандалиях и с золотой цепочкой на шее. С черных как смоль кос этой женщины газовая вуаль, подобно легкому серебристому облаку, ниспадала на ее белое платье, роскошно вышитое серебром, на плечах застегнутое рубиновыми запонками. За нею на некотором расстоянии шел слуга, несущий различные школьные принадлежности: дощечки, стили. Завидев ее, Артемидор почтительно поклонился. Она уже издали приветствовала его дружеской улыбкой, а ребенок, вырвав свою руку из руки матери, с радостным криком побежал вперед и, обнимая маленькими ручонками художника, доверчиво щебетал с ним. Это был мальчик живой, красивый, с эластическими движениями и глазами, искрящимися живостью и умом. Он рассказывал, что возвращается из школы, куда мать зашла сама, чтобы проводить его домой, и где именно сегодня учитель Квинтилиан рассказывал прелестную историю о Манли, который помогал бедным, защищал угнетенных и погиб такой страшной, лютой смертью

— Тише, Гельвидий! Дай же мне поздороваться с нашим другом Артемидором.

Величавая и нарядная женщина проговорила эти слова с устремленным на ребенка ласковым взглядом, который озарил ее несколько строгие черты выражением доброй и спокойной веселости.

— К работе твоей, Артемидор, я присматриваюсь уже давно, проходя тут в отсутствие твое. Этот несимпатичный Цестий теперь вдвойне будет гордиться своим портиком, когда его украсит твоя рука. А теперь он сильно нуждается в утешении. Со времени того поражения, которое он испытал, ведя войну в Иудее, он сильно приуныл и не так веселится, как во времена Нерона, любимцем которого он был.

— Весь Рим говорит о его недоразумениях с женой, — ответил Артемидор. — И, право, нельзя не удивляться восхитительной Флавии, что союз с ним не мог ее удовлетворить.

— И что она ищет удовлетворения, как говорят, в каких-то чудовищных азиатских верованиях и суевериях, — презрительно сказала женщина.

Черные брови молодого художника дрогнули.

— Азия захватывает нас повсюду, достойная Фания! — ответил он угрюмо. — И, может быть, близка та пора, когда мы, как азиаты, будем бить челом перед нашими правителями, перед которыми, как перед царями Сартов, стража будет носить огонь, символ их святости. Рабская покорность и суеверие — вот подарки, которые нам подносит завоеванный нами Восток...

— Завоеванный! Какой ценой! — с горечью сказала Фания.

Но Артемидор не мог долго предаваться мрачным мыслям.

— Но Азия, — воскликнул он весело, — присылает нам также порой интересные и грациозные явления! В ту самую минуту, когда ты появилась, достойная Фания, я разговаривал с какой-то девочкой, у которой прелестнейшие волосы и глаза. Вдобавок она..

Взгляд его искал Мирталу, которая с любопытством ловила слова их разговора.

— Ты еще тут! — воскликнул он, — взгляни, госпожа, на нее и на ее работы!

— Девочку эту, — отвечала Фания, — я вижу тут давно и не раз уже покупала у нее вышивки, которые она продает. Я не знала, однако...

— Взгляни, госпожа, взгляни внимательно! — восклицал Артемидор, который развертывал полосу белоснежной шерстяной материи, покрытую листьями и цветами таких красок и форм, какие могли только пригрезиться пылкой и роскошной фантазии. — Арахна, бывшая в ткацком искусстве соперницей Минервы, могла бы позавидовать этим крошечным ручкам... Кто тебя учил рисовать?

— Симеон, муж Сары.

— Следовательно, учителем ее был какой-то иудей, наверно, неученый и, как они все, чуждый нашему искусству! Как я желал бы иметь тебя своей ученицей!

Остолбеневшая от изумления, Миртала стояла, облитая пылающим румянцем, с радостной улыбкой на слегка при-

открытых губах. Вдруг она услышала слова, произнесенные дружеским голосом

— Приди в мой дом, я покажу тебя моей матери и нашим друзьям, и ты мне должна рассказать свою историю... — сказала Фания.

— Я говорил тебе, Миртала, что римляне в настоящее время питают страсть ко всяким редкостям, а ты редкость!.. — со смехом воскликнул Артемидор.

И, обращаясь к Фании, он прибавил:

— Позволишь ли ты, госпожа, быть сегодня гостем твоим?

— Ты не можешь сомневаться в моей дружбе к тебе, а муж мой, который вскоре вернется из Базилики, и Музоний, который сегодня обещал навестить нас, будут рады видеть тебя.

Фания позвала сына и, обращаясь к Миртале, сказала

— Ступай за мной...

Миртала внезапно побледнела и даже отступила шага на два. Войти в один из этих домов, на которые она столько раз смотрела с восхищением, о жителях которых ей грезились всегда столько удивительных вещей, было бы для нее неизмеримой радостью. Притом она услышала, что там будет Музоний... Значит, она увидит этого человека... Но ведь это был дом едомитов! Разве же ей было дозволено переступить через порог тех, кого проклинали ее братья? Что сказал бы на это Менохим? Что бы сказала Сара, старший сын которой погиб недавно на войне с едомитами? Что бы сказал муж Сары, угрюмый Симеон, жесткие щетинистые брови которого с ненавистью хмурились при одном упоминании римлянина? Что сказал бы на это Ионафан, если бы он вернулся и узнал, что его невеста посещает дома тех, с которыми он так беспощадно боролся в стенах осажденного Иерусалима? Она подняла глаза, полные слез и уже готовилась проговорить: «Не пойду за тобой, госпожа!» — когда Артемидор слегка коснулся ее руки и сказал

— Иди! Не бойся! Мы — люди и доброжелательно относимся ко всем людям, откуда бы они ни были родом

Она забыла обо всем. Транстиберим, Менохим, Сара, Симеон, Ионафан перестали существовать для нее. Сияющая, с вернувшейся к ней живостью, пошла она за Фанией и Артемидором. Из разговора их она вскоре узнала, что ей предстояло оказаться в доме претора Рима, важного сановника, имя которого часто с ужасом упоминало население предместья за Тибром. Дрожа, входила она в дом, где на

полу из серого мрамора блестящая составленная из пурпуровых букв гостеприимная надпись: «Добро пожаловать!»

II

Хотя Гельвидий Приск был важным сановником, а Фания происходила из сенаторского знатного рода, дом их не принадлежал к числу богатейших в Риме. Тем не менее перистиль, украшающий заднюю часть дома Гельвидия и Фании, со множеством колонн из желтого нумидийского мрамора, из-за которых просвечивалась зелень сада, с крепким запахом растений, цветущих в белоснежных вазах, был местом изящным и красивым. Это было то место, в котором в свободные часы охотнее всего собиралась семья и в котором принимали самых близких и приятных гостей. Вокруг стола, опирающегося на львиные лапы и поддерживающего серебряную резную чашу, наполненную плодами, сидели гости. Самое почетное место — кресло с ручками, с пурпуровой обивкой, с искусной резьбой и высокой, мягкой подножкой — занимала мать Фании, Ария, женщина уже старая, неразговорчивая, с лицом тонким и белым, как лепесток лилии, смятый во множество морщин. Это была суровая, замкнутая в себе женщина — и не только ее траурное платье, но ее бледные, молчаливые губы и выражение глаз, глубоко впавших под черными еще бровями, неизбежно заставляли думать о каком-то горе. С того дня, когда под Филиппами последние республиканские отряды были покорены гением и удачей преемника первого цезаря, непрерывная вереница заговоров, бунтов, крови и траура тянулась в течение царствования десяти последующих самодержцев. Отец Арии Пето Зесина и муж ее Тразей — первый по повелению цезаря Клавдия, другой по воле Нерона — погибли преждевременной и ужасной смертью. Мать ее, не желая пережить своего супруга, добровольной смертью своей опередила его мученическую кончину.

У ног ее, опершись на ее колени, подняв к ней румяное личико, сидел маленький Гельвидий; он что-то рассказывал бабушке.

Из-за белого платья Фании выглядывала головка молоденькой девушки с огненными кудрями. Ее черные глаза поглядывали на всех с любопытством и вниманием. Миртала, часто приходя в этот дом, где раскупали значительную часть ее товара и где часы пролетали для нее как одна

сладостная минута, уже рассказала им о своем прошлом. Во время ее первого посещения Фания спрашивала:

— Не гречанка ли ты немножко, девочка? Может, по отцу или по матери? Имя твое походит на греческое.

С опущенными ресницами Миртала отвечала:

— Галилея, наследие сынов Израиля, была родиной моих отца и матери. Отец мой был рыбак, спокойно закидывающий свои сети в воды голубых озер, но, под управлением римлянина Феликса замешанный в бунт залаторов, был отдан Феликсом в рабство одному греческому вельможе, в дом которого добровольно последовала мать моя Ревекка. Хорошую работницу, умеющую ткать тонкие материи и прелестно вышивать, грек охотно принял в свой дом. В этом доме мне и дали имя Мирталы.

Все более оживляясь, она рассказала, что из неволи маленьким, внезапно осиротевшим ребенком выкупил ее Менохим. Чума убила ее отца. Душа ее матери, давно тоскующая о свободе и о своем родимом голубом озере, тоже вскоре рассталась с телом. Тогда-то Менохим выкупил ее из неволи. И не только ее одну. Менохим посвятил все свое состояние на выкуп иудейских детей из неволи едомской. Он был когда-то богат. Отца его вождь римский, Помпей, первый вторгнувшийся в Иудею, привел в Рим в качестве военнопленного. Тут он остался служить у богатого и щедрого хозяина, который, освободив его, завещал ему значительное состояние. Менохим не употребил его ни на ведение выгодной торговли, ни на пиры, ни на роскошные платья. Он не женился, и своих детей у него не было. В Риме, в Эфезе, Антиохии и Коринфе он отыскивал маленьких детей иудейских, родители которых умерли в неволе. Таким образом он вернул свободу многим девочкам и мальчикам. Теперь все они уже взрослые. Одни всдут торговлю в отдаленных странах, другие занялись земледелием в Иудее, и только двое осталось при Менохиме, потому что он привязался к ним больше всего; это — она и Ионафан...

Произнеся это имя, она вдруг умолкла, она знала хорошо, почему при чужих его не следовало произносить, и, испуганная тем, что сделала, она снова быстро-быстро заговорила о своем приемном отце.

Собравшиеся в перистиле несколько человек с вниманием слушали историю Менохима. Взгляд Фании стал менее величавым и более дружеским; с пунцовых губ Артемидора совершенно исчезла веселая улыбка. Ария даже поднимала

пожелтевшие отяжелевшие веки, и под черными бровями суровые глаза ее сверкали блеском безмолвного сочувствия.

Рассказывая о Менохиме, она понимала, что она не должна быть тут, однако же ее приковывала к этому дому любознательность ее чуткого ума, приковывал звучный голос Артемидора, который, обращаясь к Музонию, спрашивал:

— Учитель, как же это может так быть, что всегда и вечно радость и торжество одних являются скорбью и унижением других? Будучи еще малым ребенком, я слышал Сенеку, когда он говорил: «Человек для человека должен быть святыней». Разве же не люди эти иудеи, у которых отняли и опустошили отчизну? Разве же не человек этот Менохим, душа которого переполнилась горечью от нашей радости?

— Ты сказал правду, Артемидор! — с сожалением ответила Фания. — Этот иудей — человек добродетельный.

Вдруг бледные и всегда молчаливые губы Арии открылись и голос, глубокий, подавленный, проговорил:

— Давно-давно тот же самый гнев и та же самая скорбь в сердцах наших!..

Слова эти, таинственные для чужого уха, однако тут были понятными, и серые глаза Музония засверкали почти юношеским блеском.

— Да, достойнейшая, и та же самая борьба, которую ведут благородные и гордые...

— Падая среди нее на половине своего пути, как подкошенные колосья и срубленные дубы... — закончила Фания.

О ком они говорили, кого внезапно побледневшая жена претора сравнивала с преждевременно подкошенными колосьями и срубленными дубами, Миртала не знала, но очень хорошо понимала, что прошлое этого дома преисполнено тяжких печалей и кровавых утрат; несмотря на богатство, спокойствие и веселость, чувствовалась нависшая в воздухе слеза невыплаканного горя.

Без тени боязни переступала она теперь порог дома претора. Она задрожала и побледнела, когда в первый раз молодой слуга доложил присутствующим о приходе хозяина дома. В то же время из открытой колоннады, с которой для того, чтобы впустить в дом летнюю теплоту и запах цветущих в перистиле растений, сияли цветные покровы, она увидела высокого, молодого еще человека крепкого сложения, с черными, как воронье крыло, волосами, быстрыми шагами проходящего две обширные залы; движения его

были живы, черты лица — красивы. Когда он переступил порог перистиля и бросил взгляд на собравшихся, дружеская улыбка смягчила суровость его черт, мужественный громкий голос, в котором чувствовалась привычка повелевать, произнес привет и — о чудо! — рука из-под складок плаща вынула детскую игрушку. Это был мячик искусной работы, состоящий из гибких золотых обручей. Маленький Гельвидий подбежал к отцу, который на минуту высоко приподнял его, а потом, смеясь, с такой силой подбросил золотой мячик, что он, прокатясь через перистиль, исчез в густой зелени лужайки, расстилающейся у подножия колонны.

Мальчуган, крича от радости, погнался за мячиком, а Гельвидий Приск, спустив плащ с плеч, сел за стол, заставленный плодами и вином. На нем не было величавой одежды претора, потому что он пришел не прямо из Базилики, где он исполнял должность верховного судьи, но из бань, куда он заходил обыкновенно перед возвращением домой. Вероятно, выходя оттуда, он в одной из окружающих бани лавок купил игрушку, которой хотел порадовать своего единственного сына. В белой тунике, украшенной пурпурными сенаторскими каймами, он подносил к губам чашу с прохладительным напитком и окидывал взглядом лица тех, кого он любил. Вскоре, однако, он опять нахмурился, когда, отвечая на вопрос Музония, заговорил о знаменитом процессе Гераса. Что же сделал этот человек, стоик, давно держащийся вдали от шума и блеска столицы и двора и голова которого несколько недель тому назад упала под ударом топора на площади, служащей местом казни преступников? Герас — преступник! Нет, это был добродетельнейший из людей, и только философия стоиков, которую он исповедовал, не могла сдержать его запыльчивости, а отдаление от света превратило ее в правдивость, не знающую границ. Он забылся в цирке, глядя на Беренику, когда, покрытая драгоценностями, она нежно склоняла голову на плечо Тита; он крикнул сыну императора, что народ римский еще чтит семейные добродетели и что вид его любовных приключений развращает душу. Словам его ответили громкие рукоплескания во многих местах цирка, но вскоре голова Гераса рассталась с телом, а имущество его Веспасиан конфисковал.

— Я сам посоветовал детям Гераса, — говорил Гельвидий, — чтобы они затеяли тяжбу об отцовском наследстве, а, прежде чем стороны предстанут перед сенатом, претор решает дело. Вчера со мной говорили послы Веспасиана,

который боится потерять свою добычу. Сегодня в Базилике Марк Регул, этот клевет Нерона, в течение трех поворотов водяных часов ядовитой слюной своей оплевывал память Нерона, а Плиний Секундий — юноша, достойный своего великого дяди, — защищал его детей

Гельвидий на минуту умолк и отер капли пота

— Говори дальше, — прошептала Фания.

— Я признал, что дети Гераса правы, — закончил претор.

— Ты хорошо поступил! — воскликнула Фания, — но, — прибавила она тише, — это еще одна капля, подлитая в чашу оскорблений Веспасиана.

В другой раз, тотчас после прихода претора, в перистиль вбежала женщина, немолодая, нарядная, с фальшивыми рыжими волосами, с нарумяненным лицом, в платье, украшенном искусственными розами. Это была Кая Марция, родственница Фании, одна из тех женщин, каких в Риме встречалось множество и которые, пережив бурную и преисполненную любовных приключений молодость, под старость утешались нарядами, упоениями пиров и зрелищ, а более всего собиранием и разглашением различнейших вестей обо всех и обо всем. С раннего утра до поздних сумерек, находясь на улицах и площадях, в портиках и садах, в храмах и банях, в приемных и столовых, зная всех, начиная с простого ремесленника или невольника, служащего в знатном доме, до высших сановников, и разговаривая со всеми, она узнавала обо всем раньше кого бы то ни было другого, и то, что она узнавала, разносилось по громадному городу. Благоухающая розами, прижимая к груди маленькую собачку, косматая мордочка которой выглядывала из-за роз и пестрых тканей наряда, Кая Марция вбежала в перистиль, крича:

— Приветствую вас, достойные! Здравствуй, претор! Проходя, я видела тебя выходящим из носилок! Значит, ты уже вернулся из Базилики, в которой ты, верно, еще не узнал самой важной нынешней новости! Сегодня ночью Домиция Лонгина исчезла из дома мужа своего, Елия Ламии! Ее похитил и задержал в своем дворце Домициан, младший сын цезаря, которого да соблаговолят боги сделать бессмертным! Что же ты на это ответишь, претор? Бедный Ламия! Однако я не жалею этого слепца. Я предостерегала его, а он мне ответил со смехом: «В каждой женщине, молодой и красивой, ты видишь, Марция, себя самое; но знай то, что моя Домиция вовсе не похожа на

тебя!» Его Домиция! Вот она уже принадлежит не ему, а молодому императору! Что он теперь сделает, этот влюбленный слепец? Я бы не советовала ему бороться с Домицианом; капризам этого лысеющего юноши придется уступать даже старому Веспасиану и красавцу Титу. Теперь, говорят, он добивается, чтобы его послали на войну с алланами. Ведь у нас будет война. Недаром в Сицилии выпал кровавый дождь, а в Вейях родился поросенок с ястребиными когтями! Несчастья висят над Римом. А ты, претор, будь настороже. Я слышала, что ты жестоко оскорбил божество своим приговором, произнесенным по делу детей Гераса. Два дня тому назад за столом Веспасиана кто-то вдруг спросил почему прекрасная Фания никогда не показывается на придворных собраниях? Предсказывают императорский эдикт, который обречет философов на изгнание из Рима. Цестий разводится со своей женой Флавией, которую иудеи научили чтить ослиную или козлиную голову. Слышали ли вы о драгоценном перстне, который Тит приобрел для Береники. Ни у одной римлянки никогда не было таких драгоценностей, какими Тит украшает свою иудейскую возлюбленную.

Говоря все это, она большими глотками осушила чашу вина и покинула дом Гельвидия.

— Клянусь мстительным Юпитером! Не Ламию только оскорбил Домициан, оскверняя очаг одного из римских граждан! Неужели же никто уже не может быть защищен в стенах своего дома от капризов и нападения сына цезаря! Теперь бы цензоры, те древние охранители римской добродетели, не бездействовали бы, если бы... если бы эта должность еще существовала! Но что уцелело еще в Риме из того, что когда-то существовало? Где самостоятельность и гордость сената, который только иногда отваживается быть слабым эхом своего прошлого? Где народные трибуны, разум и красноречие которых, защищая права народа, вместе с тем возвышали его над подлостью, приниженностью и над животным корпением, над интересами брюха, которого уже не хотят прокармливать обленившиеся руки? Все эти гарантии защиты и достоинства Рима сосредоточены в одной руке, возложены на одну главу...

— Несчастный, оскорбленный Ламия.

— Домиция Лонгина до сих пор верно и искренно любила своего супруга.

— Да! — насмешливо воскликнул Гельвидий. — Но какая любовь и какая добродетель могут устоять в Риме против людей с Палатинского холма?

— Фундаментом которых является чернь, развращаемая щедро рассыпаемой ей милостынею, безумием игр — проговорил Музоний.

Потом заговорили о тяжбе, затеянной другом Домициана Метием Гором с целью отнять половину состояния у Поллии Аргентарии, вдовы поэта Лукиана, осужденного на смерть Нероном. Домициан поклялся, что друг его выиграет этот процесс, который вскоре должен был быть решен судом претора

Старая Ария, неподвижная в своем кресле, медленно шевелила своими увядшими губами и шептала:

— Все одно и то же! Все одно и то же!

Маленький Гельвидий забавлялся с мячиком, который, свертывая в воздухе со звяканьем свои золотые обручи, падал на траву в форме золотого полумесяца

Миртала, присев у подножия колонны, следила за игрой ребенка.

— Пойдем, — сказал ей однажды маленький Гельвидий, — я покажу тебе, как надо катать обруч по дорожке сада и бросать шары по наклонным плоскостям!

С той поры она принимала участие в играх, к которым она столько дней присматривалась в Авентинском портике с завистью и восхищением. Наперегонки с гибким, шаловливым мальчиком бежала она за медным обручем, с пронзительным звяканьем бубенчиков катящимся по усыпанным песком дорожкам, или среди лужайки с поднятым лицом протягивала руки к спускающемуся на землю золотому полумесяцу. Свежий, благоухающий воздух сада, так не похожий на тот, которым она дышала в Транстибериме, зажигал румянец на ее белом лице. Губы ее смеялись, глаза блестели счастьем. Гельвидий и Фания, стоя среди колонн перистиля, которые в солнечном зареве и на фоне зелени горели, как огненные столбы, с улыбкой смотрели на шумную забаву их единственного сына с этой чужой грациозной девочкой; глазами художника смотрел на нее Артемидор, и вскоре после этого, держа в своей ладони руку Мирталы, он водил ее по дому претора, показывая ей различные произведения искусства, находящиеся там. Они останавливались перед покрывающей стену большой картиной, среди которой на фоне свежего, как весна, пейзажа, на берегу воды, в зелени рощи, с развевающимися русыми волосами, играла с подругами своими грациозная и поэтическая Невзикая.

Артемидор рассказывал ей историю этой царской дочери.

— Ты похожа на нее, — говорил он. — Знаешь ли ты, кто

нарисовал эту картину? Женщина Иая из Кризикоса, знаменитая художница, которой во времена Августа поклонялся, как божеству, весь греческий и римский мир. Ты также могла бы создавать такие произведения.

— Никогда! — ответила она. — Религия отцов моих запрещает кистью или резцом изображать человеческие фигуры!

— Как это? Значит, в ваших домах нет статуй?

Она покачала головой.

— И картин?

— Нет.

— И это вам запрещает религия ваша? Что же это за варварство! Какое бессмысленное и грубое суеверие!

Он смеялся. Грек по происхождению, родившийся и воспитанный в Риме, улицы и площади которого были украшены тысячами скульптур, сделанных из мрамора, бронзы, золота и слоновой кости, храмы, театры, дома которого кишели этим фантастическим населением, вызванным трудом гения двух народов из камня и металла, дитя цивилизации изящной и достигающей уже своих высших вершин, — долго, звучно, презрительно и вместе с тем искренно смеялся над угрюмым народом, считающим преступлением то, что для него было искрой сердца, прелестнейшим украшением и наслаждением жизни.

— Отчего ты так грустна, Миртала?

Они стояли посредине обширной залы, в которую дневной свет изливался через четырехугольное отверстие крыши, опирающейся на несколько колонн, в нем был виден клочок голубого неба. Полоса заходящего солнца, проникая в отверстие в крыше, стояла в воздухе огненным столбом, за которым робко пряталась девушка в полинялом платье, перепоясанном цветным вышитым поясом.

Как из портика, в который она приходила всегда веселая и бойкая, так и из дома претора, который был для нее земным раем, Миртала возвращалась в свое предместье медленно, со вздохами, с головой, отягощенной странными мыслями и мечтами; как в сновидении, перед глазами ее непрерывно проносились лица и образы, которые она оставляла позади себя, не зная, увидит ли она их еще когда-нибудь, как искры, сверкали в сумраке рубины, украшающие черные волосы Фании; уносилось куда-то высоко трагическое лицо Орфея, легкая Невзикая бежала по берегу моря, толпы крылатых амурчиков играли золотыми мячиками, ряды желтых колонн горели на солнце, как огненные

столбы среди белизны мраморов, яркие завесы ниспадали мягкими складками; лилии отражались в хрустальной воде.

— Отчего ты так грустна, Миртала?

Этот вопрос следовал за ней, и вместе с ним следовали пунцовые губы, которые проговорили его, и черные, огненные глаза, смотревшие на нее с дружеским сочувствием.

Вдруг она вздрогнула и ускорила шаг. Ее заставил очнуться сильный шум. Она проходила один из узких и грязных рынков у Транстиберима, у которого один из самых больших трактиров предместья гудел криком и смехом мужчин и женщин, соединяющимися с громкими отголосками сумбуки, пискливыми звуками флейты и глухим звяканьем систо, встряхиваемых руками сирийских танцовщиц. Этот трактир был одним из любимых увеселительных мест черни, состоящей из уличных бездельников, спившихся носильщиков, невольников, ускользящих в сумерки из дома своих господ и поспешно стекающихся сюда с той стороны реки. Тут были и акробаты, показывающие гимнастические упражнения, фокусники с учеными собаками, ворожащими курами, перепелками и петухами, тут под звуки сумбуки и флейты танцевали женщины с желтыми лицами, с серебряными кольцами на пальцах босых ног; тут жарилось любимое угощение римской черни — колбасы из свиного мяса, дешевые вина лились из амфор в кубки из красной глины, тут, наконец, иногда совершалось и привлекало к себе толпы удивительное и заманчивое чудо: вытекающий из обломка скалы ручей оливкового масла. Каждый, кто хотел, мог черпать из этого ручья. Толпы стекались к трактиру с амфорами, кувшинами и кубками в руках и были всегда так многочисленны и так смелы, что эдилы, наблюдающие за общественным порядком, и обходящие город отряды ночного караула всегда избегали этого места.

Миртала, прижимаясь к стенам домов, быстро пробежала рынок. В первый раз находилась она в такую позднюю пору поблизости от страшного трактира. Обыкновенно она возвращалась до захода солнца. Сегодня она задержалась. Долго, отвечая на вопросы, которые он ей задавал, беседовала она с художником. Мало-помалу, ободрившись, она рассказала ему о своем детстве, проведенном на плоской крыше маленького дома Менохима, вместе с ее приемным братом Иоанафаном, который был так добр к ней и кроток, так крепко любил ее, а потом пошел защищать Иерусалим и... уже не вернулся. Она рассказала о своих думах у опуш-

ки роши Эгерии, когда она приносила туда еду своему приемному отцу, а потом о своем восхищении над пальцами, в которых расстилались все более новые и прекрасные узоры, создающиеся в ее голове, а потом о страхе, который ей внушал сириец Силас, часто преследующий и ее грубыми жестами и словами...

И теперь она опять слышит голос Силаса! Он следует за ней, приближается, сливаясь с каким-то другим женским голосом, который она также где-то слышала... Ее преследуют эти два голоса. Она не сомневалась, что в прозрачном сумраке ее заметил забавляющийся перед трактором Силас...

— Клянусь Молохом и Ваалом, богами предков моих! Ты не ускользнешь от меня на этот раз, тощая перепелка! Я все-таки схвачу тебя и хорошенько откормлю свиным мясом и моими объятиями.

— Нет, позволь мне сначала, Силас, сжать ее в моих объятиях, эту проклятую вышивальщицу, которая собирается занять мое место у достойной Фании! — крикнул женский голос.

Миртала узнала голос египтянки, хромой смуглолицей горничной Фании, которая в доме претора бросала на нее часто ядовитые взгляды. Она завидовала благосклонности своей госпожи к ней и боялась, что ее заменит еврейская девушка из Транстиберима.

— Эй, Бабас! — крикнул Силас человеку, который в эту минуту вышел из трактира. — У тебя ноги длиннее моих, помоги мне и Кромии поймать эту гадину, выползшую из змеиного гнезда!

Сильная рука Бабаса опустилась ей на плечо, и от обросшего черными волосами лица носильщика пахло луком и вином. За ее пояс хватался уже Силас, а Кромия тянулась к ее лицу своими растопыренными, сверкающими серебряными кольцами пальцами.

— Не исцарапай ее, Кромия, — прохрипел Бабас. — Сначала мы присмотримся к ней при огнях, горящих в трактире...

— Наоборот — клянусь всеми богами твоими и моими! — проведи по ее лицу когтями столько раз, сколько заработка отнимает у меня ежедневно отец ее Менохим!..

— Клянусь Персефой! Что же это за нападение на невинную и беззащитную девушку? Разве на этом предместье ослепли эдилы? Разве тут никогда не проходит ночная стража? Прочь отсюда, негодяи, бесстыжие пьяницы, позор

Рима! Улепетывайте, или я призову стражу, но сначала примите из моей руки те подарки, которые вы заслужили. — закричал вдруг кто-то и толкнул Силаса в спину с такой силой, что тот зашатался на своих полупьяных ногах и упал

Потом он замахнулся на Бабаса, но тот, едва бросив взгляд на неожиданного заступника, тотчас отскочил и бросился бежать. Кромия с громким криком изумления и ужаса упала в ноги этому человеку

— Артемидор! Не губи меня! Смилуйся! Я тайком ускользнула из дома госпожи моей Фании, чтобы провести часок с Силасом и Бабасом! Эта проклятая девка старается занять мое место — подземные духи вдохновили меня местью... Достоинейший, не губи меня!

С отворачиванием оттолкнув египтянку, он нежно взял Мирталу за руку и повел ее в мрачные улицы предместья

— Покажи мне путь в дом отца твоего! Боги! Какое же это угрюмое место! Да умереть мне, если я угадаю, каким образом люди могут жить в таких лачугах! Неужели я действительно нахожусь в Риме?

— Каким образом оказался ты тут, господин?

— Когда ты вышла из дома Фании, я пошел за тобой

— За мной?

Этот ее тихий вопрос походил на рыдание. Он же наоборот, был весел, как всегда. Видно, его забавляло это маленькое приключение.

— С той поры, как я вошел в это предместье, я знаю, почему ты бываешь так печальна. Поступи согласно предположению противной Кромии, останься при Фании, она охотно отведет тебе место в своем доме. Красота и веселость заключат тебя там в свои объятия, а я буду приходить и учить тебя живописи. Я сделаю из тебя вторую Иазо из Кризикоса.

Миртала выдернула ладонь из его руки и насторожилась. Было видно, как ее руки умоляюще скрестились на груди.

— Уходи отсюда, господин.

Артемидор оглянулся.

— Потому ли мне уйти отсюда и оставить тебя одну в этой мрачной трущобе, что я опять слышу чьи-то шаги? — шутливо спросил он.

Действительно, в конце улицы показался высокий и сухощавый мужчина, лица которого было не видно. Он не догонял их, а шел на некотором расстоянии.

— Если я не ошибаюсь, сказал Артемидор, — это мошенник, с которым мне придется встретиться, возвращаясь. Это не беда, он встретит мой кулак, а если этого недостаточно, острое моего кинжала...

Он засмеялся. Короткий острый кинжал с богатой рукояткой сверкнул у него в руке

— Что же, Миртала, ты поступишь, как я тебе советую? Останешься в доме Фании? Подумай. Искусство — волшебное царство, мирное, преисполненное наслаждений, которые могли бы внушить самим богам зависть к ее избраннику. Царицей в этом царстве можешь ты быть. Ты можешь быть свободна от терзающих твой народ бессмысленных суеверий, от жалкой обстановки Транстиберима, от преследований Силаса и ему подобных... Другой сказал бы тебе, что сделает тебя своей возлюбленной. Я этого не скажу. Соблазнять невинность не мое ремесло. Я не скромник, но мало ли в Риме бесстыдниц, которые мне уже опротивели. Когда я смотрю на тебя, я лучше понимаю слова учителя моего Музония: «Честность мужа состоит в том, чтобы не заражать никого испорченностью и не оскорблять ничьей скромности». Ты занимаешь меня больше, нежели я предполагал сначала, ты чужеземная Арахна... глаза у тебя прекрасные и красноречивые, а губы твои подобны кораллу, увлажненному росой. Но в сто раз прекраснее твоих глаз и губ та искра творчества, которую неведомые силы заложили в тебя. Я превращу эту искру в пламя, я сделаю из тебя художницу, известную во всем мире, и тогда тебя окружат радостным кругом все наслаждения славы, богатства и любви!..

На этот раз он говорил серьезно и с увлечением. Она остановилась и воскликнула:

— Артемидор!

В этом восклицании была безграничная благодарность и упоительная радость. Однако минуту спустя она прошептала дрожащими губами:

— Уходи! Вот двери дома Менохима. Я увижу тебя завтра в портике. Среди вас я навсегда не останусь... никогда...

— Подумай о совете, который я тебе даю. Приходи завтра в портик. Я покажу тебе, как я рисую тех птиц, которыми ты сегодня так восхищалась...

Он быстро пошел назад и вскоре столкнулся с путником, на плечах которого он только теперь заметил котомку, а в руке посох. Спокойно прошел он мимо римлянина,

и было только видно, что он старался разглядеть его лицо. Артемидор успокоился. Этот человек не был похож на одного из тех, кто преследовал Мирталу.

Миртала уже отворяла двери отцовского дома, когда он проговорил негромко:

— Кто ты, израильская девушка, ведущая по ночам беседы с чужим юношей на языке римлян?

Испугавшись, она бросилась в дом и оставила двери открытыми. За этими отворенными дверьми виднелась комната, маленькая, низенькая, с темными деревянными стенами, потрескавшаяся нагота которых ничем не была украшена. Освещенная тусклым светом маленькой лампы, наполненная дымом, извивающимся черной нитью из наполовину обуглившейся, плывущей среди растопленного сала светильни. В темной раме стен комнаты на деревянном табурете у стола, покрытого узкими, длинными полосами пергамента, с служащей для писания тросточкой в руке сидел Менохим. При звуке поспешных шагов вбегающей в комнату Мирталы он поднял голову.

— Это ты, Миртала? Почему ты так поздно?

Но девушка, не говоря ни слова, спряталась где-то в самом темном углу каморки, а в открытых дверях стоял путник с дорожной котомкой на плечах. Менохим несколько секунд неподвижно, широко открытыми глазами всматривался в пришельца, потом вскочил с табурета и громким голосом, в котором чувствовались рыдания и радость, воскликнул:

— Ионафан!

III

Ионафан бросил свою котомку и суковатую палку на пол и, упав на колени, долго прятал свое лицо в одежде Менохима, который, опустившись на табурет, дрожащими руками обнимал его.

Светильня в лампе затрещала, страница пергамента с шорохом соскользнула со стола. Менохим подавленным шепотом проговорил:

— Сын мой! Слава Израиля и скорбь моя!

Ионафан тихо, словно молясь, сказал:

— Хвалю и прославляю Господа, что Он позволил мне увидеть тебя еще раз, отец!

— Встань, покажи мне лицо свое!

Ионафан поднялся, на нем была римская туника темного цвета, поношенная и небрежно ниспадающая почти до ступней, обутых в грубые сандалии. Шея, высовываясь из оборванных краев туники, была покрыта смуглой кожей, лицо с красивыми продолговатыми чертами, также смуглое, обросшее короткой черной бородой, поражало впалостью щек. Видно было, что эту фигуру и лицо долго и безжалостно отчеканивали голод и бессонница. Он стоял и смотрел на Менохима, пока угрюмость его лица не прояснилась улыбкой и сухой огонь его глаз не остыл в наворачивающейся на них слезе. Благодаря этой улыбке и этой слезе, которая не скатывалась, а только подернула пеленой глаза, проглянуло нечто из прошлого этого человека, далекого, юношеского, невинного.

Менохим закрыл лицо руками; сухощавый стан его, опоясанный грубым поясом, и голова, оттененная складками чалмы, медленно раскачивались.

— О, бедное, несчастное, истерзанное дитячко мое! — воскликнул он. — Зачем ты сюда пришел? Зачем ты приблизился к когтям ястреба? Лучше бы тебе было умереть с голоду в пустыне или в логовище льва ожидать часа спасения, нежели тут быть пойманным врагами и погибнуть под их мечом или сгореть в пламени костра: Я знал, что ты жив и с дрожащим от страха сердцем часто думал: он придет сюда, захочет увидеть старого Менохима и нареченную невесту свою... Когда я сторожил там, у роши Эгерии, листья деревьев шептали мне: придет! Когда засыпал, я видел ангела с траурными крыльями, который, плача от сострадания, шептал мне: придет! Я протягивал руки к небесам, умоляя Господа: пусть не приходит! И вот ты пришел, ты тут, а я, чем же я защищу тебя от врагов, чем охраню от их нападений?..

Ионафан опять улыбнулся, но уже иначе, теперь небрежно, почти вызывающе.

— Не тревожься, отец, — сказал он, — я прошел дороги длинные и многолюдные, а никто меня не узнал. Я облекся в одежду едомитов и языком их умею говорить так же хорошо, как они...

— Черты твоего лица изобличат тебя...

— Как стада коз, согнанных с пастбища своего, так рассеялись теперь израильтяне по всему свету. И в самом Риме их теперь великое множество...

— Тебя ищут. Недаром ты был другом Иоанна из Гишалы, недаром в боях ты стяжал себе славу неустрашимого

воина, недаром, упорный и непреклонный, ты принадлежал к горсти тех, кто, оставшись в храме, покинутый всеми, защищал святыню Израиля до тех пор, пока безбожные уста Тита не велели поджечь его... Сам Цезарь знает о тебе...

— Успокойся, отец! Под твоим кровом я пробуду только несколько дней. Пусть мои глаза наглядятся на твое лицо, которое было благодетельным солнцем моего детства, пусть мои уши наслушаются голоса твоего, поучения которого сделали меня тем, чем я являюсь. Потом я удаюсь так же незаметно, как и пришел. Будь спокоен. Я буду стараться, чтобы тебя не сразил этот удар, при мысли о котором дрожит твое доброе отцовское разбитое сердце!..

Менохим, ища взглядом кого-то в глубине комнаты, позвал:

— Миртала!..

При упоминании этого имени лицо молодого израильтянина стало снова жестким и угрюмым, черные брови сдвинулись.

Она вышла медленными, боязливymi шагами. Видно было, что разговор, свидетельницей которого она была, произвел на нее сильное впечатление. Лицо ее было залито ярким румянцем, робкий взгляд то устремлялся в землю, то с мягким, расстроганным выражением переносился на Менохима, то быстро, украдкой вскидывался на Ионафана и, встретясь с его пытливым взглядом, снова опускался в глиняный пол. Этот исхудалый, почерневший человек с угрюмым огнем во впалых глазах возбуждал страх в этой девушке с хрупким, тонким телом и артистической душой, увлеченной красотами красок и линий, всей радостной и блестящей лучистостью римского мира. С опущенными ресницами молча выслушала она слова Менохима, который говорил ей, чтобы она тотчас пошла в дом Симеона и Сары, известила их о прибытии Ионафана и просила их об ужине для дорогого гостя.

— Братья наши не выдадут нас, — говорил Менохим, — все они любят тебя и прославляют имя твое...

Ионафан, сдвинув брови, наблюдал, как выходила из дверей Миртала.

— Отец! — сказал он тихо. — С тех пор, как я удалился отсюда, Миртала подросла...

Менохим не обратил внимания на его слова.

— Симеон, — продолжал он говорить, — непременно сегодня должен узнать о твоём прибытии, это муж с мудрой

головой и сердцем, горячо любящим своих братьев. Он созовет завтра в дом молитвы Моадель священное собрание, на котором ты расскажешь всей общине пути, которыми вел тебя Господь...

— Отец!.. Когда я уходил, она была еще маленькой девочкой... теперь она расцвела, как роза иерихонская, и Суламиф Соломоновой песни не была прелестнее ее!..

— Супруга Симеона, Сара, женщина сметливая и умная. В доме своем устала она двенадцать пялец для вышивки, за которыми работают двенадцать работниц, и большая выгода вытекает из этого для дома Симеона. Они богаты и могут быть тебе полезными..

— Счастливы те, которые с сердечным спокойствием и радостью могут свивать семейные гнезда и вводить в них нареченных своих!

— Я доверяю также щедрой руке Гория. Он изготовляет благовонные мази и жидкости, которые его помощники продают на улицах Рима, и, конечно, этот верный сторонник кроткого учения Гиллея все-таки почитает того, который если и проливал кровь, то только в защиту земли отцов наших и под знаменем Господа Заступника.

— Отец, зачем ты позволяешь Миртале одной в позднюю пору возвращаться с той стороны Тибра? Зачем ты посылаешь ее в логовище едомское? Зачем ты научил ее говорить на языке врагов?

На этот раз Менохиму пришлось ответить, потому что Ионафан дернул его за платье.

— Сын мой! — отвечал он кротко. — Разве я и она не зарабатываем на одежду и пищу нашу? А какой бы она имела заработок, если бы я держал ее в Транстибериме, как птицу в клетке, а уста ее в присутствии чужих, среди которых мы живем, сделал немыми?

— Пусть бы лучше умерла с голоду и осталась немой навсегда, нежели...

Он сдержался и, поглядев на морщины, покрывающие лицо Менохима, на усталые, покрасневшие веки его, на его увядшие губы, остановился и только через некоторое время проговорил:

— Отец! Я не уйду отсюда без Мирталы. Я возьму ее с собой, уведу в Галлию и там в безопасном уголке совью себе гнездо, в котором укрою ее от чужих глаз...

Менохим немного подумал, потом сказал торжественно:

— С детства обещана тебе Миртала, нареченная твоя.

Уведи ее и повенчайся с ней, и да будет благословение Господа над вами и потомством вашим. Я боюсь только...

— Ты боишься, чтобы ее присутствие не затруднило моего путешествия. Пусть лучше погибнет вместе со мной, нежели...— И снова он сдержался.

По морщинам, бороздящим щеки Менохима, катились слезы.

— Осиротеет старость моя, как кедр, все побеги которого срубил топор дровосека... хорошо, что Господь в благодости своей послал мне утешение неисчерпаемое...— Рука его опустилась на пергаменты, покрывающие стол.— С ними я выживу, из них изливаются лучи, которые согреют дни моей старости!..

Только несколько сот шагов отделяло крошечный домик Менохима от жилища Сары. В комнате, просторной, хотя также низкой, с темными, потрескавшимися стенами, весело горели две большие лампы, при свете которых три молодые девушки, стройные, с густыми косами, закинутыми на плечи, из привязанной к прялке белоснежной шерсти навивали на веретена тонкие нити, а двое степенных бородатых мужчин, в длинных хитонах и тяжелых чалмах, облокотившиеся над большой раскрытой книгой, вели между собой тихий разговор. Пряхи были дочерьми Сары; улыбаясь друг другу, они весело перешептывались. Один из мужчин был Горий, торговец благовонными товарами, о котором упоминал Менохим, другой — Симеон, супруг Сары, священник транстиберимской синагоги, суровый и непреклонный сторонник учения Шамаи, учителя непримиримой борьбы Израиля. Около темных стен стояли деревянные скамьи, табуреты и сундуки, украшенные дорогими покрывками; стол, за которым сидели мужчины, был застлан восточным ковром, в углу комнаты сверкал серебряный тяжелый подсвечник, окруженный мисками, кувшинами и чашами из дорогого металла. Правда, ни на стенах, ни на мебели, ни на посуде не было ни рисунка, никаких украшений, ни веселой, грациозной игры красок или линий. Все тут было сурово, величаво, однообразно. В комнате было тихо, девушки шептались, а двое мужчин разговаривали негромко. Только в одном из ее углов, недалеко от серебряного подсвечника, раздавался от времени до времени более громкий звук юношеского голоса, но умолкал тотчас, как только Симеон поворачивал в ту сторону свое суровое лицо. Это был единственный его сын, оставшийся теперь у него после того, как был убит римлянами в Иерусалиме стар-

ший, он беседовал там со своим другом, также молодым сыном Гория. Только в другой комнате, которая была просторнее и днем освещалась многочисленными окошками, а теперь несколькими ярко горящими лампами, царили суета и шум. Там стояло двенадцать вышивальных пялец, из-за которых в эту самую минуту вставали работницы Сары. Это были женщины различного возраста, молоденькие и уже почти старухи, но все бедно одетые, с озабоченными худыми лицами. Между ними, несмотря на свою тучность, с румяными щеками и быстрым, сметливым, энергичным взглядом маленьких глаз, постоянно говоря и жестикулируя, переходя от пялец к пяльцам, сновала бойкая Сара. Целуя громко в сморщенный лоб седую уже женщину, она восклицала с шутливым восхищением

— Ах, какие глаза! Какие еще у тебя глаза, Мирнам! Как вышила ты сегодня этот прекрасный цветок!

Потом она обещала какой-то вдове, что в течение целого года будет кормить ее двоих детей, а затем опять, придавая своим добродушным чертам выражение суровости, угрожала хорошенькой девушке в блестящем ожерелье, что она прогонит ее, если та будет больше думать об украшении себя ожерельями и браслетами, нежели о совершенствовании искусства вышивания. Говоря все это, она с необычайной ловкостью отсчитывала асы и сестерции, раздавая поденную плату работницам, которые, уходя, или фамильярно целовались с ней, или, низко поклонившись ей, молча пройдя через предшествующую комнату, исчезали за дверьми, ведущими на улицу.

Сара уже несколько лет деятельно и ловко управляла своей мастерской, и зажиточность, которой отличалась ее семья, была преимущественно следствием этого трудолюбия и предусмотрительности. Симеон, когда-то искусный в шлифовке и оправе драгоценных камней, давно уже отказался от всякого заработка, почти совсем предавшись чтению и изучению священных книг, заключающих в себе историю, законодательство и изложение веры Израиля. Только его тело пребывало в этих стенах, душа же постоянно уносилась далеко на Восток, в город Ябуе, куда после ужасающих последних поражений Израиля отправились самые знаменитые его мужи, чтобы совещаться там о сохранении племенной и религиозной обособленности израильского народа. И теперь, когда Сара в комнате работниц гасила лампы, а потом, отворяя сундук, тщательно укладывала в него недавно законченные работы и со счастливой

улыбкой на губах перечисляла количество уже находящегося в сундуках товара, Симеон, слегка повысив голос и с возрастающим увлечением, говорил Горию:

— Из каждой буквы священных книг наших можно извлечь предписания, выполнять которые будет принужден каждый истинный сын Израиля. Вот задача Бет-дин, мудрого собрания, которое совещается о нашем будущем в Ябуе. Да, Горий, из каждой буквы! Они подобно непоколебимому плетню огорожат отовсюду Израиль от чужих народов. Пусть каждый поступок свой он совершает иначе и каждый час своей жизни проводит иначе, нежели сыновья народов чужих, и не смешается с ними и не утонет среди них, как жалкая капля в необъятном океане. Из каждой буквы! А тот, кто не выполнит одного из этих предписаний, хотя бы самого ничтожного, проклятие тому, проклятие суровое, неумолимое, исключаящее его из среды живых, а тело и душу повергающее в добычу ангелов смерти и мести! Выполнить это дело задача Бет-дин, заседающего в Ябуе... потому-то душа моя пребывает чаще там, нежели тут...

Горий медленно качал головой, покрытой русыми, сидящими волосами, а на белом, покрытом мелкими морщинами лице его выражалась кроткая грусть. Минуту спустя он поднял вверх указательный палец и заговорил, понизив голос:

— Когда один язычник прибыл к Гиллелю, прося его, чтобы он объяснил ему веру Израиля, Гиллель отвечал: «Не делай ближнему твоему того, чего ты не хочешь, чтобы сделали тебе». А мудрецам в Ябуе для объяснения нашей веры вскоре уже и целых лет будет недостаточно...

— Не делай ближнему своему того, чего ты не хочешь, чтобы сделали тебе! — с горечью повторил Симеон. — О, Горий! Горий! А что же с нами сделали чужие народы?

— Грешны они, конечно, — ответил Горий, — но Гиллель говорил также: «Не суди ближнего твоего, прежде чем взвесишь: что руководило сердцем и мыслью его!»

— Ближнего! — воскликнул Симеон. — Да рассыпет немедленно десница Предвечного в тленный прах мои кости, если я когда-нибудь назову грека или римлянина моим ближним...

— О, Симеон! — воскликнул Горий. — Пусть уста наших сыновей не повторяют слов, которые ты произнес.

— Уста и сердца сыновей наших, — почти крикнул Симеон, — будут повторять их из поколения в поколение; но, право, Горий, мягкосердечное учение Гиллеля тебя и подобных тебе ведет прямо к... отступничеству!

Горий вспыхнул и прошептал дрожащими губами
— Отступничество!.. Я, я к отступничеству!..

Но вскоре улыбнулся снисходительно и, взяв руку рассерженного друга, он сказал:

— Симеон! Отцом нашей синагоги именует тебя народ а Гиллель говорил: «Тот, кто позволил гневу овладеть собой не может поучать народа»

Симеон угрюмо сдвинул щетинистые брови и запустил руки в гриву черных седеющих волос. В ту же минуту Сара, которая уже привыкла к спору и столкновениям двух приятелей и никогда не принимала никакого участия в них, громким голосом позвала свою семью ужинать. Посредине комнаты стоял длинный стол с гладко выструганной доской из кипарисного дерева, изобильно заставленный мисками и кувшинами, в которых были пироги, арбузы, варенные в молоке рыба, приправленная луком, пряники, печенные из мака и меда, дешевые вина. Минуту спустя несколько человек при веселом свете ламп уселись за стол. Но едва после произнесенной Симеоном молитвы руки собеседников протянулись к мискам и кувшинам, двери, ведущие на улицу тихо отворились и в комнату вошла Миртала. Не глядя ни на кого она прошла через комнату, встала перед Сарой и долго шептала ей что-то на ухо. Сара выпрямилась, хлопнула в пухлые ладоши, соскочила с табурета и крикнула:

— Слышите! Слышите, что эта девушка мне сказала Ах! Что она мне сказала! Ионафан пришел! Ионафан находится в доме отца своего Менохима! Ионафан, который пошел туда... вместе.. с моим Енохом...

Енох был ее сын, который погиб. Закрыв лицо руками Сара горько расплакалась.

Симеон быстро поднялся и проговорил:

— Ионафан... товарищ моего Еноха...

Голубые глаза Гория заискрились.

— Ионафан! Кроткий юноша, которого любовь к отчизне превратила во льва!..

Двое юношей встали и с пылающими лицами подошли к Миртале; девушки также вскочили со своих сидений и побрякивая бубенчиками, украшающими их сандалии, окружили сверстницу и закидали ее градом вопросов.

Потом Симеон воскликнул повелительным голосом

— Замолчите! Женщины, закройте свои болтливые уста! Языки ваши подобны мельницам, а головы — пустому полю, с которого ветер любопытства сметает зерна разума!..

Голоса отца. этого сурового голоса, который не знал ни ласки, ни смеха, послушались все. Среди всеобщего молчания Симеон спросил Мирталу, с чем она пришла и чего желает. Вся залитая румянцем, с опущенными глазами, потому что никогда еще она не отваживалась взглянуть в лицо Симеона, Миртала рассказала о возложенном на нее поручении. Симеон, подумав с минуту, сказал жене:

— Сара, дай девочке всего, что ты найдешь у себя в доме самого вкусного... Налей в кувшин самого лучшего вина... Да подкрепится и отдохнет защитник Сиона...

Потом он сказал Миртале:

— Скажи тому, который сегодня навестил пороги ваши, да сопровождает благословение Господне каждый его шаг и каждую минуту его жизни, что послезавтра, тотчас по восходе солнца, в доме молитвы Моадель будет созвано священное собрание общины, которой борец и скиталец расскажет о битвах и скитаниях своих, А теперь возьми то, что в твои руки вложит Сара, и иди с миром!

Вскоре Миртала вернулась в отцовский дом и расставляла на стол миски и кувшины, которыми Сара наделила не только ее, но и одну из своих дочерей.

После первых порывов встречи, после первых коротких и отрывистых признаний Ионафан умолк. В нем чувствовалась сильная усталость. Менохим также молчал и всматривался в приемного сына с нежностью и тревогой. Миртала подала им чашу с водой, в которой они омыли руки, а потом миски с кушаньем и кувшины, из которых они наливали вино в глиняные кубки. Теперь, когда она несколько оправилась от волнений, испытанных ею в этот вечер, и тихо копошилась около стола, тот, кто знал ее прежде, мог бы подметить происшедшие в ней перемены. Еще недавно каждый узнал бы в ней израильянку, жительницу еврейского квартала в Транстибериме; теперь в ее движениях фигуре и даже в выражении ее лица было нечто, от чего веяло каким-то другим миром. Огненные кудри, прежде спутанные в густую гриву и тяжелым венцом окружавшие ее голову, теперь спускались на плечи шелковистыми косами; в живописные узлы завязывался у стана ее пояс, вышитый яркими пальмами, и когда, прямая и легкая, тихим шагом проходя по комнате, она несла в поднятой руке кувшин из красной глины, она походила на высеченные из мрамора фигуры греческих и римских девушек, что украшали площади и портики Рима.

Поднося ко рту кубок с вином, Ионафан задерживал его

у бледных губ и сверкающим среди темной синевы, окружающей его веки, взглядом следил за Мирталой. Когда по окончании ужина она исчезла на темных ступеньках, ведущих в находящуюся наверху комнатку, он сказал Менохиму

— В девочке я чувствую что-то чужое... от нее веет Римом...

Менохим отвечал:

— Она добра, покорна и трудолюбива. Никогда из-за нее не плакали глаза мои. Сара считает ее первой работницей. Она будет тебе верной женой, женщиной, создающей дом мужа.

Помолчав с минуту, Ионафан сказал.

— Скажи ей, отец, чтобы она никуда не уходила. Она моя. Я не оставлю ее ни за какие сокровища мира. Прошли дни крови и скитальчества. Я жажду дня радости. Миртала станет моей женой, и я поведу ее в Галлию, чтобы она была там украшением моей жизни.

Вскоре после этого в доме Менохима стало тихо. На террасе, закрытой стеной от взгляда тех, кто рано утром проходил по улице, Ионафан лежал на мягкой постели присланной ему Сарой, с лицом, обращенным к ночному небу, и широко открытыми глазами всматривался в звезды. Губы его тихонько шевелились, точно он молился или беседовал с кем-то невидимым.

В эту минуту тихо отворились двери дома и из них в ночном сумраке выскользнула тонкая женская фигура. Большой камень лежал у порога, она уселась на него, вдохнула теплый воздух, освеженный дуновением ветра и закрыла лицо руками.

— Бедный он, бедный! Бедные они! — прошептала она,

Она думала об Ионафане и Саре, оплакивающей убитого сына, об угрюмом Симеоне, кротком Гории, о двух юношах, у которых сегодня при известии о прибытии защитника Сиона были такие взволнованные лица и слезы на глазах.

— Бедный он, — повторяла она, — почерневший от нужды, с побелевшими губами. Бедные все они, терзаемые печалью, бедностью и гневом! Бедные мы все

IV

— Артемидор! Куда ты так спешишь? Один, в сопровождении только своего Гелиаса! Где веселые друзья твои? Разве тебя покинули твои ученики и поклонники?..

Так звучал громкий и пискливый, хотя и украшенный изящным акцентом, женский голосок.

Это было на улице, которая, извиваясь из-под Остийских ворот, спускалась по склону Авентина к высокой арке Германика и просвечивающей за ней полосе реки. На реке из-под арки виднелся мост, соединяющий Авентин с Яникульским холмом, у подножия которого раскинулся иудейский квартал. Длинный ряд изящных домов отделял эту улицу от рыбного ряда, шум и смрад которого приносил сюда ветер; это была улица, захваченная как бы двумя дорогими пряжками, Остийскими воротами и аркой Германика с базальтовыми тротуарами, наполненными прилично одетыми прохожими. Из-под высоких сводов Остийских ворот высыпало на улицу несколько нарядных и надушенных мужчин, перед ними скорее бежала, нежели шла бойкая и ловкая Кая Марция, старающаяся догнать стройного мужчину в белой тунике, за которым следовал молоденький мальчуган, одетый в греческий хитон. Посреди улицы несколько носильщиков несли блистающие украшениями пустые носилки. Кая Марция предпочитала ходить по городу пешком, потому что таким образом могла легче останавливаться во всех воротах и портиках, под всеми арками города, чтобы смотреть, слушать, ловить по дороге знакомых и незнакомых, завлекать прелестью еще недурных глаз и пустой, но веселой болтовней празднующихся, которые свободное от визитов, пиров и бань время проводили на открытом воздухе и в бессмысленном утаптывании мостовых города. Сегодня на Каяе было платье, роскошно обшитое волнистыми каймами, и множество янтаря на полуобнаженной груди и плечах, в ушах и волосах, которые несколько дней тому назад были рыжие, а теперь вдруг стали черными. Черные кудри были ей больше к лицу, нежели рыжие, и когда Артемидор при звуке своего имени остановился посреди тротуара, он увидел перед собой красивую женщину, оживленную, стреляющую кокетливыми глазами, размахивающую белыми руками, на которых сверкали дорогие кольца. От окружавших ее мужчин веяло сильным запахом духов. Завитые, одетые в цветастые платья, с усталыми, скучающими лицами, они встретили его хором при-

ветливых, веселых восклицаний. Один из них заговорил стихами, но Кая перебила его и, одной рукой держа серебряную цепочку, на которой она вела за собой свою собачку, другую опустила на плечо живописца.

— Откуда ты, Артемидор, в эту пору и в этом месте?

— Пора и место одинаковы для меня и для тебя, госпожа, — смеясь, ответил художник.

— Клянусь Дианой, в храме которой я провела сегодняшнее утро, ты дал мне уклончивый ответ! Я хочу знать, куда ты идешь?

— На Яникуль, в сад Цезаря...

— Через час солнце уже зайдет. Разве ты намереваешься прогуливаться в темноте?

— Я хочу нарисовать ночь, опускающуюся на цветы так, как беспощадная старость опускается на женские лица

Спутники Каи фыркнули от смеха, один из них опять начал стихами восхвалять остроумие художника. Кая также засмеялась.

— Вот и задел меня! — воскликнула она. — Это ничего, я не стану сердиться на тебя, потому что ты самый красивый юноша в Риме и вдобавок музы отомстили бы мне, если бы я причинила тебе какое-нибудь зло. Почему ты сегодня так одинок? Гелиас — прелестный мальчик, но общество его не может тебя удовлетворить. Ступай с нами. В Остийских воротах мы встретили разносчика, который угостил нас замороженным молоком и превосходными пирожками, начиненными фаршем из птичьих внутренностей. Теперь мы направляемся в храм Юноны, где я хочу принести в дар сердце, отлитое из золота и украшенное прелестнейшим из моих изумрудов. Это будет жертва, достойная богини, к которой я чувствую особое благоговение. Потом, Артемидор, я сяду в свои носилки и меня понесут на Марсово поле, потому что я горю любопытством увидеть приготовления, которые там делают для игр Аполлона. Пойдем с нами!

Артемидор рассеянно смотрел куда-то, он ответил:

— Нет, госпожа, я ищу сегодня одиночества, а присоединись я к тебе, очутился бы в обществе всего Рима..

— Ты опять задел меня, неисправимый! Ведь не первый раз ты даешь мне понять, что я сплетница. Я скажу тебе за это две новости, которые, наверное, тебя настолько же огорчат, насколько меня радуют послезавтрашние игры. Знаешь ли ты хоть что-нибудь об этих играх? На Марсовом поле мы увидим троянские танцы; да, троянские танцы, там

будет и сам красавец Тит. Я умираю от любопытства и лечу посмотреть. как строят трибуны и ложи. Вероятно, отдельная ложа будет воздвигнута для Береники и ее свиты.. Говорят, что по окончании игр Береника возложит лавровый венец на голову Тита, а в эту самую минуту будет объявлено народу о супружестве будущего императора.. с иудейкой... Действительно ли мы дождемся того, что наши императоры будут жениться на женщинах Востока?. Но богам все дозволяется.. Я буду смотреть на игры из тожи Цестия..

— Ты забываешь, госпожа. что ты должна мне отомстить.— прервал Артемидор.

Она едва могла припомнить то. что говорила минуту назад.

— Да. клянусь мстительной Юноной! — со смехом воскликнула она.— Ты сегодня беспощадно колол мне глаза старостью и сплетничеством, я должна взамен огорчить и тебя

Она приподнялась на цыпочки и, продолжая опираться рукой на его плечо, продолжала таинственно:

— Пусть твои друзья будут осторожными. Зловещий ветер дует над домом Гельвидия и Фании и над головой этого старого ворчуна Музония. Если претор не решит дела Кара и Аргентарии так, как это угодно Домициану... не ручаюсь. увидят ли его еще в Риме в конце этого месяца. Я знаю об этом от Цестия. который знает все.. Сын цезаря!.. Кар, любимец сына цезаря. Неужели претор обезумел, он постоянно сопротивляется тем, кто держит в своих дланях молнии земные? Музоний опять высказывался о диктаторах, которые, как только они становились ненужными, слагали свою власть в руки народа, который наделил их ею. Все понимали, кого задел Музоний. Он и Дионисий из Пруссии и многие глупцы еще думают, что криками своими они сметут с Палатина преемников Августа. Друзья твои, Артемидор, кучка безумцев

Тут она поднялась еще выше и прошептала

— На столе у Веспасиана уже давно лежит эдикт, осуждающий на изгнание всех ваших философов. под плащами которых укрываются Манлии и Бруты. Добрый цезарь еще колеблется подписать его, но... при первом удобном случае... Ну что? Разве я тебе не отомстила? Прекрасное лицо сына муз омрачилось, как бурная ночь!..

Действительно, лицо Артемидора омрачилось.

— Дстойная Кая! — проговорил вдруг один из ее спут-

ников, — если ты еще хочешь сегодня увидеть при дневном свете Марсово поле...

— Не только хочу, Марциал, горю этим желанием... Ты прав, Марциал, я, наверно, опоздаю. Прощай, Артемидор! Слышал ли ты о том, что на следующий день после троянских игр цезарь устроит угощение для народа?.. Вино будет литься рекой... будет превосходное мясо, множество канатных плясунов и акробатов, и еще будет выставка редкостей на форуме... народ будет обжираться и забавляться. Прощай, Артемидор! Ты, наверное, еще не знаешь о том, что Домициан не назначен предводителем войск, выступающих против алланов, и это приводит его в бешенство. Он утешается только Лонгиной, украденной у Ламии... Ламия вместо того чтобы отчаиваться, пустился в разгул, которым прежде не увлекался никогда... Прощай, Артемидор!.. Слышал ли ты о той женщине в Аупании, которая родила ребенка о четырех головах? Роковое предвестие! Еще более роковое, нежели тот огненный шар, который видели падающим над Веями...

— Кая Марция! — прервал ее опять Марциал, — замкни на минуту уста свои и сядь в носилки, если не хочешь навлечь на себя гнева Юноны за то, что ты не посвятила ей жертвы в обещанный день...

— Да сохранят меня боги от совершения такого преступления! — воскликнула она, и на ее лице выразился неподдельный ужас; таща за собой свою собачку, она наконец поспешила в свои носилки, которые носильщики понесли к воздвигнутому на склоне Авентина храму Юноны.

В золотом отблеске наступающего вечера, в затихающем шуме рыбного рынка и иудейского квартала, у конца улицы, выходящей из-под Остийских ворот, в эту минуту почти пустой, Артемидор остановился. Он кого-то ждал опираясь спиной о резные карнизы арки Германика, и смотрел на город, на вершине которого в необычайно чистом воздухе пылающие огни, казалось, боролись с прозрачными тенями. Неподалеку, под темным сводом арки, стоял Гелиас, его молоденький слуга; один из тех красивых, тщательно обученных, смысленых и ловких юношей, какого должен иметь в своем доме каждый знатный римлянин.

Гелиас в течение уже нескольких лет служил своему господину, ведущему свободную и роскошную жизнь художника, поверенным в любовных делах, и никто не умел лучше его тайком вручить дощечки, запечатанной воском молоденькой жене богатого старца, никто усерднее и искус-

нее не сторожил дома, в котором господин его проводил приятные часы свидания. Он хорошо знал, что должно было последовать, когда художник ускользал от своих друзей и поклонников и, отправляясь на прогулку, одному ему только говорил: «Ступай за мной, Гелиас!»

Однако в этой стороне города он никогда не был прежде со своим господином. Неужели Артемидор действительно направлялся в сад Цезаря, густая зелень которого покрывала часть Авентинского холма? Быть может, там его ожидает богатая Фульвия, которую он покинул год тому назад и которая до сих пор не переставала его звать к себе; или танцовщица Хигария, эта андалузка с вулканическим взглядом, портрет которой, с развевающимися волосами и цитрой в руке, он нарисовал на стене своей спальни? Но почему остановился он в тени величавой арки, казалось, забыл о цели своей прогулки?

Он шел вовсе не в сад Цезаря, как он это сказал Кае, забросавшей его назойливыми вопросами. Предполуденные часы он провел сегодня в Авентинском портике, замыкая цветистую гирлянду, которой он его украсил с любовью и увлечением, фигурой Ераты, музы легкой и любовной поэзии, обвитой плющом, с золотой лирой в руках. Несмотря на увлечение, с каким он писал лицо богини, время от времени взгляд его опускался вниз и блуждал среди колонн портика. Это было в первый раз в его жизни, что он не видел того, кого жаждал увидеть, первый раз тот, кого он звал, не приходил. Не привыкший к разочарованиям, он выходил из себя, и было нечто ребяческое в гневном жесте, с которым он бросил кисть и палитру в руки своих учеников.

Ранее обыкновенного прервал он работу и, окруженный многочисленной и по дороге возрастающей свитой, отправился в бани, где в мраморном бассейне, наполненном холодной водой, долго и усердно предавался плаванию; а потом в зале благовоний вопреки своему обыкновению грубо выбранил слугу за то, что он его слишком щедро намазал благовонными протираньями. Он гнушался модой излишнего употребления духов и в залу благовоний входил только чтобы придать аромат фиалок своим черным как смоль волосам. На этот раз, рассеянный, он позволил слуге слишком раздушить себя и, выходя из бань, всех, кто обращался к нему, закидал стрелами ядовитого сарказма. Поссорившемся с женой Цестию, портик которого он разрисовал за громадную плату и который с высоты при-

дворного положения своего приветствовал его величавым жестом, он крикнул:

— Как поживает достойная Флавия, супруга знаменитого Цестия? С той поры, как иудейские или халдейские боги начали ее занимать, Рим перестал ее видеть!

Кару, ближайшему другу одного из сыновей цезаря, он сказал:

— Ты молод, Кар, а от тебя смердит духами, как от старой кокетки!

Над Стелло, богатым лентяем, забавляющимся писанием стихов и покупкой произведений искусства, он посмеялся:

— Что, Стелло, со вчерашнего дня сочинил ты хоть несколько виршей? А Аксий, этот торговец из Субуры, не обманул ли он тебя опять, продав тебе за кругленькую сумму произведение самого обыкновенного пачкуна, выдав его за гениальную работу Мирона или Праксителя?.

Те лишь обиженно пожимали плечами и молча глотали злые шутки живописца.

— Кажется,— проговорил Цестий,— что после императора и сыновей его следуют художники, люди, которым в Риме больше всего дозволяется. Другим бы не сошли с рук те дерзости, которые он себе позволяет. Но, наказывая этого молокососа, мы оскорбили бы муз, избранником которых он является...

— И возмутили бы против себя всех, которые в Риме без ума от живописи,— прибавил Кар.

— За обиду, нанесенную ему, римские женщины подняли бы бунт, как тогда, когда Катон запретил им носить золотые браслеты! — укутываясь в шелковое платье с широкими рукавами и устраиваясь на диване, проговорил красивый, ленивый Стелло.

В доме претора Артемидор долго беседовал с Фанией, которой он рассказал о том, что произошло вчера с Мирталой, и о египтянке Кромии. Час спустя Кромия, которой пообещали перевести в простую прислугу, начала громко причитать, на что, однако, никто не обращал внимания, потому что более важные дела занимали семью претора. Накануне за столом императора Гельвидий поспорил с министром финансов, Клавдием, старым сирийцем и вольноотпущенником, который своим лукавым умом и восточной услужливостью достиг высших придворных должностей и служил уже седьмому императору подряд. Между этим придворным и отцом Гельвидия, старым непреклонным рес-

публиканцем, существовала глухая вражда, которая окончилась его падением и гибелью.

Матери и жене претор говорил почти с покорностью.

— Простите мне, что я постоянно возмущаю ваше спокойствие. Я должен был бы молчать, когда подлый сириец, льстя страсти Веспасиана, составлял планы новых податей. Ведь известно, что устроится так, как эта лисица советует; но я порывист и раздражителен. Над головой своей я чувствую дамоклов меч. Им является дело Кара и Аргентарии. А тот, кто не может быть уверенным, будет ли его завтра белым или черным, не может быть голубем...

Слова Каи Марции, всегда превосходно обо всем осведомлённой, подтвердили те опасения, которыми были сегодня переполнены глаза Фании, когда она смотрела на взволнованное лицо своего мужа. Артемидор вспомнил об этом, разглядывая резьбу арки Германика. Эта резьба изображала победы, одержанные одним из самых чистых и благороднейших героев римской древности. Чистоте этой и благородству, славе громкой и необычайной популярности среди народа его завидовал Тиверий, этот мудрый, но жестокий правитель, который тысячами кровавых жертв упрочил дело своего предшественника Августа. Пал ли Германик жертвой его зависти и подозрений? Действительно ли яд перерезал на половине пути нить его жизни? Об этом, когда Артемидор был маленьким, говорила ему мать; этому верил он и теперь, глядя на резьбу, богато покрывающую величавые и грациозные изгибы арки. Он пришел сюда с намерением отыскать Мирталу, которая гораздо глубже запечатлелась в его памяти и возбуждала в нем более трогательные чувства, нежели это когда-либо выпадало на долю блестящей Фульвии и даже прелестной, сумасбродной Хигарии.

Он пришел, чтобы найти ее и узнать, почему она не пришла сегодня в Авентинский портик. Но теперь, после разговора с Каей, которая воскресила в нем впечатление, испытанное сегодня в доме претора, и после мыслей, пробужденных в нем рассматриванием резьбы, украшающей арку Германика, свидание казалось ему невозможным. Однако, когда он взглянул на ряды низких, темных домиков иудейского квартала, глаза его выразили сожаление. Быстрым движением он вынул дощечку, залитую воском, и золотым стилем писал на ней с минуту, потом кивком головы позвал Гелиаса. Длинноволосый мальчуган тотчас подбежал, и, как только Артемидор тихо заговорил с ним, на смышленном лице его выразилось сосредоточенное внимание. Быстрым

взглядом следил он за жестами своего господина, который вытянув руку, указывал ему на иудейский квартал. Потом он вручил ему исписанную дощечку.

— Ты видел ее не раз в портике и в доме Фании... Ты узнаешь ее...

Мальчик утвердительно тряс головой.

— Я буду ждать тебя дома. Принеси мне ответ. Поспеши! — крикнул ему вслед Артемидор.

Перед домом Менохима стояла группа молодых девушек, с оживлением разговаривая между собой. Это были дочери Сары, которые пришли, чтобы помогать Миртале приготовить ужин, и остались после того, как все было сделано, терзаемые любопытством увидеть Ионафана или по крайней мере узнать подробности об этом необычайном человеке, товарище их несчастного брата. Желтые и голубые платья их весело сверкали при последних отблесках заходящего солнца черные и рыжие косы оттеняли шеи, блистающие стеклянными ожерельями; бубенчики сандалий позвякивали на их ножках. Одна держала серебряный кувшин, наполненный вином; другая накидывала на плечо Мирталы роскошно вышитое полотенце для обтирания рук после омовения перед едой и после еды; третья живо рассказывала о суматохе, которая произошла вчера у них в доме. Они еще долго щебетали а потом, оставив принесенное ими, упорхнули. Миртала смотрела с минуту им вслед и наконец, изменив направление взгляда, увидела стоящего у противоположной стороны забора мальчика. Греческие хитоны были тут такой же редкостью, как римские тоги. На нем же был надет хитон из ткани цвета, напоминающего аметист; а длинные каштановые волосы мягкой волной ниспадали ему на плечи, оттеняя лицо, нежное, девичье. Миртала узнала его с первого взгляда. Она видела его и в портике, и в доме Фании, она знала, кому он служил и даже как его звали. Удивление, радость, тревога сменялись на ее лице. Грек, когда дочери Сары ушли внимательно огляделся вокруг и быстро перешел узкую и грязную улицу.

Наконец-то, сказал он, — разлетелись эти перепелки, которые так долго щебетали около тебя на этом вашем противном языке. Ведь не мог же я при них отдать тебе то, что тебе посылает господин мой Артемидор

На ладони его появилась исписанная дощечка. Он подал ее Миртале, которая было протянула к ней руку и тотчас же отдернула ее. Она задрожала, а от лица ее, казалось отхлынула кровь

— Почему же ты отдергиваешь руку, точно боишься обжечься? — уставив свои любопытные глаза в побледневшее лицо девушки, с улыбкой прошептал Гелиас. — Не бойся, не обожжет тебе руки письмо моего господина. Возьми и читай.

Она взяла, посмотрела на письмо, и лицо ее выразило страдание.

— Я не умею читать латинского письма — едва слышно прошептала она

— Ты хочешь, чтобы я прочел тебе это?

Помолчав с минуту, она сказала умоляюще

— Прочитай!

Мальчуган окинул быстрым взглядом пустую улицу, подошел еще ближе к Миртале и быстро прочел:

«Ты не была сегодня ни в портике, ни в доме Фании. Может быть, ты решила уже никогда не показываться мне? Я бы согласился на то, если бы не сожалел о прекрасной жемчужине, утопающей в луже. Завтра на закате солнца я буду тебя ждать у арки Германика. Приходи!»

Гелиас перестал читать и отдал ей дощечку, но она ее не брала. Вдруг она закрыла лицо ладонями

— Не могу — не могу.

Грек не понял ее

— Употребляй латинские или греческие слова, потому что вашего языка я не понимаю. Что мне сказать моему господину?

Она открыла лицо, схватила письмо Артемидора с ужасом в глазах, снова отдала его греку. Но он спрятал руки под складки хитона.

— Придешь? Почему не отвечаешь?

Глядя в землю, она проговорила тихо

— Разве же алчущая лань может не бежать к лесному источнику? Разве же роза не расцветает, когда из облаков выглянет солнце?

— Ты это странно сказала, но я запомню твой ответ и дословно повторю моему господину, — сказал Гелиас и медленным шагом, оглядываясь вокруг, как любопытный прохожий, удалился. В конце улицы он прошел мимо старого еврея в тяжелой чалме с изборожденным морщинами лицом. Это был возвращающийся домой Менохим. Войдя в свою низенькую, маленькую комнату, он спросил:

— Где Ионафан?

При звуке его голоса из-за пялец, пряча что-то за

пазуху, поднялась Миртала и, подойдя, прижалась к его руке пылающими губами.

— Ионафан еще не вернулся из дома Гория...

Когда она это говорила, в голосе её звучало сожаление души, заблуждающейся, но не желающей расстаться со своим заблуждением, как с жизнью.

Час спустя, сидя на глиняном полу за своими пальцами Миртала смотрела на Менохима, и в ее глазах, казалось сосредоточивались все ее мысли и чувства. Сняв с головы тяжелую чалму и прикрыв белеющие волосы маленькой шапочкой, Менохим при свете маленькой лампы читал вслух из разложенных перед ним на столе листов пергамента. Напротив него в полумраке выделялось смуглое и исхудалое, сосредоточенное лицо Ионафана. То, что Менохим читал, было плодом дум, мечтаний и страданий всей его жизни.

Менохим был поэтом. Но ни возвышенности певца, ни величия пророка в его фигуре и голосе не было. Когда он с увлечением читал или, вернее, наизусть декламировал сильную строфу своей поэмы, босые ноги его качались и тряслись, а исхудалые руки делали такие жесты, при виде которых улыбнулся бы презрительно самый ничтожный оратор с той стороны Тибра. Он казался жалкой, изможденной птицей, судорожно бьющей общипанными крыльями. Когда же строфа была жалобна, умоляюща, хриплый голос становился жалобнее, и тонкое худое тело раскачивалось, дрожащие ладони беспомощно касались лба, глаз, щек груди. Тогда он становился похожим на расплакавшегося ребенка, протягивающего беспомощные руки к материнской груди. И лишь метался ли он, или причитал судорожно тряс в воздухе босыми ногами, придавал ли губам смешанное выражение ненависти или угрозы, в глазах горело пламя невыразимой нежности, а по морщинастым, желтым, дрожащим щекам время от времени скатывалась крупная, блестящая при тусклом свете лампы слеза.

Миртала внимательно слушала его, и усилие мысли что-то глубоко обдумывающей, выражалось в ее влажных блестящих глазах.

— Имя твое, отец, будет прославленным и почитаемым среди Израиля... — воскликнул Ионафан.

Менохим покачал головой.

— Имя мое! — сказал он, — нет, Ионафан! Пред тобой одним открыл я свою душу и на уста твои налагаю печать тайны. Кто я такой? Неизвестный, бедный, презираемый

Кто же меня захочет слушать? Я отрекись от славы, я провозглашу людям, что это произведение великого Ездры. Тому, кто некогда отстроил Сионский храм, пророку древних времен, народ охотнее поверит и скорее будет вдохновляться и подкрепляться его песней, нежели бы если он знал

— Значит, ты отречешься от труда, который был делом всей твоей жизни?..

— Не жажда похвалы руководила рукой и сердцем моим,— ответил Менохим.

Минуту спустя, со склоненным лицом, сложенными ладонями, покорным, умоляющим голосом, как бы твердя молитву, он проговорил:

— Обрати меня, Предвечный, в развевающуюся тень, в догорающее пламя, в ничтожную песчинку! Да, стану я, Предвечный, перелетным дуновением ветра, иссохшим листом, гонимым по пустым полям, да исчезну я и развеюсь, как белый туман перед лучом солнца, как желтая пыль под копытом всадника... Пусть, о Предвечный! имени моего из поколения в поколение не произнесут ни одни человеческие уста и на могиле моей пусть сорная трава переплетается с репейником; но из души моей в душу моего народа перенеси хоть одну искру надежды, из песни моей продолжи хоть на одну минуту его существование, трудом моим отри у него из глаз одну слезу скорби.

Девичьи руки потянулись к опущенной руке Менохима. Поза Мирталы была покорна. Она готовилась вместе с Ионафаном склониться к его ногам, как вдруг в широко открытых глазах ее появилось выражение ужаса. Миртала увидела заглядывающую в комнату голову, покрытую рыжими волосами, и желтое лицо с маленькими сверкающими глазками

— Должно быть, у тебя беспокойный сон, Силас, если ты в такую позднюю пору заглядываешь в чужие дома,— насмешливо сказал Менохим.

Силас не входя, стоял у двери

— Ты также бодрствуешь; мне показалось, что у вас гость; я его видел идущим из дома Гория и пришел поприветствовать его.

Смертельная бледность покрыла лицо Менохима. Но в эту минуту в комнате раздался серебристый веселый смех Мирталы с громким, непринужденным смехом воскликнула:

— Пришелец издалека! О Силас, значит, ты не узнал Иуды, сына Гория, который пришел развеселить своей

беседой старого Менохима? Значит, ты не узнал сына Гория, волосы которого подобны вороньему крылу! Ступай к этому едомиту, который живет на Авентине и лечит глаза. Ступай, Силас, к лекарю, потому что если ты не поспешишь, то ослепнешь так, что уже не попадешь и в свой излюбленный трактир!..

Силас произнес какое-то ругательство и хлопнул дверью, которая со стуком закрылась за ним. За дверьми его ждала кучка людей, среди которых были египтянка Кромия и Бабас.

— Не знаю, не видел, эта чертовка заслонила его от меня,— сказал Силас им.

— Почему же ты не вошел, сирийский осел?! — крикнула Кромия.

— Благодарю! А если он там... Нож этого разбойника мог бы меня отослать к подземным божествам...

— Может быть, девушка говорит правду,— сказал Бабас,— может быть, ты видел сына Гория...

— Я готов дать себе отрубить руку, что это был тот, за выдачу которого римским властям у нас было бы на что выпить в течение целого месяца...

— Вытаращивай же в другой раз получше свои собачьи глаза! — проворчала Кромия,— потому что, если ты не уберешь этой девчонки, я заменю тебя Бабасом, который уже давно вздыхает по мне... Дура я, что так долго соглашаюсь наделять моими ласками такого рохлю, как ты!

Силас угрюмо проговорил:

— Быстро бы их убрали, если бы доведались, что они в своей лачуге прячут заклятого врага императора!..

Они направились к трактиру, из которого пробивались сквозь щели красный отблеск факелов и глухие звуки сирийской сумбуки

В доме Менохима было темно и тихо

На следующий день необычайное оживление было во всех кварталах за Тибром. Ни один из сирийцев в этот день не работал, все собирались около трактиров. Предметом занимающим всю эту пеструю толпу, был завтрашний праздник Аполлона и готовящийся к этому дню игры

Если между этими людьми различного происхождения порой бывали бурные стычки, то сегодня, накануне игр

они сходились в своих желаниях и надеждах. Правда, в спорах не было недостатка. Одни восклицали, что предпочли бы борьбу гладиаторов в амфитеатре или веселые пантомимы в театре Балбия или Помпея этим конным упражнениям знатной молодежи, которые должны были происходить на Марсовом поле. Однако большинство безгранично радовалось надежде увидеть троянские танцы, а еще более Понта, сына императора; болсе же всего радовались тому, что должно было быть после окончания игр. Имя Береники было на устах всех. Ни один из этих людей никогда не видел вблизи царицы Халкиды, этой первой красавицы Востока, которая очаровала Тита, которую Тит готовился завтра показать своему народу в качестве своей супруги. Потом в цирке должны были происходить состязания на колесницах, а потом пиры, устраиваемые императором для народа.

Когда имя Береники, перебегая из уст в уста, звучало на улицах и площадях предместья, при упоминании его опускали глаза в землю люди в длинных одеждах и тяжелых чалмах, которые также не могли спокойно оставаться в своих домах и при своих занятиях. Это были иудеи, необычайно в этот день взволнованные и оживленные, но толковавшие не о завтрашних играх. Того, о чем они говорили, не знала чернь, высыпавшая на улицы. Они говорили тихо, таинственно и казались встревоженными.

Чуткое ухо, которое бы вслушалось в их разговоры, расслышало бы имя Ионафана. Но никто и не думал подслушивать их. Даже Силас, забыв о мести и вытянув перед трактиром свои босые ноги, играл в чет и нечет; Бабас показывал свою силу, раздавая окружающим оплеухи. Кромия же, сверкая серебряными обручами, украшающими ее смуглую кожу, и пожирая глазами Бабаса, рассказывала, как она была выгнана Фанией. Во всяком другом месте ее бы наказали и отправили работать на кухню, но в доме претора только прогоняли нерадивых слуг. Хозяйка трактира, беззубая Харопия, наливая из глиняной амфоры вино в ее красный кубок, уговаривала ее остаться в трактире. Египтянка со своим гибким телом и змеиными движениями, с карминовыми губами, черными растрепанными волосами и сверкающими серебряными браслетами была бы приманкой для посетителей трактира. Харопия поддакивала ей и все подливала кислого, но крепкого вина.

— Весело мне тут между вами, друзья! — кричала Кромия, — но еще веселее будет нам, когда императорские повара нажарят для нас быков и свиней, а подчасшие зальют

нам лотки вином менее кислым, нежели твое, Харопия! Игр и пиров, император! Щедр и добр император!

— Жизни и счастья императору, владыке нашему! — воскликнули все, и крик этот далеко разнесся в чистом летнем воздухе.

На террасе домика Менохима, укрытые от взгляда прохожих стеной, сидели двое мужчин. Одним из них был Ионафан.

— Юст! — говорил Ионафан, — моя участь кажется мне достойной зависти по сравнению с твоей. Хотя я и преследуем теми, с которыми боролся до последней минуты, но сердце мое не лжет, и я не вкушаю трапезы у стола отщепенцев, как ты, секретарь Агриппы и слуга гнусной Береники и изменника Иосифа!

Юст еще ниже опустил голову.

— К борьбе с оружием в руках не влекли меня ни мои склонности, ни убеждения, — отвечал он тихо, — потому я и не сопровождал тебя, когда ты отправился в Иудею. Сердцем, однако, я верен отчизне и вере предков наших, и теперь, когда Менохим известил меня о прибытии твоём, я пришел сюда как брат, стосковавшийся по брату. Но я хочу говорить о тех, которых вы называете изменниками. Агриппа, Иосиф и все им подобные полагают, что борьба с могучим Римом — безумие, ведущее маленькую Иудею к гибели. Восстав, вы довели до разрушения столицу и храмы наши.

Насмешливая улыбка показалась на бледных губах Ионафана.

— Уверен ли ты, Юст, что примирение их с Римом говорит об их заботливости о жалком существовании нашего народа? Не ослепило ли их могущество Рима? Не очаровали ли их блеск и наслаждения, которыми они могут насытиться тут вволю? Дворцы их переполнены изображениями людей и животных, столы их ломаются от чужеземных лакомств, римские тоги величаво облачают их тела; Иосиф Флавий принимал богатые дары от наложницы Нерона, Агриппа получил царство Халкиды, отнятое у Береники, которая взамен получила самого Тита...

Ненависть искрилась во впалых глазах Ионафана, сквозь зубы он проговорил:

— Тут они неприкосновенны, они в безопасности, потому что их охраняет вооруженная десница Рима, но там, Юст, там... Там, в Иерусалиме, кровь им подобных заливала мостовые улиц, а из разбитых черепов их брызгал мозг на священные стены, которых они не хотели защищать!..

Юст вздрогнул.

— О Ионафан! — воскликнул он, — что же сделали из тебя те годы, которые протекли со времени нашей разлуки!.. Я знал тебя защищающим обиженных, но гнушающимся кровью и жестокостью... Теперь... ты напоминаешь обитателя пустыни, который в борьбе со львами забыл о человеческих чувствах, в устах которого никогда не звучали слова пророка: «Перекуют мечи свои на плуги, а ягненок спокойно уснет подле льва, и ребенок будет безопасно играть над змеиным гнездом!»...

— Разве ты обитал, Юст, в священной голове пророка и доведался, как далеко в будущее проникал взгляд его, когда он провозглашал свое предсказание? Только Предвечный может знать времена осуществления пророческих видений. Я, из моря крови и пламени выведенный Его дланью знаю, что они еще не наступили. До тех пор, пока справедливость не воцарится в мире, пока человек будет нападать на человека и сильный топтать слабого, меч мести должен преследовать тех, которые, как Агриппа и Иосиф, отрекаются от дела слабых, но справедливых...

— Каждый из людей несет бремя свойственных ему грехов, — печально ответил Юст. — Если у первых трусливость, равнодушие, жажда славы и наслаждения ослабляют усердие к справедливому делу, то вы грешите избытком запальчивости, безумием, ввергающим вас в тщетные муки. Сердцем, бесчувственным к жестоким поступкам. Вы называете их изменниками, они величают вас бешеными ревнителями, кровавыми...

— Таковы мы на самом деле! — выпрямляясь, воскликнул Ионафан, в руке его сверкнул нож. — Да, Юст, я ревнитель, который, когда была пора, срезал кровавые гроздья в вертограде Фомском и готов еще срезать

— Спрячь это, — прошептал Юст, — зачем ты его носишь при себе? Соблазн легко может проникнуть в обезумевшее сердце

— Не бойся! Твоему Агриппе я никакого вреда не причиню. День труда был долгим и страшным. Я хочу отдохнуть. Я уйду далеко, в тихом уголке воздвигну стены дома своего, подле супруги буду растить сыновей, чтобы они стали моими наследниками.

Он вдруг замолчал. Черты его, которые при последних словах несколько смягчились, омрачились снова; на улице мимо дома Менохима проходила веселая толпа. Несколько сот мужчин с зелеными венками на головах шагали в такт музыки, смеясь и крича

— Здоровья и счастья величавому Титу, сыну божественного императора! Здоровья и счастья Беренике. прекрасной нареченной Тита! — доносилось из толпы.

— Слышишь ли ты, Юст? Слышишь ли ты? — порывисто прошептал Ионафан. . Имя израильтянки даже эта подлая чернь соединяет с именем того, который нанес смертельный удар нашей отчизне.

— Увы, Тит любит ее, а она... Разве женщина может устоять против мужской красоты, соединенной с высшим в мире достоинством? Тит — первый красавец в Риме и наследник Веспасиана.

— Я видел ее когда-то, — в раздумье проговорил Ионафан. — Я видел ее в Иерусалиме, она вышла на террасу своего дворца вся в пурпуре и в золоте и протягивала к нам сложенные руки, умоляя, чтобы мы разошлись и не навлекали на себя и на всю Иудею мстительной руки римлян. Она была тогда восхитительна, но народ крикнул ей: «Ты внучка Маккавеев, будь подобна им, будь Юдифью! Возьми меч и, одушевленная духом своих предков, предводительствуй над нами в борьбе, как огненный столб вел наших отцов в пустыне!» Это была, Юст, великая минута, это была минута, в которую эта женщина могла стать душой своего народа, силой и славой его и, кто знает, может быть, его спасением... Но она...

— Знаю, — сказал Юст, — вместе со своим братом покинула город...

— Бежала и безопасности своей искала в лагере римлян. Там-то Тит, одной рукой поджимая Иерусалим, другой надевал на ее палец обручальное кольцо... О, Предвечный! неужели ни одна молния не обрушится на этих людей, чтобы порвать этот святотатственный, чудовищный союз..

Страшно в эту минуту выглядел Ионафан, глаза налились кровью, в руке сверкнул снова нож. Юст поспешно схватил его за руку.

— Успокойся! То, чего ты так опасешься, может быть, еще не случится. Тит давно бы повенчался с Береникой, если бы этому не противился его отец, желающий сыновей своих соединить с знатнейшими римскими фамилиями и с помощью этого усилить блеск неожиданно возвеличенного судьбой своего рода; если бы этому не противился патрициат римский, в соединении будущего императора с восточной женщиной видящий для себя унижение, если бы не противились этому даже философы, имеющие громадное влияние, презирающие Израиль за его веру, которую они

считают собранием суеверий невежественного народа. Знаешь ли ты, что случилось со стойком Герасом, который публично порицал Тита за любовь того к Беренике? Он был казнен на площади. Может быть, еще более ужасная участь за то же самое выпала на долю Дионисия из Пруссии. В цирке, в присутствии ста тысяч собравшегося народа, взывал он к Титу, чтобы он вернулся к покинутой им супруге Марции Фурмилии, а Беренику отослал на ее родину. Дионисия публично бичевали и изгнали из Рима. Но родственники и друзья Марции Фурмилии остались, а оскорбление их и жажда мести подкрепляют врагов императорской власти, которые еще существуют в Риме, во главе которых стоят претор Гельвидий и стойк Музоний.

Ионафан слушал его со сосредоточенным вниманием и погрузился потом в глубокое раздумье.

На лестнице, ведущей наверх, показалась Миртала. В одной руке она держала миску, наполненную плодами, в другой кувшин из красной глины.

— Отец мой, — сказала она, — выходя сегодня из дома, приказал мне угостить тебя плодами и вином. Вот сливки, финики, миндаль и вино...

Она сказала это тихо, с легкой приветливой улыбкой, не поднимая глаз, и хотела удалиться, но Ионафан воскликнул:

— Не уходи! Почему ты всегда убегаешь от меня? Садись тут, я хочу смотреть на тебя!

Она осталась, но не села. Юст поднялся.

— Мне пора идти: солнце склоняется к закату...

Минуту спустя он уходил, и Миртала пошла было вслед за ним.

— Остайся! — снова воскликнул Ионафан.

Она встала перед ним смущенная.

— Садись тут подле меня.

Она села на место, которое за минуту до этого занимал Юст, не поднимая ресниц.

— Зачем ты избегаешь меня? Обходишься со мной, точно я тебе чужой. Разве ты не называла меня когда-то братом своим? Мы оба росли под одной крышей, а я, разве я когда-нибудь причинил тебе какую-нибудь обиду?

Когда он говорил, взгляд его был полон любовью, но звук голоса был резок и порывист.

Он взял ее за руку. Исхудалая и почерневшая ладонь его была тверда и жестка, в ней чувствовалась привычка держать оружие, а красные шрамы, покрывавшие ее, могли показаться пятнами крови. Миртала вспомнила, как совсем

другая рука, белая и изящная охватывала ее ладонь как мягко и нежно..

— Ты боишься меня, легкомысленное дитя; ты не понимаешь, каким достоинством тебя наделит Господь, когда ты станешь супругой защитника Его народа!

Глаза его сверкали, а рука все больше стискивала ее крошечную ладонь.

Вдруг он смягчился.

— Разве я всегда был таким, как теперь? В груди моей, Миртала, обитало некогда сердце кроткое, а суровым огнем закалили его война и скитальчество. Теперь, когда я гляжу на тебя, ко мне возвращается моя мирная молодость. Прекрасно твоё лицо, шея твоя, что драгоценные камни, губы твои — гранаты, а волосы — царственный пурпур, перевитый золотом...

На исхудалом, почерневшем лице его появилось выражение страстной, полубезумной грезы, во впалых, окруженных темной синевой глазах сверкнуло пламя

— Кровавая война и долгое скитальчество сделали меня таким, но уже миновал для меня день битв Я повенчаюсь с тобой тут, избранница моя, в тишине и скромности, как приличествует временам скорби. Я не хочу венца на голове моей, ни флейт и кимвалов перед свадебным шествием, не будут тебя нести сваты в блестящих носилках, и цветами волос твоих не украсят подружки, потому что свадьба побежденного воина должна быть серьезной и овеянной ароматом священной печали... Я поведу тебя с собой в страну изгнания, среди которой никто нас не отыщет. Работой рук, зарабатывая хлеб наш и детей наших, мы проживем дни наши...

— Солнце заходит! — внезапно вырвались из уст девушки слова, звучащие ужасом. — Пусти меня, Ионафан! Солнце заходит!

Крохотная ладонь ее напрасно пыталась вырваться из его железной руки.

— Куда ты хочешь уйти? Менохим еще не вернулся из рощи Эгерии... Дочери Сары еще не зовут тебя идти с ними...

— Солнце заходит, пусти меня.

— Куда ты хочешь уйти, Миртала?

— Солнце заходит!..

— Слушай, девушка! — глухо сказал он — Отчего ты вся дрожишь, а в глазах твоих слезы? Куда ты хочешь уйти? Что тебе за дело до заходящего солнца? Кто был этот

юноша, с которым я видел тебя тогда? Неужели ты также станешь позором для народа своего? Неужели ты.. как Береника...

Лицо Мирталы вдруг изменилось. Из нетерпеливой, умоляющей она стала пристыженной. Она закрыла лицо ладонью.

— Нет. Ионафан, нет... Не отпускай меня, Ионафан! Я останусь подле тебя, не отпускай меня!

Теперь она сама схватила его за руку, но он оттолкнул ее от себя, и в ту же минуту послышалось звяканье стали. Нож Ионафана, при его порывистом движении, выскользнул и упал к ногам Мирталы. Она отскочила и, дрожа, со смертельным ужасом во взгляде смотрела на него. Ионафан не поднимал его с пола. Взгляд его, острый и сверкающий, как острие его ножа, впивался в бледное лицо девушки. В эту минуту на лестнице показался Менохим. Увидав нож, который Ионафан медленно поднимал с пола, он вздрогнул и остановился. И по его лицу также промелькнул страх. Ионафан встал и, опершись спиной о стену, сказал:

— Юст говорил мне, отец, что сами язычники порицают бесстыдство Береники. Почему же между вами не нашлось никого, кто бы смелым словом попытался воспрепятствовать соблазну, отравляющему души наших женщин? Многие из израильских девиц пожелают пойти по следам Береники!..

Снизу несколько женских голосов звали Мирталу. Девушка быстро сбежала с лестницы и у дверей попала в объятия девушек, которые хотели увести с собой.

— Мать запретила нам возвращаться без тебя, потому что ты всегда остаешься утехой глаз ее и она не может обойтись долго без своей любимицы! — показывая бело-снежные зубы, говорила рыжеволосая Лия, младшая из дочерей Сары.

Самая старшая из сестер, высокая, в желтом платье и богатом поясе, стройная Рахиль, погладила огненные волосы девушки и сказала

С той поры, как твой нареченный вернулся в ваш дом, ты стала задумчивой и молчаливой, Миртала. Ты, верно, думаешь о том, каким счастьем наделил тебя Господь, делая тебя избранницей великого мужа!

— Отец мой старый Аарон, который вместе с тобой сидел в Авентинском портике, пришел сегодня в дом Сары чтобы вместе с Симеоном отправиться в священное собрание. Он также жаждет увидеть тебя, потому что ты всегда

была жемчужиной для его глаз там, где вас обоих постоянно окружали одни чужие люди, — говорила сухощавая, бедно одетая девушка с бледным, исхудалым лицом и грустным взглядом больших вдумчивых глаз.

Миртала, которая, казалось, не слышала других своих приятельниц, закинула руку на шею робкой Ели, дочери старого Аарона, и поцеловала ее. Она всегда была ей милее всех остальных подруг, может быть, потому, что подобно ей умела импровизировать узоры для вышивки. Средняя дочка Сары, маленькая, живая, огненная Мириам, нетерпеливо стучала о землю своими сандалиями.

— Не думаете ли вы, — сказала она, — провести целый вечер у дверей Менохима? Вместо того, чтобы целоваться, взгляни на небо, Миртала! Прежде чем мы дойдем до дома наших родителей, солнце совсем зайдет.

Обнимающая шею подруги рука Мирталы внезапно соскользнула. Она посмотрела на небо, которое действительно уже начало облачатся прозрачным покровом сумрака. Из-за темных садов Цезаря выплывал белый рог полумесяца. Окидывая тревожными глазами лица подруг, она сказала быстрым, прерывающимся голосом:

— Идите в дом вашей матери... Я приду туда... Теперь мне надо идти...

Она сделала такое движение, точно не уйти, а убежать от них хотела, но вдруг, вся дрожа, с выражением неизъяснимой муки на лице, она остановилась и обеими руками уцепилась за шею Ели и проговорила:

— Я иду с вами... ведите меня...

Не обращая внимания на перемены, происходящие в ее словах, движениях, выражении лица, занятые сегодняшним торжеством, девушки повели ее к дому Сары.

У порога дома Сары Миртала остановилась и посмотрела в ту сторону, где за низкими, плоскими крышами предместья, высоко-высоко, словно под самым сводом серого неба, верхушка арки Германика еще пылала в последних отблесках солнца. Не обращая внимания ни на подруг, ни на других людей, которые были на улице, Миртала в отчаянной тоске протянула руку к этой одиноко пылающей среди темнеющего пространства полоске, и ее увлек за собой поток людей, спешащих к высоко возвышающемуся над другими дому молитвы.

Это было здание не только высокое, но и богато украшенное. Двери его, широкие, обитые красной коринфской медью, были раскрыты настежь. Обширная, освещенная

множеством лампад, внутренняя зала сверкала незапятнанной белизной стен и потолка, среди которой блестели позолоченные перила, отделяющие ту часть храма, в которой сидели мужчины, от той, которую должны были заполнить женщины. У одной из стен возвышался алтарь, обрамленный золочеными колоннами, о которые опирались две доски, исписанные кривыми буквами, посреди которых пурпуровая завеса заслоняла полукруглое отверстие ниши, украшенное венками из высохших кедровых и оливковых ветвей. Золотые очертания букв, написанные на досках из белоснежного, прозрачного фенгита, были десятью Синайскими заповедями; в нише за пурпуровой завесой покоилась книга Израиля; увядшие ветви, увенчивающие отверстие ниши, были сорваны с кедров, которыми была покрыта гора Ливан, и с оливковых деревьев, венчающих Сион. Давно привезенные сюда, они увяли и иссохли, но их не снимали до тех пор, пока их нельзя было заменить свежими; огоньки, горящие в двух семисвечниках, ярко освещали алтарь и возвышающуюся рядом кафедру. С кафедры обычно читали и объясняли народу отрывки из Торы. В эту минуту кафедра была пуста.

Моадель, священное собрание, никогда еще не было таким многочисленным. С одной стороны золоченых перил уселись мужчины, с другой — скамьи наполнились рядами женщин. В многочисленном собрании этом можно было заметить одну особенность: почти полное отсутствие молодых мужчин. Кроме незначительного числа тех, по лицам которых можно было видеть, что они еще очень недавно перестали быть мальчуганами, там находились только мужчины пожилого возраста или старики. Целое поколение несколько лет тому назад, при вести о начинающейся священной войне, отправилось отсюда в далекую отчизну и — не вернулось.

Угрюмыми были длинные ряды смуглых, густо обросших лиц, оттененных складками чалмы; печально и траурно извивались черные каймы по белым шалям, спускающимся до пола по темным хитонам. Недавно еще шали эти ткали только из белоснежной шерсти; но с той поры, как в пламени пожара разрушился Иерусалимский храм, края их, у которых висели кисти, напоминающие о завязанном союзе с Господом, окружали черными каймами. Мудрецы, из которых состояло в Ябуе собрание совещающихся о будущем Израиля, полагали, что даже сам ангел Метатрон, покровитель и защитник Иудеи перед Господом, украсил

теперь траурными каймами свои серебристые крылья. У собравшихся женщин был менее печальный вид. На фоне холодного мрамора, украшающего стены, было много молодых, свежих лиц, с которых даже торжественность минуты не могла согнать улыбок. Там и сям сверкали золотые повязки, из ушей свешивались драгоценные серьги, на шее мерцали ожерелья.

Вдруг перешептывания, вздохи, обмен приветствиями смолкли, и по ступеням, ведущим на кафедру, поднялся человек, высокий и худой, одетый в римскую поношенную тунику, с головой, поросшей лесом черных, растрепанных волос. Впалые щеки его загорелись румянцем, он посмотрел вокруг взглядом, рассыпающим пламя, и, откинувшись назад, распростер руки, как крылья. В эту же минуту с громким скрипом плотно закрылись высокие двери храма.

Было тихо и ясно. Серебряный полумесяц, выплыв из-за темных садов Цезаря, светил с сапфирового свода, усыпанного множеством искрящихся звезд. Транстиберим, со склонами двух холмов, покрытых темной чащей садов, со скупившимися у подножия одного из холмов низенькими, плоскими домами, спал. За рекой, на своих семи холмах, поддерживая тяжелые купола храмов и базилик, темные своды арок и серебрящиеся при свете луны колонны портиков, Рим засыпал под звездным сводом. Иногда только где-то на улицах и площадях Авентина раздавался среди тишины, подобный глухому грохоту, мерный топот множества ног. Это ночная стража обходила уснувшую столицу.

В этой глубокой тишине в иудейском квартале, за закрытыми дверями храма, слышался мужской голос. Каменные стены и плотные двери поглощали слова говорящего, но звуки голоса его, глухо вырываясь наружу, казались бесконечным речитативом, который минутами протекал тихо и спокойно, потом снова шумел, как поднимающаяся буря, то поспешный и задыхающийся, уподоблялся водопаду, скальзывающемуся по склону скалы, то гремел боевыми трубами, стонами умирающих или же разливался в безграничную жалобу, в плач беспомощного ребенка... Порой слышались слова: голод, ночные вылазки, Рим, Идумея, Тит, Иосиф Флавий, Иоанн из Гишалы. Когда в первый раз произнесено было имя Иоанна из Гишалы, вздох вдруг вырвался у всех. При имени самого усердного из ревнителей, самого упорного из защитников Сиона, все сердца учащенно забились. Ионафан рассказал не только о войне, законченной бедственной осадой столицы, но также и о соб-

ственном бегстве из рук врагов и о долгом скитании в течение нескольких лет по негостеприимным городам Сирии, морям и островам Греции, по знойным и безлюдным пустыням Африки. В конце он показал короткий, искривленный меч Иоанна из Гишалы.

Все встали. В жарком воздухе громадной залы, в туманном свете ламп лес рук тянулся к кафедре. Все уста были открыты, глаза всех были устремлены туда, где, царя над этим человеческим водоворотом, Ионафан, с жреческим достоинством, склонял к их устам стальной, обоюдоострый меч, напоминающий о великом муже. Они плача разглядывали оружие, прижимались к нему своими губами. Забывая о предписаниях обрядов, женщины смешались с мужчинами и также подходили к народной святыне. Там были матери, жены и сестры тех, которые погибли, сражаясь рядом с Иоанном из Гишалы. К холодной поверхности стали прижимались губы юношей и девушек, и ее обливал дождь слез, капающих из глаз, потухших и наболевших.

Горий, сторонник кроткого учения Гиллея, несколько раз склонялся над оружием героя и несколько раз отворачивал от него пылающее, страдальческое лицо, пока наконец губы его долгим, любовным поцелуем прижались к холодной стали. Однако он тотчас выпрямился, простер к алтарю руки и воскликнул:

— О, Предвечный! Взгляни, что с народом Твоим сотворили его враги! Вот он лбызает орудие смерти и отдает честь острию, проливающему кровь!

Ионафан молча стоял на кафедре. С гордостью медленно окидывал он взглядом храм, пока наконец не остановился на женской фигуре, которая одна, среди склоненных голов, стояла за блестящим золотом перил, прямая, неподвижная, всматриваясь в него, и в ее глазах ужас смешивался с благоговением. Толпа, которая несколько минут назад хлынула к кафедре, не увлекла ее за собой. Непреодолимым, леденящим ужасом охватили ее развертываемые Ионафаном картины страшных убийств и бедствий. Ни за что, ни за что на свете не могла бы она приблизиться к этому человеку, прикоснуться к этой стали, которая тысячи раз погружалась в кровь. Ноги отказывались ей повиноваться, кровавый туман застилал ей глаза, и только руки судорожно, с неожиданной силой сжимали перила. Однако же глаза, полные ужаса, смешанного с благоговением, она не могла оторвать от человека этого, который так долго боролся и страдал. Наконец она вдруг окинула взгля-

дом волнующееся море склоненных к земле голов. Неизмеримое страдание отразилось на ее взволнованном лице. Она опустилась на колени, и слезы градом полились из ее глаз. Когда в душном воздухе и тусклом свете храма послышались последние строфы песни:

«До каких же пор, Господи, до каких же пор голубка Твоя будет томиться в сетях птицелова? Столько весен и столько зим уже миновало с той поры, как она дрожит под острием меча, в львиных зубах и в ярме врага. И вот я стала черна, как ворон, я, которая была бела, как голубка, потому что дом мой опустошен и земля безлюдна...»

VI

О Марсовом поле в Риме существовала древняя легенда, вовсе не похожая на ту, которая прелестью поэтических воспоминаний освящала рощу Эгерии. Там листья деревьев и волны ручья рассказывали о добродетельном царе-законодателе и его доброй фее. Тут же вооруженные люди, собирающиеся для военных упражнений и смотров, звоном оружия в течение долгих веков напоминали о кровавых схватках народа, освобождающегося из-под жестокой длани Тарквиния Гордого. Римская летопись рассказывает об этом так: тяжба о собственности Тарквиния была передана на решение сената. Запальчивый гнев одержал верх над другими соображениями. Ниву Тарквиния, между Тибром и городом, посвятили Марсу, а в эту пору она была покрыта густыми, дорогими для серпа колосьями. Присланные люди выкосили все до корня, а колосья с зернами все до единого бросили в Тибр. Вода вынесла это жнитво на отмель, там ил облепил их, пока медленно не образовался остров, на котором в настоящее время возвышаются храмы и портики.

Императорский Рим наполнил шумом жизни и блеском богатств бывшую ниву Тарквиния. С одной стороны ее, за желтым поясом реки, застегнутой пряжками мостов, широкой базальтовой полосой тянулась дорога, называемая триумфальной, а над ней Ватиканский холм вырисовывал на лазурном небе свои извилистые склоны и спускался к реке темными чащами садов, усеянными серебрящимися на солнце стенами зданий.

Напротив реки с мостами и островом, триумфальной дорогой и садами, покрывающими Ватикан, со склонов Квиринала и Капитолия широкие улицы, вымощенные ба-

зальтом, спускались вплоть до краев обширного пространства, покрытого весенней зеленью травы, обвеваемой свежестью множества фонтанов, жемчужное журчание которых сливалось с шепотом лавров и мирт, а бриллиантовый дождь их ниспадал к подножию белоснежных статуй.

Среди весенней травы, в рамках из фиалок, окаймляя миртовые и лавровые рощи, множество дорожек, извиваясь, приводили к подножию величайшего из портиков Рима, такого широкого, что запряженные четверью лошадьми колесницы легко проезжали по ней мимо друг друга. Громадный портик начинался с самого берега реки, из-под сводов высоких ворот, и кружевной полосой своих колонн пересекал все пространство прежней нивы Тарквиниев и исчезал за склонами Капитолийского холма. Тут у стены Капитолия, около фламинского цирка, сгрудились здания различных размеров и предназначений. Храмы Геркулеса и Минервы, воинственной Беллоны и египетской Изиды Пантеон с громадным выпуклым куполом, громадные бани Нерона, полукруглые вершины трех театров, дворцы вельмож.

Такой была часть той нивы Тарквиния. Другая же ее часть предназначена была для военных смотров и собраний, избирающих консулов, трибунов, преторов, эдилов — словом, всех тех, которые должны были занимать государственные должности. Эту часть поля, посвященного Марсу, с одной стороны замыкал Тибр, с другой — сады Помпея и Лукулла, с третьей — широкая улица, проходившая у подножия Квиринальского холма. Это место носило название Септуль и было открытой и просторной площадью. Октавиан Август первый употребил это место для общественных зрелищ. С той поры упражнения и военные смотры производились там по-прежнему, но народ не выбирал никого

Самые престарелые старцы припоминали, что когда-то на этом самом месте Октавиан Август увеселял народ зрелищем троянских игр. Теперь на просторной арене, застланной мягким и щедро политым ковром травы, снова готовились увидеть эти игры, в которых участвовали не наемные гаеры и плясуны, не грубые возницы цирка, не рожденные в неволе гладиаторы, но блестящая молодежь двух высших в государстве сословий: сенаторского и военного. Во главе ее должен был быть сын императора, недавний победитель Иудеи, красотой, мужеством и талантами прославившийся, Тит — будущий император

Был первый час дня. Солнце бледно-желтым светом

наполнило внутренность глубокого амфитеатра, который был заполнен народом. Всю ночь на Марсово поле шел народ, чтобы занять места. Четырнадцать скамеек, предназначенных для военного сословия, уже были заполнены; достоинство, свойственное людям, принадлежащим к высшим слоям общества, не допускало тут той толкотни и того шума, которые кипели в верхних ярусах. В этой толпе уже нельзя было отличить уроженцев Рима от пришельцев из Греции и Малой Азии, из Африки, Испании и даже из недавно завоеванной Галлии и Британии. Среди потомков древних квиритов были и греки, и сирийцы, и плечистые каппадокийцы, и черные нумидийцы, и русые германцы, бойкие галлы, угрюмые бритты, и лукавые египтяне. Предание о Вавилонской башне, казалось, осуществлялось в этом сонме различных племен и языков, которые собрались в столице мира.

Трибуны и ложи были почти уже заполнены. В одной из них был Цестий, заклятый враг Иудеи, закутанный в белоснежную, вышитую золотом латиклаву. Молоденькой и красивой жены его, уверовавшей в иудейского Бога, не было рядом с ним. Зато непрерывно щебетала Кая Марция, ленивый Стелло размахивал широкими рукавами своей прозрачной, женственной одежды; изящный Кар распространял сильный запах духов, поэт Марциал экспромтом рассыпал злые эпиграммы.

В другой ложе обращала на себя внимание величавая, одетая в скромную столлу Фания, жена претора. Только несколько крупных рубинов сверкали в ее черных как смоль волосах. Ее окружало много женщин, молодых девушек, мужчин в коричневых плащах, в которых можно было узнать философов. Фания, хотя и радушная и внимательная к каждому слову окружающих, казалась встревоженной, Гельвидия возле нее не было. Как претор, он должен был давать знак для начала игр. Император Веспасиан еще не прибыл. Позволит ли вспыльчивый, точно придерживающийся буквы закона Гельвидий начать игры в отсутствие императора? Поза и лицо Фании были спокойны, но сердце ее под мягкими складками белоснежной ткани билось порывисто. Обращаясь к стоящему рядом юноше, она произнесла тихо.

— Не мог ли бы ты, Артемидор, передать Гельвидию то, что я тебе поручу?

— Попытаюсь, госпожа, — ответил художник, — что мне сказать?

— Скажи ему, что я прошу его. чтобы он помнил о нашем маленьком Гельвидии...

Артемидор, почтительно склонив голову, покидал ложу претора, сопровождаемый взглядом одной из молодых девушек, окружавших Фанию, и огненными взорами богатой Фульвии, которую он покинул год тому назад после короткой, но наделавшей много шума в Риме любовной интриги. Эта красивая и знатная женщина была в той самой ложе, в которой Елий Ламия шумной и, по-видимому, вполне беззаботной веселостью обращал на себя всеобщее внимание. С той поры, как один из сыновей императора соблазнил и похитил у него жену, он стал предметом множества толков и насмешек. Громкие, слегка приправленные иронией шутки его слышали даже люди, сидящие вдалеке; он с увлечением декламируя какое-то любовное стихотворение, склонялся над Фульвией и в кокетливых словах выражал свое восхищение ею. Когда сын императора Домициан, бледный, лысеющий юноша, окруженный множеством сановников, показался среди пурпура, позолоты и резьбы императорской ложи, беззаботное и упоенное веселостью лицо Ламии преобразилось так, точно на одно мгновение с него соскользнула маска.

И только одна ложа все еще была пуста. Обширная и богато украшенная, она продолжала обращать на себя всеобщее внимание. Всем было известно, что в ней должна была разместиться та, сила которой была сегодня на устах всех.

Вдруг тысячи устремленных в эту сторону глаз увидели за легким ажуром запертых ворот вереницу людей, одетых в белое, держащих в руках топоры, обвитые пучками розог. Это были ликторы, которые шли впереди величавых, блестящих носилок, окруженных конным отрядом германцев. Это были носилки Агриппы, царя дарованного ему римскими правителями крохотного царства Халкиды. Этим царством он правил вместе с сестрой своей и вместе с ней — скорее, благодаря ей — пользовался высшими почестями и отличиями — ликторами, сенаторской одеждой и военной стражей. Это шествие промелькнуло за легким ажуром запертых ворот, и тотчас наверху нескольких мраморных ступеней, спускающихся к до сих пор пустой ложе, показалась фигура женщины.

Ни одна из римских женщин не носила таких поясов, цепочек и свободно распущенных кос; ни одна из них не украшала себя таким множеством узоров, дорогих камней

и металлов. Ни у одной, даже самой кокетливой, не было в лице того выражения полусонной, мечтательной, покорной страсти, которое прочитывалось в полуоткрытых чувственных глазах Береники. Страстно любящий блеск и яркость красок, сладострастный Восток, казалось, изливался в лоно римского племени в образе этой женщины, при виде которой в амфитеатре воцарилась гробовая тишина

— Да здравствует Береника! Здоровья и счастья Беренике! — закричал наверху разноплеменный люд, алчный до впечатлений, жаждущий угодить сыну императора.

Внизу в ложах патрициев все погрузились в мертвенное молчание, лбы философов и сенаторов нахмурились. Женщины опустили глаза, даже по губам франтов и кокеток промелькнули презрительные, насмешливые улыбки. Рукоплескания и крики вверху еще продолжались, когда Береника уселась посреди пурпуровых, золотом и жемчугом вышитых подушек, окруженная многочисленной свитой женщин, одетых в пестрые и роскошные восточные наряды.

По другую сторону ложи сели прибывшие с ней мужчины. Тут господствовала исключительно римская одежда. Агриппа, в сенаторской латиклаве, бледный, холодный, молчаливый, имел вид эпикурейца, не позволяющего никаким событиям в мире поколебать своего спокойствия. Рядом с ним, но совершенно непохожий на него, был Иосиф, который в знак уважения к царствующему в Риме роду Флавиев принял фамилию Флавий, — бывший правитель Галилеи, обвиненный в измене родине вождями иудейского восстания, писатель, уже прославившийся своими произведениями, в которых он попеременно льстил победителям и прославлял побежденный народ, ругая и черня только тех из своих соотечественников, которые смели поднять руку против могущества Рима, возбуждающего в нем искреннее и рабское благоговение. Друг Агриппы пользующийся милостями царственной семьи, он сел рядом с царем Халкиды; за двумя этими людьми расположилась многочисленная группа богатых и влиятельных иудеев, среди которых был тучный, одетый в римскую тогу, блистающий драгоценными украшениями на груди и на руках банкир Монобаз. Он и несколько десятков людей, ему подобных, представляли в Риме ту часть иудейского народа, которая в отчизне своей носила название саддукеев. Обладатели значительных состояний и потомки древних родов, они усвоили до известной степени греческо-

римское просвещение, в нравах подражали победителям половины мира, поклонялись власти, раздающей почести и блага, чуточку философствовали.

Громадная свита заняла глубокую и обширную ложу Агриппы, и в ней простотой одежды и тихой печалью лица выделялся Юст. Он занял место ближе всех к Агриппе и из-за фестонов пурпуровых завес задумчивым взглядом окидывал собрание. Вдруг удивление и тревога выразились на его лице, а из уст вырвалось короткое, быстро подавленное восклицание. Взгляд его, медленно окидывающий пеструю смесь одежд и лиц, встретился с хорошо знакомой ему фигурой. На одной из скамеек, предназначенных для черни, стоял высокий и худой человек в оборванной одежде. Глаза его, впалые, окруженные темной синевой, всматривались в ложу Агриппы и Береники то с выражением безграничного сожаления, то с бешеной ненавистью.

Из уст Юста вырвалось короткое и быстро подавленное восклицание:

— Ионафан!

Зачем он пришел сюда? Для чего затесался в эту толпу, среди которой тысячи глаз могли узнать его? Какая мысль, какое безумное намерение могли зародиться в разгоряченной голове этого человека, который видел уже столько крови и мук, перенес столько отчаяния и нужды, что способен был на все.

С побледневшим лицом Юст задумался на минуту, потом почтительно склонился перед Агриппой и сказал ему что-то. Агриппа с равнодушной благосклонностью кивнул головой в знак позволения. Юст вместе с несколькими слугами покинул трибуну, а минуту спустя на одной из скамеек, предназначенных для черни, было заметно какое-то движение. Но никто, даже чернь, не замечал того, что происходило на скамьях. Шел уже третий час дня, а император еще не появлялся. Старый, больной Веспасиан не любил общественных празднеств и церемоний. Неужели же все должны были ожидать его в удушливой тесноте? Неужели не будет выполнен обычай праздновать посвященный богам день с самого его начала? В верхних ярусах слышался уже ропот нетерпеливой толпы. Сам покровитель дня Феб-Аполлон на поднебесной вершине своего обелиска, казалось, гневался на людей за то, что они медлили начать его праздник, и из своего венца из семи лучей, залитого солнцем, метал грозные молнии.

Вдруг во многих сенаторских ложах разразились гром-

кие, протяжные рукоплескания. На вершине высоких ворот показался претор, облеченный в белую тогу, усеянную золотыми пальмами, со скипетром в одной руке и белым платком в другой. Гельвидий Приск стоял на вершине ворот, приветствуемый рукоплесканиями одних и испуганным молчанием других.

Претор взмахнул рукой, и белый платок упал на зеленую арену.

Фания быстрым движением накинула на лицо серебристую вуаль; склонившийся над нею Артемидор сказал:

— Супруг твой повелел тебе передать, госпожа, что не достоин иметь сына тот, кто не отваживается защищать справедливость и закон.

На вершине ворот торжественно и протяжно заиграли трубы; ажурные створки их открылись, и на зеленую арену стали выезжать конные отряды, шествующие друг за другом по четыре лошади в ряд. Впереди всех на аракийских маленьких, белых как снег конях ехали юноши в белоснежных туниках, украшенных пурпуром, в зеленых венках на открытых головах, с колчанами, полными стрел, и легкими, короткими дротиками в руках. За этим отрядом показался второй, блистающий золотистой мастью коней маленькими щитами и касками всадников. Еще один был на испанских конях, с короткими искривленными мечами, копьями. Всадники выглядели могучими в панцирях, покрытых узорчатой бронзой, в высоких шлемах с орлиными перьями, в сандалиях, покрывающих их ноги шнуровкой из кожаной тесьмы, с громадными щитами. У каждого из отрядов был свой предводитель, который ехал во главе и едва тот, который предводительствовал последним отрядом, показался в раскрытых воротах, амфитеатр взорвался громом рукоплесканий и криков.

На черном коне в золотистом панцире и в шлеме с которого, казалось, слетал золотой орел с развернутыми крыльями, держа громадный щит с изображенной на нем химерой, с львиной головой и хвостом змеи, величавый промчался он вдоль отрядов и, встав во главе всех, высоко поднял свое длинное золотое копьё. Это был Тит.

Рукоплескания и крики стали еще сильнее. От звука их казалось, закипел воздух, когда громадная вереница коней рассыпалась вокруг зеленой арены. Золотое копьё Тита опять мелькнуло в воздухе, отряды снова построились и сначала медленно, потом все более быстрее и быстрее начали скакать по арене. Вооруженные отряды неслись навстречу

друг другу, сворачивали, извивались в круги, смешивали ленты голов в зеленых венках с бронзовыми потоками шлемов, леса дротиков и пик с чащей натянутых луков

Рукоплескания и крики смолкли, их заменил шепот, подобный шуму моря, но и тот затихал постепенно и, наконец, растопился в тишину, нарушаемую только горячими дыханиями тысяч человеческих тел

Вдруг дно амфитеатра закипело новым движением, зазвенело бряцанием оружия и щитов. Спокойный и торжественный ритм сменился поспешным, военным, бурным. Отряды, сверкая остриями пик, подняв натянутые луки, помчались друг на друга, как огненные вихри. Золотой орел с развернувшимися крыльями и золотое копье снова заколыхались в воздухе; щиты в руках воинов поднялись над их головами, на них посыпался дождь стрел.

Широкий меч Тита летел в воздухе с рукояткой, осыпанной алмазами, изливая дождь кровавых, зеленых, голубых искр. Наконец императорский сын поднял его вверх, и при этом знаке снова фракийские кони, неся одетых в белое всадников, шли навстречу черным, испанские кони, меча пламя из глаз, смешивались с гнедыми, всадники на которых были облачены в медные панцири...

Так продолжалось долго. Воины и кони без усталости приносили свою силу и ловкость в дань богу света и красоты.

Веспасиан прибыл поздно, народ почти не заметил его прибытия и тогда только коротко, рассеянно приветствовал его, когда Тит, увидев отца, взмахом копья выстроил свои отряды.

Наконец трубы на вершине ворот опять заиграли, возвещая о конце зрелища. По краю арены, снова развернувшись длинной вереницей, отряды скакали величаво и грозно. Тит ехал впереди. Он снял шлем с золотым орлом и вместе со щитом держал его сбоку, другой рукой едва касаясь опущенных поводьев. Теперь народ мог любоваться красотой его лица. Внимательный взгляд мог прочесть на нем задумчивость и тревогу. Многотысячная толпа хорошо знает, где он остановит своего коня. Уже несколько дней кто-то распространял в столице слухи, которые возбуждали гнев в одних, а в других любопытство и сочувствие. Наконец черный конь встал. Тит осадил его перед ложей Береники.

Они смотрели друг на друга с минуту. Береника медленно, как бы в дремотном упоении склонялась над резными перилами ложи, в руках робким движением влюбленной невольницы держа лавровый венок.

Этой сцены, во время которой должна была быть согласно распространяемым слухам, объявлена женитьба императорского сына на царице Халкиды, многотысячное собрание ожидало с различными чувствами

Вдруг как раскат грома, обрушивающегося на землю откуда-то из верхних рядов раздался крик:

— Будь проклята ты, Береника, позор народа своего
Будь проклят также и ты, опустошитель чужих стран
чудовище, которое сожгло храм...

После этого наверху слышались отрывистые крики и звон оружия.. Но безумец где-то там, в пестрой и тесной толпе, голосом охрипшим и прерываемым все еще кричал

— Будьте прокляты оба...

Охрипший, прерывающийся голос удалялся и слабел того, из чьей груди он раздавался, уводили все дальше и дальше. На трибунах и ложах царило молчание, стократ более красноречивое, нежели самые громкие рукоплескания. Это молчание было преисполнено злобной радости. Все, кто по каким-либо причинам таил хотя бы каплю яда против установившегося порядка вещей в Риме, все, кто презирал покрытую драгоценностями возлюбленную сына императора, с тайной радостью встретили оскорбление брошенное чьими-то устами в лицо Титу и Беренике.

Угрюмым и грозным стало грубое, солдатское лицо Веспасиана. Домициан запальчиво воскликнул:

— Император! Прикажи, чтобы завтра публично обезглавили этого наглеца! — Но глаза его светились ехидной радостью.

VII

На следующий день улицы и рынки Рима кишели пирующей толпой. Громадные столы гнулись под горами жареного мяса, под кувшинами с вином.

В трех театрах в этот день разыгрывали фарсы, тысячи людей осматривали на Марсовом поле выставленных для публики редких животных: змей, носорогов, слонов. На Сентах восхищались силачами, канатными плясунами. Не было ни одной улицы, по которой не тянулись бы толпы мужчин и женщин, с головами, украшенными зелеными венками. Все это играло, распевало, смеялось и шумело

Форум Романум горел. Искрящееся небо изливало на него свой блеск; в жгучем блеске солнца ослепительно

сверкали многочисленные предметы искусства, из которых была устроена выставка. Это было выставленное для осмотра публики собрание государственной сокровищницы: собрание трофеев, приобретенных победоносными войнами Сотни разгоревшихся глаз скользили по столам, покрытым золотыми сосудами; по ложам, выстланным слоновой костью, черепахой, серебром и бриллиантами; по шахматной доске, сделанной из бриллиантов, по шахматам из золота, по отлитым из серебра статуям богов, по нескольким десяткам корон, сплетенных из жемчуга... Но сегодня на Форуме возвышался среди других один помост, который привлекал к себе больше других, потому что на нем были выставлены предметы, совсем недавно привезенные в Рим после последней, одержанной в войне победы покорения Иудеи. Помост, возбуждающий наибольшее любопытство, был покрыт добычей, которую Тит привез из превращенного в развалины Иерусалима.

Рассматривающие все эти трофеи люди были веселы. Толстые пальцы указывали на то или другое, щелкали языки, издавая звуки, подобные смакованью отборных кушаний. Сильвий, вышивальщик из Авентина, обнимал торговца благовонными товарами Вентурия, и оба сияли радостью. Их толкнул пробирающийся сквозь толпу сотник Педаний.

— Чего ты толкаешься, бревно, и людей по дороге расшибаешь? — крикнул обиженный Сильвий.

— Молод для толчения камней! Чуть было руки моей не размозжил своими плечами! — тонким голосом вторил другу завитой и раздушенный торговец благовонными товарами.

Вдруг чей-то голос, серьезный, печальный, воскликнул: — Неблагодарные души!

Все оглянулись.

— Что он квакает? — крикнул Сильвий.

Какой-то покрытый шрамами солдат сказал:

— Он говорит правду. Из ваших собачьих ртов лает благодарная душа. Вы ругаете честного солдата, когда он вытащит из вашего горшка горсть вареных бобов или, проходя, прищемит вам кончик нежного мизинца. Неужели никто не сказал вам никогда, что если бы не этот честный солдат, то вы не обладали бы тем, чем вы обладаете?

Он показал на помост, покрытый добычей, привезенной из Иудеи.

Если вы полагаете, что это была веселая прогулка,

то вы стадо ослов. Говорю вам, что они защищались, как бешеные львы... Тараны и бревна, которыми мы разбивали их стены, они портили и жгли. Из трехсот машин выбрасывали они на нас камни... осыпали нас дождем стрел, обливали кипящей смолой и маслом... Они нападали на нас днем и ночью... Если бы вы их видели тогда!.. Иоанн из Гишалы не был человеком. Говорю вам, что он не был человеком таким, как вы и мы. Я собственными глазами видел, как из головы его вылетали огоньки и усаживались на головах его солдат. Говорю вам, что это был колдун... Когда однажды с оливковой горы они обрушились на нас, как пена лернейской гидры, даже Фульмината, самый стойкий из четырех легионов Тита, даже Фульмината отступила, и если бы не Тит, слыша божественный голос которого мы всегда переставали думать, даже о себе... может быть, вы теперь не таранили бы глаза на иудейскую добычу. Проклятое племя! Всякий раз, вспоминая об этом роковом дне, который на минуту затмил славу Фульминаты, я чувствую страшное желание убить хоть бы одного из этих врагов императора и Рима...

— Дерзость их не знала границ, — точно таким же голосом воскликнул стоящий рядом Пуденций. — Пусть Педаний подтвердит то, что я вам расскажу. Мы стояли напротив их войска, ожидая сигнала к бою. Шевельнуться нельзя... Педаний знает, какая это мука не иметь права шевельнуться без приказа. Вдруг один из них, тот которого мы всегда видели рядом с Иоанном из Гишалы, выступает вперед. Высокий, худой, черный, он осыпает наше войско градом обидных выражений и кричит: «Пусть кто-нибудь из римских воинов вступит в единоборство со мной... Иди, иди, римлянин, столкнись грудь с грудью с иудеем... пусть я объятия моими хоть одного из вас прижму к сердцу». Я слушаю, неистовствую, но стою как вкопанный. Повиновение! Никому без приказа не позволено шевельнуться! И тут Приск, молоденький сын сестры моей Сервилии... Еще не протекло года с той поры, как его облекли в тогу зрелости, тотчас после этого он стал солдатом... дитя, убежал из рядов... не выдержал... выскочил и полетел на иудея... Они схватились, боролись недолго и Приск пал, пронзенный насквозь мечом иудея... Пусть Педаний подтвердит, каким красивым, каким отважным и добрым был сын моей Сервилии... Я не женат... Служа Риму, я не имел времени свить себе гнезда.. Приска я хотел усыновить... Сестра у меня была одна... эта Сервилия,

славная и кроткая женщина которая, когда я бывал в Риме кормила меня превосходными бобами, чинила мне одежду и вместе со мной поминала родителей наших... От горя она быстро отошла в страну теней!

- И что же? — крикнул вышивальщик Сильвий. — Никто из вас не отмстил за бедного Приска? Дерзость иудея сошла ему с рук безнаказанно?

— За него отмстила стрела Пуденция, — воскликнул Педаний, — но это племя колдуново! Убийца Приска пал сраженный его стрелой однако же я видел его вчера!

— Где?

— Вчера в амфитеатре... Тот самый, кто из богохульных уст своих извергал оскорбления божественному Титу и величавой Беренике... Это был он, тот самый... Мы его считали убитым, вчера он ожил сегодня, может быть опять Гарпии повлекли его в подземное царство

- Он жив! — визгливым, пронизывающим голосом крикнул кто-то

— Где он? Где прячется убийца моего Приска? Веди нас туда, оборванец, и мы справим тебе такую новую тунику какой с самого рождения не видали твои желтые глаза! — крикнул Пуденций

Но Силас уже спрятался за широкими плечами Бабаса и смуглолицей, растрепанной, украшенной серебряными обрубками египтянкой Кромией

Воспоминание о вчерашнем происшествии было стрелой, обвитой в горячий материал и брошенной в толпу. Все разом заговорили, все стали изумляться оскорблению, нанесенному сыну императора и величественной Беренике, все были разгневаны дерзостью жалкого чужеземца, который оскорбил величие римского народа.

Из группы сирийцев, над которой возвышался своим ростом Бабас и слышался ядовитый хохот Кромии, послышалось

— Его зовут Ионафаном!

Это была вторая стрела, брошенная в толпу. Множество людей слышали о нем. Это был один из вождей иудейского восстания, один из самых яростных борцов против власти императора и Рима. Это был тот, который, будучи уже жалким и преследуемым скитальцем, сумел собрать в Египте вооруженную толпу иудеев и разжечь там против императорских властей бунт, правда, быстро утопленный в крови бунтовщиков, но свидетельствующий о заклятой ненависти и несмирившейся дерзости этого человека. И этот

колдун, которого не могли доконать ни стрелы, ни бдительные власти великого государства, находится в Риме и смеет... смеет публично издеваться над величием римского народа, проклинать любимого народом и войском сына императора и его избранницу...

Сильвий, размахивая в воздухе белой рукой, на которой блистал перстень с аметистом, с видом политика разрешающего важные дела, проговорил.

— Обдумайте это, граждане, в просвещенных умах ваших! Они одни так долго сопротивлялись нашему могуществу. Египет, Сирия, Малая Азия, Галлия, Испания уже благодарят фортуна за то, что она соединила их с Римом другие ропщут, но покоряются нашей силе и нашему просвещению... и только эти ничтожные так долго сопротивлялись нам и теперь еще, побежденные, оскорбляют богов наших, императора и нас... Но действительно ли побежденные те, которые мешают нам везде: в порте, на рынках в портиках и у честных граждан Рима отнимают выгоду добываемую тяжким трудом, и возможность прокормить свои семьи...

Тут из-за плеча Сильвия высунулась завитая голова Вентурия, который, растопырив руки, воскликнул.

— Сильвий сказал правду! С той поры, как они размножились за Тибром, я не продаю половины того количества духов, какое продавал прежде. Сильвий сказал правду!

— Допустите ли вы, граждане, чтобы честные римляне уселись на мосту нищих, а чужеземцы чванились своими богатствами в городе предков наших?

— Клянусь Кастором! — воскликнул высокий мужчина, — когда хозяева усядутся на мосту нищих, мы детей наших разве в Тибр побросаем?

— Если сначала не съедят их иудеи!

Эти слова проговорил человек, который до сих пор молча слушал разговоры. Он стоял у подножия ростры одетый в богатое платье, со смуглым лицом, выражающим лукавство и дерзость, свойственные людям, выполняющим при своих господах обязанности управляющих домами. В нем узнали тайного уполномоченного Цестия, бывшего начальника римских войск в Иудее и мужа прекрасной Фульвии. Его окружали несколько человек, которые вторили его словам. Все они были с господином своим в Иудее, хорошо знали эту страну и населяющее ее племя. Рассказывали же они вещи, от которых слушатели бледнели от ужаса и дрожали от гнева. Они жарят тела чужеземцев

и съедают их внутренности. Поклоняются ослиной голове, козлу и такому божку, внутренность которого наполнена огнем! В огонь этот они бросают детей! Этого божка называют Молохом. Они молятся также и тельцу, отлитому из золота. Они знают чары и заклинания, которыми обращают в свою веру чужеземцев. В Риме есть множество людей, которые приняли их веру. Будет ли римский народ спокойно смотреть на покинутые божества свои?.. Предшествующие императоры не раз уже защищали от этих азиатов святыни Рима. Клавдий изгнал их из Рима. Император Веспасиан кроток и занят другими делами, но ненавидит их и после того, что вчера произошло, наверно, наложит на них свою карающую десницу...

Человек в плаще с капюшоном покинул шумящий суматохой воспламенившейся толпы рынок

Пробравшись через густозаселенные и окруженные величавыми зданиями улицы Тускулана, он прошел мимо дровяного рынка, наполненного пьяной и разгульной толпой, обошел вокруг громадного цирка и узкими, уже тихими переулками вступил на Авентин, где ажуром своей колоннады и красками фрески, нарисованной Артемидором, блестел портик Цестия.

Тут было значительно тише. На сходящихся около портика улицах не расставляли пиршественных столов и не шумел пирующий народ; в портике прохаживалось несколько человек, у одного из которых, самого высокого и плечистого, были седящая борода, темный плащ и спокойное лицо. Прохожий, идущий с Форума, остановился и стал прислушиваться. Молодой и свежий голос спрашивал:

— А теперь, Музоний, скажи нам, что такое отвага?

Опершись спиной о колонну и скрестив руки на груди, стоик отвечал:

— Отвага, Епиктет, это добродетель, вооруженная для защиты справедливости. Она не чудовище, которое бросается в порыве алчности и варварства для насыщения похоти и гордости, но наука о правах человеческих, поучающая нас отличать то, что следует сносить, от того, что не должно быть терпимым. Сердце спартанца воспаляла только победы. То же самое происходит и с гордым. Он хочет быть первым, он хочет быть единственным, а возвыситься так над другими не может без того, чтобы не нарушить справедливости и не растоптать добра. Борясь с таким, ты будешь борцом справедливости...

С минуту царило молчание. Потом кто-то опять спросил:

— А что же, учитель, в самом существе своем добро?

— Его составляют четыре элемента: любовь к людям, любовь к истине, любовь к свободе и любовь к гармонии

Человек в капюшоне поднял голову и воскликнул:

— Слова твои, учитель, как небесная музыка звучат в тишине этого портика и как целебный бальзам протекают среди шума, наполняющего сегодня этот город. Но, Музоний, в то время, как ты учишь тут этих благородных юношей любви к людям и правде, там, на форуме, волки и змеи вливают в душу римского народа яд ненависти!

Музоний и окружающие его оглянулись, но прохожий, который проговорил эти слова на превосходном латинском языке, уже поспешно сворачивал на одну из улиц, ведущих к Тибру. Через минуту в группе, стоящей в тени портика, раздался юношеский голос, звучащий иронией и запальчивой горечью:

— Кто бы ни был тот прохожий, он сказал правду. Оглянись, Музоний. В то время, как мы в этой прохладной тишине пьем вместе с тобой небесный напиток философии, вокруг нас кипит животное безумие, народ обжирается, спивается, гуляет и испускает крики в честь тех, которые превращают его в стадо свиней и волков. Горечь и негодование овладели моими мыслями, и я спрашиваю тебя, учитель: почему так узок тот путь, по которому мы идем за тобой?

Музоний спокойно отвечал.

— Он высок, Ювенал, и бессмертен. Объятый гневом на преступления и глупости человеческие, знай о том, что род человеческий не кончается на нас и что шествия его этот век не замкнет. Из-под небесной тишины и ясности философия рассеивает свои истины в души редкие, избранные, которые медленно и с трудом разносят их по пространству и времени. Мы жрецы ее. К нам следует применить стих Енея: «Пусть никто не орошает наших могил слезами, потому что мы живем вечно, летая из души в душу». Когда страсти кипят, насилие угнетает, глупость безумствует, не станем отступать из рядов борцов за правду и добро, но, как бы опирающиеся на высокую и бессмертную скалу, засматриваясь в будущее мира, подставляя наши головы под громы и молнии, будем стоять за принципы.

Среди шума, который доносился с улиц и рынков, слова Музония действительно казались небесной музыкой в тихом

и прохладном портике. Молоденький Ювенал поднес к губам, с которых исчезла саркастическая улыбка, плащ любимого учителя; глубокие страдальческие глаза Епиктета сверкнули блеском вдохновения; Тацит воскликнул:

— Пойдем, учитель, на Форум, чтобы собственными глазами увидеть то, о чем нам говорил этот прохожий...

В эту минуту к ним подошел молодой стройный мужчина, в белой тунике и серебряной повязке на черных как смоль волосах. Это был Артемидор. С глубоким почтением склонился он перед Музонием.

— Гельвидий и Фания просят тебя, учитель, — сказал он, — чтобы ты как можно скорее прибыл в дом их, в котором прежде, нежели истечет час, будут принимать у себя в гостях Домициана, сына императора.

Глаза стойка засверкали, как у воина, вызываемого на бой; вскоре, однако, на высоком лбу его дрогнули и углубились морщины.

— Домициан у дочери Тразея... Лицом к лицу с Гельвидием! — И, давая себя увлечь пылкому своему характеру, который философия держала на узде, он воскликнул: — Существует ли хоть один день, который мы могли бы в спокойствии и безопасности посвятить великим мыслям и размышлениям? Будем готовы, о возлюбленные! Будем готовы на то, что каждый час может стать для многих из нас роковым.

Прохожий, который за минуту до этого обратился к Музонию, был уже далеко. Той улицей, которая вела из Остийских ворот к Тибру, спустился он к Авентину, прошел под тенистым сводом арки Германика, перешел через мост и очутился в транстибериме. Тут царила глубокая тишина. Сирийское население выбралось в город на пиры; иудеи, видимо, прекратили свои обычные занятия. Можно было бы подумать, что, почуяв веяние бури, они приникли к земле, сдерживая дыхание в груди. Квартал имел такой вид, точно обитающее в нем население внезапно вымерло. Тесные рынки и улицы, безлюдные сегодня, купали свои лужи и кучи мусора в отблеске яркого, возвещающего бурю солнца; вонючий воздух окутывал серые дома, из которых глухо раздавался гул оживленных разговоров.

Каморка, выстроенная над крышей Менохима, была полна людей, которые чалмами почти касались балок потолка. Сквозь бычий пузырь туда проникало немного света воздуха не хватало: струи пота текли на испуганные лица.

Прохожий, прибывший с Форума, быстро вбежал по

узкой лестнице на террасу и вошел в каморку. Войдя, он тотчас сбросил с плеч на пол свой плащ с капюшоном; из-под него показался изящный римский наряд, от которого Симеон и другие отвернулись с отвращением. Но Менохим бросился к пришедшему и хотел целовать его руки

— Юст! Спаситель моего Ионафана...

Не обращая внимания ни на преисполненные благодарности объятия Менохима, ни на презрительные взгляды других; секретарь Агриппы начал рассказывать обо всем, что он видел и слышал в городе, а также о том, что он узнал в доме своего начальника. Опасность висела над иудейской общиной. Император и сыновья его, еврейская аристократия и часть римского патрициата, солдаты, купцы, народ, все это закипело против пришельцев гневом и ненавистью которые никогда не стихали, но, теперь разгоревшиеся могли разразиться бурей.

Какой страшной могла быть такая вспышка, об этом свидетельствовали эдикты предшествующих императоров, обрекающие иудейское население на поголовное изгнание из Рима и недавние жестокие убийства, которые уже после падения Иерусалима нередко происходили в Антиохии, Александрии, Кесарии. Прежде всего жизни Ионафана угрожает опасность. Теперь уже все знают, что он жив и где он находится. Но и спокойствие, и безопасность всей общины висят также на волоске порвать который стараются много рук

Для собравшихся в каморке людей эти известия не были новыми. Кроме Юста, у них были в богатых кварталах города свои друзья, которые уже с утра приносили им вести о брожении среди пирующей сегодня толпы о том, что возвышающаяся на Форуме статуя Александра Тиверия, правителя Египта, иудея отступника тем не менее, однако, иудея была уже облита помоями, что толпы народа проходили перед дворцом Монобаза с бешеными криками, требуя от банкира возвращения денег, выжатых ростовщицеством у римских граждан. Юст прибавил, что Иосиф Флавий, рано утром вызванный к императору, вел с ним долгую беседу, после которой вернулся во дворец Агриппы, плача и жалуясь на безумие черни, а во дворце Агриппы с самого раннего утра пребывал Тит с глазу на глаз с Береникой, разгневанной, отчаивающейся и, наверно, менее чем когда-нибудь расположенной принять дело своего народа под свою защиту.

Присутствующие обратили свои побледневшие, дрожа-

щие лица на Ионафана, стоящего до сих пор неподвижно. Он стоял, опершись плечом о стену, а профиль худого лица его, густо обросшего, резко вырисовывался на позолоченной солнцем раме. Менохим присел в углу и закрыл лицо ладонями. Кто-то спрашивал:

— Зачем Ионафан сделал то, что подвергает опасности целую общину? Зачем он пробудил дремлющие стаи волков и ястребов? Почему со вчерашнего дня молчит так, точно уста его замкнуты печатью Господа? Отчего он смотрит в землю, точно стыд тяготит его?

Юст, стоя подле него, убеждал его, чтобы он оправдал свой поступок перед теми, которые могут подвергнуться за него наказанию.

Ионафан молчал. На лице его свойственную ему прежде непреклонность и запальчивость заменило выражение глубокого унижения. Проницательный взгляд мог бы прочесть на нем мучительное чувство стыда. Те, которые обращались к нему со множеством вопросов, не смели, однако же, задеть его каким-нибудь обидным словом. Разве же он не был одним из самых пылких защитников отчизны и храма, другом Иоанна из Гишалы, мучеником святого цела? Но, объятые страхом, они кипели гневом. Угрюмый Симеон, показывая рукой на Юста, крикнул:

— Это изменник! Если мы хотим, чтобы над нами смиловался Господь, то прогоним из среды своей тех, которые облеклись в едомскую шкуру. Прочь из собрания верных!

Юст сначала побледнел, а потом лицо его облилось краской. У него не было времени ответить, потому что между ним и Симеоном встал Горий. Белое лицо гиллелиста горело румянцем негодования.

— За какую вину, — крикнул он, — оскорбляешь ты этого юношу, который нередко служил нам советом своим и помощью, а вчера заслонил от врага воина Сиона?

— Я собственными ушами слышал, — воскликнул Симеон, — как он говорил, что в греческих и римских науках содержится много великих истин и что мы дурно поступаем, удаляясь от них..

— Может быть, он говорил правду.. — робко сказал кто-то из молодежи.

Закипела ссора. В пылу ее ясно обрисовалось два течения. Одно из них кипело безграничной ненавистью, другое великой скорбью, но не гасящей факела разума.

Я шамаист и горжусь этим! — кричал Симеон. —

Я шамаист, который ожесточился против чужих народов и для которого все греческое и римское является собачьим пометом, оскверняющим виноградник Господа. Я поклоняюсь тем нашим мудрецам, которые провозглашают в Ябуе «Из каждой буквы извлечь шефель предписаний, а из этих предписаний создать плетень, который отделил бы Израиль от других народов».

У Гория в пылу спора чалма сдвинулась на затылок, изпод нее рыжие кудри высыпали на вспотевший лоб. Он смеялся с горечью, плохо шедшей к его кроткому лицу и светлым его глазам.

— Благодаря мудрецам нашим, — говорил он, — которые днями и ночами размышляют над тем, что сделал для нас чистым и что нечистым, издевающиеся над нами чужие народы правы, утверждая, что вскоре мы захотим чистить самое солнце, чтобы иметь возможность на него смотреть?

— Измена! Отступничество! Измена! — вzywало несколько голосов.

— Горе тебе, народ мой! — заглушая все остальные зазвучал у окна молодой голос. — Ты будешь отныне страшным именем изменника клеймить каждого из сыновей твоих, который тебе подаст каплю свежего напитка в новом сосуде или предостережением попытается исправить пути твои!

Это был голос Юста. Тотчас несколько десятков рук грозно протянулись к нему.

— Прочь из лона верных, прислужник Агриппы! Метла Едомитова! Язва на теле Израиля! Дерзкий, оплевывающий святыни наши! Прочь отсюда! Прочь!

Несколько рук, дрожащих, но сильных, хватало его за плечи и рвало на нем тонкую ткань римской туники; одна рука, смуглая, с судорожно дрожащими пальцами, рука Симеона, черные глаза которого горели диким огнем, тянулась к его горлу. Еще секунда и безумие породило бы преступление. Но в эту же минуту Ионафан пробудился точно от сна. Это было пробуждение льва. Подобный льву, он бросился к тому, которому угрожали, и заслонил его от нападающих. На пристыженное до этого лицо его вернулась вся смелость и гордость. Глаза его метали молнии, побелевшие губы дрожали.

— Прочь! Прочь от него!.. — воскликнул он. — Я человек действия, не слов... В бою и скорби я забыл что чисто и что нечисто... и о мудрецах ваших в Ябуе не говорили мне ни вихри пустынь, ни волны переплываемых мною морей.

Я знаю только то, что люблю Иудею, а болящие раны мои говорят мне, что этот человек также любит ее Он, брат мой...

Все сначала остолбенели, потом отступили. Оскорбить этого воина и мученика не смел и не хотел никто. Некоторые пристыженно наклоняли головы, другие еще, ворча, пережевывали свой гнев. Горий, обернувшись лицом к стене, плакал

Вдруг, посреди минутной тишины, послышался голос, кроткий и умоляющий:

— Позвольте, братья, чтобы беднейший и смиреннейший из вас, но старейший летами обратился к вам.

Эти слова произнес Аарон. Недавно еще разносил он по городу благовонные товары и вместе с Мирталой стоял в портике Цестия. Теперь тяжкая немощь восковой желтизной облекла его съезжившееся, страдальческое лицо, обрамленное белой как снег бородой. Белоснежные волосы его ниспадали из-под круглой ермолки на худую шею и сморщенный лоб. Обведя слезящимися глазами собравшихся, он сказал:

— Когда я слушал ваш спор, Предвечный шепнул мне на ухо повесть, записанную в одной из священных книг наших.. На земле существуют четыре вещи маленькие, а мудрее наимудрейших. Муравьи, народец слабый, который в жнитво заготавливает себе пропитание; зайцы, община несильная, которая, однако, устраивает себе прибежище в скалах; саранча, не имеющая царя, но ходящая отрядами; паук, насекомое жалкое, однако же обитающее в царских дворцах.

Он умолк и, лукаво улыбаясь, обводил присутствующих пронизательными глазами. Минуту спустя, с глубоким раздумьем в голосе, он проговорил:

— Ссоры, точно так же как и наслаждения, — дело могущественных Народ слабый должен, как муравьи, усердно собирать для себя пищу, чтобы у него не было недостатка в силах для жизни; пусть, как зайцы, он пробирается в твердых скалах безопасные прибежища для себя. Если он, подобно саранче, без земли и без царя, пусть ходит сплоченным отрядом. Пусть так, как паук безобразный и презренный, везде прядет свою пряжу, чтобы иметь за что уцепиться в этом царском дворце, который Предвечный построил для всех народов — сильных и слабых.

— Да будет так! торжественным хором воскликнули

присутствующие, и торжественная тишина снизошла на все эти лица, перед которыми при словах старца предстал долгий, трудный и кровавый путь

— Созвать всех старшин общины! Совещаться! К кому обратиться за защитой и помощью? Как смягчить гнев императора и римлян? Что делать?

С этими словами они покидали каморку, спеша так точно их настигала уже коса смерти, наступая друг другу на ноги

Менохим поплелся за ними; Аарон, опираясь на суковатую палку, вышел последним.

Ионафан и Юст остались вдвоем.

— У чужих народов, Ионафан, бывают великие мужи изрекающие великие слова. Один из них сказал: «Любовь к отчизне так громадна, что мы измеряем ее не продолжительностью нашей жизни, но заботливостью об ее жизни» Она-то тебя и опьянила! Увлеченный ею, ты не измерил ее продолжительностью жизни своей и своих близких..

Ионафан воскликнул

— Перестань, Юст! Не увеличивай стыда моего! В первый раз я изменил святому делу! Прости мне, Иудея! Первый раз я поклонился тельцу собственных страстей.

Он прижимался лбом к стене и шептал тихо:

— Слабым бывает человек, родившийся от жены.. По том заговорил быстро и страстно:

— Как же стал бы я говорить им, что я это сделал из ненависти к врагу, в то время, как уста мои открыла любовь к женщине? Должен ли я был лгать подло или обнаруживать перед ними сокровенные тайны моего падения?.. Когда я возвращался сюда, в позднюю вечернюю пору, я видел девочку, идущую рядом с римлянином и тихо беседующую с ним. В доме отца нашего увидел я ее, и, как в небесной лазури, утонули в ней глаза мои, но я вместе с тем почувствовал, Юст, что от нее веет Едомом. Голубые глаза свои она отворачивала от меня и думала. о нем Когда я держал ее руку, она вырывалась и думала о нем! В Моад-Ел она не подошла ко мне, как другие, но стояла вдалеке, бледная от ужаса... Гнушается она, Юст, язвой несчастий наших, и мысль ее увлечена проклятыми наслаждениями Рима Покинув Моад-Ел, я всю ночь, не смыкая глаз, смотрел на небо спрашивая у Предвечного разгадку моих мук... Из сирийских грактиров в тихом воздухе до меня постоянно доносилось имя Береники О отравительни

ца!.. Перед рассветом я был уже за Тибром. Я шел не сам, меня нес какой-то дух. Я не знал, что я делаю. В голове моей не было ничего, кроме шума, постоянно грохочущего, горе! Я не думал о Иудее, не думал о разрушенной славе Предвечного... Я думал об этой моей... Когда та, как змея, покрытая золотой чешуей, поднялась навстречу Едомскому возлюбленному, я не видал ее... не видал ее... перед глазами у меня стояла моя... и к своему римлянину протягивая объятия... Тогда я крикнул... грудь моя была наполнена стонами и проклятиями... Юст... но моим поступком руководила любовь не к отчизне, но к женщине!

Он зарыдал, пылающее лицо свое он скрыл в ладонях, из-под которых текли слезы, он снова зашептал:

— Слабым бывает человек, родившийся от жены... прости, Иудея! Не гаси, Предвечный, огненного столпа, за которым я шел до сих пор кровавым путем моим!

Печально и снисходительно слушал Юст признания друга, пока наконец глаза его не сверкнули благоговением. Душа Ионафана отворялась перед ним настезь; он видел в ней стыд и отчаяние. Кротко возложил он руку на низко склоненную голову друга и заговорил тихо. Он говорил, что всю ночь провел в приготовлениях к бегству, что у пристани стоит лодка, готовая отплыть в Остию, где друзья, предупрежденные обо всем, примут его и тотчас поместят на первом корабле, который покинет морской порт...

Ионафан выпрямился.

— Нет! — отвечал он решительно. — Я не выйду из этого дома один.

— Как? В таких ужасных обстоятельствах ты хочешь взять с собой девушку?

— Я хочу увезти ее отсюда, в качестве супруги моей. Тщетными были долгие увещания Юста.

— Погибнешь, — говорил он.

— Вместе с ней! — угрюмо и тихо твердил Ионафан.

— Ступай в лодку!

— А она?

— Это невозможно.

— Значит, Юст, ты советуешь мне, чтобы я предоставил ее объятиям римлянина?

Юст, ломая руки, быстро сбежал с лестницы и несколько раз крикнул:

— Миртала! Миртала!

Но та, которую он звал, была далеко.

VIII

Она была у вершины Авентинского холма, на котором по близости от храма Юноны, блестя окнами верхнего этажа и окруженный белоснежной колоннадой, стоял дом претора.

Не без труда совершала она свой путь, пробираясь через веселые полупьяные толпы. Ее останавливали и задевали грубыми жестами и словами. Мысли ее были заняты иным, нежели опасностью, которой она могла бы подвергнуться. В голове ее непрерывно стучали слова, которые с раннего утра доносились до ее ушей: «Куда обратиться за защитой и помощью?» Что делать? Никто не знал, но она знала. За защитой и помощью шла она к этим знакомым, добрым, мудрым... Разве же они сами не страдают так же? Сколько же раз она видела бледность скорби и гнева, обливающие лицо претора? Сколько раз из глаз Фании скатывались слезы. Музоний как-то необъяснимо похож на Менохима! А он? Он также там, наверно... Он вступится за нее и за народ... Она увидит его! Она не видела его уже так давно! Может быть, как прежде, чудный голос его запоеет в ее ушах. Может быть, как прежде, возьмет он ее за руку и поведет ее в глубину сада или от картины к картине, от статуи к статуе будет ходить с ней, как добрый ангел по лучезарному царству искусства. Она покидала ад; рай был перед ней. Она дрожала под белым покровом, на котором искрилась серебряная вышивка...

У дверей дома претора она остановилась неожиданно для себя; там царили толкотня и суматоха. Несколько десятков нумидов, могучих, чернокожих, украшенных золотыми браслетами и серьгами, стояли там с угрюмой неподвижностью статуй, держа на плечах носилки, похожие на маленькие дома, вызолоченные и украшенные слоновой костью и пурпуром. Вокруг носилок слуги в белых туниках, вышитых золотом, убивали время ожидания шумными разговорами. Некоторые, усевшись на тротуаре, играли в орлянку. Из дверей ближайшего трактира вышла молодая красивая гречанка в желтом платье, высоко перепоясанном красным поясом; откинув назад гриву каштановых волос, она пококетничала со слугами.

Всем было известно, что белые, вышитые золотом туники были ливреей императорского двора, которую, кроме императора и его сыновей, никому в Риме не позволялось

носить. Недавно еще рассказывали о том, как жестоко оскорбился Домициан, когда Сальвидиний, один из самых аристократических щеголей и племянник одного из предшествующих императоров, осмелился слуг своих нарядить в подобную ливрею. Домициан сегодня посещал дом Гельвидия

Смелое лицо претора казалось отлитым из бронзы, так неподвижны были его черты в ту минуту, когда он приветствовал гостя, прибытие которого было уже с утра возвещено ему придворным гонцом

— Привет тебе, Домициан! Чем прикажешь служить тебе, достойный гость мой?

Фания поднялась со своего кресла и, не выпуская из ладони руки сына, приветливо поклонилась гостю. Потом тотчас уселась опять, спокойная, и только по легкому вздрагиванию руки, которую она положила на пурпуровую тунику маленького сына, можно было угадать ее волнение.

Со скромно опущенными веками и вкрадчивой улыбкой на губах Домициан указал на стоящего тут же за ним Метия Кара и сказал:

— Если ты удостоишь, знаменитый Гельвидий, одарить своим взглядом вот этого моего друга, то ты легко угадаешь причину, которая привела меня сюда. Я прибыл для того, чтобы лично просить тебя о милостивом к нему решении в тяжбе, которую он затеял против Поллии Аргентарии, вдовы, негодной памяти бунтовщика, Лукана. Прошу тебя, достойный, чтобы ты не колебался между любимым другом моим и семьей того, имя которого должно звучать омерзительно для каждого из честных граждан Рима...

Почти незаметно дрогнуло лицо претора. Верховный судья, решения которого пытались публично сковывать, приветливым голосом отвечал:

— Нельзя ли, господин, устроить так, чтобы мы вовсе не говорили о Лукане? То, что ты бы сказал о нем, не было бы для меня приятным; мои слова о нем оскорбили бы тебя. Другу твоему Кару Гельвидий Приск желает счастья, но у претора нет памяти для имен и отношений человеческих. Приговор в деле Кара и Аргентарии изрекут моими устами законы отчизны нашей и справедливости.

На лице императорского сына стал медленно выступать слабый румянец. В свите его зашептали:

— Мы предсказывали божественному Домициану отказ этого наглеца. Он сказал: «Стоя лицом к лицу со мной, он утратит свою смелость»

Но Домициан продолжал стоять в той же скромной позе, а улыбка его становилась чуть ли не ласкающей.

— В чем же я провинился перед тобой, достойный и знаменитый, что ты так сурово поступаешь со мной и с друзьями моими? — воскликнул он жалобно.

— Клянусь головой Горгоны, от этого вопроса можно окаменеть! Сын императора спрашивает о вине своей того, который и во сне, и наяву бредит еще о республиканских временах! — прошептал кто-то.

Префект преторианцев, храбрый воин и лукавый придворный, проговорил:

— Спросим об этой вине философа Музония... Как трогательно рассказывал он недавно о прежних диктаторах, которые в руки народа слагали власть свою каждый раз, как этому милому народу хотелось вырвать ее у них!

Домициан продолжал:

— Я молод и знаю, что скромность приличествует еще малым заслугам моим; итак, я скромно и с сыновним почтением прихожу к тебе, краса Рима, а ты отказываешь моей просьбе.

Со все тем же приветливым спокойствием Гельвидий отвечал:

— Если бы твое желание, Домициан, было справедливым, я охотно бы исполнил его, но, требуя нарушения справедливости от того, который должен быть ее стражем, ты требуешь вещи, омерзительной богам, точно так же, как и людям...

Домициан поднял руки и воскликнул:

— Боги мне свидетели, как несправедливо оскорбляют меня достойнейшие граждане моей отчизны! Я вижу, Гельвидий, что я не обладаю ни малейшей долей твоего расположения. Ты не признаешь меня даже достойным титула императора, который мне приличествует носить, как сыну моего божественного отца. Как нянька малого ребенка, ты называешь меня по имени и, как недоросля, учишь, что омерзительно богам и людям. Я предпочел бы, знаменитый, чтобы ты любил меня больше и не отказывал мне в том, что мое. Однако я кроток и охотно забываю оскорбления. Я справедливо могу применить к себе стих бессмертного Гомера. — Он продекламировал по-гречески:

«Однако кровь не так кипит во мне, чтобы из-за пустяков бушевать, гнев свой я сдерживаю разумно», — прибавил:

— Любить тебя, Гельвидий, я не перестану и отца моего убеждать не буду, чтобы он божественной подписью своей скрепил эдикт, обрекающий тебя на изгнание из Рима или из мира, но рассуди, и приговором своим имения, оставшиеся от гнусного Лукана, из рук Аргентарии передай в руки моего друга!

Гельвидий повторил

— Приговор этот, Домициан, изрекут моими устами законы отчизны и справедливости..

Домициан выглядел теперь совершенно иначе. Кровавый, темный румянец залил его обнаженную шею, грудь его вздымалась. После короткого молчания он проговорил насмешливо:

— Завидуй рассудительности и проницательности ребенка, сосущего грудь своей матери, Гельвидий! Ты выступил, Гельвидий, на войну с богами и обязан только снисходительности моего отца тем, что ты еще не являешься добычей подземных божеств. Ты ведь об этом долго рассуждал в Сенате; прибывающему в Рим Веспасиану оказывали как можно меньше почестей, потому что лесть вызывает тиранию. Ведь это ты научил сенаторов, как они должны законодательным уставом определить расходы властелина мира. Ведь это ты, посланный ему навстречу вместе с другим сенатором, осмелился назвать его «Веспасианом»! А что же ты сделал в священный день Аполлона? Открыл арену в отсутствие императора. Ты стократ провинился в оскорблении величия, этом самом тяжком из земных преступлений, а как же ты принял меня сегодня в этих стенах? Где цветы и ароматы, музыканты и певцы, которые бы мне выразили твою радость и благодарность? Дерзкий отказ, вот все, чем ты наделил меня, который, как ягненок перед львом, унижался перед тобою. Истинно мудрыми были предшественники отца моего, и я готов каждую минуту приносить жертвы на алтарях Тиверия, Клавдия и Нерона, которые очищали землю от такого ядовитого племени, как ты...

Гельвидий с все более бледнейшим лицом и сжатыми губами выслушивал оскорбления, которыми его осыпали. Он медленно поднял умоляющий взгляд на Музония. Когда Домициан перестал говорить, раздался голос Музония. Глядя на Гельвидия, стоик сказал:

— Если тебе скажут: «Закую тебя в цепи!», а ты уважаешь только добродетель свою, отвечай: «Закуй меня в цепях твоих; я останусь все же свободным»

Слова его утонули в крикливом шуме, который поднялся в свите Доминициана. Вдруг все смолкли, глаза всех устремились на медленно поднимавшуюся со своего кресла Арию. Она протянула руку к Доминициану и проговорила:

— Умершие приветствуют тебя, сын императора!

Она сама выглядела так, точно явилась из страны теней. При виде ее страх мелькнул в расширенных зрачках Доминициана.

— Умершие приветствуют тебя в лице моем, сын императора, — повторила она — Ты знаешь хорошо, кто та, которая теперь обращается к тебе. Когда ты был ребенком, няньки, верно, пугали тебя историей моего рода. Видишь ли ты за мной гекатомбу, воздвигнутую из крови и костей самых дорогих мне теми, которых ты смел прославлять в этом доме?

Угрюмые черты ее дрогнули, но, поборов минутную слабость, воскликнула:

— Не стану плакать перед тобой. Не доставлю тебе наслаждения смотреть на слезы римской матроны. Но с трона скорби моей скажу тебе, чтобы ты покинул этот дом, который твое присутствие оскорбляет; не с ветвию мира прибыл ты сюда, а с бичом оскорбления и угрозы. Уходи!..

Поднялся шум. Одни угрожали, другие боязливо шептали, что следует спросить авгуров, что предвещает для молодого императора встреча с этой угрюмой старухой...

— Злые гении свели ее с ума...

— Разлаялась, как Гекуба, когда, по утрате детей своих, превратилась в суку.

— Выглядит так, точно она сегодня ночью покинула Гадес!

Префект преторианцев воскликнул:

— Клянусь Геркулесом! Неужели достаточно карканья одной бабы, чтобы возбудить суеверный страх!

Домициан дрожал. Сколько в этом было гнева, сколько страха! Он был человеком вспыльчивым и трусом. Однако, дрожа, он засмеялся и прерывающимся голосом воскликнул:

— Прощайся со светом, претор, потому что ты уже недолго будешь смотреть на него! Прощайся с Римом, Музоний, ты, обезьяна Минервы, потому что завтра тебя изгонит из него эдикт императора! Прощайте навсегда, покинутые богами..

Как разлившаяся бурная река, свита императорского сына ринулась из дома претора, когда у выхода ей заградила путь толпа нарядных женщин и мужчин. Ее вела раздушенная, бойкая, вся в цветах и драгоценных камнях Кая Марция. За руку она держала молоденького мальчика с красивым нежным лицом, с золотым шаром, висящим на шее на дорогой цепочке. Встретясь лицом к лицу с Домицианом, римская ветренница бросила к ногам императорского сына букетик лилий и крокусов, который она держала в руках, и с изящной грацией поклонившись, возводя к нему прекрасные глаза, воскликнула.

— Благодарю тебя, Юнона, что, взамен золотого сердца с прекраснейшим из моих изумрудов, которое я оставила во храме, выслушала мою просьбу. Давно, солнечный Домициан, я желала узреть вблизи блеск лица твоего. Я увидела твои носилки у дверей претора, и боги вдохновили меня, чтобы я сегодня же утолила мою жажду. Будь боготворим о бессмертный, и окажи мне милость, о которой я буду молить. Вот сын мой, Гортензий, ребенок, которому еще не сняли золотого шарика с шеи

В свите раздался смех

— Который из четырех мужей оставил ей на память этот подарок?

— Что она хочет, чтобы с этим мальчуганом сделал божественный Домициан?

— Она еще недурна, и, клянусь Венерой, я бы не испугался, встретив ее в укромном месте...

Кая не слышала ничего. Вся ее душа сосредоточилась на лице императорского сына. Движением изящного светского человека поднял он с колен красивую женщину и покровительственно положил ладонь на плечо ее сына.

— Из Гортензия моего, божественный император, сделай себе слугу и невольника! — со слезами восхищения сказала Кая. — Пусть он наливает тебе вино в чаши и зажигает огонь на алтаре твоих домашних божеств. Посвящаю его на твоём алтаре...

Домициан, сияющий, со счастливой улыбкой, вызванной лестью и прекрасными глазами Кая, сел в носилки, пригласив жестом Кая следовать за ним.

В доме претора царил тишина. Ария, опираясь на плечо Фании, покидала атриум.

Гельвидий подошел к Музонию.

— Учитель, — сказал он — если и в цепях я являюсь еще

свободным, то я обязан этому учению стоиков. Целый век прошел с той поры, как среди неслыханного гнета и несчастий вы, стоики, являетесь советниками и утешителями честных и независимых. Согласно вашим указаниям, мы живем; умираем, утешаемые вами. Сегодня, Музоний, я увидел вблизи зловещий час мой. У меня есть тут, на земле, великие привязанности, которые мне вскоре придется покинуть. Отчизна, друзья, супруга... ребенок... О учитель! Душа моя взволнована! Возьми ее и убаюкай духом философии, чтобы она могла сохранить спокойствие мудреца и выносливость гражданина.

— Из-за того, что человеческие чувства трепещут у тебя в груди в торжественную минуту, не бойся за свое спокойствие и выносливость. Душа сильная не должна быть холодной и бесчувственной. Стоицизм не учит тебя равнодушию, он учит победе над скорбью и страхом...

Они сели у очага и начали тихий долгий разговор.

Недалеко от них стоял юноша с серебряной повязкой на черных волосах. Глаза его случайно остановились на женской фигуре, мелькнувшей в конце большой залы; хотя она была вся закутана в белое покрывало, он узнал ее. Глаза их встретились, они улыбнулись друг другу. Кивком головы он показал ей, чтобы она вышла в сад.

В саду претора было одно место, до которого не доносились ни отголосок уличного шума, ни лучи жгучего солнца. Несколько пальм возвышались там своими зелеными зонтиками, разливая вокруг бодрящую и прохладную тень. Кусты, покрытые цветущими розами, наполняли воздух упоительным ароматом; поблизости бил фонтан.

— Наконец я увидел тебя! Где же ты так долго была? Отчего ты не пришла, когда я звал тебя?

Он нежно погладил волосы сидящей подле него девушки.

— Брат мой, с которым меня обручили в детстве, собирается увезти меня из Рима навсегда... — прошептала она

Глаза ее были полны слез, она склонила пылающую голову. Движением, полным ласки, он поднял ее голову.

— Слушай, ни одна девушка никогда не затрагивала моей души так, как ты: нередко мною овладевало безумие бога любви, но я быстро и с отвращением отворачивал уста от пенящейся чаши: я не находил в ней того, что жаждал. Я жаждал души чистой и вдохновенной, как твоя, Миртала!

Тот же самый луч, который разжигал на его голове

серебряную повязку, в вышивке ее спадающего покрова сверкал миллионами искр. Румянец ее соперничал с розами; огненные волосы струями золота рассыпались по плечам. Он склонился, положил венок, сплетенный из роз, на эти прелестные волосы и привлек ее к себе. Но она вдруг побледнела и, покорно склонив увенчанную голову свою, отвела его руки.

— Я пойду. — прошептала она, — мой дурной сон возвращается.

Он, склонившись над ней, стал медленно читать стихотворение одного из латинских поэтов:

— Горе тебе, если ты будешь мыслить о конце, который мне или тебе предназначили боги! Будь мудрой! Пей вино и долгих надежд не требуй от короткой жизни; пока мы говорим между собой, завистливое время уходит. Лови день, как можно менее доверяя будущему.

Она побледнела еще больше и попыталась высвободиться из его рук.

— Я пойду... — вставая, сказала Миртала и, вдруг подняв руки, она проговорила с болью: — Да смилуется надо мной Предвечный! Когда я там, я умираю из-за того, что не могу быть тут. Будучи тут, я жажду лететь туда. Два могучих ангела разрывают мне сердце... Что же мне делать?..

Выражение невыразимой муки появилось на ее побледневшем лице, но тотчас, как бы отвечая на собственный вопрос, она прошептала:

— Пойду.

— Куда? — спросил Артемидор.

— К претору пришла я, чтобы умолять о спасении — и... забыла обо всем...

Артемидор, с горькой улыбкой на губах, сказал:

— К претору пришла ты за спасением... Разве для него самого есть спасение? Кто он, если не осужденный, по которому вскоре слезами скорби зальются глаза всех любящих его?

В эту минуту раздался спокойный мужской голос:

— Кто рассуждает тут о преторе? Это ты, Артемидор? А это ты, грациозная девочка? Чего вы хотите от меня? Чем я буду завтра, не знаю, но сегодня я еще претор Рима! Кого мне спасти и от чего? Тебя ли, Артемидор, от стрел купидона, или тебя, девочка, от того зарева, которым пылают глаза этого любимца муз?..

Рядом с Гельвидиом был Музоний, за ними шли Фания и маленький Гельвидий, который, увидев Мирталу, подбежал к ней и с радостным криком повис у нее на шее и стал лепетать о том, что она так долго не приходила играть с ним, что еще не видала ласточки его, сделанной из серебра, которая, только запустить ее в воздух, летает, как живая... как живая... что недавно ему было очень грустно, потому что отец его с молодым императором разговаривал так странно, как-то так страшно... а мать, отойдя в глубину дома, напрасно хотела скрыть слезы, которые он увидел и осушил поцелуями; но что теперь ему весело, очень весело; он сейчас побежит за своей ласточкой, которую он будет пускать с Мирталой.

Действительно, все в доме было теперь как обычно. На смелом, энергичном лице претора не было уже и следа того душевного беспокойства, на которое он жаловался своему учителю. Одна только Фания была тиха и бледна. Глядя на цепляющегося за платье Мирталы сына, она прошептала — Сирота!

Претор расслышал ее слова и крепко обнял ее, но не сказал ничего. Он внимательно слушал Артемидора, который тихо говорил ему о Миртале, ее семье и народе, которому угрожала опасность. Музоний рассказал о том что произошло сегодня на Форуме. Когда они закончили, Гельвидий обратился к присутствующим:

— В беседке нас ожидает ужин, прошу вас, дорогие, сесть со мною за стол. Там мы выслушаем девушку и, наверно, в последний раз вместе выльем чашу вина к подножию Юпитера, освобождающего...

В беседке, перед полукруглой скамьей, сделанной из резного мрамора, на большом столе стояли в серебряных сосудах свежие и благовонные плоды, золотистые кратеры, наполненные вином. Гельвидий вместе с семьей и гостями сел за стол. Миртала встала у входа в беседку. Тут же возвышалась статуя Юпитера, но не того, который держал в своих руках громы и молнии, а того, который освобождал от гнета и несправедливости. Робость и волнение заставляли низко склонить ее голову, на которой алел венок из роз, сплетенный Артемидором. С минуту она стояла неподвижная и молчаливая, потом встала на колени и, возведя на претора полные слез глаза, обвила руками мраморное подножие бога свободы...

IX

День подходил к концу Крики народа, пьяного от вина и возбужденных страстей, возносились к небу, темнеющему сегодня раньше обычного. На берегу Тибра большой рыбный рынок и пара соседних улиц были запружены пестрыми толпами. За Яникульским холмом еще видно было солнце но кровавый щит его стала заслонять громадная туча охватывающая горизонт черным полукругом. Навстречу ей со всех сторон горизонта тянулись разорванные клочки желтых облаков. Жгучий сухой ветер дул с юга. В глубине полукруглой тучи, поднимающейся из-за хомов за Тибром солнце разжигало тысячи красок. Царящий над Римом капитолийский храм Юпитера-громовержца стоял как бы в кровавом зареве. Полукруглые вершины ворот и арок его горели. Над Марсовым полем тучи пыли и унесенной из фонтанов воды вихрь скручивал в золотистые столбы, которые с шумом перелетали через реку и неслись по широким дорогам. Темные сады шумели; желтые волны Тибра, обрамленные белой пеной, глухо рокотали.

Собравшиеся на берегу Тибра толпы с ужасом наблюдали за небом.

— Смотрите, квириды! Когда на небе покажется струя крови, которая стекает в сад Цезаря, боги ясно показывают свои намерения... — кричал какой-то предсказатель.

— Эге! — воскликнул он, — видите вы эти два огненных скрещенных меча? Это несомненный знак того, что Аполлон за оскорбление своего праздника взывает к Юпитеру, чтобы он обратил свои громы на вас...

— Эскулап! — взывал где-то голос, звучащий тревогой, — опусти снова на мои глаза ту чешую, которую ты снял с них когда-то. Пусть я лучше опять ослепну, нежели смотреть на эти черные щиты, из середины которых сочится кровь... Когда эти щиты ударятся друг о друга и один изотрет другой, горе Риму. Видите ли вы эти щиты, квириды? Видите ли вы их?

Все видели струю крови, скрещенные огненные мечи, железные щиты, из которых сочилась кровь. В самой огромной из туч сталкивались между собой два отряда воинов и потом быстро превратились в две химеры, трясущие львиными гривами и машущие хвостами. Из-за химер выскользнул сатир, смеющийся и рогатый, а с другой стороны к нему плыли развевающейся гирляндой белые нимфы

Вдруг химеры, сатир, нимфы и окружающие их тусклые венки лесов исчезли, а туча сплотилась в одну гигантскую гору. из выдолбленной вершины которой вырвались кровавые. смешанные с фиолетовым и белым огни Это было похоже на извержение вулкана

— Горит! — крикнули десятки голосов

В то же время раздался в воздухе протяжный, металлический звук. Тысячи людей упали с воплями на колени и возвели руки к небесам. Один из предсказателей объяснял громко среди всеобщего молчания, что звук произошел от столкновения двух небесных щитов. которые ударились друг о друга

В толпе раздались крики

— Великая Юнона, охраняющая вершину Авентина, защити свой город!

— Аполлон! Милостивый покровитель пастухов, не дай погибнуть бедному народу

Сильвий, вышивальщик с Авентина, скептически улыбался рассуждениям предвещателей и обнимал Вентурия хрупкое и изнеженное тело которого дрожало, как в лихорадке.

— О Сильвий! прошептал он.— Когда мне так страшно, как теперь, то я бы желал, чтобы мать не родила меня на свет!

— Ты глуп, как только что родившийся ребенок! ворчал вышивальщик и крепче обнимал дрожащего друга

Вентурий смотрел вытаращенными глазами на тучи.

— Взгляни, Сильвий, взгляни! Да покинут меня боги. если я не вижу над нашими головами стада слонов!

— Ты глуп, как пустая амфора! — сказал Сильвий и. используя выдумку друга, крикнул: — Да покинут меня боги. если это не стадо слонов. Хорошо нам будет, квириты, когда эти бестии обрушатся нам на головы? Если вы не слепы, то видите сами, с которой стороны они летят. С востока летят! Проклятый восток! Проклятые пришельцы с востока, которые навлекают на нас гнев богов!

Всюду рассказывали о странных случаях, недавно произошедших, свидетельствующих о приближении больших бедствий. Все слышали, как недавно в Атулее родился теленок с головой собаки. В Арретиуме шел каменный дождь. Еще более страшным явлением посетили боги Самниум. Там также выпал дождь, но из разорванных кусочков мяса В Этрурии шестимесячный ребенок воскликнул у гру-

ди матери: горе! В Апулее два горящих факела пронесли над жнецами.

Педаний, в эту минуту побледневший, громко воскликнул:

— В моем родном городе Бруттиуме, говорят, у какой-то бабы пшеничные колосья выросли из носа!

Это сообщение Педания не возбудило смеха. Еще сегодня утром все, конечно, посмеялись бы над этим, но теперь они уже не были способны в чем-либо сомневаться. Никто не сомневался в истине слов Пуденция, которому сегодня приснился племянник его Приск и с плачем упрекал его в неотмщенной своей смерти. Пуденцию действительно должно было это присниться, потому что при рассказе об этом губы его жалобно искривлялись, а в глазах сверкала бешеная жажда мести.

Но страшнее всех чудес и снов были постоянно вызываемые воспоминания о действительных и недавних событиях. В конце царствования Нерона боги посетили Рим бурей, невиданной до этого. В окрестностях Рима свирепствовал воздушный смерч, разрушая дома, поля, виноградники и леса. Земля затряслась, море выступило из своего ложа и разбушевавшимися волнами срывало и уносило все, что встречалось ему на пути. В Риме молния разбила множество статуй и убила множество людей. Тибр разлился и выкинул в город громадное количество ядовитых гадов...

Это было, наверно, следствием ветра, который подул опять, но у всех на головах волосы стали дыбом. Вдали проносились звуки протяжной песни. С той стороны, из которой обыкновенно прибывали из Остии нагруженные товаром корабли по ворчащим, обрызганным белой пеной волнам Тибра, под черной тучей плыла тяжелая, большая галера. Вздутый парус ее несея по серому пространству; по краям ее в два ряда сидели люди, весла которых с мерным плеском погружались в воду. Гребцы, приближаясь к порту, пели, и протяжная песня их с безбрежной тоской неслась среди тишины. Ее тотчас заглушил далекий еще раскат первого грома.

Посреди небосклона виднелась только узкая полоса лазури, черные и рыжие тучи, казалось, охватывали мир двумя громадными скорлупами, которые вскоре должны были столкнуться между собою. Одна из них приветствовала другую отдаленным еще громом. Какой-то предсказатель крикнул, что это был вовсе не гром, а отголосок

бубна, который на стенах храма Марса, как это уже не раз бывало, зазвенел сам собой, предвещая этим бедствие Толпы, наполняющие побережье Тибра, обезумели; побледневшие губы беспрестанно страстно спрашивали о возможной причине гнева богов. Чтобы не быть убитыми, они жаждали убить кого-нибудь. Кого? Среди минутной тишины какой-то бас говорил:

— В Кесарее их избили двадцать тысяч .. В Антиохии, Греции и Сирии все дома их превращены в прах. В Египте, по приказанию императора, храм их, выстроенный по образцу иерусалимского, разрушили до последнего камня

В другом месте кто-то, задыхающийся от страха, прерывающимся голосом подхватил:

— Они смели угрожать, что во время игр сожгут амфитеатр с сорока тысячами зрителей. Это было в Александрии; я могу представить свидетелей

Сильвий сказал:

— Если бы мы по примеру Кесареи и Антиохии

А кто-то другой подхватил:

— Хоры невинных девушек, распевая священные гимны освященной водой окропили бы Рим.

— Если почести не отдадут ни императору, ни богам Кому же, следовательно? Духам подземным?..

— Приск! Да обратит меня сию же минуту в камень голова Горгоны, если я сегодня не отмщу за твою смерть...

Все разом говорили, подзадоривая друг друга, молясь и проклиная в одно и то же время...

Вдруг кто-то крикнул:

— Успокойтесь! Смотрите, вот боги ниспосылают нам предзнаменование, с Капитолия вспорхнули вороны!..

С Капитолийского храма, который царил над городом, действительно вспорхнула стая черных воронов и, с громким и жалобным карканьем, понеслась в мрачном пространстве. Полет птиц — это одно из священнейших указаний для римлян. В какую сторону свернут вороны и где сядут? Может быть, они сядут на храм Юноны и этим укажут, что именно эта богиня требует жертв от народа. Вороны повисли над аркой Германика, но тяжелые крылья их только задели полукруглую вершину ее. Вороны летели над Тибром, слышался шорох их крыльев. И вдруг разом, всей стаей, спустились они на иудейский квартал и посреди его плоских домов исчезли.

Над Яникульским холмом сверкнула молния... Тотчас раздался пронзительный крик:

— За Тибр! За Тибр!

Минуту спустя из-под арки Германика хлынула толпа людей, показывая на мост, все кричали:

— За Тибр! За Тибр!

В это время у моста распахнулись двери большого трактира и на улицу вывалилась толпа сирийцев. Пьяные, громадный Бабас в золотом венке и Кромия с развевающимися волосами, шли впереди, танцуя под музыку сирийских флейтисток, которые в хлопчатых платьях, с блестящими тиарами на головах, надувая щеки, дули в флейты и, поднимая обнаженные руки, стучали металлическими систрами. Силас в красной блузе, танцующий около флейтисток, издали походил на рыжего козла, беззубая Харотия, с свалившимся на плечи платком, с седыми волосами, падающими на пожелтевшее лицо, бегала между ними, разливая вино из амфоры. Тут не боялись бури, не думали о богах.

Толпа, сбегаящая с моста, и вышедшие из трактира встретились и смешались между собой. Бешеные крики слились с раскатами смеха и пронзительными звуками флейт. Квартал у подножия Яникула наводнили разом толпы пришельцев и истребляющей лавой залили улицы и площади...

Что происходило там, среди этой человеческой свалки? Защищались ли те, на которых напали? Из чьей груди вырывались эти стоны, страшные проклятия, которые заглушали шум бури. Там, где стояли дома Сары и Гория, происходили самые ожесточенные схватки. Сильвий и Вентурий утоляли давно накипевшие в них гнев и зависть, внутри домов слышались треск взламываемых сундуков и звон разбитой посуды. Педаний и Пуденций искали тут человека, отомстить которому им повелевала память убитого на войне Приска. Группа сирийцев тащила к ближайшему трактиру кричащую и вырывающуюся от них Мариам, младшую дочь Сары. Несколько молодых людей, среди которых своей римской одеждой выделялся Юст, сражались у дома Гория. Один из них упал; его унес обезумевший от отчаяния Горий, этот кроткий гиллелист, который теперь с сверкающими глазами кричал:

— Прости, Симеон! Простите мудрецы, что в Ябуе я с вами спорил! Мести! Мести!

Вдруг в одном месте послышалась изящная речь и зате-

ялся какой-то странный разговор. Голос спокойный, но повелительный увещевал кого-то:

— У вас спор с обитателями этих домов? Хорошо. Но существуют два способа разрешения споров, один с помощью разума, другой с помощью силы... Первый человеческий, второй животный... Разве вы стадо скотов?

Несколько человек засмеялись. Один из них воскликнул

— И сюда тебе надо было забраться, философ! Ты извлечешь столько же выгоды, сколько ты извлек, когда ты вышел к войскам Виталлия, осаждающим Рим, и говорил им, что война — преступление, а мир — наслаждение

— Говорил и говорю теперь,— продолжал спокойный голос,— говорил им и вам говорю: долой гнев! Он не добьется ничего справедливого, а нет блага, кроме того что справедливо..

— Чтобы тебя, Гадес, поглотил попугай Минервы! — крикнул Сильвий.— Зачем ты сюда пришел, чтобы твердить свое вечное: нет блага, кроме этого, нет зла, кроме того... Ступай спать, Музоний! Доброй ночи тебе.

— Человечество существует только при помощи справедливости, оно погибло бы, если бы люди только и покушались бы на жизнь и здоровье друг друга! воскликнул философ

Окружающие начали находить все это забавным

— Послушаем его! — кричали они.— Пусть болтает Вентурий своим тоненьким голоском пропищал:

В собственных головах у нас достаточно мудрости какая нам прибыль от грез твоего больного мозга... Почему, Музоний, ты так бледен и сморщен? По тебе видно, что фортуна, должно быть, тебя наделила несколькими здоровенными пощечинами. Значит, негодились тебе твои умные выводы?

— Онигодились ему на то,— крикнул кто-то,— чтобы заступаться за чужеземцев, противных императору и богам...

Музоний сказал:

— Такова природа человека, что она повелевает ему делать добро, а когда он уже не может ничего сделать, то желать добра...

Из разразившейся смехом толпы молодой человек в римской одежде громко воскликнул:

— Не такова, Музоний, натура человеческая, не такова

она, как ты предполагаешь, и в этом твоя ошибка. Мудреца от черни отделяют пропасти, которых не заполнят века!

Музоний, стараясь рассмотреть говорившего, отвечал

— Я услышал душу, которая мыслит! Кто бы ты ни был, знай, что стоик не отступает ни перед издевательствами толпы, ни перед угрозами знатных. Он не повелевает с мечом и не дурачит чудесами. Сегодня я не добьюсь ничего. Но будущее за мной. Я стою за принципы.

— Стой себе, стой! — восклицали вокруг. — Это не убавит у нас из горшка ни одной фасоли. Ты сам себе враг, потому что император в любой день изгонит тебя из Рима. А, может быть, тебе накинут веревку на шею и потащат в тюрьму. В чем же тебе тогда помогут твои принципы?

Педаний вышел из толпы. Скорее с грубоватой, нежели злобной улыбкой на лице он показал свои громадные кулаки

— Кто из нас сильнее, философ? Кто из нас сильнее? Ты мудр, а, однако, я одним щелчком свалю тебя с ног. Мне не нужно твоей мудрости, я предпочитаю свою силу.

Вдруг где-то в переулке чей-то запальчивый голос крикнул:

— Педаний! Сирийцы нашли человека, которого вы ищите! Вот ведут его...

Однако в эту минуту мост, соединяющий Авентин с За-тибрием, засверкал факелами, и при алом отблеске были видны торопливо идущие люди.

Ликторы! Клянусь Геркулесом! Это ликторы... — закричал кто-то.

Вереница одетых в белое ликторов, с топорами в руках, расталкивала толпу и проложила путь колеснице. На колеснице стояли двое людей: один, окутанный величаво в белую тогу, усеянную золотыми пальмами, опирался о скипетр с серебряным орлом; другой, молодой и стройный, с серебряной повязкой на черных как смоль волосах, держал в руках вожжи. Возле возницы сидел прелестный мальчуган с греческим профилем и длинными волосами, рассыпавшимися по аметистовому хитону.

— Претор! Претор! — зашумела толпа.

Голос его, сначала заглушаемый глухими раскатами грома, был слышен всем. Слова его обрушились на толпу с силой брошенных камней. Народу, онемевшему и оцепеневшему, он напоминал о великом и свободном прошлом его. С пронизывающей иронией спрашивал он: неужели ему

уже больше нечего делать, кроме того, как набивать брюхо свое, напиваться допьяна, дрожать перед баснями и нападать на беззащитных? Вместо форума — цирк, вместо трибунов вам дали гаеров, из места совещаний сделали место игрищ, рынок гражданский превратили в рынок свиной «Хлеба и зрелищ!» — взываете вы и собачьими языками лижете руку, осыпающую вас благами, крови вы жаждете, хотя бы и невинной, а расположением вашим обладают те именно, которые делают из вас бессмысленное и жестокое стадо...

В толпе послышался ропот.

— Оскорбления извергаешь! Оскорбления бедному народу извергаешь, гордый патриций.

— Смотри! — кричал Сильвий. — Чтобы не выковать из своих слов топора для своей шеи...

Невозмутимым взглядом окинул Гельвидий море голов, окружающее его колесницу.

— Не знатным и великим родился я, — отвечал он, — но очень близким к вам, сыном сотника... Следовательно, не происхождением горжусь я, но честностью, не оскорбления извергаю я, но вразумление... кто мне угрожал топором? Знаю, знаю о нем, римляне. Я не утратил разума и знаю, что делаю Ликторы мои и вызванная мною городская стража разгонят вас, как бессмысленную и пьяную сволочь. Я не переделаю вас; все же хоть и преждевременно я умру, но в летописях отчизны запишут еще одно имя, незапятнанное рабством ни по отношению к пурпуру, ни по отношению к грязи...

В одном из переулков, ведущих к рынку, раздались музыка, смех и пронзительные женские крики. При отголоске этого крика руки Артемидора задрожали. Он бросил вожжи Гелиасу, соскочил с колесницы и сказал претору

— Позволь мне, господин, поспешить туда вместе с твоими ликторами... я узнал этот голос...

Он бросился в переулок и увидел, как какие-то пьяные люди тащат за руки и за одежду худенькую, вырывающуюся у них девушку. При виде приближающихся ликторов они разбежались. Девушка в разодранной одежде упала на землю. Артемидор, подбежав, склонился над ней, губы его страстно прошептали:

— Возлюбленная моя!

Она открыла удивленные глаза и когда узнала склонившееся над ней лицо художника, улыбка невыразимого сча-

стья мелькнула на ее побелевших губах. В эту минуту перед колесницей претора появился старый, босой, в рваной одежде, в чалме, сваливающейся с головы и открывающей седые растрепанные волосы человек. Он бежал, задыхаясь и крича:

— Там приехал знатный господин... сам претор... он рассудит справедливо... он скажет вам, что вы лжете, как псы... что это не он, но я... я... Менохим.

Он остановился перед претором и склонился в поклоне таком низком, что почти коснулся земли лбом. Потом он выпрямился и, задыхаясь, заплетающимся во рту языком заговорил:

— Не верь им, достойнейший, смилуйся и не верь им, о знатный! Лгут они. Он ни в чем не виноват. Он нигде не был и вам ничего дурного не делал... всегда сидел дома и ткал себе! Он ткач... спокойный такой... ягненок не может быть смиреннее его. Где ему воевать, и затевать бунты, и оскорблять ваше величие и ваших императоров в амфитеатре... Он бы даже не сумел бы этого... такой кроткий... и ума на это нужно, а он глуп... обыкновенный простой ткач... ха, ха, ха, ха!..

Он засмеялся. Босые ноги его топтались на песке; из глаз, обезумевших от отчаяния, ручьем катились слезы, он подскочил к колеснице, поднялся на цыпочки и старался поднести к губам край тоги претора.

— Скажу тебе правду, достойнейший, — говорил он, — умоляю тебя, чтобы ты мне поверил. Великий, сжапись и поверь тому, что я тебе скажу... Он, то есть сын мой... то есть этот Ионафан, которого сирийцы вытащили из дома, а сотники ведут к тебе, нигде не был и ничего не делал.. это большая ошибка... за меня его приняли... я это ходил в Иудею на родину против вас... Я сражался с вами, рядом с Иоанном из Гишалы... Я в Египте бунт затеял, я в амфитеатре... Все я... я... Менохим! А он ничего! К нему эта чистая придирка! Умоляю тебя, могущественный, поверь мне. Но как же тут не верить, когда это чистая правда... Прикажи ликторам, чтобы они связали меня, а сотникам, чтобы выпустили его... Узником своим сделай меня вместо его, и, как пес, буду у ног твоих ползать до тех пор, пока не умру... Отчего же ты не приказываешь ликторам вязать меня. Врагом вашим я был всю жизнь... Ах! Сколько ваших солдат я убил там, в Иудее!.. Как громко я кричал в амфитеатре! А вы думаете, что это он, этот невинный... кото-

рый всегда дома сидел и ткал себе... ха, ха, ха, ха! Почему же, могущественнейший, ты не повелеваешь вязать меня? Не веришь мне? Ликторы! Вяжите меня! Вяжите меня, ликторы!

Босые ноги его продолжали топтаться и подскакивать, он бегал от одной колесницы к другой, протягивал ликторам сложенные вместе руки. Вдруг он умолк и, дрожа как в лихорадке, присел на землю у одного из колес. Перед колесницей Пуденций и Педаний, держа за руки, поставили Ионафана. Из-за их спин выскакивал Силас, крича, что он нашел его и выдает теперь римским властям. Ему вторили Бабас и Кромия...

— Ликторы! — указывая на сирийцев, воскликнул претор, — разгоните этих бродяг! Вы, сотники, останьтесь Ионафану претор сказал:

— Говори, иудей!

Приподняв голову, он смотрел прямо в глаза претору. На одно мгновение в черной бороде его сверкнули белые зубы, что придавало его лицу выражение дикой ненависти, но тотчас он сказал спокойно:

— Этот старец лгал перед тобой, претор, потому что очень любит меня. Все, что сотники говорят тебе обо мне, правда. Имя мое — Ионафан. Я сражался с вами и ненавижу вас в сердце своем. Если бы Предвечный дозволил мне жить сто раз, то я сто раз поступил бы так, как поступал. Вот все. Прикажи людям своим, чтобы они вели меня на смерть...

Как схожа, как странно схожа была участь этих двух людей — того, который, стоя на колеснице, опирался о скипетр и должен был вынести приговор, и того, кто в оборванной одежде ожидал приговора!

Гельвидий стоял с опущенными ресницами и окаменевшими чертами, рука его, опирающаяся на серебряного орла, медленно поднявшись, опустилась снова. Окружающим его он тихо сказал:

— Старца и девочку отведите ко мне в дом... Пусть они не видят...

Но та, о которой он заботился, услышала его слова и, вырвавшись из дорогих ей объятий, подскочила к Ионафану.

— Я с ним! — крикнула она.

Крупные, редкие капли дождя посыпались вниз. Вихрь зашумел, и где-то, близко уже, над Яникульским холмом

загрохотал гром Из-за стихающего раската слышался громкий, повелительный голос претора:

— Ликторы! Вяжите этого человека!

Он не договорил еще этих слов, как Миртала бросилась к Ионафану и, обняв его, упала к нему на грудь:

— Я с ним! — крикнула она опять.

Но на этот раз за ней побежало несколько человек, и молодой римлянин, с серебряной повязкой на волосах, уже касался ее, когда в руке Ионафана сверкнула сталь.. Ионафан в дикой усмешке оскалил зубы и глухо пробормотал:

— Не достанется она тебе, римлянин!

В эту минуту громадные завесы туч плотно сомкнулись, пламя факелов, окруженное густым дымом, склонялось к земле, ветер развеивал их, а тяжелые дождевые капли с шипением гасили. Небо запылало молниями. Тысячи огненных змей, извиваясь по черным, вздутым тучам, изливали ослепительный отблеск на землю.

С пронзительным треском ударил гром, и по разбушевавшимся волнам Тибра долго еще катился могучий грохот

С. КОНЧИЛОВИЧ

ГИБЕЛЬ ИУДЕИ

I

Гавань небольшого городка Путеол в Неаполитанском заливе служила центром торговли на Средиземном море. Здесь обычно стояли корабли, привозившие товары для громадного рынка на Тибре из Египта и Малой Азии, с берегов Черного моря, из Африки и западных провинций Римской империи. Громадные трифемы и легкие небольшие суда то и дело входили и выходили из гавани; в бесконечных складах ее нагромождены были товары всех стран и народов.

В конце марта 71 года в Путеолах царило необычайное оживление. В гавани стояла на якоре флотилия военных кораблей, прибывших ночью из Александрии и только начинающих высадку. Дома, гавань и все предместье украшены были зелеными венками и пестрыми коврами. На месте высадки войск из свежих цветов устроена была красивая триумфальная арка, около которой, как и дальше по всему берегу гавани, толпилось множество народу, с нетерпением ожидающего того момента, когда высадится на берег победоносный полководец.

Покорение Иудеи, осада и разрушение Иерусалима были в глазах современников одним из самых блестящих военных деяний Римской истории. Еще ни один народ не боролся с такою отчаянною храбростью за свою независимость, ни одна война не стоила стольких жертв и столько крови. Иерусалимский храм, знаменитейшая после храма

Дианы в Ефесе святыня Востока, вместе с самим городом был полностью разрушен. Поэтому, когда Тит, сын императора Веспасиана, с многочисленными пленниками возвращался через Александрию в Италию, народ приветствовал его, как увенчанного славой победителя, и торжество в Путеолах² было лишь преддверием того блестящего триумфа, который ожидал римского полководца в столице на семи холмах.

Наконец золоченая лодка, украшенная венками и цветными лентами, на которой находился полководец, приблизилась к берегу. В других лодках находились военные легаты и начальники триб, разделявшие с Титом торжество. Но глаза всех устремлены были только на Тита; к нему одному относились ликование и победные крики, которые далеко разносились по заливу.

Круглое лицо с чуть изогнутым носом и дружеская улыбка Тита были так доброжелательны и приветливы, настолько были чужды жестокости, что многие, видевшие его в первый раз, удивленно спрашивали себя: неужели этот человек вел кровавую войну и столько раз сам изумлял своей храбростью на поле боя. На нем была гладко прилегающая туника ярко-красного цвета, поверх нее перекинут был через правое плечо плащ с золотой застежкой.

В свите Тита находился человек, принадлежавший к побежденному иудейскому народу. Это был Иосиф Флавий, который некоторое время руководил обороной в осажденном городе, но, видя неизбежную гибель Иерусалима, перебежал к римлянам. Ласково принятый Титом, он в скором времени заслужил его доверие; еще в лагере под Иерусалимом он начал писать свою историю иудейской войны, являющуюся прославлением победителя. Иудей Иосиф, принявший римское фамильное имя Тита, был несколькими годами старше самого Тита; резкие черты лица и поседевшие раньше времени волосы свидетельствовали о том, что он перенес.

После Тита наибольший интерес у собравшейся в гавани толпы возбуждал пленный царь Иудеи. Когда он, полунагой, с цепями на шее и руках, вышел на берег, солдатам пришлось употребить силу, чтобы удержать толпу, которая готова была растерзать его. Обливаясь кровью, осыпаемый градом ругательств и насмешек, скорее полумертвый, чем живой, дошел он до темницы, откуда в ближайший день должен был отправиться на верную смерть в Рим.

В то время, как легионы, получившие перед этим не-

сколько дней отдыха, из Путеол, вместе с пленниками и богатой добычей, направились по Аппиевой дороге в Рим, Тит, оставив их, поспешил явиться к своему царственному отцу в его дворец в горном предместье Сабин.

Было много важных вопросов, которые Веспасиан желал обсудить с сыном. После жестокого царствования Нерона три соперника: Гальба, Оттон и Вителлий, в борьбе за право владеть миром, готовы были навлечь новое бедствие на Рим, если бы, к счастью, палестинские легионы не провозгласили цезарем Веспасиана. Действительно, столица приняла победителя с радостью; однако старый римский орел подозрительно смотрел на быстрое возвышение человека из Сабинских гор. Казна была истощена, торговля и экономика расшатаны, порядок и спокойствие, необходимые условия для всякой плодотворной деятельности, предстояло еще восстановить. К тому же из Азии приходили тревожные вести: дикие кочевые племена готовились к новому нападению на римские провинции. При этом положении дел так необходимы были цезарю преданные и вместе опытные люди, и как мало было таких, на которых можно было всецело положиться!

— Единственный человек, — проговорил Веспасиан с досадой, — на которого я мог бы рассчитывать, — это твой помощник, Муций. Но ты лучше меня знаешь, с каким удовольствием эта упорная лошадь может сбросить в яму и колесницу, и кучера. Мой брат, Климент, — продолжал цезарь, мрачно насупившись, — мог бы помочь мне, но с некоторого времени он совершенно удалился от общественных дел.

— Я в Риме явлюсь прежде всего к нему, — сказал Тит, — и постараюсь убедить его, чтобы он в интересах нашего рода принял на себя одну из важнейших должностей. Климент столь же умен, сколь и энергичен, и нам никак не обойтись без его помощи.

— Да, но он упрям как мул; уж если он не захочет чего сделать, то не сделает ни за какие блага, — раздраженно сказал цезарь. — Отчего, однако, произошла с ним такая перемена, я не знаю. Прежде это был честолюбивый человек. Теперь же на все мои предложения он отвечает упорным отказом. Я не буду удивлен, если его не будет при нашем триумфальном шествии.

— Но почему, — воскликнул Тит, — почему он стал так чуждаться людей? Что у него, денежные дела плохи? Или он с женой не ладит? Может быть, он нездоров?

— Нет,— усмехнулся цезарь.— У него особый род помешательства. Он принимает у себя бедняков и калек и хочет посвятить всему этому отребью свою жизнь. Представь себе, он устраивает даже в доме какие-то собрания из престарелых мужчин и женщин.

— Тогда нужно назначить над ним опеку!

— И вот, в то время, как этот человек, который должен бы служить у меня правой рукой, впал в позорную бездельность,— продолжал цезарь с негодованием,— твой брат Домициан, которому недостает столько же ума, сколько и опыта, с ненасытным тщеславием стремится все к большим и большим должностям. Он мне противен, как старое и кислое вино, которого я никогда не мог пить. Думаю, что бессмертные боги все же отдалят тот день, когда Домициан станет моим и твоим преемником.

На следующий день Тит отправился в Рим, чтобы посетить Климента. Но первым, кого он посетил в столице, был не его дядя.

Ирод Агриппа II, получивший от своего отца титул царя Галилеи, был в дружеских отношениях с Веспасианом и его сыном. Он и после покорения Иудеи удержал свое царское достоинство, управляя своею областью, как и раньше, из Рима, где у него был свой двор. Его сестра Вероника, царица Киликии, отличалась замечательной красотой и умом. В кругу высшей римской знати она задавала тон и предписывала моды. Иудейского у ней было только имя. Она придерживалась предписаний закона Моисеева и соблюдала иудейские праздники, но это делали многие римские матроны, называемые прозелитками врат.

Именно к Веронике и спешил сейчас Тит. После короткого супружества он успел лишиться и второй жены. Римляне знали, что красивая и умная Вероника покорила его сердце.

Ирод вместе с сестрой жил в Авентинском дворце, принадлежавшем казне, который уступил им Веспасиан. Из дворца открывался чудный вид на цепь Ватиканских гор и на Тибр, кативший свои желтые воды, внизу же расстилась бесконечно разнообразная жизнь Эмпориума, где из многочисленных кораблей выгружались товары.

Дворец был обставлен с царской роскошью; находившиеся в глубине его покои царицы имели все, что только богатство и искусство способны были создать во дворцах римских сенаторов. В комнате, которая была предназначе-

на Вероникой для приема Тита, мягкие персидские ковры покрывали пол; на окнах висели пурпуровые занавеси из Тира; выточенные из слоновой кости языческие божки поддерживали столы, верх которых состоял из сплошного ствола кипариса; сделанные из золота и слоновой кости сиденья покрыты были коврами. В библиотеке можно было найти все новейшие рукописи и между ними стихотворения, в которых поэты воспевали саму Веронику.

Вероника была олицетворением восточной красоты, полной очарования и жизни. Густые, черные с отливом волосы, поддерживаемые спереди золотой пряжкой, роскошными локонами ниспадали на плечи; черные глаза, тонко очерченный нос и губы, очаровательная улыбка, стройный стан — все было исполнено красоты и изящества.

Царица старалась подавить волнение, с каким она ожидала теперь прихода Тита.

Она его увидела в первый раз в прошлом году в Иудее, во время посещения ею вместе с братом лагеря римлян под Иерусалимом. Тит поражен был ее красотой. Письмо, которое он ей написал, и подарки, им посланные, не оставляли никакого сомнения, что он в нее страстно влюбился. Вероника ответила ему взаимностью, так как на нее повлияли и красота сына цезаря, и его мужественный характер, вполне соответствовавший его героическим поступкам, а главное — ее прельщала мысль стать царицей Римской империи. Когда ей впервые пришла в голову эта мысль, Вероника даже испугалась, но впоследствии она овладела всем ее существом: это стало для нее теперь непременно целью, для достижения которой она готова была употребить все свои силы и все свое обаяние. С этой целью она поспешила в Рим прежде, чем туда прибудет Тит; она приложила также все старание, чтобы расположить к себе Веспасиана и старую царицу, и ей, кажется, удалось это достигнуть.

Когда Тит выходил из дворца Августа на Палатине, резиденции цезарей, чтобы отправиться к Веронике, ему встретились две женщины, молодая матрона и сопровождавшая ее рабыня — иудейка, при взгляде на которых он невольно остановился. Неужели это Домицилла, дочь его племянницы Плаутиллы? Когда он за два года перед этим отправлялся с войсками в Иудею, она была еще маленькой девочкой: в какой пышный цветок превратилась теперь она.

Тит ласково поприветствовал свою родственницу и пере-

дал ей привет от её отца, который остался с войсками, находившимися в Иерусалиме.

— Я боюсь теперь задержать тебя, — сказала Домицилла, — но в другой раз ты должен мне рассказать о нем подробно

Тит обещал и на прощанье прибавил несколько любезных слов, от которых она зарделась легким румянцем. Он пошел дальше, но ее милый образ долгое время не покидал его

Клименту было около 30 лет; это был красивый, статный мужчина, с приятным выражением лица, даже более приятным, чем у Тита, с которым он вообще имел много сходства. Несколько лет назад он женился на своей родственнице, которая подарила ему двух мальчиков, составляющих радость и надежду родителей.

Когда Веспасиан отдавал ему в жены свою внучку Флавию, которой едва минуло 16 лет, он рассчитывал, что она своим честолюбием и стремлением к светской жизни заставит мужа выйти из его прежней бездеятельности.

— Не твой ли отец, — спросила однажды Флавия своего мужа с досадой, чувствуя, что все ее усилия ни к чему не приводят, — был префектом в столице, и не его ли еще до сих пор хвалят за доброту и участливость? Разве мало таких, которые благодаря ему остались целы, хотя жизнь их висела на волоске при Нероне? Почему же ты не хочешь последовать примеру отца?

— Моя радость, — отвечал ей Климент после некоторого раздумья, — я должен открыть тебе нечто такое, чего ты до сих пор не могла бы перенести; но что объяснит тебе мое поведение. Я христианин. Как христианин, я не только считаю безумием признавать наших богов и богинь, но я их презираю, потому что они вредят славе единого истинного Бога, которого я почитаю. Я не мог бы занимать ни одной общественной должности без того, чтобы не участвовать в празднествах и жертвоприношениях этим ложным богам.

Жена с изумлением смотрела на него: ее муж христианин?

— Не может быть, — произнесла она наконец, — чтобы ты серьезно верил заблуждениям секты, которая презреннее, чем иудеи.

— Ты восхваляла моего отца, — отвечал Климент, — и по заслугам. Он справедливо заслужил уважение. Он тоже был христианином.

Флавия от изумления не находила слов

— И если он, — продолжал Климент, — в последние дни своей жизни удалился от всяких дел, что ему также ставили в вину, то теперь ты знаешь, почему он так сделал.

С этого дня Флавия больше не пыталась уговаривать своего мужа. К счастью, она имела уступчивый характер и умела подчиняться необходимости. Климент же был настолько добр, настолько благороден, настолько высоко влиял на ее сердце и ум, что это юное создание должно было наконец привязаться к нему. Чтобы угодить ему, Флавия постепенно стала отказываться от всего, что прежде доставляло ей удовольствие и о чем раньше она всегда мечтала; она даже перестала посещать театр и зрелища. Но какую трудную внутреннюю борьбу пришлось ей перенести, пока она достигла понимания христианских истин и учения о едином Боге, пока она, любившая удовольствия жизни, научилась находить радость, мир и счастье в спокойной домашней жизни и в служении бедным и несчастным! Конечно, ей никогда не удалось бы превозмочь себя, если бы не пример мужа. С возрастающей любовью и уважением она смотрела на него; он был для нее наставником и отцом, и если она открывала ему все малейшие движения своей души, то со своей стороны и он делал ее, и только одну ее, поверенной своих сокровенных дум. Она гордилась тем, что одна всецело знает душу мужа, и считала его для себя лучше всех других

В тот самый день, когда Тит направился из виллы на Сабинских горах в Рим, туда после нескольких дней путешествия по Аппиевой дороге прибыл Иосиф Флавий.

У гробницы Цецилии Метеллы Иосиф Флавий остановился, чтобы окинуть взором расстилающуюся перед ним панораму Рима. На вершине Капитолия по одну сторону возвышалась крепость, по другую — храм Юпитера, сверкавший белизной мрамора и крышей из бронзовых черепиц. Прямо напротив — на Палатине — расположен был дворец цезаря, несколько правее — Латеранский дворец, а дальше — целое море домов.

Глядя на храм Юпитера, Иосиф думал о храме Иерусалимском, который вместе со священным городом лежал в развалинах. Он присел на камень, переживая то, что некогда чувствовал пророк Иеремия. Иосиф шел в Рим, как член фамилии цезаря, но сколько тысяч его единоплеменников по той же Аппиевой дороге должны были идти в цепях рабов!

Медленно, с невыразимо тяжелым чувством направился он между гробницами, по обеим сторонам Аппиевой дороги, к городу. И чем дальше проходил он вперед по улицам Рима, через триумфальную арку Друза, мимо Палатинского холма, тем больше удивлялся могуществу римского народа. После нероновского пожара в каких-нибудь пять лет город вновь восстал, как феникс из пепла, храм стал еще великолепнее, дворец цезаря еще сказочнее. Форум с роскошными зданиями, статуями и колоннами, со всеми памятниками восьмивекового развития, все то, о чем он раньше лишь слышал, что он желал столько раз видеть, находилось теперь перед ним в изумляющем величии и красоте.

II

Уже в самом начале появления христианства в Риме было значительное количество иудеев. Юлий Цезарь обращался за их поддержкой во время восстания граждан, за что предоставил им разные льготы. После его убийства иудеи — рабы и свободные — явно выражали свое негодование. Август до того простер внимание к иудеям, что запретил публичные зрелища в субботу. Им же сделано было распоряжение, чтобы в Иерусалимском храме приносилась от его лица жертва, состоявшая из быка и двух ягнят. Его дочь, Юлия, одарила храм священными сосудами и другой утварью.

Особенно много приверженцев своей религии иудеи находили среди знатного и образованного римского общества, не верившего уже в ребяческие сказки о богах; некоторые из них совершенно переходили в иудейство, их называли прозелиты оправдания, большинство же были «боящимися Господа», признававшими единого Бога, но не исполнявшими всех предписаний закона Моисеева, называвшиеся прозелитами врат.

За исключением самых знатных и богатых иудеи не смешивались с языческим населением Рима. Они имели собственные кварталы в затибрской части, на Марсовом поле, в густо заселенной Субурре и на Аппиевой улице у Капенских ворот. Большинство из них занималось мелкой торговлей; многие были свободными по рождению, другие — вольноотпущенниками; иудейские же рабы были почти в каждом знатном доме. Несколько раз изгоняемые из столицы, они вскоре возвращались обратно. В царствование Нерона их насчитывалось от 20 до 30 тысяч.

Чем с большим беспокойством иудеи следили за сохранением своих преимуществ, тем легче возбуждался их религиозный фанатизм; они быстро воодушевлялись и увлекались, если кто-либо умел затронуть эти струны. В 4 году перед Рождеством Христовым в Рим прибыл какой-то человек, выдававший себя за Александра, сына Ирода, и все иудеи высыпали к нему навстречу, так что по улицам, где он проходил, нельзя было двигаться.

Когда в 42 году в Рим прибыл апостол Петр, он нашел здесь последователей христианства, обращенных в день Пятидесятницы в Иерусалиме. Появление его вызвало среди иудейского населения такое злобное возбуждение, что император Клавдий принужден был закрыть синагоги и в конце концов издал приказ о выселении всех иудеев из Рима.

Едва ли нужно говорить, какое сильное впечатление на иудеев в Риме должна была произвести иудейская война, осада и покорение Иерусалима, разрушение города и храма. Всякое новое известие о победе римского оружия было для каждого иудея ударом в сердце; вид пленных единоверцев на торговых рынках вызывал в них нестерпимейшую скорбь и ярость; Тит только по прошествии года решил совершить триумфальный въезд в Рим, боясь вызвать кровавое восстание со стороны побежденного народа.

Ко времени Рождества Христова ожидалось появление могущественного повелителя, который должен был явиться с Востока. Сами иудеи, будучи рассеяны по всем странам, распространяли среди язычников веру в скорое пришествие Мессии. Веспасиан, который провозглашен был императором на Востоке, в глазах римлян представлялся именно тем лицом, на котором исполнились эти ожидания. Среди иудеев даже разрушение Иерусалима не могло поколебать надежды на пришествие Мессии. Они верили, что Господь посылает для них столь великое бедствие лишь для того, чтобы тем явственнее проявить свое могущество пред всем миром. Ожидание Мессии и уверенность, что он скоро появится, никогда не были столь сильны, как в дни празднования триумфа Тита и Веспасиана.

Как раз в тот самый день, на который Тит и Веспасиан назначили свой триумфальный въезд, приходился праздник иудейской субботы. Столичный префект не без опасений разрешил обычное совершаемое накануне праздника богослужение, причем представители синагоги должны были поклясться жизнью, что во всем будут соблюдены порядок и спокойствие. Однако перед синагогой выставлен был

сильный отряд преторианцев со строгим приказом при малейшем возмущении со стороны иудеев действовать немедленно и без всякой пощады.

Верховным раввином синагоги был Аарон бен Анна, который перед этим в течение четырнадцати лет состоял первосвященником иерусалимского храма, когда главными первосвященниками были Анна и Каиафа. Его ученость и ревность к исполнению закона создали ему вполне заслуженную известность в римской столице. Ему было уже более 80 лет, но все же это был крепкий старик, одинаково уважаемый как взрослыми, так и юношами.

Как только стало известно в Риме, что Иерусалим разрушен, ни один иудей не надевал более праздничной одежды. И сегодня на богослужение субботы все явились в траурных одеждах, разорвав верхние из них и посыпав голову пеплом. Каждый чувствовал в глубине души, что их посетил гнев Божий. Опустив головы, сидели они безмолвно и ожидали, когда чтец получит священный свиток из рук седого Аарона бен Анны. Среди присутствовавших были и христиане иудейского происхождения; как ни велико было презрение, с каким римляне относились к секте назореев, однако положение среди чуждых им язычников заставляло иудеев искать единения друг с другом.

Верховный раввин назначил для чтения то место из книги Ездры, в котором говорилось о восстановлении Иерусалима и его храма после первого разрушения их Навуходоносором. Что еще могло в эти дни скорби утешить, как не напоминание о времени, когда Бог отцов возвратил свой народ из плена вавилонского и восстановил город вместе с его храмом из развалин?

Чтец развернул свиток и начал чтение: «Печально сидел я до времени приношения вечерней жертвы: затем я воспрянул от своей печали, разорвал на себе все одежды, преклонил колена, простер свои руки к Господу, Богу моему, и сказал: Господи, как отважиться мне, обращать к Тебе свое лицо? Потому что наши беззакония стали выше головы нашей, и грехи наши возросли до небес, от дней отцов наших. Но и сами мы также тяжко грешили до последнего дня, и вследствие наших беззаконий преданы мы, и цари наши, и наши первосвященники в руки царей языческих. О, если бы на одно мгновение наш вопль достиг Господа, Бога нашего; потому что мы рабы, но Господь наш не оставил нас в нашем рабстве»

По знаку раввина чтец свернул свиток, и после неболь-

шой паузы Аарон бен Анна встал. Его длинная белая борода, выразительные черты лица и белая повязка на голове придавали ему величественный облик. В последнее время из-за преклонных лет он редко выступал со словом. Но сегодня, накануне триумфа победителей иудеев в Риме, нельзя было молчать.

— Для иных, — начал торжественно Аарон бен Анна, — преклонный возраст — благословение, для меня же оно проклятие... О, если бы я мог отойти к отцам моим, прежде чем пережить взывающее к небу бедствие! Иеремия для своей скорби находил слова, когда видел храм Соломона и священный город в развалинах. Встань теперь из гроба и приди в Рим, чтобы в немом ужасе умолкнуть перед тем морем бедствий, которое постигло нас! Нет, ты не видел таких потоков крови, какие льются теперь! Нет, в твои дни не свирепствовал с таким ужасом ни меч, ни голод, и трупы наших братьев не были разбросаны по всем улицам и дорогам! Нет, тогда Господь не уничтожал так своей нивы, не опустошал так своего виноградника! Ты видел, как твой народ шел в оковах в Вавилон. Я же вижу, как все площади для продажи рабов переполнены сыновьями и дочерьями моего народа! Ты видел храм Господа в развалинах, а стены и ворота священного города разломанными, но ты не видел всего этого, обращенного в прах и пепел! В твое время не вели Иудейского царя и первосвященника в цепях по улицам для поругания язычникам, тогда взгляды необрезанных не оскверняли твоей святыни! О, горе мне, который должен пережить все это! Господь напруг свой лук и все свои стрелы направил на дочь Сиона. Последняя стрела, отравленная горчайшим ядом, сразит нас, нас, которые...

Охваченный необычайно скорбью, рыдая, старец опустился на свое место. Вместе с ним рыдало и все собрание. Мужчины разорвали одежды и склонили свои головы к коленам. Из верхнего отделения для жен неслись раздирающие душу вопли и простирались руки к небу, они рвали на себе волосы.

Вдруг поднялся молодой человек и воскликнул: «Братья! Почему Израиль осужден на такие бедствия? Разве священники наши сделались жрецами Ваала, или народ наш стал поклоняться идолам? Нет, здесь другая причина, которая превратила гнев Господа в пожирающее пламя. То, что постигло нас, предсказано было тем, который изрек о Иерусалиме следующие слова: «Придет время, когда неприятель окружит тебя окопами, расположится вокруг тво-

их стен и станет теснить тебя. Он повергнет на землю тебя и твоих детей, живущих в тебе, и не оставит камня на камне, потому что ты не узнал времени спасения своего» Врача, который хотел исцелить нас, наши священники и народ сочли врагом, они повели его к Пилату и Избавителя Израиля умертвили на кресте. В этом, в этом единственно наша вина, что мы отвергли Мессию, Сына Божия Иисуса Христа!»

— Замолчи ты, собака назорейская! — вскочив с места, закричал иудей, сидевший рядом с ним, и схватил его за горло.

— Смерть нечестивцу! — крикнул другой.

— Назореи — вот вся причина наших бедствий, — закричал третий. — Разве не из-за них император Клавдий выгнал иудеев из Рима? А при Нероне разве не тысячи наших братьев погибли только потому, что их считали назореями?

Эти слова мгновенно воспламенили все собрание, доведенное уже до высшей степени напряжения речью раввина. Появилась жертва, на которую можно было излить свою ярость.

Солдаты, услышав шум, с обнаженными мечами ворвались в собрание, однако, прежде чем они успели пробраться сквозь теснившуюся толпу, юноша уже лежал на земле, обливаясь кровью.

Под охраной преторианцев христиане вынесли его из синагоги.

— Я умираю за Иисуса, моего Господа и Бога, — это были последние слова, с которыми он скончался на руках братьев.

Трибун, командовавший отрядом, тотчас же произвел строжайшее расследование. Но когда выяснилось, что беспорядок не имел отношения к римской власти, он не придавал ему никакого значения. Что могла значить смерть одного иудея, убитого своими же соплеменниками, когда тысячи их погибли от меча римлян? Он ограничился только тем, что велел разогнать собрание, и солдаты вытолкали из синагоги кричавших людей.

В то время к числу наиболее знатных римских дам принадлежала вдова Понпония Грецина. Ее муж Авл Плавт к старинной славе семьи прибавил новую — при императоре Клавдии покорил Британию и получил за это триумф.

В глазах римлян Помпония Грецина была совершенно особой женщиной. После смерти мужа, при ее молодости и богатстве она могла бы сделать выбор из знатнейших

мужчин римской аристократии. Однако Помпония не только отклоняла всякую мысль о новом супружестве, но и по истечении годового траура стала вести жизнь строго уединенную, никогда не появлялась в обществе, избегала театра и публичных празднеств, всегда была одета в траурное платье. В высших кругах об этом много говорили. По тогдашним обычаям римская дама, оказавшаяся вдовой, выходила замуж вновь через два-три месяца или, отказываясь от вторичного супружества, с тем большей свободой отдавалась наслаждениям жизни. На имени же Грецины не было никакой тени, никакого пятнышка; кто мог понять это? Но что еще было менее понятно — это то, что она избрала местом своего погребения не семейную гробницу рядом со столь дорогим для нее супругом, а устроила себе склеп близ Аппиевой дороги.

К нему в тот вечер, когда произошло убийство в синагоге, Помпония Грецина и направилась в закрытых носилках. Множество народа, пешком и верхом, на носилках и в колесницах, направлялось в город, и потому ее носилки медленно подвигались вперед. По обеим сторонам дороги направо и налево возвышались надгробные памятники знатнейших фамилий Древнего Рима; пышные памятники стояли вместе с более скромными, вокруг каждого находилась площадка, усаженная цветами.

Через полчаса носилки остановились, и Помпония Грецина поднялась по ступенькам мраморной лестницы, направляясь к небольшой двери простой постройки, надпись над входом которой гласила, что здесь помещается фамильный склеп Помпонии.

Стоявшие у памятника почтительно поклонились госпоже, которая ласково ответила на приветствие.

— Пресвитер Дионисий еще не пришел? — спросила она.

— Он ждет внутри в гробнице, — отвечал один из стоявших.

Грецина вошла во внутреннее помещение памятника, на стенах которого изображены были сцены жатвы и сбора винограда, и спустилась по узкой лестнице, ведущей в небольшой четырехугольный склеп под землей. Направо и налево по стенам находились мраморные доски с надписями, показывавшими, кто здесь погребен; направо в стене приготовлено было место для нового погребения. Потолок этого внутреннего помещения украшен был изображениями павлинов, поддерживавших венки, по углам изображены были

два пастыря с агнцами на плечах и две молящиеся девы с воздетыми руками; а посредине два льва со стоявшей между ними мужской фигурой тоже с воздетыми руками. На стенах среди мраморных досок видны были голуби с пальмовыми ветвями; на одной картине изображалось, как бросают с корабля мужчину морскому чудовищу, на другой же, как это чудовище извергает его обратно на землю.

Несколько глиняных светильников мерцающими огоньками слабо освещали склеп.

— Ты давно дожидаясь, отец? — спросила Помпония Грецина, поклонившись пресвитеру.

— Если мне и пришлось ожидать, благородная Люцина, — отвечал он, — то эти изображения никогда не позволят соскучиться. Тем, которые не имеют никакой веры во Христа, не дано и никакой надежды за гробом. Нам же, например, это изображение Даниила во рве львином, равно как и изображение Ионы во чреве китовом, возвещает избавление от уничтожения и смерти и вечную жизнь, когда добрый Пастырь вознесет души праведных, как этого агнца, в цветущие райские кущи для мира и успокоения.

— Это успокоение дастся и нашему прекрасному юноше, — ответила Грецина.

— То была святая ревность, — сказал пресвитер, — которая побудила его пред братьями своими по племени открыто свидетельствовать о Христе. Они сделали с ним то, что некогда сделали и с Учителем.

— И я, опасаясь, что они откажут ему в месте для погребения среди своих братьев, устроила могилу в моем склепе. Не правда ли уютное место?

— Это не первый, благородная Люцина, — улыбаясь, отвечал пресвитер, — которому ты даешь прибежище в этом тихом доме мира!

— Чем же можно лучше украсить то место, в котором буду покоиться некогда и я, — воскликнула Грецина — как не гробами бедных братьев, тем более что они умерли мучениками? Прошу тебя, отец, — сказала она пресвитеру, — пройти в новую пристройку к гробнице; я хочу посоветоваться, какими изображениями лучше всего украсить там потолок.

Они вышли наверх и направились к пристройке. Несколько человек, стоявшие у склепа, поклонившись пресвитеру, продолжали негромкий разговор. Предметом его служила Люцина.

— Вы спрашиваете, как госпожа сделалась христиан-

кой? — проговорил один из них — Дело это, разумеется, устроилось тайно, так что только наиболее близкие к госпоже могли знать о ее решении. Мне передавали, что, когда муж ее находился в Британии, она случайно услышала проповедывавшего в то время в Риме апостола Павла. Вначале она не придавала значения речам апостола, но впоследствии, все более и более задумываясь над ними, решила принять христианство. Да и в самом деле, как можно было не принять святой истины, исходившей из уст великого апостола? И она, дочь сенатора, жена одного из славнейших полководцев Клавдия, еще до возвращения мужа стала христианкой! Лишения похода, — продолжал он, — подорвали здоровье Плавта, и не прошло и года, как он сошел в могилу. Конечно, не было недостатка в таких, которые пожелали предложить руку молодой, богатой и знатной вдове. Но она отвергла все предложения, сказав, что твердо решила не выходить еще раз замуж. Между прочим, к отвергнутым ею принадлежал и некто Латеран. Возмущенный отказом, он не прекращал своих преследований и узнал, что Помпония Грецина христианка. Он оказался столь низок, что обвинил ее в противном государственной религии суеверии и представил ее на суд.

— За что, — заметил один из окружающих, — он понес при Нероне вполне заслуженную кару.

— Дело дошло до верховного суда, в состав которого входил и прославленный Сенека. Сенека лично знал нашу госпожу и еще до доноса имел случай убедиться, что она привержена к христианству. Будучи в дружбе с императором Клавдием, он посоветовал ему предоставить дело семейному суду. Семейный суд производился тайно, и потому о последствиях его никому не было известно. Говорят, Помпония защищала себя сама. Она не отвергала того, что она христианка, но христианская религия тесно связана с иудейской. Иудеи же еще со времен Августа получили позволение придерживаться своей религии, и если им предоставлено было право вместо римских богов признавать другого Бога, то и она имеет право делать то же.

— И что же, судьи приняли ее объяснение?

— Они долго обсуждали это дело, но действительно не было такого закона, который бы запрещал римлянам переход в иудейство, и Помпония Грецина была освобождена. Однако смотрите: кажется, подходят носильщики с покойником.

С наступлением сумерек движение на Аппиевой улице

почти прекратилось. Несколько запоздавших пешеходов, увидев носилки с покойником за которым шел одинокий старик, подавленный горем, по-видимому, отец покойного, боязливо отошли в сторону

Люди, ожидавшие у гробницы, приняли носилки и внесли покойника во внутреннее помещение. Пресвитер Дионисий и Люцина, услышав, что принесли покойника, поднялись вверх и, встретив гроб при пении псалмов и чтении молитв, спустились в нижнее помещение. Пока люди укладывали тело в приготовленную нишу, Люцина старалась успокоить безутешного старика отца. Когда, наконец, покойник, обвитый по иудейскому обычаю белыми пеленами, положен был в узкое ложе, Люцина вылила на него немного благовонного масла. После этого отверстие было плотно закрыто мраморной доской, а края его тщательно замазаны известью

Люцина взяла пальмовую ветвь и венок и прикрепила их над могилой в знак мученичества усопшего и того, что его ожидает в будущей жизни вечное успокоение, как исповедника Христова

Когда пресвитер Дионисий окончил чтение молитв, все присутствовавшие произнесли «Мир с тобою» и оставили гробницу, чтобы возвратиться в город

III

У римлян существовал обычай, по которому те, кто желал в первый раз увидеть господина или госпожу, являлись к ним с утренним приветствием

Иосиф Флавий знал Веронику еще в Иудее, и, хотя она ему не нравилась своей гордостью, однако, рассудив, что теперь она могла оказать ему содействие при дворе, он решил на другой день после своего прибытия в Рим навестить ее. После этого он рассчитывал осмотреть город и его достопримечательности, а затем посетить своего старого друга, верховного раввина, жившего в иудейском квартале

Для утреннего приветствия каждый должен был являться в праздничной белой тоге, но Иосиф Флавий, со времени разрушения Иерусалима, носил лишь траурную черную одежду. Привратник, стоявший у входа во дворец, грубо остановил Иосифа, тем более что сразу узнал в нем иудея

— В таком наряде, — сказал он, — можно ходить лишь к старым иудейкам, которые торгуют фитилями для светильен

Даже когда Иосиф сунул ему монету, он не изменил своего решения; тем более что вскользь брошенный на монету взгляд показал, что она не очень высокого достоинства.

— Ты, очевидно, — сказал он презрительно, — пришел к царице просить денег. Но вас столько тут шатается, что сам Крез разорился бы, если бы стал всем давать.

В этот момент из атрия вышел человек, по лицу которого можно было заключить, что он иудей. Так как привратник с особенной почтительностью поклонился ему, Иосиф обратился к нему на своем родном языке и, назвав себя выразил желание поговорить с царицей.

— Твое имя, благородный Иосиф, — ответил вышедший, склоняясь в низком поклоне, — известно и прославляется везде, где только есть дети Израиля. Я сочту для себя высокой честью проводить тебя к царице.

С этими словами он сделал знак привратнику и повел Иосифа через атрий.

Незнакомец, встретивший Иосифа, был богатый ростовщик Самуил, имевший попечение о денежных делах царицы. Он только что ссудил царице значительную сумму, так как она нуждалась в деньгах и больших деньгах, чтобы затмевать нарядами богатейших римлянок.

Вероника вышла к Иосифу в белой изящной тунике и он мог еще раз убедиться, что более красивой женщины ему никогда не приходилось видеть.

Царице известно было его влияние на Тита, и она постаралась быть с ним предупредительной. Любезно осведомившись о его путешествии, она прибавила:

— Ты увидишь, какие приготовления делаются к предстоящим празднествам, — приготовления к погребению нашего народа. Мне кажется, порой я готова испытывать такое же состояние, как некогда Ниобея, которая при виде смерти всех своих детей превратилась в камень.

Иосиф испытующе посмотрел на царицу: искренни ли были ее слова и действительно ли горе, постигшее иудеев возбудило в ней чувство единения с народом иудейским?

Вероника, казалось, поняла его мысли.

— Раньше, — сказала она, — мне многое не нравилось в нашем народе: эти вечные споры между фарисеями саддукеями и назареями были просто несносны. Но теперь я думаю лишь об ужасной судьбе моего несчастного народа.

— Я узнал от привратника, что ты много делаешь для своих братьев, — отвечал Иосиф

— Нужда целого народа волнует меня больше, чем нужда отдельных лиц, — сказала Вероника. — Когда-то Господь призовет новую Эсфирь, которая избавит своих братьев?

Иосиф вопросительно посмотрел на царицу: правильно ли угадал он ее мысль? Да, все дело в Тите: он тот, который был единственным виновником разрушения Иерусалима; но Иерусалим опять может быть восстановлен, если у Тита появится новая Эсфирь.

Вероника поднялась, заканчивая разговор. Иосиф, не ожидавший столь ласкового приема от гордой царицы, с благодарностью принял приглашение бывать у нее почаще. Когда он сказал, что направляется к верховному раввину, она открыла ящик и передала ему горсть золотых монет. Эти деньги раввин должен был разделить между иудейскими пленниками.

Когда он уходил, привратник с почтительностью поцеловал ему руку и назвал его «светлейший муж», чтобы исправить свою прежнюю оплошность.

То величественное и подавляющее впечатление, которое произвел Рим на Иосифа, когда он увидел его в первый раз, еще более усилилось. Куда бы он ни посмотрел, везде шли спешные приготовления к предстоящему триумфальному шествию императора со своим сыном. Пред входом на форум строилась громадная арка и множество художников трудилось над тем, чтобы украсить ее сценами осады Иерусалима. Громадная картина изображала под пальмовым деревом женскую фигуру в цепях, с головой, покрытой трауром, вокруг которой сделана была латинская надпись: «Пленная Иудея». На столбах храмов вывешены были объявления с указанием программы предстоящих празднеств. Тысячи рабов трудилось над устройством громадного деревянного амфитеатра на Марсовом поле, где должен был происходить бой гладиаторов и борьба с дикими зверями. Казалось, не хватит зелени для бесчисленных венков, которыми украшались улицы. Почти все старались привлекательнее разукрасить свои дома коврами и тканями, во многих местах вывешивались громадные картины с изображением подвигов Геркулеса. Повсюду виднелись увитые плющом статуи Веспасиана и Тита, внизу которых нередко помещалось их стихотворное прославление.

На мосту, который соединял затибрскую часть с остальным городом, Иосиф остановился. Облокотившись на перила, он рассеянно глядел на желтые волны Тибра. «Как

удачно и справедливо, — вздохнув, подумал Иосиф, — назвала царица всю эту суету приготовлениями к великому погребению. Великий Боже! В тот момент, когда Израилю, по-видимому, должно было сделаться властителем всех народов, нас постигает полное уничтожение! Неужели же обещания пророков и надежды отцов могли относиться к Веспасиану! Нет, этого не может быть!»

Горькая улыбка промелькнула на лице Иосифа, когда он, сходя с моста, увидел воинов, имевших здесь сторожевой пост. Такие отряды были повсюду. На все эти дни издано было строгое приказание от цезаря, чтобы предупредить всякую возможность восстания со стороны иудеев. При малейшем беспорядке солдаты должны были действовать беспощадно.

Толпа полунагих ребятишек, протягивая ручонки, бежала за каждым приличным на вид господином, который попадал в этот квартал. Иосиф спросил их, где живет верховный раввин, и мальчишки проводили его к домику возле синагоги — жилищу раввина Аарона бен Анны. Иосиф, еще мальчиком, часто видел его в доме своего отца; один из его сыновей был священником в Иерусалимском храме; две его дочери были замужем за левитами. Иосиф думал, что старик давно уже отошел к праотцам, но, когда узнал, что он еще жив, решил обязательно навестить его.

— Скажи мне, — с трудом сдерживая слезы, произнес старик, — ведь еще остались стены храма и, если я не доживу, то все же придет время, когда сыновья Израиля восстановят святыню?

— Едва ли, — отвечал Иосиф, — для того, чтобы отнять у нашего народа всякую надежду на это, Тит приказал сровнять все с землей.

— Неужели тот обманщик из Назарета говорил правду, когда предсказывал, что более не останется камня на камне?

— От всего Иерусалима осталась лишь одна крепость Антония, — отвечал Иосиф, — там Тит оставил небольшой римский отряд; все остальное превращено в груды развалин.

Старик погрузился в свои думы. В душе его воскресли картины прошлого, вспомнилась та ночь, когда, призванный в верховный синедрион, он дал свое согласие на казнь Назарянина, и сцена перед дворцом Пилата. С каким усердием он вместе со священниками побуждал народ, чтобы тот требовал освобождения Варравы, а об Иисусе кричал: «Распни Его!» Когда Пилат произнес: «Я не повинен

в крови этого праведника». — с каким язвительным смехом закричал он: «Кровь Его на нас и на детях наших!»

— Скажи мне, — сказал после некоторого молчания старик, — ты ничего не слышал о моем сыне и моих дочерях и их детях? Где они? Неужели ты рассеешь горькую надежду мою, что все они, все... умерли.. О, Боже, Боже! Приходится успокаивать себя надеждой, что мои дети, мои внуки — все умерли!

— Сколько мне приходилось видеть, я не встречал среди тех людей, которые продавались в рабство, ни одного из своих знакомых. Из твоих детей я никого не видел, — тихо сказал Иосиф.

— Кто знает, что постигло их и какие они должны перенести страдания, — сказал старик, с трудом сдерживая рыдания, — пока смерть не избавит их. Сколько раз, проходя по базару, я видел, как продают иудейских пленников, — может быть, я проходил мимо одного из детей своих! О, если бы я только знал, что все они счастливо умерли, что у старого дерева отрублены ветви, что я остался один, то пусть бы тогда и этот безжизненный ствол поразил огонь Господень!

Иосиф, желая отвлечь его от тяжелых мыслей, рассказал о своем посещении Вероники.

— Слишком смело, — заключил он, — предаваться надежде, что ей удастся стать женой Тита. Что он ее любит, это очевидно; но столь же очевидно, что брак на чужестранке встретит среди римлян сильное противодействие. Власть Флавиев еще слишком слаба, чтобы Тит осмелился из-за женщины рискнуть тем расположением народа, которое он успел снискать.

— Сообщение, что Тит любит Веронику, было для раввина столько же ново, сколько и неожиданно

— Это в высшей степени замечательно, — сказал старик после некоторого раздумья, — что победитель Израиля пленен одною из израильских дочерей. Я готов видеть здесь особые пути Провидения. Разве не было случаев, когда Господь спасал свой народ рукою женщины? Ты, Иосиф, утешил меня

IV

Наверное, с самого своего основания не имел Рим столь оживленный вид, как утром 7 апреля 17 года по Рождеству Христову Цезарь Веспасиан и сын его Тит в этот день вступали в Рим в сопровождении легионов, как триумфаторы после падения Иерусалима и покорения иудейского народа.

Чтобы подивиться на столь редкое зрелище, в Рим прибыло множество народа из дальних и близких провинций. С восходом солнца из окрестных селений потянулись ко всем воротам толпы людей. Особенно много людей было на Аппиевой дороге, где народ в повозках, верхом и пешком двигался почти непрерывной густой стеной. С каждой минутой народ все прибывал и прибывал, заполняя улицы площади.

Не меньше оживления было и в лагере, среди войск, по ту сторону Тибра, у подножия Ватиканского холма, откуда победоносные легионы должны были совершить свое шествие через триумфальный мост, мимо храма Юпитера до Капитолия. Уже с раннего утра когорты конницы и пехоты выстроились каждая возле своего знамени. Военные доспехи и оружие воинов блестели по-парадному, и лучи восходящего солнца отражались в медных шлемах, серебристых панцирях и стальных щитах. Начальники триб красовались впереди на конях, раздавая последние приказания.

Домицилла была шестнадцатилетняя дочь Флавия Руфина, ее мать, племянница Тита, умерла много лет тому назад, и Феба оказалась той особой, которой отец доверил воспитание своей единственной дочери. Фебе было около сорока лет, в чертах ее лица застыло сосредоточенное выражение глубокой скорби. Несчастной выпало на долю много горя. Без сомнения, она должна была иметь чрезвычайно хорошее воспитание, если даже после возвышения дома Флавиев в цезарское достоинство Домицилле не стали искать другой прислужницы. Кроме того, и сама Домицилла не пожелала бы такой перемены, и постепенно Феба приобрела на девушку такое влияние, каким едва ли когда-либо пользовалась какая-нибудь рабыня.

В ложе, убранной великолепными коврами, Домицилла застала уже царицу, младшего брата Тита Домициана и других членов семьи. Явился даже Флавий Климент и его жена, желавшие этим выразить долг своего уважения пред цезарем и его сыном. Девушка была встречена всеми ласково.

ответив с некоторой сдержанностью лишь на приветствие Домициана; она вместе с Флавией, женой Климента, расположилась в передней части ложи, чтобы любоваться видом на форум и Колизей, постройка которого, начатая несколько лет тому назад, должна была служить вечным памятником правлению дома Флавиев.

С криком радостного удивления девушка захлопала в ладоши, когда увидела внизу, у своих ног, среди роскошно убранных храмов и общественных зданий целое море людских голов; все крыши были усеяны зрителями; всякий уголок, откуда можно было хоть сколько-нибудь видеть, был занят; глухой гул, подобный отдаленному рокоту волн, несся вверх от всей этой движущейся массы.

— Какая дивная картина! — воскликнула Домицилла. — Кажется, будто весь мир собрался, чтобы почтить великий праздник дома Флавиев!

— Сама весна, — добавила Флавия, — как бы нарочно наделила этот день таким роскошным майским утром.

В это время со стороны Колизея стали доноситься звуки труб и лица всех тотчас обратились к вершине Целия, на которой скоро должно было показаться шествие.

Отряд конницы открывал процессию; за ним следовал римский сенат и высшие придворные и государственные сановники в белых тогах, затем музыканты с флейтами и трубами.

Из тысяч уст неслись крики: «Слава триумфаторам»!

Для развлечения народа в толпу бросали вновь изготовленные медали; на одной стороне изображен был бюст императора, на другой — сидящая под пальмовым деревом в оковах женщина с надписью: «Пленная Иудея». С живейшим интересом глаза всех устремились на военнопленных: перед ними несли золотой семисвечник, священные книги и громадную завесу, отделявшую святая святых; затем следовали на носилках и в коробах священные дары, которые в течение столетий приносимы были в Иерусалимский храм: разного рода сосуды, подсвечники, виноградное дерево, из чистого золота подарок императора Августа, выкованный из золота и серебра круглый щит, украшавший фасад Иерусалимского храма, и многое другое.

После военной добычи шли украшенные лентами и венками, с вызолоченными рогами два белых быка, которых должны были принести в качестве благодарственной жертвы в Капитолии; красивые юноши, державшие в руке золотые жертвенные чаши, вели их. Следом шли военноплен-

ные, прежде всего Симон Иорам, побудивший народ к восстанию против римлян и руководивший защитой Иерусалима. С золотой царской короной на голове, с золотой цепью на шее, в пурпурной мантии, усыпанной золотыми пальмами и звездами и одетой поверх белой туники, он медленно шел, звеня железными оковами. Рядом с ним шла царица, тоже в полном царском облачении, за родителями следовало четверо детей — три мальчика и девочка. Когда народ увидел иудейского царя, то со всех сторон послышались ругательства и грубые насмешки; стоявшие ближе к шествию плевали ему в лицо, а те, кто стоял дальше, бросал гнилые яблоки.

Затем в сопровождении левитов, со всеми знаками своего священного служения, в длинных белых одеждах, с золотым, украшенным двенадцатью драгоценными камнями нагрудником и золотой митре на голове, закованный в цепи шел первосвященник.

Вдруг послышалось загреметь несмолкаемым эхом восклицание ликующего народа: «Слава триумфаторам!» Окруженная ликторами и отборной стражей из преторианской когорты цезаря, появилась колесница, сиявшая золотом и драгоценностями, которую везли четыре белых коня. Веспасиан был одет в одежду, которая служила украшением статуи Юпитера в Капитолии: высочайший из богов позволял победоносному цезарю в день своей славы возлагать на себя его одежды — пурпурную, шитую золотом тунику, украшенную пальмами и богатой золотой каймой тогу и золотые сандалии. В левой руке цезарь держал скипетр из слоновой кости с золотым орлом наверху, в правой — лавровый венок. Рядом с ним стоял раб, державший над его головой золотую корону Юпитера.

За отцом в другой колеснице следовал Тит.

Глаза Домициллы были прикованы к нему одному в этих блиставших золотом пурпурных одеждах, с лавровым венком на голове он представлялся ей сошедшим с Олимпа Аполлоном. Все остальное не представляло для нее уже никакого интереса: ни громадные картины, на которых нарисован был Иерусалимский храм, ни барельефы, на которых были изображены эпизоды осады и штурма города, ни победоносные, увешанные лавровыми венками легионы.

Прежде чем шествие достигло середины Капитолия, сделана была остановка. Царь Симон Иорам, его жена и дети, а также первосвященник с позором лишены были

торжественных одежд и отведены в находившуюся вблизи Мамертинскую тюрьму. Лишь после этого шествие двинулось дальше к храму Юпитера.

Веспасиан и Тит поднялись по ступеням, ведущим к статуе бога, и положили ему на колени лавровые венки и лавровые ветви; после этого в качестве благодарственной жертвы были заколоты белые быки.

В то время как весь форум наполнен был безграничным ликованием, в иудейских кварталах господствовала глубокая печаль. Некогда оживленные улицы точно вымерли; двери и окна были наглухо закрыты. Никто здесь в этот день не принимал пищи. Разорвав одежды и покрыв головы, здесь плакали и стар, и млад.

V

Не для одного лишь Веспасиана, который вообще не любил всякие торжественные церемонии, празднество, затянувшееся далеко за полдень, казалось утомительным. Все спешили в бани, чтобы освежиться, пока не настало время торжественного ужина. Тит особенно заботился о том, чтобы возвратившиеся в лагерь отряды получили праздничное угощение, а также чтобы приготовлено было обильное угощение и для бедных: день триумфа должен был быть днем радости для каждого римлянина. Но, разумеется, вершиной роскоши в этот вечер был стол во дворце императора.

В просторном триклинии дворца Августа на Палатине, убранном с необычайной роскошью и освещенном множеством светильников, возлежал за главным столом цезарь и его ближайшие родственники, среди них были и Флавий Климент, и его жена. За остальными столами разместились военные легаты, участвовавшие в походе, сенаторы, высшие придворные и должностные лица, а также другие знатные гости, которым выпала высокая честь присутствовать за царским столом. В других помещениях разместились остальные приглашенные.

Домицилла получила место за царским столом рядом с Титом и всякий раз, когда глаза ее встречались с глазами молодого триумфатора, щеки ее покрывались легким румянцем. Девушка мало знакома была с тем искусством кокетства, каким женщина могла покорить сердце мужчины при дворе римских цезарей. Но именно потому, что Доми-

цилла была простой и непринужденной, она на всех производила самое приятное впечатление.

Римляне называли Тита «отрадой рода человеческого», было что-то особенно мягкое и доброе во всех его чертах, с трудом можно было представить его стоявшим во главе легионов в битве под стенами Иерусалима, окутанного дымом развалин, горящего города. Всех удивляло, сколь скромно говорил он о себе. Когда Тит ярко описывал храбрость, с какой иудеи в отчаянной борьбе противостояли римским легионам, то в рассказе его звучало больше сострадания к жертвам, которых потребовала эта жестокая и кровавая война, чем намерение выставить в более выгодном свете свою победу.

Домициллу давно уже занимал один вопрос; наконец она собралась с духом и сказала:

— Разве тебе не жаль было, благородный Тит, видеть, как храм, это дивное произведение искусства, погибает в пламени?

Тит улыбнулся. Домицилла покраснела и смущенно проговорила:

— Извини мне этот наивный вопрос, я ничего не знаю о том, как ведется война, но я так много слышала о великолепии, богатстве и красоте этого храма, о том, каким почитанием он пользовался не только среди иудеев, что что...

— Что, может быть, — добавил Тит, — последующие поколения назовут позором его разрушение?

— Не только это, — добавила Домицилла, — но еще и то, что ты этим, может быть, навлек на себя гнев иудейского Бога.

Вопрос Домициллы заставил всех замолчать. Все приготовились слушать, что скажет Тит.

— Накануне решительного дня, — сказал Тит, — я созвал военный совет и предложил легатам вопрос: оставить ли нам храм или нет. Я сам хотел его сохранить, но признавал и всю серьезность возражения, что восстания в Иудее до тех пор не закончатся, пока не будет уничтожен храм Иеговы, в котором народ видел не только залог божественной защиты, но и средоточие будущего царства, которое предсказано им в их священных книгах. Мнения полководцев склонялись в мою пользу, то есть чтобы храм был пощажен. Я хотел было уже издать приказание сохранить святыню с тем, чтобы потом обратить ее в храм Юпитера: как неожиданно вошел какой-то старик и сказал с торже-

ственностью, нас поразившей: «Не так, как вы, люди, предполагаете, но как желает Высочайший владыка неба, так все совершается. Думаешь ли, что ты в состоянии был бы преодолеть неприступные стены Иерусалима, если бы не более Сильный, чем ты, стоял на твоей стороне? Иегова отверг свой народ. На сынах Иуды лежит кровь, поэтому от этого храма не должно более остаться камня на камне!»

После этих слов старик скрылся.

— А ты не спросил у стражи, — спросил Веспасиан после некоторого молчания, — как проник в лагерь этот старик и куда он ушел?

— Я спрашивал, — отвечал Тит, — но, оказывается, его никто не видел. Я долго размышлял над этим случаем и, наконец пришел к твердому решению предать храм пламени. Но когда на следующий день я увидел пожиравшее храм пламя, когда я увидел, как иудеи сотнями бросались в огонь, когда перед моими глазами иудейские женщины в диком исступлении разбивали о стены горевшего храма своих детей, думая, что кровь невинных может спасти святыню, тогда меня охватило раскаяние и я приказал остановить пожар. Ненависть иудеев превратилась в благодарность; солдаты и народ начали спасать храм; я сам среди дыма и нестерпимого жара руководил работами. Но напрасно! Казалось, будто здание сделано не из камня, а из дерева, будто сама вода, которой заливали пламя, тотчас же превращалась в масло, чтобы еще больше усилить пожар. И я приказал оставить пламени его добычу. Ты видишь, дорогая Домицилла, — заключил Тит, обращаясь к девушке, — что мне нет оснований бояться ни упрека потомства, ни гнева иудейского Бога как по отношению к себе, так и ко всему нашему дому.

— Но что же это за страшная вина, — спросила Домицилла, — которая потребовала такого неумолимого наказания?

— Я приложил все старания, дорогая Домицилла, — сказал Тит, — чтобы выяснить всю эту историю подробно, но все же во многом она осталась для меня загадочной. Ты знаешь, что у иудеев есть секта христиан. Последние получили свое название от известного Христа, который назывался Иисусом. Он будто бы происходил из царского рода Давида, древнего героя иудеев, и родился в царствование императора Августа. Достаточно было, по рассказам, одного слова Его, чтобы исцелить бесноватых, сделать зрячими слепых от рождения, чтобы возвратить к жизни мертвых.

Мне рассказывали Его учении, и я нашел в нём такую поразительную простоту, такую полноту правил и предписаний, которых напрасно было бы искать у Платона или какого-нибудь другого философа. Его учению вполне соответствовала Его жизнь. Я хочу указать лишь на одно обстоятельство. Несколько раз народ, следовавший за ним, желал провозгласить его царем, и, согласись Он на это, тогда Риму пришлось бы начать войну сорок лет тому назад, и еще неизвестно, с таким ли удачным исходом. Но Он не согласился.

Никто не обратил внимания, на что Флавий Климент, стоявший рядом с Титом и внимательно слушавший его рассказ, при последних словах отер с глаз слезы.

— Что этот Христос, — продолжал Тит, — был человеком особенным, на котором явно проявилась милость богов и который, как говорят иудеи, был великим пророком, этого нельзя отрицать. Но его последователи пошли дальше, они признали Его Богом, Который, по их верованию, родился в образе человека чудесным образом от непорочной Девы.

— Пылкая фантазия восточных народов, — насмешливо заметил император, — создает иногда удивительные легенды. Что касается чудес, — прибавил он, — то я насмотрелся их достаточно, когда был в Александрии. Но продолжай свой рассказ.

— Все это я слышал от военнопленных, между которыми находились христиане, — сказал Тит. — Все они сходились в том, что Назарянин самым точным образом предсказал гибель Иерусалима. Этого Христа враги Его обвинили пред тогдашним римским наместником Понтием Пилатом и принудили осудить Его на крестную смерть. Но произнося приговор, Пилат перед всем народом омыл руки и сказал: «Я не виновен в крови этого праведника». Подговоренный врагами Христа, народ закричал на это: «Кровь Его на нас и на детях наших!»

Тит замолчал. Ужасные сцены, виденные им во время войны, еще и теперь, при одном воспоминании, действовали на его воображение. Поражены были и все слушатели. В это время один из придворных сообщил, что народ, наполнявший форум, хочет видеть императора и его семейство.

По программе празднеств торжество должно было закончиться блестящей иллюминацией всего города. Римляне так ликовали по поводу одержанной победы и так искренно

почитали императора и его сына, что приложили все старания, чтобы сделать иллюминацию города наиболее величественной. Огнями были уставлены храмы, общественные здания, дома богатых граждан и высших сановников; утопали в море огня; самый бедный гражданин и тот не поскупился в этот день поставить в своих окнах по глиняной светильне. Только в иудейском квартале царил полный мрак.

Когда семейство императора вместе с гостями вышло на террасу, глазам их представилось восхитительное зрелище. Храм Фаустины, базилика Юлии, Капитолий сияли бесчисленными огнями; в портиках храмов и дворцов горели светильники; на всех крышах пылали факелы, и среди всего этого моря огня двигались толпы народа. От Капитолия с музыкой и пением проходили мальчики и юноши, неся зажженные факелы, они направлялись к громадной террасе, ведшей уступами от форума к Палатинскому холму, где был дворец императора.

Как только толпа заметила вышедшее на дворцовую террасу семейство императора, тотчас же раздались восторженные приветствия, которым, казалось, не будет конца. С радостной улыбкой Веспасиан смотрел вниз и приветливо кланялся в ответ на восторженные крики.

Когда триумфальное шествие закончилось, Домицилла, заметившая заплаканные глаза своей рабыни и полная к ней участия, отпустила ее, так как пока не нуждалась в ее услугах.

В черных траурных одеждах, с широким покрывалом на голове, тяжелой корзиной в руках Феба тотчас же отправилась в иудейский квартал. Немалых усилий стоило ей добиться пропуска через мост, на котором находился отряд военной стражи. Только после того, как она сказала центуриону, что она рабыня Домициллы, родственницы императора, ей позволили пройти. Миновав ряд маленьких домиков, Феба остановилась перед домом Аарона бен Анны. Старая служанка открыла Феде дверь и поприветствовала ее обычными среди иудеев словами: «Мир с тобой».

— Могу я поговорить с учителем? — спросила Феба.

— Сегодня он никого не принимает, — ответила служанка, — он плачет и молится в этот великий день скорби. Ах, — жалобно заговорила старуха, — до чего пришлось нам дожить! Святого города уже нет более, храм разрушен, священные реликвии пронесены по улицам Рима для триумфа нечестивых!

Подавленная горем Феба сказала сквозь слезы

— Иди и скажи учителю, что я желаю говорить с ним.

Спустя несколько минут служанка возвратилась и провела Фебу в комнату, окно которой наглухо было закрыто ставней. Феба едва смогла отыскать в полутьме сгорбленную фигуру раввина.

Когда Феба подошла к старцу, он медленно поднял свое лицо, обрамленное белой бородой.

— Мир с тобой, дочь моя, — сказал раввин, — что привело тебя ко мне в этот день, над которым да будет проклятие на все времена?

— О, отец мой, — отвечала Феба, разразившись потоком слез, — я видела, как первосвященника Господня вели с цепями на руках, он шел в своих священных одеждах, осыпаясь издевательствами толпы, мне, пришлось видеть, и это разрывает мое сердце на части, как святотатственные руки безнаказанно срывали с помазанника Божия украшения и как Он оставлен был без своих одежд, а теперь... теперь.

Несчастливая Феба не могла продолжать дальше; она закрыла лицо руками и начала плакать от безутешной скорби.

— Неужели мы допустим, чтобы тело помазанника Божия брошено было в общую яму вместе с телами языческих преступников? Все, что я из года в год откладывала, чтобы откупиться на свободу, все эти небольшие сбережения я принесла теперь тебе, отец мой. Возьми их, чтобы выкупить прах первосвященника у стражи и похоронить его среди своих братьев.

— Да благословит тебя Бог отцев наших! — отвечал старик, но то, для чего ты так великодушно желаешь пожертвовать свои сбережения, уже сделано, уже приготовлен даже саркофаг, в котором будет покоиться тело в одной из гробниц на Аппиевой дороге.

— Ах, отец мой, — сказала Феба после некоторого раздумья, — если бы мне только удалось найти моего престарелого отца или хоть одного из братьев или сестру, с какою радостью я на всю жизнь согласилась бы остаться рабыней, лишь бы выкупить их из плена!

— Ты доброе, благочестивое дитя, — сказал глубоко тронутый старец.

— Но надежда, что я их когда-нибудь встречу, — продолжала Феба, — оказывается напрасной. В таком случае пусть это немногое, что я успела собрать, послужит несчастным пленным. Я прошу тебя, отец мой, — умоляюще

прибавила девушка, — пусть все, что здесь я принесла, останется у тебя. Я слышала сегодня, что большинство пленных уже предназначено для постройки Колизея. Как они, бедные, будут нуждаться в нашей помощи!

— Я принимаю твою жертву, — проговорил после некоторого раздумья раввин.

— Да будет воля Божия! — отвечала Феба. — Госпожа отпустила меня до поздней ночи, скажи, когда будут выносить тело первосвященника?

— Если так, ты можешь принять участие в похоронах, — отвечал старик, — тело понесут, как только наступят сумерки.

— У меня с собой благовонное миро, которое я купила для погребения, — сказала девушка. — Я хочу вылить его на прах помазанника Божия, прежде чем его положат в гроб.

В то время, как римляне предавались ликованию, из Аппиевых ворот вышли четыре человека, неся на плечах закутанные в черное покрывало носилки с телом первосвященника.

При входе в иудейские катакомбы, налево, у второго от римских ворот верстового камня, прибытия печального шествия поджидало несколько мужчин с факелами в руках. Несшие молча спустились в узкое отверстие подземного хода и осторожно стали двигаться вперед в сыром подземелье, пока наконец не достигли сделанного в стене углубления.

Когда тело было положено в гроб, Феба вылила на него благовонное миро. Один из присутствовавших произнес краткую молитву, которая закончилась общим возгласом: «Да будет твой покой в мире!»

Так схоронил Израиль своего последнего первосвященника.

VI

Царица Вероника не присутствовала во время зрелища триумфального шествия.

Насколько раньше Вероника легко относилась к вопросам религии, настолько теперь постигшее ее народ несчастье изменило прежнее отношение.

Во время осады Иерусалима она вместе со своим братом Иродом приходила в римский лагерь, чтобы удержать римлян от разрушения города и храма. Ей не удалось этого

достигнуть, но это посещение имело другое важное последствие, на котором теперь она строила самые смелые планы. Вероника, возвратившись из лагеря в Иерусалим, сознавала, что ей удалось завоевать сердце Тита.

Как ни богат был Восток в то время красивыми женщинами, Вероника превосходила всех. Тит был обворожен как ослепительной красотой, так и умом молодой царицы.

Эти несколько дней, которые Вероника провела в Риме, были употреблены главным образом на то, чтобы завязать новый узел в той сети, которою был уже опутан покоритель Иудеи. И Тит, казалось, имел столь же мало средств противиться действиям Вероники, как некогда Антоний ухищрениям Клеопатры. В Риме везде говорили об этом.

Утром в день триумфального шествия Вероника одиноко сидела в одной из комнат своего роскошного дворца, одетая в траурные одежды, без всяких украшений и драгоценностей. Она сидела, погруженная в мрачное раздумье, небрежно играя лежавшим возле нее ножом.

Одна из рабынь, незаметно войдя, сообщила, что ее желает видеть Иосиф Флавий.

— Лучше было бы в этот несчастнейший день, — начал Иосиф, войдя, — сидеть запершись в темной комнате своего дома, в разодранных одеждах и посыпав голову пеплом. Но я не смел ослушаться твоего приказания, благородная повелительница.

— Я позвала тебя, — отвечала Вероника, — напомнить, что ты должен в точности описать все, что проклятый Рим сделал сегодня, чтобы возможно более надругаться над Богом отцов наших.

— Все, что я написал до сих пор, каждая строчка, — отвечал Иосиф, — написана кровью и слезами. О, если бы я мог последний лист в этой несчастной книге написать огнем!

Вероника замолчала, как бы что-то обдумывая. Потом вдруг выпрямилась, гордо подняв голову; глаза ее заблестели, и она сказала прерывающимся голосом:

— Римляне выбили на своих монетах в знак победы: «Пленная Иудея»... «Пленный Рим» — вот что будет выбито на монетах в честь другой победы! Триумф, в котором шел сегодня Тит, окажется детской забавой перед тем шествием, которое будет, когда Царь Царей поведет свой народ в землю, которую Он дал отцам нашим, когда восстановлен будет Иерусалим и священный храм, когда все цари и все народы подпадут власти Иуды!

— О, великая повелительница! — воскликнул Иосиф — Каждое слово твое — бальзам. живая роса в сухой пустыне! О, скажи мне, кто возвестил тебе все это? Не говорил ли тебе Господь, как некогда пророкам своим, и не избрал ли Он твои уста, чтобы возвестить Своему народу: «Сними с себя Иерусалим, одежды плача и поругания и облекись в красоту вечной славы; твои сыны собрались вместе у входа и выхода; бедствие миновало вас, оно спасло вас от руки врагов ваших»?..

Вероника открыла стоявший возле нее ларец и вынула оттуда сиявшую драгоценными камнями золотую диадему вместе с двумя браслетами.

— Вот дань, — сказала она с гордой усмешкой, — которую принес сегодня к ногам иудейской царицы триумфатор В лагере под Иерусалимом, продолжала она, — я обвила первую веревку вокруг его сердца, я последовала за ним в Рим и здесь привяжу его еще крепче. Иосиф, — воскликнула она, — день его триумфа над Иудой станет днем моего триумфа над ним! Дочь твоего народа будет носить корону римской царицы! Не сказывается ли в этом рука Господня?

— Дорогая госпожа, — воскликнул Иосиф, — ты новая Эсфирь, которую Господь избрал для спасения Израиля! Ты Ютифь, которая сломила гордого Олоферна!

— Я желаю быть больше Эсфири и Юдифи, — сказала она после некоторой паузы тем же взволнованным голосом. Я буду царицей необъятной империи. Но это лишь средство, и оно послужит для других целей. О, видишь ли ты эти корабли, — заговорила царица, все более воодушевляясь, — которые рассекают волны, гордо направляясь на Восток? На их мачтах развевается победное знамя, а на берегу стоят толпы ликующего народа. Сыны Израиля, рассеянные по всем концам земли, собрались, чтобы видеть великий день, как царица, имея в руках скипетр Иуды, вступает в обетованную землю отцов...

— И возводит новые стены вокруг Сиона! — восторженно подхватил Иосиф

— Да, Иосиф, царица могущественного Рима восстанет Иерусалим и храм, и сам Соломон во всей славе своей с храмом своим будет казаться по сравнению со мной бедным. И тогда, — продолжала Вероника, — тогда этот Рим со своими идолами должен будет превратиться в развалины, от него не останется камня на камне Иерусалим сделается центром мира, он будет владычествовать над всеми народами земли, а меня будут величать все народы

— Я вижу в тебе истинную дочь своего народа, повелительница, — сказал Иосиф. — Хотя на тебе траурные одежды, но из уст твоих исходят слова ликования. Как ясно теперь мне могущество Бога Израилева! Должно было пролить потоки крови, чтобы загладить все прежние беззакония. Ныне Господь исполнил возвещенное ранее. Со священным воодушевлением я напишу историю прославления Иуды. Для того, чтобы истинно возвеличить тебя, Господь даст мне силу Своего слова.

— Теперь иди и напиши, о чем мы сейчас говорили, — сказала царица. — Я же сниму траурные одежды и оденусь со всею роскошью. Сегодня Тит должен увидеть меня такой прекрасной, какой не видел никогда. Я усыплю его волшебными словами, чтобы он был опьянен моей любовью.

Час спустя Иосиф Флавий сидел в своей комнате и записывал недавний разговор с царицей. Однако теперь к нему возвратились обычное спокойствие и вдумчивость. Несомненно, что картина будущей славы Израиля заманчива, несомненно также и то, что эта сладкогласная сирена имеет громадную силу, но достаточно ли прочен тот фундамент, на котором будет покоиться ее величайший план?

Когда триумфальная процессия проходила мимо Палатина, Тит успел заметить, что среди царской семьи его возлюбленной не было. Он предполагал, что ее не будет, и потому несколько не удивился. Но это обстоятельство тем сильнее побуждало его тотчас же по окончании церемонии в храме Юпитера Капитолийского поспешить к ней.

Одевшись в роскошное платье, Вероника взяла арфу, на которой она превосходно умела играть. Золотые мечты, которые она только что пред собой нарисовала, должны были излиться в радостных звуках. Она с силой ударила по струнам, и ей показалось, что арфа еще никогда так красиво не звучала. Казалось, струны сами переживали ту радость, которая охватила Веронику.

Она играла песню Мириам, которую она пела после чудесного перехода израильтян через Черное море, где потонули преследовавшие их египтяне. Как прекрасны были слова священной песни, с какой силой звучал голос Вероники!..

Царица не заметила, что вошел Тит и с жадностью слушает ее пение и игру. Как только она пропела последний стих, он обнял ее и поцеловал в лоб.

— Я уверен, — сказал он весело, — что сами боги в Элизии не слышали более чудного пения и более дивной игры

И я не знаю, кто более завидует: Юнона ли твоему голосу или Юпитер мне, который его только что слышал.

— Песни моего народа, — отвечала царица, — обладают поразительной силой, и если бы даже совершенно исчез народ, они останутся всегда. Когда я хочу достойно прославить героя, то я воспеваю его в песнях моего народа.

— Но у вас есть и другие песни, которые столь же очаровательны, как любовь, — сказал Тит. — Они подобно вину, которое выдвливается под вашим знойным солнцем, опьяняют сердце. Не споешь ли ты, золотой соловей, мне такой песни?

— Это песни, которые пел один из наших царей, — отвечала Вероника. — Мы называем их песнею песней. Ты желаешь, чтобы я спела, — хорошо.

Но только Вероника начала петь, как в передней послышался шум. Мужской голос кричал: «Нет, я должен видеть царицу!»

Вероника хлопнула в ладоши, и тотчас же явилась находившаяся в передней рабыня.

— Пришел господин, который был у твоей светлости вчера, — сказала рабыня. — Ему нужно что-то получить от тебя, царица, и сколько слуги ни удерживали его, он требует видеть тебя во что бы то ни стало.

— Пусть войдет, моя дорогая, — сказал Тит, обращаясь к Веронике. — Маленькая задержка не мешает моему счастью, которое я всегда испытываю в твоём присутствии.

Вероника подавила неудовольствие, что ее побеспокоили в такую минуту, и поставила арфу в сторону. Каково же было ее изумление, когда она увидела перед собой римского ростовщика Исаака бен Симона, у которого Вероника кругом была в долгах.

Иудей бросил злой взгляд в сторону Тита и, обращаясь к царице, грубо сказал:

— Я пришел получить долг. Мне сказали, что ты, царица, настолько презираешь свой народ, что участвовала в зрелище триумфа, и я теперь вижу, что это не выдумка. Сегодня в Риме оказалась одна иудеянка, которая надела торжественные одежды, только одна, которая выставила напоказ все свои украшения. Для тебя, царица, кажется, гибель народа настолько приятна, что ты играешь даже на арфе... Но я не хочу, чтобы мои деньги находились у той, которая с таким презрением относится к своему народу. Я требую долг обратно. Если у тебя, царица, нет, то

я думаю, — прибавил ростовщик, бросая взгляд в сторону Тита, — что господин поможет тебе со мной рассчитаться.

Вероника, казалось, готова была провалиться сквозь землю от стыда. Вместе с тем она чувствовала такую злобу против этого назойливого и грубого ростовщика, что сию минуту приказала бы его повесить, если бы это было в ее власти. Его приход и оскорбительное требование в эту минуту, когда она рассчитывала провести вечер наедине с Титом и окончательно покорить его, мог разрушить все ее планы.

И для Тита этот случай бы не менее неприятен. То, что люди делают долги, это обычное явление, но быть свидетелем сцены, крайне оскорбительной и тяжелой для его возлюбленной, ему было весьма неприятно. Он спокойно сказал ростовщику:

— Вот мой перстень, иди к моему управляющему, и он тебе уплатит все, что нужно.

— Нет, нет! Я этого не позволю, — сказала Вероника, отстраняя руку Тита. — Одно, о чем я тебя прошу: оставь меня поговорить с этим человеком.

Тит продолжал настаивать, чтобы она приняла его предложение, но царица ни за что не соглашалась. Видя, что Вероника настаивает на своем, он удалился.

— Ты упрекаешь меня, — сказала она гневно ростовщику, когда они остались вдвоем, — что я смотрела триумфальное шествие; но пойдя к Иосифу Флавию и спроси у него, давно ли он со мной разговаривал. Он скажет тебе, что незадолго до этого видел меня здесь в траурных одеждах, и объяснит, почему я сняла те одежды и надела эти, за которые ты меня упрекаешь. В тот момент, когда дочь Иуды готовится наложить цепь на шею триумфатора, является иудей и разрывает эту цепь. О, теперь я вижу: Иерусалим вечно должен оставаться в развалинах; всегдашняя жажда к наживе, этот наследственный порок иудеев, может разрушить все планы Иеговы! Вот диадема, — сказала царица, вынимая из шкатулки подарок Тита, который она показывала Иосифу. — Это корона, которую принес наследник римского престола будущей царице Иерусалима. Возьми ее, она стоит гораздо больше, чем я тебе должна. Возьми, но пусть падут на твою голову и все проклятия, которые будут произноситься, пока останется в живых хоть один иудей.

Исаак бен Симон некоторое время с изумлением смотрел на сверкавшую алмазами корону, а затем, бросившись на колени, сказал:

— Прости, прости, благородная повелительница! О, зачем я так поспешил поверить тому, что мне наговорили!

Вероника села на кушетку и опустила голову. Сердце ее, казалось, готово было разорваться от гнева и горя.

Ростовщик вынул из кармана долговые записки и сказал:

— Царица, вот твой долг на 500 талантов. Пусть он более не смущает тебя: я готов ждать год, два и больше. В Риме есть много людей, гораздо более богатых, чем я. Я постараюсь их убедить, и мы все вместе соберем сумму, какая потребуется для тебя. Видит Бог, что я готов сделать все, чтобы загладить свой опрометчивый поступок.

— Позови мою рабыню, — тихо сказала после некоторого молчания царица, — и оставь меня одну.

Опершись на руку рабыни, Вероника направилась в спальню. Только теперь она немного успокоилась. Ее несколько утешила мысль, что Исаак бен Симон обещал открыть ей кредит у богатых ростовщиков. С деньгами, которые ей обещал достать иудей, она могла чувствовать себя всецельной. Надо было лишь как-то загладить то неприятное впечатление, которое произвел этот случай на Тита. Как хорошо сделала она, что не приняла его помощи! У нее был драгоценный перстень, доставшийся по наследству, с изумрудом редкой величины и резным изображением символической фигуры победы. Этот перстень подарил ее деду великий Август: она подарит его сегодня Титу, в день его триумфа.

Вероника взяла две навощенные дощечки и написала «Божественный Август некогда подарил этот перстень в знак своей дружбы моему деду Ироду. Прими его теперь от меня в знак моего пожелания, чтобы ты всегда был счастлив так же, как подаривший его. Вместе с тем пусть будет он залогом милости, которой ждет от тебя внучка царя».

Связав дощечки шелковым шнурком и приложив печать, Вероника позвала своего управляющего, на преданность и ум которого она полагалась, и, вручив ему дощечки и перстень, велела тотчас же передать их Титу.

В тот же вечер Веронике стало известно, что Тит надел этот перстень за вечерним пиршеством, которым закончился день триумфа.

VII

Когда проснувшись на следующий день после триумфа, Тит перебирал события вчерашнего дня, он находил, что все происходившее представляло собой великолепную картину, которая еще и теперь как бы продолжала находиться перед его глазами. Но одно лицо более других выделялось среди всего. Это была Домицилла.

Не только в иудейском квартале, но и в богатых иудейских домах, в центре Рима, вечером в день триумфа никакого торжественного освещения не было. Сначала этому не придали никакого значения: мрачный вид жилищ у недавно побежденных лишь более возвышал ликование и радость победителей. Однако, несколько позже, когда у многих головы разгорячились вином, образовались группы молодежи, которые решили потребовать, чтобы иудеи зажгли в своих домах огни. Люди эти направлялись сначала к некоторым домам в центре, и, когда им угрозами удалось добиться желаемого, они решили проделать то же и во всем иудейском квартале. Они пробрались к тибрскому мосту, и, хотя здесь с утра поставлен был сильный отряд стражи, большая часть их успела перейти через мост без всякой задержки. Но в иудейском квартале дело приняло совершенно иной оборот. Крики и угрозы послужили сигналом вспышки той накипевшей злобы, которая с утра переполняла сердце каждого и с трудом сдерживалась. Населению квартала мало приходилось чем рисковать. Имущества у него не было, одна лишь жизнь, но и она после сегодняшних событий представляла немного цены. Вот почему в одно мгновение на римлян устремились с отчаянной яростью все — не только мужчины, но женщины и даже дети. С крыш, из окон, отовсюду летели камни, поражая пришедших. В скором времени весь иудейский квартал представлял из себя побоище. К пришедшим толпам римлян устремились на помощь новые, со своей стороны иудеи действовали с редким ожесточением и единодушием. Неистовые крики, брань, вопль женщин, плач детей — все смешалось в один нестройный гул, далеко разносившийся по ту сторону Тибра.

На помощь пришедшей толпе тотчас же бросились стоявшие у синагоги и в других местах отряды стражи, но темнота и узкие улицы препятствовали их действиям. С большим уроном солдаты принуждены были отступить и ждать подкреплений.

О восстании тотчас же сообщили во дворец. Веспасиан и Тит были огорчены тем, что торжество дня в самом конце было нарушено. Опасность была в том, что начавшееся восстание могло распространиться на другие кварталы, где жили иудеи.

Когда дальнейшие известия все более и более указывали на серьезность положения, Домицилла, волнуясь за участь Фебы, решила отправиться на южную часть Палатина, недалеко от которой расположен был иудейский квартал.

Она остановилась там и стала жадно прислушиваться к доносившемуся шуму, стараясь что-нибудь разглядеть в лежавших внизу мрачных рядах иудейских домиков. Вдруг послышались шаги, и она узнала Тита. Как только получено было известие о восстании, он тотчас же приказал принять самые строгие меры к тому, чтобы возможно скорее подавить его. На Палатин он пришел, чтобы самому следить, насколько опасную форму приняло восстание.

Тит, не узнав Домициллы, был, однако, удивлен, увидев на холме одинокую фигуру женщины. Домицилла, не желая, чтобы Тит узнал ее, при его приближении закуталась в плащ.

Некоторое время оба они стояли молча, устремив взгляды на ту сторону Тибра, за которой вырисовывались неясные очертания хребта Яникула. Ночь была тихая. Побоище, казалось, приходило к концу. Едва слышались отдаленные крики.

— Боже мой! — вдруг воскликнула девушка, произвольно. — Там пламя и клубы дыма.

Тит по голосу тотчас же узнал Домициллу. Над иудейским кварталом вздымалось громадное пламя. Багровое зарево зловеще осветило прилегающие дома, отражаясь в волнах Тибра.

Тит безмолвно смотрел на разраставшееся пламя, и лицо его становилось все более и более озабоченным. При такой скученности построек огонь перекидывался с дома на дом с поразительной быстротой. Через короткое время пламя, казалось, охватило весь квартал, представлявший теперь издали сплошное море огня.

Сострадательная Домицилла тут же начала возносить в мыслях самые горячие молитвы к Иегове, прося его защитить свой народ. В то же время она вспомнила недавний разговор про Иисуса Христа и начала молиться также и Ему, призывая и Его на помощь несчастным людям. В эту ужасную минуту, когда гибли дети и старики, ей хотелось

лишь молиться, не задумываясь, правда ли то, что о нем рассказывают, а Христос, судя по рассказу, был таким добрым и сострадательным.

И ее молитва, казалось, была услышана.

Пламя начало уменьшаться, ограничившись, по-видимому, лишь частью квартала.

— Опасность, кажется, миновала, — сказал наконец Тит. — Я думаю, что тебе нельзя долго оставаться под открытым небом. Могу я тебя проводить домой?

Долгое отсутствие Домициллы встревожило домашних, и на розыски было послано уже несколько рабов. Феба, успевшая незадолго перед этим возвратиться с похорон первосвященника, как только слышала шаги госпожи, бросилась к ней навстречу.

— Ах, добрая госпожа, у меня все сердце перевернулось от страха, — говорила рабыня. — Сегодня для меня такой несчастный день, что я готова была думать о твоём долге отсутствию Бог знает что!

На следующее утро Тит много размышлял над вчерашней встречей с Домициллой. Он задавал себе вопрос, что могло побудить ее идти ночью смотреть пожар? Он предполагал, что Домицилла, как и многие из женщин тогдашнего высшего круга, держалась втайне иудейства, но все же это казалось ему недостаточным для столь живого участия ко вчерашнему бедствию. Как бы то ни было, эта молодая девушка с некоторого времени начала сильно занимать воображение Тита. Возвышенные нравственные правила, которые преподаны были с детства Домицилле ее рабыней Фёбой, наложили высокую печать чистоты и непорочности на все ее поступки. Правда, по сравнению с блестящей и пышной красотой Вероники, красота Домициллы была лишь красота маленькой звезды при сверкающем солнце. Но эта скромность, это отсутствие чего бы то ни было бьющего в глаза и делало Домициллу особенно привлекательной.

Размышления Тита были прерваны приходом военного легата, который принес подробный отчет о вчерашнем происшествии, из которого было ясно, что иудеи не виноваты.

— Объяви, — сказал Тит, — что всем, у кого пожар истребил имущество, потери будут возвращены за счет казны. Кроме того, я сделаю распоряжение, чтобы потерпевшим был выдан хлеб и мясо, а также дано временное пристанище... Как ты думаешь, — спросил Тит, — не будет

опасно, если я сам явлюсь в иудейский квартал для раздачи денег?

— Я думаю, правитель, что это нисколько не опасно, — отвечал легат. — В квартале мною оставлена удвоенная стража. Если ты позволишь мне объявить им наперед о твоём намерении, то, мне кажется, тебя встретят с радостью. Народ слишком угнетен постигшим его бедствием и едва ли станет отвергать руку помощи.

Домицилла спала беспокойно. Ей казалось, что она продолжает видеть обуглившиеся развалины. Желая отогнать этот кошмар, Домицилла решила разбудить Фебу, находившуюся в соседней комнате. Домицилла попросила ее рассказать, где она была. При рассказе о том, как погребен был иудейский первосвященник, чувствительная Домицилла едва сама не расплакалась.

— Когда я думаю о бедствии, постигшем иудеев, — сказала Домицилла после некоторого молчания, — мне приходит на память рассказ Тита о Иисусе Христе. Неужели, в самом деле...

Домицилла не решалась договорить. Это слишком противоречило сложившемуся у ней представлению о Боге Иегова, невидимый Бог, с его великолепным храмом, для которого даже великий Август посылал дары, такой Бог, по ее мнению, был единственно подходящим Существом, которому могла оказывать высочайшее почтение гордая римлянка и к тому же родственница цезаря. Но распятый Назарянин, притом, быть может, представленный Титом в более идеальном, чем на самом деле, свете, такой Бог, по ее рассуждению, едва ли был возможен.

Она задумчиво сказала:

— Я не поступаю так, как многие римские матроны, они признают иудейского Бога и даже молятся Ему, но в своих поступках не руководятся никакими высшими правилами. По-моему, это неправильно. Вместе с вами я разделяю надежду, что некогда явится Мессия, но мне кажется, что Мессия избавит не только вас, но и всех людей. Только я думаю, что этот Мессия должен явиться не в образе раба, который умер на кресте...

— Возвращаясь после похорон первосвященника, — сказала Феба, — я не могла ни о чем другом думать, как только о несчастье своего народа и моей родной семьи. Ах, — добавила она страдальчески, — чем больше я об этом думаю, тем больше боюсь, что причина страдания всех нас одна.

— Так ты полагаешь, — спросила Домицилла с удивлением, — что разрушение Иерусалима есть наказание Божье за смерть Назарянина? Но причем же тут твоя семья?

— Я просила тебя, добрая госпожа, — продолжала Феба, — никогда не спрашивать меня о судьбе моих родных. Если для меня потеряно все, — думала я, — то я желала по крайней мере утешить себя хоть тем, что у меня остается светлое воспоминание о днях, проведенных в доме отца, пока на нас не обрушились бедствия. Но сегодня... сегодня я не могу удержаться; мое сердце разрывается на части, и ты, ты, добрая госпожа...

— И все это имеет отношение к смерти Христа? — снова спросила Домицилла.

— Я не знаю, говорил ли тебе, госпожа, Тит, — тихо сказала Феба, — что Христос предсказал гибель и разрушение Иерусалима и все обрушившиеся на нас бедствия, что не осталось ничего такого, чтобы случилось не так, как Он говорил. Причина, почему Его ненавидел наш народ, заключалась в том, что Он предсказывал нам гибель, тогда как мы надеялись господствовать над всем миром. Эту надежду имели особенно наши первосвященники и книжники; они же распространяли ее и в народе. Мой дед был первосвященником. Он жил как раз в то время, когда в Иудее учил Христос. Его звали Каиафой, и он-то и осудил Христа на смерть...

Домицилла не верила своим ушам! Внучка первосвященника теперь ее рабыня!

Феба, собравшись с силами продолжала:

— С этих пор счастье навсегда оставило наш дом. Моя мать, младшая дочь первосвященника и его любимица, умерла в родах, оставив пятеро детей, из которых мне, самой старшей, не было и девяти лет. Дед мой тоже вскоре умер, как говорят, с горя по своей любимой дочери. Старания моего отца занять его первосвященническое место, окончились неудачей из-за интриг. В скором времени страшный пожар уничтожил все наше имущество. Участливые друзья помогли отцу стать на ноги, ссудив его деньгами. Он начал торговлю персидскими коврами. В первый же год дела его пошли блестяще, и это дало возможность воспитать всех нас. Он решил снарядить в Рим два судна с тканями и материями. Утром перед отъездом — с того времени уже прошло 12 лет — я видела своего отца в последний раз. Я предчувствовала это при прощании и горько плакала, расставаясь с ним. С тех пор никаких вестей о нем не было.

несомненно, он погиб вместе со своим товаром в морской пучине.

Несчастливая девушка глубоко вздохнула. Она не знала, что ее отцу через несколько лет удалось возвратиться в Иерусалим; она не знала, что с тех пор он дни и ночи занят был одною лишь мыслью, как бы отыскать свою любимицу дочь; не знала, сколько он испытал горя.

— Чтобы расплатиться с займодавцами, — продолжала Феба, — было продано все оставшееся имущество, но этого не достало, и тогда всех нас продали в рабство. Нас повезли в Александрию. О, что я пережила, когда мне вымазали ноги мелом и вывесили над головою дощечку с надписью о моих летах и моих качествах! Я досталась скупщику рабов, который отвозил их в Рим для перепродажи. Бедствия и здесь ожидали меня пока наконец Господь не сжалился надо мной и не послал тебя, добрая госпожа! Единственное, что меня поддерживало в эти невыносимые минуты, это вера и молитва к Богу отцов моих.

Домицилла внимательно слушала ее рассказ. Только теперь для нее стало ясно, почему Феба всегда имела такой задумчивый вид.

— Эта вера, что Бог отцов смягчит когда-либо гнев свой, — продолжала Феба, — не покидала меня и тогда, когда стало известным, что Иерусалим взят и храм разрушен. К этой вере я обращалась и вчера, когда вели в триумфальном шествии первосвященника и левитов, когда я наконец проводила прах помазанника Божия, которому пришлось так бесславно окончить дни свои в языческой земле... Я тебе еще не сказала, госпожа, — продолжала Феба, — того, на чем именно основывается моя вера, когда я думаю, что постигшее мой народ и мою семью наказание, должно когда-либо окончиться. Когда Христос висел на кресте и когда наши первосвященники и книжники, издеваясь, говорили: «Если ты Сын Божий, сойди с креста», — тогда Он, подняв глаза к небу, произнес: «Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят»...

— Что ты говоришь? — перебила ее Домицилла. — Неужели Он мог так молиться? Неужели Он в муках и среди насмешек мог просить за этих людей? Человек может говорить что угодно при жизни, но пред лицом смерти.. Если бы ты мне сказала, что Он, испытывая страдания, произнес проклятие на Иерусалим и предсказал гибель своему народу, то это было бы понятно. Но, ты говоришь, Он молился за своих мучителей! О, Феба, произносила ли

когда-либо человеческими устами более высокая и святая молитва? Нет, нет, Феба, — после этого я готова верить, что это был не человек, а Бог!

— И эта-то молитва умирающего Христа, — сказала Феба со слезами на глазах, — есть единственная надежда, что горести наши когда-либо закончатся. Такая молитва из уст праведника не может остаться неслышанной. И если Господь наказал нас, если взыскал с нас неповинную кровь праведника, то придет время, когда Он простит нас.

— Я благодарна тебе за все, что ты мне сказала, — немного помолчав, произнесла Домицилла. — Когда вчера пламя бушевало с такой яростью в иудейском квартале, я подумала, что оно истребляет и без того слишком обиженных судьбой людей. Это был столь неожиданный финал для триумфального дня и такая жестокость к ни в чем неповинным беднякам, что я невольно вспомнила о Христе и стала молиться Ему, чтобы Он остановил бедствие. Это был первый случай, когда я обратилась с молитвой к Христу. Быть может, Его силой и сделалось так, что пожар в скором времени прекратился. Ах, Феба, как много таинственного в действиях Божиих!.. Однако довольно сегодня об этом: меня клонит ко сну, и я чувствую, что теперь засну. Иди, Феба.

VIII

После триумфального дня последовал длинный ряд празднеств, представлений и разного рода увеселений для народа. В храм Юпитера выставлены были наиболее замечательные трофеи из разрушенного Иерусалима, и множество любопытных приходило, чтобы посмотреть на них.

На одном из полей, находившихся по ту сторону Тибра, иудейскими рабами вырыт был громадных размеров бассейн, в который через канал провели воду из Тибра, в этом бассейне должно было происходить морское сражение. После того, как тысячи зрителей расположились вокруг, суда устремились друг на друга. Победившей стороне назначена была значительная награда, и потому сражение велось не на жизнь, а на смерть. На судах сражались между собой иудейские пленные. Многие были ранены и убиты, и вода сделалась красной от крови. Когда судно предводителя одной из сторон было потоплено, с берега раздались рукоплескания и победившим торжественно дана была награда.

Но самым большим развлечением как для знати, так и для черни были бои гладиаторов и травля диких зверей. Представления продолжались в течение целых ста дней: за это время было истреблено не менее пяти тысяч диких животных. Большинство участников этих кровавых увеселений также были иудейские пленные. На арене амфитеатра на Марсовом поле устроен был деревянный город с храмом наподобие Иерусалимского, и одна часть иудейских пленников должна была брать его приступом, в то время как другая защищала.

В театре Помпея давалась каждый день специально поставленная пьеса, изображавшая триумфальное шествие Бахуса по Востоку. И хотя на представлении присутствовал вместе с отцом сам Тит и другие члены семьи цезаря, актеры нисколько не стеснялись отпускать по поводу отношений Тита и Вероники остроты и шутки, вызывавшие у толпы дружный хохот. Веспасиану не нравилась такая дерзость, хотя эти шутки подхватывал даже брат Тита, Домициан. Тит относился к этому благодушно и, нисколько не обижаясь на насмешки, старался успокоить отца.

Тит, согласно своему обещанию, навестил Климента и убедился, что дядя его непреклонен и что его образ жизни вполне разделяет и его жена. Тита особенно поразила эта перемена в воззрениях своей родственницы. Нанося визит, он главным образом рассчитывал на ее помощь, но теперь, после неудачи, он оставил обоих с твердым намерением не переступать более никогда порога их дома.

Веспасиан и Тит не знали, что их ближайшие родственники держатся христианства. Прошло семь лет с того времени, как Нерон обвинил христиан в устроенном им же самим пожаре и казнил их такое множество, что, казалось, в столице навсегда было искоренено христианство.

IX

Несмотря на то, что Иосиф Флавий решил не являться во дворец цезаря в течение всех дней триумфальных празднеств, на следующий же день после его приезда к нему пришел от Тита раб с приглашением.

Заданный Домициллой вопрос о причине гибели иудейского народа заставил Тита задуматься: действительно ли разрушение Иерусалима ниспослано Богом как наказание за

смерть Назарянина? Если христиане признают Распятого Богом, в каком отношении стоит Он к Богу иудейскому? И сами христиане — секта ли они только или находятся во вражде с иудеями? Кто мог лучше все это разъяснить, как не Иосиф Флавий?

Разговор между ними продолжался долго. Иосиф не был фанатичным ненавистником христиан, и потому ответы его до известной степени были лояльны по отношению к христианству. Христос, по его мнению, был просто мечтателем, который вначале представлялся не опасным, но впоследствии, когда оказалось, что Он упорно стремится распространить свои мечтания среди народа, был признан весьма вредным человеком. Что же касается отношения христиан к иудейству, то они, в сущности, держатся учения закона Моисеева и священных ветхозаветных книг. Причиной же, почему христиане признали основателя своей секты Богом, является то, что они подвергаются преследованиям, которые велись против них фарисеями в Иерусалиме и затем при Нероне: человек устроен так, что чем больше преследуют его за то, что он держится таких, а не иных воззрений, тем больше он начинает почитать эти воззрения. Учение, которое проповедовал Христос — человек, не обладавший никаким научным знанием, впервые было приведено в систему известным Павлом, учеником знаменитого Гамалиила. Павел дополнил это учение, внося в него все, что касается отношений христиан к государству, их послушания властям и частных обязанностей. В общем, возникшее новое учение христианства ограничивается низшими классами. «Да еще женщинами, — добавил, смеясь, Иосиф, — так как женщины всегда гонятся за новизной как в модах, так и в религии».

Дальнейшие сведения о христианстве Тит получил от Вероники, когда в полдень посетил ее. Перстень Августа доставил Титу большое удовольствие; он гордо носил его и на обращенную в письме просьбу быть милостивым к царице отвечал уверениями в своей верности.

Относительно Иисуса из Назарета она рассказала ему, что Он ученик Иоанна Крестителя. Сам Иоанн происходил из жреческого сословия и был человеком возвышенной души и строгих правил, так что пользовался большим уважением со стороны царя Ирода, который неоднократно обращался к нему за советом. Иисус же, напротив, был простым плотником. К Нему сначала весьма привержен был простой народ, но когда оказалось, что Он в своем учении восстает против существенных законов, то все Его

оставили. Один из приближенных учеников Его изменнически выдал Его за тридцать сребреников, и Он осужден был на смерть.

После этого Тит решил, что ему теперь вполне известно, кто такой Христос и что такое христианство. Правда, для него оставался по-прежнему загадкой случай с незнакомым старцем, явившимся накануне разрушения Иерусалима, но, во всяком случае, секта христиан для него более с точки зрения политической не имела никакого значения.

От Вероники Тит направился в иудейский квартал. Тит знал, что иудеи встретят его со смешанными чувствами. Но он владел даром располагать в свою пользу сердца людей, и его внимание, и участливость, с какими он обращался со старыми и молодыми, везде обещая помощь и раздавая милостыню, заставили иудеев хоть на миг забыть, что пред ними находится человек, разрушивший священный город и храм.

Оказалось, что пожар произошел неподалеку от синагоги. Мрачно стояли обуглившиеся стены, а из-под развалин еще курился дым. Возле дверей одного дома, который, по видимому, принадлежал зажиточному иудею, сидел, склонив голову на руки, старец. Это был раввин Аарон бен Анна. И его жилище вместе со всем скарбом стало добычей пламени. Он сидел так целый день и никому не отвечал на приветствия. Когда ему сказали, что в иудейский квартал прибыл Тит, он поднял голову и, увидев, что Тит идет по направлению к нему, уставился на подходившего. Тит не мог перенести этого взгляда и стал смотреть в сторону. Тогда старик, поднявшись, сказал голосом, который, казалось, исходил из могилы:

— Вы Флавии — орудие в руках моего Бога, Который пожелал наказать народ Свой за его беззакония. Но орудие оказалось более жестоким, чем рука, которая его направляла, поэтому Господь отверг это орудие. Для тебя, Тит, не будет более ни одного радостного дня, ни одно из твоих желаний не исполнится более. Несчастье за несчастьем падет на твою голову. Пока стоит мир, да будет проклято имя Флавиев, потому что они попрали дочь Сиона! Иди, тебя ждет брат твой!

Сказав это, старик снова сел и опустил голову. Тит же стоял перед ним ошеломленный, не зная, как отвечать на этот дерзкий вызов старого раввина. Как и отец, который ежедневно обращался к гадалеям, Тит был суеверен, и потому этот случай произвел на него удручающее впечатление.

— Не трогайте его, — сказал он властно страже, которая

готова была броситься на дерзкого оскорбителя, и, задумчиво опустив голову, направился в Ватиканский квартал, где расположились легионы, принимавшие участие во вчерашнем триумфе.

Невдалеке от цирка Тит, к удивлению своему, увидел своего дядю Климента вместе с какими-то людьми. Все они были одеты в белые одежды и шли по улице, которая вела мимо цирка. Тит с любопытством проследил за ними и увидел, что все они направились внутрь могильного памятника, находившегося на одной из вершин. Кто мог быть там погребен? Зачем понадобилось туда идти Клименту, и что это за люди, с которыми он шел? Тит хотел было последовать за ними, но после своего неудачного визита к дяде ему неприятно было с ним встречаться.

При приближении к лагерю Тита удивили раздавшиеся оттуда торжественные крики. Неужели войска продолжают еще и сегодня вчерашний триумф? Но, войдя в лагерь, он увидел своего брата Домициана на богато убранном белом коне и в длинной белой мантии с пурпурными прошивками. В сопровождении свиты всадников, он, по-видимому, направлялся из лагеря в город.

Тит нахмурился: он понял, для чего Домициан приезжал в лагерь. Когда обсуждался порядок триумфального шествия, Домициан требовал, чтобы ему позволили следовать вместе с Титом на белом коне. Но так как при триумфе только победителю присвоено было право выезжать на белом коне, а Домициан участия в войне не принимал, то Веспасиан отверг это требование.

Но честолюбие и зависть к брату не позволили ему на этом успокоиться, и потому на следующий день, одевшись в богатейшие одежды, какие обычно надевали триумфаторы, он на белом коне отправился в лагерь. Благодаря щедрым дарам, которые его свита раздавала направо и налево легионерам, ему нетрудно было вызвать одобрение войск.

Этот случай послужил поводом к тому, что Веспасиан был крайне возмущен дерзким поступком сына.

— Почему же ты не дашь мне случая стяжать славу? — отвечал Домициан на упреки отца. — Пошли меня против парфян или германцев, и ты сам удивишься моим доблестям...

— Какой враг способен одолеть в настоящее время римские легионы? — возразил Веспасиан. — Курица должна

сидеть подле своих цыплят, а не пытаться выглядеть павлином. Из незрелых ягод никогда не выйдет сладкого вина.

Что касается курицы, — отвечал Домициан, — то это сравнение более подходит Титу и его иудейской насадке, чем ко мне. И относительно вина — надо еще доказать, что оно из незрелых ягод. Быть может, оно и не будет сладко, — добавил он насмешливо, — но зато крепко.

Милостивые боги да избавят Рим от такого напитка! — раздраженно воскликнул цезарь.

Рим, без сомнения, гораздо охотнее будет пить скорее его, чем сладкое вино Тита, — отвечал Домициан. Ты думаешь, отец, продолжал он с язвительной улыбкой, что я завидую Титу и его триумфу? Нисколько. После того как вчерашней ночью я послушал прорицания, я готов от души пожелать моему брату всего наилучшего.

Тит удивленно посмотрел на Домициана.

— Один брат не должен быть несчастной звездой для другого, — заметил с горькой усмешкой Домициан. Мы спрашивали звезды и относительно тебя, Тит.

И что же показали звезды?

Они благоприятствуют тебе, — отвечал Домициан. Они предсказывают тебе славу после смерти. Но я нисколько не завидую этому! Мне безразлично, что будут говорить после моей смерти. Но мне, — продолжал Домициан, — предсказано другое! Рим и целый мир будут ползать у ног моих! Да! Юпитер бросающий грома и приводящий в трепет всякое живое существо, — вот идеал цезаря! Это великий идеал, таким и будет Домициан!

Это идеал не цезаря, а волка среди овец! — строго сказал Веспасиан. — Если боги допустят этому случиться, то от Рима не останется даже и щепки.

Если бы это было в моей власти, — насмешливо сказал Домициан, — я повторил бы историю Иерусалима на берегах Тибра. Весь Рим обратить в развалины, даже храм Юпитера на Капитолии сделать кучей обломков, по крайней мере была бы память о роде Флавиев!

С этими словами Домициан оставил отца и брата, которые молча глядели ему вслед.

Первым нарушил молчание Веспасиан. Он заговорил об отношениях Тита к Веронике, выразив сыну порицание за его неразборчивость.

— Отец мой, — спокойно отвечал Тит, — если зависть и честолюбие возмущены царицей за то, что она желает стать женой Тита, то надо сказать, что даже те, которые

ненавидят ее, не могут отрицать, что она выше всех римских женщин не только по красоте, но и по уму. Фамилия Иродов еще со времен Августа находилась в самых близких отношениях к дому цезаря. И какой же закон повелевает сыну цезаря искать супругу непременно среди римских матрон?

— Как римляне смотрят на твою связь, — сказал Веспасиан, — об этом ты мог слышать в театре. Иудеянка — будущая царица...

— Отец, — перебил его Тит, — я дважды женился в интересах нашего рода. Оба раза смерть унесла моих жен, не оставив мне наследника. Теперь я хочу следовать влечению своего сердца

Предрассудки сильнее всяких крепостей, — сказал Веспасиан. — Господство Флавиев еще не успело укорениться, и зависть, как крот, может подточить слабые корни.

Когда Тит ушел, Веспасиан погрузился в размышления. К неприятностям, которые причинял младший сын, прибавлялось еще то, что Тит, следуя своей страсти, может жениться на Веронике. Разве Домицилла не могла бы составить ему подходящей партии? Свежая, цветущая девушка, добрая и умная. И сколько в ней энергии! Такая девушка вполне подходит для Тита.

Х

Во время пожара вместе с домом раввина Аарона бен Анны пропало и все то, что оставила у него Феба. Фебу это сильно опечалило. Теперь уже она не сможет помочь несчастным пленным. Надежды на то, что она встретит своих родных, почти никакой не было, но, если она теперь и увидит кого-нибудь из них в плену, помочь им будет не в состоянии.

Домицилла старалась, насколько это было возможно, утешить ее. С тех пор как Феба поведала ей печальную историю своей жизни, Домицилла стала относиться к ней иначе. Бедствия, преследовавшие семью Фебы, вызывали у Домициллы сострадание и желание ей помочь. Разве она, Домицилла, не может попросить цезаря, чтобы он дал свободу бедной рабыне? Разве Тит не согласится по ее просьбе навести справки о том, нет ли среди пленных родных Фебы?

Через два дня после памятного ночного разговора Домицилла пришла домой в веселом расположении духа. Сияющая, она подозвала Фебу и сказала:

— Ты свободна! Цезарь даровал тебе свободу! Кроме того, Тит обещал навести справки о твоих родных и, если они найдутся, то дать и им свободу!

— Пусть Бог моих отцов наградит тебя за твои милости, повелительница, — сказала она со слезами на глазах. — Но я приму свободу только с условием, что и вперед останусь служить тебе, как раньше.

Домицилла и сама надеялась, что Феба не оставит ее. Ей было бы тяжело расстаться с доброй рабыней. Она решила ежемесячно давать Фебе содержание, чтобы она через несколько месяцев могла отложить сумму, гораздо больше утраченной.

На четвертый день празднеств должно было начаться состязание колесниц в Большом цирке. Посреди арены расположена была длинная каменная преграда, вокруг которой должны были объезжать по семь раз участвовавшие в состязаниях возницы.

Вероника, до этого дня не посещавшая триумфальных зрелищ, решилась присутствовать на этом состязании и готовилась к нему заранее. Тит обязательно будет присутствовать в цирке, и этим случаем нужно было воспользоваться. В первый раз ей представилась возможность открыто показаться перед Римом вместе с Титом — пусть народ привыкает видеть в ней жену своего будущего цезаря.

Когда Веспасиан со всем семейством появился в императорской ложе, наполнявшие цирк тысячи людей разразились бурными приветственными криками.

Сам цезарь занял место посередине; по правую руку поместился Тит и возле него Вероника; по другую сторону, рядом с царицей-матерью, сел Домициан. Домицилла, намеревавшаяся сесть в глубине ложи, подчиняясь настойчивому желанию цезаря, села непосредственно за ним. Сначала Веспасиан хотел посадить ее возле Тита, но вдруг появилась Вероника, и ему пришлось усадить иудейскую царицу на подобающее ей почетное место.

Вероника скоро убедилась, что Веспасиан держит себя весьма холодно по отношению к ней, зато необыкновенно ласков с Домициллой. Так как цезарь всякий раз в разговоре с ней должен был оборачиваться назад, то это не укрылось и от всех других. Веронике впервые пришла в голову

мысль, что в Домицилле она может найти свою соперницу. Если любовь, как говорят, слепа, то ревность, несомненно, имеет сто глаз.

Домициллу, согласно ее желанию, сопровождала Феба. Сегодня в первый раз вместо платья рабыни она надела одежду вольноотпущенной. С ее места хорошо можно было видеть Домициллу и незаметно следить за тем, что происходит вокруг нее.

Цезарь бросил белый платок и этим дал знак начать состязание. Каждый возница, выступавший на состязании, имел свой, отличный от другого, цвет одежды: белый, красный, зеленый или синий. Еще за много дней до состязания заключались многочисленные пари, какой цвет победит. Как только колесницы стремительно выезжали на арену, каждый был поглощен местом возницы своего цвета. Когда казалось, что побеждает один, но затем его неожиданно перегонял другой, из толпы зрителей неслись неистовые крики.

Домициан и Вероника поставили на красный цвет, Домицилла — на зеленый. Некоторое время впереди шел белый возница, но мало-помалу стал отставать, и скоро его обогнал сначала синий, а потом зеленый. Красный, по-видимому, сдерживал своих лошадей. Вероника и Домициан, казалось, готовы были выпрыгнуть из ложи, чтобы заставить его ехать быстрее. Но постепенно расстояние между ним и первыми двумя все более и более уменьшалось, и, наконец, все три возницы поравнялись и некоторое время шли, не отставая один от другого. Но во время шестого круга колесница синего при повороте неожиданно ударилась о выступ стены, и колесо ее разбилось вдребезги, а возница полетел на землю. Таким образом, впереди остались лишь красный и зеленый цвет. Чем ближе они были к цели, тем усерднее возницы подгоняли своих коней: даже в царской ложе можно было услышать порывистое дыхание взмыленных животных. Оставалось сделать еще один круг: красный возница перевернул кнут и начал неистово наносить удары. Лошади рванулись вперед, опередив на несколько шагов зеленого возницу, но, когда красный и дальше стал погонять по-прежнему, одна из лошадей заупрямилась и встала на дыбы. Это решило все: через несколько мгновений цирк разразился неистовыми криками в честь победившего зеленого возницы.

Когда победитель в сопровождении судей появился в ложе цезаря, чтобы из его рук принять награду — золо-

тую пальмовую ветвь, Веспасиан, обращаясь к Домицилле, сказал:

— Я думаю, что наш герой предпочтет получить награду из твоих прекрасных рук.

С этими словами он передал ей ветвь. Домицилла должна была выйти вперед и при восторженных криках народа вручить победителю награду.

Вероника была крайне огорчена и тем, что ей не удалось выиграть пари, и еще более тем, что пари выиграла ее соперница, сиявшая теперь счастьем не столько из-за выигрыша, сколько из-за внимания, оказанного ей самим цезарем. Недобрая усмешка играла на устах иудейской царицы, когда она смотрела, как, смущенная вниманием всего цирка, Домицилла вручает ветвь победителю.

Ростовщик Самуил бен Симеон, познакомившийся с Иосифом во дворце Вероники, счел за честь пригласить к себе в дом знаменитого мужа. На обед вместе с ним приглашены были и самые богатые иудеи, жившие в Риме. Помня свое обещание, Самуил бен Симон хотел воспользоваться случаем, чтобы уговорить своих друзей открыть кредит царице.

За столом находились все наиболее известные римские ростовщики, некоторые из них явились вместе с женами и дочерьми.

Скоро хозяин перевел разговор на Веронику.

— Это замечательно, — сказал Иосиф, которого разговор с царицей снова заставил мечтать о несбыточных надеждах, — что в такое безвыходное время дочь Израиля побеждает сердце того, кто является виною всех наших бед. Если ей удастся стать женой будущего цезаря, то, несомненно, Иерусалим и храм будут восстановлены.

— Дал бы Бог, чтобы наша царица стала второй Эсфирью, а то и больше, — сказал Самуил, — мои денежки тогда были бы в безопасности.

— Заплатить на несколько процентов больше, — вставил ростовщик Соломон, — для нее тогда ровно ничего не составит. Вот когда наступит золотое время для Израиля римляне во сто раз заплатят нам за то, что взяли.

— Веспасиан, — заметил осторожно ростовщик Исаак, — еще будет царствовать не один год, пока власть перейдет к Титу. Я готов рискнуть чем угодно, но только не раньше, как царица сделается женой Тита. До этого же времени я не так прост, чтобы дать ей загребать моими руками жар.

— В Риме, — сказал Самуил, — можно всего достигнуть, только надо иметь большие средства. Когда у Рима просят — он нищий, когда дают — он царь.

— Прежде чем сразить Голиафа, — заметил Соломон, Давид должен был застаться камнем с пращой. Если Господь через простого пастуха освободил свой народ от ига филистимлян, то, может, Он и теперь спасет Израиль через эту женщину. Мы же, живущие в Риме, должны быть свободны от упрека со стороны остальных наших братьев, что оставили царицу в беспомощном положении.

— Что Тит страстно в нее влюблен, — сказал Иосиф — это не подлежит сомнению. И император Веспасиан расположен в ее пользу. Отвращение римлян к чужестранке и особенно к дочери нашего народа — вот камень, который лежит на пути и который надо разбить в этом продажном Риме золотым молотом.

— Если Господу угодно будет спасти свой народ, — отвечал Исаак, — то Он сделает это и без моих денег. У Моисея был всего-навсего деревянный посох, когда он шел освобождать Израиль от рабства египетского.

— Я думаю иначе, — серьезно сказал раввин, — все, кто спасал до этого времени народ свой, находили для этого силу в молитве и покаянии. Если Вероника покажет мне, что под шелковым одеянием она носит суровую одежду раскаяния и плача, тогда я поверю в ее призвание.

— Где же это написано, — возразил Самуил, — что Эсфирь, например, или Моисей носили покаянные одежды?

Здесь решилась вступить в разговор жена Самуила, потому что Вероника своей ласковостью и подарками пренебрежительно успела покорить ее сердце.

— Благородный Иосиф говорил моему мужу, — сказала она, — что в день нашего общего бедствия царица одета была в траурные одежды. Нельзя найти равной ей по красоте, уму и благородству; такой женщине только и быть царицей. И если Господь соединил столько даров в одной особе, то я думаю, что уже по этому можно судить, что она предназначена для чего-то особого...

Спор продолжался еще долго, но к какому-то определенному решению собравшиеся так и не пришли...

После обеда Иосиф отправился на аудиенцию к цезарю. Иосиф знал, что Веспасиан больше всего любит, когда ему говорят прямо без обиняков, и потому начал излагать ему политические соображения, которые могли быть поняты им одним. Он указал прежде всего на материальное и нрав-

ственное значение, какое имели рассеянные во всех концах Римской империи иудеи. Чем лучшим мог бы Веспасиан поддержать еще не окрепшее господство дома Флавиев, как не содействием иудеев? Если он, будучи полководцем, прежде всего на Востоке, в Палестине, провозглашен был цезарем, то почему ему нельзя рассчитывать и теперь на иудеев? Кроме того, Иосиф указал на истощенность государственной казны, чему могли бы помочь иудеи, владеющие громадными денежными суммами.

Иосиф ни словом не обмолвился о царице Веронике, но Веспасиан понял, к чему он ведет речь.

— Я не отрицаю справедливости твоих замечаний, — сказал он. — Но что я могу сделать, если римский бык совсем не желает есть того сена, которое ему подкладывает Тит? Я знаю, что мой сын, — сказал цезарь, — совершенно ослеплен любовью к царице. Но я не настолько глуп, чтобы впрягать в одну телегу лошадь и корову. Царица никогда не станет римлянкой. Она останется чужестранкой.

— Фамилия Иродов, — робко вставил Иосиф, — еще при Августе стояла в самой близкой связи с Римом.

— И все-таки не переставала быть иудейской, — недовольным тоном возразил Веспасиан. — Нет, перестаньте сначала есть свой чеснок, тогда, может быть, мы с вами сядем за один стол обедать...

Когда Иосиф покинул дворец, для него было ясно, что планы царицы неосуществимы и золотые надежды на новое будущее Израиля улетучились как сон. Он предоставил дальнейшим событиям разубедить в этом и саму Веронику

Домицилла никогда не была так весела, как в этот вечер. Если она радовалась утром освобождению Фебы, то теперь, после проявленного к ней внимания цезаря, эта радость удвоилась. От нее не укрылись нежные взгляды, которыми Тит и Вероника обменивались друг с другом. Ей неприятно было видеть, что человек совершенно покорен этой женщиной. Но она слишком мало ценила себя, чтобы обратить внимание на то, что после он оставил царицу почти без всякого внимания.

Более проницательной была Феба, но она побоялась говорить о своих мыслях.

XI

Уже в начале иудейской войны на рынки, где производилась продажа рабов — в Делосе, Дамаске, Александрии и Риме, — стало поступать такое количество рабов, что римское правительство вынуждено было брать значительную часть этого обесцененного товара для своих нужд. Пленными иудеями в скором времени были наполнены египетские, греческие и нумидийские каменоломни, рудники в Сардинии и Испании. Когда был разрушен Иерусалим, каждый корабль, шедший с Востока, привозил столько пленных иудеев, сколько их могло вместиться. Веспасиану пришлось подумать, как наиболее разумно применить эту рабочую силу. Так зародилась мысль о постройке Колизея.

Так как Колизей считался бы постройкой Веспасиана, то Тит пожелал прославить себя строительством грандиозной арки, красивее которой не было в Риме. Расположенная на священной улице, по которой победитель во время триумфа направлялся в Капитолий, на вершине холма Велиа, она должна была вести с одной стороны к форуму, с другой — к равнине, на которой строился Колизей. Третьим сооружением были термы — бани Тита.

Вероника всецело была занята достижением поставленной цели. Кредит, открытый ей ростовщиками Самуилом и Соломоном, давал такое средство, с которым можно было достигнуть в Риме весьма многого. В театре в скором времени не только перестали отпускать остроты по поводу отношений Вероники и Тита, но начали хвалить род Иродов, выставляя их самыми верными друзьями Рима. Стихотворцы в напыщенных одах восхваляли ее и ее семью; они говорили, что если не по рождению, то по уму ей назначено быть царицей Рима, и Рим должен гордиться, что у него будет такая, хотя бы и приемная дочь. И сама Вероника составляла стихотворения на латинском и греческом языках, и при самой пристрастной оценке им нельзя было отказать ни в отделанности, ни в простоте. Ее сравнения и образы заимствованы были из псалмов, и она умело пользовалась ими, чтобы воспеть величие и красоту Рима. В своем дворце она распорядилась нарисовать портреты цезарей Августа и Агриппы рядом с ее дедом; внизу помещены были стихи одного из лучших поэтов, в которых восхвалялась дружба между семьей цезаря и Ирода. Вероника не пропускала случая, чтобы навестить то одного, то

другого сенатора, и во многих случаях ей удалось расположить их в свою пользу. Даже те, кто с недоброжелательством относился к ней, сознавали, что в Риме едва ли можно найти другую женщину, равную ей по красоте, уму и великодушию.

По отношению к Домицилле царица стала гораздо спокойнее с тех пор, как, как-то спросив о ней Тита, узнала, что он будто бы мало интересуется этой девушкой.

В тот день, когда иудейские пленники отправлены были для работ на постройке Колизея, Вероника ожидала посещения своего возлюбленного.

Накануне она велела позвать одну старую гадалку, жившую в иудейском квартале, у капенских ворот; по линиям руки она предсказала, что в скором времени царицу ожидает важная перемена. Таким образом, сегодня надо добиться во что бы то ни стало, чтобы Тит произнес страстно ожидаемое слово. Ее густые черные волосы, скрепленные золотой с бриллиантами диадемой, были искусно причесаны; великолепные одежды изящно скрывали ее формы.

Однако пришел назначенный час, а Тит не появился. Вероника почувствовала, что ее охватывает раздражение. «Что его задержало? Дела? Но тогда он должен был известить меня! Царицу и дочь великого Ирода он заставляет ждать!» — обиженно подумала она.

В это время рабыни сказали, что от Тита пришел посланец. Вероника тотчас же приказала позвать его и, взяв у него связанные и запечатанные хорошо знакомой ей печатью навощенные дощечки, прочитала: «Я не могу прийти сегодня, моя добрая Вероника. Один весьма прискорбный случай сильно расстроил меня. Я решил не идти к тебе, чтобы не испортить твоего веселого расположения духа. Надеюсь, что ты будешь сегодня вечером в саду».

Тит не меньше отца желал, чтобы начатые постройки были окончены возможно скорее, и потому отправился к месту работ. Оттуда он хотел пойти к Веронике.

Тит подходил то к одной, то к другой группе работавших, выражая похвалу и одобрение. Вдруг невдалеке раздались крики. Тит увидел группу рабочих, окруживших кого-то. Тит поспешил туда. При его приближении все почтительно расступились. Он увидел на земле старого иудея, которому, по-видимому, ударом палки надсмотрщика проломлена была голова. Удар пришелся немного выше виска, из раны струилась кровь. Молодая девушка, тоже иудеянка,

поддерживая изувеченного, старалась привести его в чувство. Она ломала руки, не зная, что делать. Это была Феба, нашедшая своего отца

Тит припомнил, что где-то уже видел эту девушку. Движимый состраданием, он спросил, кто этот старик.

— О повелитель! — заливаясь слезами, отвечала девушка. — Десять лет я разыскивала своего отца, десять лет я просила у Бога милости встретить его, и в тот момент, когда я нашла его, надсмотрщик нанес ему смертельный удар!

Хотя Тит и видел множество подобных сцен при осаде и взятии Иерусалима, этот случай произвел на него сильное впечатление. Он приказал принести воды, обмыть кровь и перевязать рану. Затем обратился к Фебе:

— Я, кажется, где-то уже тебя видел? У кого ты служишь?

— Я рабыня твоей родственницы Домициллы, — отвечала девушка. — Она позволила мне помогать моим несчастным соплеменникам. Благодаря ее имени меня свободно пускали к ним. И вот сегодня я увидела этого старца, и сердце мне подсказало, что это мой отец — мой отец, которого я десять лет тому назад потеряла. Но в тот момент, когда я хотела кинуться к нему на шею, надсмотрщик ударил его. О Боже, Боже, он его убил насмерть!

И девушка разразилась безутешными рыданиями.

Услышав имя Домициллы, Тит нахмурил брови. Ему неприятно было, что именно с ее рабыней произошел такой случай.

— Он поправится, — постарался утешить он девушку.

Однако все усилия были напрасны. Все это расстроило Тита. Как ему идти в таком настроении к Веронике? Поэтому он решил отправиться к Домицилле, зная, какое живое участие принимает она в судьбе своей рабыни.

При этом случае присутствовал еще один человек, это был Флавий Климент, который, как ближайший родственник цезаря, имел свободный доступ к месту работ.

Между пленными, привезенными со всех концов Палестины, находилось много христиан. Некоторые из них поставлены были для работ в Колизее. Римские христиане старались облегчить их тяжелую участь. Произшедшее с рабыней его родственницы произвело и на него тяжелое впечатление. Он обратился к надсмотрщику, который с покорностью его выслушал и в тот же миг сбегал за врачами.

Как только стало ясно, что старик умер и никакая сила не может возвратить его к жизни, надсмотрщики разогнали толпу. Подле умершего теперь сидела, заливаясь слезами, одна Феба.

Становилось уже темно, вечерние тени заката ложились длинными черными пятнами. Кругом виднелись беспорядочные холмы свеженасыпанной земли, которая при багровых лучах заходящего солнца казалась окрашенной в цвет крови. Вдали слышались крики надсмотрщиков. Не было никакого сомнения, что, как только работы будут окончены, Фебу отсюда удалят и тело ее отца ночью будет отвезено и брошено в зловонные ямы на Эсквиллине, куда бросались тела преступников.

Климент решил хоть немного утешить несчастную девушку, предложив ей перенести тело для погребения, где она захочет.

Феба поблагодарила незнакомого ей человека.

— Если это не будет противно твоему участию ко мне, за которое вознаградит тебя Бог отцов наших, — сказала Феба, — то я просила бы перенести тело в одну из наших гробниц. Там я желаю совершить погребение по нашему иудейскому обряду. Ах, — скорбно произнесла она, что-то вспомнив, — у меня не будет времени проводить его! Что скажет госпожа моя, ведь я уже должна быть дома!

Климент, подумав, сказал:

— Я пойду к твоей госпоже и расскажу обо всем. Она добрая, к тому же она моя племянница и будет рада, что я принял участие в ее рабыне.

XII

Сообщение Тита о происшедшем произвело на Домициллу гораздо больше впечатление, чем он ожидал.

— Слепой рок, — сказал он, желая успокоить свою родственницу, — назначает каждому человеку свой жребий: одному — счастье, другому — горе, как придется. Несчастье твоей рабыни действительно велико, но этому народу вообще приходится переживать великие бедствия.

— Но если бедствие, — сказала Домицилла, помолчав, — которое обрушилось на иудейский народ, есть наказание, и если мера этого наказания становится все большей и большей, то скажи, Тит, что это, по-твоему, за человек, за смерть которого требуется такая кара?

— Я думаю, что Иисус из Назарета, — отвечал Тит, — был лишь одним из благороднейших умов своего времени, нечто вроде иудейского Сократа.

— Но за смерть Сократа, — возразила Домицилла, — не последовало никаких бедствий для афинян.

— Ну, если хочешь, — сказал Тит после некоторого молчания, — считай его особенным любимцем богов.

— И в таком случае, — отвечала Домицилла, — все же наказание несоразмерно с виной.

— Тогда предположи, — сказал он с улыбкой, — как утверждают христиане, что Он Бог.

— Я сама противлюсь этому, — отвечала Домицилла, — но все же к такому заключению невольно придешь, если захочешь судить последовательно.

— Но неужели ты можешь этому серьезно верить? Да, предания часто рассказывают о том, что боги являлись среди людей, но ведь это благочестивые сказки. И если даже допустить, что какому-нибудь небожителю пришла странная мысль оставить на некоторое время свой блаженный Элизиум и сделаться человеком, то и в таком случае он все же под покровом человека сохранил бы свое божеское достоинство. Непонятно и дико, если бы этот небожитель закован был в цепи и распят. Какой смысл ему было бы подвергать себя такой позорной и болезненной смерти?

Домицилла не нашлась что ответить.

Скоро Тит оставил девушку, чтобы пойти на свидание с Вероникой.

То, о чем Домицилла говорила с Титом, оставалось для нее мучительной загадкой, которую она не могла разрешить. «Случись мне говорить с христианином, — подумала Домицилла, — я бы первым делом спросила его об этом. Жаль, что после Неронового гонения их не осталось в Риме».

Домицилла не знала, что христианин стоит на пороге ее дома.

Когда раб сказал о приходе дяди, она удивилась. Климент в последнее время почти нигде не бывал, даже во дворце цезаря появлялся лишь в самых редких случаях. И сама Домицилла с тех пор, как отец ее отозван был в Палестину, ни разу не была у Климента, потому что слышала о его странном образе жизни.

— Не удивляйся, что я пришел к тебе, — сказал Климент племяннице, которая вышла встретить его, — я должен извиниться, что распорядился твоей рабыней по собствен-

му усмотрению, и ее не будет целую ночь. Я уверен, что твое сострадательное сердце вполне одобрит мой поступок, если ты узнаешь, в чем дело

— Я знаю, — ответила Домицилла, — какое горе постигло бедную девушку. Тит только что рассказал мне об этом. И если твое распоряжение, дядя, вызвано этим несчастьем, то я ничего не имею против. Но расскажи мне, каким образом Феба могла воспользоваться твоим содействием?

— Ты знаешь, милая племянница, что я человек с причудами и питаю особого рода слабость ко всем несчастным людям. Поэтому я отправился сегодня на место постройки будущего Колизея, где тысячи рабов осуждены на изнурительный труд, и вот там-то мне и пришлось быть свидетелем всего этого несчастного происшествия.

— Значит, ты видел Тита, — сказала Домицилла, — странно, почему же он мне ничего об этом не сказал.

— Он меня не заметил, — отвечал Климент. — Когда он ушел, я подошел ближе к месту происшествия и увидел, что старик умер. Мне стало жалко бедную девушку, и чтобы хоть сколько-нибудь облегчить ее горе, я позвал нескольких человек, чтобы они отнесли тело в иудейский квартал, где его можно будет предать земле. Мне тяжело было подумать, что девушка не будет сопровождать умершего отца до могилы и не отдаст последнего долга только потому, что она рабыня и не может без разрешения госпожи распоряжаться своим временем. Поэтому я сказал ей, что она может идти, а я с тобой все улажу. Если ты думаешь, что я слишком свободно распорядился твоей рабыней, то ты, пожалуйста, извини меня.

— Хорошо, — сказала Домицилла шутливо, — я подумаю, какое наложить на тебя, дядюшка, наказание, а утром приду и скажу тебе. Позволь мне привести с собой и рабыню, чтобы она могла поблагодарить тебя.

— Хорошо, — сказал он, улыбаясь, после некоторого молчания. — Ты знаешь, как замкнуто я живу, но если придет моя племянница, то я должен буду дружески принять ее, хотя бы уже для того, чтобы наказание не было слишком строгим. Когда же ты придешь, моя маленькая повелительница?

— Постараюсь утром, — отвечала Домицилла, — если это для тебя не рано.

— Рано? — удивился Климент. — Я встаю с восходом солнца.

— Как? Так рано? — спросила Домицилла. — В такое время спит еще добрая половина Рима.

— У меня так много дел,— сказал Климент,— что я должен вставать пораньше.

Домицилла с изумлением смотрела на своего дядю. Человек, которого весь Рим упрекал за праздность и который, по ее предположению, мог быть на ногах лишь в полдень, вставал вместе с зарей, потому что имел множество дел!

— Не удивляйся, что я так рано встаю,— сказал он.— Утро — самое удобное время для того, чтобы благодарить своего Творца за ночной покой. Затем я должен просить у Него помощи и благословения на дневные дела, потому что какое дело может сделать человек без помощи Божьей? Человек не может жить изо дня в день подобно беззаботной птице, но должен обсудить, как должен сделать то или другое дело, чтобы все было согласно с волей Того, Который дал ему все. Но позволь мне, однако же, проститься; вечер на дворе, и твоя тетка может беспокоиться, что я так долго не возвращаюсь.

После ухода Климента Домицилла подумала: «Не иудейский ли прозелит ее дядя, а может быть, даже христианин? Если бы последнее оказалось верным, тогда этот человек может разрешить мучивший ее вопрос».

Солнце уже успело спрятаться за Ватиканским холмом, и только крыши дворцов и храмов горели еще золотистым блеском. В воздухе чувствовалась легкая прохлада наступающей ночи; все кругом напоено было нежным ароматом.

Тит задумчиво прохаживался по аллее, ожидая женщину, покорившую все его существо. Он начал срывать цветы, чтобы поднести их Веронике. Но та все не появлялась. Тогда Тит решил сам отправиться к ней.

Он нашел ее в сильном волнении. Незадолго перед этим у Вероники был посланец, который привез ей дурные вести: соседнее племя напало на Киликийскую область. Вероника решила, что Тит не пришел днем именно из-за этого, предполагая, что одновременно с известием ей послано было известие и цезарю.

— Удивляюсь, как мог ты,— сказала с упреком Вероника,— так долго заставить меня мучиться одну! Вместо того, чтобы тотчас же прийти ко мне и успокоить! Я думаю, ты сегодня же пошлешь приказание легионам в Сирии выступить против неприятеля?

Тит с недоумением посмотрел на Веронику, но, сообразив, в чем дело, сказал:

— Милая повелительница, твои слова и еще более твое

волнение заставляют меня предполагать, что ты получила с Востока недобрые вести.

— Но какое же могло быть другое печальное происшествие, — резко спросила Вероника, — которое не позволило тебе прийти, хотя я ждала тебя с нетерпением?

— Я был свидетелем несчастного случая с одной иудейской девушкой, — сказал Тит.

— Ах, да какое значение может иметь теперь какая-то несчастная девушка, — раздраженно воскликнула Вероника, — когда мое государство в опасности! Непременно сегодня же пошли нарочного в Путеолы, чтобы он мог отправиться с ближайшим кораблем на Восток и скорее передать приказание легионам в Малой Азии выступить против врага.

— Я сделаю все, что смогу, — отвечал Тит. — Сейчас я иду к цезарю и, если только будет можно, сегодня же вечером постараюсь устроить военный совет.

— Что мне в твоём совете! — еще более раздражаясь, воскликнула Вероника. — Ты докажи мне на деле, что любишь меня. Иначе я завтра же утром сама отправлюсь в Киликию, чтобы с мечом в руках стать во главе легионов. Вероника может побеждать и без помощи римлян!

Тит еще раз повторил Веронике, что сделает все, что можно, и, поцеловав ей руку, удалился.

Веспасиан действительно получил известие о беспорядках в Киликии. В тот же вечер он собрал у себя военный совет.

Среди полководцев цезаря самым влиятельным и опытным был Муций. Римлянин как по духу, так и по происхождению, он вел свой род от знаменитого Муция Сцеволы. Множество заслуг, оказанных им отечеству в войнах с разными врагами, создали ему вполне заслуженный почет как в сенате, так и при дворе. Но Веспасиан сравнивал его с мулом, который может свалить в яму и колесницу, и кучера. Это был слишком упрямый человек, не останавливавшийся ни перед чем и, главное, любивший говорить и действовать открыто. После своего провозглашения на Востоке цезарь послал его с неограниченными полномочиями в Рим. И только благодаря его энергии и предусмотрительности Веспасиан так быстро был признан императором во всех концах империи.

Но Муций позволял себе говорить то, о чем никто другой не решился бы и подумать. Муций был одним из тех, кого отношения Тита и Вероники возмущали до глубины

души. Муций не допускал даже и мысли, чтобы будущая царица Рима была иностранкой. Теперь он с радостью ухватился за представившийся случай открыто высказаться.

Вероника не предполагала, что, грозя Титу стать во главе легионов, она высказала то, чего Муций будет добиваться во что бы то ни стало на военном совете. Отъезд Вероники из Рима представлялся для Муция более чем желательным, так как прекратились бы отношения между ней и Титом. Когда этому воспротивился Тит, Муций открыто заявил, что ни сенат, ни народ, ни тем более легионы никогда не согласятся признать Веронику своей царицей.

Настойчивость Муция имела воздействие. На следующее утро Веспасиан распорядился пригласить к себе Веронику и сообщил ей, что она должна поспешить в Киликию и сама наблюдать за безопасностью своих пределов. Римские легионы, расположенные в прилегающих провинциях, немедленно будут присланы ей по первому ее требованию.

Гордая царица, услышав это, была совершенно убита — она ожидала какого угодно решения, но только не этого. Вероника в чрезвычайном волнении поспешила к Титу, чтобы он заставил отца изменить решение. Но, о коварство! Тит еще ранним утром уехал неизвестно куда. Она плакала, называла его изменником, который перестал ее любить, но так как это нисколько не помогало делу, то она решила снова отправиться к цезарю. Но цезарь остался непреклонен. Напрасно Вероника затем приглашала к себе Иосифа, чтобы воспользоваться его посредничеством. Иосиф даже не явился.

После решения военного совета Тит провел бессонную ночь, обдумывая, что ему делать, и он решил уехать из Рима и навсегда прервать свои отношения с Вероникой. Он решил даже не ходить к ней проститься, так как знал, что ее слезы могут поколебать его решение. Еще не успела заняться заря, как он был уже в пути, направляясь на север, в Заальпийскую Галлию, к своим легионам, чтобы там забыть о любви к Веронике.

Когда он девять лет спустя занял трон цезаря, Вероника несколько раз была в Риме, но прежних отношений уже было не восстановить. Эта женщина, мечтавшая стать повелительницей всего мира, вынуждена была умереть всеми забытая. И когда весть о ее смерти принесена была в Рим, то тот, который ее некогда любил, был давно похоронен.

ХІІІ

Пережитое Фебой не осталось без последствий для ее слабого здоровья. После того, как тело отца недалеко от гробницы первосвященника было предано земле, она почувствовала, что ее покидают последние силы. Как добралась домой, она не помнила, мало она также помнила и то с какой материнской заботливостью ухаживала за несчастной рабыней Домицилла. Всю ночь она провела у постели Фебы, прикладывая больной холодную воду к вискам, так как та поминутно впадала в забытие. Больная бредила и этот бессвязный бред действовал на Домицилла удручающе. То она с радостью восклицала, что нашла своего отца, то начинала плакать, что он умер, и просила Тита и Климента оживить его. Иногда больное воображение рисовало ей картины далекой юности, все ее страдания. То она видела пред собой каких-то лиц и спорила с ними об Иисусе и Назарета.

«Кто эта черная женщина?» — вдруг спрашивала она, встретив лихорадочный взгляд на Домицилла. Она так много говорила, чтобы меня утешить, но я все забыла. Ах да, я помню: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас.» Ах, если бы надо мной не висело проклятия!

Несчастливая девушка снова начинала метаться в жару. К утру, однако же, она уснула.

Домицилла тоже решила отдохнуть, поручив больную попечению надежной рабыни. «Какую черную женщину она видела, думала про себя Домицилла, и что это за слова «Придите ко Мне все труждающиеся.»»

Черная женщина, о которой бредила Феба, была Помпония Грецина. Возвращаясь из фамильного склепа в город, она увидела одиноко идущую в такую позднюю пору девушку. Судя по всему, ее постигло сильное горе, потому что слышны были ее приглушенные рыдания. Помпония, приказав остановить носилки, подошла к девушке. Это и была Феба, и Помпония услышала ее рассказ. Утешая несчастную, Помпония проговорила те загадочные слова «о труждающихся», которыми Феба бредила.

Заботиться в течение целой ночи о больной Домицилле приходилось первый раз в жизни. Если бы ей раньше кто-нибудь сказал, что она на это способна, она никогда бы не поверила.

Как-то, когда больная почувствовала немного лучше

Домицилла решила нанести визит Клименту Войдя в его дом. Домицилла нашла Климента сидящим среди каких-то старых бедняков и калек. Одни из них плели корзины из прутьев, другие делали циновки из тростника, третьи распушивали шерсть, ни один из них не был без работы.

Незамеченная никем девушка долгое время смотрела на это непонятное ей собрание. Ее поразило спокойствие, которое здесь царило, отражаясь на лицах всех присутствовавших. Один старик заметил девушку и сказал Клименту, что кто-то к нему пришел.

Климент обернулся и, увидев Домициллу, подошел и тепло поприветствовал ее. Он расспросил про Фебу и, узнав, что бедная девушка лежит в беспамятстве, сильно опечалился. Видя, что Домицилла с удивлением смотрит на сидевших, он сказал:

— Это мое семейство. Всех этих стариков, из которых каждый годится мне в отцы, я принял к себе, как сын. Но ты видишь, что у меня никто не сидит без работы, потому что только тот, кто трудится, должен есть.

— Но что же ты делаешь, дядя, с вещами, которые делают эти люди? — спросила девушка.

— Я продаю их и плату, которую получаю, отдаю в их распоряжение, — отвечал Климент. — Но они обычно все деньги возвращают обратно и просят раздать их другим несчастным. Я так и поступаю, потому что и без этого Господь мне дал достаточно средств, чтобы приютить этих несчастных.

— И что же, моя тетка не тяготится этим обществом? — спросила Домицилла.

— О, нет, — отвечал Климент... — Около нее такие же престарелые женщины. Мы так и живем, она вместе с несчастными старухами, я с этими бедняками. И мы счастливы..

— Как это ни ново и ни странно для меня, но я нахожу, что и в такой жизни можно испытывать своего рода счастье. У постели больной Фебы я отчасти испытывала это на себе.

— Да, дорогая племянница, — отвечал ласково Климент, — ты только немного послужила другой, но если бы ты знала, какое великое счастье получает человек, отдавая всю свою жизнь на служение другим. А вот и тетка, — сказал он, обращаясь к подошедшей Флавии. — Покажи племяннице, в каком обществе ты проводишь все время, а то она думает, что тебе скучно среди этих стариков.

Домицилла нашла в покоях своей тетки то же, что и у дяди. Здесь точно так же сидело множество старух, по большей части калек, и занималось той или другой работой. Та же тишина и то же спокойствие господствовали и здесь.

— Дорогая тетя, — сказала Домицилла, выходя, — я так поражена всем, что здесь вижу, что не знаю, как и спросить тебя об этом. Скажи мне, что, однако же, побуждает вас обоих принимать у себя столько несчастных людей? Дядя говорит, что хорошо всегда служить другим, но я думаю, что надо же подумать и о себе, и о своем положении.

— Но ты представь себе только, Домицилла, — отвечала жена Климента, — что стали бы делать и куда девались бы эти несчастные, если бы мы их не приняли! Мы очень жалеем, что у нас не хватает средств принять их еще больше.

— И что же вы их круглый год кормите и даете пристанище? — спросила Домицилла.

— Да, но они же делают, кто что может, — отвечала жена Климента. — Ведь если не приютить их, все они обречены на лишения, а может быть, даже на голодную смерть.

— Однако же до сих пор никто еще не принимал нищих в дом, — отвечала Домицилла. — Про вас говорят, что вы просто люди с причудами, но я думаю, что здесь есть нечто большее, чем только причуды. Мне кажется, что поступать так вас побуждают какие-то религиозные основания.

Жена Климента пристально посмотрела на племянницу и потом серьезно сказала ей:

— Я и твой дядя давно уже следуем учению Иисуса Христа. Силу так жить и поступать, как мы поступаем, мы черпаем у подножия креста Христова, в его муках за спасение людей. Для спасения этих людей сам Господь благоволил сойти с неба и принять образ человека. Он явился в образе бедного, дабы научить людей помогать друг другу и тем достигать вечного спасения. Всеблагий Господь сжалился над людьми, не желая их гибели, а потому и Сын Его заповедал: «Будьте милосердны, как Отец ваш небесный милосерд есть».

— Для меня это весьма необычно, — отвечала Домицилла, — такое учение нельзя сразу понять. Но почему Богу нужно было умереть и к тому же такой позорной смертью?

— Имей в виду, племянница, — сказала жена Климента, — что не все, совершаемое премудрым Господом, может быть постигнуто людьми. И христианство основывается не

столько на знании, сколько на вере. Оно требует не знания, а того, чтобы человек следовал заповедям Искупителя. Да и каким образом человек со своим привязанным к земле умом мог бы понять то, что относится к недостижимому, неземному? Но если он захочет следовать этому учению, то он может это сделать, так как у каждого в глубине души есть чувство, которое подскажет, что хорошо, а что дурно.

— Все это ново и дивно для меня, — повторила Домицилла. — Надо все хорошенько обдумать.

— Да, истина не дается сразу, — отвечала жена Климента, — и я сама вначале над многим задумывалась. Но, к моему счастью, Господь послал мне хорошего наставника в лице твоего дяди.

В это время подошел Климент.

— Ну, что, племянница, видела, как мы живем? — с добродушной улыбкой сказал он. — Какое же наказание ты наложила на меня?

— Я придумала, дядя, — улыбаясь, ответила девушка. — Тетя мне открыла, что ты хороший наставник и потому ты должен с этого часа принять в моем лице новую ученицу.

С этими словами девушка простилась, спеша возвратиться к больной. Проходя через триклиний, она увидела длинный стол, за которым сидели все, имевшие приют в доме Климента. Два места, оставленные, по-видимому, для хозяина и хозяйки, были свободными.

— Разве вы вместе с ними обедаете? — спросила Домицилла.

— Да, — ответила Флавия, — и нам кажется, что никакое блюдо не было бы так вкусно, если бы мы обедали отдельно.

Дома Домициллу ожидала новая неожиданность: к ней пришла Помпония Грецина.

Домицилла много слышала о странностях этой матроны, но она никогда у нее не была и только несколько раз видела ее мимоходом.

— Я пришла навестить, — сказала Помпония, когда Домицилла вошла в комнату, — несчастную девушку, которая три дня тому назад схоронила на Аппиевой улице своего отца.

Домицилла тотчас же вспомнила о черной женщине, про которую говорила в бреду Феба. Домицилле показалось непонятным, почему эта, как она слышала, знатная дама ходит ночью по Аппиевой дороге, а теперь пришла навестить несчастную рабыню.

— Бедная девушка, продолжала Люцина, — рассказала мне о печальной встрече со своим отцом. Она так была убита горем, к тому же она так близко принимает к сердцу бедствия своего народа, что я, расставшись с нею, сильно беспокоилась за нее.

— Она, с тех пор как пришла домой, — отвечала Домицилла, — лежит в горячке. Первую ночь Феба сильно бредила, и я боялась, что она не проживет до утра. Теперь ей легче, но все же положение весьма опасно. В бреду она много говорила о черной женщине, которая ее утешала. Очевидно, это была ты, благородная Помпония и я очень признательна тебе. Она с детства при мне росла и воспитывалась у нее на руках, поэтому ее теперешнее состояние чрезвычайно удручает меня. Пойдем к ней.

Когда Феба услышала голос, который утешал ее ночью, она открыла глаза и, увидев Люцину, вся просияла. Между тем Домицилла с ужасом видела, что состояние ее ухудшилось. Рабыня, стоявшая у изголовья, на безмолвный вопрос Домициллы только безнадежно махнула рукой.

— О, я никогда не забуду, — прошептала больная, — не забуду тех дивных слов, которыми ты меня утешала «Придите ко Мне все труждающиеся»... Только я забыла, кто это сказал?

— Это слова, — отвечала Люцина, — бесконечно доброго Человека, у Которого было столько сострадания к людям, как ни у кого другого. Но Он был не только Человек, но и Бог.

— О, как бы я желала идти к Нему на этот зов, — сказала больная, — но нет, Он мне не поможет. Это проклятие ..

— Не смущайся, бедное дитя, — сказала Люцина, глядя ее волосы, — это сказал Тот самый, Который сказал «Отче! Прости им, они не ведают, что творят».

— Как, — с живостью спросила Домицилла, — так и это слова Назарянина? Прости мне, благородная Помпония, ты следуешь Его учению, ты христианка?

— Да, по милости Господа, не пожелавшего, чтобы я умерла во грехах, я христианка, — отвечала Люцина и, обращаясь к больной, сказала: — Неужели ты не можешь довериться Тому, Кто молился за своих убийц?

— Смею ли, могу ли я надеяться, что я не лишена этой надежды? О, Иисус Назарянин, прости, прости

меня! — воскликнула больная, простирая свои исхудалые руки к небу; из груди больной вырвался тяжелый вздох и она откинулась на ложе

— Она умерла, — сказала Люцина со слезами и, преклонив колена, начала молиться

Домицилла, оцепенело смотрела то на безжизненное лицо своей рабыни, то на молящуюся Помпонию. Слезы медленно скатывались по ее щекам

С наступлением ночи обе женщины проводили тело до гробницы на Аппиевой улице, где рядом со своим отцом была предана земле внучка первосвященника Каиафы

XIV

Происшествия последних дней произвели на Домициллу глубокое впечатление. Ее слабое здоровье не выдержало и она стала чувствовать, как силы ей изменяют. Приглашенный врач посоветовал оставить Рим и рассеяться путешествием куда-нибудь. Домицилла и сама уже думала об этом и потому в скором времени уехала на Восток

Спустя несколько месяцев после ее отъезда Флавия жена Климента, получила письмо, в котором Домицилла подробно описывала свое путешествие. Осень она провела на Далматском берегу, но с наступлением холодов по совету врачей должна была отправиться в Александрию. Весной она писала Клименту

«Я сказала выше, что в предместье Буколы на меня и двух моих рабынь напали разбойники. Некоторое время я считала этот случай просто опасным приключением, но теперь вижу, что здесь было особое руководство неба. На наши крики о помощи прибежало несколько людей и, освободив нас, видя, что мы все еще не можем прийти в себя от испуга, привели в свой дом. Наши спасители оказались христианами. Старик, в дом которого мы пришли, был епископом местной христианской общины. Здесь я увидела то же, что некогда и у вас: весь дом был наполнен калеками и нищими. После я много раз снова приходила в этот дом и теперь могу вас порадовать доброй вестью: я тоже христианка. Надеюсь, что всеблагий Господь поможет мне остаться такою и до конца жизни. Со своим отцом я вела частую переписку. На мое желание навестить его он ответил, что не советует мне делать этого, так как печальный вид Иерусалима и опустошенных окрестностей произ

ведет на меня удручающее впечатление. Но все же мне пришлось побывать там, хотя я уже и не хотела туда ехать. В начале марта отец известил меня, что очень болен и не знает, удастся ли ему выздороветь. Чтобы скорее прибыть к нему, я снарядила свой караван и отправилась в Палестину. Прибыв в Иерусалим, я, к великому моему горю, уже не застала отца в живых...

Иерусалим имеет такой печальный и удручающий вид, что даже трудно передать это словами. Несмотря на то, что со времени его разрушения прошло два года, проклятие, по видимому, тяготеет над ним до сих пор. Множество костей валяется среди развалин, и, куда ни посмотришь, везде видишь следы разрушения и смерти. Какое потрясающее впечатление произвели на меня эти развалины! С трудом пробралась я среди размытых дождем развалин к тому холму, на котором стоял храм, к Сиону. От всего храма осталась лишь незначительная часть стены, закопченная дымом. Тут же среди обломков и мусора валялись кости и черепа, очевидно, погибших во время пожара. От всего города осталось лишь три башни, которые Тит приказал не разрушать, чтобы сохранить память о столице иудейской. Была я и на Голгофе и молилась на том самом месте, где стоял крест. На память я взяла отсюда несколько камешков. Гробница Иосифа Аримофейского, где покоилось тело Господа, находится недалеко от Голгофы и сохранилась до сих пор. Мне казалось, что я вижу Марию Магдалину и светозарного Ангела, принесшего весть о воскресении. На вершине Голгофы идет вдоль глубокая трещина, образовавшаяся при землетрясении во время смерти Спасителя. Мы пробовали бросать в эту расселину камни, но в ней, по видимому, нет дна, потому что не слышно, как падает камень.

Из Иерусалима я отправилась в Вифлеем, куда некогда звезда привела волхвов с Востока. С каким благоговением я вошла в пещеру и облобызала сохранившиеся до сих пор ясли, в которых родился Господь! В Вифлееме существует христианская община, и благочестивые люди тщательно оберегают место Его рождения. Между ними есть сыновья и внуки тех пастухов, которым была принесена ангелами первая весть о рождении. Потом я решила побывать в Ефесе, чтобы послушать ученика Господня Иоанна и получить от него наставления. Проезжая через Антиохию и Тарс, я везде находила христианские общины, основанные самими апостолами. Я не могу описать вам, какое глубокое впечат-

ление произвел на меня старец Иоанн. Ему теперь около шестидесяти лет, но он юношески бодр и крепок духом. Когда он рассказывает о Своем Учителе, о Его чудесах, о Его божественной любви к людям, о последней вечери и Голгофе, то никто не может слушать его рассказ без слез. Мне там показывали письмо апостола Павла, которое он написал к ефесянам, находясь в темнице в Риме. Это письмо, написанное его рукой, хранится как святыня. Храм Дианы в Ефесе действительно дивное по красоте и величию здание, он, на мой взгляд, красивее римского храма Юпитера Капитолийского. В Ефесе я останусь еще лишь на две-три недели, а потом поеду в Македонию и Грецию. Иногда мне очень хочется возвратиться в Рим, чтобы увидеть вас, Люцину и других братьев во Христе.

Я не нахожу лучших слов для заключения письма, как слова апостола Павла в его послании к ефесянам: «благодать да пребудет со всеми, любящими Господа Иисуса Христа».

Через несколько недель после того, как Домицилла приняла крещение в Александрии, она получила письмо от Тита с предложением выйти за него замуж. Она кратко ответила Титу, написав, что она христианка. Есть род мученичества, которое выражается не только в крови и пытках; есть мученичество иного рода, незримое, которое ведомо одному лишь Богу, — оно происходит в сердце человека. Она решила принять это мученичество, и христианство с его благодатной надеждой дало ей к этому силы.

Домицилла была последнею любовью Тита.

Веспасиан умер в 79 году, девять лет спустя после разрушения Иерусалима. Тит вступил на престол, когда ему было 39 лет; но правление его продолжалось недолго, всего лишь два года. Полагают, что причиной такой скорой смерти был яд или кинжал Домициана. Кратковременное царствование Тита не было счастливо, ряд бедствий следовали одно за другим. В его царствование произошло извержение Везувия, разрушившего два цветущих города. При нем же случился громадный пожар, начавшийся в центре Рима и продолжавшийся три дня и три ночи. Во время этого пожара уничтожены были Капитолий, пантеон, библиотека Августа, театр Помпея и множество домов и дворцов. Вскоре после этого Рим постигла чума. Ко всему этому добавились неурядицы в семье Флавиев. Домициан занят был лишь интригами, имевшими целью лишить своего брата престола. Он открыто обвинял его в клятвопреступничестве,

утверждая, что отец, умирая, завещал им престол обоим. Когда он увидел, что словами ничего нельзя сделать, он подослал убийц... Правление Домициана продолжалось в течение девяти лет и запечатлено в истории Рима как одна из самых кровавых ее страниц. Со смертью Домициана, который также был бездетен, кончился род Флавиев. Римский сенат после распорядился уничтожить имя его даже со стен тех общественных зданий, которые им были построены.

Ни в царствование Тита, ни в царствование Домициана Домициллы не было в Риме. Она возвратилась только в 96 году в царствование Нервы. Помпония Грецина уже умерла, и она могла навестить лишь ее прах. Живы были Климент и его супруга Флавия. Домицилла переселилась к ним и оставалась здесь до смерти, живя с ними в мире и любви Христовой. Вместе с ними, в их семейной гробнице, она нашла и последнее успокоение. Над входом этой гробницы еще и теперь можно разобрать полуистертую надпись: «Гробница Флавиев».

Содержание

Ф. Шумахер. Вероника. Перевод с немецкого	5
М. Ратацци. Осада Иерусалима. Перевод с итальянского	231
Э. Ожешко. Миртала. Перевод с польского.	. . . 339
С. Кончилович. Гибель Иудеи 453

Литературно-художественное издание

«Всемирная история в романах»

«Падение великих империй»

Ф. Шумахер. Вероника. Перевод с немецкого
М. Ратацци. Осада Иерусалима. Перевод с итальянского
Э. Ожешко. Миртала. Перевод с польского
С. Кончилович. Гибель Иудеи
Исторические романы

Редактор Ю. Серов

Художник Н. Егоров

Корректоры М. П. Дубовицкая, Г. И. Яковлева

ЛР № 0071084 от 22.09.94 г.

Сдано в набор 13.1.95 г. Подписано к печати 11.2.95 г.

Формат 84x108 1/32. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная.

Тираж 25.000 экз. Заказ 2985. Цена договорная.

Издательство "Новая книга" Москва, ул. Академика Челомея, 4, а/я 489.

Отпечатано в издательско-полиграфическом предприятии "Зауралье"

640627, г. Курган, ул. К. Маркса, 106.



